



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

P Slav 236.4



**HARVARD
COLLEGE
LIBRARY**



8245
98-21
СЕНТЯВРЬ

1879

ДѢЛО

ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ

№ 9.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. БЕРЕГЪ МОРЯ. Романъ изъ крымской жизни, въ двухъ частяхъ. (Окончаніе.) Е. Л. МАРКОВА.
2. ОСЕННІЯ ГРЕЗЫ. Стихотвореніе С. М. АРХАНГЕЛЬСКАГО.
3. НА ВОЛОСКЪ. Романъ. (Гл. V—XI). П. ЛЕТНЕВА.
4. ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ. (Ст. первая.) Л. МВЧНИКОВА.
5. ПРИЯТНЫЕ РАЗГОВОРЫ. П. СЕВЕРИНА.
6. * *. Стихотвореніе А. КРУГЛОВА.
7. УЛЬРИХЪ ФОН-ГУТЕНЪ И ЕГО ДРУЗЬЯ (Ст. первая.) С. С. ШАНКОВА.
8. МАРСЕЛЬСКІЯ ТАЙНЫ. Романъ. (Гл. XIX—XXVII). ЭМИЯ ЗОЛЯ.
9. КУСТАРНАЯ НЕУРЯДИЦА Н. В. ШВЕГУНОВА.

(См. на оборотѣ.)

10. ЖАКЪ ВИНТРАСЪ. Романъ. . . . ЖАНА ЛЯ-РЮ.
 11. НЕДОРАЗУМѢНІЯ НАШЕГО ХУ-
 ДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА. Н. В. ШЕЛГУНОВА.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

12. МУЖИКЪ ВЪ САЛОНАХЪ СОВРЕ-
 МЕННОЙ БЕЛЕТРИСТИКИ. (Окон-
 чаніе.) П. НИКИТИНА.
 (По поводу романовъ, повѣстей и очерковъ изъ народнаго быта гг. Иванова,
 Златовратскаго, Володина и А. Потѣхина.)
13. НОВЫЯ КНИГИ.
 Въ удилку времени. Кн. В. Мещерскаго. Спб., 1879.—Русскіе богонос-
 цы. Религіозно-бытовыя картины. Н. С. Лѣскова. I. На краю свѣта. II.
 Владичный судъ. Спб., 1879.—Мы, вы, они, онѣ. Юмористическіе очерки
 и шарж. Вл. Михневича. Спб., 1879.
14. ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.
 Исторія швейцарскаго союза С. С. ШАНКОВА.
 (Geschichte des Schweizervolkes und seiner Kultur von der ältesten
 Zeiten bis zur Gegenwart. von Otto Henne-Am-Rhyn. 3 Ausgabe. 3. B.
 1877.)
15. ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ. . . . Н. Ш.
 Безмолвіе печати по поводу поѣздки министра финансовъ. Безмолвіе Ры-
 бинска и Ярославля. — Цвѣты краснорѣчія Нижняго Новгорода. — На-
 сколько гупцы могутъ быть представителями общихъ экономическихъ ин-
 тересовъ, и какая система экономической политики для нихъ самая жела-
 тельная. — Осторожность министра финансовъ въ рѣчахъ. — Какая внутрен-
 няя экономическая политика выработается у насъ самою силою вещей.
16. КАРТИНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
 ЖИЗНИ ОТГОВОРЕННОГО ПИСАТЕЛЯ.
 Отраженіе сверху внизъ. — „Отговоренное“ направленіе въ захолустѣй. —
 Извѣщеніе обывателей. — Отъ собственного корреспондента. — Обвиненіе по
 поводу произнесенія слова „телефонъ“. — Приключеніе винодѣла г. Сало-
 мана на Кавказѣ. — „Свободные приемы“ европейца. — Дѣло Боставжолю. —
 Неприкосновенность домашняго очага. — Дѣло слесаря Прокудина. — Лек-
 ція мирового судьи. — Испызаніе „учениковъ“ мастерами. — Эпосъ изъ
 русской жизни. — 25 лѣтъ въ тюрьмахъ! — Нѣчто о земствѣ. — Исторія съ
 ремесленнымъ училищемъ въ екатеринславской губерніи. — Помѣщикъ въ
 недоимка. — „Медикаменты уфимскаго земства“. — Пасквиль „Новаго Вре-
 мени“. — Открытіе Александровскаго моста.

О ПОДПИСКѢ
НА
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ
„ДѢЛО“
ВЪ 1879 ГОДУ.

Журналъ «ДѢЛО» издается въ 1879 году, при постоянномъ участіи прежнихъ его сотрудниковъ, въ томъ-же направленіи и по той-же программѣ, какъ и въ прошлыя двѣнадцать лѣтъ.

Годовое изданіе журнала „ДѢЛО“ состоитъ изъ *двѣнадцати* книгъ, отъ 30 до 32 листовъ каждая, большого формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛУ НА ГОДЪ:

безъ пересылки и доставки 14 р. 50 к.
съ доставкой въ Петербургѣ 15 р. 50 к.
съ пересылкой иногороднымъ 16 р. „

ЗА-ГРАНИЦУ ВО ВСѢ ГОСУДАРСТВА. . . 19 р.

Подписку просить адресовать исключительно въ С.-Петербургѣ, въ Главную Контору журнала „ДѢЛО“, по Надеждинской ул., д. № 39.

СОДЕРЖАНІЕ ДЕВЯТОЙ КНИЖКИ.

- Берегъ моря. Романъ изъ крымской
жизни, въ двухъ частяхъ. (Окон-
чаніе.) *Е. Л. Маркова.*
- Осеннія грезы. Стихотвореніе. *С. М. Архангельскаго.*
- На волосѣ. Романъ. (Гл. V—XI.) *П. Лытнева.*
- Вопросы общественности и нрав-
ственности. (Ст. первая.) *Л. Мечникова.*
- Пріятные разговоры *Н. Северина.*
- * *. Стихотвореніе. *А. Крулова.*
- Ульрихъ фон-Гутенъ и его друзья.
(Ст. первая.) *С. С. Шашкова.*
- Марсельскія тайны. Романъ. (Гл. XIX—
XXVII.) *Эмиля Золя.*
- Кустарная неурядица. *Н. В. Шелунова.*
- Жакъ Винтрасъ. Романъ. *Жана Ля-Рю.*
- Недоразумѣнія нашего художествен-
наго творчества. *Н. В. Шелунова.*

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

- Мужикъ въ салонахъ современной
белетристики. (Окончаніе.) *П. Никитина.*
- Новыя книги.
- Иностранная литература. Исторія
швейцарскаго союза. *С. С. Шашкова.*
- Внутреннее обозрѣніе. *Н. Ш.*
- Картинки общественной жизни. *Откровеннаго Писателя.*

ДѢЛО

ЖУРНАЛЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ.

ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

№ 9.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ Г. Е. ВЛАГОСВѢТЛОВА, ПО НАДЕЖДИНСКОЙ УЛИЦѢ, ДОМЪ № 39.

1879.

236.1 (1879)
Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 30 сентября 1879 года.



Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные годовые экземпляры „ДѢЛА“ за послѣдніе три года можно приобрести въ конторѣ редакціи по слѣдующей цѣнѣ:

За 1876 годъ съ пересылкою	7 р.
За 1877 годъ	” 10 р.
За 1878 годъ	” 12 р.

Отдѣльные номера журнала съ пересыл.
по 2 р.

БЕРЕГЪ МОРЯ.

РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

(Окончаніе.)

XVIII.

Погоня.

Держа на своемъ правомъ плечѣ дрожавшую отъ волненія Фатьму, неуспѣвшую даже ничего накинуть на себя, Ахметъ, позабывъ всякую осторожность, шагаль поспѣшными шагами внизъ по ступенькамъ лѣстницы, таща за собою лѣвою рукою связанную, какъ узель тряпокъ, горбатую Уркушь.

Онъ не далъ ей вскрикнуть болѣе одного раза и въ одно мгновеніе затанулъ ей ротъ ея-же собственнымъ покрываломъ. Боясь, что она какъ-нибудь сдернетъ его и откроетъ похищеніе ранѣ, чѣмъ минуетъ опасность, Ахметъ рѣшился захватить и ее. Около запертой на ключъ калитки, съ той стороны, ждали его Свириденко съ Евгениемъ, держа концы веревки, переброшенной черезъ стѣну. Стѣна была невысока, и, ставъ на желѣзную ручку калитки, Ахметъ безъ труда подсадилъ и безъ того ловкую Фатьму, а потомъ подаль Евгению, осѣдлавшему гребень стѣны, связанную горбунью.

Они всѣ были пѣши, потому что имъ приходилось еще разъ

перелѣзаетъ стѣну большого двора. Къ этой стѣнѣ снаружи былъ подставленъ, вмѣсто лѣстницы, суконатый дубовый стволъ для спуска, а наверхъ стѣны пришлось лѣзть по той-же веревкѣ, концы которой были перекинута черезъ стѣну Бекиру и Сергѣю.

Анна одна оставалась у лошадей въ чащѣ лѣса. Она захотѣла, во что-бы то ни стало, принять участіе въ экспедиціи, какъ ни отговаривалъ ее Сергѣй и какъ ни ругались на нее Свириденко и Бекиръ. Только одинъ Евгенийъ горячо стоялъ за компанію сестры.

Не говоря ни слова, бросились на лошадей. Вѣкъ было не до разговоровъ. Ахмету Бекиръ досталъ лошадь своего сына, а для Фатьмы не было приготовлено особой лошади, поэтому ее посадили на сѣдло Ахмета. По татарскому обычаю, жениху подобало самому везти выграденную невѣсту. Связанную Уркушъ бросили въ лѣсу недалеко отъ двора, натуго притянувъ ее къ дереву.

Евгению очень хотѣлось сказать что-нибудь Фатьмѣ, когда онъ пересаживалъ ее черезъ стѣну и помогалъ ей сѣсть на лошадь. Цѣлую дорогу, когда они ѣхали изъ своего дома въ помѣстье Темиръ-Кая, и потомъ нѣсколько утомительныхъ часовъ, которые они провели въ лѣсу, въ засадѣ, ожидая наступленія ночи, Евгенийъ не переставалъ думать о своемъ горѣ, о безчувственности и неблагодарности Фатьмы. Онъ твердо рѣшился отвѣтить ей геройскимъ великодушіемъ; онъ честно хотѣлъ исполнить обѣщаніе помощи, данное Ахмету. Но терзанія его сердца побѣждали его волю. Въ головѣ его уже сложился длинный и страстный монологъ, который онъ долженъ былъ вылить передъ Фатьмою въ минуту ихъ первой встрѣчи. Онъ собирался сказать ей:

— Это я, Фатьма, тобою отвергнутый. Я являюсь спасти тебя и помочь твоему счастью. Ты знаешь, что это счастье есть вмѣстѣ съ тѣмъ моя гибель. Но я такъ люблю тебя, что могу думать только о тебѣ, а не о себѣ. Моя рука отдана въ распоряженіе моему сопернику; онъ ея отнимаетъ у меня мое будущее, мою жизнь... Я не хочу быть безжалостнымъ, какъ ты была ко мнѣ. Пусть мое горе станетъ подножіемъ твоего счастья... Ты

теперь въ моихъ рукахъ, и я самъ отдаю тебя тому, кого-бы я хотѣлъ раздавить, какъ смертельнаго врага; ты избрала его, и его голова священна для меня... Прощай и будь счастлива во вѣки... Будь счастливѣе, чѣмъ твой несчастный другъ, который любилъ въ свою жизнь одну тебя и не полюбитъ уже никого больше...

Евгеній молча глоталъ свои слезы, въ десятый разъ растрепывая свое сердце страстными объясненіемъ, которое онъ не переставалъ мысленно говорить Фатимѣ. Но къ глубокому огорченію своему, онъ не умѣлъ сказать ей на дѣлѣ ничего изъ того, что собирался и что должно было, по его мнѣнію, растрогать Фатиму до глубины ея сердца. Фатима была въ какомъ-то безсознательномъ состояніи. Она двигалась машинально и позволяла дѣлать съ собою все, что хотѣли дѣлать. Она словно не узнавала людей, которые окружали ее теперь. Она понимала только чужемъ, что это друзья, что они тутъ для нея, для ея освобожденія.

Появленіе Ахмета въ ея комнатѣ и все, что случилось въ первыя мгновенія, такъ поразило ее, что она до сихъ поръ не пришла въ себя. Только-что за минуту передъ этимъ ее грызла и срамила бравчливая Аэша, въ ея постылой, отовсюду запертой тюрьмѣ, — и вотъ она уже верхомъ на конѣ, среди темной ночи, въ лѣсу, по которому шумно гуляетъ вѣтеръ, плотно охваченная чьею-то молодою рукою, тѣсно прильнувшая къ чьей-то сильной и смѣлой груди.

Все, что пытался шептать ей въ эти короткія минуты Евгеній, всѣ его безсвязныя, слезами дрожавшія, слова только коснулись ея уха и не проникли внутрь ея. Она не могла дать себѣ яснаго отчета, кто говоритъ съ нею, зачѣмъ и что говорить. Она и не отвѣчала ничего. Въ сердцѣ было столько тревоги, что языкъ не могъ говорить. Всякій нервъ ея напряженно ждалъ, напряженно просилъ одного — дальше, какъ можно дальше и какъ можно скорѣе отъ стѣнъ ея тюрьмы, въ широкую волю горь, куда-нибудь, гдѣ свобода, гдѣ она не увидитъ больше этого отвратительнаго стараго бея, не услышитъ змѣйнаго шипѣнья его злыхъ старухъ.

— Скорѣй, скорѣй! — вотъ одно, что могла шептать она, что она съ торопливою мольбою отвѣчала на всѣ вопросы всѣмъ тѣмъ, кто обращался къ ней.

Да и всѣ были теперь въ такомъ-же настроеніи. Пока еще дѣло было впереди, думалось и дѣлалось какъ-то спокойнѣе и хладнокровнѣе. Но теперь, когда добыча была въ рукахъ, когда шумъ въ домѣ могъ быть уже услышанъ, жгучее опасеніе пого-ни охватило чувство каждаго. Всякій понималъ, что въ подоб-ныхъ дѣлахъ не бываетъ никакихъ полумѣръ, никакихъ церемо-ній, что опоздай они одну минуту, вооруженная толпа будетъ на ихъ плечахъ. Татаринъ не побоялся выпустить нѣсколько пуль изъ винтовки въ догонку бѣгущимъ, и ужь, конечно, если ему удастся заарканить или подстрѣлить кого-нибудь изъ нихъ, онъ не станетъ дожидаться разбора въ судѣ. Коротка ночная расправа татарина съ грабителями въ пустынномъ лѣсу, въ гор-ныхъ дебряхъ. Дѣло такъ ясно шло о собственной головѣ, что никому не было охоты мѣшкать.

Пяти минутъ не прошло, какъ уже вся партія, сломя голову, неслась лѣсною дорожкой въ горное ущелье, черезъ которое шелъ крутой переваль на берегъ моря.

Всякій думалъ о себѣ и неистово погонялъ коня, не заботясь о томъ, кто останется сзади. Только Сергѣй, полный опасенія за Анну и не надѣясь особенно на бѣгъ ея Ласточки, не отдѣ-лялся отъ нея. Онъ понималъ, что съ минуты на минуту можетъ понадобится его рука.

Евгеній очутился сзади всѣхъ, потому что онъ меньше всѣхъ думалъ о томъ, что будетъ, и былъ слишкомъ переполненъ тѣмъ, что уже случилось. Онъ не замѣтилъ, какъ всѣ по очереди обго-нали его и скрывались мало-по-малу изъ его глазъ въ черной тѣмѣ, окружавшей лѣсную глушь.

Однако, какъ ни былъ онъ поглощенъ своими думами и какъ ни разсѣянно относился онъ ко всему, что видѣлъ и слышалъ, ухо его съ инстинктивнымъ безпокойствомъ прислушивалось въ странному глухому шуму, который сталъ все явственнѣе разда-ваться сзади него, съ полчаса спустя послѣ отъѣзда ихъ.

Сначала Евгеній не обращалъ на него вниманія, принимая его за топотъ копытъ отставшихъ товарищей, но потомъ сталъ вспо-минать, что товарищи его какъ-будто всѣ уже давно проѣхали мимо и далеко опередили его. Эта мысль иглою кольнула его въ сердце и заставила совѣмъ очнуться. Да, теперь все ему

стало ясно. Онъ отсталъ отъ своихъ на дорогѣ, которой вовсе не зналъ и которой слѣдовъ почти не было видно. Сзади, по всѣмъ вѣроятностямъ, его нагонялъ Темиръ-Кая съ своими челядинцами.

Вздрыгнувъ отъ ужаса, Евгенийъ ударилъ плетью черезъ голову своего коня и, несмотря на темноту, помчался, какъ угорѣлый. На всякомъ шагу конь могъ полетѣть со всѣхъ четырехъ ногъ, потому что при быстротѣ его бѣга и при темнотѣ ночи даже лошадиному глазу невозможно было разглядѣть всѣхъ камней и неровностей скалистой тропинки. Къ счастью, дорога шла наизволокъ, поднимаясь къ перевалу. Только искры частымъ дождемъ вылетали изъ-подъ стальныхъ подковъ свакуна, высѣваемые словно кресаломъ изъ кремнистыхъ камней дороги...

Не одинъ, однако, Евгенийъ прислушивался къ топоту лошадей позади. Чуткое ухо Бегира поймало раньше Евгения эти зловѣщія звуки, хотя Бекиръ былъ версты на двѣ впереди. Онъ окрикнулъ Свириденку, бывшего къ нему ближе всѣхъ.

— Яманъ, юсь-баши! сказалъ онъ тревожно. — Бѣй за нами гоняль...

Свириденко остановилъ коня и прислушивался.

— Много-ли ихъ, чертовой матери? Какъ думаешь? спросилъ онъ сурово.

Бекиръ тоже остановилъ коня, нагнувъ ухо и тоже прислушивался.

— Много!.. сказалъ онъ еще озабоченнѣе.

— Пятеро, такъ еще ничего, а коли десять—плохо!.. замѣтилъ Свириденко. — Будетъ десять, какъ думаешь?

— Вотъ постой! сказалъ Бекиръ и вдругъ, выпустивъ поводья, свалился на землю. Конь его не трогался съ мѣста.

— Ну, что? нетерпѣливо спросилъ Свириденко, пока Бекиръ молча лежалъ на землѣ, приставъ къ ней ухомъ.

Бекиръ молчалъ и все слушалъ.

— Много, что-ль?.. Будетъ десять?..

— Десять будетъ!.. сказалъ Бекиръ, вставая и быстро поднимаясь на стремена. — Одинъ впереди... шибко гоняль... другой отсталъ... Теперь не надо плеть жалѣль, юсь-баши: плеть жалѣль — самъ пропалъ!..

— Пстой, да вѣдь за нами еще барунчугъ!.. Можетъ, еще онъ...

— Кто зналъ?.. Нельзя зналъ!.. Бей плетью больнѣе! торопливо и испуганно говорилъ Бекиръ, со всего плеча полосуя плетью своего коня.

Свириденко ударилъ своего, стараясь не отстать.

— А, бисовы хлопцы, ворчалъ онъ сердито, — спохватились заразь, не дали пѣреду забрать!.. Да и кони-жь у нихъ!.. И то сказать, наши наморенные, а они прямо съ корму!..

Они не успѣли сдѣлать ста шаговъ, какъ впереди ихъ остановилъ Сергѣй.

— Ты чуешь, панъ? Погона!.. сказалъ онъ, весь встревоженный. — Какъ это они встревулись такъ скоро?.. Вѣдь дѣло дрянн!.. Нагонять!..

— Дѣло плевка не стѣить!.. Скверность одна!.. пробормоталъ Свириденко. — Бекиръ слѣзалъ, слушалъ, сказываетъ, хлопцевъ богато... Душъ съ десять!..

— Знаешь что: намъ ѣхать дальше нельзя!.. рѣшительно объявилъ Сергѣй.

— А якъ-же такъ? разинулъ ротъ Свириденко.

— У нихъ лошади свѣжія, все равно нагонять на перевалѣ... Шутка-ли въ гору скакать столько верстъ!.. Побьютъ насъ по одиночкѣ ни за понюшку табаку... Дѣвку отнимутъ, и баба моя пропадетъ... Такъ нельзя!.. Надо остановить ихъ...

— Тѣхъ-то хлопцевъ остановить? съ недоумѣніемъ переспросилъ Свириденко.

— Больше ничего не придумаешь. Я приказалъ Ахмету лѣтѣть, что есть духу, домой, Анна будетъ съ нимъ. А мы хоть на часокъ задержимъ погоню... Вѣдь все равно безъ драки не обойдется... Чѣмъ подставлять подъ пулю затылокъ, лучше ужъ прямо лобъ подставить!..

— И то дѣло! раздумывалъ Свириденко, которому этотъ планъ показался благоразумнымъ. — Заложемъ куда-нибудь въ камень, да и станемъ въ нихъ съ флинтъ поукивать... За камнемъ-то и пуля не сейчасъ укусятъ... Какъ ты объ этомъ смекаешь, умная башка? обратился онъ къ Бекиру.

— Ага хорошо сказалъ... Какъ сказалъ ага, такъ надо дѣлать!.. серьезно подтвердилъ Бекиръ. — Часъ въ камень сидѣть,

два часа сидѣлъ, конь отдыхалъ, — ханымъ далеко ѣхалъ, ханымъ ушелъ...

— Я нарочно остановился здѣсь, панъ, перебилъ его Сергѣй. — Тутъ сейчасъ такая тѣснина, что одинъ десятерыхъ не пропустить... и объѣхать некуда: скала на скалѣ... Я давно знаю это мѣсто...

— Такъ, такъ... ага правда сказалъ... одобрялъ Бекиръ. — То Темиръ-Капу... Темиръ-Капу крѣпка мѣсто... хорошъ мѣсто... Темиръ-Капу сидѣлъ, никого не пускалъ...

— Тсс... Постой... вто-то близко скачетъ... Хватить его развѣ изъ винтовки, чтобъ осадить немножко... взволнованно сказалъ Сергѣй.

— Чуръ тебя!.. засмѣялся Свириденко. — Да то-жь брате-некъ твой!.. Ото удираетъ!.. Почуялъ татарву!..

— Въ самомъ дѣлѣ, должно быть, онъ, спохватился Сергѣй. — Я совсѣмъ забылъ объ Евгеніѣ. Изъ ума вонъ. Такъ вотъ насъ и четверо!.. Въ четыре ружья отсидимся какъ-нибудь...

Евгеній едва успѣлъ остановить своего коня передъ самимъ носомъ Бекира. Онъ былъ внѣ себя отъ страха и безпокойства, не зная ничего о своихъ, не зная даже, по настоящей ли дорогѣ ѣдетъ онъ, и мучительно ощущая всякимъ нервомъ своимъ топотъ настигавшей его погони.

— Они за мною, они сейчасъ за мною! кричалъ онъ впопыхахъ. — Они сейчасъ будутъ здѣсь... Ихъ цѣлая толпа... Мы пропали...

— Ну, причитывай! недовольно крикнулъ Сергѣй. — Слѣзай живѣе съ коня, да берись за ружье... Мы засадемъ на дорогѣ и остановимъ ихъ...

— А!.. Вотъ это отлично!.. Коли пропадать, такъ ужъ съ оружіемъ въ рукахъ! внезапно измѣнившимся голосомъ произнесъ Евгеній, быстро слѣзая на землю. — Мы во всякомъ случаѣ дорога продадимъ имъ свою жизнь... А гдѣ Фатъма, гдѣ сестра?

— Они недалеко... Надо имъ дать время уѣхать... Надо подольше задержать погоню... А тамъ что будетъ!..

— Отлично, отлично! повторялъ Евгеній, стараясь ободрить самъ себя, хотя сердце его при словахъ Сергѣя стало биться, какъ пойманная птица въ рукахъ. — Не пропадать-же, въ самомъ дѣлѣ, какъ зайцу на травлѣ!.. Слава Богу, что они не нагнали

меня. Теперь если и придется сложить голову, то все-таки въ честномъ бою...

На душѣ у него сдѣлалось вдругъ такъ трогательно и такъ горько, и онъ сказалъ самъ себѣ:

„Да, пусть она узнаетъ, какъ я ее люблю!.. Пусть всякій знаетъ, что я положилъ за нее жизнь“!..

Руки и ноги его слегка дрожали отъ необыкновеннаго волненія, охватившаго все его существо, но онъ старался крѣпиться и казаться совершенно спокойнымъ.

„Зачѣмъ мнѣ жизнь, когда Фатъма не будетъ моею? думалъ онъ внутри себя. — Я жилъ для нея и умру для нея“.

Между тѣмъ всѣ поспѣшно размѣщались между камней по обѣимъ сторонамъ узкой и глубокой тѣснины, обставленной отвѣсными скалами, и Сергѣй тихонько сговаривался съ Свириденкою и Бекиромъ, какъ дѣйствовать имъ. Самъ онъ съ Евгеніемъ засѣлъ въ глубокихъ провалахъ скалы, на лѣвой сторонѣ дороги.

— Слушай, панъ, смотри-же, вали первый, тихонько перекрикивался онъ съ товарищами, уже совсѣмъ усѣвшисъ въ засаду и наладивъ половчѣй свое ружье прямо на дорогу.

Лошадей они загнали за себя, въ чашу лѣса, а на узкую дорожку передъ собою сбросили съ боковыхъ скалъ нѣсколько большихъ камней, загородившихъ путь.

— Теперь молчи, ага, теперь не надо говорить, надо слушай, строго прошепталъ Бекиръ съ той стороны дороги.

Въ наступившемъ молчаніи, среди черной темноты, какъ то зловѣще раздавались топотъ и фырканье быстро мчавшихся лошадей, съ каждымъ шагомъ слышавшіяся все ближе и ближе.

— Приударъ коня, Темиръ-ханъ! Онъ теперь близко; мы не дадимъ ему на цѣлый часъ доѣхать до перевала, говорилъ по-татарски чей-то запыхавшійся голосъ. — Право, если-бы не ты со своими пустыни страхами, я-бы давно уже держалъ за горло этого негодяя.

— Нельзя, нельзя, Ибрамъ-бей! Ты молодой, а я старый волеъ. Мнѣ не въ первый разъ встрѣтить опасность, отвѣчалъ хриплый голосъ Темиръ-хана;—по этой дорогѣ лошадь на каждомъ шагу можетъ сломать шею. Къ тому-же проклятый воръ можетъ притаиться гдѣ-нибудь подъ дорогомъ, и въ темнотѣ мы можемъ проѣхать мимо.

— Помилуй, ханъ! недовольно возражалъ Ибрамъ-бей. — Развѣ мы не слышали сейчасъ топотъ его копытъ, почти передъ самыми нашими носомъ? Онъ только не болѣе какъ четверть часа опередилъ насъ, а то благодаря твоей излишней осторожности. Чего кошкѣ бояться мыши, за которую она гонится, скажи ради Аллаха?

— Мы такъ поймаемъ его вѣрнѣе, положишься на меня, Ибрамъ-бей, съ неувѣренностью оправдывался Темиръ-Кая. — Лошадь его не можетъ быть такъ свѣжа, какъ наши, а переваль врутъ. Только, клянусь тебѣ, Ибрамъ-бей, что проклятый воръ не увидитъ завтрашняго солнца. Если ты боишься отвѣта, то лучше отстань отъ меня и не смотри на то, что совершится. Кто-бы ни былъ онъ, я не взгляну въ его глаза и не окажу ему никакой жалости. Я убью его на поваль, какъ пастухъ убиваетъ волка, укравшаго лучшую овцу его стада.

— Торопись, торопись, въ такомъ случаѣ, Темиръ-ханъ! съ нетерпѣніемъ перебилъ его Ибрамъ. — Кто хочетъ достигнуть своего врага, тотъ не долженъ давать ему даже одной минуты роздыху. А мы съ тобою даже перестали слышать звуки его копытъ.

Говорившіе голоса приблизились теперь къ тѣснинѣ настолько, что уже можно было различить темныя очертанія быстро подвигавшихся фигуръ.

Вдругъ черная тѣма ночи вдрогнула отъ выстрѣла; огненное зарево освѣтило на мгновеніе голую, угрюмую тѣснину и двухъ всадниковъ у ея подножія, внезапно окаменѣвшихъ на мѣстѣ.

— Спасайся, Ибрамъ, изиѣна! завопилъ Темиръ-Кая, испуганно поворачивая назадъ своего коня. — Разбойники засѣли въ ущелья и перестрѣляютъ насъ всѣхъ.

Слышно было, какъ Ибрамъ-бей тоже поворотилъ своего коня и съ проклятіями пытался удержать скакавшаго назадъ хана.

— Остановись, Темиръ-ханъ, отчаянно кричалъ онъ сзади, — чего ты испугался ружейнаго выстрѣла? Вѣдь тамъ, можетъ быть, одинъ человѣкъ, а у насъ восемь. Вернись ради Аллаха, не срами своей бороды! Или у меня, а не у тебя украли молодую жену?

Повидимому, Темиръ-Кая наѣхалъ на своихъ людей и рѣшился остановиться.

Его хриплый голосъ приближался опять по дорогѣ, сопровождаемый криками и бранью толпы татаръ.

— Постарайтесь мнѣ схватить его живымъ, этого вора и разбойника, увѣщевалъ онъ своихъ челядинцевъ; — онъ чуть чуть не угодилъ меня въ лобъ, такъ я близко наѣхалъ на него! Еслибъ не испугалась проклятая лошадь, я-бы раздавилъ его, какъ ящерицу.

— Ну, впередъ, Али-Сейдъ, не робѣй! Веди своихъ смѣлѣе! Каждому малому дамъ по горсти серебра. Нечего его бояться, этого труса, что забился ночью подъ камни, какъ заяцъ. Клянусь, онъ еще не успѣлъ зарядить своей винтовки послѣ выстрѣла, и вы его накроете, какъ птицу сѣтью.

— Смѣлѣе за мною! крикнулъ Ибрамъ. — Не давайте ему времени выстрѣлить другой разъ! Бросайся на лѣво, Али-Сейдъ, а я обшарю справа.

Темная, высокая фигура Ибрама-бея обозначилась у входа въ ущелье. Онъ гналъ своего коня, чтобы скорѣе проскочить тѣсное мѣсто. Густая толпа татаръ скакала слѣдомъ за нимъ. Свириденко уже опять успѣлъ зарядить ружье, и у него были готовы оба ствола.

— Не бей въ человѣка, цѣлься въ коня! шепнулъ ему потатарски Бекиръ.

— Цѣлься въ коня, Евгений, не попади въ человѣка! словно по сговору прошепталъ Сергѣй, на другой сторонѣ дороги. — Посмотри, если мы не разгонимъ ихъ, какъ стаю собакъ пустыми выстрѣлами.

Четыре выстрѣла грянули разомъ и сейчасъ-же вслѣдъ за ними еще два. У Сергѣя и Свириденки были двухъ-ствольныя ружья. Съ крикомъ ужаса шарахнулись назадъ челядинцы Темиръ-хана, давя другъ друга въ невообразимомъ переполохѣ и стараясь обогнать одинъ другого.

Среди шума и смятенья слышно было, однако, какъ тяжело рухнулъ на землю чей-то конь.

— А, будь проклять тотъ часъ, въ который я сѣлъ на моего Араба! съ отчаяніемъ кричалъ въ темнотѣ голосъ Ибрамъ-бея. — Лучше-бы онъ застрѣлилъ меня самого, чѣмъ его. Давайте-же мнѣ лошадь, трусливые ослы! Слышишь-ли, что я безъ лошади, Темиръ-ханъ? Или вы меня хотите оставить въ рукахъ

этихъ разбойниковъ, холопское сѣмя? О, мой бѣдный Арабъ, о, мой прекрасный Арабъ!

Лошадь стонала и покрывала своимъ стономъ голосъ плачущаго Ибрама.

— Уходи прочь, Ибрамъ-бей, бѣги сюда къ намъ, раздался издали взволнованный голосъ Темиръ-Кая; — здѣсь тебя ждетъ лошадь. Не ѣхать-же опять подь выстрѣлы, когда и безъ того мы едва уцѣлѣли! Ты видишь, что ихъ больше насъ; намъ нужно, какъ можно скорѣе ѣхать въ Дуванъ-Юй, къ Арсланъ-мурзѣ. Тутъ всего двѣ версты. Мы возьмемъ у него людей и ружья и успѣемъ захватить ихъ всѣхъ живьемъ.

— О, будь проклять часъ, когда я съ тобою связался! гнѣвно отвѣчалъ ему удалявшійся голосъ Ибрама. — Рука старой женщины надежнѣе въ опасности, чѣмъ твоя. Если-бы не твоя трусость, мы-бы не дали разбойникамъ времени опомниться и перевязали-бы ихъ всѣхъ. Чѣмъ ты воротить мнѣ моего Араба? Въ городахъ Карабаха не рожалось другого такого скакуна. Его кровь благороднѣе твоей собственной, хотя ты и кичишься племенемъ гирѣвнымъ.

— Перестань плавать, какъ ребенокъ, и садись скорѣй на коня, бей, виѣшался чей то суровый голосъ; — намъ нечего тутъ ждать, пока насъ перестрѣляютъ, а нужно скорѣе ѣхать за помощью и оцѣпить кругомъ разбойниковъ.

— Плюю я на всѣхъ васъ и на вашу проклятую затѣю, горячился Ибрамъ-бей. — Никогда больше нога моя не переступить твой порогъ, Темиръ-Кая-ханъ, и никогда мое ухо не будетъ больше слушать твоихъ льстивыхъ и хвастливыхъ рѣчей. Я привыкъ вести дружбу съ мужами, которыхъ слова крѣпки, какъ ихъ сердце, а не съ трусливыми бабами, которые повидѣютъ въ бою своихъ товарищей.

Голоса удалялись все больше и больше въ темнотѣ.

— Зачѣмъ ты меня срамишь и ссоришься? запальчиво отвѣчалъ Темиръ-Кая. — Развѣ я виноватъ, что пуля негодяя убила твоего скакуна? Ты самъ похожъ не на благороднаго мурзака, а на жидка, которому жалко своего добра пуще своей жизни и своихъ друзей. Подумай лучше, какъ наказать этихъ разбойниковъ. Я сейчасъ пошлю Али-Сеида въ Орта-Каралезъ къ становаму приставу, а мы съ тобой поѣдемъ къ Арсланъ-мурзѣ

который намъ охотно поможетъ. Мы поднимемъ на ноги всѣ деревни кругомъ и не позднѣе разсвѣта поймемъ всю шайку. Не будь я Темиръ-Кая-ханъ, бей солкатскій, если я не сдѣлаю этого.

— Оставь людей сторожить ихъ здѣсь, ханъ, а то они уйдутъ, и мы не найдемъ ихъ слѣда, опять виѣшался суровый голосъ, повидимому, принадлежавшій Али-Сеиду.

— И то надо подумать... Отѣдемъ отъ нихъ подальше, чтобы шальная пуля не задѣла кого-нибудь, и посоветуемся тамъ хорошенько.

Голоса удалились настолько, что невозможно было явственно разслышать словъ; только слышно было, что Ибрамъ-бей не успоковался и не соглашался ѣхать съ ханомъ.

Слышно было также, что вся толпа, проѣхавъ съ сотню сажень, остановилась и спѣшилась...

— Слушай, ага! вдругъ прощенталь Бекирь, неслышно, какъ змѣя, переползая на четверенькахъ дорогу. — Скорѣе на конь... Она болталь, мы ѣхаль... далеко ѣхаль... Она до свѣту ждалъ... никого нема!.. Вотъ и Арсланъ-мурза помогаль!..

— Это дѣло... только потише, сначала шагомъ, чтобы не было слышно, сказалъ Сергѣй, быстро вставая виѣстѣ съ Евгениемъ и безшумно бросаясь въ лѣсъ, гдѣ ждали ихъ лошади.

— Три версты ѣхаль, на гора не поѣхаль, а ѣхаль въ Енисала... право взялъ на Янкой-Богазъ... Тамъ близко Адамъ-Чокракъ, шепталь ему между тѣмъ Бекирь, не отставая отъ него. — Она ѣхаль прямо, мы ѣхаль право... Она думаль Узель-Богазъ, мы ѣхаль Янкой-Богазъ...

Только къ разсвѣту Темиръ-Кая-ханъ съ Арсланъ-мурзою и его людьми, забравъ съ собою ружья, пистолеты и кинжалы, успѣли добраться до Темиръ-Капу.

Пока будили мурзу, пока поднимался и снаряжался сонный народъ, пока сбѣгали въ лѣсъ за лошадьми, прошло много времени. Ибрамъ-бей удалось-таки хану уговорить не покидать дѣла, послѣ того, какъ онъ обѣщаль ему новаго коня вмѣсто Араба. Онъ ѣхаль теперь въ головѣ всей экспедиціи, молча и внимательно обдумывая, какъ-бы лучше отплатить негодяямъ, убив-

шимъ его Араба, и какого-бы коня выпросить взамятъ изъ знаменитыхъ табуновъ богача Темиръ-Кая. Не доѣзжая ста шаговъ до тѣсины, они нашли пятерыхъ челядинцевъ Темиръ-хана, спавшихъ вѣривимъ своимъ около осѣдланныхъ лошадей, смиренно пасшихся въ росистой травѣ лѣса. Одинъ изъ нихъ сидѣлъ поодаль, на самой дорогѣ, въ позѣ часового, съ ружьемъ наготовѣ...

— Ахъ вы, волчье мясо! неистово закричалъ на нихъ Ибрамъ, чуть не наѣзжая копытами на спящихъ. — Такъ-то вы караулите!

Часовой вскочилъ на ноги и подбѣжалъ къ хану.

— Будь покоенъ, ханъ... Мы караулили всю ночь и не дали ужу проползти... Еслибы хоть одна подкова звякнула о камень, я-бы поднялъ своихъ ребятъ, и мы бы потянулись потихонку слѣдомъ за ними... Но оттуда никто не выѣзжалъ и не выходилъ съ тѣхъ поръ, какъ мы стали караулить... Убей меня Аллахъ на этомъ мѣстѣ, если я говорю неправду!.. Или они всѣ позаснули, или уже тамъ не было никого, когда ты насъ поставилъ сюда...

— Всѣ вы лѣнливы, какъ ослиное брюхо, и ни на кого мнѣ нельзя положиться! съ негодованіемъ вскрикнулъ Темиръ-Кая. — Ты даже не слыхалъ, какъ мы наѣхали на васъ, и видѣть Аллахъ, я жалѣю, что не растопталъ васъ всѣхъ, негодяи, копытами своего коня... Что мудренаго, если разбойники ушли у васъ изъ-подъ носу? Я удивляюсь еще, какъ они не стащили съ васъ шароваръ...

— Клянусь тебѣ Аллахомъ, ханъ, я слышалъ каждый вздохъ человѣка и полетъ птицы на сто шаговъ вокругъ...

— Ну, ну, къ шайтану!.. Обломаю на тебѣ всю плеть, если ты выпустилъ ихъ... А что, Али-Сеидъ не пріѣзжалъ?.. Есть отвѣтъ отъ станового?..

— Никто не пріѣзжалъ, ханъ, и никто не отбѣхалъ отсюда даже одного шагу, твердилъ перепуганный часовой.

Арсланъ-мурза, старый громоздкой мурзакъ, темный, какъ бронза, съ сердитыми сѣдыми усами, распорядился между тѣмъ, какъ охватить ущелье. Днемъ было возможно сдѣлать то, на что нельзя было отважиться ночью. Спѣшившіеся люди съ ружьями полѣзли осторожно на скалы, окаймлявшія дорогу, обходя тѣснину

и высматривая съ высокихъ мѣстъ, гдѣ скрывается засада. Самы же мурзави съ остальнымъ народомъ стояли верхами внизу, на дорогѣ, готовясь по первому знаку ворваться въ ущелье. Лошади испуганно косились и фыркали на трупъ Араба, лежавшаго посреди дороги.

— Что? Видать вамъ? крикнулъ Ибрамъ, соскучившись ожиданіемъ и нетерпѣливо слѣдя глазами за слишкомъ уже осторожными движеніями нѣшихъ стрѣлковъ, которые теперь влѣзли на самый гребень скалъ.

— Никого нѣтъ! Ни одной души не видать!.. Въѣзжайте смѣло! крикнули ему въ отвѣтъ справа и слѣва.

Ибрамъ тронулся первый, держа на-готовѣ винтовку и приставъ на стремяна, чтобы лучше видѣть по сторонамъ. Затѣмъ, тѣмъ-же осторожнымъ шагомъ двинулся Арсланъ-мурза со всею толпою.

— Какъ только покажется чья-нибудь голова, пали, все разомъ... въ мою голову! Я отвѣчаю за все! горячился Темиръ-Бая, старавшійся незамѣтно втиснуться конемъ между грузнымъ мурзою и такимъ-же толстымъ прикащикомъ его.—А если побѣжитъ, въ арванъ его... заторочимъ, какъ зайца!..

Ничья, однако, голова не показывалась, и никого бѣгущаго не было видно.

— Вотъ тебѣ на! съ досадою крикнулъ Ибрамъ.—Твои люди на смѣхъ намъ сдѣлали, Темиръ-ханъ... Вѣдь бездѣльники ушли... Эй, вы тамъ, видать, что-ли, кого? Глазѣй въ оба!..

— Никого нѣтъ, Ибрамъ-бей! Намъ все, какъ на ладони, видать! отвѣчали люди, спускавшіеся по скаламъ.

— Вотъ и логово ихъ, трава примята, кисеть съ табакомъ кто-то забылъ!.. крикнулъ передовой, уже успѣвшій сбѣжать на самый край дороги. — Кисеть татарскій... два патрона пустыне... Ушли, черти...

— Ахъ вы, дьяволы мѣшки! Постою, пріѣду домой, обдеру я васъ! бѣсился Темиръ-Бая. — Одного часу укараулить не могли.

— Дѣлай съ нами, что хочешь, ханъ, а только отсюда никто не въѣзжалъ! твердили дружно караульнѣе.—Если то былъ человекъ, а не шайтанъ, то онъ не могъ двинуться шагу, чтобы мы не услышали!..

— Постоите, постоите, я васъ научу, какъ впередъ караулить, шайтаново отродье!

— Что-жь ждаты-то, Арсланъ-мурза? Можетъ быть, эти собаки еще недавно уѣхали, и мы ихъ догонимъ...

— Не такимъ, какъ ты, догонять, Темиръ-Кая, и не такимъ, какъ твои молодцы, сердито отвѣчалъ Арсланъ-мурза.— Поднял ты весь мой домъ вверхъ дномъ и не успѣлъ увараулить зайца... Буда-жь теперь искать вѣтра въ полѣ?

— Они теперь не дальше Узель-Богазъ, мурза, и я клянусь тебѣ, что мы ихъ нагонимъ прежде, чѣмъ они перевалятъ черезъ Яйлу. Кони ихъ наморены, а наши свѣжи... Къ тому-жь теперь день, и всякій человѣкъ укажетъ намъ ихъ путь... Не будь я Темиръ-Кая-ханъ, бей солкатскій, если мы...

— Ну, полно вляться, ханъ! перебилъ его разгнѣванный Ибрамъ-бей. — Какъ только слышу твою клятву, такъ и знаю, что ничего путнаго не выйдетъ... Теперь, конечно, раздумывать нечего, а скорѣе пускаться въ погоню... Нагонимъ или нѣтъ — будетъ видно... Надо гнать до перевала, Арсланъ-мурза...

— Гнать, такъ гнать! Выѣхали, такъ нужно дѣло до конца дѣлать, недовольнымъ голосомъ согласился Арсланъ-мурза. — Только все это по-бабьему, а не по-моему... Срамъ одинъ... А ничего не выйдетъ... Нѣтъ, Темиръ-Кая, хотя ты мнѣ и сосѣдъ, а скажу правду, — тотъ молодчикъ, что твою жену выкралъ, полочтѣе тебя... Тебѣ видно только со старухами справляться!..

Темиръ-Кая притворился, что не слышитъ разсужденій пріятеля, и сталъ торопиться отдавать приказаніе своимъ людямъ.

Въ Узель-Богазѣ имъ сказали, что съ ранняго утра не проѣзжалъ ни одинъ человѣкъ ни съ перевала, ни на перевалѣ.

— Ну, что-жь будемъ дѣлать теперь? Вѣдь надо спускаться по ту сторону! сказалъ въ раздумьи Темиръ-Кая. — Я прозакладую, что хотите, что разбойники перевалили ночью на морской берегъ.

— Нѣтъ, знаешь что, Темиръ-Кая-ханъ? рѣшительно отвѣчалъ ему Арсланъ-мурза. — Я поѣхалъ за тобой, не сказавъ ни слова, со всѣми своими людьми, пока думалъ, что изъ этого дѣла что-нибудь выйдетъ... Но теперь я вижу, что мы играли въ ребячьи

игрушки, а я старъ играть въ нихъ... Пусть Ибрамъ-бей дѣлаетъ, какъ знаетъ, а я прикажу своимъ возвращаться домой... Добраго пути тебѣ, ханъ, и добраго успѣха въ поискахъ... А я тебѣ не товарищъ...

Онъ повернулъ коня и сталъ собирать свой народъ.

— Я тоже ѣду домой, Темиръ-ханъ, объявилъ Ибрамъ, заворачивая коня. — Ты уже послалъ за становымъ, таеъ и пусть ищетъ полиціа... Мурзакамъ тутъ дѣлать нечего. Когда было дѣло, ты самъ не хотѣлъ его дѣлать. Прощай, дай тебѣ Аллахъ удачи... Завтра я приѣду выбирать коня...

— Погодите мурзы, ради Аллаха! Давайте еще пройдемъ только до Кизиль-Баша. Въ Кизиль-Башѣ навѣрное ихъ видѣлъ всякій мальчишка, потому что они не могли попасть туда раньше утра, умолялъ пріятелей Темиръ-Кая.

— Нѣтъ, нѣтъ, Темиръ-ханъ, поѣзжай одинъ, коли тебѣ хочется, а намъ что-же попусту ловить въ полѣ вѣтеръ? отвѣтилъ Ибрамъ, отъѣзжая вслѣдъ за удалившимися людьми Арсланъ-мурзы.

— Таеъ что-же это такое, мурзы? растерянно говорилъ Темиръ-Кая, раздвинувъ свои коротенькія руки и не зная, на что рѣшиться. — Таеъ вы меня покидаете на полдорогѣ, не возвративъ мнѣ моей потери и не отомстивъ за мою поруганную честь?.. Вы, стало быть, хотите, чтобы я уступилъ доброй волей разбойнику свою молодую жену, которая мнѣ досталась послѣ столькихъ трудовъ и расходовъ, которую я дожидался цѣлыхъ два года... мою красавицу Фатьму, лучше которой никогда не видалъ глазъ мужчины... Это кровная обида для меня, мурзы, — обида, которой я никогда не забуду и которой я меньше всего могъ ждать отъ васъ, старыхъ сосѣдей и пріятелей...

Но ни Ибрамъ, ни Арсланъ-мурза уже не слышали сѣтованій Темиръ-Кая. Они спѣшили домой, полные досады, и погоняли нещадно своихъ коней...

— Что-жъ! Когда всѣ бросили меня, когда никто не хочетъ помнить хлѣбосольства и благодареній Темиръ-Кая-хана... что-же буду дѣлать я одинъ?.. жалобно припѣвалъ Темиръ-Кая, стоя безнадежно среди своихъ челядинцевъ. — Пстой! Я припомню вамъ это, мурзы... Понадобится и вамъ Темиръ-ханъ!.. Пстойте и вы, собаки! обратился онъ вдругъ злобно къ своимъ карауль-

нимъ. — Это все ваши дѣла... Я выдѣлаю ваши шкуры лучше бахчисарайскаго сафьяна! Чего глаза пялите? Или не слышите?.. Назадъ, шайтаново отродье!.. Живо у меня назадъ!.. Переберу я теперь всѣхъ васъ... Тутъ не обошлось безъ вашей помощи. Тотъ вы и караулили такъ!.. Вы всѣ за одно, собаки, вы всѣ ненавидите своего хозяина, всѣ готовы продать его... Вотъ вы чѣмъ платите за мое добро!.. Живо гони... прямо въ становому въ Орта-Каралезъ... Проклятый Али-Сеидъ, должно быть, до сихъ поръ спитъ у него... Не будь я Темиръ-Кая-ханъ, бей солкатскій, если я не обломаю объ него не только плети, но и всей рукоятки...

Челядинцы хана испуганною и безпокойною толпою старались не отставать отъ ругавшагося Темиръ-Кая, который то и дѣло крестилъ свою мчавшуюся лошадь нагайкою черезъ лобъ.

XIX.

Якубъ.

Невѣсть что приключилось съ Якубомъ: вскочилъ онъ ночью, какъ полоумный, и такъ дернулъ за руку свою старую жену Зулейку, что она съ просонья подумала, будто летитъ кубаремъ съ глиняной крыши, на которой она часто спала лѣтомъ.

Вскочила Зулейка и видитъ: въ полутьмѣ сидитъ ея Якубъ съ ногами на подушкѣ, охвативъ колѣна руками, и трясется, какъ въ лихорадкѣ.

— Что ты, Якубъ-оглу? Чего ты не спишь на своей постели, какъ добрые люди? спросила удивленная Зулейка. — Ты толкнулъ меня такъ, что я чуть со страху не умерла...

— А! Ушелъ.. ушелъ... теперь ушелъ! шепталъ будто обезумѣвшій Якубъ, неподвижно вперивъ глаза въ одну точку. Зубы его стучали другъ о друга, такъ-что Зулейкѣ было слышно...

— Что ты, что ты, Аллахъ съ тобою! еще испуганнѣе закричала Зулейка. — Проснись, мужъ мой! Это я, Зулейка... видишь-ли ты меня?..

— Теперь ушелъ... а лягу—онъ опять придетъ... Ужь знаю, что придетъ... Уходи совсѣмъ отъ меня! взвизгнувъ онъ вдругъ дивнымъ голосомъ. — Я не виноватъ въ твоей крови... Иди къ

тѣмъ, кто были твоими убійцами... Скитайся около ихъ порога, мучай ихъ во снѣ! Оставь меня ради вездѣсущаго Аллаха! Чего смотришь на меня страшными глазами?.. Чѣмъ виновать я?..

— Опомнись, Якубъ-оглу, приди въ себя, какъ подобаешь мужу, дрожащимъ голосомъ уговаривала Зудейка, которая теперь сама стала трестись всѣмъ тѣломъ. — Если ты видѣлъ страшное видѣнье, открой глаза — и сонъ исчезнетъ. Слышишь-ли ты мой голосъ? Это твой собственный домъ, Якубъ-оглу, и твое ложе... Кто можетъ сдѣлать тебѣ что-нибудь вредное въ твоемъ домѣ?

— Это лѣсъ, лѣсъ... Что ты толкуешь мнѣ; развѣ я не вижу? продолжалъ бредить Якубъ. — Или ты думаешь, я спалъ эту ночь? Нѣтъ, я все хорошо видѣлъ и все помню... Чего-же онъ выглядываетъ на меня изъ-за того дуба и показываетъ мнѣ свою кровь? Развѣ я убилъ его?.. Его страшные глаза стоятъ вездѣ передо мною, словно вся ночь полна ими... Я нигдѣ не нахожу отъ нихъ покоя... Прогони ихъ, спаси меня отъ нихъ... Не могу я больше выносить... Лучше-бы мнѣ было умереть около востра вмѣстѣ съ нимъ, чѣмъ терпѣть такое мученье...

— Проснись ради Аллаха, мужъ мой, и прочти молитву пророка... Никого тутъ нѣтъ передъ тобою, кромѣ твоей старой жены... Не хочешь-ли, я вздую огонь?

— Развѣ я хотѣлъ его жечь? съ жалкимъ всхлипываніемъ рассуждалъ между тѣмъ трепетавшій Якубъ. — Я просилъ муллу лучше убить меня... Когда онъ посмотрѣлъ на меня съ востра своими мертвыми глазами, я зналъ, что онъ не проститъ мнѣ... Но я не убилъ его... я не убилъ... Они убили его...

— Про кого говоришь ты, Якубъ-оглу? чуть перевода духъ, дрожа, какъ осиновый листь, спросила Зудейка.

— Ой, прогони, прогони! Уйди отъ меня ради Аллаха, заклиная тебя! вопилъ Якубъ, взвизгивая будто отъ боли и отмахиваясь отъ кого-то руками. — Вонъ онъ опять сидитъ въ углу... онъ опять пришелъ меня мучить.

— Кто, кто? Откройся мнѣ, мужъ мой, облегчи свое сердце, настаивала Зудейка, полуживая отъ страха.

— Черный попъ, черный попъ! стоналъ Якубъ, забиваясь подъ подушку и закрывая лицо руками.

Только въ самому утру успокоился и забылся сномъ старый Якубъ.

Когда онъ пришелъ въ обѣдъ къ Зулейкѣ похлевать жидкой просяной каши, старуха сказала ему:

— Или на твоей совѣсти лежитъ какое-нибудь черное дѣло, старый, или злой человекъ околдовалъ тебя. Тебя нонче ночью такъ мучилъ шайтанъ, что я думала не дожить до утра отъ страха. Тѣло твое спало, а душа твоя безумствовала. Что, если это будетъ каждую ночь? Я убѣгу отъ тебя такъ далеко, чтобы ты никогда не нашелъ меня.

— Полно тебѣ врать, старая корга, сердито пробормоталъ Якубъ.— Сама, не бойсь, бредила во снѣ, вотъ и городишь невѣсть что! Не угостилъ-ли тебя водкой твой братъ кафеджи, къ которому ты таскаешься каждый вечеръ, покидая домашнія работы?

— У такого богатаго хозяина, какъ ты, разживешься водкой, какже! бранчливо защищалась Зулейка. — Хоть кафеджи и братъ мнѣ, а тоже даромъ не надается. У тебя въ домѣ и ковша воды не всегда бываетъ, не то что водки. Удивляюсь, право, какъ это я терплю такъ долго и давно не бросила тебя, какъ старую тряпку! Лучше служить служанкою у богатаго хозяина, чѣмъ быть женою нищаго лѣнтыя, который не умѣетъ прокормить ни себя, ни дѣтей.

На другую ночь повторилось то-же самое. Въ полночь Якубъ опять вскочилъ и сталъ съ криками метаться на подушкахъ.

— Чего кричишь ты, Якубъ-оглу, кто тревожитъ твой сонъ? спрашивала его опять перепуганная жена.

— Черный попъ, черный попъ! твердилъ Якубъ, дрожа всѣми жилками и весь въ холодномъ поту.

— Гдѣ ты видишь чернаго попа? успокоивала его Зулейка. — Тутъ я одна съ тобою и никого больше нѣтъ. Опомнись и ложись съ Богомъ!

— Черный попъ, черный попъ! не переставалъ въ ужасѣ шептать Якубъ, указывая рукою на уголь. — Развѣ ты не видишь его мертвые глаза?.. Вонъ они глядятъ на меня изъ-за дуба... Чѣмъ закроешь ихъ? Они свѣтятся сквозь дерево и сквозь камень...

— Постой, я зажгу огонь, и ты увидишь, что ничего нѣтъ, сказала Зулейка, стараясь встать, но въ то-же время окованная

страхомъ. — Тебя испортилъ какой-нибудь злой колдунъ, и все это представляется тебѣ во снѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ... что знаешь ты? Оставь, не ходи... О, какъ онъ смотритъ страшно... о, какъ страшно!.. Зачѣмъ ты опять пришелъ ко мнѣ, злой черный попъ?.. Иди къ Аби-Булѣ, кади-эскеру, иди къ Сеиду-хаджи... За что опять меня мучишь? Они убили тебя, а не я...

На слѣдующее утро Зулейка сама разбудила Якуба и сказала ему твердо:

— Слушай, мужъ, теперь ужъ я знаю навѣрное, что на сердцѣ у тебя... Не таишь отъ своей жены и Расскажи мнѣ все. Всѣ знаютъ, что чернаго попа убили кади-эскеръ съ хаджи-Сеидомъ, хотя никто не смѣетъ этого говорить... Но ты тоже убилъ его вмѣстѣ съ ними...

Вскочилъ, какъ разъяренный звѣрь, на ноги Якубъ-оглу и ухватилъ старую жену за ея сѣдня космы.

— Тебя, видно, не отбучишь вратъ иначе, какъ дубиной, приговаривалъ онъ, таская по полу опрокинутую старуху и колотя ее по чему попало. — погоди, я поучу тебя, и тогда ты заречешься другу и недругу сплетни разносить, старая ворона! Помни мое слово: если ты займешься хоть одному живому человѣку про свои дурацкія бредни, то я удавлю тебя на первомъ суку! Твой проклятый бабій языкъ брехнею своею ни за что погубитъ и меня, и весь нашъ домъ.

Больно и долго колотилъ ее Якубъ и, наконецъ, бросилъ на полу. Старуха даже кричать перестала, только стонала. Цѣлый день нарочно не выходилъ угольщикъ изъ своей землянки — все сторожилъ старуху, чтобы съ-сердцовъ не набрехала чего сосѣдямъ. На третью ночь, не успѣла Зулейка заснуть первымъ крѣпкимъ сномъ, страшный крикъ заставилъ ее вскочить, какъ полоумную, на ноги. Якубъ опять сидѣлъ на корточкахъ, сгорбившись и оцетинившись, словно сведенный судорогой, и въ ужасѣ выставивъ передъ собою распяленные руки, будто отталкивая кого. Крикъ его былъ не похожъ на крикъ человѣка, а напоминалъ какой-то отчаянный предсмертный вой животного.

— Онъ лѣзетъ, лѣзетъ на меня!.. Онъ хочетъ загрызть меня! хрипѣлъ онъ, скрежеща зубами.

Не помня сама себя, Зулейка бросилась, совсѣмъ раздѣтая, на лицу и побѣжала прямо въ кофейнѣ своего брата Абдалы.

— Помогите, помогите! кричала она, неистово стуча въ дверь кофейни.

На-силу успокоили и уложили старую Зулейку въ домѣ Абдалы. Никто не понималъ, что говорила она, и Абдала былъ увѣренъ, что съ сестрою его сдѣлался припадокъ. Но днемъ дѣло стало объясняться. Старуха объявила наединѣ брату, что она не хочетъ возвращаться въ домъ мужа; черный попъ каждую ночь приходитъ на его постель и мучить его такъ, что невозможно ни слышать, ни видѣть. Должно быть, мужъ ея убилъ чернаго попа вмѣстѣ съ кади-эскеромъ и хаджи-Сеидомъ; онъ цѣлую ночь поминаетъ ихъ.

Кафеджи Абдала очень не любилъ своего зятя Якуба за его бѣдность и за его грубость, а еще менѣе онъ любилъ Аби-Булу, кади-эскера, своего давняго и опаснаго врага. Кади-эскеръ былъ его ближайшимъ сосѣдомъ и оттягалъ у него изрядный кусокъ земли; каждую весну онъ обдѣлялъ его водою и пользовался всякимъ случаемъ, чтобы нанести вредъ его торговлѣ и его доброму имени. Поэтому новости сестры пришлись особенно по вкусу Абдалѣ.

Онъ содержалъ кофейню и пирюльню, въ которую иногда заѣзжалъ Свириденко во время объѣзда своего лѣсничества. Свириденко былъ единственнымъ русскимъ, котораго уважалъ кафеджи и считалъ своимъ пріятелемъ. Онъ тотчасъ-же вспомнилъ о немъ, когда выслушалъ горе Зулейки.

— Хорошо, побудь у меня, сестра, а тамъ я устрою дѣло, сказалъ Абдала и, выйдя во дворъ, сейчасъ-же приказалъ работнику сдѣлать боня.

Свириденко удивился немало, увидя буюкъ-тапскаго кафеджи, съ важною и сосредоточенною миною подѣзжавшаго къ его домику.

Онъ сидѣлъ въ это время на крыльцѣ, осматривая гончихъ собакъ, пораненныхъ волкомъ.

— На охоту, что-ли, собрался, Абдала? спросилъ онъ, смѣясь.

— Нѣтъ, дѣло есть... большое дѣло, серьезно объявилъ кафеджи, не спѣша слѣзая съ сѣдла.—Будь здоровъ, всѣ-баши!

Онъ первый протянулъ Свириденкѣ руку и усѣлся важно на лавкѣ, не ожидая приглашенія.

— Сказывай, какое дѣло, разсѣянно говорилъ Свириденко, продолжая свое занятіе и пристально вглядываясь въ рану собаки.

Абдала снялъ свою баранью шапку, вынулъ изъ нея платокъ и отеръ потъ съ раскраснѣвшагося лица.

— Никого чужого нѣтъ? спросилъ онъ, оглядываясь по сторонамъ.

— Никого, ты-же видишь. Что тамъ такое?

— Черный попъ тебѣ другъ былъ, кунакъ?

— Кунакъ.

— Хочешь знать, кто убилъ черного попа? протяжнымъ шепотомъ спросилъ Абдала и опять внимательно оглянулся кругомъ.

Свириденко оттолкнулъ собаку и быстро обратился къ пріѣзжему.

— Ты развѣ свѣдалъ что? спросилъ онъ живо.

— Что Царь дастъ бѣдному кафеджи Абдалѣ, если онъ укажетъ вѣрные слѣды? не отвѣчая, въ свою очередь спросилъ Абдала.

— Что Царь дастъ, про то Царь знаетъ, а я не знаю, съ нѣкоторою досадою отвѣчалъ Свириденко.—Отъ слѣдователя было объявлено, что будетъ за это награда. Самъ знаешь, хлопчуть много, должно, и денегъ не пожалѣють.

— Ты постарайся, всѣ-баши... Я тебѣ всегда пріятель... Въ цирюльню заѣдешь, въ кофейню... Всѣмъ могу услужить... только попроси большихъ начальниковъ... Абдала бѣдный человекъ... Бѣднаго человекъ за хорошую услугу надо хорошо наградить... А я то тебѣ скажу, что сейчасъ все дѣло откроется...

— Вотъ тебѣ Христось, похлопочу! одушевленно перекрестился Свириденко, забывая, что говорить съ татаринкомъ.—Сказывай мнѣ все, а ужъ я постою за тебя.

— Абдала все скажетъ, только самъ Абдала въ сторонѣ... Абдалѣ нельзя будетъ въ Бюкѣ-Ташѣ жить, если татары узнаютъ.

— Никто не узнаетъ, все подъ секретомъ будетъ, торопливо

настаивалъ Свириденко. — Ты, да я, да слѣдователь, а больше никто.

Оглянулся Абдала еще въ третій разъ, посмотрѣлъ даже за дверь въ сѣни, потомъ пригнулся низко къ уху Свириденки и сказалъ:

— Чернаго попа убилъ мой зять Якубъ, да Аби-Була, кади-эскеръ, да Сеидъ-хаджи.

— Якубъ? Что дрова возить? Богъ съ тобою! Гдѣ-жь ему? усомнился Свириденко.

— Слушай, что я говорю. А когда ты больше моего знаешь, то говори самъ! обиженнымъ и рѣшительнымъ тономъ отвѣчалъ кафеджи. — Развѣ такое дѣло можно говорить напрасно? Пусть возьмутъ сегодня-же Якуба и Аби-Булу, и хаджи-Сеида, и завтра вы узнаете все.

Свириденко въ недоумѣніи и раздумьѣ чесалъ затылокъ.

— Хорошо. Наде заразъ ѣхать къ слѣдователю. Онъ въ Бюкъ-Ташѣ у васъ?

— Въ Бюкъ-Ташѣ. Смотри-же, юсъ-баши, не забудь... Абдала бѣдный человѣкъ... Абдала Царю служилъ... А татарамъ скажи: Абдала не видалъ, Абдала не знаю... Смотри-же! Спросишь при всѣхъ — скажу: ничего не знаю, не говорилъ ничего.

Съ тѣмъ и уѣхалъ кафеджи Абдала.

XX.

С л ѣ д с т в і е.

Свириденко часа черезъ два уже былъ у слѣдователя.

Якуба арестовали тотчасъ-же. У него въ домѣ, подъ кучею углей, въ заднемъ углу нашли нѣсколько обгорѣлые русскіе сапоги, которые монахи признали за сапоги игумена. Когда сапоги принесли къ арестованному, онъ вдругъ искривился весь какимъ-то нечеловѣческимъ страхомъ и закричалъ громко:

— А, Я и забылъ про нихъ! Это они меня мучили каждую ночь! Теперь все равно, я пропалъ! Лучше скорѣе кончить...

Онъ упалъ на колѣни передъ слѣдователемъ и вошедшими съ нимъ людьми и, глухо рыдая, не помня самъ себя, сталъ колотить себя въ грудь своими жилистыми булаками.

— Я знаю, ты судья отъ Бѣлаго Царя... кричалъ онъ, ди-

во озираясь на всѣхъ. — Я зналъ, что ты придешь, что ты будешь судить Якуба. Якубъ не хотѣлъ ничего говорить. Якубъ влялся страшною клятвою... Но развѣ я виноватъ, что злой духъ сильнѣе моего сердца?.. Онъ приходилъ ко мнѣ всю ночь и мучилъ меня. Пусть ужъ лучше Бѣлый Царь велить казнить Якуба, чѣмъ терпѣть безъ конца эту муку... Якубъ проглотилъ землю, и пусть теперь земля поглотитъ его... Теперь мнѣ все равно!..

— Если ты рѣшился признаться въ убійствѣ, то говори все безъ утайки, сказалъ ему слѣдователь, садясь на диванъ къ низкому столику, чтобы записывать показанія. — Бѣлый Царь простить тебѣ много, если ты, ничего не скрывая, выдашь всѣхъ своихъ сообщниковъ. Рассказывай все такъ, какъ было, одно за другимъ.

— О, онъ напрасно мучилъ меня, духъ черного попа!.. все тѣмъ-же голосомъ безумнаго, все съ тѣмъ-же воспаленнымъ взглядомъ безумнаго кричалъ Якубъ, размахивая руками. — Я не убивалъ его, онъ знаетъ. Я никогда-бы не могъ убить человека, даже самаго низкаго... Я возилъ дрова черному попу, исполнялъ его приказанія, и черный попъ давалъ мнѣ хлѣбъ, котораго не было у меня, котораго мнѣ не давалъ ни мулла, ни хаджи-Сеидъ... За что-жь мнѣ убивать попа?..

— Стало быть, его убилъ мулла и хаджи-Сеидъ? спросилъ слѣдователь.

— Мулла убилъ, Аби-Була, вади-эскеръ... испуганнымъ шепотомъ произнесъ Якубъ, весь вдругъ опускаясь, съеживаясь и въ страхѣ оглядываясь по сторонамъ на стоявшихъ людей.

— А Сеидъ-хаджи?..

— Сеидъ-хаджи убилъ... тѣмъ-же подавленнымъ шепотомъ подтвердилъ Якубъ и, сказавъ это, вдругъ припалъ лицомъ къ землѣ съ горькимъ плачемъ.

Нѣсколько минутъ слѣдователь и присутствовавшіе не говорили ни слова, и только глухой плачъ Якуба слышался въ комнатѣ.

— Послушай, Якубъ, началъ опять слѣдователь, — если ты говоришь, что игумена убилъ Аби-Була съ хаджи-Сеидомъ, то почему-же ты такъ мучаешься по ночамъ, и какимъ образомъ у тебя оказались сапоги игумена?

— Они убили чернаго попа, клянусь Аллахомъ! увѣрялъ Якубъ, нѣсколько оправившись. — Якубъ не трогалъ даже одного его волоса. Якубъ пришелъ на огонь поздно ночью; Якубъ заблудился въ лѣсу и озябъ... Черный попъ лежалъ убитый въ самой глубинѣ Табана-Дере, и его конь Джигить, — о, какой чудесный конь, его знаетъ весь Бюкь-Ташъ, — Джигить лежалъ около чернаго попа, тоже застрѣленный пулею, и весь снѣгъ кругомъ былъ въ крови, и огонь горѣлъ, большой огонь, и они жгли чернаго попа на огнѣ, и заставили бѣднаго Якуба тоже жечь его и прекраснаго коня его, и Якубъ отъ страху жегъ, потому что они грозились убить его... И они заставили Якуба съѣсть земли и поклясться страшною клятвою... Но черный попъ сталъ мучить меня по ночамъ, и вотъ я все открылъ вамъ, чтобы лучше ужъ мнѣ кончиться разъ навсегда, чѣмъ такъ мучиться, какъ я мучусь каждую ночь...

— Это они отдали тебѣ сапоги убитаго? спросилъ слѣдователь.

Якубъ помолчалъ и въ смущеніи, не поднимая головы, произнесъ:

— Нѣтъ, они не отдавали, они не видали... Сапоги валялись около дровъ, и я подобралъ ихъ... Я бѣдный человѣкъ и думалъ, что они все равно пропадутъ... Но вышло иначе... Я самъ пропалъ черезъ нихъ...

— Ихъ было только двое? началъ опять слѣдователь, записавъ показаніе Якуба. — Чѣмъ они убили игумена? Ты говорилъ, пулею?..

— У нихъ были ружья, у нихъ были ножи... Сеидъ-хаджи хотѣлъ меня ножомъ рѣзать.

— Сколько было ихъ, я спрашиваю? Только двое?

Якубъ задумался, сурово сдвинувъ брови. Потомъ вдругъ вскричалъ съ гнѣвомъ:

— Аби-Була убилъ, кади-эскеръ; Сеидъ-хаджи убилъ. Якубъ все сказалъ; что еще нужно?.. Хватай скорѣй Аби-Була, хватай скорѣе Сеидъ хаджи... Много будешь говорить, мало будешь дѣлать.

— Ты можешь провести насъ въ Табана-Дере и указать мѣсто, гдѣ сожгли трупы?

— Какъ не можно, можно. Бери скорѣе Аби-Булу, кади-

вскрера, бери Сеидъ-хаджи. Они хитрые люди и уйдутъ изъ твоихъ рукъ, какъ лисицы, и все падеть на голову бѣднаго Якуба.

Аби-Булы не было дома въ Біюкъ-Ташѣ уже болѣе недѣли, и его схватили въ Евпаторіи у дальняго родственника.

Жирный мулла трясся, какъ въ лихорадкѣ, и не могъ произнести ни слова отъ страха, когда его арестовали.

Онъ осунулся и пожелтѣлъ, какъ воскъ, когда его привезли въ Біюкъ-Ташѣ и заперли подъ караулъ. На всѣ разспросы слѣдователя онъ влялся въ своей невинности, отпираясь отъ всякаго знакомства съ Сеидомъ-хаджи.

— Я бѣдный служитель пророка и кромѣ священной книги ничего не знаю, твердилъ онъ дрожащимъ и слезливымъ голосомъ. — Вольно взводить на меня всякія небылицы. Этотъ Якубъ человѣкъ грѣха и, чтобы спасти свою голову, готовъ погубить самаго невиннаго человѣка.

Сеидъ-хаджи держалъ себя иначе. Когда пришли въ его домъ и объявили ему, что арестуютъ его по обвиненію въ убійствѣ русскаго игумена, онъ только поблѣднѣлъ слегка и нахмурилъ свои строгіе брови, но не сказалъ ни слова.

На всѣ допросы слѣдователя онъ отвѣчалъ только одинъ разъ:

— Ты взялъ Сеида-хаджи изъ его дома; значить, ты знаешь что-нибудь дурное про Сеида-хаджи. Зачѣмъ спрашиваешь? А если ты ничего дурного не знаешь про Сеида хаджи, зачѣмъ ты взялъ его изъ его дома?

Больше ничего не могъ добиться слѣдователь отъ суроваго старика. Онъ не обращалъ никакого вниманія на то, что дѣлалось вокругъ него; когда наступалъ часъ намаза, онъ спокойно отворачивался отъ распросовъ слѣдователя и важно начиналъ свое моленье, словно кромѣ него никого не было въ комнатѣ.

Цѣлые дни онъ шепталъ арабскія молитвы, обращаясь къ востоку и перебирая свои черныя четки изъ розоваго дерева, не отвѣчая ни на что, не слушая никого.

Черезъ нѣсколько дней, когда удалось, по указаніямъ Якуба, разрыть снѣгъ въ Табана-Дере и обнаружить кучу угля съ недогорѣвшими костями человѣка и лошади, Свириденко, всюду сопровождавшій слѣдователя и дѣятельно помогавшій ему во всѣхъ розыскахъ, натенулся на влокъ одежды, висѣвшій недалеко отъ угольной кучи на суку колючаго кустарника. Слѣдъ крови, занесенный снѣгомъ, еще былъ явственно видѣнъ внизу этого куста. Въ то-же время неподалеку отъ костра была найдена татарская трубка въ дорогой оправѣ и кisetъ съ турецкимъ табакомъ. На серебрянной оправѣ трубки были выбиты арабскія буквы, по которымъ невозможно было сомнѣваться, что трубка принадлежала Аби-Була.

Когда принесли трубку и кisetъ къ женѣ Аби-Булы, она, ничего не подозрѣвая и не колеблясь ни минуты, объявила, что это вещи ея мужа. Но ни обыскъ въ домикѣ хаджи, ни обыскъ кади-эскера не открыли такой одежды, которая-бы сколько-нибудь походила на снятый съ дерева обрывокъ. На другой день, по требованію слѣдователя, Аби-Була и хаджи были привезены на мѣсто убійства.

Съ Аби-Будой сдѣлалась настоящая лихорадка, когда его сводили по знакомой тропинкѣ въ глубокой оврагъ. Раскопанные слѣды крови тянулись черезъ чашу лѣса и вели къ большому кровавому пятну около груды углей. Хотя слѣды крови были теперь мало замѣтны, но все-таки несомнѣнны. Рядомъ съ краснымъ пятномъ на снѣгу лежали собранные вмѣстѣ обугленные кости...

— Вотъ твоя трубка и твой кisetъ, Аби-Була! сказалъ слѣдователь, подавая оторопѣлому муллѣ его вещи. — Ты, вѣрно, такъ спѣшили, что не успѣлъ захватить ихъ съ собою... Мы нашли ихъ возлѣ костра, на которомъ ты сжегъ игумена...

Видъ глухого оврага, въ которомъ такъ недавно было совершено злодѣяніе, и особенно видъ костей и крови до такой степени потрясли безъ того смущенную голову Аби-Булы, что оя не выдержалъ болѣе и, упавъ на колѣни, закричалъ:

— Аллахъ наказалъ меня за мои грѣхи... Да, это моя трубка, больше нечего скрывать... Да, это мы убили его и сожгли здѣсь... Пусть всѣ это знаютъ! Пусть Бѣлый Царь смиляется надъ бѣднымъ Аби-Будой, который рассказалъ всю истину, какъ передъ судомъ Аллаха...

Сеидъ-хаджи съ гнѣвнымъ презрѣніемъ оглянулся на муллу и не произнесъ ни слова.

— Вотъ видишь, Сеидъ-хаджи, теперь скрывать бесполезно. Аби-Була повинился, повинись и ты! По крайней мѣрѣ ты облегчишь свою участь... сказалъ ему слѣдователь.

Но Сеидъ-хаджи даже и не посмотрѣлъ на него и стоялъ строгій, безмолвный, сурово едвинувъ свои сѣдыя брови, не глядя ни на людей, ни на слѣды преступленія, весь погруженный въ свою внутреннюю молитву, которую онъ продолжалъ нашептывать своими строгими старческими губами.

Аби-Була скоро, однако, раскаялся въ своемъ малодушіи. Когда онъ очутился опять подъ карауломъ, одинъ на одинъ со своими мыслями, онъ понялъ, что погубилъ себя безвозвратно. Развѣ не выгоднѣе было-бы отпираться до самаго конца? Еще кто знаетъ, докопались-ли-бы до истины? Положимъ, слѣды открыты, но какъ доказать, что это они, а не другой кто, сожгли игумена? На трубѣ его буквы, но мало-ли именъ, которыя начинаются съ тѣхъ-же буквъ? Изворотливый умъ хитраго муллы рыскалъ по всѣмъ закоулкамъ, чтобы найти какой-нибудь спасительный выходъ, но открытое признаніе его уничтожало теперь все.

— О, зачѣмъ онъ былъ такъ слабъ и такъ малодушенъ?.. Только вытерпѣть одну эту проклятую сцену въ оврагѣ, и все-бы было кончено. Дѣло затянулось-бы, а тамъ кто знаетъ, что-бы было? Съ русскими судами все можно. Аби-Була не пожалѣлъ-бы своихъ серебрянныхъ рублевиковъ, что закопаны у него въ глиняномъ горшкѣ въ углу подъ любимымъ диваномъ. Темиръ-Бая тоже не пожалѣлъ-бы денегъ и Уланъ-бей не пожалѣлъ-бы. Вмѣстѣ они сдумали-бы отсудиться и откупиться. Неужели-же теперь пропадать по своей собственной глупости? О, будь проклять ты, старый шакалъ хаджи Сеидъ, и ты, злая гѣна, Джелаль эфенди!.. Это вы соблазнили меня и погубили меня! говорилъ самъ себѣ перепуганный мулла.

Мысль о Джелаль-эфенди вдругъ остановила его. Въ самомъ дѣлѣ, съ какой стати ему жалѣть его? Развѣ не онъ вынудилъ его силою идти въ этотъ проклятый оврагъ? Развѣ не онъ лежалъ на его груди и готовился прознить княжаломъ? Онъ, — самый главный виновникъ, котораго пуля повалила чернаго попа, — онъ теперь на свободѣ; а несчастный Аби-Була, ни въ чемъ неповин-

ный, котораго привели въ оврагъ чуть не на веревкѣ, онъ долженъ отвѣчать за нихъ за всѣхъ... Нѣтъ, онъ долженъ сейчасъ выдать Джелала. Джелала необходимо выдать ужь и отъ того, чтобы знатные беи, какъ Темиръ-Бая и Уланъ-бей, вступились въ это дѣло и хлопотали за нихъ. Не захотятъ-же они, чтобы членъ ихъ семейства пошелъ въ Сибирь, какъ убійца и разбойникъ. Они пожертвуютъ всѣмъ состояніемъ, чтобы освободить Джелала, а когда онъ будетъ свободенъ, мы всѣ будемъ также свободны, соображалъ въ своемъ умѣ Аби-Була.

Въ тотъ-же день онъ потребовалъ слѣдователя и показалъ ему, что Джелаль-эфенди, братъ солкатскаго бея, Темиръ-Бая-хана, участвовалъ вмѣстѣ съ ними въ убійствѣ игумена, что онъ былъ главный подстрекатель, что онъ собственно и убилъ игумена, заставивъ насильно Аби-Булу присутствовать при злодѣяніи и скрывать его слѣды.

Джелала-эфенди арестовали въ деревнѣ, въ домѣ брата. Въ комнатѣ его нашли длинный халатъ, въ которомъ недоставало куска полы. Кусокъ, найденный на деревѣ, пришелся къ нему какъ-разъ.

Но эта улика была бесполезна, потому что при первомъ вопросѣ слѣдователя, Джелаль вскричалъ съ горящими глазами:

— А, ты узналъ, наконецъ?.. Да, это я убилъ его и благодарю Аллаха, что онъ укрѣпилъ мою руку на это святое дѣло... Нечестивый врагъ моего пророка погибъ отъ моей руки, и такъ будетъ со всякимъ врагомъ ислама... Великъ Богъ и великъ Магометъ, пророкъ его! Горе вамъ, урусамъ, и вы всѣ скоро погибнете отъ руки правовѣрныхъ, какъ погибъ вашъ проклятый погъ!..

Не могъ слова выговорить отъ ужаса толстый Темиръ-Бая, услышавъ такую рѣчь брата, и всѣ его планы заступничества въ губерніи разлетѣлись сами собою.

— Ты ему не вѣрь, бормоталъ онъ слѣдователю, самъ не зная, что говорить.—То не можно... Развѣ это можно, самъ по суди?.. Голова его больна и не знаетъ, что болтаетъ его языкъ... Отпусти его, пожалуйста, будь другъ... Я самъ прокуроръ попрошу... Губернаторъ попрошу... Не вяжи, пожалуйста, не бери изъ моего дома... Не срами мой ханскій родъ...

Но слѣдователь не слушалъ растеряннаго бреда Темиръ-Бая и увезъ связаннаго софту подъ карауломъ въ Біюкъ-Ташъ.

Однако, и Темиръ-Бая, и Уланъ-бей немедленно принялись за хлопоты.

Страшное дѣло случилось черезъ три дня въ Біюкъ-Ташъ.

Въ одну и ту-же ночь Якубъ отравился въ тюрьмѣ, а слѣдователя нашли мертвымъ въ постели безъ всякихъ знаковъ насилия. Въ тотъ-же день разнесся слухъ, что кафеджи Абдалла пропалъ, неизвѣстно куда.

Переполохъ сдѣлался всеобщій.

Свириденко, какъ слышалъ о внезапной смерти слѣдователя, позеленѣлъ отъ страха и отъ гнѣва. Все русское населеніе было въ неописанномъ волненіи.

Было ясно, что всѣ средства пущены въ ходъ, чтобы такъ или иначе спасти обвиняемыхъ.

Между тѣмъ назначенъ былъ военно-полевой судъ, чтобы покончить дѣло, не откладывая въ долгій ящикъ и не стѣсняясь судебною процедурою.

Хотя изъ камеры судебного слѣдователя таинственнымъ образомъ исчезли всѣ протоколы слѣдствія, военный слѣдователь возобновилъ и пополнилъ ихъ очень скоро, и еще не успѣло успокоиться всеобщее безпокойство, порожденное цѣлымъ рядомъ дерзкихъ преступленій, какъ военный судъ приговорилъ къ смертной казни черезъ повѣшеніе всѣхъ трехъ обвиняемыхъ.

XXI.

Висѣлица.

Анна была поражена, какъ громомъ, когда разнеслась вѣсть, что убійцы игумена осуждены на повѣшеніе и что въ Біюкъ-Ташъ уже строятъ висѣлицу.

Правительство было не на шутку встревожено частымъ повтореніемъ убійствъ въ Біюкъ-Ташъ и смѣлостью убійцъ, возроставшею вслѣдствіе безнаказанности. Рѣшено было навести страхъ на все окрестное населеніе быстрымъ и строгимъ исполненіемъ казни, особенно позорной въ глазахъ татарина.

Казнь еще не совершилась, а уже, дѣйствительно, глубокой, подавляющей ужасъ овладѣлъ всѣмъ Біюкъ-Ташемъ и сосѣдними селеніями. Никто изъ татаръ, даже никто изъ русскихъ, не ждалъ, чтобы громъ грянулъ такъ скоро и такъ рѣшительно. Въ семьѣ Уланъ-бея и Темиръ-Кая была такая печаль, словно всѣмъ имъ готовилась та-же позорная участь. Имъ казалось невозможнымъ перенести это посрамленіе ихъ славныхъ древнихъ родовъ.

Біюкъ-ташскіе татары, родные и почитатели Аби-Булы, ходили, какъ не свои, безнадежно понуривъ головы, томясь неяснымъ страхомъ за самихъ себя.

Но и русскимъ поселникамъ было какъ-то не по себѣ. Они желали и ожидали строгихъ мѣръ, но висѣлица все-таки произвела на нихъ тяжелое впечатлѣніе.

Поэтому и Сергѣй, и Анна были твердо убѣждены, что висѣлицею только хотятъ пострадать восточное воображеніе, но что въ моментъ казни будетъ объявлена ея отмѣна и замѣна ея ссылкою въ рудники. Одинъ Свириденко не допускалъ въ этомъ дѣлѣ никакихъ романтическихъ точекъ зрѣнія и съ самою откровенною радостью говорилъ о казни татаръ.

— Ото такъ-же имъ и надо, псамъ смердячимъ! горячился онъ. — Собакѣ собачья смерть.... Трошки помягче стануть, какъ вздернуть ихъ главарей, словно галокъ на баштанѣ...

Казнь назначена была нарочно въ пятницу, когда все мусульманское населеніе бросаетъ работы. Изъ окрестныхъ деревень, на тридцать верстъ кругомъ, были согнаны по наряду полиціей представители татарскихъ общинъ присутствовать на казни.

Свириденко, Сергѣй и Евгенийъ тоже поѣхали въ Біюкъ-Ташъ, куда стекались къ пятницу издалека толпы любопытныхъ, русскихъ, грековъ, евреевъ.

Сергѣю хотѣлось убѣдиться лично въ своихъ предположеніяхъ и скорѣе привезть Аннѣ извѣстіе объ отмѣнѣ казни. Аннѣ было особенно тяжело за Джелала, въ сердцѣ котораго все-таки былъ героизмъ своего рода и котораго гибель была тѣсно связана, какъ она знала, съ его страстью къ ней. Она осталась дома, разстроенная почти до болѣзни, неспособная почти ни на какую работу.

Раннимъ утромъ три нашихъ путника были уже на площади Біюкъ-Таша, по срединѣ которой, какъ-разъ противъ дверей главной мечети, высоко торчалъ черный, крючкомъ согнувшійся, скелетъ висѣлицы; тихо, будто извивы пробуждающейся смертоносной змѣи, шевелились на легкомъ утреннемъ вѣтерѣ свѣжія, еще зеленоватая веревки, спускавшіяся съ нея на землю, и такъ-же тихо, такъ-же подобно зловѣщему шелесту змѣиной чешуи, чуть взвизгивало ржавое желѣзо колець, къ которымъ они были привязаны, однообразно покачиваясь на такихъ-же ржавыхъ желѣзныхъ крючьяхъ.

Еслибы не смотрѣть на нихъ, можно-бы было подумать, слушая этотъ сухой металлическій лязгъ, что гдѣ-то близко, въ таинственной тишинѣ, точится ножъ убійцы.

Несмотря на раннее утро, вся площадь была биткомъ набита народомъ, и Сергѣю съ его спутниками стояло большого труда протолкаться до подножія эшафота, вокругъ котораго стояли, подъ надзоромъ полицейскихъ и солдатъ, выборные татарскихъ деревень, маленькій отрядъ пѣхоты и небольшая кучка начальствующихъ лицъ.

Чѣмъ-то безнадежнымъ, какъ гробъ, чѣмъ-то отвратительнымъ и позорнымъ, какъ грѣхъ, смотрѣлъ на пеструю толпу и на ясное весеннее утро этотъ громоздкій черный эшафотъ, вонявшій краской и смолой сосновыхъ досокъ. И сама толпа, и сама весенняя природа смотрѣли съ нѣмымъ ужасомъ на этого страшнаго незнакомца, на это мрачное подземное чудовище, что выдѣлало на одну минуту, будто гигантская черная черепаха, изъ таинственной норы, гдѣ скрывается оно, на свѣтъ Божій, чтобы поглотить въ свою безжалостную пасть жизнь человѣка и потомъ исчезнуть опять невѣдомо гдѣ, невѣдомо докуда.

Какъ ни велика была толпа, а тишина была совершенная, словно у всей толпы было теперь одно сердце, замершее ожиданіемъ, одни глаза, прикованные къ страшному зрѣлищу чернаго чудовища, одинъ ротъ, раскрытый въ нѣмомъ изумленіи. Толпа, обратившаяся въ одно существо, давно смотрѣла на то, что было передъ нею, но и до сихъ поръ еще не вѣрила въ него.

Среди толпы, однако, не было ни одного татарина, кромѣ тѣхъ,

которыхъ прислали десятскіе изъ окрестныхъ деревень. Жители Біюкъ-Таша, старые и малые, заперлись въ свои мечети и молились. Это была ихъ мирная, но единодушная демонстрація противъ совершавшейся на ихъ площади позорной казни.

Старый генераль, желтый и сморщенный, какъ винная ягода, весь заросшій бѣлыми волосами усовъ и бакенбардъ, но съ энергическимъ огнемъ глазъ, сверкавшихъ изъ-подъ густыхъ бровей, сопровождаемый офицерами и чиновниками, приказалъ прочесть смертный приговоръ. Смущеннымъ и дрожавшимъ голосомъ, словно торопясь убѣжать куда-нибудь, одинъ изъ офицеровъ прочелъ приговоръ. Бумага тряслась въ его рукѣ, такъ-же, какъ его голосъ. Стоявшій рядомъ съ нимъ переводчикъ повторялъ приговоръ по-татарски. Глубокій, долго сдержанный вздохъ вырвался изъ груди татаръ, толпившихся около эшафота, и какой то неясный гулъ разлился вдругъ по площади. Народъ снималъ шапки и крестился.

Осужденные стояли всѣ три рядомъ на эшафотѣ, обращенные лицомъ къ мечети.

— Молись за насъ, Аби-Була, кади-эскеръ, молись за насъ, святой старецъ, Сеидъ-хаджи! Облегчи ваши мученія, Аллахъ! вдругъ раздались голоса татаръ.

— Барабанщики, бей! крикнулъ генераль, гнѣвно озираясь на толпу внизу эшафота, и сейчасъ-же что-то подмигнулъ офицеру, стоявшему рядомъ съ нимъ.

— Ружья подъ прикладъ! Сготовьсь! раздалась команда.

Рядъ штыковъ разомъ дрогнуть на солнечномъ лучѣ, словно молнія пробѣжала по немъ, раздался дружный лязгъ разомъ опущенныхъ ружей, и шеренга солдатъ плотнѣе сдвинулась къ эшафоту.

Толпа инстинктивно шарахнулась назадъ и закачалась на нѣсколько минутъ, какъ растревоженная волна моря.

Два барабанщика надоѣдливо отбивали частую и громкую дробь, среди которой ничего нельзя было слышать.

Аби-Була стоялъ первымъ въ приговорѣ, и за него первого взялась рука палача.

Рябая, курносая морда рыжебородаго палача, красного отъ

водки и разодѣтаго въ красный кумачъ, будто на свадьбу, казалась облитой какимъ-то кровавымъ заревомъ среди мертвенно-блѣдныхъ фигуръ осужденныхъ, среди чернаго траура эшафота.

Нечеловѣческимъ ужасомъ искривилось восковое, исхудавшее лицо безбородаго муллы, когда палачъ взялъ его за плечи и сталъ грубо рвать съ него платье, которое летѣло кусками на полъ эшафота. Онъ стоялъ до тѣхъ поръ, поникнувъ головою, весь сгорбившись, едва понимая, что съ нимъ дѣлается. Но прикосновеніе этой страшной руки вдругъ словно сорвало завѣсу съ его глазъ, и, обезображенный испугомъ, стиснувъ свои старческіе зубы, дрожа всѣми жилками, онъ съ какимъ-то неописаннымъ изумленіемъ, съ какою-то безнадежною мольбою оглянулся на палача.

— Правовѣрные и вы, урусъ! завопилъ онъ жалобнымъ дребезжащимъ голосомъ, въ ту минуту, какъ умолкъ барабанъ. — Будьте свидѣтелями передъ Богомъ, что Аби-Була погибаетъ невинно!

Барабаны опять ударили и заглушили его голосъ. Видно было, какъ онъ махалъ руками, сіяясь объяснить что-то народу, видно было, какъ все испуганнѣе и отчаяннѣе метался его взглядъ по окружавшей толпѣ, словно онъ въ ней надѣялся найти неожиданное спасеніе. Палачъ потянулъ его къ себѣ съ сердитою бранью; но онъ вдругъ опустился, какъ подкошенный, на полъ эшафота и упалъ къ ногамъ сѣдого генерала, протирая къ нему свои старыя руки и издавая пронзительный стонъ, котораго не могъ совершенно покрывать даже громъ барабановъ.

Сѣдой генераль отвернулся, нахмурившись, и что-то скомандовалъ палачу. Два человѣка схватили подъ руки барахтавшегося и стонавшаго муллу, и палачъ сталъ напаяливать на него узкую бѣлую рубашку съ болтавшимися длинными рукавами. Его потащили къ страшному черному клюву, съ котораго спускались веревки.

Духъ застылъ въ сердцѣ Сергѣя, когда, вмѣсто хорошо ему знакомой монгольской фигуры Аби-Булы, онъ вдругъ увидѣлъ на эшафотѣ ужасное бѣлое привидѣніе, лишенное всякаго образа человѣческаго, длинное и остроконечное, какъ сахарная голова.

Болтавшіеся рукава рубахи были захлестнуты назадъ и завязаны тамъ крѣпкимъ узломъ. Такія фигуры Сергѣи видѣлъ прежде только на картинахъ испанскихъ художниковъ, изображавшихъ ауто-да-фе еретиковъ.

„Вотъ, мучительно ждалось ему, — вотъ теперь съдой генераль скажетъ, наконецъ: бросьте его! Смертнѹю казнь ему замѣняютъ ссылкой на ваторгу“.

Но съдой генераль отворачивается и хмурится все больше, теребя въ волненіи свои жесткіе, какъ щетина, усы. Растерянно смотря по сторонамъ его офицеры и чиновники, тоже избѣгая оглянуться на нѣмую сцену, которая разыгрывается около нихъ. Только одинъ бѣловурый, тщательно разодрѣтый молодой чиновникъ со стеклышкомъ въ глазу, одушевленный любопытствомъ, спокойно разсматриваетъ въ упоръ и страшную бѣлую фигуру въ саванѣ, и страшнаго кроваваго мужика. Разсматриваетъ ихъ, впрочемъ, не одинъ онъ. Окаменѣвшій отъ ужаса глазъ многотысячной толпы тоже не моргнетъ.

Въ это роковое мгновеніе, которое отдѣляло тонкимъ волосомъ жизнь отъ смерти, даже суровые, опущенные глаза старика Сеида вдругъ поднялись и уставились съ недоумѣніемъ леденящаго ужаса на красное лицо, на красную бороду, на красную рубаху человѣка крови. Въ этомъ отвратительномъ образѣ дѣйствительности, въ этихъ грязныхъ пьяныхъ рукахъ, протягивавшихся за жизнью человѣка, смерть показала даже непоколебимому духу стараго хаджи полную безпредѣльнаго позора, невыразимо-страшною. Онъ рванулса въ своихъ цѣпяхъ, словно негодование, его наполнившее, вдругъ дало ему силы сокрушить, какъ тонкія нити, желѣзныя оковы. Впалые, сердитые глаза его подъ сердитыми бровями дико вспыхнули огнемъ предсмертнаго отчаянія.

— Алла, Алла! взвизгнуть онъ на всю толпу голосомъ раненаго звѣря. — Великъ Аллахъ и Магометъ, пророкъ его, и да будутъ прокляты урусы!..

Съ неимоვნюю для старика силою, взмахнулъ онъ висѣвшими концами своихъ цѣпей и грянулъ ими въ спину человѣка, помогавшаго палачу тащить его жертву. Съ глухимъ стономъ повалился человѣкъ на помость эшафота. Толпа начальниковъ, тѣснившаяся на эшафотѣ, судорожно шарахнулась къ выходу.

Прежде, чѣмъ палачъ, оттолкнувъ закутаннаго Аби-Булу, успѣлъ броситься на него, прежде, чѣмъ ближніе солдаты успѣли вскочить на эшафотъ, со штыками на перевѣсъ, разъяренный хаджи еще разъ нанесъ упавшему человѣку такой-же ударъ. Не дожидаясь ни одной секунды, онъ обернулся къ Джелалу, который стоялъ теперь, словно очнувшись отъ тяжелаго сна, съ раздутыми ноздрами, со вспыхнувшимъ пламенемъ дикаго звѣря въ глазахъ, не зная еще, на что рѣшиться.

— За мною, сыны ислама! Бейте невѣрныхъ! прохрипѣвъ обезумѣвшій старикъ, отмахиваясь цѣпью отъ хватавшихъ его рукъ, и прежде, чѣмъ хоть одна рука успѣла дотронуться до него, онъ отчаяннымъ прыжкомъ бросился внизъ съ эшафота въ ряды толпившихся подъ нимъ солдатъ.

Внезапный крикъ ужаса и изумленія потрясъ цѣлую площадь. Съ глухимъ ропотомъ, со слезными воплями, надвинулась сзади на солдатъ толпа татаръ, согнанныхъ изъ деревень, между тѣмъ какъ глазѣвшія толпы русскихъ и грековъ въ беспорядкѣ колыхнулись назадъ.

— Въ штыки! рѣзко раздалась короткая и суровая команда, и все кончилось въ одно мгновеніе.

Старога хаджи четыре солдата уже несли истекающаго кровью опять по ступенямъ эшафота. Синяя бритая голова его, съ которой во время борьбы свалилась бѣлая чалма, болталась, опрокинутая внизъ, на худошавой загорѣлой шеѣ, какъ голова зарѣзаннаго барана, и изъ посинѣвшихъ, судорожно стиснутыхъ, старческихъ губъ била клубами красная пѣна. Но онъ еще былъ живъ, и остановившіеся, какъ у безумнаго, широко раскрытые глаза его словно съ бессознательнымъ изумленіемъ смотрѣли теперь на все, что происходило кругомъ.

Десять рукъ схватили Джелала въ ту самую минуту, какъ онъ готовился послѣдовать за старымъ хаджи, и хотя всѣ эти руки разомъ выпустили его, когда онъ сильнымъ ударомъ оковъ перебилъ первыя ему, попавшіяся, но чего не додѣляли руки, то мгновенно доработалъ штыкъ. Молодой софта лежалъ теперь на помостѣ эшафота, испуская подавленные стоны и истекая кровью, съ глубокою раню въ боку, которую онъ напрасно старался зажать своими скованными руками.

Покорная, безмолвная и неподвижная, стояла теперь толпа та-

тарь послѣ своего мгновеннаго и безслѣднаго всплеска, окруженная грознымъ кольцомъ штыковъ, переливавшихъ на жаркомъ солнцѣ.

А бѣлая, безголовая, островерхая фигура все еще отчаянно барахтается въ мускулистыхъ рукахъ краснаго человѣка. Ничего не видно ей: ни этого чернаго клюва смерти, что уже молча разинулся надъ ея головой, ни этихъ ластящихся изгибаній змѣи, съ которыми, будто облизываясь отъ голода, шевелится страшная веревка...

Но защищающаяся отъ уничтоженія жизнь человѣка, словно чутъежъ, сквозь душное покрывало савана слышитъ, гдѣ ждетъ его гибель, и упирается противъ нея своими послѣдними жалкими силами.

Уже не человѣкъ видится теперь всѣмъ въ этомъ отвратительномъ заутанномъ мѣшеѣ, хотя онъ еще движется, хотя онъ еще проявляетъ кое-какъ свою волю.

Люди уже смотрятъ на это бѣлое существо, какъ на что-то переставшее принадлежать къ нимъ, какъ на что-то уже порвавшее связь съ этимъ ликующимъ на весеннемъ солнцѣ, съ этимъ шумящимъ и волнующимся кругомъ пестрымъ міромъ... Теперь это для всѣхъ безобразный гость могилы, случайно запоздавшій среди живыхъ людей, случайно еще ускользающій отъ разинутой надъ нимъ пасти смерти. Зачѣмъ онъ тревожитъ и смущаетъ живыхъ людей, когда все кончено, когда для него не можетъ быть возврата?.. Скорѣе веревку! Пусть наступаетъ скорѣе опредѣленность и для него, и для насъ! Пусть смолкнетъ разомъ и этотъ раздражающій стонъ умирающаго, и шепчущая жалость нашего сердца!..

Вдругъ безголовая фигура закачалась высоко въ воздухѣ длиннымъ, бѣлымъ привидѣніемъ надъ онѣмѣвшею толпою.

Четверо рукъ ловко и быстро, какъ фонарь къ высокимъ воротамъ, вздернули ее по блоку. Глухо стукнулась головою о верхнюю перекладину висѣлицы эта вздернутая фигура и вдругъ, будто испугавшись чего-то, мгновенно опустилась внизъ, приподнявъ слегка на воздухъ обоихъ палачей. Но они справились сейчасъ-же и опять подтянули вверхъ безформенное бѣлое

страшилище, боровшееся съ ними даже на петлѣ. Будто въ какой-то ужасной игрѣ, на какихъ-то ужасныхъ качеляхъ, медленно крутилось оно теперь само-собою, все въ одну и ту-же сторону, и потомъ вдругъ останавливалось, словно въ раздумьи, и опять съ возрастающею быстротою начало раскручиваться навстрѣчу себѣ. Издали было видно, какъ судорожно втягивался бѣлый саванъ въ открытый ротъ, испускавшій послѣдніе торопливые вздохи жизни, какъ проступало красновато-мутными пятнами быстро всхлипывавшее надъ губами полотно и изнутри сталъ выпирать горбомъ, будто дразня кого-то, коченѣющій, кровью надутый, языкъ.

Можно было подумать, забывшись, что этотъ ужасный плясунъ старается забавлять своими корчами и подергиваніями онѣмѣвшую подъ нимъ толпу.

Вдругъ пляска неожиданно оборвалась; и бѣлое существо согнулось и скорчилось, будто пытаясь приподняться куда - то на локтяхъ, будто оно собиралось летѣть куда - то далеко отъ висѣлицы и отъ палачей. Скрученныя назадъ руки затрепыхались подъ саваномъ, какъ крылья подстрѣленной птицы. Судорожно вздрогнуло вслѣдъ затѣмъ все его тѣло, и ноги вдругъ разомъ вытянулись, непомерно длинныя, прямыя, словно они стали вдругъ неудержимо расти тамъ, на веревкѣ своихъ ужасныхъ качелъ, на глазахъ всѣхъ людей, и осторожно, послѣдовательно, будто понимая, что дѣлаютъ, стали раздвигаться то направо, то налево. Казалось, что послѣ неудавшагося полета бѣлое существо искало ногами земли, на которую-бы можно было опереться, по которой-бы можно было бѣжать.

— Уйдемъ, уйдемъ скорѣе! Подальше отсюда! пробормоталъ Сергѣй подавленнымъ голосомъ, отыскивая глазами Евгенія. — Довольно съ насъ!..

Евгеній уже давно сидѣлъ на землѣ, отвернувшись лицомъ отъ мѣста казни, и истерически рыдалъ.

Толпа стояла тѣсно кругомъ него, но не видѣла его и не слышала его плача.

На черномъ эшафотѣ красный человѣкъ уже подходилъ между тѣмъ къ полу-мертвому хаджи.

XXII.

Отъездъ.

Фатъма нѣсколько дней прожила въ комнатѣ Анны, не показываясь никуда, выходя только ночью погулять на берегъ моря. Ея смѣлой юношеской душой овладѣлъ теперь страхъ, котораго она не чувствовала даже въ заточеніи у Темиръ-Кая. Похищеніе и ночная погоня такъ взволновали всѣ ея нервы, что она до сихъ поръ не могла опомниться. Самый маленькій шумъ казался ей опасностью и всякій невинный прохожій возбуждалъ ея подозрительность.

— Ханымъ миленькій, золото, упрасивала она каждый день Анну, — сдѣлай такъ, чтобъ намъ уѣхать сейчасъ, а то, я знаю, отецъ мой отыщетъ меня и отдастъ опять Темиръ-Кая. Тогда прощай Ахметъ, прощай Фатъма... Тогда Фатъмъ не жить больше...

Но какъ ни хлопотали Сергѣй съ Анной, грекъ, хозяинъ судна, отплывавшаго въ Трапезундъ, не могъ назначить своего отъѣзда ранѣе недѣли.

Ахметъ нанялъ на это время квартиру въ домѣ Бекира въ Деревкой, куда онъ переехалъ со своимъ старикомъ, и тоже старался не показываться лишній разъ изъ дома. Старикъ не пускалъ его даже къ Головинымъ, пока не наступитъ часъ давно желаннаго отъѣзда.

Наканунъ назначеннаго дня, когда все уже было готово, и Фатъма съ облегченнымъ сердцемъ щебетала, какъ птица, въ тѣнистомъ садикѣ Головиныхъ, въ сотый разъ описывая Аннѣ за завтракомъ предстоявшее ей путешествіе по морю, какъ вдругъ остановилась на полу-словѣ и сказала, потупивъ глаза:

— Ханымъ, отчего не ѣдетъ твой кардашъ? Зачѣмъ онъ сердитъ на Фатъму, зачѣмъ не хочетъ проститься съ Фатъмой?...

Евгеній съ самаго дня похищенія еще не возвращался въ домъ сестры. Онъ зналъ, что Фатъма будетъ жить у нея эти дни, и рѣшился уѣхать въ Свириденкою въ самый дальній участокъ лѣсничества — разсѣяться охотою на дивихъ козъ.

— Нѣтъ, онъ пріѣдетъ нынче проститься съ тобою; я уже

написала ему черезъ Свириденко, что ты уѣзжаешь завтра, отвѣчала Анна. — Онъ просилъ меня дать ему знать о днѣ твоего отъѣзда.

— Онъ хорошій, хорошій, твой кардашъ! сказала все еще смущенно Фатьма. — Я хотѣла бы его поцѣловать, уѣзжая отъ вась... Я хочу, чтобы онъ помнилъ Фатьму, чтобы онъ не сердился на Фатьму...

Въ эту минуту мѣрный топотъ верховой лошади долетѣлъ до ихъ ушей.

— А вотъ, послушай, и Евгений! сказалъ, улыбнувшись, Сергѣй. — Какъ онъ легокъ на поминѣ!..

— Фатьма пойдетъ посмотрѣть! радостно вскрикнула она. — Я спрячусь за дерево, и если это чужой, то я буду опять въ домъ прежде, чѣмъ его конь сдѣлаетъ одинъ шагъ. Твой добрый кардашъ, ханымъ! прибавила она на бѣгу, оборачивая къ Аннѣ свое улыбающееся лицо. — Не сердился на Фатьму, пріѣхалъ къ Фатьмѣ...

Она исчезла въ чащѣ кустовъ.

— Жалко бѣднаго Женьку! замѣтила Анна, грустно улыбнувшись. — Сколько-бы ребячества ни было въ этой любви, все-таки это его первая любовь, и она не обойдется ему дешево...

— Повѣрь, что это еще не любовь, отвѣтилъ Сергѣй, — а только потребности любви... Когда человѣкъ готовъ для любви, то онъ отыскиваетъ ее въ каждомъ намека... Нашъ Женька не долго прождетъ до новаго романа, пожалуй, еще болѣе страстнаго, что-бы ни воображалъ онъ въ настоящую минуту...

Не успѣлъ Сергѣй окончить начатыхъ словъ, какъ на площадку сада стремительно вбѣжала Фатьма, блѣдная, какъ снѣгъ, едва переводя духъ отъ волненія.

— Пропала я!.. шептала она, испуганнымъ взглядомъ оглядываясь назадъ. — Темиръ-Кай сейчасъ будетъ здѣсь... Онъ пріѣхалъ за мною, отъ возьметъ меня...

Сергѣй вскочилъ на ноги.

— Ступай скорѣе въ комнату и не выходи! крикнулъ онъ Фатьмѣ. — Сиди тамъ спокойно; никто не посмѣетъ войти. Уйди и ты, Анна... Постереги глушую дѣвочку.

Пяти минутъ не прошло послѣ ухода женщинъ, какъ Темиръ-Кая, переваливаясь своимъ толстымъ брюшкомъ, въ парадной

курткѣ и парадномъ архалукѣ, съ необычною для него серьезною миною, появился въ саду. Сальное, круглое лицо его замѣтно осунулось, и черныя пивки его усовъ, нѣсколько дней, повидимому, невидавшія на себѣ персидской краски, выглядывали почти съ дыми.

— Будь здоровъ, Сергѣй-ага, началъ онъ сухо, безъ своей обычной ливкущей улыбки, садясь по русски на скамью противъ Сергѣя.

— Что скажешь хорошенькаго, Темиръ-ханъ? Откуда ѣдешь? освѣдомился Сергѣй, стараясь придать своему голосу спокойный тонъ.

— Ёду изъ дома къ тебѣ по дѣлу, нахмуривъ лобъ и уставившись глазами въ землю, отвѣтилъ ханъ. Правая рука его стегала траву ременною ногойкой.

— Что-жь такое? съ притворнымъ равнодушіемъ спросилъ Сергѣй. — Не хочешь-ли трубку, ханъ, или чашку кофе?

— Спасибо, не хочу, не поднимая глазъ, сказалъ Темиръ-Кая. — У меня вотъ какое дѣло до тебя, Сергѣй-ага. Люди говорятъ, что моя молодая жена, дочь сосѣда твоего, Уланъ-бея, находится у тебя... Я знаю, что ты правдивый человѣкъ и не захочешь удерживать то, что не принадлежитъ тебѣ.

Сергѣй смутился на одно мгновенье и, помолчавъ, сказалъ:

— Ты вѣрно сказалъ, Темиръ-ханъ, я человѣкъ правдивый и потому скажу всю правду. Фатьма, дѣйствительно, была у меня три дня и три ночи, но вотъ уже пятый день, какъ она уѣхала далеко отсюда со своимъ молодымъ мужемъ...

— Мужъ Уланъ-беевой дочери — Темиръ-Кая-ханъ, бей солкатскій, и никто болѣе! гнѣвно вскрикнулъ татаринъ, закиная злобою и поднимая на Сергѣя враждебный взглядъ.

— Я этого не знаю, спокойно отвѣтилъ Сергѣй. — Молодой Ахметъ-оглы увезъ Фатьму изъ твоего дома и взялъ себѣ въ жены. Фатьма объявила, что никогда не была твоею женою и никогда не будетъ...

— Еслибы ты и твои друзья не сдѣлали со мною того, что дѣлаютъ разбойники, она-бы и теперь была моею женою, съ горькой укоризной возразилъ Темиръ-ханъ. — Глупая молодая дѣвка скоро-бы поняла свое счастье и полюбила-бы меня, какъ любятъ

меня мои другія жены... Но ты поступилъ со мною не какъ добрый сосѣдъ, а какъ злой врагъ...

— Я не хочу скрывать отъ тебя, ханъ, что помогаль Ахмету увезти Фатьму. Мы, русскіе, не дѣлаемъ насилія надъ сердцемъ женщины и не продаемъ ее въ рабство, какъ хивинскихъ невольницъ. Поэтому я сдѣлалъ доброе дѣло, пособивъ Фатьмѣ выйти замужъ за хорошаго юношу, который ей нравился...

— Ты укралъ у меня жену, и я буду просить на тебя большихъ начальниковъ, чтобы тебя судили, какъ вора! съ сердцемъ вскрикнулъ Темиръ-Кая. — Ты самъ вотъ признался... Или ты думаешь, что укравшаго кобылу сажаютъ въ тюрьму, а укравшаго самую дорогую вещь въ домѣ человѣка — жену его — оставляютъ безъ наказанія?.. Аллахъ-эбирь! Кобылъ у меня триста, а молодая жена только одна...

— Ты можешь жаловаться на меня, если хочешь, Темиръ-Кая-ханъ, тѣмъ-же спокойнымъ голосомъ объяснялся Сергѣй. — Но только я не совѣтую тебѣ начинать это дѣло. Ты человѣкъ неглупый и поймешь меня съ двухъ словъ. Жены своей ты все равно не воротишь, потому что она уже причалила теперь къ берегамъ Трапезунда и сдѣлалась женою турецкаго подданнаго... Ты самъ кругомъ виноватъ, потому что вздумалъ взять насиліемъ дѣвушку, которая не хотѣла тебя любить и открыто объявила это во время свадьбы. Какой будетъ прокъ изъ твоихъ жалобъ? Или ты будешь доволенъ, если я, защищая себя, расскажу на судъ всю исторію этого насильнаго брака, за который отвѣтять всѣ, кто участвовалъ въ немъ?.. Это будетъ для тебя тѣмъ опаснѣе, что у меня хранятся бумаги, оставленныя покойнымъ игуменомъ Софроніемъ, о соращеніи Фатьмы изъ православія въ магометанскую вѣру... Если я докажу, что Фатьма была христіанка и что по русскимъ законамъ никто не имѣетъ права выдавать ее замужъ за татарина, то врядъ-ли этимъ будетъ доволенъ твой свать Уланъ-бей и многіе изъ вашихъ татаръ... Да и ты самъ, Темиръ-ханъ, пожалуй, не вывернешься изъ этого сквернаго дѣла...

— Оставь! Зачѣмъ?.. Я такъ сказалъ, пошутилъ... вдругъ задрожавшимъ голосомъ перебилъ его Темиръ-Кая. — Зачѣмъ въ судъ ходить?.. Аллахъ съ нимъ... Судъ много обидѣлъ бѣднаго Темиръ-хана, всѣхъ обидѣлъ... Осрамятъ древній родъ именитыхъ беевъ солдатскихъ, такъ-что уже никогда не посвѣтлѣтъ ему...

Отняли брата у Темиръ-Кая, брата убили, теперь жену отняли... Вы, урусы, все можете дѣлать надъ нами, ваша власть... Что можемъ сдѣлать мы, несчастные татары?.. Только плакать и молиться Аллаху, чтобъ защитилъ насъ... Но нѣтъ! И Аллахъ теперь не хочетъ насъ... и Аллахъ отъ насъ отвернулся...

— Я слышала, ханъ, что тебѣ досталось отъ брата два большихъ имѣнія и что ты не очень грустишь о немъ, замѣтилъ Сергѣй.— А молодую жену ты купишь хоть завтра...

— Имѣнія тѣ, правда, хорошія и стоятъ дорого, нѣсколько оживившись, отвѣчалъ ханъ.— За одно имѣ даютъ уже пятьдесятъ тысячъ рублей. Всякій наслѣдникъ, по естеству человѣка, радуется наслѣдству... Но скажи самъ, развѣ имѣ можно стерпѣть тотъ позоръ, которымъ вы, урусы, покрыли голову бѣднаго брата моего, Джелала - эфенди?.. Имѣ не такъ горька смерть этого юноши, сколько посрамленіе нашего честнаго имени...

— Кончимъ-же на этомъ, Темиръ-ханъ, и будемъ по-прежнему друзьями, сказалъ, вставая, Сергѣй.— Ударимъ, что-ли, по рукамъ, чтобы никому изъ насъ не затѣвать больше никакихъ вздоровъ. Ты оставишь въ покоѣ Фатьму, которой все равно не видать тебѣ, а я брошу то северное дѣло, о которомъ сейчасъ говорилъ. Фатьма, отвѣзжая, оставила имѣ письмо къ отцу, и я перешлю его къ нему сегодня. Старикъ успокоится, а ты отыщи себѣ поскорѣе новую красавицу. На твои деньги, небойсь, заглядывается много хорошенькихъ глазенокъ.

— Это можно, можно, вдругъ сально ухмыльнувшись и пріятельски подмигивая Сергѣю, сказалъ Темиръ-Кая.— За Темиръ-Кая всякая красавица пойдетъ. Темиръ-Кая весь Крымъ знаетъ. Только одно обидно, что эта злая дѣвчонка осрамила меня передъ людьми. Ну, да теперь не воротись!.. Ты правду говоришь, Сергѣй-ага, были-бы деньги, а красавицъ добудешь!.. прибавилъ онъ, опять просіявъ гадкою усмѣшкой.

Они ударили по рукамъ, и Темиръ-Кая, успокоенный и почти довольный, сѣлъ на своего коня.

— Смотри-жь, держи слово... будь всегда кунакъ, помогай Темиръ-Кая, когда бѣда придетъ! крикнулъ онъ съ сѣдла Сергѣю.

— Мое слово вѣрно, не бойся! отвѣтилъ ему Сергѣй.

Нагруженное судно грека пристало по уговору въ небольшую пустынную бухту между Камышь-Буруномъ и Адамъ-Чокракомъ, хорошо знакомую контрабандистамъ крымскаго берега. Море было хотя не совсѣмъ спокойно, но зыбь была ровная и качка почти незамѣтна. Вѣтеръ дулъ отъ берега въ открытое море.

Трое загорѣлыхъ, какъ бронза, грековъ-матросовъ, въ турецкихъ фескахъ, съ голыми ногами и голою грудью, уже поставили паруса, ровно надуваемые вѣтромъ, и собирали якорь.

Головины стояли на берегу, обвиняясь послѣдними пожатіями рукъ со своими мимолетными гостями, уплывавшими теперь отъ нихъ навсегда.

— Прощай, миленькій ханымъ! говорила Фатъма, прижавъ съ рыданіемъ на грудь Анны, которая вѣжала къ ней на палубу, чтобы поцѣловать ее еще разъ. — Скажи *прощай* моему отцу Уланъ-бею и моей бѣдной больной матери и старой хадиджѣ... Скажи *прощай* Алма-Сарай. Фатъма не увидитъ больше Алма-Сарай... Адамъ-Чокракъ не увидитъ, ханымъ не увидитъ... Фатъма будетъ всегда помнить ханымъ, и Сергѣй-ага помнить, и баранчукъ помнить. Сколько живетъ, столько помнить. Фатъма всегда будетъ любить... много любить... всхлипывала она, глубоко растроганная прощаніемъ.

— Прощай Фатъма, прощай Ахметъ! Дай вамъ Богъ счастливаго плаванья и счастливой жизни! кричали имъ съ берега Головины.

Доска уже была снята, якорь подтянуть, и крутореброе судно, скрѣпя и накрениваясь на бокъ, начинало чуть замѣтно трогаться съ мѣста.

— Прощайте добрые люди; да благословитъ Аллахъ ваше гостепріимство и ваше сострадательное сердце! воскликнулъ старикъ Смакъ, простирая къ берегу свои руки, словно для благословенія.

Цѣлый часъ стояли Головины на берегу, посылая прощальные привѣты платкомъ медленно удалявшемуся судну, съ котораго Фатъма не переставала махать имъ концомъ своей бѣлой чадры.

Только голоса Евгенія не было слышно, хотя онъ стоялъ здѣсь, рядомъ съ братомъ и сестрою.

Онъ не могъ не проститься съ Фатьмою и явился на берегъ вмѣстѣ съ Головинными. Но на сердцѣ его было слишкомъ тяжело, чтобы онъ могъ вымолвить слово. Всѣ силы свои напрягалъ онъ теперь на то, чтобы устоять храбро и не выдать передъ лицомъ чужихъ людей горькую тайну души своей. Онъ не заплакалъ, потрясая послѣдній разъ маленькую знакомую ручку, глядя въ послѣдній разъ въ глубокую черную воду дорогихъ ему глазъ, устремленныхъ на него съ какою-то смущенною скорбью. Могъ-ли онъ заплакать, какъ безсильный ребенокъ, здѣсь, подъ прожигавшимъ его взоромъ счастливаго соперника, который весь ликовалъ счастьемъ возвращенія, счастьемъ добычи?

Онъ добывалъ ему его красавицу, какъ удалой и вѣрный товарищъ, а не какъ несчастный, отверженный любовникъ. Пусть онъ уѣдетъ въ свой Трапезундъ, не подозрѣвая, не вѣдая великодушія своего тайнаго соперника. Не для него оно и не ему знать о немъ. Кому нужно знать, та знаетъ и не забудетъ этого, — Евгеній видитъ это по скорбному выраженію ея глазъ. Пусть уноситъ она на легкой морской волнѣ его первыя мученія и его первую любовь. Евгеній знаетъ, что онъ былъ достоинъ ея, достоинъ ея любви.

Когда судно уже вышло въ открытое море, Евгеній машинально побрѣлъ по берегу; ему нужно было остаться одному.

Какая-то сладостная и вмѣстѣ мучительная истома охватывала его сердце по мѣрѣ удаленія судна. Словно онъ умиралъ внутри, наслаждаясь самъ муками этой смерти. Ему дѣлалось какъ-то и легче, и горьче въ одно и то-же время. Что-то прекрасное кончилось тамъ, внутри его, наполняя его неизъяснимою жалостью, но вмѣстѣ съ тѣмъ тамъ-же возставало что-то новое, обѣщающее, бодрящее, что-то непредѣльное, какъ горизонты моря, въ туманахъ которыхъ исчезалъ корабль, уносившій его старое счастье.

Евгеній смутно чувствовалъ, что это разстилалась передъ нимъ безбрежная перспектива молодой, только-что сознавшей себя, жизни, въ радостяхъ которой потонетъ безслѣдно не одно горе, утѣшатся не однѣ слезы... Его сердце оставалось еще благоговѣнно вѣрнымъ улетающей отъ него любви; повинувшій его образъ еще

всещѣло наполнялъ его; но въ просвѣты этого чувства уже пробивалось неясное сознаніе, что отжитымъ нельзя жить, что сердце потребуетъ, что сердце найдетъ себѣ живого и новаго бога.

Горе молодости—не то горе, что горе старости.

Долго, молча, стояли на берегу и Анна съ Сергѣемъ, глядя вдаль, полные раздумья.

— Сергѣй! сказала вдругъ Анна тихо, не отрывая глазъ отъ горизонтовъ моря. — Тебѣ не жалко, что мы уже немолоды, какъ они, что передъ нами нѣтъ того будущаго, которое манить ихъ?

Сергѣй отвѣтилъ не сразу, тоже тихо, тоже смотря въ раздумьи на убѣгавшія вдаль волны.

— Мнѣ было жалко, Анна, но недолго! Развѣ наше настоящее время не имѣетъ своей прелести, развѣ въ немъ меньше смысла?

Анна молчала.

— Нѣтъ, Сергѣй, это бываетъ только разъ и съ этимъ не сравнится ничто въ мірѣ, сказала она черезъ нѣсколько минутъ. — Шекспиръ зналъ сердце человѣка. Его Ромео и Юлія пропѣли только одну соловьиною пѣсню и сошли въ могилу... Развѣ одно мгновеніе не стоитъ иногда цѣлой жизни?..

Сергѣй не отвѣчалъ и глядѣлъ вдаль.

— Скажи мнѣ истину, Сергѣй, опять начала Анна, послѣ нѣкотораго молчанія. — Этотъ красавецъ-ребенокъ, что загорѣлся пожаромъ отъ одного взгляда, все бросилъ, на все пошелъ ради своего Ахмета, неужели онъ не соблазняетъ тебя? Неужели ты не желалъ-бы быть на мѣстѣ Ахмета, какъ этого желалъ нашъ бѣдный Женька?

— Вотъ вопросъ, котораго я никакъ не ожидалъ! улыбнулся Сергѣй. — Но могу тебя увѣрить, Анна, что Фатъма не заставляла меня бороться съ самимъ собою. Я люблюсь ею и ея молодостью, — этимъ нельзя не любоваться, но мало-ли чѣмъ мы любуемся? Въ Алупкѣ князя Воронцова есть такія прелести, передъ которыми развѣваешь ротъ, и не въ одной Алупкѣ, конечно. А все-таки мой собственный скромный садикъ съ его орѣхами и

шелковицами я люблю гораздо больше. Это мое... тутъ моя жизнь, мой трудъ, мое прошлое и мое будущее... Такова и моя любовь къ человѣку.

— Да, но это только благоразуміе, это только воля; сердце живеть по-своему и не соображается съ возможностями, тихо за-мѣтила Анна.

— Что-жь хочешь ты? уже оживленіе спросилъ Сергѣй. — Я-бы считалъ себя за-живо умершимъ, еслибы потерялъ чувство природы, чувство красоты!.. Пока мы полны силъ жизни, наше сердце не можетъ не наслаждаться красотой и молодостью, гдѣ-бы онѣ ни встрѣчались ему. Нравственность человѣка—это только честныя привычки и честныя желанія...

— Да, но это не то, не то... съ грустью прошептала Анна. — Молодость не дѣлаетъ этого выбора и не знаетъ этихъ расчетовъ... Молодость бросается на свои идеалы, какъ ударъ молніи, и не заботится о томъ, что выйдетъ изъ этой встрѣчи... Вотъ жизнь въ полномъ расцвѣтѣ!.. Остальное — это увяданье, приготовленіе полезнаго, но прозаическаго плода... Что до меня, Сергѣй, я завидую Фатимѣ, я завидую веснѣ человѣка... и потомъ... мнѣ жалко ихъ всѣхъ. Зачѣмъ это люди живутъ долго вмѣстѣ, любятъ другъ друга, дѣлаются нужными другъ другу—и потомъ вдругъ расходятся навсегда въ разныя стороны, какъ случайно сбившіяся въ кучу, какія-нибудь перелетныя птицы?..

— Знаешь, Анна, и мнѣ ихъ жалко, съ убѣжденіемъ сказалъ Сергѣй. — Но я тебѣ признаюсь въ одномъ: сейчасъ, когда волна уносила ихъ отъ берега, я вдругъ почувствовалъ, что это что-то чужое, не наше, уходитъ отъ насъ... Въ нихъ было нашего только наша сочувствующая душа, а она съ нами!.. Съ нею мы опять найдемъ все, что теперь на минуту исчезло...

— Твоя правда, Сергѣй; но эта правда все-таки не сдѣлаетъ ничего, когда сердцу жалко и больно.

— Я сознательный эпикуреецъ и хочу съ мужественною твердостью смотрѣть на жизнь, что-бы ни случилось со мной, возразилъ Сергѣй. — Счастье человѣка въ томъ, что онъ вездѣ способенъ чувствовать то-же, что онъ можетъ создавать вновь свой разрушенный міръ... Вѣдь въ сущности этотъ міръ—самъ человѣкъ... Еслибы было иначе, человѣкъ былъ-бы скуденъ и жалокъ. Прилягилъ въ одному насѣвоному,—исчезло оно, и ты пропалъ!..

Развѣ этого можно желать, развѣ можно допускать себя до такой слабости духа?.. Нѣтъ, ты носи внутри себя вѣчную силу оживленія и воскресенія, ты сообщай самъ безсмысленному теченію стихійной жизни смыслъ, жаръ, слезы и радость, давай ему мовгъ и сердце... Вотъ это будетъ жизнь человѣка, а не изныванье индуса, не растительное прозябаніе...

— О, въ этомъ мы, конечно, сойдемся съ тобою скорѣе, чѣмъ въ чемъ-нибудь другомъ, одушевленнымъ голосомъ сказала Анна. — Если я плачу теперь внутри моего сердца, то это не значить, чтобы будущее для меня не существовало, чтобы одна потеря, одно горькое сознаніе раздавило меня.

— Такъ ты еще будешь любить меня, несмотря на Фатьму и Ахмета, несмотря на мои сорокъ лѣтъ? засмѣялся Сергѣй, протягивая Аннѣ свою руку.

— Это лучшая рука, которую я трогала въ свою жизнь... дай мнѣ ее, сказала Анна. — Лучшее сердце, лучшая голова... Еслибы я жила въ поэмѣ Байрона, я-бы, можетъ быть, влюбилась въ ангела, хотя-бы и падшаго. Но здѣсь на землѣ я вижу людей и узнала людей...

Она горячо жала руку Сергѣя въ обѣихъ своихъ рукахъ.

— Будемъ бодры, Анна, будемъ сами разгонять тучи, которыя нагоняютъ намъ жизнь, весело заговорилъ Сергѣй. — Хороша молодость Фатьмы и нашего Женьки, кто спорить! Но, право, и наша съ тобою жизнь еще хороша. Намъ еще много жить впереди и много дѣлать...

— О, да... я вѣрю въ это... иначе зачѣмъ жить?.. Жить — значить дѣлаться лучше... значить дѣлать больше. И мы съ тобой, Сергѣй, не остановимся на томъ, что сдѣлано.

— Съ тобою я не могу остановиться, Анна, горячо поддержалъ Сергѣй. — Когда я смотрю на твою дѣятельность, полную жизни и вѣры, на твои широкія надежды, на твою смѣлую мысль, я чувствую, что въ тебѣ живетъ человѣкъ въ высшемъ смыслѣ, какимъ онъ долженъ быть... Не животное изъ разряда двурукихъ, умѣющее устраивать свое гнѣздо, какъ бобръ и сурокъ, а человѣкъ, образъ и подобіе божіе, одухотворяющій вселенную. И я сознаю, что я, со своею побѣдоносною логикою эгоизма, неправъ, а что права ты съ твоею бездоказательною мечтатель-

ностью... И потому-то я всегда твой, я всегда иду за тобою, куда ты ведешь меня. Довольна-ли ты теперь?

— О, нѣтъ! засмѣялась она.— Къ счастью, я еще недовольна. Если я буду довольна, значить, я остановилась, значить, мой путь конченъ... Нѣтъ, я недовольна, Сергѣй, я еще желаю много, много...

Въ эту минуту Евгений, весь полный своихъ внутреннихъ думъ, подошелъ къ нимъ.

— Ну что, Женька! крикнулъ ему весело Сергѣй, дружески хлопнувъ его по плечу.— Не одолѣешь себя никакъ? Не горюй, братъ, не растравляй себя попусту... Фатма не жизнь, а пѣсня, и съ нею у васъ не вышло-бы ничего добраго. Оставь мертвымъ оплакивать мертвыхъ... Мертвый мирно въ гробѣ спи, жизнью пользуйся живущій! Вотъ истинная философія мужа... *Le roi est mort, vive le roi!* Передъ тобою еще все впереди.

Но Евгений молчалъ, печально поникнувъ головою, и не отвѣчалъ ни слова на ободряющую философію брата.

— Они покинули насъ, но мы сами остались, продолжалъ съ тѣмъ-же одушевленіемъ Сергѣй. — Одна волна прошла, за нею встанетъ другая. Всѣ они пройдутъ мимо... Будемъ слѣдить за ними со спокойствіемъ лѣтописцевъ, изъ своей тихой пустыньки, гдѣ нашъ трудъ, наши радости... Мы въ ней крѣпки, какъ эти дубы, что растутъ вонъ на той скалѣ... Они глядятъ на волны, бьющія кругомъ нихъ, и все растутъ выше и зеленѣе.

— Нѣтъ, Женька, не слушай Сергѣя, вдругъ растроганно сказала Анна, обнимая рукой шею брата.— Плачь, плачь, сколько тебѣ хочется... Твое сердце требуетъ слезъ, и пусть они текутъ!.

Евгений молча и горячо пожалъ руку сестры.

Они отошли отъ берега и медленно стали подниматься въ гору, по тропинкѣ Адамъ-Чокрака.

А море стояло, струясь синюю зыбью, безпредѣльное и могучее, какъ всегда; въ его голубомъ туманѣ тонули паруса далекихъ кораблей, разносившихъ суетливую жизнь человѣка, а темная и неподвижная пучина лежала вѣчною загадкою сфинкса на останкахъ почившаго прошлаго.

Евгений Марковъ.

ОСЕННІЯ ГРЕЗЫ.

Осеннія грезы, тяжелыя грезы...
Пахнуло опять старинной...
Невольно тѣснятся обильныя слезы,
И сердце щемило тоской...

И грустно, и жалко вдругъ стало чего-то,
И грезить душа о быломъ...
Несется изъ дальняго грустная нота,
Встаетъ за фантомомъ фантомъ...

Къ чему-же такъ сердце больное стремится,
Что ищетъ въ прошедшемъ оно?
Тамъ столько страданій и горя таится,
А счастья такъ мало дано!..

Пусть снова вернуться былия мученья,
Пусть горе воротится вновь,—
Но только... пусть также, хотя на мгновенье,
Вернется былая любовь!..

Расправиль-бы мощно я слабыя руки,
Я вновь-бы былъ молодъ душой,—
И что мнѣ тогда всѣ тяжелыя муки
И битва съ суровой нуждой!..

С. М. Архангельскій.

НА ВОЛОСКЪ.

РОМАНЪ.

Это было порядочно далеко отъ Петербурга. Густой лѣсъ разстился своей южной стороною вдоль полотна желѣзной дороги и, освѣщаемый послѣдними лучами осенняго солнца, стоялъ, какъ сторожъ, передъ проходившими поѣздами. Все было тихо. Въ рабочую пору не только бабамъ, но и ребятишкамъ некогда было шдаться за грибами. Въ чащѣ деревьевъ мелькала только форменная фуражка лѣсничаго, который ходилъ, разсѣянно постукивая палкой по толстымъ стволамъ деревьевъ и машинально прислушиваясь въ мѣрному стуку удалявшагося поѣзда. На небѣ собирались тучи; лѣсничій поглядѣлъ на небо и разсудилъ, что пора идти домой, чтобъ добраться до темноты, когда вдругъ его тонкій слухъ уловилъ въ лѣсу движеніе. Гдѣ-то хрустнула вѣтка, зашуршали листья подъ чьей-то ногой. Частые случаи лѣсокравства пріучили его быть на-сторожѣ; онъ зашелъ за группу деревьевъ и оттуда устремилъ внимательный взглядъ въ ту сторону, гдѣ слышалъ шумъ. Тамъ двигалась, приближаясь, женская фигура въ длинномъ платьѣ, непохожая на крестьянку. По-временамъ она останавливалась, поднимая голову вверхъ, какъ-будто что-то отыскивая; потомъ начала развертывать какой-то свертокъ, бывшій у нея въ рукахъ. Лѣсничій невольно заинтересовался страннымъ явленіемъ, потому что женщина была молода, стройна и даже изящно одѣта, — какъ не одѣваются для про-

гулки по лѣсу. Какъ и откуда могла она забрести въ эту чашу и что она тутъ дѣлала?

Вдругъ онъ весь вздрогнулъ; глаза его расширились отъ ужаса, невольное восклицаніе слетѣло съ губъ: онъ увидалъ, что незнакомка вскочила на срубленный пенъ дерева и быстро накинула веревку на верхній сучекъ. Мгновеніе — и она просунула голову въ готовую петлю.

Не помня себя, однимъ скачкомъ очутился лѣсничій возлѣ нея и, схвативъ ее на руки, вынулъ изъ петли. Но она была уже безъ чувствъ; смертная блѣдность покрывала ея лицо. Руки похолодѣли, пульсъ не бился. Растерявшись, не зная, что дѣлать, онъ сталъ растирать ей шею руками, потомъ вскочилъ и бросился искать воды, но рѣка была далеко; онъ побоялся надолго оставить безъ помощи лишившуюся чувствъ женщину. Въ отчаяніи онъ сѣлъ на землю и сталъ тереть несчастной женщины виски и руки. Въ то-же время скептической разсудокъ напештывалъ ему, цивилизованному человѣку: зачѣмъ это дѣлать? Зачѣмъ спасать ее? Зачѣмъ возвращать жизнь существу, которое хочетъ отдѣлаться отъ нея? Сколько разъ онъ самъ, ходя по этому самому лѣсу и глядя на эти самые крѣпкіе сучья, думалъ съ горькой насмѣшкой надъ собой: отчего у него не достаетъ силы воли прервать это унылое, безцвѣтное, безрадостное земное существованіе? Одинъ мигъ рѣшимости — и кончены всѣ, тянущіе за душу, вопросы, сомнѣнія, неудовлетворенныя желанія... Но то-же самое чувство, мѣшавшее ему привести въ исполненіе эти мысли, заставляло его теперь съ такимъ волеяніемъ, съ такимъ усердіемъ и участіемъ добиваться искры жизни въ груди этой страдальцы. Онъ былъ человѣкъ еще молодой, но уже изломанный жизнью; не имѣя самъ достаточно энергіи, чтобъ сбросить съ себя ярмо, онъ выше всего уважалъ въ другихъ это качество. Почувствовавъ-ли онъ невольное удивленіе передъ существомъ, рѣшившимся, не колеблясь, сбросить съ себя иго страданія, или его охватила сочувственная жалость, только онъ ощутилъ глубокой трепетъ радости, когда Елена—это была она—сдѣлала легкое движеніе и вздохнула.

Чувствуя себя крѣпко охваченною чьими-то руками, она, не открывая глазъ, прижалась къ этому незнакомому человѣку, инстинктивно, какъ ребенокъ, ища въ немъ опоры и защиты. Но

вдругъ она раскрыла свои большіе темные глаза и, озираясь кругомъ, прошептала:

— Гдѣ я? Кто это со мною?

Лѣсничій молчалъ. Елена приподнялась и съ выраженіемъ изумленія прибавила:

— Кто вы и зачѣмъ я здѣсь?

— Вы... я... проговорилъ-было растерявшійся лѣсничій и не зналъ, что сказать дальше.

— Ахъ, да! быстро прервала она. — Знаю! Помню все!

Она вдругъ отвернулась и, закрывъ лицо руками, начала тихо и горько рыдать.

— Ахъ, зачѣмъ вы помѣшали мнѣ? Зачѣмъ не дали докончить то, что я хотѣла? Зачѣмъ, зачѣмъ? прошептала она. — Я все медлила, наконецъ рѣшилась, и вотъ...

Въ дрожащихъ звукахъ ея голоса вылилось столько страданія и горечи, что лѣсничему стало жутко. Зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, онъ спасъ ее? Зачѣмъ онъ сталъ на пути къ ея освобожденію?

— Опять все то-же... опять начинать съ начала! продолжала Елена, говоря сама съ собою. — О, какъ это тяжело... какъ трудно, трудно!

Онъ попробовалъ начать что-то говорить, но она прервала его съ горькимъ упрекомъ:

— Зачѣмъ вы помѣшали мнѣ?... Вѣдь мнѣ нельзя... Мнѣ нечѣмъ жить, поймите!.. Нечѣмъ и незачѣмъ! прибавила она съ отчаяніемъ.

Она хотѣла встать, но отъ слабости упала на землю. Стоя на колѣняхъ передъ нимъ, со сложенными руками, она сказала умоляющимъ голосомъ:

— Уйдите отсюда, прошу васъ; оставьте меня одну!

Онъ всталъ и, терзаемый жалостью, глядѣлъ на нее, не находя, что ей возразить.

— Уйдите, ради Бога... Нѣтъ, постойте... Прежде общайте мнѣ... Но кто вы такой сами? Вы изъ полиціи? спросила Елена, глядя тревожными, блестящими отъ лихорадки глазами на его форменную кокарду.

— Нѣтъ, я лѣсничій; моя фамилія Молчановъ.

— Дайте-же мнѣ слово, что вы не выдадите меня полиціи, не станете публиковать мои примѣты... Пусть то, что вы

видѣли, останется тайной... навсегда... для всѣхъ! Общались вы?..

— Общаю; но что вы здѣсь будете дѣлать однѣ? Вы, вѣрно, пріѣхали по желѣзной дорогѣ? Поѣздъ давно ушелъ.

— Это мое дѣло. Только уйдите, оставьте меня одну.

Она встала на ноги и слабыми, нетвердыми шагами пошла отъ него.

Молчановъ стоялъ и смотрѣлъ на нее. Сейчасъ только онъ раскаявался, что спасъ эту женщину, а теперь опять дрожалъ за ея жизнь. Она все шла впередъ. Тутъ только онъ замѣтилъ, что уже давно шелъ дождь, что платье Елены промокло насквозь и она дрожить съ головы до ногъ. Это простое обстоятельство рѣшило все. Для него стало ясно, что нельзя ее оставить, при наступающей ночи, одну подъ дождемъ, въ промокшемъ платьѣ.

— Нѣтъ, я не уйду; я не могу оставить васъ, какъ хотите. Пойдемте со мной, сказалъ онъ рѣшительно и силой повернулъ ее назадъ.

— Куда? Куда вы хотите вести меня? Къ кому? спросила Елена съ испугомъ.

— Просто къ жилью, въ домъ, гдѣ вы обсушитесь и отдохнете.

— Не надо!.. Оставьте меня! повторила она, вырываясь съ отчаяніемъ.—Я сама найду себѣ мѣсто. Пустите меня! Господи... да имѣйте-же сколько-нибудь жалости!..

— Я жалѣю васъ всей душою, сказалъ Молчановъ измѣнившимся голосомъ,—и потому я не могу оставить васъ здѣсь одну. Я васъ прошу: только на время... Только отдохните, успокойтесь и завтра идите, куда хотите.

Она шаталась и почти не замѣчала, что онъ поддерживалъ ее за талю и увлекалъ за собою.

— Куда-же меня ведутъ? спрашивала она въ какомъ-то бреду.— Неужели туда, къ нимъ?

И ея горячешный взглядъ устремился ему въ лицо.

Онъ отрицательно покачалъ головою и почти понесъ ее на рукахъ.

— Вы имъ не скажете, кто я? лепетала она. — Надо, чтобъ они никогда не узнали.

— Нѣтъ, нѣтъ, они не узнаютъ. Пойдемте!

Лѣсъ началъ рѣдѣть. Они подходили къ полотну желѣзной дороги, и вдали слышался приближающійся шумъ локомотива.

— Что со мной? шептала Елена, цѣпляясь за своего спутника.—Какой-то туманъ въ головѣ... Не знаю, гдѣ я и кто вы?..

Вдругъ она выпрямилась, прислушиваясь, и вся оживилась. Товарный поѣздъ подходилъ.

— А, вотъ что! Вотъ куда зовутъ! вскрикнула она и бросилась впередъ, но Молчановъ удержалъ ее на половинѣ дороги. Елена была уже совсѣмъ въ безсознательномъ состояннн и не могла ни сопротивляться, ни понимать, что съ ней дѣлается.

Молчановъ отнесъ ее въ лѣсную избушку, служившую ему квартирой для ночевокъ въ лѣсу. Тамъ жилъ вмѣстѣ съ нимъ старый лѣсникъ, который очень удивился, увидѣвъ барина, возвращавшагося съ такой ношей.

— Я нашелъ ее больную, въ лѣсу... совсѣмъ безъ памяти... въ горячкѣ, сказалъ ему Молчановъ.—Нельзя-же было бросить ее умирать: вѣдь она человекъ! прибавилъ онъ, какъ-бы извиняясь.

— Вѣстимо, вѣстимо! сочувственно отозвался старикъ Демьянъ.—Должно быть, она вышла на нашемъ полу-станкѣ и пропустила поѣздъ.

— Да, вѣроятно. Твоя жена дома? торопливо спросилъ Молчановъ.

— Гдѣ ей быть-то! Извѣстно, дома!

— Позови ее, чтобъ она раздѣла и уложила больную. Я заплачу ей, чтобъ только она ходила за нею.

Единственная хорошая горница, въ которой обыкновенно помещался самъ Молчановъ, была отдана Еленѣ Николаевнѣ Азанъевой. Впрочемъ, избушка была просторна и скорѣе похожа на маленькій флигель. Полу-слѣпая старуха, жена Демьяна, уложила больную, какъ умѣла, и сама тотчасъ легла спать, не особенно интересуясь ни ея болѣзнью, ни ею самою.

Но Молчановъ не легъ. Волненнн не давало ему спать. Ему надо было успокоиться и привести въ порядокъ тотъ мнръ ощущеннй, который возбудила въ немъ эта необыкновенная случайность—наткнуться на женщину, готовящуюся лишиться себя жизни, и спасти ее. Да, онъ спасъ ее... Онъ повторялъ себѣ это съ внутренней, сердечной радостью, и этотъ фактъ возвышалъ его въ собственныхъ глазахъ. Въ то-же время его пугала отвѣт-

ственность, взятая имъ на себя; но что-бы изъ этого ни вышло, онъ чувствовалъ, что какая-то сила забрала его и что онъ не могъ и не желалъ-бы поступить иначе. Мало того, онъ сознавалъ, что цѣлымъ рядомъ ощущеній и невольныхъ движеній сердца онъ приковался всѣмъ существомъ своимъ къ этой незнакомой, чужой женщинѣ. Онъ не повѣрилъ-бы, если-бы ему сказали за нѣсколько часовъ, что все это съ нимъ будетъ не во снѣ, а на-яву.

Петръ Андреевичъ Молчановъ съ самаго дѣтства былъ неудачникомъ. На школьной скамьѣ, по службѣ, во всѣхъ его привязанностяхъ, его преслѣдовали неудачи. И не мудрено: если жизнь есть борьба за существованіе, то онъ былъ одной изъ тѣхъ особей, которыя должны уступать мѣсто болѣе сильнымъ видамъ. У него было любящее сердце, наклонность къ энтузіазму и безконечная безхарактерность. Самой крупной его неудачей была женитьба въ двадцать лѣтъ на дѣвушкѣ выше его по положенію въ свѣтѣ. Къ несчастью для него, онъ былъ красивъ и симпатиченъ, и приглянулся дочери одного аристократическаго семейства, куда онъ ходилъ давать уроки. Въ то время была въ самомъ разгарѣ мода на браки противъ воли родителей, и преимущественно со студентами. Молчановъ подвергся этому процессу и, не имѣя духа противорѣчить влюбленной дѣвицѣ, допустилъ женить себя. Свадьба эта имѣла послѣдствіемъ то, что раздраженные родители не дали за дочью ни гроша. Затѣмъ начались длинныя годы мученій для неравной четы. Стремленіе Полины Григорьевны жить выше состоянія породило долги, затѣмъ бѣдность, непріятности. Вначалѣ супружества она до безумія ревновала мужа, не отпускала его отъ себя, дѣлала его существомъ безличнымъ; потомъ, охладѣвъ къ нему, не могла простить сама себя своего опрометчиваго шага; глядѣла съ завистью на прежнихъ подругъ, живущихъ въ большемъ свѣтѣ и въ роскоши, и постоянно пилила мужа, заставляя искать выгоднаго мѣста и въ потѣ лица добывать денегъ, чтобъ она могла поддерживать домъ на приличную ногу. Впрочемъ, благодаря ея связямъ и родству, Молчановъ легко находилъ мѣста. То, которое онъ занималъ теперь — мѣсто лѣсничаго — считалось Полиной Григорьевной выгоднымъ, и потому она рѣшилась, какъ она говорила, „похоронить себя въ лѣсу“. Но это была только игра словъ: жили они

не въ лѣсу, а въ большомъ, людномъ селѣ, примыбавшемъ къ лѣсу; она заставила мужа купить тамъ продававшуюся помѣщичью усадьбу и завела знакомство съ желѣзнодорожными дамами.

Занятія лѣсничаго пришлось какъ нельзя болѣе по вкусу Молчанову: онъ любилъ природу и тишину, и притомъ это давало ему благовидный предлогъ пропадать по цѣлымъ днямъ изъ дома, гдѣ жена пилила его за все, какъ только онъ показывалъ глаза. Онъ выстроилъ себѣ въ лѣсу, верстахъ въ трехъ отъ дома, высокую, свѣтлую избу, гдѣ часто оставался ночевать, а въ настоящее время и совсѣмъ поселился въ ней, потому что жена его уѣхала въ Самару, къ богатому холостому дядѣ, отъ котораго ждала наслѣдства. Эти поѣздки въ Самару совершались аккуратно каждый годъ, обыкновенно зимой, чтобъ воспользоваться городскими удовольствіями; но въ этотъ годъ Полину Григорьевну вызвали туда раньше телеграмой, возвѣщавшей о болѣзни дяди. Она тотчасъ собралась, въ большомъ волненіи отъ ожиданія наслѣдства, и уѣхала со своей единственной дочерью Вавочкой, сопровождавшей ее всюду. Это случилось дней за пять до встрѣчи Молчанова съ Еленой Николаевной.

VI.

Елена была больна опасно и не приходила въ сознаніе; Молчановъ это видѣлъ, но не рѣшался призвать доктора. Въ его ухахъ еще звучали ея больныя, горячешныя рѣчи, ея мольбы о томъ, чтобъ онъ не выдавалъ ее и чтобъ никто не узналъ, кто она. Онъ боялся повредить ей въ будущемъ разглашеніемъ ея пребыванія у него, и хотя зналъ, что этимъ укрывательствомъ могъ навлечь на себя большія непріятности и затрудненія, но ни на минуту не поколебался. Его плѣняла романическая сторона этого приключенія, ему нравились эти вседневныя заботы о безпомощномъ существѣ, нравилось сознаніе того, что онъ полезенъ. Жена до того натрубила ему въ уши о его бесполезности, до того отстранила его отъ участія въ хозяйствѣ, въ воспитанія дочери, что онъ, наконецъ, самъ убѣдился въ своей негодности.

Елена продолжала лежать въ лѣсномъ домикѣ подъ плохимъ

присмотрѣвъ жены лѣсника, которая рѣшила, что она непремѣнно умереть. Но самъ Молчановъ по цѣлымъ днямъ слѣдилъ за ходомъ болѣзни, справедливо рассчитывая, что цѣлительный лѣсной воздухъ и чистое содержаніе помогутъ лучше аптечныхъ лекарствъ. Притомъ болѣзнь была такая странная, что ни одинъ докторъ, какъ ему казалось, не могъ-бы помочь ей. Неизвѣстно было, сознаетъ-ли что-нибудь больная, чувствуетъ-ли, страдаетъ-ли. Глаза всегда полу-закрыты, губы пѣмы, члены безъ движенія; слабость доходила до такой степени, что она не могла поднять руки. Такъ проходили дни, безъ малѣйшаго признака улучшенія.

Поглощенный своей новой жизнью, Молчановъ почти совсѣмъ не ходилъ въ большой домъ. Домъ считался не его, а барынинъ, и барыня оставила въ немъ прислугу, которая ей одной должна была отдавать отчетъ. Молчанову было-бы почти неловко тамъ, какъ чужому. Здѣсь-же онъ чувствовалъ себя довольнымъ, почти счастливымъ и какъ-будто перерожденнымъ. Для него, съ первыхъ дней супружества лишившагося всякой самостоятельности, притерпѣвшагося къ постояннымъ упрекамъ, брани и жалобамъ, невыразимо пріятно было ощущеніе свободы, хотя и временной.

Онъ и прежде это чувствовалъ во время отлучки жены, но теперь къ этому присоединялись еще интересъ присутствія этой незнакомой женщины, надежда, что она выздоровѣетъ, благодаря ему, и онъ когда-нибудь услышитъ отъ нея теплое слово благодарности. Ему не только не надоѣла роль сидѣлки, но, напротивъ, онъ втягивался въ нее и съ какимъ-то чувствомъ умиленія смотрѣлъ на молодое, бѣлое, какъ воскъ, страдальческое лицо своей больной.

Раннимъ утромъ и позднимъ вечеромъ онъ привыкъ входить къ ней, поправлять ея подушки и шептать ей ласковыя слова, которыхъ она не слышала. Ему нравилось даже ея всегдашнее молчаніе: нервы его до того наболѣли отъ крикливой брани Полины Григорьевны, что онъ боялся, какъ-бы и этотъ женскій голосъ не обратился къ нему съ рѣзкими словами. Не всегда, впрочемъ, воспоминанія его о женщинахъ были такого рода: у него былъ также свой романъ, свѣжій, начавшійся и кончившійся очень недавно. Это случилось, разумѣется, въ отсутствіе жены:

она ѣздила въ Москву лечить свою Вавочку отъ воображаемаго начала чахотки. Въ селѣ у нихъ появилась сельская учительница, молодая дѣвушка. При Полинѣ Григорьевнѣ о ней не было и слышно; но послѣ ея отъѣзда Молчановъ разъ неожиданно засталъ эту учительницу у себя въ саду. А садъ былъ прелестный, потому что Молчановъ любилъ цвѣты и разводилъ ихъ самъ. Оказалось, что эта дѣвушка также обожаетъ цвѣты, и это сблизило ихъ.

Молчановъ увлекался легко. Всю жизнь страдаая отъ недостатка ласки и симпатіи, онъ хватался за первые признаки ихъ въ комъ бы то ни было. Онъ и сельская учительница были неразлучны, до тѣхъ поръ, пока не грянула гроза въ видѣ жены. Полина Григорьевна узнала обо всемъ и разметала по вѣтру его короткое счастье. Учительница не только была изгнана изъ дома, но совсѣмъ уѣхала изъ села. Молчановъ еще больше притихъ, еще больше съезжился; но въ душѣ его остались незабвенныя воспоминанія. Не имѣя больше надежды когда-нибудь увидаться съ предметомъ своей неудачной любви, онъ пересталъ тосковать объ этой дѣвушкѣ; но не прошла его тоска по женской ласкѣ и участіи, и, можетъ быть, оттого Елена приобрѣла для него такое значеніе, что онъ жаждалъ испытать опять то-же сладкое чувство.

И вотъ однажды въ глазахъ Елены появился лучъ сознанія. Молчановъ дождался той блаженной минуты, когда она могла сидѣть, говорить и глотать бульонъ изъ его рукъ. Боже мой! Какъ она была блѣдна, тонка, прозрачна, но какъ хороша! Никогда въ жизни онъ не видалъ ничего подобнаго выраженію ея лица. Казалось, она вернулась откуда-то издалека, изъ другого міра, и, какъ усталый путникъ, наслаждалась блаженствомъ отдыха. Зато она быстро уставала: уставала сидѣть, уставала глядѣть, уставала жить. И онъ спѣшилъ укладывать ее, заслонять ширмами отъ свѣта. Она какъ-будто еще не совсѣмъ пришла въ себя; большими, серьезными глазами слѣдила она иногда за нимъ и вдругъ внезапно засыпала на его рукъ или плечъ. И онъ не смѣлъ пошевелинуться, чтобъ не потревожить этотъ слабый сонъ. Онъ самъ не подозрѣвалъ въ себѣ того запаса жалости и нѣжности, которыя теперь проснулись въ немъ; теперь только онъ понялъ ту жажду покровительства и ласки, кото-

рая свѣдала его всю жизнь, никогда неудовлетворенная, вѣчно поруганная и затоптанная. И онъ наслаждался этимъ чувствомъ, какъ иззябшій нищій, пригрѣтый разъ въ жизни у свѣтлаго очага.

Между тѣмъ наступила глубокая осень, и морозъ уже порядкомъ скрѣпилъ влажную землю. Мысль о неминуемомъ возвращеніи жены все чаще и чаще пугала Молчанова. Полина Григорьевна писала ему, что болѣзнь дяди затягивается и нѣтъ никакихъ признаковъ близкой опасности. Какъ всѣ слабые люди, Молчановъ гналъ отъ себя эту мысль и старался не думать о томъ, что будетъ.

Разъ онъ стоялъ передъ своей пациенткой и упрасивалъ ее выпить хоть немножко бульона. Но она упрямо качала головой, и онъ принужденъ былъ со вздохомъ отставить чашку. Тогда Елена взглянула на него и съ усиленіемъ проглотила бульонъ. Онъ понялъ, что она дѣлала это для него, и сердце его наполнилось гордою радостью. Елена опять посмотрѣла на него, и на губахъ ея мелькнула улыбка,—улыбка слабая, едва мерцающая, точно вынырнувшая изъ какой-то бездонной глубины, но все-таки улыбка. Это была первая улыбка, какую видѣлъ Молчановъ на ея лицѣ, и какъ она освѣтила это лицо! Спустя еще дня два, замѣтивъ, что Елена хочетъ встать, онъ хотѣлъ, по обыкновенію, отнести ее на кресло, но она отстранила его и встала сама. Онъ стоялъ и смотрѣлъ, какъ она, безъ его помощи, тихо и медленно передвигалась по комнатѣ. „Вотъ и кончено; теперь я не нуженъ“, подумалъ онъ, и внезапная боль охватила его сердце.

Поблѣднѣвъ и нахмурившись, онъ смотрѣлъ, какъ Елена легла опять на постель, и, не смѣя теперь заботиться о ней съ прежней фамильярностью, онъ тихо ебошелъ кругомъ и сталъ осторожно сзади поправлять ей подушки.

— Подите сюда! проговорила она.

Онъ повиновался. Елена взяла его руки и крѣпко сжала въ своихъ; легкій румянецъ выступилъ у нея на щекахъ и глаза были влажны.

— Не считайте меня слѣпюю, проговорила она чуть слышно, и губы ея дрогнули отъ волненія: — я все вижу... все чувствую... все понимаю и за все благодарю...

Тутъ она повернулась лицомъ къ его рукамъ и прильнула къ нимъ долгимъ, горячимъ поцѣлуемъ признательности.

Что почувствовалъ при этомъ Молчановъ — нельзя передать словами. Онъ весь дрожалъ; чувство смятенія и счастья захватило ему дыханіе. Ему, давно утратившему всякую самостоятельность и личное значеніе, ему, надъ головой котораго, втеченіи пятнадцати лѣтъ, раздавались только брань и упреки, ему, забитому, искалѣченному, какъ искалѣчивается молодое дерево подъ натискомъ чужаднаго растенія, высасывающаго изъ него жизнь, ему и въ мечтахъ не грезилось ничего подобнаго. У него точно выросли крылья; гордость и смѣлость наполнили его грудь. О, пусть жена пріѣзжаетъ теперь, пусть увидитъ все, онъ ничего не боится!..

Но, какъ укушеніе змѣи, проползло передъ нимъ грызущее воспоминаніе о послѣднемъ эпизодѣ съ сельской учительницей и о томъ, какъ онъ велъ себя тогда. При немъ ругали и чуть не были доврившюся ему дѣвушку, и онъ молча допускалъ все. Онъ стоялъ приниженный, жалкій, уничтоженный, и могъ только опускать глаза передъ взглядомъ презрѣнія, которымъ заклѣймила его эта дѣвушка, любившая его. Напрасно ждала она отъ него протеста, защиты, негодованія, и, вѣроятно, понявъ всю глубину его ничтожества, отвернулась и пошла, не взглянувъ на него и не сказавъ ему ни слова на прощаніе.

И все-таки теперь все это ступевывалось, уплывало куда-то далеко. То, что тогда казалось такъ серьезнымъ, важнымъ, неизгладимымъ, теперь стиралось, блѣднѣло и отступало на задній планъ. Молчанову казалось, что для него начинается новая жизнь.

Дверь отворилась, и старуха Захаровна, жена лѣсника, просунула голову.

— Баринъ, за вами барыня прислала, сказала она.

— Прислала? Откуда? спросилъ онъ, не понимая.

— Изъ большого дома.

Молчановъ долго не могъ усвоить тотъ простой фактъ, что его жена пріѣхала. Ему хотѣлось-бы, какъ ребенку, закрыть глаза, зажать уши и кричать: „нѣтъ, нѣтъ, это неправда!“ Но фактъ былъ на лицо, грозный и неотразимый. Молчановъ, скрывая свое отчаяніе и опасенія, не смѣя взглянуть на Елену, взялъ фуражку, надѣлъ пальто и вышелъ. Бѣговныя дрожки дожидались его у крыльца.

VII.

Полина Григорьевна прѣхала изъ дома дяди, пропитанная духомъ аристократизма, въ новомъ дорожномъ платьѣ и въ новомъ модномъ шиньонѣ. Она со свѣтской улыбкой сказала мужу: „vous voilà, Pierre“, и подставила ему для поцѣлуя подбородокъ.

Она была очень высока и справедливо гордилась и ростомъ, и прекрасной фигурой; но красоты она не имѣла.

— Здравствуй, папа, покровительственно сказала десятилѣтняя Вавочка, которую отецъ едва могъ узнать въ новомъ костюмѣ, до того узкомъ, что она казалась заключенною въ футляръ.

— Что это на тебѣ? спросилъ онъ, повертывая ее.

— Это princesse съ пелериной, бойко отвѣчала дѣвочка, поднимая руки и показывая костюмъ. — Мама хотѣла сдѣлать мнѣ изъ суроваго полотна, но я настояла, чтобъ изъ бѣжа. Мы съ мамой всегда расходимся.

— Ну, полно съ глупостями! прервала Полина Григорьевна, садясь опять за столъ, гдѣ она пила кофе.— Поди сюда, Пьеръ. Ты точно идіотъ! Слушаешь болтовню дѣвочки, вмѣсто того, чтобъ спросить о важномъ.

— Говори, я слушаю, сказалъ Молчановъ.

— Ну, доктора нашли у дяди воспаленіе надкостной плевы, и плевритъ, и еще много чего - то такого. Прожить долго онъ не можетъ, и я опять скоро къ нему поѣду. Онъ такъ полюбилъ меня въ послѣднее время, такъ полюбилъ, что я и сказать не могу! И Ваву просто боготворить—хочетъ отказать ей по духовной...

— Десять тысячъ деньгами и домъ въ Самарѣ, перебила поспѣшно Вавочка.— У него три дома, и одинъ мнѣ, а другой кукли Софи, и когда я выйду замужъ, то я...

— Молчи, перебила мать. — Дядя перессорился съ Городецкими, и съ Тепловыми, и съ Мишелемъ, и съ Анетой. Теперь онъ ужъ мнѣ, а не имъ отдаетъ Лугинскій лѣсъ... Да ты меня не слушаешь, Пьеръ?

— Какъ не слушаю...

— По лицу вижу, что не слушаешь. Ты всегда въ какахъ-

то дурацкихъ мечтахъ, вскрикнула Полина Григорьевна, уже красная отъ гнѣва.— Другой благодариль-бы, молился-бы на такую жену, которая поѣхала, все обдѣлала, шла на всевозможныя неприятности, на ссоры, затѣмъ только, чтобъ упрочить домашнее благосостояніе, чтобъ обезпечить дочери кусокъ хлѣба. А ты!.. Сдѣлалъ ты что-нибудь для дочери?

— Я служу, тихо проговорилъ Молчановъ.

— Вотъ прекрасно! Кто-же не служить? Еслибъ ты еще вздумалъ не служить, куда-же ты-бы годился? Развѣ одной твоей службой можно жить мнѣ съ моими привычками? Ты, когда женился, рассчитывалъ на мое состояніе; а я на что рассчитывала, скажи-ка?

Нелогичность этого вопроса даже заняла Молчанова; пока онъ обдумывалъ, какой грамматическій смыслъ могъ-бы въ немъ заключаться, Полина Григорьевна продолжала рѣзко:

— Хороша твоя служба! Человѣкъ служащій, а поступаетъ беззаконно! Какую это горячешную ты положилъ тамъ у себя въ лѣсномъ домикѣ? Развѣ позволено вносить заразительныя болѣзни въ окрестность?

Молчановъ внутренно вздрогнулъ. Хорошо, что жена привыкла къ его молчанію; иначе оно-бы выдало его.

— Ну, ужь еслибъ я пріѣхала, когда эта баба была еще здѣсь, продолжала Полина Григорьевна,—я-бы всё ваши гуманныя затѣи уничтожила. На это есть больницы въ участкѣ. Говорите, что это была за женщина?

Молчановъ прислушивался къ интонаціи ея голоса и догадывался, что жена его была обманута какимъ-нибудь ложнымъ донесеніемъ. Съ хитростью, свойственною всеѣмъ забытымъ людямъ, онъ возразилъ неопредѣленно:

— Обыкновенная была женщина. Не бросать-же человѣка умирать въ лѣсу!

— Сторожа подобрали-бы безъ тебя. Куда-же она дѣвалась потомъ?

— Не знаю. Кажется, уѣхала по желѣзной дорогѣ.

— Это хорошо. А то вы, пожалуй, вздумали-бы возобновить недавній романъ, замѣтила жена язвительно.

О, еслибъ знала она, какъ была недалеко отъ истины!

Молчановъ не могъ опомниться, что гроза пронеслась мимо и

все обошлось благополучно. Конечно, это только благодаря ошибкѣ, которая могла легко открыться; но все-же это была отсрочка. Прислуга, увѣдомлявшая Полину Григорьевну о всѣхъ сплетняхъ, касавшихся ея мужа, считала почему-то, что больная незнакомка оставила лѣсной домикъ. Впослѣдствіи Молчановъ узналъ, что это Захаровна оказала ему безсознательно эту услугу: старуха эта была глупа и безтолкова; разговаривая съ кѣмъ-то изъ большого дома, она подумала, что ее спрашиваютъ совсѣмъ не про ту больную, и сообщила, что ее давно уже нѣтъ. Въ своей рѣчи она не употребляла ни именъ, ни названій и выражалась про всѣхъ одинаково: „онъ, она, этотъ, эта“. Поэтому легко было впасть въ заблужденіе.

— Эта женщина была молодая? спросила, однако, Полина Григорьевна.

— Не знаю.

— Что за глупый отвѣтъ! Ужь не хочешь-ли увѣрить, что ты не смотрѣлъ на нее? Я тебя теперь знаю... все знаю! Боже мой, какъ могутъ жениться мужчины, зная, что они такое?..

— Это можно отнести и къ женщинамъ, сказалъ мужъ.

— Да; и насъ слѣдовало-бы учить хорошенько за то, чтобъ мы не выходили зря за перваго встрѣчнаго. Ахъ, если я буду обо всемъ этомъ думать, со мной сдѣлается истерика. Вавочка, что это значить, что ты наливаешь себѣ другую чашку крѣпикаго кофе?

— Такъ что-жь? Можетъ быть, я захочу еще третью, отвѣчала Вавочка.

— Но я тебѣ не позволю, это вредно.

— Что выдумала! Такъ я тебѣ и повѣрю! возразила дѣвочка.

— Дрянная дѣвочка! Ты обязана мнѣ вѣрить.

— Почему это?

— Вотъ, Петръ Андреичъ, вскричала Полина Григорьевна, пылая гнѣвомъ,— вотъ плоды вашего воспитанія!

— Моего воспитанія? удивился онъ.

— Да, это вы научили ее не уважать мать, вы, вы!.. Ступайте съ моихъ глазъ, не мучьте меня вашимъ присутствіемъ!.. У васъ есть тамъ изба въ лѣсу,—ну, и сидите въ ней!..

Молчановъ боялся встать, чтобъ жена, по его поспѣшности, не

угадала, какъ онъ счастливъ своимъ изгнаніемъ. Но Полина бранилась съ дочерью и не обращала на него вниманія. Однако, какъ только онъ тронулся съ мѣста, она обернулась.

— Завтра ко мнѣ пріѣдутъ гости, сказала она: — жена начальника станціи и ея братъ. Я вчера звала ихъ проѣздомъ. Узнай, довольны-ли у насъ провизіи?

— Хорошо, сказалъ Молчановъ, уходя.

Онъ не шель, а бѣжалъ къ своему лѣсному домику. Ему хотѣлось увидѣть Елену, какъ-будто послѣ долгой разлуки, увѣриться, что она все еще съ нимъ, что ее у него не отняли. Къ счастью, никто никогда не приходилъ въ лѣсной домикъ, кромѣ лѣсниковъ, сторожей и крестьянъ; прислуга большого дома не интересовалась нисколько идти туда пѣшкомъ лѣсомъ въ такую даль. Потому можно было надѣяться, что тайна пребыванія Елены откроется нескоро.

Но какъ изумился Молчановъ, найдя Елену не лежащею, а сидящею въ креслѣ, причесанною и одѣтою и разговаривающею съ Захаровной! Тарелка на столѣ, яичная скорлупа и крошки хлѣба показывали, что она завтракала. При входѣ Молчанова, ея глаза, серьезные и вполне осмысленные, обратились на него, и онъ былъ пораженъ ихъ красотою. Передъ нимъ была совершенно новая для него женщина, потерявшая прелесть слабости и безпомощности, но зато пріобрѣвшая болѣе сильныя чары женской красоты и глубокаго, сосредоточеннаго страданія.

Елена была закутана въ тотъ самый большой сѣрый платокъ, который захватила въ своемъ бѣгствѣ изъ дома, и держала въ своихъ еще слабыхъ пальцахъ иголку, которою подшивала шлейфъ своего единственнаго чернаго платья.

Когда Захаровна вышла и затворила за собою дверь, Елена встала и молча, съ намернувшимися на глазахъ слезами, протянула обѣ руки Молчанову. Онъ прижалъ ихъ къ губамъ и не могъ отъ нихъ оторваться.

— Я знаю все, что вы для меня дѣлали, сказала она съ глубокимъ чувствомъ; — помню, отъ чего вы спасли меня... Но теперь я здорова, и я должна... сама... позаботиться о себѣ...

Видя, что Молчановъ поблѣднѣлъ, Елена поспѣшила прибавить:

— Я никогда не забуду вашихъ заботъ, вашей доброты; но

какъ ни дороги онѣ мнѣ, я не имѣю права долѣе уклоняться отъ жизни, отъ дѣятельности. Вы не знаете: вѣдь я давно здорова физически, но я старалась нарочно продлить эти дни слабости, когда можно лежать и ни о чемъ не думать... Начать снова жить мнѣ такъ не хотѣлось!..

— О, подождите! прервалъ Молчановъ съ сильно бьющимся сердцемъ.— Вы еще такъ слабы... Оставайтесь по-прежнему, пока воротятся ваши силы.

— Нельзя; въ этомъ усиленіи онѣ никогда не воротятся. Видите-ли, сегодня утромъ, когда вы уѣхали, ко мнѣ пришла эта старуха, Захаровна, и рассказала, что пріѣхала ваша жена... что ей неприятно будетъ узнать, что я здѣсь...

— Такъ вотъ что! вскричалъ Молчановъ, вскакивая.— Сплетни глупой старухи взволновали васъ!

— Нѣтъ, совсѣмъ не то, возразила Елена;— слова ея не могли взволновать меня; но они дали мнѣ тотъ толчокъ, который былъ мнѣ нуженъ, чтобъ поднять меня. Вѣдь я до сихъ поръ ни съ кѣмъ не говорила, даже съ вами, мой единственный другъ! И этотъ разговоръ съ тупой старухой отрезвилъ меня, заставилъ опомниться, свелъ на землю изъ того мечтательнаго міра, гдѣ я жила. Я поняла, что не могу вѣчно лежать у васъ на рукахъ, какъ ребенокъ, что пора мнѣ жить своей жизнью.

— Но что-же вы хотите?.. спрашивалъ въ волненіи Молчановъ.— Какъ же вы хотите жить? И гдѣ?.. прибавилъ онъ со страхомъ.

— Подождите... Прежде я должна рассказать вамъ все... всю мою жизнь... и все, что побудило меня... Вы имѣете право знать все про меня.

И она начала рассказывать, находя грустное удовольствіе въ этомъ изліяніи всего, что такъ терзало ее, что довело ее до самоубійства. Она избѣгала называть имена, но подробности душевныхъ ощущеній, чувствъ и характеровъ вышли у нея такъ рельефны и ясны, что Молчанову казалось, будто онъ зналъ ее съ дѣтства. Въ первый разъ такая исповѣдь женщины касалась его слуха; онъ былъ и потрясенъ, и взволнованъ, и очарованъ этимъ голосомъ, этой душою, открывавшеюся передъ нимъ.

Долго за полночь говорили они, и Молчановъ, въ свою очередь, передалъ своей собесѣдницѣ главные факты своей жизни,

обстановки, чувствъ. Умолчалъ онъ только объ эпизодѣ любви съ сельской учительницей: эта любовь потеряла уже въ его глазахъ всю свою яркость и интересъ. Молчановъ былъ такъ счастливъ, что забылъ даже о намѣреніи Елены оставить его. Она сама напомнила, спросивъ у него, не знаетъ-ли онъ, гдѣ-бы она могла нанять въ селѣ квартиру и заняться тамъ работой? Въ былые годы она занималась переводами. Это дѣло было ей хорошо знакомо. Она могла-бы выписать сюда что-нибудь изъ новыхъ иностранныхъ книгъ, перевести и попытаться послать въ Петербургъ кому-нибудь изъ издателей. Нельзя-же было жить безъ дѣла, надо было попытаться вновь войти въ жизнь.

— У меня есть деньги на первое обзаведеніе, продолжала Елена.— Вы мнѣ сказали какъ-то, что вы вынули изъ моего кармана портфель и спрятали къ себѣ. Покажите мнѣ его.

Молчановъ отперъ ящикъ стола и досталъ портфель.

— Вотъ видите, какъ я богата, сказала она съ грустной улыбкой, пересчитывая деньги. — Это было приготовлено *тогда* отдать рабочимъ... Боже мой, какъ все это было давно... точно сонъ тяжелый вспоминается!

Она замолчала и задумалась; потомъ, какъ-бы очнувшись, она проговорила:

— Итакъ у меня достанетъ заплатить впередъ за квартиру; а потомъ я буду работать... работать... работать, такъ чтобъ времени не оставалось!..

— Да, да, говорилъ Молчановъ, — это мы все посмотримъ, придумаемъ, прищемъ.

Онъ боялся ей противорѣчить, вида, что она утомлена чрезвычайно и очень поблѣднѣла. Простившись съ нею, умоляя ее лечь поскорѣе, онъ ушелъ, но не легъ спать, а пошелъ бродить по лѣсу, несмотря на темноту и сырость. Онъ никогда не испытывалъ ничего подобнаго тому, что теперь переполняло его душу. Такого безкорыстнаго, чистаго, сильнаго чувства онъ не питалъ никогда ни къ кому. Ему казалось, что въ душѣ у него разцвѣлъ какой-то роскошный, невѣдомый цвѣтокъ. Что будетъ съ нимъ, если этотъ цвѣтокъ придется оторвать отъ сердца, разлучиться съ нимъ?

VIII.

Полина Григорьевна Молчанова каждый день или принимала гостей, или ѣздила въ гости. Ожидаемое наслѣдство дяди придало ей особенную развязность; она всѣмъ объ этомъ рассказывала, преувеличивая безъ пощады. Однажды, въ общемъ разговорѣ, мужъ ея услышалъ, что черезъ двѣ недѣли она опять поѣдетъ въ Самару. Онъ даже не повѣрилъ, чтобъ такое счастье могло совершиться; но, наблюдая за женою, онъ замѣтилъ, что ее сильно тревожитъ опасеніе, какъ-бы въ ея отсутствіе разныя другія племянницы, племянники и ихъ дѣти не поколебали ея вліянія у дяди и не разрушили ея надеждъ. Мужа она упрекала каждый день.

— Еслибъ не ты, говорила она, — мнѣ и не надо было-бы пріѣзжать сюда; съ другимъ мужемъ я была-бы покойна; онъ выслалъ-бы мнѣ и денегъ, и гардеробъ и по хозяйству-бы распорядился. А отъ тебя развѣ дождешься? Вотъ за аренду сада до сихъ поръ денегъ не отдавали, а ты и не позаботишься! Надо купить птицы, пока она дешева, а ты о чемъ думаешь?

— Но ты сама не довѣряешь мнѣ ничего этого! замѣтилъ Молчановъ.

— И не довѣрю! Еще-бы довѣрить эдакому... Не бѣси меня, пожалуйста: мои нервы еще не окрѣпли послѣ всѣхъ ужасныхъ испытаній съ этой дядиной болѣзью, а тутъ ты разстроиваешь каждымъ словомъ. Боже мой, есть-ли женщина несчастнѣе меня на свѣтѣ?

Начиналась знакомая сцена, но теперь она уже не производила на Молчанова обыкновеннаго гнетущаго вліянія. У него была другая жизнь, другой интересъ, утѣшеніе и вознагражденіе за все. Въ лѣсномъ домикѣ сосредоточивалась для него вся радость жизни. Онъ увѣрялъ Елену, будто ищетъ ей квартиру, а на самомъ дѣлѣ поджидалъ отъѣзда жены, хотя и трепеталъ каждую минуту, что все откроется. Но подходящей квартиры не находилось во всемъ селѣ; еслибъ Елена это узнала, она, навѣрно, переѣхала-бы куда-нибудь дальше. Этого онъ не могъ вынести. Онъ отнесъ Еленѣ цѣлую связку книгъ различнаго содержанія, французскихъ и нѣмецкихъ, которыя жена его при-

возила каждый разъ отъ дяди и никогда не читала. Елена выбрала тамъ кое-что для перевода и принялась за дѣло. И вотъ въ первый разъ въ жизни Молчановъ испыталъ невѣроятную, неслыханную удачу: жена его, дѣйствительно, уѣхала, не узнавъ ни о чемъ, и уѣхала надолго, такъ-какъ уже начиналась зима, а зимой она не могла выносить деревни. Ему казалось, что присутствіе Елены смирило даже судьбу, остановившюся его преслѣдовать, и дало ему право на жизнь и на счастье.

Тогда онъ осторожно, съ наружнымъ хладнокровіемъ, но съ робостью въ душѣ и съ бьющимся сердцемъ, изложилъ Еленѣ давно обдуманнй имъ планъ. Онъ предложилъ ей остаться на той-же квартирѣ, гдѣ она теперь жила, то-есть въ лѣсномъ домиѣ. Лѣсникъ Демьянъ жилъ тутъ постоянно со своей женой; слѣдовательно, Захаровна можетъ на нее готовить и стирать ей бѣлье. Самъ-же онъ, Молчановъ, будетъ жить въ большомъ домиѣ, а когда случится пріѣзжать сюда, то будетъ останавливаться на другой половинѣ, гдѣ кухня. Елену никто не потревожитъ въ ея занятіяхъ.

— И, если хотите, вы можете платить мнѣ деньги за квартиру, прибавилъ онъ въ смущеніи, боясь и тѣни намека, что онъ обязывалъ ее.

Она невольно улыбнулась, понявъ, что онъ говоритъ это для нея, а не для себя, и задумалась. Въ сущности она не находила возраженій; лучше этого для нея ничего не могло быть. Ей и самой не хотѣлось разставаться съ этимъ теплымъ уголкомъ, гдѣ она могла жить такъ безвѣстно. Во всякомъ новомъ мѣстѣ ея ужасали-бы разспросы хозяевъ, любопытство прислуги, необходимыя сношенія съ людьми. Наконецъ, ее все болѣе и болѣе начинало беспокоить то обстоятельство, что у нея не было никакого вида на жительство и что, такимъ образомъ, она являлась какъ-бы бѣглою, подозрительною личностію. Притомъ она знала, что жена Молчанова уѣхала и что съ отъѣздомъ ея воцарились тишь, гладь и полное уединеніе.

— Вы очень добры ко мнѣ; я согласна, сказала Елена Молчанову.

Ему хотѣлось схватить ея руки и покрыть ихъ поцѣлуями, но онъ удержался. Елена видѣла только, что онъ очень-очень радъ, и ей пріятно было доставлять ему эту радость.

Со слѣдующаго-же дня она превратилась изъ безпріютной больной въ настоящую квартирантку, платящую за себя. Съ Демьяномъ и Захаровной сдѣланы были разныя условія, обрадовавшія ихъ перспективой денежной поживы. Елена устроила свою комнату такъ, какъ находила удобнѣе, и послала въ ближайшій городъ купить себѣ бѣлья, шерстяной матеріи на платье, чаю, сахару и тому подобныхъ мелочей. Молчановъ вызвался самъ исполнить это порученіе и выбиралъ все съ такою мелочною акуратностью, какъ могла-бы это сдѣлать женщина. Онъ даже пополнилъ то, о чемъ не подумала Елена: ни иголки, ни ножницы, ни одна катушка нитокъ не были имъ забыты. Но онъ тщательно остерегался позволить себѣ что-нибудь вродѣ подарка. Уваженіе его къ Еленѣ было такъ безгранично, что онъ даже въ мысляхъ не допускалъ сравненія ее съ тѣми, которыя любятъ подарки и къ числу которыхъ принадлежала его жена.

Теперь для Молчанова началась вполнѣ новая жизнь. Дни потекли ровно и сладко, какъ журчаніе ручья въ теплый лѣтній день. Сначала изъ деликатности онъ удерживался бывать ежедневно у Елены Николаевны; но мало-по-малу всякая церемонность исчезла сама собой, и они стали проводить вмѣстѣ длинные зимніе вечера. Часто Елена переводила при немъ, а онъ сидѣлъ съ книгой, будто читая, но на самомъ дѣлѣ думая объ Еленѣ и втайнѣ любуясь ею. Она становилась такъ хороша, что онъ едва могъ повѣрить, что это та самая блѣдная тѣнь, которую ему удалось спасти отъ смерти. Молчановъ гордился ею и считалъ ее дѣломъ своихъ рукъ; ему казалось, что это онъ сдѣлалъ ее такою красивою.

„Кто лучше: *та* или *эта*? приходило иногда ему на умъ, при воспоминаніи о сельской учительницѣ. — Какое сравненіе! Развѣ у той были эти глаза, которые пронизаютъ въ душу?.. Та ослѣпила меня въ первую минуту, но какъ я скоро забылъ ее!.. А эту забыть нельзя“.

Можетъ быть, его, какъ всѣхъ мужчинъ, прельщала недоступность Елены. Какъ ни была она добра, женственна, довѣрчива и ласкова, — болѣе всего она была недоступна для всякой попытки склонить ее на отвѣтную любовь. Молчановъ чувствовалъ это, видѣлъ и не имѣлъ никакихъ притязаній.

Въ его глазахъ она читала робкое обожаніе и преданность собаки къ хозяину и не запрещала ему этого.

Переводъ, посланный Еленой въ знакомую редакцію, былъ принятъ и деньги высланы на имя Молчанова. Дѣла шли хорошо; но чѣмъ болѣе крѣпла Елена физически, тѣмъ задумчивѣе и грустнѣе становилась она. Разъ рассказавши Молчанову свою исторію, она больше никогда не касалась этого предмета, какъ больной раны, но Молчановъ видѣлъ, что она постоянно помнитъ, думаетъ, томится тоскою, что въ ней происходитъ какая-то борьба. Она все яснѣе и яснѣе понимала, что жить долго такъ, какъ она жила теперь, было-бы невозможно. Молчановъ тоже угадывалъ это смутно, хотя и отгонялъ отъ себя мысли объ этомъ. Онъ мучился за Елену, видя ея блѣдность и уныніе, ея глаза, полныя слезъ. Разъ онъ не засталъ ее на обычномъ мѣстѣ на диванѣ передъ столомъ. Забившись въ самый темный уголокъ комнаты, она сидѣла на креслѣ и горько плакала.

Молчановъ отбросилъ всю свою сдержанность и въ темнотѣ сумерекъ опустился передъ нею на колѣни, глядя ей въ лицо вопрошающимъ, умоляющимъ взглядомъ. Елена довѣрчиво прильнула къ нему и еще горьче заплакала на его плечѣ.

— Что съ вами, дорогая моя? шепталъ онъ чуть слышно, прижимая къ своимъ горячимъ губамъ ея холодныя руки.

Не отвѣчая, она продолжала плакать.

— О чемъ вы плачете? продолжалъ Молчановъ. — Вы не сердитесь на меня? Вы не хотите опять умирать? прибавилъ онъ чуть слышно.

Елена вздрогнула отъ этого вопроса и выпрямилась.

— Нѣтъ, нѣтъ, сказала она, — я устала желать этого, устала страдать, ревновать, волноваться!..

— Такъ что-же? тихо спросилъ онъ.

Она снова припала головой ему на плечо и долго не могла выговорить ни слова.

— Я не могу, сказала она, наконецъ, — я не могу ни о чемъ думать, ничего желать, ничего понимать, кромѣ одного только...

— Чего-же?

— Свиданія.

Молчановъ, въ свою очередь, вздрогнулъ.

— Свиданія, да, повторила Елена, отирая слезы. — Я хочу

видѣть дѣтей!.. О, вы не знаете, какъ я люблю ихъ, какъ я хочу, какъ жажду ихъ видѣть!.. Вся душа изныла по нимъ!.. Я не могу выйдти изъ дома, взглянуть на чужихъ дѣтей безъ того, чтобы у меня не перевернулась вся внутренность... И я ихъ бросила... сама, сама бросила!.. Это было безуміе... какой-то бредъ!.. Я только теперь начинаю это понимать.

Она закрыла лицо руками и зарыдала; потомъ сдѣлала Молчанову знакъ, чтобъ онъ оставилъ ее.

Онъ вышелъ, какъ шальной. Призракъ разлуки уже носился передъ нимъ; чувство гнѣва и ревности наполняло его душу. Онъ ревновалъ Елену къ ея дѣтямъ, къ мужу, къ ея прежнему дому.

На другой день не было больше помина объ этомъ разговорѣ. Елена опять углубилась въ работу, но какъ-то лихорадочно, какъ будто хотѣла забыться.

Письма отъ Полины Григорьевны получались то отчаянныя, то горделивыя и заносчивыя, то полныя упрековъ. Дядя все еще не умиралъ. Такъ прошелъ ноябрь и половина декабря. Вдругъ однажды Молчановъ получилъ по почтѣ кипу бумагъ, документовъ и письмо отъ жены. Она приказывала ему немедленно бросить все, взять отпускъ и скакать въ Петербургъ, чтобъ одно какое-то имѣніе перезаложить, другое выкупить и о третьемъ хлопотать, чтобъ сняли запрещеніе. „Если даже ты потеряешь мѣсто, писала Полина Григорьевна,—это ничего не значить. Тутъ мы выиграемъ больше“. И она распространялась на двухъ страницахъ о томъ, какъ выгодна будетъ такая афера, чтобъ чужое имѣніе перезаложить, а достававшееся ей по завѣщанію дади выкупить на эти деньги.

Молчановъ, неимѣвшій тайнъ отъ Елены, прочиталъ громко при ней это письмо и погрузился въ думу. Не содержаніе письма и не предстоящее наслѣдство волновали его, но мысль, что сладкая жизнь вдвоемъ должна прерваться. „Зачѣмъ мнѣ ѣхать? мелькнуло у него въ умѣ.—Пусть ѣдетъ сама, если хочетъ!“

И онъ поднялъ глаза на Елену, чтобъ сказать ей это, но не выговорилъ ни слова: онъ увидалъ, что по лицу Елены текли обильныя слезы. Долго длилось молчаніе; потомъ она отерла слезы и сказала дрожащимъ голосомъ:

— Петръ Алексѣевичъ, я плачу... я дрожу... отъ страха то-

го, что мнѣ предстоитъ. Вы поѣдете въ Петербургъ, и я съ вами.

— Но я не поѣду, вскричалъ Молчановъ; — я и не хотѣлъ ѣхать, а и не думаю... Мнѣ нельзя; у меня служба!

— Такъ я поѣду одна, тихо, но твердо возразила Елена.— Я хочу давно... но я боялась... мнѣ страшно воротиться туда... Но, наконецъ, силъ моихъ не стало; я не могу жить такъ... я задыхаюсь, я умираю... Меня томить жажда узнать, что тамъ дѣлается, что съ ними всѣми? Да, наконецъ, я и не могу дольше такъ жить какимъ-то вычеркнутымъ изъ общества существомъ, какой-то бродягой... И какъ это я тогда рѣшилась, какъ я давно объ этомъ не подумала!..

Молчановъ молчалъ, блѣдный, какъ смерть. Глаза его неопредѣленно устремились вдаль, какъ-будто онъ слѣдилъ за исчезающимъ призракомъ чего-то. Елена продолжала:

— Прежде, когда я была больна и слаба, я была счастлива. Я ни о чемъ не разсуждала, не вспоминала... Я довольствовалась вашей дружбой, наслаждалась блаженствомъ отдыха послѣ пережитыхъ бурь... Но теперь!..

Она порывисто сжала его руки.

— Поймите, что я теперь сильна, здорова и ничего не знаю... Поймите, что у меня пѣть почвы подъ ногами... Вѣдь ничего еще не рѣшено, не кончено... Вѣдь я сама оборвала все въ самый моментъ развязки. А между тѣмъ, кто знаетъ, что могло случиться потомъ?.. Еще, можетъ быть, впереди ждетъ счастье...

Она глядѣла на Молчанова, вся пылая, съ блестящими глазами, съ какой-то блуждающей улыбкой надежды.

— Вы думаете, что они разошлись? спросилъ онъ мрачно.

— Я думаю, сказала она дрожащимъ голосомъ, — что та, которая прямо или косвенно лишила его моего присутствія, не можетъ остаться мила ему... О, не говорите *нѣтъ!* прибавила она съ умоляющимъ жестомъ.— Не лишайте меня послѣдней надежды! Вы, можетъ быть, и спасли меня для того, чтобы я была еще счастлива...

— Такъ вы все еще его любите? прервалъ Молчановъ съ какой-то злобой.—И согласились-бы опять жить съ нимъ, потерявъ къ нему довѣріе?

— Онъ никогда не обманывалъ меня, живо возразила она;— я не потеряла къ нему довѣрія. Я была сама виновата, я понадѣялась тогда слишкомъ на свои силы. Это было безумное самообольщеніе.

— И такъ, проговорилъ Молчановъ, весь блѣдный,—вы вернетесь къ нему и покоритесь жизни втроемъ, съ нимъ и съ нею!

— Никогда, никогда! живо сказала Елена. — Если она съ нимъ, я не войду въ его домъ. Я знаю теперь по опыту, что это невозможно.

— Какъ-же вы сдѣлаете тогда? спросилъ онъ, оживившись.

— Я уже рѣшила этотъ вопросъ; я давно его обдумываю. Прежде всего я должна узнать, что тамъ? И если мужъ мой живетъ съ этой женщиной, я буду жить отдѣльно отъ нихъ. Но дѣтей моихъ... видѣть дѣтей я должна, я хочу!

— Но гдѣ-же средства, чтобъ жить одной? попробовалъ возразить Молчановъ.

— Средства во мнѣ самой, съ гордой улыбкой отвѣчала она;— вы забыли, что я работала прежде съ мужемъ. Теперь буду работать одна.

— Такъ вы думаете жить на особой квартирѣ? недовѣрчиво переспросилъ онъ.

— Непремѣнно, если только... Однимъ словомъ, если она живетъ съ нимъ въ качествѣ чего-бы то ни было — гувернантки, компаньонки, учительницы музыки, я не войду къ нему въ домъ, не приму его помощи. Я могу уважать его, видѣться съ нимъ, совѣтоваться на-счетъ дѣтей, но я буду ему чужая.

— Это такъ говорится, сказалъ Молчановъ съ горечью; — всѣ эти рѣшенія только до перваго свиданія.

. — Нѣтъ, я исполню то, что говорю, возразила Елена серьезно и просто.— Теперь, когда горячка чувствъ прошла, когда и любовь, и ревность, все отжило и отболѣло, я могу ручаться за себя.

IX.

Разумѣется, Молчановъ не упоминалъ больше о своемъ нежеланіи ѣхать въ Петербургъ. Какъ только онъ увидѣлъ, что Елена Николаевна собирается серьезно, онъ самъ сталъ соби-

ратся. Для него и то казалось счастьемъ, что онъ можетъ ѣхать туда съ нею и тамъ не терять ее изъ вида. Передъ отъѣздомъ у него достало хитрости написать женѣ письмо, наполненное жалобами на насильственную высылку его въ Петербургъ, гдѣ ему, вѣроятно, долго придется провозиться съ этими запутанными дѣлами. Пожалуй, это не будетъ окончено до праздниковъ Рождества, и тогда каково ему будетъ жить въ незнакомомъ городѣ, гдѣ у него ни души нѣтъ знакомой?.. Онъ надѣялся этимъ письмомъ усыпить аргуса, и, дѣйствительно, отвѣтомъ на это письмо было грозное приказаніе не разбирать ни праздниковъ, ни будней и жить въ Петербургѣ до успѣшнаго окончанія дѣлъ, хотя-бы пришлось прожить всю зиму. Полиѣ Григорьевнѣ и въ голову не приходило, чтобъ ея задавленный мужъ осмѣлился и съумѣлъ ее обманывать.

А Молчановъ между тѣмъ все больше и больше терялъ голову, такъ-что едва не позабылъ взять всѣ документы, для которыхъ онъ официально ѣхалъ.

Они выѣхали за недѣлю до Рождества. Всю дорогу Елена Николаевна почти не говорила со своимъ спутникомъ: очевидно, онъ не существовалъ для нея; она вся была поглощена тѣмъ, что ее ждетъ впереди. Когда вагоны начали медленно входить подъ темные своды петербургскаго дебаркадера, ея овладѣла нервная дрожь. Немного прошло времени съ тѣхъ поръ, какъ она оставила этотъ городъ, а ей казалось, что вѣка прошли, что теперь ее никто и не узнаетъ, что даже дѣти забыли, что она имъ мать. Она явилась, какъ тѣнь изъ могилы, въ міръ живыхъ, и кто знаетъ, не отстранятся-ли отъ нея эти живые, какъ отъ чуждой, позабытой всѣми, личности?.. Вѣроятно, ее считаютъ умершей; а извѣстно, какъ быстро забываются умершіе.

Мертвый въ гробъ мирно спи,
Жизнью пользуйся живущій,

гласитъ извѣстное стихотвореніе. Неужели оно должно было отнестись и къ Еленѣ?.. Холодомъ повѣяло на нее отъ этой мысли; блѣдная, со сжатыми губами, она машинально пошла за толпой, забывъ о Молчановѣ, который несъ ея вещи, оберегалъ ее и руководилъ. Они остановились въ меблированныхъ комнатахъ въ Надеждинской улицѣ. Было три часа дня и уже начинались

сумерки. Молчановъ, занявшій комнату въ одномъ коридорѣ съ Еленой Николаевной и оставившій ее устраниваться одну на пер-выхъ порахъ, не выдержалъ долго своего одиночества и подошелъ постучаться въ дверь сосѣдки. Къ удивленію своему, онъ засталъ Елену, уже надѣвавшую шляпу и собиравшуюся выходить.

— Какъ! Вы уже идете? сказалъ онъ въ волненіи. — Такъ скоро!.. Куда-же? Неужели къ вашему мужу?

— Нѣтъ, отвѣчала Елена съ нѣсколько горькой улыбкой; — въ Петербургъ въ такомъ костюмѣ и въ такой шляпѣ не ходятъ никуда...

И она указала на свое дорожное коричневое платье.

— Даже къ своимъ дѣтямъ, прибавила Елена, — даже къ самымъ близкимъ лицамъ... О, вы не знаете Петербурга... вы не знаете, что здѣсь вѣщность — все, а до души вашей никому нѣтъ дѣла. Здѣсь и страдать, и умирать надо нарядно, иначе отъ васъ безощадно отвернутся.

— Такъ вы идете...

— Въ магазинъ готовыхъ платьевъ. Черезъ часъ я вернусь.

— Вы позволите приготовить вамъ чай къ этому времени?

— Пожалуй. Распожайтесь у меня, какъ хотите, прибавила Елена, пожимая ему руку и выходя.

Молчановъ остался ждать ее, велѣлъ приготовить самоваръ, чайный приборъ, послалъ за булками, калачами, сыркомъ, лимонкомъ. Ему показалось недостаточно чисто въ комнатѣ; онъ заставилъ еще разъ вымести полъ, стереть пыль, переставить мебель поудобнѣе. Время прошло кое-какъ въ этихъ занятіяхъ. Черезъ часъ Елена вернулась.

Молчановъ чуть не вскрикнулъ, увидѣвъ ее, особенно когда она сняла чернѣйшій суконный пардесю и осталась въ свѣтло-серомъ платьѣ, изящномъ и простомъ той простотой, которая такъ цѣнится знатоками. Онъ видѣлъ Елену почти всегда безъ талии, въ большомъ платьѣ, и не имѣлъ понятія о томъ, что можетъ сдѣлать петербургская модистка изъ молодой и стройной женщины. Прелестная талья Елены, ея почти дѣвственный бюстъ, нѣжная, бѣлая шея, обрисованная воротничкомъ, — все это такъ гармонировало съ цвѣтомъ и фасономъ платья, что, казалось, нельзя

было отнять ни одного банта, ни одной пуговицы, не нарушивъ чарующаго впечатлѣнія цѣлаго.

— Я не зналъ, что вы такая красавица! откровенно сказалъ Молчановъ, и въ голосъ его слышались и восторгъ, и горечь, и сожалѣніе.

— Точно вы въ первый разъ меня видите, возразила Елена, улыбувшись и проводя рукою по тонкимъ, вьющимся кудрямъ своихъ короткихъ волосъ, которые нѣжными кольцами обрамляли ея чистый профиль.

— Конечно, въ первый, отвѣчалъ Молчановъ. — Тамъ, въ деревнѣ, вы не давали мнѣ даже предчувствовать, какою вы можете быть, если захотите. Тамъ не для кого было, прибавилъ онъ шепотомъ.

— Какою-же? спросила Елена. — Я все та-же; а столичный нарядъ, конечно, красить всякую женщину.

— Нѣтъ, вы не та. Тамъ вы были убитая, измученная, отказавшаяся отъ жизни женщина; я не подозрѣвалъ въ васъ даже желанія борьбы, а теперь я вижу, что вы поспорите со всякимъ... Теперь я понимаю, что вы не могли жить той вялой, безцвѣтной жизнью, о которой я мечталъ для васъ, какъ о мирномъ пріютѣ.

Онъ подавилъ вздохъ и замолчалъ. „Все это чужое, не мое, думалъ онъ, любуясь лицомъ и станомъ Елены. — Безумный я, безумный! Чего я надѣялся“?.. До сихъ поръ онъ самъ почти не сознавался себѣ въ своей тайной надеждѣ, что Елена, испытавши въ Петербургѣ разныя невзгоды и разочарованія, вернется, какъ голубь крыловской басни, въ прежнее гнѣздо и не покинетъ его больше. Онъ не зналъ, что Петербургъ засасываетъ въ себя, какъ въ трясины.

— О чемъ вы задумались? спросила Елена.

— О своей горькой судьбѣ, отвѣчалъ Молчановъ. — Мы съ вами теперь, какъ два полюса: у меня все хорошо назади, у васъ — впереди.

Елена вдругъ поблѣднѣла.

— Ахъ, не говорите мнѣ о томъ, что впереди! сказала она и, охваченная дрожью, вся съжмилась въ углу дивана и закрыла лицо руками.

Черезъ нѣсколько минутъ, она подняла голову и заговорила.

— Я не пойду прямо *туда*, сказала она; — я боюсь... сама не знаю, чего!.. Кто знаетъ, что могло случиться? Здоровы-ли дѣти, живы-ли?.. Я не могу такъ, безъ приготоуленія, я должна знать, что меня ожидаетъ. У меня тутъ есть одна родственница, кузина моя, Дубкова; я сначала поѣду къ ней спросить, не знаетъ-ли она про моихъ?

Елена встала.

— Выпейте хоть чашку чаю, сказалъ умоляющимъ тономъ Молчановъ.

— Хорошо, согласилась она.

Тутъ только она замѣтила сервировку стола и изобиліе вкусныхъ вещей.

— Другъ мой, это все вы для меня хлопотали, сказала она;—я, право, не стою вашихъ заботъ.

Наскоро поѣвши, она стала собираться. Руки ея дрожали.

— Вѣдь вы воротитесь сюда? спросилъ ее Молчановъ.

— Ворочусь непременно. Который часъ?

— Скоро шесть.

— Ну, до свиданія.

Молчановъ хотѣлъ было сказать: „желаю вамъ успѣха“, но слова эти какъ-то не выговаривались.

Елена взяла извозчика и поѣхала.

— Здѣсь живетъ Серафима Петровна Дубкова? спросила Елена у швейцара, подѣхавъ къ дому, гдѣ жила Дубкова.

Да, Дубкова жила все на той-же квартирѣ. Господа только-что вышли изъ-за стола, и сама Серафима Петровна, зная, что въ этотъ часъ не могутъ еще явиться настоящіе гости, стояла въ дверяхъ коридора и ѣла кондитерскій пирожокъ.

— Батюшки мои, вотъ это кто! закричала она, увидѣвъ Елену Николаевну.— Воскресшая изъ мертвыхъ! Откуда это? Какими судьбами?

Она повертывала Елену, цѣловала ее въ обѣ щеки и при этомъ не забывала въ подробности разсматривать ея костюмъ.

— Скажите, щеголиха какая стала! говорила она. — Ты, должно быть, это платье уже здѣсь заказывала? Последній фасонъ!

— Скажи мнѣ... начала-было Елена.

— Нѣтъ, постой, ты мнѣ прежде скажи, перебила ее Дуб-

кова, — гдѣ ты жила это время? Твои домашніе говорили, что будто у тетки въ Саратовѣ.

— Мои домашніе здоровы? спросила она.

— Какъ тебѣ сказать? Алексѣй Львовичъ былъ очень бо-
лѣнъ, но теперь ему лучше.

У Елены вся краска сбѣжала съ лица.

— Болѣнъ? Чѣмъ же? Когда-же онъ заболѣлъ? спросила она.

— Мудреная какая-то болѣзнь. Вѣра Павловна какъ-то про-
говорила мнѣ, что его очень разсердило то, что ты уѣхала, и
вотъ тутъ онъ заболѣлъ; это еще осенью было.

— Вѣра Павловна здѣсь... съ нимъ? выговорила съ усиленіемъ
Елена.

— Какъ-же, съ нимъ; она у него живетъ, отвѣчала Дубкова
съ какимъ-то удовольствіемъ и съ любопытствомъ взглянула въ
глаза кузинѣ.

— А дѣти мои... что они? продолжала Елена дрожащимъ го-
лосомъ.

— Дѣти? Ничего, бѣгаютъ. Я ихъ выдаю у знакомыхъ; сама
раза два навѣщала; но я тебѣ откровенно скажу, что при Алек-
сѣѣ Львовичѣ я не люблю бывать. Мы съ нимъ повздорили.

— Съ моимъ мужемъ? переспросила Елена.

— Да. Посуди сама, не невѣжливо-ли это было съ его сто-
роны? Когда разнесся слухъ, что ты уѣхала совѣмъ отъ него,
я тотчасъ пошла къ вамъ, чтобъ все о тебѣ распросить, гдѣ
ты, и какъ и что? Кажется, ты мнѣ не чужая; имѣю я право
спрашивать про мою двоюродную сестру—не такъ-ли? И вдругъ
выходитъ эта Ольшевская, не пускаетъ меня къ Алексѣю Льво-
вичу, говорить, что онъ боленъ, что этотъ разговоръ его раз-
страируетъ. Я, конечно, не посмотрѣла на нее и, по праву род-
ной, вхожу, просто врываюсь насильно въ кабинетъ. Алексѣй
Львовичъ меня принимаетъ такъ сухо и намекаетъ мнѣ что-то
вродѣ того, что я не въ свое дѣло вмѣшиваюсь. Каково это, а?
Ъому-же и вмѣшаться, какъ не мнѣ? Понятное дѣло! Ну, онъ
ничего не хочетъ сказать мнѣ про тебя, ни гдѣ ты, ни что, ни
какъ. Тутъ ужъ я вышла изъ терпѣнія и все ему высказала.
Ну, Леля, такъ я его отдѣлала, что ты сама, я думаю, не мо-
гла-бы лучше говорить, докончила со смѣхомъ Дубкова.

— Что-же? пропентала съ испугомъ Елена.

— Ну, все, все высказала... Высказала, что ты его, конечно, бросила за то, что онъ въ домъ привезъ свою возлюбленную, и что теперь ты утѣшаешься съ какимъ-нибудь гусаромъ. Сказала ему, что никто не вѣритъ, будто ты уѣхала къ теткѣ, а всѣ прямо говорятъ, что ты ему отомстила тѣмъ-же, и по-дѣломъ!.. Что-же, въ самомъ дѣлѣ, развѣ ты хуже какой-нибудь Ольшевской?

Елена встала, едва держась на ногахъ.

— Прощай, сказала она, — мнѣ нужно идти.

— Да погоди-же еще минутку. Расскажи, гдѣ ты кутила? А теперь ты, вѣрно, пріѣхала съ тѣмъ, чтобъ требовать отъ мужа содержанія? Ты ужъ требуй съ него не менѣе двадцати тысячъ въ годъ: онъ обязанъ тебѣ выдать!

— Прощай, повторила Елена, уходя.

— А какъ Вѣра Павловна наряжается, кричала ей на лѣстницѣ Дубкова, — и веселится, выѣзжаетъ! Совершенно, какъ настоящая жена!

Когда Елена очутилась на улицѣ на свѣжемъ зиннемъ воздухѣ, она должна была на нѣсколько минутъ прислониться къ стѣнѣ: у нея кружилась голова. Ольшевская жила у ея мужа. Куда ей идти теперь? Къ нимъ!.. О, да, видѣтъ дѣтей, обнять ихъ! Каковы они теперь? Помнятъ-ли себѣ..

Елена рѣшилась идти въ домъ мужа; но желая прежде успокоиться и обдумать, какъ ей говорить съ нимъ, она, чтобъ выиграть время, пошла пѣшкомъ по направленію къ Невскому. Освѣщенные магазины внушили ей мысль купить дѣтямъ разныхъ сластей. Съ этой цѣлью она перешла улицу и только-что хотѣла ступить на тротуаръ, какъ столкнулась почти лицомъ къ лицу съ какимъ-то господиномъ... Одновременно у нея, и у него вырвался крикъ, вылетѣвшій изъ глубины души. Это былъ ея мужъ.

Х.

— Ты... ты? лепетала Елена, хватаясь за мужа дрожащими руками, не вѣря своимъ глазамъ, жадно притягивая его къ себѣ. — Ты!.. Это ты!..

Да, это былъ онъ, когда-то ея кумиръ, ея гордость, свѣтъ очей ея. Но, Боже, какая перемена!

Она смотрѣла и не узнавала. Блѣдный, худой, ошеломленный, точно пьяный, Азанѣевъ весь дрожалъ и въ большихъ помутившихся глазахъ его отражался цѣлый міръ ощущеній. Шапка упала съ его головы, и Елена увидѣла съ невыразимымъ ужасомъ сѣдые серебристыя нити въ его недавно еще густыхъ, темныхъ кудряхъ.

Они стояли подъ фонаремъ, и вся измѣнившаяся фигура Азанѣева была облита свѣтомъ.

Сердце Елены замерло. Они не видѣли больше ни улицы, ни домовъ, ни прохожихъ, любопытно глядѣвшихъ на эту сцену.

— Ты-ли это?.. Что съ тобою? спросила она замирающимъ голосомъ.

Онъ не отвѣчалъ; онъ задыхался; онъ не понималъ, что съ нимъ: на землѣ онъ или на небѣ, живъ или умеръ?

— Леля! хотѣлъ-было онъ выговорить давнишнее слово любви, но вдругъ пошатнулся и схватился за фонарный столбъ.

— Сердце... сердце!.. прошепталъ онъ.

— Поѣдемъ со мною, поспѣшно сказала Елена, — поѣдемъ ко мнѣ.

Онъ кивнулъ головою.

Елена подозвала извозчика, сказала ему адресъ меблированныхъ комнатъ и сѣла съ мужемъ въ сани..

Давно избитая поговорка, что „радость не убиваетъ“, оказалась и на этотъ разъ справедливою. Припадокъ Азанѣева прошелъ быстро, прежде чѣмъ они доѣхали до дома.

Какъ описать первыя минуты свиданія, послѣ мучительныхъ мѣсяцевъ разлуки, неизвѣстности и тоски другъ по другъ, какъ описать блаженство сознанія, что любящее сердце бьется опять возлѣ другого сердца, которое не переставало любить! Сладки были эти первыя мгновенія. Оба поглощенные счастьемъ быть опять вмѣстѣ, они держали другъ друга за руки, говорили, сами не зная что, повторяли слова любви, ласковыя имена. То смѣхъ, то слезы, то замирающій шепотъ срывались съ ихъ устъ. И онъ, и она были всецѣло поглощены настоящей минутой; въ

радостномъ упоеніи неожиданной встрѣчи они на время забыли все, что разлучило ихъ. Въ несвязныхъ восклицаніяхъ и отрывистыхъ рѣчахъ, они передали другъ другу все, что было ими пережито, и эта общность страданія вдвойнѣ сближала ихъ.

Тогда только, когда утихли первое волненіе и первая радость, они незамѣтно перешли къ болѣе осмысленному способу изъясненія и къ мысли о своемъ взаимномъ положеніи.

— Я думалъ, что ты умерла! сказалъ Азанѣвъ, содрогаясь даже теперь при этомъ словѣ. — Я прочелъ въ газетахъ о жещинѣ, которая бросилась на рельсы, и во мнѣ сложилось какое-то болѣзненное убѣжденіе, что это ты. Я не знаю, почему я не могъ отдѣлаться отъ мысли, что ты уѣхала затѣмъ, чтобъ кончить жизнь самоубійствомъ... Но, слава Богу, этого не было!

— Это было! тихо сказала Елена и подняла на него глаза, въ которыхъ, ему показалось, отразилось какое-то новое, глубокое и роковое выраженіе.

— Было?... переспросилъ онъ съ ужасомъ, наклоняясь къ ней.

— Да, повторила она; — ты хорошо зналъ меня, когда подумалъ, что я не могла уѣхать отъ тебя съ тѣмъ, чтобъ жить въ другомъ мѣстѣ, не могла бросить дѣтей иначе, какъ въ виду одного только мѣста успокоенія, откуда не возвращаются... Вся забота моя была только о томъ, чтобъ уѣхать подальше отъ всего, что мнѣ дорого, и тогда...

Голосъ Елены оборвался.

— Что-же спасло тебя? Что съ тобой было потомъ? спросилъ съ глубокимъ волненіемъ Азанѣвъ.

Елена рассказала ему все, что произошло съ нею, и всю свою жизнь день за днемъ втеченіи этихъ трехъ мѣсяцевъ. Сказала и то, что Молчановъ теперь съ нею въ этихъ-же меблированныхъ комнатахъ.

— Съ тобою и для тебя, коротко проговорилъ Алексѣй Львовичъ, котораго глубоко уязвила мысль, что первый попавшійся человѣкъ оказалъ его женѣ больше доброжелательства, больше преданности, деликатности и заботливости, чѣмъ онъ, котораго она такъ вѣрно, такъ неизмѣнно любила.

Въ свою очередь, Елена робко спросила мужа про его болѣзнь и съ ужасомъ слушала подробности. Раскаяніе и жалость защемили ей сердце. Странно! Изъ нихъ двухъ она была менѣе по-

страдавшая. Она вынесла побѣдоносно свои испытанія и явилась здоровая тѣломъ и умомъ, освѣжившаяся духомъ, готовая на борьбу. А онъ, покинутый ею, какъ-будто потерялъ всякій смыслъ жизни и самую охоту жить. Азанѣевъ видѣлъ, какое впечатлѣніе онъ производилъ на Елену, и, можетъ быть, чувствовалъ отчасти удовольствіе ищенія.

Говорить о Вѣрѣ Ольшевской оба они избѣгали; зато о дѣтяхъ говорили много.

— Ты хочешь ихъ видѣть? сказала Алексѣй Львовичъ. — Такъ поѣдемъ сейчасъ!

Елена поблѣднѣла и не трогалась съ мѣста.

— Лучше привези ихъ сюда, сказала она тихо.

Онъ поблѣднѣлъ, въ свою очередь. Съ минуту они молча смотрѣли другъ на друга.

— Ты не хочешь ѣхать ко мнѣ? спросилъ Азанѣевъ.

— Я не поѣду туда... *къ вамъ*, сказала она тихо, но рѣшительно.

Онъ вздрогнулъ и, пораженный, опустился на стулъ.

— *Къ вамъ!* повторилъ онъ ея слова. — О, это жестоко... и... несправедливо!

— Нѣтъ, я не поѣду туда. Оставь меня здѣсь, дай мнѣ успокоиться, оглядѣться... Я слишкомъ страдала тамъ, горячо возразила Елена.

— А знаешь-ли ты, что выстрадалъ я?.. Но ты не вѣришь мнѣ!

— Ради Бога, сказала она съ мучительнымъ выраженіемъ, — не говори этого!

— Ты не любишь меня больше? спросилъ онъ мрачно и, не дожидаясь отвѣта, продолжалъ съ горечью: — Ты никогда меня не любила! Развѣ могла бы ты оставить меня и не предупредить ни однимъ словомъ... не дать даже предчувствовать, что меня ожидало? О, еслибъ ты поняла только, что я пережилъ и перечувствовалъ, скитаясь одинъ по ночамъ въ своихъ пустыхъ, холодныхъ залахъ!

Онъ всталъ и въ волненіи началъ ходить по комнатѣ.

Елена слушала его со страннымъ замираніемъ сердца. Ей было и сладко, и больно выслушивать эти упреки, очевидно, вызванные

тоской по ней, и глаза ея наполнились слезами. Вдругъ она бросилась къ нему и обвила его шею руками.

— О, какъ я люблю тебя! вскричала она, прижимаясь къ нему.

— Такъ поѣдемъ со мною, будемъ жить вмѣстѣ, говорилъ онъ торопливо, задыхаясь, привлекая ее къ себѣ.

Она опять притихла и отстранилась отъ него. Нѣтъ, этого нельзя, этого она не сдѣлаетъ. Инстинктивно она чувствовала, что уступать нельзя.

— Нѣтъ, сказала она, — не вини меня. То, что я сдѣлала, я должна была сдѣлать; у меня не было выбора. Пова наши отношенія не уяснятся, совѣстная жизнь невозможна.

— Но я не люблю никого, кромѣ тебя! вскричалъ онъ. — Мое чувство къ Вѣрѣ давно прошло; ея не будетъ между нами...

— Постой, не спиѣши, прервала Елена, улыбаясь; — мы успѣемъ еще поговорить объ этомъ; ты самъ, подъ вліяніемъ свиданія со мною, не знаешь еще хорошенько своихъ чувствъ.

Азанѣевъ внутренно застоналъ. Онъ сознавалъ невозможность убѣдить Елену, что онъ не любитъ Ольшевскую; надо было ждать этого убѣжденія отъ времени.

— Не уговаривай меня теперь, продолжала Елена умоляющимъ голосомъ; — пощади меня... я не могу! Мы разстались при такихъ обстоятельствахъ, что возобновлять испытаніе опасно. Вспомни, что я почти воскресшая изъ мертвыхъ. Я должна окрѣпнуть, осмыслить свои чувства, пожить одна, испытать свои силы.

Азанѣевъ стиснулъ зубы и молчалъ. Онъ не могъ не сознавать, что жена его права со своей точки зрѣнія и что нить, такъ насильственно разорванную, нельзя связать опять быстро и легко, какъ дѣтскую игрушку. Притомъ онъ все еще не могъ опомниться отъ счастья неожиданнаго свиданія съ женой — здоровой, невредимой и любящей его, и такъ боялся какъ-нибудь поколебать это счастье, что не смѣлъ настаивать.

— Боже мой, какъ слагается жизнь! сказалъ онъ. — Точно игра въ жмурки! И какъ мучительно это все!

Онъ задумался, вперивъ глаза въ одну точку. На умѣ у Елены былъ одинъ вопросъ: „любить-ли онъ еще Вѣру? Дѣлаетъ-ли она его счастливымъ?“

Но Азанѣевъ не казался счастливымъ.

— Такъ что-же? сказалъ онъ, какъ-будто очнувшись. — Ты хочешь, чтобъ я привезъ дѣтей? Когда-же?

— Сейчасъ... сію минуту! вскричала Елена съ блестящими глазами.

Азанѣевъ вынулъ часы: было половина второго; они не замѣтили, какъ пролетѣло время.

— Теперь поздно, сказалъ онъ, — дѣти спать.

— Да, поздно, замѣтила Елена, подавляя вздохъ. — Но завтра... ты привезешь ко мнѣ ихъ завтра?

— Привезу, съ утра. Самъ привезу. Вѣдь ты меня не прогонишь?

— Мнѣ прогнать тебя!

Елена протанула къ нему объятія, и онъ прижалъ ее къ груди со сладкимъ чувствомъ успокоенія отъ всѣхъ своихъ прежнихъ терзаній.

Они расстались.

Молчановъ изъ своего номера слышалъ, какъ ушелъ Азанѣевъ, и у него отлегло отъ сердца. Весь вечеръ, съ той минуты, какъ онъ увидѣлъ Елену, возвращающуюся съ какимъ-то господиномъ, и понялъ, что это ея мужъ, на груди у него лежалъ словно камень. Онъ все время втайнѣ надѣялся, что много будетъ прогрядъ къ сближенію Елены съ мужемъ... „Ну, что мнѣ до нихъ, усиливался онъ думать, — что имъ до меня? У нея своя дорога, у меня своя“. И все-таки весь вечеръ прислушивался къ тому, что происходило въ комнатѣ Елены.

XI.

Въ тотъ самый вечеръ, когда происходило это свиданіе между мужемъ и женою, Вѣра Ольшевская возвратилась изъ клуба, очевидно, не въ духѣ и раздѣлась, не говоря ни слова.

— Баринъ давно легъ? спросила она горничную.

— Барина нѣтъ дома, отвѣчала та.

— Нѣтъ дома? удивилась Вѣра Ольшевская. — Да гдѣ-же онъ?..

— Они мнѣ не сказываются, куда уходить. сказала со спокойной дерзостью горничная, та самая, которую мы видѣли вначалѣ этого разсказа.

— Ну, хорошо, ступай, нетерпѣливо сказала Вѣра, распуская волосы и небрежно откидывая отъ себя подальше только-что снятые часы, браслетъ и кольцо.

„Что-же это значить? разсуждала она сама съ собой. — Скоро два часа ночи, а его нѣтъ... Съ тѣхъ поръ, какъ онъ болѣлъ, онъ нигдѣ не засиживался такъ поздно... Да и оставилъ почти всѣхъ своихъ прежнихъ знакомыхъ... Развѣ, можетъ быть, онъ былъ въ большомъ театрѣ?..“

Она оглянулась на горничную, которая лѣниво и медленно встрахивала платье и вѣшала его въ шкафъ.

— Что-же ты не уходишь? Ты мнѣ не нужна, сказала она раздражительно.

Но та, изъ противорѣчя, продолжала собирать со стола булавки и методично втыкать ихъ въ подушечку.

„Скучно, скверно! пронеслось въ умѣ Вѣры; при воспоминаніи о клубѣ. — Ни одинаго человѣка интереснаго и ни съ кѣмъ нельзя отвести душу! Ахъ, надо пережвѣнить жизнь... Пора, давно-бы пора!“

Она заложила руки за голову и погрузилась въ какія-то думы, но ее развлекъ шумъ упавшаго флакона Вѣра, вдругъ вспоминая о присутствіи горничной, съ гнѣвомъ накинулась на нее:

— Ну, уходи-же, уходи, сейчасъ уходи!

— Сейчасъ и уйду, фыркнула та.

Вѣра съ шумомъ захлопнула дверь и съ громкимъ вздохомъ отдохновенія кинулась въ кресло. Но ей не сидѣлось; она была въ какомъ-то возбужденномъ состояніи, то вставала, то ходила, наконецъ, подошла къ зеркалу и въ радумьи остановилась передъ нимъ. Казалось, что-то волновало и тяготило ее; она начала медленно раздѣваться, откалывая одинъ за другимъ банты и кружева, которыя потомъ въ разсѣянности роняла на полъ.

Она была все такъ-же хороша, какъ прежде, но что-то утомленное и невеселое проглядывало теперь въ ея большихъ, прелестныхъ глазахъ. Раздѣвшись, она накинула на себя бѣлый батистовый пеньюаръ и, распустивъ волосы, опять прильнула лицомъ къ зеркалу. Она то подходила, то отступала отъ зеркала,

становилась то прямо, то въ профиль, какъ-будто хотѣла изучить и уловить малѣйшія измѣненія въ своемъ лицѣ и фигурѣ. Но зеркало отражало ту же красоту и грацію, и, улыбнувшись и повеселѣвъ, она отошла прочь.

— Гдѣ-же, однако, Алексѣй Львовичъ? спросила она себя, дѣively протягиваясь въ большихъ креслахъ передъ каминомъ. — Ужь не заболѣлъ-ли опять?.. Нѣтъ, онъ пріѣхалъ-бы домой. Ахъ, какъ жарко у камина! Какая нелѣпость топить, когда въ комнатѣ и такъ тепло!

Она пересѣла на диванъ и окинула комнату недовольнымъ взглядомъ. Давно-ли она казалась ей верхомъ изящества, а теперь такъ страшно надоѣла.

— Эти противные лебеди, думала она, глядя на мраморную ванну, — вѣчно съ распущенными крыльями и изогнутыми шеями!.. Еслибъ я была не гувернантка, а хозяйка, какъ-бы я все перевернула тутъ! Ахъ, скверное положеніе не имѣть твердой почвы подъ ногами, не знать, что ты такое!.. Что мнѣ въ богатствѣ, когда оно не мое, когда оно проходитъ черезъ мои руки, не принося мнѣ ни удовольствія, ни счастья?..

Она закинула руки за голову и погрузилась въ тяжелыя думы; никогда еще въ жизни она не сознавала такъ ярко всей пустоты и безцѣльности своего существованія.

— Ахъ, еслибъ уйти куда-нибудь... убѣжать подальше отъ себя самой!.. невольно сорвалось съ ея губъ, и крупныя слезы навернулись на ея глазахъ... Она припомнила давно минувшіе годы, дни своего дѣтства и юности. Кто знаетъ, — можетъ быть, она была-бы совсѣмъ другая при другой обстановкѣ.

Ольшевская осталась круглой сиротою послѣ смерти своихъ родителей, совершенно раззорившихся помѣщиковъ. Съ тринадцати лѣтъ она поступила на воспитаніе къ дядѣ, старому холостяку и кутилѣ, настоящему обломку крѣпостного права. Когда онъ взялъ къ себѣ Вѣру, онъ уже домытывалъ послѣднія крохи нѣкогда блестящаго состоянія и жилъ весело, хотя и кругомъ въ долгу. Для молоденькой дѣвушки попасть въ его лапы — было все равно, что сказать *прости* всему чистому и непорочному, почти то-же, что попасть въ разбойничій вертепъ. Это былъ господинъ въ высшей степени безнравственный, старавшійся поддерживать у себя порядки крѣпостного права, неизмѣнный, какъ гово-

рится, „pi foi, pi loi“, но въ то-же время обладавшій привлекательной наружностью, вкрадчивыми манерами и замѣчательнымъ краснорѣчіемъ; когда-же онъ хотѣлъ или ему было нужно, онъ могъ прикинуться святошей и обмануть всякаго; никто лучше его не сумѣлъ-бы разукрасить добродѣтели и заклеить порока. Въ такому-то человѣку понала Вѣра и съ первыхъ-же дней насмотрѣлась и наслушалась такихъ вещей, которыя никогда не должны-бы были коснуться ея дѣвственныхъ глазъ и ушей. Но дядя, подкупленный ея красотой, старался изгладить въ ней непріятное впечатлѣніе и привлечь ее на свою сторону. Вскорѣ онъ сумѣлъ такъ расположить ее въ свою пользу, что она стала вѣрить ему во всемъ и смотрѣть на все его глазами. Невольно увлекаемая его краснорѣчіемъ и софизмами, Вѣра заразилась всеми его вкусами и старалась подражать ему. Онъ развилъ въ ней ненасытную жажду къ роскоши и наслажденіямъ и тотъ легкомысленный взглядъ на вещи, который позволялъ ей пользоваться безъ разбора всякими средствами для достиженія своихъ цѣлей. Пятнадцать лѣтъ у нея былъ уже серьезный романъ съ мальчикомъ почти однихъ лѣтъ съ нею, и главнымъ руководителемъ этого романа былъ дядя. Посмѣиваясь въ свою сѣдую бороду, онъ находилъ наслажденіе развращать этотъ юный умъ и сердце, давать племянницѣ совѣты и сочинять за нее любовныя письма. Благодаря его урокамъ, она уже выучилась прикидываться всею, чѣмъ хотѣла, — любящей, великодушной, самоотверженной, или капризной, злой, неугомонной. Дядя хвалилъ ее, когда ей удавалось хорошо разыграть свою роль, и втихомолку посмѣивался вмѣстѣ съ нею надъ ея обманутымъ вздыкателемъ. Но съ теченіемъ времени, когда красота Вѣры достигла своего полного развитія, старикъ не выдержалъ и самъ страстно влюбился въ нее. Неизвѣстно, чѣмъ-бы это кончилось, если-бы смерть его не положила предѣла всему. Еще разъ Вѣра осталась безпріютной сиротой и волей-неволей должна была вступить на новый тернистый путь, — путь труда и лишеній. На этомъ мѣстѣ своихъ воспоминаній Вѣра вдругъ вспыхнула, какъ-будто это недавнее прошлое обожгло ее... Затѣмъ она глубоко вздохнула и оглянулась кругомъ. Развѣ не достигла она теперь всего, чего желала? Развѣ ее не окружаетъ роскошь, богатство, всевозможный комфортъ?.. А она скучаетъ! Гдѣ-же тотъ широкій полетъ, который она обѣщала себѣ?

Увы! Въ домашней жизни она видѣла себя только сидѣлкой больного, душа котораго была закрыта для нея. Угрюмый и молчаливый, Азанѣевъ не повѣрялъ ей ни своихъ думъ, ни своего горя, но Вѣра надѣялась и терпѣливо ждала, чтобъ время стерло воспоминаніе о катастрофѣ, постигшей его. Впрочемъ, жизнь Вѣры, какъ и ея натура, раздѣлялась на двѣ части: одна—строга уединенная, наполненная заботами и уроками дѣтямъ; другая—отчаянно-веселая, забубенная, кипучая. По своей страсти къ контрастамъ, она прямо отъ постели больного Азанѣева, или послѣ уроковъ, ѣхала съ толпой знакомыхъ въ клубъ, или ужинать въ трактиръ, или въ маскарадъ, танцевала въ маскарадѣ до упада, пѣла, пила шампанское, какъ бывало прежде, въ дни ея бѣдности. Но тогда многое ей было недоступно, многого она желала и любила достигать, преодолевая препятствія, многое представляла себѣ въ радужномъ свѣтѣ. Теперь же для нея не оставалось больше заманчивыхъ тайнъ: она вездѣ побывала, все перепробовала, всячески наряжалась; сидѣла въ ложѣ бель-этажа на представленіяхъ Патти, ѣздила и въ коляскахъ, и въ каретахъ, угощала на свой счетъ у Бореля цѣлое общество, ѣла всевозможныя заморскія рѣдкости. Однимъ словомъ, она извѣдала до дна все это холодное, никого не веселящее, веселье Петербурга и съ ужасомъ увидѣла, что дальше этого ничего нѣтъ, что все тутъ. Ею овладѣло отвращеніе къ этимъ клубамъ, гдѣ она ни одного осмысленнаго слова не могла услышать, ни съ однимъ человѣкомъ сойтись дружески. Но она продолжала ѣздить, продолжала мнѣяться по маскарадамъ и концертамъ, какъ и всѣ, захваченные въ колесо этой жизни и поневолѣ вертящіеся вмѣстѣ съ нимъ. „Это все отъ того, что мое положеніе такое фальшивое, думала она;—у меня не можетъ быть ни общества настоящаго, ни выѣздовъ въ свѣтъ, кромѣ этихъ жалкихъ клубовъ. Но если осуществится то, что онъ обѣщалъ мнѣ... о, тогда все измѣнится!“... И лицо Вѣры просвѣтлѣло, румянецъ выступилъ на щекахъ, улыбка стала бродить по губамъ. Ея подвижная натура немедленно начала строить новыя воздушныя замки, отличныя отъ прежнихъ. Прежде ей не казалось ничего обольстительнѣе, какъ та свободная, разсѣянная жизнь, какую она теперь вела,—жизнь, обставленная средствами, возможность бросать деньги, не считая, приходиться въ магазинъ и покупать вдругъ по нѣсколько предметовъ совѣмъ

ненужныхъ, давать взаимны, дарить пріятельницъ. Но этотъ идеаль уже былъ съ презрѣніемъ отброшенъ; теперь Вѣра представляла себя женой, величавой хозяйкой дома, имѣющей вѣсь въ обществѣ и доступъ въ большой свѣтъ. Она будетъ давать балы, музыкальные и литературные вечера; она познакомится со всей интеллигенціей столицы, съ извѣстными музыкантами, пѣвцами и литераторами, съ талантливѣйшими и умнѣйшими людьми. Невозможно-же не найти людей: гдѣ-нибудь да есть они! Но надо имѣть почетное положеніе, быть уважаемой, какъ жена замѣчательнаго человѣка. А Азанѣевъ можетъ быть замѣчательнымъ человѣкомъ, когда вылечится отъ своей хандры и станетъ пользоваться своими средствами.

Это не были мечты,—это были серьезные надежды и даже увѣренность. Вѣра Ольшевская имѣла право считать себя невѣстой вдовца Азанѣева. Они оба положили между собою, что жена его умерла, и Вѣра, въ одномъ изъ минутныхъ порывовъ жалости, плакала съ нимъ о ней. Тогда Алексѣй Львовичъ, тронутый внѣшними проявленіями ея любви и преданности, сказалъ ей, что если только предположеніе о смерти Елены подтвердится несомнѣнно, онъ будетъ весь принадлежать ей, со своимъ именемъ, рукой и состояніемъ. Это былъ единственный интимный и нѣжный разговоръ ихъ между собою; послѣ этого Азанѣевъ, какъ-будто исполнивъ долгъ и сдѣлавъ для Вѣры все, что обязанъ былъ сдѣлать, заключился болѣе, чѣмъ когда-нибудь, въ свое одинокое, молчаливое горе.

„Лишь-бы онъ былъ здоровъ! продолжала думать Вѣра. — Эта болѣзнь такъ его измѣнила, что я не узнаю его... А, хлопнула дверь въ передней: вотъ и онъ, наконецъ.—его шаги!“

Вѣра встала, взглянула въ зеркало и, застегнувъ на всѣ пуговицы свой бѣлый, батистовый пеньюаръ, набросила на распущенные волосы газовую бѣлую вуалетку и пошла на-встрѣчу къ Азанѣеву съ лампой въ рукѣ.

— А, полуночники!.. Какъ вы меня напугали! весело говорила она, отворяя ему дверь въ гостиную и входя туда виѣсть съ нимъ. — Гдѣ это вы сидѣли такъ долго? Съ вами не было сердцебіенія? Покажитесь-ка, какое у васъ лицо?

Она направила свѣтъ лампы на лицо Азанѣева и продолжала съ удивленіемъ:

— Ого! Лицо веселое, глаза блестятъ!.. Ну, рассказывайте же, гдѣ вы были?

Но Алексѣй Львовичъ все молчалъ, смотря на нее страннымъ, блестящимъ взглядомъ.

— Неужели онъ... подумала Вѣра. — Впрочемъ, что-же? Это было-бы недурно. Вы пили шампанское?.. спросила она, улыбаясь.

— Нѣтъ, я ничего не пилъ, сказалъ Азанѣвъ, садясь на диванъ.

Его тонъ и манеры все больше и больше удивляли Вѣру.

Она вскричала тономъ капризнаго нетерпѣнія:

— Съ вами что-то случилось; я хочу знать, что?

— Да, Вѣра, со мной случилось нѣчто.

— Что такое? Не дразните меня... Хорошее? Дурное?

Она ждала нѣсколько секундъ его отвѣта; потомъ какая-то мысль пришла ей въ голову, и она спросила вполголоса:

— Не узнали-ли вы чего-нибудь про Елену Николаевну?

— Да.

— Неужели? Что-же?

Въ тонѣ Вѣры было простое любопытство безъ тѣни тревоги.

Она такъ убѣдила себя въ смерти или въ полномъ исчезновеніи Елены, что даже не предчувствовала истины. Убѣжденіе это основано было единственно на томъ, что для нея это было-бы выгодноѣ. Вѣра была изъ числа людей, которые вѣрятъ всему тому, чего они желаютъ, и отстраняютъ отъ себя непріятныя мысли. Развитіе личнаго эгоизма доходило въ ней до того, что она готова была приписать Азанѣву свои собственныя чувства и думать, что онъ, какъ и она, доволенъ былъ-бы узнать что-нибудь положительное о смерти Елены.

— Что-же вы узнали про Елену Николаевну? повторила она.

— Я сейчасъ отъ нея, тихо отвѣчалъ Азанѣвъ. — Я видѣлъ ее; я сидѣлъ у нея весь вечеръ.

Лампа все еще была въ рукѣ Вѣры; при этихъ словахъ она не опустила, но уронила ее на столъ, не обращая вниманія, что она могла опрокинуться. Молча, съ раскрытыми губами, она смотрѣла во всѣ глаза на Азанѣва, какъ-бы сомнѣваясь, не бредитъ-ли онъ... Азанѣвъ читалъ въ ея душѣ и зналъ, ка-

кой ударъ онъ наноситъ ея надеждамъ и планамъ, но и въ немъ чувство личнаго счастья заглушило всякое сочувствіе къ ней, и онъ лихорадочно заговорилъ съ блестящимъ взглядомъ, съ улыбочкой восторга:

— Поймите, что я нашелъ ее! Нашелъ живую и здоровую... И она любитъ меня, какъ прежде любила. О, да вамъ этого не понять!.. Нѣтъ, никто никогда не пойметъ меня! Потерять то, что дороже всего на свѣтѣ, оплакивать его кровавыми слезами, обвинять себя въ этой потерѣ, — и вдругъ найти опять!.. Вѣра, да что-же вы не радуетесь моей радости?

Вѣра нерѣшительно подняла на него глаза; она хотѣла принудить себя улыбнуться, хотѣла пробормотать банальную фразу согласія, но не совладала со своей порывистой натурой. У нея вырвался рѣзкій жестъ протеста; она бросилась на диванъ и, зарывъ голову въ подушки, разразилась бурными, страстными рыданіями.

Искренность этого движенія покорила Азанѣва; онъ вышелъ отъ нея болѣе растроганный, чѣмъ ожидалъ.

II. ЛѢТНОВЪ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПРАВСТВЕННОСТИ.

Leviathan doit cesser d'être un monstre, esclave de l'instinct pour devenir l'humanité maîtresse de soi par la raison.

A. Fouillée: „*Histoire naturelle des sociétés humaines ou animales*“.

I.

Какъ жиды, съ постоянствомъ, достойнымъ лучшей участи, и не смущаясь никакими невзгодами, настойчиво ждутъ пришествія своего избавителя, такъ точно довольно многочисленныя группы очень почтенныхъ новѣйшихъ ученыхъ или просто образованныхъ людей ожидаютъ вождѣннаго момента, который на ихъ условномъ языкѣ, унаслѣдованномъ ими отъ творца французской позитивной философіи, Огюста Конта, называется „конституированіемъ соціологіи“. Съ каждымъ годомъ, на главныхъ европейскихъ языкахъ все чаще начинаютъ появляться иногда очень почтенные и замѣчательные труды, въ которыхъ, на основаніи различныхъ знаменій, обсуждаются роковые вопросы: наступилъ-ли, наконецъ, этотъ желанный мигъ, „конституировалась-ли, наконецъ, соціологія“ и какими благотѣльными послѣдствіями, нравственными и матеріальными, должно сопровождаться для насъ, для всего просвѣщеннаго чловѣчества, это появленіе?

Всякій условный языкъ ведетъ прежде всего къ тому, что онъ дѣлаетъ несимпатичными, даже отталкивающими самыя обыкновенныя мысли, точно такъ же, какъ привкусъ бурдюка или бочки портитъ самое лучшее вино. И это неприятое впечатлѣніе, конечно, тѣмъ сильнѣе, чѣмъ головоломнѣе самый языкъ, чѣмъ труднѣе не-

посвященному смертному проникнуть во всё его тайны и тонкости. Въ этомъ отношеніи позитивистскій языкъ едва-ли не самый неудобный изъ всёхъ, такъ-какъ его творцы, — надо отдать имъ полную справедливость, — затратили на созданіе его громадную долю дѣйствительнаго глубокомыслия и истинной учености. Но въ ихъ ученіяхъ есть сторона, къ которой не можетъ оставаться равнодушнымъ ни одинъ образованный человекъ. Вопросы общественности и нравственности, подлежащія вѣденію ежечасно возвѣщаемой и будто бы создаваемой ими социологіи, слишкомъ настойчиво требуютъ себѣ удовлетворительнаго рѣшенія. Мы охотно увольняемъ позитивистовъ отъ необходимости выяснять и доказывать намъ тотъ разносторонній и не только теоретическій интересъ, который представляетъ для всёхъ возможность удобопонятнаго и методическаго рѣшенія этихъ вопросовъ. Мы охотно вѣримъ, что современное передовое человечество уже вступило въ тотъ трезвый періодъ возмужалости, въ которомъ только одно научное рѣшеніе всякаго вопроса можетъ считаться удовлетворительнымъ. Намъ дѣла нѣтъ, будете-ли вы считать началомъ этого періода 1750 г., — годъ вступленія на престолъ Фридриха Великаго, какъ это дѣлаетъ вовсе непозитивный нѣмецъ Блюнчли, или же годъ появленія въ свѣтъ контовской „Позитивной философіи“, какъ считаютъ гг. Литре и Вырубовъ съ цѣлымъ сонмомъ болѣе или менѣе правовѣрныхъ своихъ послѣдователей. Ужъ если такіа существенно-различныя между собою секты, какъ нѣмецкіе государственники по Блюнчли и французско-англійскіе позитивисты по О. Конту или по Герберту Спенсеру, одинаково согласны между собою въ томъ, что этотъ періодъ возмужалости для насъ наступилъ, то всякія дальнѣйшія разглагольствованія о немъ неизбѣжно будутъ смахивать на бесполезную въ непосвященныхъ глазахъ трату времени. Давайте намъ, какъ можно скорѣе, научныя рѣшенія общественныхъ и нравственныхъ вопросовъ или указывайте по крайней мѣрѣ пути, которыми всего ближе и всего вѣрнѣе мы можемъ обрѣсти эти вождельныя рѣшенія очень конкретно, очень жизненно волнующихъ насъ вопросовъ. Тогда, но только тогда, вы вполне можете быть увѣрены, что къ вашимъ наставленіямъ станутъ жадно прислушиваться даже многіе изъ тѣхъ, которые до сихъ поръ оставались холодны къ внушеніямъ науки. Одно дѣло наука, которая, дробясь на множество ничѣмъ несвязанныхъ между собою

вѣтвей, забрасывая насъ нелегко доступными дифференціальными и интегральными формулами, съ педантическою важностью потѣтъ надъ разрѣшеніемъ неисчислимаго множества частныхъ, специальныхъ задачъ, имѣющихъ съ нашею обыденною жизнью только случайныя, одностороннія соприкосновенія; одно дѣло наука, которая отдѣлывается величавымъ молчаніемъ или лицемернымъ подниманіемъ къ небу глазъ, когда мы обращаемся къ ней за прямыми отвѣтами на вопросы жизни, и совершенно иное дѣло наука, избирающая предметомъ своихъ изслѣдованій самыя насущныя для насъ общественныя и нравственныя отношенія. А иною и не можетъ быть такъ давно возвѣщаемая намъ наука новаго времени, все равно, приметъ ли она позитивистское прозвище социологіи, слишкомъ заблаговременно приготовленное для нея контристами и спенсеристами, или-же останется при какомъ-нибудь другомъ наименованіи. Родивъ младенца, мы мало затруднимся въ выборѣ имени, которымъ его окрестить. Весь вопросъ заключается, главнымъ образомъ, въ томъ, когда-же родится, наконецъ, давно вождедѣнный младенецъ? Да и точно-ли онъ родится въ опредѣленный моментъ, о которомъ возвѣстятъ намъ сокровенныя философскія знаменія?

Недавно было время, когда о научномъ разрѣшеніи, или хотя-бы только обсужденіи общественныхъ и нравственныхъ вопросовъ не могло быть и рѣчи по сотнѣ самыхъ разнообразныхъ и вовсе нефилософскихъ причинъ. Попробовали-бы вы хоть академически поговорить о позитивизмѣ и о социологіи, напримѣръ, съ Торквемадою!.. Нефилософскія эти препятствія далеко еще не вездѣ и далеко не безслѣдно исчезли съ лица земли или хотя-бы только одной передовой Европы. Американецъ Кэри превосходно перечислилъ ихъ всѣ уже четверть вѣка тому назадъ, въ своихъ „Principles of social science“, и очень недавно еще соотечественникъ его, Дрэперъ, далъ намъ превосходный историческій обзоръ этихъ нефилософскихъ препятствій *). Рядомъ съ ними и, можетъ быть, даже существеннѣе ихъ вліяли неблагоприятно препятствія философскія, находившіяся въ легко примѣтной связи съ первыми, крѣпшія и расцвѣтавшія подъ ихъ покровомъ. Человѣчество боялось сознанія, разума, или, въ лучшемъ случаѣ, оно не довѣряло ему,

*) См. „Conflicts de la science et de la religion“, p. Draper въ *Bibliothèque scientifique internationale* Жерме-Бальера.

чувствуя себя недостаточно созрѣвшимъ для того, чтобы вольно ходить по свѣту, безъ всякихъ помочей. Наука вынуждена была съ боя завоевывать себѣ каждый укромный уголокъ, въ которомъ ей предоставлялось-бы хозяйничать по своему усмотрѣнію. Само собою разумѣется, что сферы наиболѣе житейскія, наиболѣе конкретныя всего энергичнѣе отставались отъ ея вторженій. Дозволялись отдѣльныя научныя отрасли, подъ условіемъ никоимъ образомъ не переходить за изгородь или за межу, отведенную исторію въ ихъ владѣніе; но не терпѣлась та житейская, та „наиболѣе специальная и конкретная изъ всѣхъ наукъ“, честь созданія которой присвоиваютъ себѣ позитивисты. Еще много лѣтъ тому назадъ, послѣ множества побѣдъ, одержанныхъ наукою на самыхъ разнообразныхъ поприщахъ, вопросы общественныя и нравственныя выгораживались нами въ особую область, въ которую наука не могла иначе проникать, какъ прикрывшись мантиею ханжества или метафизики. Но какъ „служенье музъ не терпитъ суеты“, такъ и служеніе истинѣ не терпитъ лицемѣрія. Наука весьма естественно и очень существенно перерождалась отъ этихъ обязательныхъ переродѣваній.

Но теперь и эти времена прошли. Намъ уже нѣтъ надобности доказывать, что нравственный міръ не виситъ на воздухѣ, какъ *Нефелокочія* Аристофана, а имѣеть прочныя и дѣйствительно незыблемыя основы въ тайникахъ міра зоологическаго и даже неорганическаго. Взглянемъ-ли мы на дѣло съ естественно-исторической или-же только съ нравственно-исторической точки зрѣнія, мы одинаково придемъ къ заключенію, что этотъ, интересующій насъ, общественный и нравственный міръ представляетъ собою, дѣйствительно, вершину, вѣнецъ того-же зданія, которое въ болѣе низменныхъ своихъ этажахъ давно уже предоставлено научной провѣркѣ и изслѣдованію. „Если изученіе природы,—говоритъ Э. Кюве въ своемъ предсмертномъ произведеніи, „La création“,—объясняетъ намъ исторію человѣка, то и исторія человѣка со своей стороны проливаетъ новый свѣтъ на явленія природы“. „Натуралисты и историки долго трудились разрозненно, безъ всякаго предварительнаго сглашенія между собою, оставаясь каждый въ отмежеванной ему области. Само собою оказалось, что задача ихъ обобщенія одна. Осмѣлимся прямо сказать: эта ихъ встрѣча и есть величайшее умственное событіе нашего времени“. А вѣдь наше

время нескучно великими событіями всякаго рода. Чуть не дюжи- нами рушились на нашихъ глазахъ втеченіи послѣднихъ двадцати лѣтъ цѣлыя династіи, болѣе или менѣе историческія и раз- гравшія въ судьбахъ человѣчества болѣе или менѣе видную роль; исчезали цѣлыя государства, имена которыхъ мы усердно зубрили, сидя на школьной скамьѣ; мѣнялась политическая карта и общественная фізіономія не одной только Европы; рабство миліоновъ людей, по крайней мѣрѣ, въ крѣпостнической своей формѣ, окончательно выкидывалось изъ общественнаго строя от- даленнѣйшихъ одинъ отъ другого народовъ; движеніе проникало въ такія сферы, которыя споконъ-вѣка мы привыкли считать убѣжищемъ отчужденности, спячки, застоя... Между тѣмъ Кине далеко не былъ однимъ изъ тѣхъ филистеровъ, которые, съ до- стоинствомъ напяливъ себѣ на голову академической колпагъ, не видать ничего изъ того, что выходитъ изъ узенькой и затхлои сферы педантическихъ интересовъ.

Впрочемъ, далеко не одинъ Кине считаетъ совершившійся за по- слѣднее время критическій поворотъ въ передовомъ европейскомъ мышленіи болѣе существеннымъ и цѣннымъ по своему внутренему со- держанію, чѣмъ многія самыя замѣчательныя и всѣми замѣчаемыя по- трасенія, политическія или общественныя, отъ которыхъ самымъ не- посредственнымъ, нерѣдко грубо-насильственнымъ образомъ зависитъ благо и самая жизнь громаднаго количества живыхъ существъ. Левіафанъ, — чудовище, естественную исторію котораго намъ пы- тался рассказать еще Гобсъ, — теперь линяетъ, сбрасываетъ съ себя еще одну изъ тѣхъ толстыхъ звѣриныхъ шкуръ, которыми придавленъ въ немъ свѣтлый образъ человѣчества. Мы, — члены этого громаднаго и мало еще сформировавшагося чудовища, — му- чительно ощущаемъ въ себѣ или на себѣ каждое содроганіе, ко- торымъ Левіафанъ, т. е. человѣчество (если вы согласны те- перь-же называть его этимъ именемъ, такъ-сказать, въ кредитъ, по довѣрію къ будущему), сбрасываетъ съ себя заскорузлыя, по- мертвлѣныя чешуи, обновляетъ фибры своего могучаго организма. Для насъ беззѣинтересна ни одна житейская подробность этого многосложнаго процесса линянія, въ который мы сами вовлечены волею или неволею, сознательно или безсознательно. Но нельзя не замѣтить, что весь этотъ многообразный и утомительный въ своихъ безчисленныхъ подробностяхъ процессъ отражается въ кон-
„Дѣло“, № 9, 1879 г.

центрированномъ видѣ въ левіафановомъ мозгу, т. е. въ мышленіи, въ наукѣ. Вотъ почему Э. Кинэ и очень многіе другіе, не менѣе почтенные мыслители слѣдятъ съ усиленнымъ любопытствомъ за тревоженіями науки, скромными по вѣдѣности, по размѣру діаметра волнующихъ или общественныхъ сферъ, но чреватыхъ не одними только теоретическими послѣдствіями. Вотъ почему они считаютъ важнымъ историческимъ событіемъ признаніе наукою законовъ единства міра физическаго и нравственнаго, зоологическаго и историческаго.

Немного лѣтъ тому назадъ провозглашено наукою это единство, но оно уже успѣло стать общимъ мѣстомъ. Можно не обладать умственной зрѣлостью, необходимою для того, чтобы понимать или принимать этотъ капитальный фактъ, но оспаривать его научно нельзя, а потому онъ и сдѣлался въ нѣсколько лѣтъ всеобщимъ достояніемъ мыслящаго и ученаго міра. Ни одна философская школа или секта, позитивистская, материалистическая или иная, не въ правѣ присвоивать его исключительно себѣ. Точно такъ-же съ другой стороны, принимая этотъ элементарный фактъ со всѣми неизбѣжными его послѣдствіями, мы вовсе не ставимся въ необходимость принимать вѣстѣ съ нимъ и цѣлый сварбъ какихъ-бы то ни было системныхъ построеній, не обязуемся примыкать къ какому-бы то ни было изъ тѣхъ *измовъ*, которыми такъ полны самоновѣйшіе ученые трактаты, естественно-историческіе или общественные. Впрочемъ, нельзя не замѣтить, что самое это дѣленіе науки на естествознаніе и обществознаніе примѣтно утрачиваетъ всякій смыслъ. Ни общество, ни нравственность не стоятъ-же внѣ природы, естества. Мы уже замѣтили, что одна только ребяческая робость ставила между этими двумя категоріями какую-то неизблемую грань, служившую ей оплотомъ, за которымъ она думала укрыться навсегда отъ нападеній ежечасно мужавшаго разума. Натуралисты и историки, каждый по мѣрѣ силъ, долго трудились надъ ея разрушеніемъ. „Они инстинктивно, продолжаетъ Кинэ, — перенимали другъ у друга свои методы, проникаясь однимъ общимъ духомъ. Натуралисты обогатили общественно-научную область понятіями закона, типа; но они сами заимствовали у нея понятія развитія, совершенствованія“... Въ самомъ дѣлѣ, кому неизвѣстно, что въ основѣ дарвинизма или эволюціонизма, — т. е. самой всеобъемлющей и самой

естественно-научной теоріи,—лежитъ законъ, уже въ началѣ вѣка близоруко и односторонне, т. е. политико-экономически, формулированный Мальтусомъ?.. Какъ-бы то ни было, но мы хотѣли замѣтить только, что вышеупомянутая изгородь размыта въ конецъ дружнымъ напоромъ различныхъ научныхъ теченій, которыя на нашихъ глазахъ теперь слились въ одно общее и чистое русло, и что Э. Кине, вмѣстѣ со множествомъ другихъ, быть можетъ болѣе авторитетныхъ мыслителей, видятъ въ этомъ слитіи самое характерное знаменіе нашего времени.

Посмотримъ-же, насколько это великое событіе даетъ или по крайней мѣрѣ приближаетъ возможность того научнаго рѣшенія общественныхъ и нравственныхъ задачъ, желанность и разностороннее значеніе котораго читатель легко оцѣнить и самъ, по личному своему усмотрѣнію.

II.

Наиболѣе замѣтнымъ послѣдствіемъ вышеочерченнаго перелома въ левіафановомъ сознаніи, т. е. въ господствующемъ настроеніи передового общеевропейскаго мышленія, представляется намъ появленіе въ свѣтъ на англійскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ (часто даже одновременно на всѣхъ главныхъ европейскихъ языкахъ) ежегодно возрастающаго количества такихъ трактатовъ, въ которыхъ о сложнѣйшихъ и интереснѣйшихъ вопросахъ общественности и нравственности говорится уже болѣе или менѣе убѣдительнымъ, болѣе или менѣе простымъ, болѣе или менѣе научнымъ языкомъ, безъ лицемерія, метафоръ и прикрасъ, часто еще считаемихъ необходимою приправою этого рода изслѣдованій. Съ одной стороны, естествоиспытатели, — психологи, антропологи и даже зоологи, — очевидно, уже убѣдились, что человѣкъ, взятый въ отдѣльности отъ общества, среди котораго онъ развивается и живетъ, представляется чѣмъ-то вымышленнымъ, фиктивнымъ, вродѣ геометрической точки или линіи. Если въ основѣ извѣстнаго дѣтскаго романа „Робинзонъ Крузе“ и лежитъ дѣйствительный фактъ, то наука, зоологическая, соціологическая и всякая другая, слишкомъ очевидно, можетъ только выиграть отъ того, что она будетъ имѣть въ виду

не Александра Селькирка или иного матроса, которому случается быть покинутымъ на необитаемомъ островѣ, а всѣхъ обыкновенныхъ смертныхъ, неинтересующихся необитаемыми островами, потому что и на обитаемомъ ими материкѣ у нихъ слишкомъ много дѣла. Истина эта, конечно, очень элементарна, но она своевременна до того, что очень ограниченный нѣмецъ Егеръ, сообразовавшій въ нею свой новый учебникъ зоологіи, этимъ однимъ стяжалъ себѣ общеевропейскую знаменитость, правда, сильно помраченную его бюргерскимъ филистерствомъ, неумѣстно щеголяющимъ въ кирасирскихъ ботфортахъ князя Бисмарка. Съ тѣмъ умственнымъ и нравственнымъ уровнемъ, который изобличаетъ въ себѣ авторъ только что помянутаго „Handbuch der Zoologie“, ему-бы навѣрное не удалось обратить на себя вниманіе даже самаго скромнаго нѣмецкаго университетскаго городка. Но онъ вспомнилъ, при составленіи своего учебника, что не всѣ животныя и не всѣ люди живутъ подъ стеклянными колпаками или на необитаемыхъ островахъ, и этимъ однимъ приобрѣлъ себѣ неотъемлемыя права на довольно громкую популярность, такъ-что мы окажемся вынужденными вернуться къ нему, быть можетъ, еще не разъ.

Съ другой стороны, философы и моралисты, трактующіе о высшихъ проявленіяхъ общественной и нравственной жизни, перестаютъ обижаться тѣмъ, что гениальнѣйшій и добродѣтельнѣйшій человѣкъ поставленъ безсердечною природою въ необходимость питаться и размножаться, какъ и иныя, болѣе низменныя существа,— что на свѣтѣ не было-бы ни нравственности, ни общестственности, еслибы люди перемерли съ голода или еслибы пресѣлся человѣческій родъ отъ равнодушія къ требованіямъ растительной жизни. Мы имѣемъ передъ собою уже немало сочиненій, посвященныхъ изслѣдованію высшихъ общественныхъ и нравственныхъ задачъ именно съ точки зрѣнія тѣхъ отношеній, которыя уже признаны наукою между низшими ступенями органическаго развитія съ одной стороны, а съ другой— между такими возвышенными его ступенями, которыя, можетъ быть, фактически неосуществлены еще нигдѣ и которыя потому вполне заслуживаютъ сильно скомпрометированнаго прозвища идеальныхъ. Изъ ряда этихъ сочиненій заслуживаютъ особеннаго вниманія: трудъ молодого французскаго ученаго Эспинаса (Alfred Espinas, „Les sociétés animales, étude de psychologie comparée“, Paris. 1878), не-

давно переведенный на нѣмецкій языкъ со второго французскаго изданія, дополненнаго очеркомъ исторіи общественнаго вообще; нѣмецкое сочиненіе Шефле, — „Строеніе и жизнь общественнаго тѣла“ (Schaeffle, — „Bau und Leben des socialen K6rpers“. Tübingen“, 1875), дополняющее, какъ мы ниже увидимъ, труды Герберта Спенсера, по большей части уже переведенные на русскій языкъ и пользующіеся у насъ достаточною популярностью. Перечень этотъ можно-бы безъ особеннаго труда распространить хоть на нѣсколько страницъ, такъ-какъ произведенія этого рода становятся рѣшительно преобладающими въ новѣйшихъ ученыхъ литературахъ. Въ особенности-же указываемое нами направленіе начинаетъ одушевлять собою множество спеціальныхъ работъ: психологическихъ, какъ „Физиологія ума“ англійскаго доктора Маудсли; криминалистическихъ, какъ „Nomo delinquente“ итальянскаго психіатра Ломброзо, о которомъ мы уже имѣли случай говорить съ читателями „Дѣла“ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ; демографическихъ, какъ работы Бертильона; этнографическихъ, какъ только-что вышедшее большое сочиненіе Моргана, составившаго себѣ громкую извѣстность своими предварительными работами о бракѣ и семьѣ. Мы не говоримъ о массахъ другихъ, о которыхъ, по мѣрѣ надобности, придется упомянуть на этихъ страницахъ.

Это проникновеніе множества самыхъ разнохарактерныхъ изслѣдованій однимъ, хотя-бы только элементарно-общимъ, духомъ составляетъ само-по-себѣ уже крайне замѣчательное и новое явленіе. Очевидно, найдена почва, на которой могутъ совмѣстно трудиться изслѣдователи разныхъ странъ, разныхъ научныхъ вѣдомствъ, разныхъ склонностей и темпераментовъ. Этого одного, по мнѣнію Эспинаса, уже совершенно достаточно, чтобы провозгласить, что „соціологія уже конституировалась“, что она нашла свой методъ. Впрочемъ, чтобы мы не слишкомъ преувеличивали значеніе этого радостнаго событія, онъ тутъ-же предупреждаетъ насъ, что „конституировалась соціологія, только какъ наука общая“.

Читатель, мало посвященный въ тайны птичьяго языка, пожалуй, замѣтилъ-бы, что такое ограниченіе еще не бѣда; но молодой французскій ученый съ похвальною трезвостью ума спѣшитъ перевести эту оговорку на общепонятный языкъ и объяс-

няетъ намъ, что вождельнное „конституированіе соціологіи“ не значить еще, что хотя-бы только существеннѣйшія и насущнѣйшія изъ общественныхъ и нравственныхъ задачъ уже обрѣли сколько-нибудь удовлетворительное рѣшеніе. „Мы не хотимъ сказать, замѣчаетъ онъ на страницѣ 140, — чтобы въ настоящее время (т. е. послѣ „конституирования соціологіи“) сколько-нибудь достовѣрнѣе прежняго было рѣшено, какія отношенія должны существовать между лицомъ и обществомъ у того или другого народа, какія границы законъ долженъ установить группамъ, стремящимся къ независимому существованію внутри повѣйшихъ государствъ, какой предѣлъ долженъ быть положенъ праву наказывать, и т. д.“. Авторъ не продолжаетъ этого перечня, увѣренный, что онъ достаточно охладилъ восторгъ, могущій овладѣть читателемъ при радостномъ извѣщеніи о „конституированіи соціологіи“, которая, какъ оказывается, не рѣшила ни одного изъ конкретныхъ, т. е. житейски интересныхъ для насъ вопросовъ. Впрочемъ, онъ спѣшитъ успокоить насъ увѣреніемъ, что она не преминетъ разрѣшить ихъ всѣ современемъ. Читатель, пожалуй, даже и раздѣляя эту радужную мечту, можетъ сказать себѣ, что современемъ онъ и заинтересуется этою соціологіею, которая, „конституировавшись, какъ наука общая“, не даетъ ему, однакожъ, никакихъ руководящихъ началъ по вопросамъ, всего настоятельнѣе требующимъ себѣ насущнаго, хоть-бы приближительнаго разрѣшенія. Но какъ-же ему быть до тѣхъ поръ? Гдѣ искать этихъ руководящихъ началъ, которыя соціологія можетъ обѣщать ему только въ очень неопредѣленномъ будущемъ? Сувѣрныя „симпатическія лекарства“ противъ всякихъ нравственныхъ или физическихъ немощей уже давно утратили въ нашихъ глазахъ всякую цѣну. Метафизика, втеченіи нѣсколькихъ вѣковъ считавшая вопросы общественности и нравственности своимъ достояніемъ и ревниво ограждавшая ихъ отъ всякихъ покушеній науки, повидимому сама извѣрилась въ содержательность своихъ трескучихъ, туманныхъ фразъ. Съ Гартманомъ, т. е. съ философіею безсознательнаго, она плаксиво отрекается сама отъ себя. Съ менѣе послѣдовательными своими корифеями, вродѣ, напримеръ, эстетическаго Иполита Тена или скорбнаго Ренана, она неудачно поддѣлывается подъ науку. Однимъ своимъ жалобнымъ видомъ метафизика уже достаточно предупреждаетъ насъ,

что не въ ней мы найдемъ надежную опору въ критическую минуту.

Въ западной Европѣ всюду такъ-называемая нравственная философія обязательно входитъ въ кругъ образованія, даваемого въ общественныхъ школахъ. Александръ Бенъ, въ своемъ новомъ трактатѣ о воспитаніи („Science of Education“), достаточно проникнутомъ должнымъ уваженіемъ къ господствующей рутинѣ, со всею важностью, подобающею присяжному мудрецу и сердцевѣду по профессіи, описываетъ, однакожь, очень яркими красками комическое положеніе учителей, вынужденныхъ провозглашать ex cathedra общія мѣста, вывѣтрившіяся до того, что ихъ пустота не укрывается даже и отъ дѣтскаго глаза. По его признанію въ самомъ началѣ II-й главы 3-й книги, для успѣшнаго преподаванія морали или нравственности въ школахъ требуется такое счастливое сочетаніе многочисленныхъ условій, что авторъ отказывается дать даже сколько-нибудь цѣлостный и стройный планъ этого преподаванія. „Нравственности, говоритъ онъ, — какъ и родному языку, мы научаемся не отъ учителя и не изъ одного какого-бы то ни было источника. Школа играетъ въ этомъ дѣлѣ крайне подчиненную роль. Люди несомнѣнно имѣютъ врожденную склонность быть благородными, справедливыми и великодушными, если они поставлены въ благопріятныя для этого условія. Но эта склонность въ однихъ сильнѣе, а въ другихъ слабѣе. Опытъ показываетъ, что одной врожденной склонности очень недостаточно еще для желаннаго результата“... „Человѣкъ не созданъ для одиночества; онъ проводитъ всю свою жизнь въ обществѣ себѣ подобныхъ. Такимъ образомъ, въ сердцѣ каждаго развивается совокупность общественныхъ (или общительныхъ) чувствъ, крайне смѣшанная по своей сущности. Въ удовлетвореніи самыхъ низменныхъ, какъ и самыхъ возвышеннѣйшихъ своихъ потребностей человѣкъ не можетъ обходиться безъ другихъ. Во всемъ, что мы дѣлаемъ, мы вынуждены еже-часно принимать въ расчетъ другихъ. Наши личныя желанія пропитываются вліяніями людей, насъ окружающихъ; все наше поведеніе обуславливается всею совокупностью нашихъ общественныхъ отношеній...“ „Никакіе уроки нравственности и никакія проповѣди не создадутъ добродѣтелей, если мы не будемъ постоянно имѣть передъ глазами общественныя побужденія, сперва

въ ихъ чистой и безусловной формѣ самопожертвованія, а затѣмъ въ смѣшанной формѣ общительныхъ склонностей и удовольствій...“ Самымъ существеннымъ условіемъ сколько нибудь удовлетворительнаго насажденія началъ нравственности въ юныхъ сердцахъ, Бенъ считаетъ, рядомъ съ классификацію добродѣтелей (упражненіемъ довольно невиннымъ, но крайне скучнымъ и бесплоднымъ), „изученіе общественныхъ отношеній, начиная съ семьи, переходя къ государству и затѣмъ къ цѣлому міру. Необходимо, чтобы каждый ясно понималъ точныя отношенія между собою всѣхъ общественныхъ группъ, чтобы онъ опредѣленно сознавалъ подобающія ему права и лежащія на немъ обязанности. А это уже прямо ведетъ насъ въ область общественныхъ наукъ, которыхъ роль еще такъ мало уяснена въ нашемъ школьномъ образованіи“.

И такъ, по категорическому утвержденію этого осторожнѣйшаго и скромнѣйшаго изъ современныхъ мыслителей, безъ пониманія общественныхъ отношеній нѣтъ нравственности; а за неимѣніемъ ея, въ англійскихъ школахъ преподается какая-то размазня, къ которой (по увѣренію Бена-же) „дѣти чувствуютъ непреодолимое отвращеніе“, котораго нельзя побѣдить бессодержательными фразами, споконъ-вѣка повторяемыми при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, вродѣ такихъ, напримѣръ: *„честность лучше всякой политики; будьте справедливы прежде чѣмъ помышлять о великодушіи и т. п.“*. Здѣсь Бенъ приводитъ слова Исаака Тайлора, утверждающаго, будто всѣ эти фразы и имъ подобныя неизбѣжно принимаются слушателями за сигналъ, что теперь ихъ вниманіе можетъ обратиться въ какую ему угодно сторону и что учитель ораторствуетъ только такъ, для порядка... „Въ очень раннемъ возрастѣ, пока еще ребенокъ очень легко поддается вліянію другихъ и мало склоненъ къ независимости, порицаніе и наказаніе могутъ еще запечатлѣваться въ его умѣ и вліять на его представленія добра и зла. Но для дѣтей свыше двѣнадцати лѣтъ, вообще говоря, прямыя уроки нравственности непригодны вовсе, развѣ только въ смыслѣ школьной дисциплины. Нѣкоторые высшія школы и университеты съ общаго согласія вынуждены были выкинуть это преподаваніе изъ своихъ программ“.

Мѣстами даже вѣчно серьезный, суровый Бенъ не можетъ удержаться отъ насмѣшки. Таковъ, напримѣръ, его отзывъ объ

экскурсіяхъ въ зоологическую область, нерѣдко предпринимаемыхъ съ педагогическою цѣлью самими записными моралистами. „Примѣръ пчелы и муравья, по мнѣнію ихъ, долженъ заставлятъ краснѣть лѣнливцевъ. Какъ игра воображенія, подобныя сравненія могли-бы быть терпимы, но сравнивать между собою такія несхожія существа, какъ человѣкъ и насѣкомое, — прежде всего нелогично. Невозможно указать ни на одно лицо, которое-бы примѣромъ пчелы или муравья было отвращено отъ лѣни. Дѣтей невозможно сдѣлать логическими, но зачѣмъ-же пріучать ихъ къ нелогичности нелѣпными сравненіями? Если муравей можетъ служить образцомъ труда, то онъ въ то же самое время представляетъ и крайне непоучительный примѣръ тираніи, рабовладѣльчества и многихъ другихъ непохвальныхъ дѣлъ, какъ это показалъ намъ недавно серъ Джонъ Лебокъ“.

„Работа — не единственная добродѣтель, требуемая отъ людей, но она основа и первое условіе всѣхъ другихъ добродѣтелей. Привлечь ребенка къ труду должно быть первою заботою нравственнаго воспитанія; но этого едва-ли можно достигнуть, описывая ему въ преувеличенномъ видѣ страданія богачей, проводящихъ всю свою жизнь въ праздности, или увѣряя его, будто трудъ самъ по себѣ составляетъ высшее благо...“ „Часто говорить, что всякій трудъ равно почетенъ. Это одинъ изъ общераспространенныхъ софизмовъ, которыхъ бесполезность очевидна на первый взглядъ. Конечно, каждый, снискивающій свое пропитаніе работою, приобщается къ общему братству людей, которые всѣ, за очень немногими исключеніями, поставлены въ необходимость работать. Но почетъ не значитъ равенство. По множеству причинъ, изъ которыхъ однѣ роковыя, другія-же могутъ быть устранены, иной трудъ оплачивается очень хорошо, а другой очень дурно...“ Когда приходится касаться печальнаго предмета нищеты, необходимо говорить и о средствахъ помочь этому злу... Припѣвъ пресловутой пѣсни Бернса:

Бѣдность насъ не устрашить—

выражаетъ, конечно, нѣкоторое нравственное мужество, но это и все, что можно сказать въ его пользу. Поворность судьбъ—очень сомнительная добродѣтель и заслуживаетъ похвалы только тогда, когда предварительно было сдѣлано все, требуемое благоразуміемъ. Хорошіе уроки политической экономіи въ этихъ случаяхъ дѣй-

ствительнѣе всякой нравственной проповѣди. Мы стоимъ лицомъ къ лицу съ подавляющею массою недовольныхъ, заявляющихъ свои требованія болѣе или менѣе настойчиво и открыто. Учитель не можетъ скрыть этого отъ питомцевъ. Если онъ будетъ повторять имъ только общія мѣста, онъ оставитъ ихъ безъ опоры, на жертву всякимъ софизмамъ... На недовольство, естественно вызываемое всякимъ неравенствомъ, можно отвѣчать только трезвымъ политическимъ и общественнымъ обсужденіемъ вопроса. Уловія нашего времени настойчиво требуютъ, чтобы это обсужденіе было возможно всестороннее и научное..."

Такимъ-то образомъ, устами Бена, классическая мораль въ Англіи откровенно исповѣдуетъ передъ лицомъ дѣлаго свѣта свою несостоятельность и отчаянно призываетъ къ себѣ на помощь науку. Во Франціи дѣло имѣетъ нѣсколько иной внѣшній видъ. „Les philosophes Salariés“, штатные морализаторы юнаго французскаго поколѣнія, Поль Жбане, Каро, болѣе либеральный Жюль Симонъ и другіе претенцы эклектическаго гнѣзда, повидимому еще безъ угрызений совѣсти продолжаютъ „коверкать французскіе мозги давленіемъ изнутри лучше, чѣмъ патагонскія повивальныя бабки коверкаютъ черепа младенцевъ Огненной Земли наружнымъ давленіемъ и повязками“, какъ выражается докторъ Летурно, авторъ превосходнаго учебника біологіи. Однакоже, и они примѣтно начинаютъ дѣлать глазки наукѣ; въ этомъ легко убѣдиться, прочитавъ хоть одну изъ тѣхъ бойкихъ статей, которыми Поль Жбане нерѣдко даритъ болѣе распространенную въ Россіи, чѣмъ во Франціи, „Revue des deux mondes“. Въ этихъ статьяхъ почтенный авторъ, принимая изрѣдка вызывающій видъ и притворяясь, будто онъ увѣренъ, что владычество олицетворяемой имъ метафизики не кончится никогда, въ сущности только развиваетъ граціозныя варіаціи на извѣзженныя платонико-эклектическія темы, чтобы отвлечь вниманіе публики отъ отступленія, искусно совершаемаго его партією передъ дружнымъ натискомъ науки. Конечно, мы никогда не дождемся отъ французскихъ официальныхъ философовъ такого откровеннаго признанія своей несостоятельности, какое англійская школьная мораль высказываетъ устами Бена. Франція недаромъ классическая страна метафизики, дѣйствительно, давшей здѣсь въ половинѣ и въ концѣ прошлаго столѣтія такой пышный цвѣтъ, что его и до сихъ поръ не мо-

жеть забыть вся Европа. Дж. Стюартъ Миль и Семнеръ Менъ совершенно справедливо замѣчаютъ, что однимъ изъ существеннѣйшихъ препятствій въ распространенію натуралистическихъ идей въ дѣлѣ обсужденія вопросовъ общественности и нравственности слѣдуетъ считать вліаніе, оказанное „геометрическою методою“ Руссо уже сто лѣтъ тому назадъ на самыя передовыя умы и неизгладившееся еще и до настоящаго времени. Скоро мы увидимъ, что объ этомъ особенно нечего и жалѣть, что „геометрическая метода“ Руссо, быть можетъ, и замедляющая нѣсколько моментъ „конституированія социологіи“, въ сущности, однакожь, не такъ противонаучна, какъ кажется на первый взглядъ. Но здѣсь мы просто имѣли въ виду замѣтить, что во Франціи отъ метафизической постройки общественныхъ и нравственныхъ задачъ еще не отказались не только такіе представители золотой середины, какъ П. Жане и официальные философы кафедры и трибуны, но даже и такіе передовые застрѣльщики, какъ Тенъ и Ренавъ, съ вѣтренностью мотылька порхающіе съ метафизики на науку и обратно. Но зато-же Франція есть вмѣстѣ съ тѣмъ и отечество округленныхъ манеръ и вѣжливости. Очень почтенные ея ученые, Клодъ Бернаръ, Катрфажъ, внесшіе несомнѣнно въ сокровищницу знанія не одинъ цѣнный вкладъ, не гнушаются, однакожь, любезно расшаркаться передъ умирающею родственницею, зная очень хорошо, въ какія руки скоро перейдетъ оставляемое ею наслѣдство. Бѣдная метафизика, разрушенная на смертномъ одрѣ и украшенная лучшими бумажными и фольговыми цвѣтами эклектизма, пріятно улыбается имъ. „Вотъ истинные мыслители, истинные ученые, — умильно восклицаетъ она, — способные примирить даже Навина съ Ньютономъ!“ Самъ П. Жане рѣшительно не имѣетъ ничего противъ передачи пальмы первенства, примѣтно колеблющейся въ его рукахъ, въ ихъ прикрытыя лайковыми перчатками руки, на которыхъ не видно слѣдовъ нефешенебельной физиологической лабораторіи. Одного настойчиво требуетъ онъ отъ нихъ: признанія единства и всемирности нравственныхъ явленій. Маслитый антропологъ Катрфажъ, способный по части учености заткнуть за поясъ полдюжины несравненно болѣе философски-развитыхъ, именитѣйшихъ естествоиспытателей новѣйшаго времени, обѣими руками подписываетъ уговоръ и издаетъ въ свѣтъ свою знаменитую антрополо-

гю, „L'esrèse humaine“, выдержавшую на всѣхъ европейскихъ языкахъ по три и по четыре изданія.

Нравственность, — повторяетъ онъ уже отъ лица не метафизики, а будто-бы науки, — точно одна на всѣхъ ступеняхъ органическаго и культурнаго развитія, во всѣхъ углахъ и концахъ земнаго шара.

Такое заявленіе ученаго профессора, конечно, вызываетъ дружный взрывъ негодованія въ смѣломъ и даровитомъ лагерѣ юныхъ матеріалистовъ и позитивистовъ, невидящихъ особенной надобности безмѣрно щадить предсмертные капризы умирающей родственницы. Андре Лефевръ посвящаетъ ученому автору „Esrèse humaine“ нѣсколько язвительныхъ страницъ въ догматической части своего учебника философіи. Летурно преподноситъ гг. Катрфажу и Полю Жбане поучительный букетъ изъ лучшихъ цвѣтковъ своей замѣчательной этнографической начитанности. Въ превосходныхъ статьяхъ, разбросанныхъ этимъ даровитымъ авторомъ въ нѣсколькихъ ученыхъ журналахъ за послѣдніа десять лѣтъ и недавно собранныхъ въ одинъ небольшой томъ *), не пропущенъ, кажется, ни одинъ изъ столь обильныхъ въ описательной этнографіи фактовъ, которыми несомнѣнно доказывается, что если нравственное чувство повсюду одно, то по крайней мѣрѣ проявленія его существенно различны, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, гдѣ оно спитъ непробуднымъ сномъ и не даетъ вовсе никакихъ проявленій, замѣтныхъ для невооруженнаго предвзятымъ рѣшеніемъ взгляда.

„Пути-пути! — поетъ Катрфажу Летурно пѣсенку, сложенную неграми центральной Африки въ честь Бёртона. — Пути-пути! Мы пойдемъ за *злымъ* бѣлымъ человѣкомъ всюду, куда онъ насъ поведетъ! Пути-пути! Мы не повинимъ его до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ насъ кормить!“ Пѣсня эта вылилась изъ устъ негровъ, какъ самое горячее изъ доступныхъ имъ выраженій благодарности Бёртону, избавившему ихъ на довольно продолжительное время отъ слишкомъ ощутительной для нихъ язвы голода. Эпитетъ *злой* попалъ въ нее исключительно потому, что эти люди не знаютъ болѣе почетнаго эпитета. *Добрый* на ихъ языкѣ значило-бы слабый, дрянной... На языкѣ зулусовъ верхъ совершенства или бла-

*) Science et matérialis, p. Ch. Letourneau, Paris, 1879.

женства выражается словомъ *убоми*, котораго буквальное значеніе „гнилое мясо“. Эти негры предпочитаютъ его свѣжему потому, что оно мягче и имѣетъ очень острый запахъ и вкусъ. Мисіонерамъ, за неизбѣннѣе болѣе подходящаго термина, пришлось въ своихъ проповѣдяхъ и текстахъ подставлять это *убоми* вмѣсто словъ: блаженство, безсмертіе и т. п. Легко представить себѣ, въ какой забавной безсмыслицѣ приводитъ эта скудость языка злополучныхъ зулусовъ.

Факты подобнаго рода кишмя-кишатъ въ каждомъ этнографическомъ учебникѣ. Всѣ ихъ привести здѣсь нельзя, выбирать-же нелегко, такъ-какъ всѣ они равно достовѣрны, равно убѣдительны съ интересующей насъ точки зрѣнія. Здѣсь, напримѣръ, новокаледонцы, эскимосы и нѣкоторые другіе отсталые народы сѣдуютъ папеньку съ маменькою по чувству долга, для доказательства имъ своего уваженія и преданности, и особое божество, у жителей Вити¹ напримѣръ, строго караетъ сына, неисполнившаго относительно старѣющаго отца этой своей обязанности. Тамъ свирѣпый вождь прославляетъ самъ себя и прославляется цѣлымъ своимъ племенемъ за то, что онъ съѣлъ 900 человекъ, женщинъ и дѣтей, не подѣлившись ни съ кѣмъ ни однимъ кускомъ этой пищи. Такъ витійцы поютъ про Раундре-ундре, великаго своего короля. Одинъ, кажется новокаледонскій вождь, подъ вліяніемъ предусмотрительности, считаемою Беномъ за первую изъ трехъ основныхъ добродѣтелей (предусмотрительность или благоразуміе, справедливость и доброта), ввелъ обычай солить плѣнниковъ въ прокъ и этимъ оказалъ существенную услугу не только своему народу, но и сосѣднимъ племенамъ, а пожалуй даже и всему человѣчеству: въ самомъ дѣлѣ, большая часть дикарей послѣ удачнаго похода пожираютъ всю свою человѣческую добычу за-разъ, а потомъ или мрутъ съ голода, или предпринимаютъ новые походы только для того, чтобы раздобыть себѣ пищи... Наконецъ, Маудсли совершенно справедливо замѣчаетъ, что даже у современнаго просвѣщеннаго англійскаго джентльмена изъ Сити, очевидно, не меньше двухъ нравственностей: одна — когда онъ съ убѣжденіемъ повторяетъ библейскую заповѣдь: *не убей*; другая — когда онъ съ умиленіемъ молится Богу о дарованіи его королевѣ побѣдъ во *всякой* войнѣ, т. е. не разбирая, справедлива-ли эта война или нѣтъ. „Не насмѣшка-ли надъ нрав-

ственными принципами христіанства, — спрашиваетъ онъ на стр. 377 французскаго перевода своей „Физиологии ума“, — когда мы видимъ двѣ непріятельскія арміи, стоящія лицомъ къ лицу одна противъ другой? Обѣ онѣ поклоняются одному Богу, исповѣдуютъ одно ученіе всемірной любви и міра, и этому-то Богу, накануне боины, обѣ онѣ шлютъ ревностныя молитвы, чтобы онъ помогъ имъ истребить врага, который въ то-же время и такъ-же усердно молится о томъ-же“. „Конечно, — добавляетъ успокоительно англійскій психіатръ, — люди отстанутъ отъ этихъ ребячествъ, когда они поумнѣютъ и станутъ добрее. Желанный день этотъ, можетъ быть, еще очень далекъ; но можно быть увѣреннымъ, что въ нашей нравственности современемъ совершится благодѣтельный шагъ впередъ, что она станетъ *человѣчною*, какъ изъ *семейной* она первоначально стала *племенной*, затѣмъ *народною*, на чемъ въ большинствѣ случаевъ и застыла въ настоящій моментъ“.

Всему этому мы охотно вѣримъ и страстно желаемъ ускорить желанный мигъ. Но что надо дѣлать для возможно скорѣйшаго его осуществленія на практикѣ? Въ этомъ весь вопросъ, на который мы желали бы удовлетворительнаго, т. е. научнаго отвѣта. Рутиня устами Бена съ похвальною откровенностью признаетъ, что она не въ силахъ помочь намъ безъ содѣйствія науки, и именно общественной науки. Этой науки мы не станемъ искать у Гартмана, у Тена, у Ренана и у подобныхъ имъ пророковъ безсознательнаго, потому что для существа сознательнаго не можетъ быть ничего безнравственнаго, какъ поступаться своею драгоценнѣйшею прерогативою сознанія: это и безъ всякой науки мы уже знаемъ навѣрняка. Позитивисты, какъ мы уже видѣли изъ словъ Эспинаса, самаго умѣреннаго и самаго трезваго изъ нихъ, слишкомъ поглощены „конституированіемъ социологии, какъ науки общей“, и просятъ насъ обождать ихъ отвѣта рѣшительно на всѣ конкретныя, т. е. житейски-интересныя для насъ вопросы. Гербертъ Спенсеръ, отдѣлившись отъ французскаго позитивистскаго ствола, леталъ, какъ намъ извѣстно, подъ небеса къ свѣтиламъ небеснымъ, нырялъ въ глубину моря къ сифонофорамъ, погружаясь въ микроскопическія тайники органическихъ клѣточекъ, орломъ порхалъ по вѣковымъ періодамъ исторической и до-исторической культуры; но изъ всѣхъ этихъ блестящихъ своихъ ученыхъ

экскурсії онъ вынесъ нѣсколько изношенный принципъ: laissez faire, laissez passer на значительно обновленной подкладкѣ. Мы отвергаемъ этотъ принципъ безъ дальнѣйшей провѣрки уже потому, что бездѣйствовать мы съумѣемъ и безъ руководящихъ началъ. Мы ищемъ прочныхъ основъ, съ которыми мы желали-бы сообразовать свою дѣятельность. За нею-то мы обращаемся къ антропологіи и видимъ, что она съ Катрфажемъ и множествомъ другихъ почтительно раскланивается передъ издыхающею, но кокетничающею и молодящеюся на смертномъ одрѣ метафизикою.

Мы видѣли, что этнографія, т. е. сводъ отовсюду собранныхъ фактовъ, нещадно разбиваетъ по всѣмъ пунктамъ гипотезу единой и безусловной нравственности, будто-бы необходимую для нашего нравственнаго спасенія и обновленія. Но достовѣрны-ли эти факты? вопрошаютъ насъ не только метафизики съ П. Жане, но даже и многіе почтенные антропологи, какъ, напримѣръ, Максъ Мюллеръ въ своемъ сочиненіи о происхожденіи религій. Кто собиралъ эти факты? Кто ѣздилъ по отдаленнымъ угламъ земли и наблюдалъ дикарей, примѣрами которыхъ вы безапелляціонно думаете рѣшать капитальнѣйшія задачи науки? Торгаши, помпшлявшіе только о томъ, чтобы успѣшнѣе обобратъ этихъ дикарей; мисіонеры, несшіе всякимъ краснокожимъ, чернокожимъ и желтокожимъ дикарямъ и варварамъ ученіе, выраженное непонятнымъ для ихъ слушателей языкомъ. И тѣ, и другіе, т. е. и торгоши, и мисіонеры, равно незнакомы съ научными приемами; ихъ показанія легко могутъ быть отклонены и, въ лучшемъ случаѣ, нуждаются въ строгой повѣркѣ. Къ тому-же, человекъ даже съ высоко-развитымъ нравственнымъ чувствомъ можетъ иногда, по плотской немощи, совершить очень дрянной и очень дурной поступокъ. Нравственность живетъ не въ однихъ только дѣлахъ, но и въ чувствахъ. Доказавъ, что отсталые народы совершаютъ всевозможныя злодѣяства и позорныя дѣла, вы не убѣдите насъ, что въ нихъ не живетъ та-же самая нравственность, которая одушевляетъ наилучшихъ изъ насъ. Докажите намъ со всею надлежащею достовѣрностью, съ документами въ рукахъ, что безнравственное въ нашихъ глазахъ гдѣ бы то ни было считается за нравственный законъ, совершается не изъ корыстныхъ видовъ, а изъ нравственныхъ-же побужденій.

Мы-бы прежде всего позволили себѣ спросить: да для чего

нужно подобное доказательство? Но Летурно съ чисто французскою вѣжливостью слѣштитъ удовлетворить это придиричивое требованіе своихъ противниковъ. А такъ-какъ приводимыя имъ аргументы не лишены интереса сами по себѣ, то мы и позволимъ себѣ остановитъ на нихъ вниманіе читателя.

Начнемъ съ законовъ Ману, писанныхъ, какъ извѣстно, подъ диктовку самого Брами, который о человѣческомъ родѣ имѣетъ понятіе далеко не столь лестное, какъ Максъ Мюллеръ, Катрфажъ и другіе метафизики или ученые, считающіе, будто единая и безусловная нравственность составляетъ характеристическій и неотъемлемый атрибутъ человѣческой природы. „Кара, — гласитъ 22 стихъ VII книги „Законовъ Ману“, — должна руководитъ человѣческой родъ, такъ-какъ естественно-нравственный человекъ встрѣчается очень рѣдко“. Но какъ-же распредѣляется кара между безнравственными людьми въ этомъ древнѣйшемъ кодексѣ и какъ формулируется въ немъ единое и безусловное представленіе справедливости?

„Все, что міръ заключаетъ въ себѣ, нѣкоторымъ образомъ принадлежитъ брахману“. „Если жена брахмана совершитъ блудъ, пусть король отдастъ ее на растерзаніе собакамъ“, а любовникъ ея „пустъ будетъ сожженъ на раскаленномъ желѣзномъ ложѣ“. Но если брахманъ согрѣшитъ съ чужою женою, „онъ долженъ искупить свою вину трехдневнымъ очищеніемъ“ (Кн. V, стр. 63). „За убійство судры двиджа (дважды рожденный, т. е. брахманъ) подвергается тому-же очищенію, какъ и за умышленное убійство кошки, мангусты, голубого ворона, лягушки, собаки, крокодила, совы или сороки...“ „Если судра осмѣлится дать совѣтъ двиджѣ, пусть король прикажетъ влить ему кипящее масло въ глотку и въ ухо“. Если судра сядетъ подлѣ брахмана, „пустъ король прикажетъ заклеить его раскаленнымъ клеймомъ на бедра и сошлетъ его въ изгнаніе“. Если двиджа совершитъ содомскій грѣхъ въ какомъ-бы то ни было мѣстѣ или если онъ сблудитъ съ чужою женою „на телѣгѣ, запряженной быками, то онъ долженъ искупаться въ рѣкѣ, не снимая одежды...“

Посмотримъ творца одной изъ высшихъ суевѣрно-метафизическихъ системъ, когда-либо появившихся въ человѣчествѣ, т. е. Зароастра, творца того маздеизма, которому пишетъ восторженные

панегирики Абель Овлакъ. Слѣдующія выписки изъ Вендидадъ-Саде отличаются нѣкоторою оригинальностью:

„Творецъ мировъ! Если кто-нибудь нанесетъ сторожевой собацѣ ударъ, причиняющій смерть, — какую положить кару за это злодѣяніе? — Ахура-Мазда отвѣчалъ: шестьсотъ ударовъ бича“.

„Сколько существуетъ дѣлъ, которыя, не будучи выкуплены соотвѣтственнымъ очищеніемъ и покаяніемъ, обращаютъ насъ въ преступника и *нешотанусъ*? — Ахура-Мазда отвѣчалъ:— пять“...

„Второе изъ дѣлъ, обращающихъ насъ въ злодѣевъ и *нешотанусъ*, если кто-нибудь даетъ сторожевой собацѣ слишкомъ горячую пищу или кость, способную застрять въ горлѣ“, и т. д.

„Если кто ударитъ беременную суку, — суку, несущую своихъ щенятъ или кормящую ихъ и пр., — какую кару положить за эту вину? — Ахура-Мазда отвѣчалъ:— семьсотъ ударовъ бича“.

Пояняя, почему собака должна пользоваться такимъ почетомъ и покровительствомъ маздеистской нравственности, Ахура-Мазда говоритъ: „я создалъ собаку, я далъ ей одежду и обувь... Какъ *воинъ*, она бросается на того, кого видитъ передъ собою... Она ходитъ передъ домою и за домою, какъ воинъ сторожевой... Какъ *земледѣлецъ*, она бдительна и, подобно земледѣльцу, не впадаетъ въ забытіе никогда... Какъ *воръ*, она ищетъ ночного мрака; ей любъ мракъ ночи, какъ и ворагъ. Какъ воръ, она ѣстъ пищу, которую не приготовляла сама... Она любитъ мракъ ночи, какъ хищники... Какъ *блудница*, она ласкаетъ насъ; она кусаетъ насъ, какъ блудница; она рыскаетъ по дорогамъ, какъ блудница“.

„Дома не устояли-бы на землѣ, еслибы я не создалъ собаки, охраняющей дома и стада“...

Слѣдовательно, сходство съ *воиномъ*, съ *земледѣльцемъ*, съ *воромъ* и съ *блудницею* (также еще и съ младенцемъ) должно обезпечивать за собакою права на *чуждое* отношеніе къ ней маздеиста. Посмотримъ теперь, какъ это сердобольное законодательство учитъ маздеиста относиться къ своей женѣ.

„Создатель, вопрошаетъ маздеистъ, — если женщина, мучимая лихорадкою тотчасъ послѣ родовъ, когда тѣло ея нечисто, сгарая отъ внутренняго жара, захочетъ испить воды? — Ахура-Мазда позволяетъ ей испить воды, даже прежде очищенія, въ случаѣ лихорадки; но только подъ условіемъ, чтобы вода эта не

была освящена... „А если она выпьет пригоршню освященной воды при помянутых выше условіяхъ, какую положить ей за то кару?— Ахура-Мазда отвѣчалъ:— двѣсти ударовъ бича“.

Подобными выписками очень удобно можно-бы было исписать цѣлые томы.

Можно-бы было, не забираясь далеко въ глушь вѣковъ и народовъ, показать, что въ самыхъ передовыхъ европейскихъ странахъ нравственность дробится на множество группъ и порядковъ, способныхъ вступать между собою въ самый рѣшительный антагонизмъ. Нравственность семейная, наприимѣръ, вступая въ состязаніе съ нравственностію гражданской, произвела, быть можетъ, больше воровъ и казнокрадовъ, чѣмъ самый безсовѣстный личный эгоизмъ. Нравственность патріотическая или національная, представляющая собою несомнѣнно одинъ изъ позднѣйшихъ и современнѣйшихъ возрастовъ развитія нравственности племенной, поставляетъ на каждомъ шагу современнаго мало-мальски образованнаго человѣка въ необходимость совершать такіа дѣйствія, которыми глубоко возмущается нравственность общечеловѣческая, тоже давно уже созрѣвшая въ сознаніи каждаго изъ насъ. Что же дѣлать современному моралисту или простому смертному, въ которомъ нравственное чувство или инстинкты *альтруизма*, по неудачному выраженію Огюста Кюнта, настолько живучи, что ихъ нельзя уже усыпить никакими праздными разглагольствованіями? Формулировать кодексъ единой общечеловѣческой нравственности, самой обширной изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ нравственностей и потому, можетъ быть, виѣщающей въ себѣ ихъ всѣхъ?

Остановимся нѣсколько минутъ на этомъ предположеніи.

Прежде всего насъ поражаетъ громадное количество нравственныхъ аксіомъ, которыя разсѣяны болѣе или менѣе всюду, повторяются ежечасно съ большимъ или меньшимъ умиленіемъ нравственными и безнравственными людьми, но, слишкомъ очевидно, не удерживаютъ никого отъ безнравственнаго поступка. Чичиковъ съ дѣтства долбилъ прописную мораль, виѣщающую въ себѣ очень много очевидныхъ и никѣмъ неоспариваемыхъ истинъ, вродѣ того, наприимѣръ, что ложь гнусна, что ближняго надо любить, какъ самого себя, что не слѣдуетъ присвоивать себѣ плоды чужого труда, и т. п. Это, однакожь, ни на волосъ не помѣшало

ему стать мошенникомъ, не имѣя возможности даже привести въ свое оправданіе, будто всё были такими же мошенниками вокругъ него. Мы знаемъ, наприимѣръ, что близкій его современникъ, Чацкій, „Андрея Ильича покойника сынокъ“, на нравственной лѣстницѣ стоялъ неизмѣримо выше доблестнаго Павла Ивановича, хотя окружавшіе его Фамусовы, Скалозубы, Молчалины и tutti quanti вели себя отнюдь не добропорядочнѣе Собакевичей, Плюшкиныхъ, Ноздревыхъ. Обыкновенно приводимое въ подобныхъ случаяхъ объясненіе, что Чацкій, молъ, жилъ при однихъ общественныхъ условіяхъ, развивался въ одной средѣ, а Чичиковъ при другихъ, — сильно смахиваетъ на знаменитое *quia est in eo vis purgativa* и едва-ли можетъ уже быть въ настоящее время принимаемо въ расчетъ. Все дѣло въ томъ, чтобы выяснить себѣ: съ одной стороны, — какія общественныя условія, какая среда наилучше способствуютъ тому, чтобы въ нихъ нравственныя побужденія или альтруистическія инстинкты процвѣтали въ невозможнѣйшей своей пышности и красотѣ, а съ другой — какими путями эти наиблагопріятнѣйшія условія могутъ быть осуществлены въ современной дѣйствительности? На этихъ роковыхъ вопросахъ невольно сосредоточивается все болѣе и болѣе вниманіе лучшихъ представителей современнаго человѣчества. Будучи предоставленъ самому себѣ, однимъ своимъ личнымъ, единичнымъ усиліямъ, человѣкъ постоянно склоненъ былъ заблуждаться. Вышеприведенные этнографическіе примѣры и множество другихъ, которые мы старались собрать въ нашихъ изслѣдованіяхъ о культурномъ значеніи демонизма, свидѣлствуютъ довольно убѣдительно о томъ, что самыя вопіющія злодѣянія порождаются скорѣе ложнымъ направленіемъ нравственныхъ инстинктовъ, чѣмъ совершеннымъ ихъ притупленіемъ подъ гнетомъ всеугнетающей физической нищеты. Собственно людоедскія племена никогда не продѣлываютъ такихъ жестокостей надъ съѣдаемыми рабами или врагами, какія изобрѣтаются американскими краснокожими для плѣнниковъ враждебныхъ имъ племенъ. А вѣдь краснокожіе эти давно перестали быть людоедами; ихъ возмутительныя свирѣпости нельзя отнести ни къ одному изъ грубокорыстныхъ инстинктовъ. Этого рода свирѣпости проистекаютъ нѣсомнѣнно изъ заблудившихся нравственныхъ началъ, изъ преувеличеннаго чувства солидарности своего племени, имѣющаго

необходимымъ своимъ дополненіемъ такую - же преувеличенную ненависть и презрѣніе къ чужимъ... Необходимо, слѣдовательно, найти такую общую почву, на которой единичныя стремленія къ нравственному совершенствованію могли-бы идти сомкнутымъ строемъ, взаимно пополняя и направляя другъ друга. Необходимо найти такой нравственный компасъ, который во всѣхъ дѣлахъ и трущобахъ проходимой нами среды указывалъ-бы неизмѣнно въ одну желанную сторону. Какія-бы мы ни предъявляли возвышенныя нравственныя требованія самимъ себѣ и другимъ, мы ни на волосъ не подвинемъ впередъ многосложное дѣло человѣческаго совершенствованія, покуда не научимся создавать среду, благоприятную для процвѣтанія желанныхъ доблестей.

Съ другой стороны, ни одинъ нравственный кодексъ изъ всѣхъ, имѣющихъ когда-либо осуществиться въ этомъ мірѣ, не создается для людей непонимающихъ родства, свалившихся съ неба въ совершеннолѣтнемъ возрастѣ и несвязанныхъ никакими прецедентами. Оставаясь при очень устарѣвшихъ уже приемахъ предъявленія человѣчеству нашимъ собственнымъ умомъ изобрѣтенныхъ требованій, мы всецѣло примкнемъ къ той категоріи присяжныхъ моралистовъ, про которую еще князь де-Линь говоритъ: „эти люди — нѣчто среднее между кормилицею и нянькою; часто такіе же глупые, какъ и тѣ, кого они ведутъ на помочахъ, но всегда безмѣрно скучные“. Наша нравственность останется такою-же мертворожденною, какъ и та, которая безслѣдно погребена въ прописяхъ и мирнаго праха которой мы не желали-бы тревожить.

Торопяся окончить эту главу, мы замѣтимъ, что полемизируя противъ единства нравственныхъ началъ, провозглашаемаго метафизиками, этнографы вообще и д-ръ Летурно въ частности позволяютъ намъ привести всѣ многообразнѣйшія проявленія нравственныхъ инстинктовъ въ человѣчествѣ къ совершенно иному единству, вовсе уже не метафизическому, но тѣмъ болѣе поучительному на нашъ взглядъ.

Вообразимъ себѣ нѣсколько тысячъ дикарей, вочующихъ на какомъ-нибудь островѣ среди океана... Моралисты прошлаго столѣтія нерѣдко прибѣгали съ большимъ успѣхомъ къ такой аллегорической, такъ-сказать, методѣ; но только у нихъ не было подъ рукою необходимаго запаса этнографическихкихъ фактовъ, чтобы провѣрять свои чисто-логическія построенія. Мы въ этомъ отношеніи

обставлены гораздо счастливѣе ихъ. Нельзя не пожалѣть, что Вольтеръ или Дидро не имѣли въ своемъ распоряженіи какой-нибудь „Völkerkunde“, Оскара Пешеля, или „Ethnographie“ Фридриха Мюллера... А съ тѣхъ поръ, какъ издаются такіе почтенные сборники, очень мало рождаются что-то Вольтеры и Дидро.

Но вернемся къ нашимъ дикарямъ... Островъ ихъ одаренъ благораствореніемъ воздуха; почва его плодородна, но мало родитъ питательныхъ кореньевъ и злаковъ. Таково именно большинство океаническихъ острововъ, гдѣ нѣтъ ни хлѣбовъ, ни картофеля, а водится *таро*, требующее утомительнаго за собою ухода и скудно вознаграждающее за трудъ. Бананы, кокосовые орѣхи и крахмалистые корни нѣкоторыхъ папоротниковъ, будучи пожираемы въ огромномъ количествѣ, питаютъ плохо нашихъ дикарей. А дичи нѣтъ вовсе, за исключеніемъ развѣ летучихъ мышей, которыхъ съ наслажденіемъ пожираютъ каждый разъ, когда попадутся имъ въ руки. Море малорыбно у береговъ; а дикари наши слишкомъ первобытны для того, чтобы предпринимать отдаленныя экспедиціи. Выдается счастливый день: таро хорошо уродилось; на берегу удалось поймать черепаху, собирать раковинъ... Общество жадно накинулось на нихъ и наѣлось до отвала съ тѣмъ большею торопливостью, чѣмъ больше передъ этимъ приходилось ему голодать. Никому не приходитъ въ голову сберегать что-бы то ни было про запасъ, столько же по легкомыслию, свойственному дѣтямъ и дикарямъ, сколько и потому, что никакія сбереженія не ограждены отъ хищничества враговъ или друзей: это различіе еще неясно обозначилось въ томъ природномъ состояніи, которое казалось столь привлекательнымъ Руссо, по сравненію съ утонченнымъ культурнымъ безобразіемъ, видѣннымъ имъ въ Версали... „Невѣчно насъ голубитъ счастье“; наступаетъ черный день. Жалкимъ дикарямъ приходится умирать съ голода. Но ватага удальцовъ, провѣдавъ, что по соѣдству другое, сродное же племя накопило много таро, банановъ или черепахъ, нападаетъ на него, отнимаетъ запасы, да встати забираетъ въ плѣнъ и самихъ владѣльцевъ. Если побѣдители, уступая мученіямъ голода, все это немедленно пожираютъ сами на мѣстѣ (а это иногда случается), то едва-ли можно сомнѣваться, что ихъ-же соплеменники признаютъ ихъ крайне безнравственными людьми. Другое дѣло, если они, своевременно вспомнивъ о своихъ,

приносятъ имъ хоть часть захваченной ими добычи и тѣмъ спасаютъ цѣлое племя отъ голодной смерти. Бананы, черепахи и плѣнники дружно пожираются благодарными состечественниками. Въ честь удачливыхъ грабителей слагаются хвалебныя пѣсни; они рѣшительно становятся героями дня.

Примѣръ этотъ до того элементаренъ (хотя онъ этнографически вѣренъ во всѣхъ своихъ чертахъ), что мы легко могли-бы, вмѣсто австраійскихъ дикарей, вообразить какихъ нибудь хищныхъ животныхъ, живущихъ обществомъ. При всей своей элементарности, онъ, однакоже, позволяетъ намъ усмотрѣть, что и на низменнѣйшихъ ступеняхъ общежитія существуютъ элементы для нѣкоторой нравственной градаціи особей. Одни дикари болѣе склонны приносить добычу въ станъ своихъ; другіе готовы-бы были все сами пожрать на мѣстѣ, а излишекъ спрятать или даже бросить, даже не вспомнивъ *о своихъ*, еслибы изъ поколѣнія въ поколѣніе они не были приучены къ сознанію, что это безнравственно и что племя такъ или иначе отплатитъ имъ за нарушеніе установленнаго обычая. Одни сообразуются съ обычаемъ изъ страха матеріальныхъ каръ, другіе просто потому, что альтруистическіе инстинкты, т. е. жажда одобренія въ разной степени (т. е. въ разныхъ отношеніяхъ къ инстинктамъ самосохраненія и размноженія) несомнѣнно свойственны не только низшимъ человѣческимъ племенамъ, но даже и всѣмъ стаднымъ животнымъ. Этотъ-же самый элементарный примѣръ позволяетъ намъ усмотрѣть, что одна добродѣтельность можетъ удобно вступать въ антагонизмъ съ другой уже на самыхъ первичныхъ ступеняхъ нравственнаго развитія. Бень, какъ мы видѣли, считаетъ предусмотрительность (*prudence*) первую изъ трехъ сестеръ, порождающихъ всѣ нравственныя или доблестныя наши дѣянія. А между тѣмъ ясно, что отсутствіе предусмотрительности въ значительной степени способствуетъ дикарю дѣлиться добычею съ цѣлымъ племенемъ. Слѣдуетъ-ли изъ этого, что предусмотрительность вовсе должна быть выброшена изъ сонма трехъ сестеръ? Отнюдь нѣтъ. Изъ этого слѣдуетъ только, что искать такихъ мѣрилъ нравственности, которыя избавляли-бы насъ отъ необходимости сообразовать наши дѣйствія съ условіями среды—все равно, что искать жизненный эликсиръ или философскій камень.

Л. Мечниковъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

ПРІЯТНЫЕ РАЗГОВОРЫ.

Князь вышелъ изъ будуара княгини очень взволнованный. Сердце его было переполнено благодарностью, восторженнымъ умиленіемъ и множествомъ другихъ хорошихъ чувствъ.

Князь былъ всегда высокаго мнѣнія о нравственныхъ качествахъ своей супруги, но подобнаго великодушія, какъ то, которое она проявила въ данномъ случаѣ, даже и онъ не ожидалъ отъ нея. Надо было только слышать, какииъ глубоко-прочувствованныиъ голосомъ она сказала:

— Уступимъ тетушкино наслѣдство бѣдной Мими, Nicolas! Наши дѣти и безъ того будутъ богаты, а у нея ничего нѣтъ. Мнѣ часто грустно дѣлается при мысли, какъ несчастна она будетъ, если намъ не удастся ее пристроить. Вѣдь подумай только, мы можемъ умереть, и тогда бѣдная дѣвочка хоть въ гувернантки яди!.. Тетушкино наслѣдство досталось намъ такъ неожиданно, *c'est comme un avertissement du ciel!*... Повѣрь, мой другъ, *cette bonne action nous sera comptée là haut!* прибавила княгиня, поднимая бѣлый пальчикъ, украшенный огромной бирюзой, въ разрисованному потолку.

— *Vous êtes un ange, Tota!* вскричалъ растроганный супругъ, цѣлуя у нея руки.—Я тоже часто задумываюсь о судьбѣ несчастной дѣвочки; безъ приданаго ей трудно будетъ жениха найти... а положеніе старой дѣвы въ нашемъ обществѣ такъ ужасно, *c'est même ridicule!*... Надо скорѣе устроить это дѣло... Завѣщаніе у Ивана Ивановича; я пошлю за нимъ, pour lui signifier mes ordres.

И вернувшись въ кабинетъ, князь послалъ за своимъ повѣреннымъ. Тотъ явился немедленно и, со свойственною ему грубостью и рѣзкостью, объявилъ, что завѣщаніе недавно умершей графини Долговязово-Мокриной утверждено быть не можетъ.

Извѣстіе это не столько опечалило, сколько раздражило князя. Онъ никогда не вѣрилъ съ перваго раза неприятнымъ извѣстіямъ; у него была благоразумная привычка отвертываться отъ горькихъ истинъ и питаться надеждами до послѣдней возможности.

— Почему вы такъ думаете? повернулся онъ къ Ивану Ивановичу быстрымъ нетерпѣливымъ движеніемъ.

— Да потому, ваше с-во, что въ завѣщаніи этою пропастъ неправильностей и противорѣчій. Покойная графиня написала его, ни съ кѣмъ не посовѣтовавшись; она упустила изъ вида весьма важныя формальности...

— Только то! Ну, это еще не бѣда, *mon cher* Иванъ Ивановичъ. Не дальше, какъ вчера, на вечерѣ у губернатора, зашла рѣчь объ этихъ формальностяхъ, крючкахъ, какъ называютъ ихъ нашъ новый предсѣдатель, господинъ Липертъ... *Un chagrinant jeune homme*... Вы его знаете?

— Какъ его не знать, ваше с-во!

— Въ такомъ случаѣ, вамъ должно быть извѣстно, что онъ такой-же врагъ всякой формальности, какъ и я, какъ всѣ порядочные и развитые люди, однимъ словомъ. Крюкотворство отжило свой вѣкъ, *mon cher*; теперь на эти дѣла смотреть много проще, логичнѣе и справедливѣе; теперь берутъ въ соображеніе суть дѣла и только. Когда мы представимъ это къ утвержденію, продолжалъ князь, дотрогиваясь пальцемъ до сѣрой папки, на полненной разнокалиберными бумагами, которую Иванъ Ивановичъ положилъ на столъ, — у насъ не спросятъ, на какой строкѣ стоитъ такое-то слово или такое, у насъ только постараются узнать: выражено ли тутъ желаніе покойницы оставить мнѣ Подхалюзину и Аринкино, да или нѣтъ? Вотъ въ чемъ вопросъ!

— Извините, ваше с-во, этого еще мало...

— Не крюкотворничайте, мой другъ ради Бога, не крюкотворничайте! Предоставьте это старымъ подъячимъ, канцелярскимъ крысамъ, о которыхъ въ скоромъ времени даже самое воспоминаніе должно исчезнуть изъ памяти народа. У насъ теперь новыя порядки, новыя суды и дѣатели. Съ нѣкоторыми изъ этихъ

послѣднихъ меня познакомили еще въ Петербургѣ, и увѣряю васъ, que ce sont de fortes têtes et de beaux caractères, къ тому же и эрудиція пропасть. Совѣтую вамъ повнимательнѣе въ нимъ присмотрѣться, мой милѣйшій, вамъ это даже необходимо при вашей професіи... Vous avez de la persévérance de la probité, ce sont des qualités sérieuses, j'en conviens, mais votre esprit est si mal tourné! Вы вѣчно видите во всемъ одно только дурное, навлекаете всевозможныя препятствія и неудачи тамъ, гдѣ ничего подобнаго быть не можетъ. Такъ нельзя жить, мой милый! Vous avez l'esprit mal tourné!

И фраза эта такъ ему понравилась, что онъ разъ десять повторялъ ее въ теченіи этого вечера, весело посмѣиваясь при этомъ.

Однако, шутки шутками, а дѣло дѣломъ. На слѣдующее утро первую мысль князя при пробужденіи было воспоминаніе о тетешкиномъ завѣщаніи и о томъ, какъ хорошо было-бы предоставить это состояніе бѣдной сироткѣ, воспитывавшейся у нихъ въ домѣ. Мими была дочь его брата, убитаго въ Ташкентѣ лѣтъ шесть тому назадъ. Одновременно съ извѣстіемъ объ его смерти, князь Николай получилъ письмо, въ которомъ умирающій просилъ позаботиться объ его ребенкѣ, прибавляя при этомъ, что Маня остается безъ всякихъ средствъ, такъ-какъ остатковъ его разстроеннаго состоянія едва хватитъ на уплату долговъ.

Дѣвочку тотчасъ-же розыскали и взяли къ себѣ. Княгиня нѣсколько дней сряду хлопотала о томъ, чтобы прилично одѣть ее и найти ей хорошую гувернантку. Ихъ дѣти были еще такъ малы, что приходилось заниматься съ племянницей отдѣльно, но князь и княгиня Овсянны ни на минуту не задумались передъ подобными издержками и хлопотами; все было сдѣлано прилично и какъ слѣдуетъ. Не прошло, и года, какъ Мими превратилась въ настоящую барышню-княжну, и никто не узналъ-бы въ ней рѣзвой шалуньи, лавившей вмѣстѣ съ уличными мальчишками по заборахъ того уѣзднаго города, гдѣ оставилъ се отецъ передъ своимъ отъѣздомъ на войну. Кажется, и сама Мими совершенно забыла это время и прежнюю обстановку, — такъ серьезно прониклась она своей новой ролью въ комедіи жизни! Ей теперь было четырнадцать лѣтъ, и, любуясь ея изящными манерами, природнымъ вкусомъ ко всему красивому и изящному, восхищаясь ея

инстинктивнымъ отвращеніемъ ко всему грязному, низкому и грубому, нельзя было не задуматься надъ вопросомъ: что будетъ съ Мими, если ей не удастся выйти замужъ за богатаго и во всѣхъ отношеніяхъ порядочнаго человѣка?

Князь правду сказалъ своей женѣ: судьба племянницы забрала его больше, чѣмъ можно было-бы предполагать, и еслибы только можно было обезпечить дѣвочку, не отнимая ничего у своихъ собственныхъ дѣтей и не подвергая ни себя, ни семейство никакимъ лишеніямъ и урѣзываніямъ въ расходахъ, Мими была-бы давно обезпечена. Князь и княгиня были такіе добрые люди!

Какъ встали свалилось имъ съ неба наслѣдство старой двоюродной тетки, — Господи, какъ встали! Благодаря этому наслѣдству, можно не только устроить une petite fortune à Mimi, но также осуществить мечту княгини — нанять постоянную квартиру въ Парижѣ, un petit hôtel entre cour et jardin, неподалеку отъ Champs Élysées, и прожить тамъ безвыѣздно со всѣмъ семействомъ года три-четыре... Даже князю нѣтъ никакой надобности ѣздить въ Россію для наблюденій надъ имѣніями, у него есть на это Иванъ Ивановичъ...

Воспоминаніе объ Иванѣ Ивановичѣ мигомъ уничтожило веселое настроеніе князя. Зловѣщія сомнѣнія, выраженныя наканунѣ г. Фокинымъ на-счетъ духовнаго завѣщанія графини Долговязово-Мокриной, точно стая черныхъ птицъ, налетѣли на розовыя мечты, среди которыхъ витало воображеніе его с-ва, и разогнали ихъ во всѣ стороны. Князю сдѣлалось такъ тоскливо, что онъ цѣлымъ часомъ раньше обыкновеннаго позвонилъ своего камердинера, поспѣшно одѣлся и принялся усердно за работу.

Множество дѣлъ передѣлалъ онъ за это утро: привелъ въ порядокъ счета по домашнему хозяйству за три послѣдніе мѣсяца, сдѣлалъ смѣту издержекъ для бала, который имъ было обязательно здѣсь дать передъ отъѣздомъ. Цѣпляясь одна за другую, мысли о балѣ незамѣтно привели его къ мыслямъ о здѣшнемъ обществѣ. Передъ глазами замелькали хорошенькія, нарядныя женщины, сановитый губернаторъ съ толстымъ предводителемъ дворянства и прочія личности, изъ которыхъ долженъ былъ состоять этотъ балъ. Между ними тотчасъ-же выдвинулась изящная фигура новаго предсѣдателя, г. Липерта, съ молодежью,

гладко выбритымъ лицомъ, острымъ взглядомъ и тонкой усмѣшкой на длинныхъ, умныхъ губахъ.

Къ этому образу начало такъ неотвязно припутываться тетужкино завѣщаніе, что князь порѣшилъ кончить все разомъ, en avoir le coeur net, приказалъ заложить карету и поѣхалъ съ визитами.

Онъ вернулся домой въ отличномъ расположеніи духа и тотчасъ же послалъ за Иваномъ Ивановичемъ; едва только этотъ послѣдній переступилъ порогъ кабинета, какъ онъ объявилъ ему, что все утро специально посвятилъ на толки и совѣщанія по дѣлу о наслѣдствѣ. Все улаживается какъ нельзя лучше.

— Я видѣлся avec tous ces messieurs изъ окружнаго суда; всѣ совѣтуютъ прямо обратиться къ г. Липерту. Онъ одинъ можетъ распутать путаницу и недоразумѣнія, которыя вамъ угодно видѣть въ этомъ дѣлѣ. И, наконецъ, отъ него прямо зависитъ все это отстранить и немедленно ввести меня во владѣніе... Вы знакомы съ г. Липертомъ?

— Знакомъ, ваше с-во. У него такая должность, что поневолѣ надо съ нимъ знаться...

— Отлично! Всѣ говорятъ, что милѣе, обязательнѣе господина трудно найти, а главное, онъ слыветъ за весьма дѣльнаго и свѣдущаго человѣка...

— Не знаю, ваше с-во, я слышалъ напротивъ...

— Да, да, всѣ объ немъ весьма лестнаго мнѣнія. Онъ и въ Петербургѣ на отличномъ счету. Мнѣ помнится, что я встрѣчалъ какую-то мадамъ Липертъ на интимныхъ вечерахъ у княгини Варбе. Это, должно быть, его матушка, очень почтенная старушка и parfaitement distinguée; она рассказывала, что сынъ ея служить въ провинціи и qu'il est en train de faire une brillante carrière. Это правда... Мсье Липертъ намъ будетъ очень полезенъ, mon cher Иванъ Ивановичъ, вотъ увидите! Онъ человѣкъ образованный, du meilleur monde и законы долженъ знать отлично... Ужь это непременно, потому что такую должность нельзя занимать, не зная законовъ. Такъ-ли я говорю, любезнѣйшій? Вы, кажется, со мной несогласны, а между тѣмъ с'est clair, comme bon jour.

— Оно должно было-бы быть такъ, ваше с-во, но, къ несчастью...

— Ахъ, да! Я и забылъ вамъ сказать: вѣдь я заѣзжалъ къ нему сегодня утромъ, не засталъ дома, и вотъ...

Онъ указалъ движеніемъ головы на перегнутую визитную карточку, бѣлѣющуюся на подзеркальничѣ.

— Не прошло и часу, какъ г. предсѣдатель былъ здѣсь и оставилъ свою карточку... *Cela vous prouve un homme qui sait vivre*, и я очень радъ, что первый сдѣлалъ ему визитъ. Теперь *votre chemin est tout tracé, mon cher*; вамъ стоитъ только къ нему явиться и передать мою покорнѣйшую просьбу заняться нашимъ дѣломъ. Сдѣлайте это, пожалуйста, скорѣе, мой милнй; *toute cette histoire avec l'héritage de ma tante commence à me chipoter...* Не думайте, чтобъ я придавалъ большое значеніе вашему зловѣщему карканью; нѣтъ, но мнѣ все-таки очень хотѣлось-бы знать, что и другіе вамъ скажутъ то-же самое, что и я, *que vous avez l'esprit mal tourné, mon cher*, прибавилъ князь съ добродушнымъ смѣхомъ.

Иванъ Ивановичъ забралъ сърую папку съ бумагами, съ которою онъ въ послѣднее время не разлучался, постоянно перетаскивая ее изъ дома князя на свою квартиру и обратно, и немедленно отправился исполнять порученіе своего довѣрителя.

Господинъ Липертъ принималъ его отлично, ни разу не прерывалъ его рѣчи и все время, пока онъ говорилъ, смотрѣлъ на него съ такимъ сосредоточеннымъ вниманіемъ, что человѣку, болѣе легковѣрному и менѣе опытному. чѣмъ Иванъ Ивановичъ, изъ одного этого взгляда можно было-бы, пожалуй, заключить, что г-нъ предсѣдатель вникаетъ въ смыслъ каждаго сказаннаго ему слова. А когда управляющій князя кончилъ:

— Оставьте это, пожалуйста, у меня, произнесъ г. Липертъ, постукивая красивой рукой, бѣлой и выхоленной, съ прелестно отполированными ногтями, по сѣрой папкѣ, изъ которой Иванъ Ивановичъ по-временамъ вынималъ бумаги, служившія подтвержденіемъ его словъ.

— Вы мнѣ отлично объяснили суть вашего дѣла, но я имѣю привычку всегда *самъ* просматривать письменные документы... Передайте, пожалуйста, мое глубочайшее уваженіе князю и скажите ему, что отвѣтъ я буду имѣть честь доставить ему лично дня черезъ два, три, не позже... и даже, можетъ быть, раньше,

если успѣю, присовокупилъ онъ, съ подобающей его сану важностью, внушительно напирая на слово *самъ*.

Господинъ Липертъ не даромъ слылъ порядочнымъ человѣкомъ и акуратнымъ дѣльцомъ; не прошло и трехъ дней, какъ онъ уже сидѣлъ въ кабинетѣ его с - ва, en petite tenue, въ длинномъ сюртукѣ моднѣйшаго покроя, ganté de frais и въ ослѣпительномъ бѣльѣ. Такой онъ выглядѣлъ съ ногъ до головы красивый и изящный, такимъ столичнымъ шикомъ вѣяло отъ каждаго его слова и движенія, что князю трудно было-бы не признать въ немъ человѣка одной съ нимъ породы, одного общества, вкусовъ и воспитанія. Бесѣда между ними завязалась самая пріятная и оживленная; о дѣлахъ ни тотъ, ни другой до прихода Ивана Ивановича не заговаривалъ. Князь занималъ своего гостя незатѣйливыми и даже подчасъ наивными разсказами, почерпнутыми изъ петербургской жизни, съ которою оба они были такъ коротко знакомы. Разсказы эти господинъ Липертъ выслушивалъ съ такимъ-же вниманіемъ, съ какимъ тонкій цѣнитель ловить каждый звукъ гениальнаго произведенія, исполняемаго мастерскимъ оркестромъ, или цѣніе какой-нибудь дивы. Голова его наклонялась слегка на бокъ, на тонкихъ губахъ блуждала улыбка, въ глазахъ искрилось самое лестное для разсказчика удовольствіе.

Въ сосѣдней комнатѣ раздались знакомые шаги.

Князь прервалъ свое повѣствованіе на полусловѣ.

— Вотъ Иванъ Ивановичъ, проговорилъ онъ, повертывая свое тѣло къ двери, — je vous racontrai le reste d'histoire plus tard, а теперь, вы знаете пословицу: дѣлу время, а бездѣлью часъ... Такъ, кажется, говорится?

— А qui le dites-vous, mon prince! улыбнулся представитель Феиды, и тотчасъ-же лицо его приняло озабоченное выраженіе и подернулось важностью.

Онъ легкимъ вѣвкомъ головы отвѣтилъ на поклонъ Ивана Ивановича, а затѣмъ, помолчавъ немного, снова обратился къ князю и произнесъ такимъ дѣловымъ тономъ, какимъ еще никогда не говорилъ при немъ:

— Я съ вашимъ дѣломъ коротко ознакомился, ваше с-во. Дѣло это сдѣлалось моимъ дѣломъ, и я считаю священнымъ долгомъ вамъ заявить, что ваше требованіе вполне законно и под-

лежить удовлетворенію въ самомъ непродолжительномъ времени...
Господинъ...

— Фокинъ, поспѣшилъ подсказать князь.

— Pardon! Господинъ Фокинъ нашелъ тутъ какія то неправильности, какіе-то vices de forme, отчеканивалъ молодой сановникъ съ неумолимою рѣзкостью свои слова;—но позвольте вамъ замѣтить, что эти vices de forme, или, проще сказать, *крючки*, суть именно то великое зло въ нашей администраціи, противъ котораго мы боремся и будемъ еще долго, долго бороться... Что прикажете дѣлать, *le mal ne date pas d'hier, mon prince!* Вы представить себѣ не можете, какъ въѣлась эта зараза въ плоть и кровь нашихъ дѣльцовъ!..

Онъ откинулся довольно развязно на спинку кресла и бросилъ косою взглядъ по направленію Ивана Ивановича.

— Надо подвизаться съ ними такъ, какъ я подвизаюсь, чтобъ получить объ этомъ вѣрное понятіе... Да, вотъ, на примѣръ, въ вашемъ дѣлѣ...

И вдругъ, точно спохватившись, г-нъ Липертъ перемѣнилъ тонъ и позу и проговорилъ, почтительно наклоняясь въ сторону князя:

— *Je n'abuse pas de votre temps, mon prince!*

— *Mais du tout, du tout...* Напротивъ того, вы меня много обяжете... Мнѣ и самому очень хотѣлось-бы знать, въ чемъ именно заключаются неправильности, *les vices de forme*, которыя Иванъ Ивановичъ нашелъ въ завѣщаніи моей покойной тетки. Я всегда зналъ графиню за женщину весьма обстоятельную, разсудительную...

Г-нъ Липертъ довольно рѣзко его прервалъ:

— Извините меня, ваше с - во, проговорилъ онъ, сдвигая брови и сосредоточенно поджимая губы въ промежуткахъ между каждой фразой.—Извините меня, но я позволю себѣ вамъ замѣтить, что вы несправедливы къ вашей покойной родственницѣ. Графиня была женщина необыкновенно свѣтлаго и твердаго ума. Я не имѣлъ счастья ее знать лично, но достаточно прочесть эту бумагу, чтобъ проникнуться глубочайшимъ уваженіемъ къ благородству ея мыслей, возвышенности ума и характера. Какъ она знала свѣтъ и людей, эта женщина! Она съумѣла предвидѣть, какое обширное поле отводится обыкновенно въ дѣлахъ подоб-

наго рода интригамъ, алчности и корысти, она съумѣла написать такое завѣщаніе, къ которому даже господамъ крючкотворцамъ придратъся трудно! Просто невозможно повѣрить, чтобъ никто не помогъ ей въ этомъ дѣлѣ... Припомните, князь, она, вѣроятно, совѣтовалась съ кѣмъ-нибудь? Ей указали, какимъ образомъ пишутся подобныя бумаги?

— Увѣряю васъ, что тетюшка ни съ кѣмъ не совѣтовалась, произнесъ расстроганнымъ голосомъ князь, — я это знаю навѣрно... Сколько разъ она повторяла при мнѣ: *je rédige un testament, dont personne au monde n'a idée!*.. И я помню, что разъ она прибавила къ этому: *quand je ne serai plus, vous saurez combien je vous ai aimé, mon cher Nic!*..

Г. Липертъ наклонилъ голову, и губы его сжались еще крѣпче, а во взглядѣ, точно въ зеркалѣ, отразилось то выраженіе вроткой грусти, которымъ на мигугу омрачилось добродушное лицо князя.

— Я замѣчу вашему п-ву, началъ-было Иванъ Ивановичъ, — что неправильности завѣщанія заключаются не въ одной только формѣ его, а также...

Но ему не дали договорить.

— Въ чемъ именно заключаются эти неправильности, мы это сейчасъ рассмотримъ, господинъ, господинъ...

— Фокинъ, снова обязательно подсказалъ князь.

— Г. Фокинъ, повторилъ сановникъ, придвигая къ себѣ сѣрную папку и раскрывая ее. — *Avec votre permission, mon prince?* Князь отошелъ къ окну. *Je vous en prie, monsieur.*

— Ну-съ, я начинаю: „Во имя Отца и Сына и Святого Духа...“ *la formule d'usage, passons...* „Имущество мое, состоящее изъ имѣній Подхалузино и Аринкино... домъ на Моросейкѣ... капиталъ“ такими-то и такими-то билетами... *passons, passons*, бормоталъ сквозь зубы г. Липертъ, быстро перевертывая страницы довольно „объемистой тетради, исписанной четкимъ, писарскимъ почеркомъ.“

— Чтеніе этого перечня только напрасно насъ утомить. Въ чемъ именно заключалось состояніе покойной графини, это безразлично; суду одно только нужно знать: кому именно она желала предоставить это состояніе послѣ своей смерти? Эго во-пер-

выхъ. А во вторыхъ, имѣла-ли она сама право распоряжаться этимъ имуществомъ, какъ своимъ собственнымъ? распространился г: предсѣдатель все тѣмъ-же развязнымъ и привычнымъ къ ораторскимъ приемамъ тономъ.—Понятно, что только въ послѣднемъ случаѣ завѣщаніе можетъ быть признано правильнымъ и подлежать законному удовлетворенію, *sauf enfin...*

Онъ обратился въ сторону князя и продолжалъ свою рѣчь по-французски, конфиденціально понижая голосъ и съ шутливымъ оттѣнкомъ.

— Представьте себѣ, *mon prince*, что мнѣ вздумалось-бы завѣщать à un *quidam quelconque* зимній дворецъ! Понятно, что, какими-бы правильными формами ни было обставлено мое завѣщаніе, государю императору опасаться нечего, дворецъ отъ него не отойдетъ въ пользу моихъ наслѣдниковъ, *n'est ce pas, mon prince?* Хотя-бы актъ былъ скрѣпленъ цѣлой сотней *notariусовъ...*

— *Charmant, charmant!* повторилъ съ веселымъ смѣхомъ князь.—*Vous êtes unique, mon cher, monsieur Lipert, unique!* Зимній дворецъ... завѣщать зимній дворецъ! *Notariальнымъ актомъ! Charmant!*

Но г. предсѣдатель снова скорчилъ дѣловую мину и, обращаясь къ Ивану Ивановичу, продолжалъ уже прежнимъ серьезнымъ тономъ:

— Намъ важно знать волю покойной, дабы способствовать тому, чтобъ она была исполнена въ точности, вотъ наша прямая обязанность и вотъ зачѣмъ мы призваны зорко и неуклонно слѣдить!.. Такъ-ли я говорю, ваше с-во?

И снова заручившись одобрительнымъ кивкомъ князя, г. Липертъ продолжалъ чтеніе завѣщанія.

— „Имѣніе мое Подхалюзино, купленное мною у родной моей матери, княгини Бездольно-Ограниченной, я завѣщаю сыну моей двоюродной сестры, князю Николаю Овсяному...“ *Enfin nous y sommes!* Князю Николаю Овсяному, т. е. вамъ, ваше с-во, такъ-какъ, сколько мнѣ извѣстно, другого князя Николая Овсянаго нѣтъ въ вашемъ родѣ... Кажется, ясно? Такъ ясно, что яснѣе быть не можетъ! Сказано *en toutes lettres*: „завѣщаю князю Николаю...“ Что-же вы тутъ находите неправильнаго, г. Фокинъ? обратился онъ съ торжествующей усмѣшкой къ Ивану Ивановичу.

— Никто противъ этого не спорить. Я только позволю себѣ обратить вниманіе вашего п-ва на то обстоятельство, что родовое имѣніе, пріобрѣтенное у родной матери, не выходитъ изъ рода и что располагать имъ, какъ благопріобрѣтеннымъ имуществомъ, графиня не имѣла права. Законъ прямо гласить...

Г. председатель сердито на него оглянулся.

— Да-а-а! Вы вотъ что тутъ усматриваете!.. Гмъ!.. Законъ этотъ мнѣ извѣстенъ, конечно, но я полагаю, что примѣнять его въ данномъ случаѣ... гмъ... довольно рискованно... и что во всякомъ случаѣ... Впрочемъ, надо объ этомъ подумать, надо подумать.

— Извините, ваше п-во, другого закона положительно нельзя примѣнить въ данномъ случаѣ. Тутъ и думать нечего, потрудитесь только перечитать этотъ параграфъ.

Пока сановникъ, сурово нахмутивъ брови, пробѣгалъ указанное ему мѣсто въ завѣщаніи, князь отворилъ окно, сѣлъ на марморный подоконникъ и началъ смотрѣть въ садъ, гдѣ играли его дѣти, подъ наблюденіемъ старой француженки.

Здоровые, откормленные бутузики, въ вышитыхъ бѣлыхъ платьицахъ и бархатныхъ курточкахъ, бѣленьіе и розовые, какъ цвѣтъ яблонь и грушъ, которымъ были обсыпаны деревья, наполняющія садикъ, прыгали, бѣгали и валялись на пескѣ, оглашая воздухъ такими пронзительными возгласами и веселымъ смѣхомъ, что за этимъ шумомъ ничего не было слышно: ни чирканья птичекъ, ни стука колесъ проѣзжавшихъ по улицѣ экипажей, ни крикливой воркотни старой няни... А ужъ про дѣловой разговоръ, завязавшійся между г. председателемъ и управляющимъ князя, и говорить нечего! Его сіятельство ни слова не могъ слышать изъ этого разговора съ той минуты, какъ онъ растворилъ окно въ садъ.

— Я съ вами согласенъ, г. Фокинъ, началъ председатель, окончивъ чтеніе указанного ему параграфа, — но только отчасти... Замѣьте, только отчасти!.. Этотъ пунктъ можетъ показаться съ перваго раза спорнымъ, хотя въ дѣйствительности и если взглянуть съ другой точки зрѣнія... Да вотъ я вамъ скажу... недавнихъ произошелъ споръ въ судѣ, *roug un cas parfaitement analogue à celui-ci*... Двое изъ членовъ выразили мнѣніе, диаметрально-противоположное моему мнѣнію... Понимаете-ли, діаме-

трально-противоположное? Я на это прямо объявилъ: господа, мнѣ очень жаль, но я вамъ долженъ сказать, что въ подобныхъ случаяхъ всегда руководюсь моимъ внутреннимъ убѣжденіемъ и прии́млю тотъ законъ, который, по совѣсти, нахожу справедливымъ прии́мнить. Et voilà!..

Онъ вынулъ часы.

— Однако, скоро четыре, преніе увлекло насъ далеко. Il ne faut pas non plus abuser de la patience du prince... Revenons donc à nos moutons et passons plus loin. „Село Аринкино со всеми пустошами, угодьями и господской усадьбой...“

Напрасно г. предсѣдатель заботился о томъ, чтобъ не утомлять князя. Давно ужъ его сіятельство пересталъ прислушиваться къ его разговору съ Иваномъ Ивановичемъ, давно ужъ онъ нашелъ себѣ развлеченіе много интереснѣе скучныхъ толковъ о селѣ Подхалюзинѣ и Аринкинѣ. По дорожкѣ вдоль рѣшетки, обсаженной цвѣтущими акаціями, важно прохаживалась взадъ и впередъ высокая и стройная дѣвочка съ красивымъ зонтикомъ, которымъ она тщательно укрывалась отъ солнечныхъ лучей, мѣстами пронизывавшихся между нѣжной листвою. Дѣвочка была пренарядная, въ свѣтломъ весеннемъ костюмѣ; ножки ея были обуты въ свѣтлыя ботинки, ручки обтянуты новыми шведскими перчатками, очень длинными, почти до самаго локтя. Она не принимала участія въ играхъ дѣтей, рѣзвившихся у огромной кучи песку, и брезгливо отгоняла ихъ прочь, когда они подбѣгали къ ней со своими грязными ручонками и вспотѣвшими личиками. Да и понятно: Мими должна ѣхать кататься съ маман; она сошла въ садикѣ въ ожиданіи коляски, которую приказали закладывать, и должна очень заботиться о томъ, чтобъ какъ-нибудь не измять, не испачкать своего костюма... Что за удовольствіе d'avoir une petite souillon dans sa voiture? Маман этого терпѣть не можетъ. Мими такъ хорошо это понимаетъ и такъ осторожно прохаживается по дорожкѣ, что ни одна песчинка въ ней не пристанетъ.

Князь залюбовался на племянницу. Тонкая и нервная, какъ арабская лошадь, съ большими огненными глазами, эта дѣвочка типомъ красоты не уродилась въ родню своего отца. Ничего въ ней не напоминало князей Овсяныхъ. Маленькая головка съ правильными, точно выточенными чертами лица, длинная гибкая

шейка, сухощавость тѣла, крошечныя руки и ноги, особенная манера улыбаться, гордо закидывая головку назадъ, и привычка глядѣть людямъ прямо въ глаза, съ преобладающимъ выраженіемъ пытливаго любопытства во взглядѣ,—все это было у нея материнское.

О чемъ думала дочка покойнаго князя Петра Овсянаго, прохаживаясь по саду въ ожиданіи прогулки съ теткой? Догадывается-ли она, что въ настоящую минуту рѣшается судьба всей ея жизни?

Выраженіе ея личика очень серьезно; всѣ движенія ея рассчитаны; она манерничаетъ и старается подражать кому-то изъ большихъ—княгинѣ Овсяной или дочери губернатора, или, можетъ быть, хорошенькой баронесѣ, за которой весь городъ ухаживаетъ... Съ нѣкоторыхъ поръ Мими очень внимательно всматривается въ эту даму; ей въ особенности нравится, какъ она наклоняетъ головку на бокъ, когда съ нею разговариваютъ такіе кавалеры, какъ князь, напимѣръ. Мими пробовала передъ зеркаломъ наклонить такъ голову, выходитъ вовсе некрасиво; но это, можетъ быть, потому, что она еще не умѣетъ?..

Догадывается-ли Мими, что въ настоящую минуту безповоротно рѣшается вопросъ о томъ, какая именно жизнь ожидаетъ ее:—блестящая и роскошная, съ возвышенными и утонченными наслажденіями, съ интересными и благородными страданіями, или темная, грязненная, полная такихъ заботъ и печалей, о которыхъ даже совѣстно упоминать въ порядочномъ обществѣ? Догадывается-ли она, какой существенный интересъ для нея заключается въ тѣхъ бумагахъ, которыя пересматриваетъ въ настоящую минуту г. предсѣдатель?

„Село Аринкино, пріобрѣтенное моимъ супругомъ у генерала Борочкина и предоставленное въ мое пожизненное пользованіе, я тоже завѣщаю племяннику моему, князю Николаю Овсяному...“

— Ужъ противъ этого, вѣжется, спорить нельзя! Имѣніе пріобрѣтено у посторонняго лица... Семейство Борочкиныхъ не состоитъ въ родствѣ съ фамиліей графовъ Долгоязо-Мокриныхъ... Графъ покупаетъ село Аринкино и даритъ его женѣ...

— Въ пожизненное пользованіе, ваше п-ство, прервалъ управляющій гираду предсѣдателя.

— Счать!

Г-нъ Липертъ вскинулъ негодующій взглядъ на своего не-

пріятнаго собесѣдника, и они нѣсколько мгновеній молча смотрѣли другъ на друга. Въ глазахъ г. предсѣдателя выразалось такое забавное недоумѣніе и досада, что г. Фокину стоило немалого труда удержаться отъ смѣха.

— Да-а-а! Вотъ вы къ чему цѣпляетесь; понимаю теперь! протанулъ г. Липертъ, сурово сдвигая брови и довольно тревожно оглядываясь въ сторону князя. Но убѣдившись, что его сіятельство пересталъ слѣдить за его препирательствами съ Иваномъ Ивановичемъ, онъ и самъ очень скоро успокоился и довольно равнодушно принялся перечитывать параграфъ объ Аринкинѣ.

Князя всегда утомляли дѣловые разговоры, а теперь весенній душистый воздухъ, веселый смѣхъ дѣтей, граціозный образъ красивой дѣвочки, мелькавшей каждую минуту между деревьями, — все это унесло его далеко, далеко отъ заботъ о тетушкиномъ завѣщаніи. Князь смотрѣлъ на Мими, и воспоминанія давно прошедшаго съ такою силою нахлынули на его душу, что вытѣснили изъ нея на-время всякое представленіе о настоящемъ.

Эта дѣвочка такъ живо напоминала ему женщину, которую онъ любилъ дольше и страстнѣе всѣхъ другихъ женщинъ въ жизни! Ее звали Терезитой. Танцовщица, родомъ изъ Венгріи, а по воспитанію итальянка (она всю молодость провела въ Неаполѣ), Терезита была прелестна. Всѣ въ нее влюблялись и всѣ завидовали князю Николаю Овсяному. Счастливые люди бываютъ иногда самонадѣянны до глупости. Онъ самъ познакомилъ своего меньшого брата съ Терезитой. Не прошло и мѣсяца, какъ братья сдѣлались врагами, и дуэль между ними висѣла на волоскѣ.

Первый опомнился Николай. Онъ потребовалъ отъ своей возлюбленной, чтобъ она ему прямо сказала, кого она любитъ: его или князя Петра?

Она отвѣчала, отвертывая свое пылающее личико отъ его страстнаго взгляда, что у нея скоро будетъ ребенокъ.

— Твой братъ это узналъ и тотчасъ-же предложилъ на мнѣ жениться, прибавила она, прижимая платокъ къ глазамъ.

Наступило тяжелое молчаніе. Она плакала, а у князя Николая больно, больно защемило сердце и множество вопросовъ затѣснилось въ груди, но онъ не въ силахъ былъ произнести ни одного слова и ушелъ, ничего не узнавши.

Они съ тѣхъ поръ не видались. Мать ихъ, княгиня Овсяная,

урожденная графиня Долговязово Мокрина, никогда не могла простить сыну такого преступления противъ фамильной чести, какъ бракъ съ танцовщицей. О Терезитѣ въ первый разъ рѣшились упомянуть въ ея присутствіи только тогда, когда пришлось доложить ея сіятельству, что невѣстка ея скончалась во время родовъ. Тогда старая княгиня набожно перекрестилась, объявила во всеуслышаніе, que Dieu est juste, и прибавила къ этому, что теперь она можетъ умереть спокойно.

У гениальныхъ родителей часто рождаются глупцы, у скупыхъ дѣти бывають расточительны. Отродье такихъ матерей, какъ старая княгиня Овсяная, почти всегда отличается недостаткомъ характера и избыткомъ мягкосердечія. Оно преисполнено порывовъ ко всему возвышенному и прекрасному, но порывы эти непочвны и воспользоваться ими не легко... надо ловить удобную минуту, а минуты эти такія коротенькія, что ихъ никакъ не поймашь.

Близья Овсяные не составляли исключенія изъ общаго правила: они были добрые, великодушные, благородные... Всѣ это говорили, и они сами были въ этомъ увѣрены.

Тишина въ кабинетѣ нарушалась только шелестомъ бумагъ, которыя господинъ предсѣдатель продолжалъ перелистывать. Сердитое выраженіе его лица замѣнилось скучающимъ; взглядъ дѣлался все разсѣяннѣе и разсѣяннѣе. Управляющій князя, опустивши руки на колѣни и согнувши усталую спину, углубился въ свои думы и безцѣльно смотрѣлъ на рѣзной карнизъ низенькаго шкафчика, чернѣющаго въ одномъ изъ угловъ обширнаго, уютнаго кабинета. Злорадная усмѣшка давно уже слетѣла съ его губъ. Можетъ быть, Иванъ Ивановичъ тоже думалъ о Мими? Онъ выросъ въ семьѣ князей Овсяныхъ и занимался ихъ дѣлами съ тѣхъ поръ, какъ себя помнилъ. Ему было извѣстно намѣреніе князя уступить тетужкино наслѣдство племянницѣ.

— Пожизненно, повторилъ онъ вслухъ преслѣдующую его неотвязно мысль.

Господинъ Липертъ вздрогнулъ.

— Да, да, пожизненно... Ну-съ, *passons plus loin*... Доброму моему слугѣ, Архипу Филатичу Ермоленкову, завѣщаю три тысячи рублей... и столько-же старшей моей горничной, Ульянѣ Тимофеевнѣ... тысячу рублей Аннѣ... пятьсотъ... сто рублей...“

— И такъ далѣе: цѣлыхъ три страницы *des legs aux serviteurs...* Никого не забыла!.. Да и понятно: люди эти всю жизнь служили ей вѣрой и правдой... Вѣроятно, старые крѣпостные? Иванъ Ивановичъ молча кивнулъ головой.

— Я такъ и зналъ! Странно было-бы не наградить ихъ за усердіе!.. Теперь ужъ такихъ людей не найдешь...

И снова разговоръ порвался. Этотъ параграфъ въ завѣщаніи графини о наградахъ служителямъ оживилъ въ памяти председателя вчерашнюю исторію съ его лакеемъ Дмитріемъ, котораго онъ засталъ враслохъ на крыльцѣ, съ дорогой сигарой въ зубахъ. Сомнѣваться въ томъ, что сигара эта вынута изъ того ящика, который хранился въ завѣтномъ угольѣ господской спальни, было-бы трудно; не дальше, какъ на прошлой недѣлѣ, онъ у этого самаго нахала Дмитрія спрашивалъ: куда дѣваются такъ скоро сигары? Не успѣетъ купить сотню, какъ ее ужъ и нѣтъ.

— Всѣ суммы, завѣщанныя графиней служителямъ, имъ уже розданы, ваше п-во, прервалъ эти размышленія Иванъ Ивановичъ. — Другихъ параграфовъ въ завѣщаніи нѣтъ, и чтобъ вернуться къ предмету, особенно интересующему князя, то-есть къ имѣніямъ Подхалюзино и Аринкино, изъ которыхъ собственно и состоитъ наслѣдство, такъ-какъ домъ свой графиня давно продала...

— Такъ, такъ! Надо будетъ подумать объ этомъ... Я не полагаю, чтобъ законъ былъ ужъ такъ придирчивъ и чтобъ нельзя было отыскать *un complot quelconque...* Но надо этимъ заняться, разумеется, потолковать съ членами, порыться въ кассационныхъ рѣшеніяхъ... Вы мнѣ позволите представить вамъ *mes sieurs* изъ окружного суда, *mon prince?* продолжалъ г. Липертъ, поднимаясь съ мѣста и подходя къ окну, на которомъ сидѣлъ князь.

Этотъ послѣдній поспѣшно обернулся.

— Кончили? Чѣмъ-же вы рѣшили? спросилъ онъ не безъ тревоги въ голосъ.

Воспоминанія прошлаго навѣяли на него странныя мысли. Давно забытыя сомнѣнія, давно остывшія чувства съ непреодолимой силой зашевелились въ душѣ, и ему вдругъ страстно захотѣлось обезпечить Мини.

— Чѣмъ-же вы рѣшили? повторилъ онъ съ возрастающимъ волненіемъ.

— Будьте покойны, князь, все будетъ сдѣлано по возможности скоро и законно... Главное, законно, за это я вамъ ручаюсь. Дѣломъ вашимъ я самъ займусь; je ne vous dis que cela! Въ немъ есть крючки, есть неправильности, но въ какомъ-же дѣлѣ ихъ нѣтъ, ваше с-во? И, наконецъ, продолжалъ г-нъ предсѣдатель, все болѣе и болѣе одушевляясь и возвышая голосъ, — наконецъ, у насъ не одинъ окружной судъ, mon prince, у насъ есть судебная палата, у насъ есть сенатъ!.. Странно было-бы, чтобъ, пройдя всѣ эти инстанціи, дѣло не окончилось-бы въ вашу пользу! Я не могу допустить подобной мысли, ваше с-во!.. Но, конечно, на все это нужно время и время; надо переждать опредѣленные закономъ сроки, ужь безъ того нельзя... Однимъ словомъ, прошу васъ успокоиться, ваше с-во, успокоиться и положиться на ваше право, на законъ, а также немножко на его представителей, присвокупилъ г-нъ предсѣдатель съ очаровательной улыбкой.

Онъ сдѣлалъ при этомъ граціозный жестъ рукой, а затѣмъ, указывая на бумаги, которыя Иванъ Ивановичъ систематически укладывалъ въ сѣрую папку, продолжалъ:

— Вы позволите мнѣ прислать за этимъ сегодня вечеромъ? Et vous m'autorisez à vous présenter ces messieurs изъ окружного суда?

— Сдѣлайте одолженіе, я буду очень радъ и княгиня тоже. Мы принимаемъ по вторникамъ, но для васъ мы всегда дома.

— Не смѣю васъ дольше задерживать, mon prince, почтительно нагнулся г-нъ Липертъ, пожимая протанутую ему руку.

Князь проводилъ его до двери, потолковалъ съ нимъ еще минутъ пять въ сосѣдней комнатѣ и вернулся въ кабинетъ съ сіяющимъ отъ удовольствія лицомъ.

— Ну, что-жь, мой милѣйшій Иванъ Ивановичъ, что-жь изъ насъ правъ? Я вамъ говорилъ, что всѣ эти неправильности, vices de forme, какъ называется ихъ г-нъ предсѣдатель, пустые крючки и больше ничего. Я вамъ говорилъ, что при новыхъ порядкахъ въ судопроизводствѣ на такой вздоръ не обращаютъ вниманія; вы мнѣ не вѣрили; однако, вотъ и г-нъ Липертъ заявилъ вамъ то-же

самое, а ужь онъ долженъ знать законы. Развѣ такое мѣсто можно занимать, не зная законовъ?

Иванъ Ивановичъ вышелъ, наконецъ, изъ терпѣнія.

— Да, помилуйте, ваше с-во, господинъ предсѣдатель теперь и самъ отлично видитъ...

Но князь, въ свою очередь, возвысилъ голосъ:

— Онъ видитъ, что васъ не переуправить, почтеннѣйшій, и что когда вы разъ заберете себѣ что-нибудь въ голову, *personne ne peut vous faire entendre raison...*

И спохватившись, продолжалъ онъ уже прежнимъ ласковымъ и сдержаннымъ тономъ:

— Позвоните, пожалуйста, *mon cher*. Надо спросить, уѣхала-ли княгиня кататься, и приказать, чтобъ мнѣ подали сюда завтракать... Всѣ эти разговоры и споры ужасно меня утомили. *Pensez donc, mon ami*, я съ десяти часовъ на ногахъ и слышу однѣ только непріятности... Надо-же дать человѣку и отдохнуть немножко!

Н. Северникъ.

* * *

(А. Г. С—ой.)

Самъ дивлюсь я, какъ—на зло суровой,
Жалости не знающей, судьбѣ,
Въ милости и въ гнѣвѣ безтолковой,
Сердце я сберегъ еще въ себѣ!

Самъ дивлюсь, что жизненные грозы
Пронеслись счастливо надо мной,
Не убивъ въ душѣ завѣтной грѣзы,
Не убивъ и вѣры въ ней святой.

Въ скорбный мигъ душою овладѣютъ
Смутный страхъ, усталость и печаль,
Но едва лишь тучи порѣдѣютъ—
Я глажу опять отважно въ даль.

Волосъ мой до времени сѣдѣть,
Тѣломъ я давно уже больной;
Но душа въ заботахъ не черствѣть,
Молодъ я и до сихъ поръ душой.

Я понять могу печаль и слезы,
Жаль людей, не знающихъ утѣхъ;
Но и мнѣ понятны дѣтства грѣзы,
Беззаботный и веселый смѣхъ.

Даже стыдно, право, признаваться,
Но порой, какъ будто-бы дитя,
До того могу я замечтаться,
Что и сказкамъ вѣрю не шутя,

Вѣрю въ то, что есть въ воображеньи,
Но чего нигдѣ не отыскать,
Что даетъ мнѣ столько наслажденья,
Если жизнь его не хочетъ дать.

Можетъ быть, грядущее съ собою
Счастье мнѣ на мигъ и принесть;
Можетъ быть, всечасною борьбою
Я не сброшу бремени заботъ;

Но прошу, какъ милости, у неба
Одного: чтобъ въ жизненной борьбѣ
И въ заботахъ о насущномъ хлѣбѣ
Сохранилъ-бы сердце я въ себѣ!

А. Еругловъ.

УЛЬРИХЪ ФОН-ГУТЕНЪ И ЕГО ДРУЗЬЯ.

(СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.)

На границахъ Франконіи и Гессена, еще въ средніе вѣка жилъ родъ Гутеновъ, которые, подобно всему франконскому рыцарству, отличались своею воинственностью, буйствомъ, гордостью, славились своими успѣхами на войнѣ, опустошали села, грабили купцовъ, отгоняли чужія стада. Въ концѣ XV вѣка родъ Гутеновъ сильно размножился и игралъ во Франконіи очень важную роль, распадаясь на нѣсколько линій, которыя сообща владѣли сильнымъ замкомъ Штекельбергомъ, ихъ главнымъ разбойничьимъ притономъ. Грабежи Гутеновъ сдѣлались, наконецъ, невыносимыми для сосѣдей, и въ 1458 г. синьоръ ихъ лена, епископъ вюрцбургскій, со своими крестьянами и нѣсколькими рыцарями осадилъ Штекельбергъ и взялъ его штурмомъ, послѣ чего этотъ замокъ перешелъ въ собственность къ одному изъ Гутеновъ, Ульриху. Каждый подобный замокъ былъ окруженъ тогда рвомъ и стѣнами, за которыми тѣснились жилища постройки, конюшни, псарни, арсеналъ съ порохомъ и оружіемъ. Владѣлецъ замка проводилъ все свое время или въ походахъ, или на охотѣ въ окрестныхъ лѣсахъ; оружіе, лошади и собаки были для него дороже всего въ мірѣ, а его свита состояла изъ рослыхъ наемниковъ, нерѣдко изъ настоящихъ разбойниковъ. Въ упомянутомъ замкѣ, въ апрѣлѣ 1488 г., черезъ 21 г. послѣ рожденія Эразма, черезъ 7 послѣ Зивингена, черезъ 33 послѣ Рейхлина, черезъ 5 послѣ Лютера, черезъ 4 послѣ Цвингли и за 9 лѣтъ до Меланхтона, у Ульриха Гутена родился первый сынъ, наз-

ванный тоже Ульрихомъ. По слабости здоровья, вѣроятно, родители предназначили мальчика въ духовное званіе и въ 1499 г. отдали его въ фульдскій монастырь бенедиктинцевъ. Когда мальчикъ сталъ подростать, то въ немъ развилось рѣшительное нерасположеніе къ монашеской жизни, которое усиливалось тѣмъ болѣе, чѣмъ сильнѣе настаивали на постриженіи его родители и абать монастыря. Дошло, наконецъ, до того, что Гутенъ рѣшился бѣжать, при содѣйствіи своего молодого друга, Крота Рубіана, игравшаго потомъ видную роль въ движеніи гуманистовъ.

Кротъ Рубіанъ, сынъ бѣднаго крестьянина, пасшій въ дѣтствѣ овецъ, родился въ 1480 г., а въ 1500 онъ уже получилъ степень бакалавра въ эрфуртскомъ университетѣ. Онъ занимался специально схоластическими теологіей и философіей, но, благодаря одному другу, усвоилъ себѣ воззрѣнія гуманистовъ и потомъ укрѣпилъ и развилъ ихъ въ себѣ посредствомъ самообразованія. Когда Гутенъ бѣжалъ изъ монастыря въ 1505 г., Кротъ поступилъ вмѣстѣ съ нимъ въ кельнскій университетъ для слушанія „изящныхъ искусствъ и наукъ“, какъ называли тогда гуманистическія упражненія, состоявшія въ изученіи древнихъ языковъ, въ выработкѣ по классическимъ образцамъ своего слога и вкуса. Къ гуманистамъ, впрочемъ, въ это время не очень благоволили въ Кельнѣ, и на кафедрахъ господствовала еще схоластика, охраняемая страшнымъ кетцермейстеромъ или инквизиторомъ еретическихъ дѣлъ, Гохштратеномъ. Гутенъ и Кротъ тоже вкусили отъ плодовъ схоластики, упражнялись въ аргументированьи „за“ и „противъ“, щеголяли силогизмами и т. д.; но Кротъ скоро понялъ всю пустоту этой умственной эквилибристики. Кротъ былъ очень даровитъ и остроуменъ и, подобно Гутену, любилъ посмѣяться надъ человѣческой глупостью, съ тѣмъ, однакожъ, различіемъ, что смѣшное возбуждало въ Гутенѣ злобу, а Кротъ только потѣшался надъ нимъ; для Крота все ограничивалось насмѣшкой, а Гутенъ всегда готовъ былъ бороться съ тѣми злоупотребленіями, которыя онъ осмѣивалъ. Добродушный, честный, веселый, Кротъ былъ душою общества, въ которомъ кромѣ его и Гутена сосредоточивалось нѣсколько другихъ представителей гуманизма.

Въ 1506 г., вслѣдствіе происковъ доминиканцевъ, нѣкоторые профессора-гуманисты были изгнаны изъ Кельна, и Кротъ съ Гутеномъ перешли въ Эрфуртъ, университетъ котораго въ это время

достигъ такой славы, что, по выраженію Лютера, „въ сравненіи съ нимъ всѣ другіе университеты казались первоначальными школами“. Здѣсь Гутенъ нашелъ новаго друга, въ лицѣ Эобана Гессе, молодого поэта, сына монастырскаго крестьянина. Высокій, статный мужчина, съ прекрасной бородой и воинственнымъ видомъ, превосходный танцоръ, фехтовальщикъ и пловецъ, Эобанъ чрезвычайно легко писалъ стихи и любилъ покутить. Противнѣе всего ему было умаленіе достоинствъ другихъ людей, и онъ никогда не позволялъ себѣ говорить дурно объ отсутствующихъ. Хитрость и даже осторожность были незнакомы ему; при скудныхъ доходахъ, увеличивающемся семействѣ и постоянной поэтической безпечности Эобана, ему часто приходилось туго, но онъ никогда не падалъ духомъ и только восклицалъ въ такихъ случаяхъ: *терпѣніе!* Въ выборѣ жены онъ былъ несчастливъ, тѣмъ болѣе, что ея родные были дурными людьми; но благодушный поэтъ уживался со всѣми и бралъ съ жизни всѣ радости, какія ему удавалось собрать. Отъ него сохранилось не мало писемъ и записокъ къ друзьямъ, очень характерныхъ, какъ для его личности, такъ и для времени, въ которое онъ жилъ. Въ нихъ онъ то-и-дѣло приглашалъ друзей купаться, обѣдать въ 10 часовъ, ужинать въ 4 вечера, на пару рыбъ, на дичь, „приправленную веселымъ разговоромъ“. Иногда онъ въ одно и то-же время зоветъ пріятеля въ гости и проситъ у него въ займы 2 гульдена. Эобанъ не терпѣлъ пива, но любилъ вино и очень радовался, когда за каждый изъ переводимыхъ имъ псалмовъ покровитель его, богатый врачъ и горнозаводчикъ Штурцъ, посылалъ ему кружку вина. Часто онъ просилъ у него похвалы, чтобы облегчить отъ вчерашняго кутежа „свою царственную главу“. Въ пріятельскомъ кружкѣ его называли *царемъ*, такъ-какъ фамилія Нессе походитъ на греческое *ессинъ*, *царь*, и онъ велъ себя, какъ царь, облекался въ мантию, извѣщалъ друзей о своей царцѣ и наслѣдникѣ, требовалъ у нихъ мази для своего августѣйшаго носа, который началъ уже краснѣть отъ вина. Но онъ оставлялъ все это шутовство, коль скоро дѣло касалось серьезнаго вопроса, и его письма къ Рейхлину проникнуты глубокимъ уваженіемъ и любовью, а въ своихъ отношеніяхъ къ Лютеру и Гутену Эобанъ всегда былъ горячимъ сторонникомъ ихъ дѣла. Но не онъ, а Мутіанъ Рүфъ былъ центромъ, стягивающимъ вокругъ себя всѣ

наличныя силы эрфуртскихъ гуманистовъ. Мутіанъ учился въ Италіи и въ Болоньѣ, получилъ степень доктора, потомъ читалъ лекціи въ Эрфуртѣ, и множество молодежи поступало въ этотъ университетъ единственно „изъ уваженія къ д-ру Мутіану“. Въ это время только-что начинали печататься изданія греческихъ и латинскихъ классиковъ, но они были очень дороги, а средства Мутіана были самыя ограниченныя, и только благодаря нѣкоторымъ друзьямъ, ему удалось приобрѣтать эти книги. Когда онъ, такимъ образомъ, получилъ разомъ Цицерона, Лукреція, Бурція и др. авторовъ, то долго плакалъ отъ радости. Итальянскія войны того времени причиняли ему большое горе, такъ-какъ сообщенія черезъ Альпы прекращались и новыя итальянскія изданія не доходили въ Германію. „Если ужъ нельзя прислать мнѣ книгъ, писалъ онъ Кроту, — то сообщай мнѣ по крайней мѣрѣ ихъ заглавія, — и они даже доставляютъ мнѣ наслажденіе!“ День, проведенный имъ безъ хорошей книги, нагонялъ на него сильную тоску. Но самъ Мутіанъ не любилъ писать, и особенно для печати, ссылаясь на примѣръ Сократа и Христа, которые тоже ничего не написали. Онъ былъ убѣжденъ, что знанія, доступныя избраннымъ, непригодны для массы, и поэтому онъ дѣйствовалъ на тѣсный кружокъ приближенныхъ посредствомъ устной бесѣды и отчасти писемъ. Онъ въ особенности любилъ покровительствовать молодежи, посвящавшей себя изученію гуманизма, и его домъ всегда былъ открытъ для такихъ людей, несмотря на ограниченность его средствъ. Религіозныя мнѣнія Мутіана отзывались новолатинизмомъ, усвоеннымъ имъ въ Италіи. „Есть одинъ богъ, говоритъ онъ, — и одна богиня, но образовъ и названій много: Юпитеръ, Солнце, Аполонъ, Моисей, Христосъ, Луна, Церера, Прозерпина, Марія. Но не слѣдуетъ распространяться объ этомъ, должно держать это втайнѣ, какъ элевзинскія мистеріи. Въ дѣлахъ религіи нужно пользоваться покровами басни и загадки“. Что-же касается вопросовъ, волновавшихъ тогдашній католическій міръ, то Мутіанъ относился къ нимъ свысока. „Я не поклоняюсь, говоритъ онъ, — ни хитону, ни бородѣ, ни препуціи, а чту живого Бога, который не носитъ ни хитона, ни бороды и не оставилъ на землѣ никакой препуціи“. Вся практика католическаго духовенства внушала ему отвращеніе, и вѣстѣ съ Кротомъ онъ неустанно издѣвался надъ нею.

Отрекшись отъ традиціоннаго міросозерцанія среднихъ вѣковъ, Мутіанъ отрѣшился и отъ ихъ морали; онъ училъ не умерщвленію плоти и духа, а справедливости, умѣренности, терпѣнію, *чуждѣнности*, и въ этомъ отношеніи онъ имѣлъ еще болѣе сильное вліяніе на юношество, чѣмъ въ сферѣ чисто-научной; ученики были страстно преданы ему, и эта „мутіановская шайка“, какъ называли ее враги, была однимъ изъ надежнѣйшихъ отрядовъ войска гуманистовъ. Но и учитель, и ученики навлекали на себя сильное подозрѣніе въ преступномъ вольнодумствѣ. „Онъ поэтъ, онъ говоритъ по-гречески; слѣдовательно, онъ плохой католикъ“, говорили про Мутіана. Тогда въ католическомъ обществѣ названіе *поэта* было словомъ браннымъ и равнозначительнымъ нынѣшнимъ *атеисту* или *материалисту*. „Поэты развращаютъ университеты,“ говорили люди благонамѣренные и подвергали сильному подозрѣнію даже германскій патриотизмъ ихъ, называя ихъ *богемцами*. Философы тоже не были въ чести, и со стороны духовенства дѣлалось все, чтобы отравить жизнь какъ поэтамъ, такъ и философахъ, но у нихъ была уже поддержка въ обществѣ.

Въ числу ближайшихъ друзей Мутіана Руфа принадлежалъ и Гутенъ, хотя необыкновенная пылкость его темперамента не совсѣмъ нравилась ученому мужу, надъ входомъ въ жилище котораго былъ начертанъ его девизъ: „блаженное спокойствіе“. Затѣмъ, зимою 1506 г. мы видимъ Гутена уже во Франкфуртѣ на Одерѣ, гдѣ онъ пробылъ почти цѣлый годъ, но потомъ, когда популярный профессоръ Рагіусъ принужденъ былъ удалиться изъ Франкфурта и въ университетѣ остались только представители допотопной схоластики, Гутенъ перешелъ въ Лейпцигъ. И здѣсь не сидѣлось ему; въ немъ бродилъ духъ средневѣковой бродячести, создававшій въ то время массу „странствующихъ студентовъ“. Самъ Гутенъ признается, что его постоянно тянетъ вдаль, какъ Пифагора и Платона: „я люблю жить всюду; мое отечество—вездѣ“. Это былъ вполне странствующій рыцарь, но рыцарь не меча, не копыя, а духа. Изъ Лейпцига Гутенъ направился въ Померанію и имѣлъ здѣсь много какихъ-то приключеній, подробности которыхъ неизвѣстны. Онъ сильно здѣсь бѣдствовалъ, бродилъ по странѣ, питаясь милостыней, ночуя часто подъ открытымъ небомъ, дѣлая въ своемъ пути огромные вѣржи, чтобы зайти къ какому-нибудь ученому и получить у него на ночь

пріютъ, тѣмъ болѣе необходимый, что все это время молодой человекъ страдалъ болѣзнью, которая была еще тогда новою и модною. Наконецъ, Гутена пріютили въ грейфсвальдскомъ университетѣ осенью 1509 г., а затѣмъ его взялъ къ себѣ въ домъ профессоръ Летце, одѣлъ его, снабдилъ деньгами. Но юрость стараго завала, старосвѣтскій хозяинъ скоро не поладилъ со своимъ гостемъ, восторженнымъ гуманистомъ. Дѣло зашло такъ далеко, что Гутену пришлось убраться вонъ, и въ декабрѣ 1509 г. онъ отправился въ Ростокъ. Холодъ былъ ужасный, всѣ рѣки замерзли и даже море покрылось у береговъ льдомъ, а большой Гутенъ тащился пѣшкомъ, съ единственною надеждою найти пріютъ въ мекленбургскомъ университетѣ. При переходѣ черезъ какое-то болото, на него напали всадники, оказавшіеся изъ числа слугъ Летце, и ограбили его до-гола, отобравъ даже книги и тетрадь съ его стихотвореніями. Кое-какъ добрелъ онъ, полунагой, до Ростова и, зайдя въ гостинницу, упалъ здѣсь въ изнеможеніи. Средствъ у него вовсе не было, и пришлось ему просить помощи профессоровъ и студентовъ, пока его не пріютилъ у себя профессоръ Гарлемъ. Въ домѣ этого добраго человека Гутенъ поправился; около него началась сосредоточиваться университетская молодежь; поэтическая слава его утвердилась въ Ростокѣ, и онъ впервые попробовалъ здѣсь выступить на болѣе обширную литературную арену. „Акушеркою его таланта была злоба, говорить Штраусъ, — и его произведенія становились все болѣе и болѣе цѣнными, по мѣрѣ того, какъ предметы его злобы дѣлались болѣе значительными и самая злоба болѣе чистою“. На первый разъ Гутенъ написалъ сатирическое стихотвореніе о Летце, очень мелочное по содержанію, но отмѣченное уже всѣми признаками его таланта. Въ 1511 г. мы видимъ Гутена въ Витенбергѣ; онъ гостилъ у нѣкоего Факха, бывшаго готскаго профессора. При посредствѣ друга своего Крота онъ дѣлаетъ попытку примириться съ отцомъ, но изъ писемъ Крота видно, что батюшка Гутена считалъ его совершенно погибшимъ, „нестоющимъ и гроша“, хотя былъ, видимо, доволенъ, что его хвалили другіе. Наконецъ, родители согласились примириться съ сыномъ, если тотъ займется правомъ, такъ-какъ желалъ лучше видѣть его „подтасовывающимъ законы, чѣмъ шутомъ“. Но Ульрихъ, чрезвычайно нуждавшійся въ деньгахъ, счелъ за лучшее обратиться не къ отцу,

а къ братіи Фүльдскаго монастыря, изъ котораго онъ бѣжалъ нѣсколько лѣтъ назадъ, прося помощи и общая вернуться. Абатъ и братія отвѣчали, что они очень рады, но денегъ Гутену не послали; отецъ тоже ничего не давалъ, и вотъ мы снова видимъ, какъ поэтъ-рыцарь, питаясь подаваніемъ, идетъ черезъ Чехію и Моравію въ Вѣну. Только въ Ольмюцѣ его обстоятельства поправились, вслѣдствіе помощи, оказанной ему епископомъ Станиславомъ, поклонникомъ Эразма и покровителемъ гуманистовъ, такъ-что въ Вѣну Гутенъ уже пріѣхалъ верхомъ на прекрасной лошади, съ деньгами и съ дорогимъ перстнемъ на пальцѣ.

Въ Вѣнѣ, подъ покровительствомъ императора Максимилиана, уже существовали кружки гуманистовъ, къ которымъ и присталъ Гутенъ. Въ первый-же вечеръ онъ увлекъ новыхъ друзей разсказами о своихъ похожденияхъ и несчастіяхъ и прочелъ имъ написанное дорогой обращеніе къ императору, которое тоже очень понравилось его друзьямъ, и они рѣшили его напечатать. Это стихотвореніе, убѣждавшее Максимилиана начать войну съ Венеціей, было поворотомъ въ литературной дѣятельности Гутена. Отъ чисто-личныхъ и литературныхъ предметовъ онъ съ этого времени обращается къ общественнымъ и политическимъ и негодуетъ на Венецію, осмѣлившуюся оскорблять національную гордость нѣмцевъ. Въ другомъ стихотвореніи онъ говоритъ о современномъ ему состояніи Германіи и высказываетъ твердую вѣру въ ея возрожденіе. За временами воинскихъ подвиговъ, по его мнѣнію, обыкновенно слѣдуетъ періодъ мирной культуры. Въ этомъ-то періодѣ и живетъ теперь Германія: науки и искусства, торговля и промышленность процвѣтаютъ; неплодныя нѣкогда земли превосходно обработаны, а нравы, несмотря на извѣстную долю порчи, вслѣдствіе вліянія Италіи и особенно Рима, остаются чистыми. Предшествующій военный періодъ Германіи былъ крайне одностороненъ, и образованнымъ внукамъ приходится читать описанія подвиговъ своихъ предковъ у иностранныхъ историковъ, такъ-какъ наши отважные праотцы хотя и совершали великія дѣла, но не умѣли описывать ихъ. Если-бы даже современные нѣмцы умѣли только описывать чужія дѣла, не совершая сами ничего великаго, то вышла-бы та-же односторонность, только наоборотъ; но дѣла находятся далеко не въ такомъ положеніи, и,

при всемъ своемъ образованіи, нѣмецкій народъ представляетъ изъ себя внушительную военно-политическую силу, союза съ которой добиваются всѣ націи. Ему принадлежитъ будущее уже въ силу одного того, что онъ ознаменовалъ наше время двумя великими открытіями, подобныхъ которымъ не представляютъ ни древній міръ, ни новая Италія, — это порохъ и книгопечатаніе. Но какъ ни любилъ Гутенъ Германію, его сильно тянуло въ отечество гуманизма, въ Италію, и весной 1512 г. онъ былъ уже въ Павію, изучая право и греческихъ писателей. Здоровье его было плохо, онъ хромалъ, ноги были покрыты язвами и нарывами. Къ этому присоединились еще разныя невзгоды военнаго времени. Въ Италіи были французы: послѣ битвы при Равеннѣ, въ апрѣлѣ 1512 г., явились призванные папою и императоромъ 20,000 швейцарцевъ и въ іюлѣ осадили Павію, занятую французами. Какъ сторонникъ императора, Гутенъ былъ посаженъ въ тюрьму и здѣсь, страдая лихорадкой, чувствуя близость смерти, написалъ трогательную эпитафію себѣ. Французы были вытѣснены изъ города швейцарцами, но послѣдніе заподозрили въ Гутенѣ сторонника французовъ, ограбили его до гола, и только тѣмъ, что еще оставалось у него дома, онъ успѣлъ откупиться отъ дальнѣйшихъ мытарствъ. Онъ отправился въ Болонью и, истративъ здѣсь послѣднія средства на леченіе, началъ хлопотать о поступленіи въ военную службу, которая была очень полезна для дальнѣйшаго его развитія. Гутенъ ближе познакомился съ общественными и политическими дѣлами эпохи, и результатомъ его знакомства была цѣлая книга эпиграмъ, написанныхъ по поводу текущихъ событій. Вотъ нѣкоторыя изъ этихъ эпиграмъ.

„Совѣта прося, говоритъ Аполлону Италія:

— Три жениха руки моей просятъ, но противны всѣ трое, — Венеціанецъ, германецъ и франкъ.

Первый коваренъ, другой полнъ вина, а третій — гордыни.

— Венеціанецъ коваренъ всегда, такъ богъ отвѣчаетъ; —

Гордынею тоже всегда франкъ исполненъ,

А нѣмецъ хоть изрѣдка трезвымъ бываетъ, — сама выбирай!“

Многія изъ этихъ эпиграмъ направлены противъ папы Юлія II, который, какъ извѣстно, былъ не столько папой, сколько генераломъ и лично велъ опустошительныя войны. „Облеченный въ стальные доспѣхи, говоритъ Гутенъ, — онъ мечетъ и выстрѣлами

убиваетъ людей на водѣ и на сушѣ и вовлекаетъ въ войны государей; онъ — гибель міра, язва рода человѣческаго; его работа — смерть, его развлеченіе — гнусный развратъ“. „Какъ торгашъ, Юлій обманываетъ вѣрующихъ, продавая имъ небо, недоступное ему самому. Еслибъ вернулись титаны, Юлій-бы продалъ имъ весь Олимпъ“... „Какъ! Человѣческій умъ, эту искру божественнаго свѣта, эту частицу божества можно ослѣплять такимъ вздоромъ? Ужели онъ можетъ затмиться до такой степени, ужели нѣтъ свѣта, способнаго разогнать эту тьму заблужденій? Юлій, этотъ бандитъ, оскверненный всѣми пороками, по своей прихоти запираетъ небо передъ одними и открываетъ его передъ другими; мановеніемъ руки онъ даруетъ блаженство или осужденіе. Мужайтесь, земляки, и вѣруйте, что царство небесное пріобрѣтается честною жизнью и ^вврата въ него открываетъ добродѣтель, а не тѣ ключи, которыми побрякиваетъ римскій шарлатанъ, обманывая бѣдный, одураченный народъ“. Послѣ смерти Юлія, когда на его счетъ появились десятки сатиръ и пасквилей, Гутенъ тоже вывелъ его въ разговорѣ въ царствѣ мертвыхъ, но этотъ и всѣ другіе опыты его въ томъ-же родѣ неудачны.

Въ 1513 г. Гутенъ былъ уже въ родномъ Штекельбергѣ, гдѣ, за исключеніемъ его доброй матери, родные встрѣтили его холодно, даже враждебно, какъ пропавшаго человѣка, который и не думаетъ о карьерѣ. Но какъ разъ въ это время Гутену предложено было мѣсто у просвѣщеннаго майнцаго епископа. Гутенъ былъ сдѣланъ судебнымъ комисаромъ въ Галѣ и Эрфуртѣ и, при своемъ пылкомъ темпераментѣ, отличался суровостью, которая въ наше время была-бы сочтена жестокостью. Между прочимъ, Гутенъ былъ въ числѣ судей, присудившихъ къ сожженію крещенаго еврея Пфеферкорна, который подъ пыткой сознался въ святотатствѣ, въ кражѣ причастія, въ отравленіи христіанъ, въ убійствѣ христіанскихъ младенцевъ, съ цѣлью полученія крови для жидовской пасхи и т. д. И Гутенъ не только осудилъ его на смерть, но даже воспѣлъ это событіе въ стихахъ, поздравляя своего курфюрста-епископа, что удалось избавиться отъ такого чудовища. Такъ живучъ еще былъ въ Гутенѣ средневѣковой человѣкъ. Въ Майнцѣ Гутенъ жилъ въ обществѣ епископа, стариннаго друга своего, рыцаря-гуманиста Этельвольфа, и своего родственника, Фровина Гутена, состоявшаго при майнц-

скомъ дворѣ. Въ Майнцѣ же Гутенъ познакомился съ Эразмомъ, который лѣтомъ 1514 г. проѣзжалъ изъ Англіи въ Базель, а въ слѣдующемъ году возвращался въ Англію. Это знакомство было событіемъ въ его жизни, и Гутенъ почувствовалъ что-то вродѣ религіознаго благоговѣнія къ главѣ нѣмецкихъ гуманистовъ. Между тѣмъ болѣзнь Гутена разыгралась снова; онъ поѣхалъ на воды въ Эмсъ, чтобы затѣмъ отправиться въ Италію, но въ Эмсѣ онъ получилъ два печальныхъ извѣстія — о смерти его друга и покровителя, Этельвольфа, и объ убійствѣ его родственника, Ганса Гутена, герцога Ульрихомъ виртембергскимъ.

Гансъ служилъ при дворѣ герцога и былъ его задушевнымъ, неразлучнымъ другомъ. Молодой, блестящій, онъ женился на дочери перваго придворнаго вельможи, красавицѣ Урсулѣ, прелести которой сумѣлъ оцѣнить и герцогъ Ульрихъ, давно уже знавшій ее. Послѣ свадьбы герцогъ началъ уже сильно пріударять за Урсолой, и когда Гутенъ однажды энергически замѣтилъ ему о неумѣстности такого ухаживанья, герцогъ упалъ передъ нимъ на колѣни и со слезами признался, что онъ не можетъ жить безъ его жены. Объ этой сценѣ скоро узнали всѣ придворные, и государь, сдѣлавшійся предметомъ насмѣшекъ, возненавидѣлъ Гутена. Гансъ, посовѣтовавшись съ родными, началъ проситься въ отставку, чтобы удалиться отъ двора вмѣстѣ съ женою, но герцогъ не отпустилъ его отъ себя, хотя и не скрывалъ ужъ болѣе своей ненависти къ нему. 7-го мая, во время придворной охоты, одѣтый въ панцырь и хорошо вооруженный, герцогъ, очутившись въ лѣсу одинъ на одинъ съ безоружнымъ Гутеномъ, убилъ его, нанеся ему 5 ранъ сзади и 2 спереди и накинувъ ему въ знакъ поруганія петлю на шею. Всѣ Гутены были въ высшей степени возмущены и оскорблены этимъ нахальнымъ убійствомъ; даже другія дворянскія фамиліи были противъ герцога и 18 графовъ и рыцарей отказались отъ службы ему. Родственники убитаго толковали о вооруженной мести, а Ульрихъ Гутенъ немедленно написалъ свою „первую рѣчь“ противъ коронованнаго убійцы. Рѣчь эта разошлась по странѣ во множествѣ списковъ, но напрасно Гутенъ взывалъ въ ней къ императору. Императоръ былъ безсиленъ и не рѣшался дѣйствовать противъ могущественнаго герцога, даже явно покровительствовалъ ему и

ручался, что дѣло кончится для него пустяками. Но ночью 24 ноября 1515 г. жена герцога Ульриха бѣжала отъ него къ своимъ братьямъ, герцогамъ Баваріи. Братья ихъ были несчастный; они давно уже были врагами другъ другу, и послѣ убійства Гутена вражда эта еще болѣе обострилась. Теперь, послѣ бѣгства герцогини, Гутены прониклись надеждой, что, защищая интересы своей сестры, съ ними соединятся противъ владѣтеля Виртемберга герцоги баварскіе, а Ульрихъ Гутенъ написалъ „вторую рѣчь“. Въ ней онъ снова убѣждаетъ императора и князей имперіи наказать преступника. „Онъ попалъ въ яму, — заройте же его. Онъ запутался въ сѣтяхъ права и закона, — не выпускайте же его, не давайте ему времени собраться съ духомъ и силами“. Но если императоръ и князья не исполняютъ своей обязанности и не казнятъ виновнаго, то за дѣло должны приняться подданные. „Возстаньте, швабы, восклицаетъ Гутенъ, — и получите желанную свободу! Вы не потерпите, чтобы разбойникъ и убійца былъ вашимъ княземъ, — вы, предки которыхъ не одинъ разъ низвергали королей. Отнимите власть у кровожаднаго чудовища, освободите другихъ отъ страха, самихъ себя отъ гибели и позора, обяжите насъ благодарностью, уничтожьте причины новыхъ волненій... Онъ не государь, онъ не дворянинъ, онъ не нѣмецъ, онъ не христіанинъ! Онъ теперь даже не человѣкъ, потому что человѣчность заключается въ нравственности и образѣ жизни, а не въ устройствѣ тѣла. Онъ совлекъ съ себя человѣчность, облекшись въ звѣрство, неистовство, жестокость и безчеловѣчіе“. Обрисовавъ такими мрачными красками герцога, Гутенъ постарался выставить его жену въ самомъ благопріятномъ свѣтѣ, отчасти ради требованій риторическаго контраста, главнымъ же образомъ изъ расчета на союзъ Гутеновъ съ ея могущественными братьями. Въ февралѣ 1516 года союзъ этотъ былъ заключенъ; въ сентябрѣ Гутены и баварцы, въ числѣ 1,200 чел., выступили противъ Виртемберга, а Ульрихъ Гутенъ пустилъ въ ходъ свою „третью рѣчь“. Герцогъ виртембергскій былъ готовъ встрѣтить враговъ; но чтобы предотвратить войну, императоръ потребовалъ его въ себѣ въ Аугсбургъ по дѣлу Ганса Гутена и герцогини. Обвиняемый просилъ отсрочки и между тѣмъ разослалъ всюду свою письменную защиту, въ которой онъ выставлялъ Ганса Гутена злодѣемъ, извѣнникомъ, развратникомъ, скотски-оскорблявшимъ свою жену,

за что и предаль его справедливой казни онъ, герцогъ, какъ одинъ изъ членовъ верховнаго тайнаго суда (Vehmgericht). Гутены составили со своей стороны опроверженіе этой защиты, разбить которую имъ было легко съ помощью писемъ убитаго Ганса и его жены, несомнѣнно доказывавшихъ, что герцогъ убилъ Гутена, чтобы овладѣть его прелестной вдовой. Наконецъ, даже самъ старшій императоръ, увидѣвъ, что герцогъ не повинуется ему и подъ разными предлогами не является къ его суду, издалъ противъ него свой актъ, которымъ разрѣшалъ его подданныхъ отъ присяги ему. Тогда герцогъ началъ хлопотать о примиреніи съ Гутенами, и при помощи его друзей состоялся договоръ, въ силу котораго онъ уплачивалъ имъ 27,000 гульденовъ и на 6 лѣтъ сдавалъ императору управленіе Виртембергомъ. Но герцогъ и не думалъ исполнять договора; поэтому императоръ повторилъ свой указъ объ его низверженіи. Гутены и баварцы снова начали готовиться къ войнѣ, а нашъ рыцарь, Ульрихъ, написалъ свою „четвертую рѣчь“, въ которой онъ подробно опровергаетъ защитительную записку герцога. Если Гансъ былъ преступникомъ, то почему было не предать его суду? Для чего понадобились густой лѣсъ и собственноручная расправа? Если герцогъ невиненъ и Гансъ казненъ справедливо, то почему герцогъ предлагалъ его отцу денежную виру вмѣстѣ съ заявленіемъ о честности убитаго? Что-же касается жены Ганса, то Гутенъ, считая ее „Еленой настоящей войны“, обвиняетъ ее въ сообщничествѣ съ убійцей, съ которымъ она не прерывала связи и послѣ смерти мужа, называетъ отца ея сводникомъ, а брата содомитомъ тирана. Защиту герцога Гутенъ считаетъ не только наглою, но и безумною, а его надежды на военное счастье ошибочными. Швабы ненавидятъ его, вся остальная Германія презираетъ, народъ зоветъ его виртембергскимъ палачемъ, а многочисленныя стихотворенія распространяютъ въ странѣ его позоръ. Эта всеобщая ненависть и душевныя муки гнетутъ его гораздо сильнѣе, чѣмъ кажется. Живой, онъ несчастнѣе своей жертвы. Въ то время, какъ при всемъ своемъ могуществѣ, онъ трепещетъ отъ страха, Ульрихъ Гутенъ, на жизнь котораго онъ умышлялъ, не боится ничего и громко говоритъ за своего неотомщеннаго друга. Напрасно тиранъ дѣлаетъ видъ, что презираетъ его, — онъ боится его пера и дорого далъ-бы, чтобы оно не писало. Благодаря Гутену и литератур-

нымъ друзьямъ его, онъ стяжалъ себѣ безсмертіе. „Я завидую твоей посмертной славѣ, палачъ, восклицаетъ Гутенъ; — твоимъ именемъ будутъ называть годъ, твое злодѣяніе дастъ имя дню. Потомки будутъ читать, что такой то родился въ тотъ годъ, когда ты занялъ Германію несмываемымъ позоромъ. Ты упадешь въ календарь, бездѣльникъ! Ты обогатишь собою исторію!“ Во время составленія этой рѣчи, герцогъ началъ деспотствовать еще сильнѣе, чѣмъ прежде, пытая и казня людей, которые желали получить конецъ его тираниіи или недостаточно усердно поддерживали его въ его замыслахъ; но пока оставался въ живыхъ старый императоръ Максимилианъ, произволь этого деспота не встрѣчалъ никакихъ серьезныхъ препятствій.

По возвращеніи Гутена изъ Италіи, какъ мы уже говорили, родные и знакомые встрѣтили его холодно, какъ блуднаго сына, который, вмѣсто того, чтобы избрать духовную или военную карьеру, только шатается съ мѣста на мѣсто да пишетъ какіе-то стихи. Для тогдашняго дворянина было еще одно незазорное занятіе — право, но и въ этой сферѣ Ульрихъ былъ ничѣмъ, какъ выражался его отецъ, ни докторомъ, ни даже магистромъ. По этому поводу Гутенъ написалъ большую пьесу *Никто*. Обращаясь къ другу своему, Кроту, онъ рассказываетъ, что когда ему случается бывать среди рыцарей, то они не считаютъ его за собрата, ученые также не причисляютъ его къ своему сонму. Рыцари, пожалуй, еще признали-бы его рыцаремъ, если-бы онъ ничему не учился, но ученые смотрятъ только съ презрѣніемъ на тѣ занятія, какимъ посвящали себя онъ и Кротъ. Исключительными хранительницами истины теперь считаютъ себя касты юристовъ и теологовъ. Одни клянутся Аккурсіусомъ, Бартольдусомъ и Вальдусомъ, глосаторами и коментаторами „*Cognus juris*“. Другіе — Фомой и Скоттомъ, Альбертомъ и Бонавентурой, съ ихъ вопросами и силлогизмами. Но тѣ и другіе въ сущности — язва. Юристы теперь процвѣтаютъ при дворахъ, какъ плѣсень, пользуясь милостями и сокровищами государей. „Развѣ дѣла не лучше шли въ Германіи, пока не явились эти люди съ толстыми фоліантами? Развѣ въ странѣ не уважались добрые обычаи болѣе, чѣмъ гдѣ-либо писанные законы? Развѣ и теперь не тѣ государства управляются наилучшимъ образомъ, отъ которыхъ подальше держатся эти глосаторы? Посмотрите, какъ саксы на Балтійскомъ

морѣ ведутъ просто и безъ замедленія такія дѣла, которыя у насъ тянутъ лѣтъ по двадцати какіе-нибудь 36 докторовъ“. Не лучше и теологи, съ которыми вскорѣ еще ближе познакомился Гутенъ, во время второй своей поѣздки въ Италію, въ 1516 г. Папскій Римъ снова произвелъ на него чрезвычайно сильное впечатлѣніе, подѣ влияніемъ котораго онъ написалъ нѣсколько стихотвореній. „Я видѣлъ Римъ съ его полуразрушенными стѣнами, гдѣ торгуютъ святыми и продаютъ самого Бога. Я видѣлъ величественнаго первосвященника, сопровождаемаго роскошию свитомъ священнаго совѣта кардиналовъ, безчисленныхъ писцовъ и шайки тунядцевъ, красующихся на лошадяхъ, покрытыхъ пурпуромъ. Одни изъ нихъ подѣ маской святыни предаются самымъ скотскимъ порокамъ; другіе, пренебрегая даже наружнымъ приличіемъ, съ наглостью издѣваются надъ нравственностью и попираютъ добродѣтель. И передъ ними-то покорно склоняетъ свою выю тевтонскій народъ! Они торгуютъ запрещеніями и дозволеніями, они отворяютъ и запираютъ врата рая и пускаютъ по своему произволу въ царство небесное. Нѣтъ болѣе римлянъ и римлянокъ! Все погрязло въ развратѣ; всюду, куда ни взглянешь, царитъ презрѣнный порокъ. И это Римъ, въ которомъ жили Курій, Метель, Помпей! Другъ, не стремись ты сюда: въ Римѣ ты не найдешь ничего римскаго!“ Въ другомъ стихотвореніи Гутенъ съ особеннымъ негодованіемъ говоритъ объ индульгенціяхъ: „не робѣйте, люди, разбойничайте, грабьте, убивайте, воруйте святыню, попирайте законы; пусть каждое ваше слово будетъ богохульствомъ, каждый поступокъ—злудѣніемъ; валяйтесь въ калѣ порока, отрицайте Бога, но только несите деньги въ Римъ, и вы сдѣлаетесь честнѣйшими людьми. Въ Римѣ покупаютъ и продаютъ добродѣтель и вѣчное блаженство“. Но не все-же въ Римѣ было противно поѣту-рыцарю, не все возмущало его. Тогдашніе поэты сходились, обыкновенно, въ домъ образованнаго нѣнца Кориція, давно уже служившаго въ папской канцеляріи, и здѣсь Гутенъ нашелъ вполне подходящее для себя общество. Но здоровье его было все плохо, и застарѣлая болѣзнь продолжала развиваться, хотя онъ и лечился у какого-то испанскаго епископа, славившагося своимъ искусствомъ по этой части. Въ то же время до него дошли слухи, что виртембергскій герцогъ очень желалъ-бы отправить его на тотъ свѣтъ, и Гутену приходилось остерегаться тайныхъ

убійць. Къ этому присоединились еще болѣе серьезныя опасности, связанныя съ ходомъ тогдашнихъ политическихъ дѣлъ. Въ Италіи хозяйничали французы со своимъ Францискомъ; авторитетъ императора окончателно палъ; надъ нимъ издѣвались въ театрахъ, потѣшались въ пасквиляхъ и карикатурахъ. Все это тяжело отзывалось въ нѣмецкомъ сердцѣ Гутена. Однажды Гутенъ ѣхалъ съ однимъ знакомымъ въ Витербо, и въ то-же время по той-же дорогѣ проѣзжалъ французскій посоль со свитой. Гутенъ, услышавъ, что пятеро изъ этихъ французовъ насмѣхались надъ императоромъ, горячо сталъ защищать его. Возникла ссора; пять французовъ напали на Гутена, но онъ убилъ одного, а остальныхъ обратилъ въ бѣгство. Но ему послѣ такого подвига и самому пришлось спасать свою жизнь, и онъ бѣжалъ въ Болонью.

Въ Болоньѣ Гутенъ близко сошелся съ молодыми Гейдерами, изучавшими греческихъ классиковъ подъ руководствомъ Кохлеуса, тоже нѣмца, и грека Трифона. Этотъ Кохлеусъ принадлежалъ сначала къ либеральной гуманистской партіи и держался Лютера, потомъ изъ трусливой осторожности отстранился отъ движенія. Гутенъ произвелъ сильное впечатлѣніе на Кохлеуса, который бранилъ Германію за то, что она пренебрегаетъ человѣкомъ такихъ дарованій и такого патріотизма; онъ удивлялся его остроумію, его сатирическому таланту и называлъ его вторымъ Лукіаномъ. Но, подобно Мутіану, Эразму и Меланхтону, Кохлеусъ не могъ примириться съ порывистымъ, страстнымъ характеромъ Гутена и, будучи заочнымъ его другомъ, не могъ долго ужиться съ нимъ въ одномъ городѣ. Кромѣ занятій греческими классиками, Гутенъ занимался въ Болоньѣ правомъ, писалъ стихи, составилъ діалоги въ подражаніе Лукіану и лечился отъ болѣзни, сдѣлавшейся его неразлучной спутницей и особенно усилившейся въ холодную зиму 1516 года. Едва онъ успѣлъ немного поправиться весной, какъ въ городѣ начались студенческіе беспорядки: нѣмцы вздорили съ ломбардцами, дрались на улицахъ холоднымъ и огнестрѣльнымъ оружіемъ, осаждали дома. Мятежъ продолжался два дня, а затѣмъ начался судъ. Гутенъ думалъ-было выступить адвокатомъ своихъ земляковъ, но губернаторъ, генуезецъ изъ фамиліи Фіеско, былъ такъ раздраженъ противъ нѣмцевъ вообще и противъ Гутена въ частности, что поэтъ-рыцарь принужденъ былъ бѣжать. Нѣсколько дней прожилъ онъ въ Ферарѣ, затѣмъ

отправился въ Венецію, которую не разъ проклиналъ въ своихъ стихотвореніяхъ. Здѣсь его принялъ, какъ лучшаго друга, знаменитый государственный челоуѣкъ и ученый, Эгнаціусъ, которому Гутенъ привезъ поклонъ отъ Эразма. Проживъ нѣсколько времени въ кругу блестящихъ и радушныхъ венеціанскихъ гуманистовъ, Гутенъ скоро вернулся въ Германію и впервые принялъ здѣсь серьезное участіе въ религіозно-общественной борьбѣ, ознаменовавшей XVI столѣтіе.

Въ ряду нѣмецкихъ гуманистовъ одну изъ самыхъ видныхъ ролей игралъ Рейхлинъ, котораго, вмѣстѣ съ Эразмомъ, Гутенъ называлъ „глазами Германіи“. Рейхлинъ былъ первымъ нѣмецкимъ ученымъ новаго времени, и въ то время, какъ даже Эразмъ былъ только „двухъ-язычнымъ“, Рейхлинъ славился, какъ „трехъ-язычное чудо“. Владѣя латынью, которую онъ значительно очистилъ отъ средневѣкового мусора, Рейхлинъ выучился по-гречески у грековъ, переселившихся на Западъ послѣ взятія Константинополя, и по-еврейски у евреевъ. Онъ первый ввелъ изученіе еврейскаго языка въ Европѣ и греческаго въ Германіи. Филологія и философія были любимѣйшими занятіями Рейхлина; профессіей-же его была юриспруденція, которой онъ не терпѣлъ, а занимался только по необходимости. Эразмъ въ этомъ отношеніи былъ счастливѣе его, имѣя возможность посвящать все свое время любимымъ занятіямъ. И во многихъ другихъ отношеніяхъ, начиная съ вѣѣшности, эти два представителя гуманизма представляли изъ себя взаимную противоположность. Эразмъ былъ невзраченъ, хилъ и постоянно берегъ свое здоровье; Рейхлинъ-же силенъ здоровьемъ и при случаѣ проводилъ за виномъ цѣлыя ночи съ друзьями. Эразмъ былъ ловокъ и уклончивъ; Рейхлинъ-же прямодушенъ, откровененъ, нерѣдко грубъ, но и онъ не былъ героемъ, не презиралъ опасностей, хотя и не уклонялся отъ нихъ съ такою хитростью, какъ Эразмъ. Послѣднему была свойственна иронія; онъ былъ представителемъ просвѣщенія и рационалистомъ своего времени; Рейхлинъ-же имѣлъ наклонность къ мистическому, къ таинственному, и въ тѣсной связи съ этой наклонностью была его любовь къ еврейскому языку, его слабость къ еврейскимъ книгамъ. Рейхлинъ интересовался еврейскимъ языкомъ, какъ филологъ и богословъ, но въ то-же время этотъ языкъ былъ для него тѣмъ, на которомъ говорили Богъ и ангелы, на которомъ

тайны высшей мудрости были переданы Адаму, патриархамъ и Моисею и потомъ изложены въ книгахъ позднѣйшаго іудейства. Этотъ мистицизмъ поддерживался въ Рейхлинѣ еще изъ другого источника, такъ-какъ онъ былъ хорошо знакомъ съ пифагорейской философiей и на него имѣлъ вліяніе извѣстный итальянскій мистикъ Пикъ-де Мирандола, въ головѣ котораго платонизмъ и пифагореизмъ комбинировались съ тайнымъ ученіемъ еврейской кабалы. У Рейхлина мы видимъ отчасти тотъ-же мистическій эклектизмъ. Богъ, говоритъ онъ, есть любовь, человѣкъ — надежда; связь между ними — вѣра. Посредствомъ таинственнаго единенія оба они могутъ такъ слиться, что человѣчнаго Бога и божественнаго человѣка можно считать однимъ существомъ; единеніе-же совершается посредствомъ „чудотворныхъ словъ“, таинственныхъ именъ *Иегова* и *Иисусъ*. Затѣмъ Рейхлинъ болѣе и болѣе запутывается въ своихъ мистическихъ построеніяхъ, отыскивая таинственный смыслъ въ числахъ, какъ пифагорейцы, и въ буквахъ, какъ раввины. Въ каждомъ словѣ, въ каждой буквѣ, въ каждомъ азбучномъ звукѣ ветхаго завѣта онъ открываетъ тайны; въ притчахъ Соломона, напр., XXX, 31, онъ видитъ пророчество, что послѣ Максимилиана германскимъ императоромъ будетъ Фридрихъ саксонскій. Но независимо отъ этого мистицизма, Рейхлинъ игралъ важную роль въ умственномъ движеніи своего времени, особенно въ качествѣ первокласснаго знатока оригинальнаго языка библіи. Авторитетъ не подавлялъ его. „Св. Іеронима, — говорилъ онъ, — я почитаю, какъ ангела, Николая Лирскаго — какъ учителя, а истину — какъ Бога“. При такихъ принципахъ ему приходилось то-и-дѣло уличать въ невѣрности вульгату, общепринятый и освященный папскимъ авторитетомъ переводъ библіи; а такъ-какъ свои поправки этого перевода онъ дѣлалъ, руководясь еврейскимъ оригиналомъ, то его и не замедлили заподозрить въ іудействѣ. Рейхлину было уже за 50 лѣтъ; онъ многое пережилъ, долго путешествовалъ по Франціи и Италіи, занималъ важныя государственныя должности, возведенъ въ дворянство императоромъ Фридрихомъ III, бывалъ друженъ съ государями, бывалъ и гонимъ ими и теперь жилъ со своей второй женой въ своемъ имѣніицѣ около Штутгарта, разводя павлиновъ и занимаясь наукой.

Въ сентябрѣ 1509 года къ Рейхлину явился крещенный еврей Пфедеркорнъ, наглый пройдоха, который, мстя своимъ бывшимъ

единовѣрцамъ, писалъ памфлеты о необходимости обратить всѣхъ евреевъ въ христіанство или изгнать ихъ и сжечь ихъ книги. Такъ какъ эти памфлеты не достигли желанной цѣли, то Пфеферкорнъ отправился къ императору Максимилиану, находившемуся въ походѣ противъ Венеціи, и съ помощію продажныхъ чиновниковъ выхлопоталъ себѣ указъ, который обязывалъ евреевъ имперіи всѣ книги, направленныя противъ христіанской вѣры или противорѣчащія іудейской вѣрѣ, „предъявлять намъ и имперіи вѣрному Іогансену Пфеферкорну, который снабжается полномочіемъ, при содѣйствіи мѣстныхъ властей и приходскихъ пасторовъ, отбирать и истреблять ихъ“. Пфеферкорнъ предъявилъ этотъ указъ Рейхлину, приглашая его ѣхать вмѣстѣ на Рейнъ охотиться на жидовъ, но Рейхлинъ отказался подъ предлогомъ занятій. Черезъ годъ ему былъ предложенъ именемъ императора вопросъ: „не противны-ли нашей религіи еврейскія книги, какія существуютъ, сверхъ 10 заповѣдей Моисея, пророковъ и псалтыря?“ Тотъ-же вопросъ былъ предложенъ инвизитору Гохштратену, крещеному еврею Корбену и четыремъ университетамъ: кельнскому, майнцкому, эрфуртскому и гейдельбергскому. Рейхлинъ отвѣчалъ, что по этому вопросу можно многое сказать и за, и противъ, но для полученія надлежащаго вывода слѣдуетъ рассортировать еврейскія книги на классы. Такимъ образомъ, мы получимъ: 1) священное писаніе ветхаго завѣта, 24 книги, которыя, понятно, сожженію подлежатъ не могутъ. 2) Талмудъ, сборникъ толкованій моисеева закона разнаго времени. Слѣдуетъ-ли сжечь талмудъ, — этотъ вопросъ могутъ рѣшить только люди, хорошо знакомые съ языкомъ, на которомъ онъ написанъ, да и самъ Рейхлинъ знакомъ съ талмудомъ только изъ опроверженій, написанныхъ противъ него, такъ-какъ ему до сихъ поръ не удалось даже за большія деньги пріобрѣсти экземпляръ этой книги. Если же вѣрить опроверженіямъ, то въ талмудѣ многое направлено противъ христіанства, — извѣстно вѣдь, что евреи не признаютъ Христа Богомъ; но въ талмудѣ есть и кое-что доброе, которое не безъ пользы могли-бы усвоить себѣ и христіане. 3) Есть у евреевъ „высокая тайна рѣчей и словъ божіихъ, бабала“, которую такъ уважалъ самъ Рейхлинъ, хотя и не упоминаетъ о томъ въ своей запискѣ. 4) Толкованія книгъ ветхаго завѣта. 5) Книги проповѣдей и обрядовъ, относящіяся къ

богослуженію, дозволенному евреямъ императорскими и папскими законами. 6) Еврейскія книги по разнымъ отраслямъ знанія можно сжигать только въ томъ случаѣ, если они обучаютъ запрещеннымъ вещамъ, вродѣ вѣдовства. 7) Въ числѣ поэтическихъ произведеній евреевъ, басенъ и т. д., есть нѣсколько книжекъ, направленныхъ къ осмѣянію Христа, Богоматери и апостоловъ; „ихъ, если у кого найдутся, слѣдуетъ сжигать, но не иначе, какъ послѣ надлежащаго разслѣдованія суда“. Сжигать-же ихъ книги всѣ безъ различія значило-бы укоренять въ нихъ мнѣніе, что христіане не довѣряютъ правотѣ собственнаго дѣла; „не сжигать ихъ слѣдуетъ, а съ помощію божіею опровергать разумными доводами“, для чего Рейхлинъ предлагаетъ императору открыть кафедры еврейскаго языка. Всѣ другіе отвѣты, кромѣ рейхлинова, были противнаго мнѣнія; даже всѣ спрошенные университеты требовали отобранія у евреевъ ихъ книгъ, кромѣ ветхаго завѣта, а майнцскій университетъ хотѣлъ даже и ветхій завѣтъ подвергнуть надлежащей цензурѣ. Но императоръ, на котораго записка Рейхлина произвела впечатлѣніе, не рѣшился тотчасъ на строгія мѣры и отложилъ дѣло до разсмотрѣнія его рейхстагомъ. Пфеферкорнъ выходилъ изъ себя и въ памфлетѣ „Ручное зеркало“ уличалъ Рейхлина въ томъ, что его подкупили евреи высказаться въ ихъ пользу и что онъ даже плохо знаетъ по-еврейски, еврейскій-же словарь составлялъ не самъ, а нанималъ евреевъ. Этотъ памфлетъ Пфеферкорнъ сильно распространялъ на франкфуртской ярмаркѣ 1511 года. Рейхлинъ жаловался императору, но, не получивъ удовлетворенія, написалъ „Глазное Зеркало“, доказывая въ немъ, что „выкрестъ изъ жидовъ оболгалъ его въ своемъ памфлетѣ не менѣе 34 разъ“. Съ неподдѣльнымъ негодованіемъ отвергаетъ Рейхлинъ обвиненіе въ подкупѣ, утверждая, что „во всю свою жизнь, съ дѣтства до настоящаго времени, онъ ни отъ евреевъ, ни отъ кого-бы то ни было не бралъ, не получалъ ни гроша, а тѣмъ менѣе при составленіи упомянутой записки, и кто говоритъ или пишетъ о немъ иначе, въ оскорбленіе его чести, тотъ лжетъ, какъ легкомысленный и подлый негодай“. Весь пасквиль Пфеферкорна Рейхлинъ называетъ гнусной спекуляціей выкреста: продавая его, „онъ выручилъ за меня больше денегъ, чѣмъ Іуда за Христа“. Къ осенней ярмаркѣ Пфеферкорнъ снова появился во Франк-

фуртъ и навалъ приходскаго пастора Мейера проповѣдывать противъ іудеевъ и защитника ихъ Рейхлина. Корыстолюбивый Мейеръ, просмотрѣвъ „Глазное зеркало“, представилъ его въ богословскій университетъ въ Кельнѣ, какъ вредную еретическую книгу; факультетъ, состоявшій большею частію изъ доминиканскихъ монаховъ, поручилъ разсмотрѣніе книги своему члену, профессору Арнольду. Рейхлинъ струсилъ и написалъ къ Арнольду чрезвычайно уступчивое, даже унижительное письмо, умоляя его не заводить дѣла. „Имѣй ко мнѣ снисхожденіе, и я заплачу тебѣ за все. Повели, и я вложу мечъ свой въ ножны. Прогрени прежде, чѣмъ поражать молніей!“ Но доминиканцы были неумолимы и въ отвѣтъ, посланномъ Рейхлину, обвиняли его въ подстрекательствѣ евреевъ къ новымъ насмѣшкамъ надъ христіанами, въ искаженіи смысла библейскихъ текстовъ и т. д., но снисходи къ его заблужденіямъ и надѣясь, что онъ исправится, объявляли ему прощеніе. Рейхлинъ благодарилъ факультетъ за снисхожденіе, признавался въ ограниченности своего ума и заявлялъ, что въ качествѣ дважды женатаго міранина онъ не можетъ имѣть такого правильнаго сужденія по вопросамъ теологіи, какъ высокій факультетъ. Но доминиканцамъ этого было мало; они потребовали, чтобы Рейхлинъ уничтожилъ всѣ экземпляры своей брошюры, печатно заявивъ, что онъ во всемъ согласенъ со св. католическою церковью и вмѣстѣ съ нею проклинаетъ жидовъ съ ихъ безбожнымъ талмудомъ; въ противномъ случаѣ ему грозили судомъ. Рейхлина, наконецъ, взорвало. На требованіе факультета онъ отвѣчалъ отказомъ и новымъ, написаннымъ уже по-нѣмецки, объясненіемъ къ своему памфлету, а университетскіе доминиканцы формально обвинили его въ ереси. Рейхлинъ защищался, и въ завязавшейся, такимъ образомъ, полемикѣ обѣ противныя стороны осыпали другъ друга самою отборною бранью. Рейхлинъ называлъ Пфедеркорна ядовитою гадиною, чудовищемъ, а его духовныхъ покровителей бѣшенными собаками, ослиами, свиньями и т. д. Въ юнѣ 1513 года защита Рейхлина была представлена императору, и онъ велѣлъ прекратить полемику, но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ тотъ же императоръ предписалъ рейнскимъ епископамъ и инквизиторамъ отбирать и уничтожать памфлетъ Рейхлина, а кельнскіе доминиканцы послали этотъ памфлетъ на разсмотрѣніе пяти нѣмецкимъ университетамъ и парижскому. **Всѣ**

университеты болѣе или менѣе рѣшительно высказались противъ Рейхлина, а парижскій, послѣ 44-хъ засѣданій, почти единогласно рѣшилъ книгу сжечь, а автора принудить къ отреченію. Вслѣдствіе этого, инквизиторъ Гохштратенъ потребовалъ Рейхлина къ своему суду въ Майнцъ, на 9 октября 1513 года. Рейхлинъ апелировалъ къ папѣ, но на судъ явился въ сопровожденіи двухъ адвокатовъ. Собралось множество зрителей; доминиканцы присутствовали цѣлою толпой, и инквизиторъ уже предчувствовалъ наслажденіе при видѣ костра, на которомъ должна была сгорѣть ненавистная книга; вдругъ прибылъ курьеръ изъ Ашафенбурга, черезъ котораго архіепископъ извѣщалъ, что инквизиціонный судъ отмѣненъ и апеллія Рейхлина принята папою. Судьи, назначенные Львомъ X, рѣшили, что книга Рейхлина не содержитъ въ себѣ ничего вреднаго, и присудили инквизитора Гохштратена за его несправедливый приговоръ къ штрафу въ 111 флоринновъ; но доминиканцы не унывали, и инквизиторъ, будучи въ Римѣ, съ помощью взятокъ добился того, чтобы дѣло было перерѣшено. Новое слѣдствіе было поручено комисіи кардиналовъ подъ предсѣдательствомъ Гримани, котораго доминиканцы старались застрашать угрозами, что въ случаѣ неблагопріятнаго для нихъ рѣшенія они созовутъ вселенскій соборъ и отдѣлятся отъ римской церкви. Пфеферкорнъ тоже продолжалъ мутить воду и издалъ „Набатный колоколъ“, а чтобы его имени не смѣшали съ соименнымъ ему евреемъ, сожженнымъ въ Галле, онъ обозначилъ на заглавномъ листѣ своего новаго памфлета: „сочиненіе Іог. Пфеферкорна, котораго никогда не сожигали“. Борьба принимала общеевропейское значеніе; съ одной стороны стояли всѣ поборники средневѣкового мрака и застоя, съ другой—всѣ сторонники просвѣщенія и гуманизма, принявшіе названіе рейхлинистовъ и дружно дѣйствовавшіе ради общаго дѣла. Въ 1516 году судъ рѣшилъ дѣло въ пользу Рейхлина, но Левъ X струсиль мести доминиканцевъ и издалъ *Mandatum de supersedendo*, т. е. указъ о прекращеніи этого судебного спора. Но и это было побѣдой для прогрессивной партіи, и шести-лѣтняя борьба кончилась для Рейхлина полнымъ торжествомъ.

Дѣло Рейхлина сильно интересовало Гутена и весь кружокъ его, особенно Крота Рубіана и Эобана Гессе; позтѣ-же воспѣвалъ его въ стихотвореніи „Торжество Капціона“, какъ называли Рейх-

лина по-гречески. Гутенъ также много хлопоталъ въ Римѣ за Рейхлина и своими письмами старался поддерживать въ борьбѣ духъ его. „Заклинаю тебя твоей жизнію, — писалъ онъ ему изъ Болоньи въ 1517 году, — не предавайся мрачнымъ предчувствіямъ. Къ чему говорить: „если я скоро умру?“ Кто жилъ, какъ ты, тотъ не умираетъ. Не падай духомъ, храбрый Капніонъ. Значительная доля твоего труда уже перешла на наши плечи. Давно уже готовится пожаръ, который въ надлежащее время вспыхнетъ яркими пламенемъ. Самъ ты можешь оставаться спокойнымъ. У меня есть товарищи, которые по возрасту и своимъ отношеніямъ вполне годятся для этой борьбы“. Въ то-же время Гутенъ писалъ о Рейхлинѣ своему другу Пиркгеймеру: „Чего боишься ты за нашего Капніона, невинность котораго гарантируетъ его отъ человѣческихъ нападеній? Его преслѣдуютъ тысячи дурныхъ людей, но защищаютъ нѣсколько хорошихъ. Неужели-же потомство станетъ на сторону дурныхъ, а не хорошихъ? N N (папа) осудитъ его, подкупленный золотомъ доминиканцевъ, но Эразмъ и всѣ лучшіе люди будутъ свидѣтелями истины. Что ни говори, а стрѣла Эразма, пущенная въ негодяя, стоитъ десяти проклятій этого флорентійца. Пусть дѣлаютъ, что хотятъ, но правота нашей партіи будетъ такъ-же извѣстна всему міру, какъ понятна каждому умному человѣку грѣховность святѣйшаго Льва“.

„Стрѣла Эразма“, о которой упоминаетъ Гутенъ въ этомъ письмѣ, была уже пущена, и въ началѣ 1516 г. онъ получилъ изъ Германіи извѣстіе о появленіи направленной на противниковъ Рейхлина знаменитой сатиры *Epistolae obscurogum virorum*, „Письма темныхъ людей“. Получивъ экземпляръ этой книги, Гутенъ писалъ въ Лейпцигъ: „Темныхъ людей“ я получилъ. Софисты, какъ слышно, не только подозрѣваютъ, но даже прямо указываютъ на меня, какъ на автора. Защити отсутствующаго друга и напиши мнѣ подробно, что они затѣваютъ“. Въ Италиі тоже многіе считали Гутена авторомъ этихъ писемъ; въ Германіи-же и Англіи, какъ извѣстно, эта сатира сначала была принята монахами за подлинныя письма благочестивыхъ и многоученыхъ патеровъ, противниковъ Рейхлина и гуманизма. Письма начинаются посланіемъ бакалавра Томаса Лангшнейдера къ его бывшему учителю Ортуину Граціусу, на разрѣшеніе котораго предлагается спорный вопросъ, возникшій на одной ученой пирушкѣ въ Лейпцигѣ. Со-

бравшись у новаго магистра, доктора, магистры- и лиценціаты ѣли хорошо зажаренную рыбу, куриць, каплуновъ, пили мальвазію, рейнвейнъ, пиво и спорили между прочимъ о томъ, какъ правильнѣе назвать доктора теологіи: слѣдуетъ-ли обычный титулъ его *magister poster*, нашъ учитель, выговаривать *magister poststrandus* или-же, на оборотъ, *poster magistrandus*? Магистръ Варземель, ученый скотистъ, высказался за послѣднюю форму, потому что *magistrare* есть глаголь, значущій *magistrum facere* (дѣлать магистра), а отсюда *magistrandus*; напротивъ, *postro*, *postrare* неупотребительно и въ лексиконѣ не встрѣчается. Съ этимъ несогласенъ магистръ Деличъ (дѣйствительное лицо, лейпцигскій професоръ), по мнѣнію котораго не все равно, стоитъ-ли *poster* передъ или послѣ *magister*, такъ-какъ *magister poster* означаетъ д-ра теологіи, а *poster magister* всякаго мастера свободныхъ или несвободныхъ искусствъ; слѣдовательно, правильно будетъ *magister poststrandus*, ибо хотя глаголь *postrare* и не употребителенъ, но по Горацию (*Ars poetica*) дозволяется составлять новыя слова. Пишущій проситъ Ортуина сообщить свое мнѣніе по этому вопросу и вмѣстѣ съ тѣмъ извѣститъ его, какъ идетъ ихъ дѣло съ Рейхлиномъ и правда-ли, что этотъ плутъ еще не отрекся отъ своихъ заблужденій? Вся остальная переписка ученыхъ мужей въ томъ-же родѣ: ихъ волнуютъ только такіе вопросы, какъ о *magister poster*. Ортуинъ однажды выразился объ одномъ извѣстномъ *magister poster*, что онъ членъ (*membrum*) десяти университетовъ, но остроумный д-ръ Клорбіусъ обратилъ его вниманіе на то, до какой степени неумѣстно говорить о членѣ нѣсколькихъ тѣлъ, такъ-какъ хотя одно тѣло и имѣетъ нѣсколько членовъ, но одинъ членъ не можетъ принадлежать нѣсколькимъ тѣламъ. Вмѣсто того, чтобы называть упомянутаго *magister poster* членомъ десяти университетовъ, не лучше-ли назвать университеты его членами? Но и это будетъ не совсѣмъ ловко. Какъ-же быть? Кто числится въ десяти университетахъ, рѣшаетъ докторъ Клорбіусъ, — тотъ долженъ называть себя во множественномъ: *членами* десяти университетовъ, такъ-какъ число въ сущности ничего не значить и Виргилій называетъ Алексиса *delicias* (наслажденіями) его господина. Еще вопросъ: нѣкто съѣлъ яйцо, въ которомъ уже былъ зародышъ, — съѣлъ, а потомъ вспомнилъ, что день-то послѣдній — среда, и его начала мучить совѣсть. Друзья утѣшаютъ его,

говори, что щипленокъ, пока не вылутился, все равно, что червякъ въ сырѣ или вишнѣ, которая дозволено ѣсть и въ постъ. Но пишущій не совѣтъ доволенъ такимъ объясненіемъ и обращается по этому поводу къ Ортуину, спрашивая его мнѣнія, слѣдуетъ ли считать червей постнымъ кушаньемъ, какъ рыбу, или-же скоромнымъ?.. Ломая голову надъ рѣшеніемъ подобныхъ вопросовъ, темные люди обнаруживаютъ рѣшительное невѣжество въ области классической древности и языковъ, считая вреднымъ изученіе древнихъ писателей, производя слово magister отъ magis, болѣе, и ter, потому что магистръ знаетъ втрое болѣе, чѣмъ обыкновенный смертный, или-же отъ magis и tergeo, потому что онъ долженъ задавать ученикамъ страху, и т. д. Особенно ненавистны темнымъ людямъ поэты, съ которыми они постоянно сталкиваются и которыхъ всѣхъ готовы были-бы сжечь на кострѣ. То они заводятъ споръ о трирскомъ хитонѣ, который одинъ молодой поэтъ называетъ старымъ вшивымъ кафтаномъ; то препираются о лежащихъ въ Кельнѣ рельевахъ трехъ царей, о которыхъ тотъ-же вольнодумецъ замѣчаетъ, что онѣ принадлежать тремъ вестфальскимъ мужикамъ; то о дѣлѣ Рейхлина и Гохштратена. Крайне потѣшны походенія магистра Шлаурафа, который путешествуетъ по всѣмъ университетамъ Германіи, агитируя противъ Рейхлина, и всюду получаетъ отъ поэтовъ плуки, потасовки и т. д. Особенно солоно пришлось магистру въ гостинницѣ „Корона“ въ Майнцѣ, настоящемъ притонѣ всевозможныхъ поэтовъ и вольнодумцевъ, которые своимъ буйствомъ и сквернословіемъ не давали ему покоя. Тутъ появился и Ульрихъ фон-Гутенъ, „бестія“, которая однажды выразилась, что еслибы монахи сдѣлали ему то-же, что они сдѣлали Рейхлину, то онъ объявилъ-бы имъ войну и у каждаго попавшагося ему въ руки обрѣзывалъ-бы носъ и уши. Кorespondентъ Ортуина радуется, что Гутену — „чтобъ черти побрали его“ — не удалось до сихъ поръ получить доктора. Авторы писемъ много говорятъ и о вольныхъ, еретическихъ мысляхъ, какія на каждомъ шагѣ высказываются въ обществѣ. Магистръ Лампъ, напр., слышалъ жалобы на то, что Римъ пожираетъ множество нѣмецкихъ денегъ, а высшее духовенство погрязло въ роскоши и развратѣ. Одинъ вюрцбургскій магистръ жалуется на еретическаго проповѣдника Рейса, который ничего не хочетъ знать, бромъ ученія христова, и не уважаетъ даже монашеской ряссы на

томъ основаніи, что будто-бы Богъ не смотритъ на платье. Когда одинъ братъ сказалъ съ кафедры, что все, означенное въ индульгенціи, такъ-же истинно, какъ евангеліе, и кто получаетъ ее, того самъ Христосъ разрѣшаетъ отъ грѣховъ, то Рейсъ дерзнулъ отвѣтить ему такъ: „ничего невозможно сравнить съ евангеліемъ, и блаженъ будетъ только тотъ, кто живетъ правильно. Если кто живетъ дурно, то купи онъ себѣ сто индульгенцій, онъ будетъ осужденъ“. И не одинъ вопросъ объ индульгенціяхъ, но множество другихъ, поднятыхъ потомъ Лютеромъ, были вполне определенно формулированы въ „Письмахъ темныхъ людей“. Магистръ Клингезоръ, напр., пишетъ объ одномъ проповѣдникѣ, который текстъ пророчества: „и обыщу я Іерусалимъ съ фонарями, и захвачу людей“ и т. д. толковалъ такъ: „я обыщу мою церковь, чтобы преобразовать ее и очистить отъ заблужденій, обыщу съ фонарями, т. е., при помощи такихъ просвѣщенныхъ людей, какъ Рейхлинъ, Эразмъ, Мутіанъ, Руфъ и др., и изгоню теологовъ, которые упорно держатся своей бессмысленной системы, а вмѣсто ихъ пошлю другихъ, понимающихъ истинный смыслъ слова божія“. Но темные люди не сознаютъ всей серьезности надвигающейся на нихъ грозы; они болѣе всего заняты пирушками и женщинами. Правда, они дали обѣтъ воздержанія и безбрачія, но развѣ Соломонъ (гл. XI, ст. 9) не говорилъ: „наслаждайся, юноша, юностью своею?“ И онъ-же (гл. IV, ст. 11): „если двое лежать рядомъ, то имъ тепло; одному-же не тепло отъ своего тѣла“. А Самсонъ и Делія? А царь Давидъ? „Я вѣдь не сильнѣе Самсона, — говоритъ магистръ Конрадъ, — и не мудрѣе Соломона; слѣдовательно, могу дозволить себѣ по-временамъ удовольствіе, которое, по словамъ врачей, помогаетъ отъ меланхоліи. Ну а потомъ покаешься, и Богъ проститъ. Вѣдь и Богъ — любовь; слѣдовательно, любовь — не зло. Опровергните-ка!“ Письма вообще наполнены скандальными анекдотами о духовенствѣ... Между прочимъ, выведена красивая жена Пфферкорна, который дѣлится ею съ Ортуиномъ и другими друзьями, не переставая быть добрымъ католикомъ. Вообще, Пфферкорну и Рейхлину отведено въ письмахъ очень много мѣста, и противники Рейхлина подвергнуты самому беспощадному осмѣянію, о характерѣ котораго, впрочемъ, и о впечатлѣніи, произведенномъ сатирою на современниковъ, невозможно судить не только по братскому изложенію писемъ, но да-

же по полному ихъ переводу. Дѣло въ томъ, что ученые мужи переписываются между собой на самомъ варварскомъ латинскомъ языкѣ, дѣлая бездну всевозможныхъ ошибокъ и въ то-же время считая себя первоклассными стилистами. Основательное знаніе классическихъ языковъ было тогда непремѣннымъ достояніемъ каждаго передового человѣка, и эта сторона сатиры, потерявшая теперь всякое значеніе, была въ свое время существенною, такъ-какъ подрывала въ самомъ корнѣ авторитетъ католической схоластики. Всѣ эти *magistri nostri* изображены круглыми дураками, которые сами-же наивнѣйшимъ образомъ разсказываютъ о своей глупости и обнаруживаютъ свое невѣжество, какъ, напримѣръ, одинъ вормскій магистръ, пишущій Ортуину изъ Рима: „вы сказали мнѣ: „Петръ, когда будете въ Римѣ, посмотрите, нѣтъ ли новыхъ книгъ и пошлите мнѣ“. Новая книга есть, она здѣсь напечатана, и такъ-какъ вы—поэтъ, то думаю, что извлечете изъ нея много пользы. Одинъ нотаріусъ, знающій въ этомъ толкъ, говорилъ мнѣ, что эта книга—источникъ поэзіи, а сочинитель ея, по имени Гомеръ, отецъ всѣхъ поэтовъ. Онъ говорилъ также, что есть еще другой Гомеръ, греческій. Но я отвѣтилъ: на что мнѣ греческій? Латинскій лучше, такъ-какъ мнѣ нужно послать его въ Германию, къ магистру Ортуину, который вовсе не нуждается въ греческихъ бредняхъ. Я спросилъ его также, о чемъ говорится въ книгѣ, и онъ сказалъ, что о людяхъ, которые назывались греками и вели войну съ другими людьми, которые назывались троянцами. У этихъ троянцевъ былъ большой городъ; греки осадили его и стояли подъ нимъ цѣлые 10 лѣтъ; троянцы иногда выходили къ нимъ, дрались съ ними и убивали другъ друга, такъ-что вся равнина была покрыта кровью, и вода отъ крови тоже сдѣлалась красною, и былъ слышенъ шумъ въ небѣ, и кто-то бросилъ камень, котораго не могли поднять 12 человѣкъ, а лошадь начала говорить и предсказывать. Но я полагаю, что это все враки, и самая книга кажется мнѣ неподлинною“. Сатира эта быстро получила чрезвычайную популярность, и даже многіе изъ передовыхъ людей того времени были крайне недовольны ея рѣзкимъ тономъ. Отчасти недоволенъ былъ даже Эразмъ, а Лютеръ называлъ автора ея свиньей. Что-же касается *magistri nostri*, то они выхлопотали у папы указъ о сожженіи книги и даже пустились въ полемику, выражая въ ней свое сожалѣніе о

тѣхъ временахъ, когда писакамъ, подобнымъ авторамъ „Писемъ“, вырывали языки и отрубали руки.

„Письма темныхъ людей“ принадлежали не одному перу, и въ составленіи ихъ участвовало нѣсколько человѣкъ, между прочимъ, Кротъ и Ульрихъ Гутенъ. Вернувшись изъ Италіи, Гутенъ сошелся въ Аугсбургѣ съ образованнымъ патриціемъ Пейтингеромъ, который не замедлилъ доложить императору объ его талантѣ, его стихотвореніяхъ, его несчастіяхъ и патриотизмѣ. Максимилианъ пожелалъ торжественно вѣнчать его, какъ поэта. Въ торжественной процесіи 12 іюля 1517 г. Пейтингеръ ввелъ Гутена къ императору, который въ присутствіи всего двора возложилъ на него лавровый вѣнокъ, наименовалъ его поэтомъ и ораторомъ, имѣющимъ право преподавать краснорѣчіе и поэзію въ университетахъ и подлежащимъ только суду самого императора. Друзья хотѣли-было пристроить его на придворную службу, но Гутенъ долго не рѣшался сквать своей свободы и отправился въ небольшое путешествіе по отечеству. Въ это-же время онъ издалъ сочиненіе Лоренцо Валлы о такъ-называемомъ *даръ Константина*, на легендѣ о которомъ папы основывали права своей свѣтской власти. Гутенъ написалъ къ этой книгѣ предисловіе и посвятилъ изданіе самому папѣ, Льву X. Въ своемъ предисловіи Гутенъ говоритъ Льву комплименты, а предшествовавшихъ ему папъ называетъ прямо „ворами и разбойниками“, указывая на ихъ „безконечные грабежи“, торговлю царствомъ небеснымъ, продажу церковныхъ должностей и т. д. О впечатлѣніи, произведенномъ этою книгою на современниковъ, можно судить по тому, что Лютеръ, прочитавъ ее, окончательно убѣдился, что папа—антихристъ. Въ то-же время Гутенъ издалъ письмо свое къ графу Нуенару по дѣлу Рейхлина и Гохштратена. Онъ говоритъ, что съ удовольствіемъ прочиталъ доносъ этого инквизитора папѣ: чѣмъ наглѣе и безсовѣстнѣе будутъ эти господа, тѣмъ лучше, тѣмъ скорѣе нѣмецкій народъ раскроетъ свои глаза и пойметъ ихъ. Даже въ Италіи, къ стыду его, ему указывали не разъ на то позорное рабство, въ какомъ находятся нѣмцы у этихъ монаховъ. Мы дозволяемъ властвовать надъ собою и угнетать себя людямъ, которыхъ содержимъ для отправленія службъ божіей. Ничто не можетъ быть наглѣе, необузданнѣе, безсовѣстнѣе этой породы, и, умѣстившись „въ замѣ своей наглости, на кафедрѣ“,

они не щадятъ своими клеветами ничьего добраго имени, ничьей репутаціи. Гутенъ указываетъ особенно на двухъ проповѣдниковъ, отличавшихся въ дѣлѣ Рейхлина: невѣжественнаго Мейера и Цеендера. „Этотъ негодяй никогда не проповѣдуетъ невѣжественной толпѣ безъ того, чтобы не подпустить яда; онъ не можетъ открыть рта безъ ругательствъ; всѣ порядочные люди у него шельмы“. Такъ онъ поносилъ Рейхлина, поносилъ и его друга, Гутена. Это — воплощенная зависть. Онъ похожъ на скорпіона. Подобно тому, какъ хвостъ скорпіона всегда готовъ ужалить, фізіономія этого попишки постоянно имѣетъ такое выраженіе, будто онъ замышляетъ какое-нибудь зло, выдумываетъ клевету, готовится обманъ, однимъ словомъ, припасаетъ ядъ. „Да проститъ мнѣ Господь, если я каждую встрѣчу съ этимъ мошенникомъ считаю за дурной знакъ и уклоняюсь съ дороги, по которой онъ идетъ. И такихъ-то апостоловъ имѣетъ Германія, такихъ проповѣдниковъ евангелія! Ихъ еще можно было терпѣть, пока они исправляли съ кротостію недостатки людей; теперь-же они дозволяютъ себѣ все и оскорбляютъ, кого хотятъ; въ ихъ проповѣди нѣтъ и слѣдовъ религіозной ревности и благочестія; вмѣсто слова божія, они изрыгаютъ ругательства, мстятъ въ святилищѣ за частныя обиды, обижаютъ сами, губятъ невинныхъ. Что мѣшаетъ вамъ прогнать, наконецъ, этихъ ханжей палками и камнями?“ Борьбу съ этими внутренними врагами христіанства Гутенъ считаетъ важнѣе войны съ турками и надѣется на побѣду, предвѣстниками которой служатъ возрожденіе наукъ, паденіе варварства, уваженіе къ истиннымъ и презрѣніе къ ложнымъ ученымъ. Многое уже достигнуто, и остается только радоваться, что враги сами начинаютъ избивать себя взаимными раздорами. Нѣсколько лѣтъ назадъ доминиканцы не на животь, а на смерть грызлись съ францисканцами о безпорочноиъ зачатіи; „теперь-же въ Витенбергѣ, въ Саксоніи, образовалась партія, противная папскому деспотизму, а другая стоитъ за папскія индульгенціи. Обѣ стороны напрягаютъ всѣ свои силы. Во главѣ ихъ стоятъ монахи. Вожди энергичны и запальчивы, полны мужества и жара. Недавно они взяли и за перья. Типографщики помогаютъ имъ. Думаю, что они погубятъ другъ друга, и я недавно сказалъ одному монаху, сообщившему мнѣ объ этомъ: „пожирайте другъ друга, чтобы и слѣдовъ не осталось. Богъ дастъ,

погибнуть и подохнуть всё, которые мѣшаютъ развитію просвѣщенія“. Гутенъ думаетъ, что гуманисты должны стараться о привлеченіи сильныхъ міра сего въ дѣлу гуманизма, и радуется, что за него стоитъ уже столько значительныхъ людей во Франціи и Германіи. Въ Лейпцигѣ, несмотря на противодѣйствіе софистовъ, уже укореняется гуманизмъ; въ Витенбергѣ курфирстъ пригласилъ професоровъ греческаго и еврейскаго языка и т. д. Особенно увлекался въ это время Гутенъ майнцскимъ архіепископомъ Альбрехтомъ, къ которому онъ поступилъ на службу, найдя въ немъ просвѣщеннаго мецената. Вступленіе въ службу еще болѣе освоило поэта-рыцаря съ политическими и общественными вопросами того времени, и въ 1518 г. онъ приготовилъ для рейхстага свою рѣчь о войнѣ съ турками, въ которой затрогиваются важнѣйшіе внутренніе вопросы Германіи. Папы уже много вытянули денегъ у нѣмцевъ, подъ предлогомъ войны съ турками, но это былъ только обманъ со стороны святѣйшихъ отцовъ. Да и война вовсе не папское, а императорское дѣло; папа же долженъ молиться и, вмѣсто того, чтобы брать деньги съ нѣмцевъ, долженъ самъ дать на эту войну. Война предстоитъ серьезная, и всѣмъ нѣмцамъ необходимо сплотиться для нея около своего верховнаго вождя. Безъ единства Германія должна погибнуть, если бы даже и турокъ не было. Постояннымъ раздорамъ и войнамъ нѣмецкихъ государей должно положить конецъ. „Откуда происходитъ ваше разъединеніе? спрашиваетъ Гутенъ.—Изъ споровъ о границахъ, о рангахъ, изъ взаимной зависти. Выгоды, за которыя вы деретесь, ничтожны, сравнительно съ тѣми, какія дадутъ вамъ единство“. „И знаете-ли, что народъ думаетъ о васъ? го, воритъ поэтъ, предчувствовавшій уже крестьянскую войну.—Говорятъ, что вы портите его, и подумываютъ уже о насильственныхъ дѣйствіяхъ. И если вы не послушаете этихъ голосовъ-то я боюсь, что нація увидитъ кое-что недостойное васъ. А коль скоро (чего Боже сохрани) дѣло дойдетъ до народнаго возстанія, то уже не будетъ различія, не будутъ спрашивать, насколько вреденъ такой-то или достоинъ-ли мести такіе-то? Съ виновными падутъ и невинные, и народная ярость будетъ бушевать слѣпо“. „Есть разбойники въ числѣ рыцарей, но нѣмецкіе государи сами подаютъ намъ примѣръ въ томъ, заставляя насъ участвовать въ своихъ разбояхъ или грабя насъ самихъ. Даже

за-границею, особенно въ Италиі, наши государи, съ ихъ попойками и раздорами, служатъ предметомъ презрѣнія. Силь у насъ довольно, но мы не умѣемъ пользоваться ими. Мы слишкомъ много занимаемся пустяками, турнирами и охотой; когда же дѣло доходитъ до охраны имперіи, до защиты отечества, у насъ не обазывается и слѣдовъ энергіи... Въ Германіи есть храбрая молодежь, есть сердца, жаждущія славы, но нѣтъ руководителя. Есть и средства для войны: жирные попы и монастыри, богатые купцы и патриціи вольныхъ городовъ должны дать деньги на нее". Эта рѣчь Гутена не имѣла политическаго успѣха; рейхстагъ не согласился на войну, и Гутенъ увидѣлъ, что не стоитъ толковать съ нѣмецкими государами о серьезныхъ вещахъ. Вскорѣ послѣ его рѣчи появилось анонимное письмо къ рейхстагу о томъ-же предметѣ. Авторъ говорилъ, что слѣдуетъ воевать съ турками, но не съ азіятскими, а съ итальянскими. „Каждый изъ нашихъ государей сможетъ защитить свои владѣнія отъ азіатовъ, но едва-ли достанетъ силъ всего христіанства для борьбы съ турками Италиі. Азіятскіе турки, занятые своими сосѣдями, еще не причиняли вреда намъ; итальянскіе-же неистовствуютъ всюду, сосутъ кровь бѣднаго народа, и только золотымъ дождемъ можно утолять алчность этихъ адскихъ псовъ". Откажите имъ въ деньгахъ, и они будутъ грозить вамъ папскимъ проклятіемъ. Но нужно бояться только грозовъ небесныхъ, а не флорентійскихъ; итальянцы-же, очевидно, хлопочутъ не о славѣ божіей, а о карманѣ флорентійца (Льва X) и его фаворитовъ. Прошлымъ лѣтомъ собирались для нихъ деньги подъ предлогомъ войны. Объявлено отпущеніе грѣховъ за постройки въ петровской церкви, но матеріалы по ночамъ свозились во дворецъ папскаго племянника. Такъ-какъ папа при своей тучности не можетъ прожить долго, то требуется много денегъ для заблаговременнаго устройства его родни. Вотъ для чего и требуютъ десятину. Авторомъ этого письма несправедливо считали Гутена, но оно написано не имъ, а однимъ изъ друзей его, Фишеромъ, хотя, можетъ быть, и при его участіи. Послѣ составленія своей рѣчи о туркахъ, во все продолженіе сейма Гутенъ жилъ въ Аугсбургѣ въ постоянномъ общеніи съ учеными и государственными людьми, между прочимъ, съ извѣстнымъ Герберштейномъ, который много рассказывалъ ему о москвитяхъ, о теченіи Волги и т. д. Здѣсь-же Гутенъ сдѣ-

далъ 2-е изданіе своего *Никто*, встрѣченное публикой съ удовольствіемъ, но возбудившее страшное негодованіе юристовъ. Гутенъ много хлопоталъ въ Аугсбургѣ о привлеченіи государей на сторону Рейхлина и съ удовольствіемъ видѣлъ, что большинство сильныхъ міра сего стоятъ за гуманизмъ. Въ то-же время ему писали, что графъ Нуенаръ изгналъ изъ Кельна инквизитора Гохштратена, что въ Парижѣ авторитетъ Рейхлина всеиленъ и монахи отчаяваются въ побѣдѣ, что Меланхтонъ приглашенъ въ Витенбергъ на кафедру греческаго языка, а Лютеръ упорно воюетъ съ монахами. Но Гутенъ въ это время еще не понималъ значенія Лютера и только потиралъ руки отъ удовольствія, слыша, какъ этотъ августинскій монахъ нападаетъ на францисканцевъ.

Недолго Гутенъ прослужилъ у майнцаго курфирста; придворная жизнь ему опротивѣла, и онъ изобразилъ ее въ формѣ діалога, съ ея лестью и обманами, пустотою и преступленіями, постоянными интригами и пороками. Этотъ діалогъ Гутенъ далъ просмотрѣть одному изъ своихъ новыхъ друзей, образованному и могущественному патрицію Вилибальду Пиркхеймеру. Его роскошный домъ съ богатѣйшею бібліотекою былъ открытъ всѣмъ ученымъ и художникамъ, которыхъ онъ любилъ угощать на своихъ блестящихъ пиршествахъ. Благодаря ему, главнымъ образомъ, Нюрнбергъ сдѣлался литературнымъ центромъ. Самъ Пиркхеймеръ хорошо писалъ по-латини, превосходно зналъ по-гречески, переводилъ на латинскій и отчасти на нѣмецкій Платона, Ксенофонта, Плутарха, Лукіана и считался авторитетомъ въ военномъ дѣлѣ. Его знанія были обширны: онъ одновременно переписывался съ графомъ Нуенаромъ о древней нѣмецкой исторіи, съ Эразмомъ и Кохлеемъ о теологіи, съ одними учеными о ботаникѣ, съ другими—о правѣ. Онъ былъ кромѣ того знаткомъ искусствъ, и знаменитый землякъ его, живописецъ Дюреръ, имѣлъ въ немъ искренняго друга. Жизнь его была посвящена и общественнымъ дѣламъ, и наукамъ, а лѣто проводилъ онъ въ сельскомъ уединеніи, читая до обѣда Платона, послѣ обѣда созерцая изъ своего замка окрестности, такъ-какъ подагра не позволяла ему гулять, принимая сосѣдей или собственныхъ фермеровъ съ ихъ женами и дѣтьми; вечеромъ онъ слушалъ чтеніе историческихъ и естество-знательныхъ книгъ, а ночью, если небо было ясно, наблюдалъ

въ телескопъ звѣзды, стараясь угадать въ нихъ судьбы царей и народовъ. Это былъ одинъ изъ самыхъ типическихъ представителей гуманизма. Онъ отвѣчалъ Гутену, что его разговоръ о придворной жизни незрѣлъ и въ то-же время укорялъ его за службу при дворѣ. Гутенъ оправдывался и доказывалъ, что жизнь при дворѣ, при всей ея неприглядности, принесетъ ему немало пользы при достиженіи имъ цѣли своей жизни, при осуществленіи того идеала, въ который онъ вѣритъ. „Настанетъ-же время, когда науки процвѣтутъ, знаніе обоихъ языковъ соединитъ насъ съ греками и итальянцами, образованность водворится въ Германіи, а невѣжество будетъ изгнано за гиперборейскія горы и къ Балтійскому морю. А между тѣмъ будемъ подражать пальмѣ: чѣмъ сильнѣе давятъ насъ, тѣмъ упорнѣе будемъ стремиться вверхъ и съ непреклонною энергіей подниматься выше, несмотря на притѣснителей“. Пиркхеймеръ будетъ дѣйствовать какъ ветеранъ и вождь, а Гутенъ—какъ бравый новобранецъ, и враги очистятъ поле, которое они засѣютъ новыми сѣменами. Какъ Эразмъ пробудилъ умы на Рейнѣ и въ нижней Германіи, какъ Рейхлинъ открылъ глаза швабамъ, такъ и Пиркхеймеръ сдѣлался просвѣтителемъ Нюрнберга, всюду прославившагося своею образованностью. „Всѣ города Германіи слѣпы, только Нюрнбергъ видитъ однимъ глазомъ“. Онъ славенъ также въ искусствѣ и въ промышленности; его фабриканты знамениты по всей землѣ, а Апелесъ новаго времени, Альбрехтъ Дюреръ—сынъ его. Такая почва вполне благопріятна для развитія гуманизма и дѣятельности Пиркхеймера. Что же касается Гутена, то онъ долженъ искать, для достиженія своей цѣли, опоры въ поддержкѣ просвѣщенныхъ государей, при содѣйствіи которыхъ гуманизмъ уже прочно водворяется тамъ, гдѣ до сихъ поръ царило одно варварство. „О, нашъ вѣкъ! О, науки! восклицаетъ восторженно Гутенъ. — Какъ сладостно жить, милый Вилибальдъ! Знанія процвѣтаютъ, умы пробуждаются; готовятся къ изгнанію, варварство!“

С. Шашковъ.

МАРСЕЛЬСКІЯ ТАЙНЫ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РОМАНЪ

ЭМИЛЯ ЗОЛЯ.

ГЛАВА XXI.

МАРСЕЛЬСКАЯ ЛОРЕТКА.

Происхожденіе Арманды было очень таинственное. Она увѣряла, что родилась въ Индіи отъ туземки и англійскаго офицера. Вся ея жизнь, по словамъ ея, была настоящимъ романомъ. Послѣ смерти отца, ее взялъ въ себѣ его богатый пріятель и въ качествѣ опекуна воспиталъ ее такъ, что она сдѣлалась его любовницей. Она рассказывала эту страницу своей жизни съ различными, очень реальными, хотя чисто-вымышленными подробностями. Благодаря всѣмъ этимъ сказкамъ, ея дѣйствительная жизнь не была извѣстна. Она налетѣла въ одинъ прекрасный день на Марсель, какъ хищная птица, издали почувывая богатую добычу. Поселившись въ богатомъ и промышленномъ провинціальномъ городѣ, она выказала много ума. Съ самаго начала она повела атаку на молодыхъ торговцевъ, зарабатывающихъ много денегъ. Она поняла, что, занятые цѣлый день въ конторахъ, они хотятъ всласть повеселиться вечеромъ и сорять деньгами, нажитыми тяжелымъ трудомъ.

Арманда искусно разставляла свои сѣти. Она поставила свой домъ на большую ногу и придала ему почти аристократическій

оттѣнокъ. Поэтому ей было нетрудно уничтожить всѣхъ своихъ соперницъ. Эти несчастныя, погибшія созданія были невѣжественны, одѣвались дурно, не умѣли разговаривать и глупо отдавались первому встрѣчному. Арманда легко задавила ихъ своимъ изяществомъ и нѣкоторымъ образованіемъ, крохи котораго она подобрала у знакомыхъ ей образованныхъ людей. Не прошло и нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ она уже сдѣлалась знаменитостью Марселя.

У себя дома, какъ говорилъ наивно Соверъ, она принимала на себя тонъ герцогини. Ея гостиная была убрана съ самымъ утонченнымъ изяществомъ, и на ея вечерахъ толпилась богатая молодежь, которую она привлекала къ себѣ своей громкой извѣстностью и чисто свѣтскимъ обращеніемъ. Содержанка едва проглядывала изъ-подъ богатой, предупредительной хозяйки дома. У нея были любовники; она ихъ даже охотно показывала, но на своихъ вечерахъ она была безукоризненно прилична, что очень цѣнилось ея посѣтителеми. Вообще это былъ типъ изящной, остроумной, надушенной лоретки.

Мало-по-малу она окружила себя всѣми кутилами Марселя. Впрочемъ, она принимала только людей богатыхъ, которые много наживали и еще болѣе проживали. Вначалѣ ей стоило только выбирать своихъ жертвъ; толпа поклонниковъ кишѣла у ея ногъ. Она поглотила нѣсколько большихъ состояній, живя въ роскоши и поддерживая блестящую обстановку своего дома. Люди благоразумные считали ее общественной язвой, бездонной бездной, гдѣ исчезали крупные капиталы молодыхъ марсельскихъ промышленниковъ. Ея соперницы-содержанки рвали ее на части, намекая на различныя, гнусныя интриги. Онѣ поднимали на смѣхъ ея исхудалое лицо и преждевременныя морщины; онѣ увѣряли, что она уродлива, и это было почти справедливо, и вглядись, что не понимаютъ, какую прелесть безмозглые мужчины находили въ этой дурѣ. Арманда не обращала вниманія на ихъ толки и мирно царяла. Впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ она гордо поддерживала свое первенство въ марсельскомъ полусвѣтѣ, благодаря своему уму, роскоши и изяществу свѣтской женщины. На ея вечера мужчины ѣздили не иначе, какъ во фракахъ и въ бѣлыхъ галстукахъ.

Потомъ вдругъ, безъ всякой видимой причины, ея кредитъ опу-

стился. Ея финансы пришли въ разстройство, и изъ-подъ роскоши сталъ проглядывать недостатокъ. Она вышла изъ моды, и старыя любовники перевелись. Она быстро перешла къ полу-бѣдности, которая ходитъ по коврамъ и носить шелковыя платья. Чувствуя, что она скоро дойдетъ до улицы, если не поддержитъ сверхъестественными силами свой свѣтскій салонъ, Арманда отчаянно боролась съ грозившимъ ей паденіемъ. Она понимала, что вся ея сила заключалась въ кажущемся богатствѣ, въ изящныхъ туалетахъ и въ блестящей обстановкѣ, среди которой она разыгрывала роль герцогини. Она знала, что въ тотъ день, когда она закроетъ свой салонъ, она сдѣлается уличной женщиной, старой и уродливой, отъ которой всѣ стануть отворачиваться. Поэтому она и выказывала удивительную энергію въ пріисканіи любовниковъ и денегъ.

Въ это время она познакомилась съ г-жею Мерсье, которая ссужала ее деньгами по невозможнымъ процентамъ. Арманда ограбила столько глупыхъ юношей, что въ свою очередь позволяла грабить себя. Впрочемъ, она надѣялась, что первый богатый любовникъ, который ей попадетъ, заплатитъ сполна занятія сумми съ процентами. Но богатые любовники не отыскивались; дѣла Арманды приходили все въ большій и большій безпорядокъ. Побуждаемая крайностью и чувствуя, что ея красота, а, слѣдовательно, кусокъ хлѣба, улетучивается вмѣстѣ съ окружавшей ее роскошью, она дошла до преступленія. Для уплаты кредиторамъ она уже была вынуждена продать дорогую мебель, зеркала, фарфоръ. Ея домъ пустѣлъ, и она съ ужасомъ предвидѣла, что въ одинъ прекрасный день она очутится, старая, изношенная, въ четырехъ обнаженныхъ стѣнахъ. Тогда послѣдніе любовники убѣгутъ, и ей придется умереть въ нищетѣ и униженіи. Обойщики, модистки и всѣ остальные поставщики, которымъ она была должна, все болѣе и болѣе къ ней приставали, предчувствуя ея близкое раззореніе. Они знали, что ряды любовниковъ Арманды рѣдѣютъ, и громко требовали денегъ. Нѣкоторые даже угрожали описать ея имуществу.

Арманда поняла, что она погибла, если не достанетъ денегъ, — все равно, какимъ бы то ни было способомъ. Она рѣшилась на крайнее средство. Она поддѣлала подпись трехъ или четырехъ изъ своихъ любовниковъ на векселяхъ, будто бы выданныхъ на

ея имя. Но не смѣя учесть ихъ у банкировъ, она обратилась съ ними къ г-жѣ Мерсье, и та дала ей денегъ подъ эти докумен-ты, происхожденіе которыхъ она, вѣроятно, знала и потому сознательно спекулировала на преступленіе Арманды. Держа ее въ своихъ когтяхъ, имѣя возможность во всякое время предать ее суду и въ то-же время разсчитывая, что воображаемые векселедате-ли уплатятъ деньги для избѣжанія скандала, хитрая ростовщица находила эти подложные векселя лучше настоящихъ. Она надѣялась нажить этимъ путемъ значительное состояніе, требуя неслыханные проценты, запутывая все болѣе и болѣе дѣла лоретки и забирая ее мало-по-малу совершенно въ свои руки.

Около двухъ лѣтъ Арманда прозябала безъ особыхъ тревогъ. Она сама платила по фальшивымъ векселямъ, и когда приближался срокъ одного изъ нихъ, она тѣмъ или другимъ путемъ доставала деньги: выпрашивая сто франковъ у перваго встрѣтившагося ей мужчины, продавая свои послѣднія вещи и занимая деньги подъ новые, такіе-же фальшивые документы. Г-жа Мерсье была по-прежнему готова ей служить и ни въ чемъ ей не отказывала, желая совершенно опутать своими сѣтями эту жертву, прежде чѣмъ оскалить зубы.

Но, наконецъ, наступила минута, когда Арманда не могла уплатить по остальнымъ фальшивымъ векселямъ. Тщетно бросалась она всюду, даже ѣздила въ шато-де-флеръ, какъ уличная проститутка, но никакъ не могла выручить денегъ, необходимыхъ на содержаніе ея роскошнаго дома. Въ это печальное время она познакомилась съ Соверомъ; ради него она бросила разореннаго ею графа, полагая, что разжившійся носильщикъ богатъ и щедръ. Въ прежнее время, когда она была царицей Марсея и показывалась на улицахъ не иначе, какъ въ бархатъ и кружевахъ, она посмотрѣла-бы на Совера свысока, но теперь она не брезгала никакой добычей и готова была поднимать золото въ какой угодно грязи. Отставной носильщикъ принялъ за искреннюю привязанность печальную нужду, бросившую Арманду въ его объятія. Но, спустя нѣсколько мѣсяцевъ, она убѣдилась съ ужасомъ, что ея новый любовникъ отличался осторожной экономностью выскочки и бросалъ деньги только на собственное удовольствіе. Два или три фальшивыхъ векселя не были уплочены, и г-жа Мерсье начинала сердиться.

Вотъ въ какомъ положеніи были дѣла, когда однажды вечеромъ Маріюсъ наивно явился къ Армандѣ. Онъ думалъ, что по-прежнему встрѣтитъ въ ея гостиной многочисленное общество богатой молодежи, со многими представителями которой его познакомили Филиппъ. Онъ рассчитывалъ подружиться съ какимъ-нибудь молодымъ негоціантомъ и современемъ достать у него необходимую сумму для спасенія Филиппа. Онъ даже имѣлъ планы на Совера, услужливость котораго Фина нарочно преувеличила.

Пустая, полу-обнаженная гостиная, еле освѣщенная одной лампой, его очень поразила. На большомъ диванѣ полу-лежалъ Соверъ, съ удовольствіемъ переваривая только-что оконченный обѣдъ и коврыя въ зубахъ зубочисткою. Подлѣ него на креслѣ сидѣла Арманда и читала „Граціеллу“, задумчиво склонивъ голову на ладонь лѣвой руки. У ногъ ея, обутыхъ въ малиновые бархатныя туфли, покоилась левретка, которую она звала Джали.

Чтеніе вслухъ великихъ современныхъ поэтовъ было одной изъ могущественныхъ чаръ, которыми Арманда прельщала своихъ любовниковъ. У нея была маленькая бібліотека съ сочиненіями Шатобріана, Виктора Гюго, Ламартина и Мюссе. Вечеромъ, при матовомъ свѣтѣ лампы, когда она еще казалась красавицей, лоретка томно декламировала стихи или поэтическую прозу. Это освѣяло ея голову какимъ-то блестящимъ ореоломъ. Любовники, полагавшіе, что имѣютъ дѣло съ необразованной женщиной, вдругъ видѣли, что она гораздо просвѣщеннѣе ихъ и постоянно читаетъ такія книги, которыхъ они сами не имѣли ни времени, ни, можетъ быть, охоты открывать. Особенно Совера по-чергало въ восторгъ это чтеніе стиховъ. Онъ самъ рѣдко читалъ даже газеты и потому не могъ не смотрѣть на женщину, читавшую стихи, какъ на существо высшее. Каждый разъ, какъ Арманда брала при немъ книгу, онъ принималъ видъ сосредоточенный и слушалъ ее съ торжественнымъ вниманіемъ. Ему казалось, что въ эти минуты онъ самъ становился ученымъ.

Маріюсъ улыбнулся при видѣ искусственно-томной лоретки и искренно-самодовольнаго выскочки.

Арманда встрѣтила его съ необходимой въ ея ремеслѣ граціозной развязностью. Она была въ болѣе или менѣе интимныхъ

отношеніяхъ съ Филиппомъ и обошлась съ Маріюсомъ, какъ со старымъ знакомымъ; она стала упрекать его, что онъ такъ рѣдко бывалъ у нея.

— Я знаю, продолжала она, — у васъ было много непріятностей въ послѣднее время. Бѣдный Филиппъ!.. Я иногда съ ужасомъ думаю, что онъ сидитъ въ сыромъ казематѣ, — онъ, который такъ любилъ роскошь и удовольствія... Это по крайней мѣрѣ научить его быть разборчивымъ въ любви.

Между тѣмъ Соверъ немного приподнялся. Онъ имѣлъ прекрасное свойство никого не ревновать; напротивъ, онъ гордился прежними любовниками своей любовницы.

Арманда познакомила съ нимъ Маріюса, и отставной носильщикъ съ самодовольной улыбкой произнесъ:

— О, мы уже знакомы. Я также знаю и г. Филиппа Кайоля. Вотъ славный малый!

Въ сущности Соверъ былъ очень радъ, что кто-нибудь засталъ его воедино съ Армандой. Онъ началъ говорить ей *ты* и распространяться объ удовольствіяхъ, которыя онъ доставлялъ себѣ въ ея обществѣ. Продолжая разговоръ о Филиппѣ, онъ прибавилъ, обращаясь къ Армандѣ:

— Онъ часто бывалъ у тебя, не правда-ли? Ну, ну, не заирайся! Вы, кажется, любили другъ друга... Я его иногда встрѣчалъ въ шато-де-флеръ. Мы тамъ были съ Армандой вчера. Какая тамъ толпа! Какіе блестящіе туалеты! Потому мы ужинали въ ресторанахъ. Это очень дорого, и не всякій можетъ позволить себѣ это удовольствіе.

Армандѣ, повидимому, очень не нравился этотъ разговоръ. Въ глубинѣ сердца этой женщины сохранилась какая-то странная деликатность, которую рѣзко оскорбляли манеры и тонъ отставного носильщика. Она пристально смотрѣла на Маріюса, пожимая плечами, и лукаво мигала на Совера, который ничего не замѣчалъ.

Маріюсъ понялъ, въ какихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ находилась лоретка и какъ она должна была страдать. Онъ даже съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на обнаженную гостиную, предчувствуя, въ какую бездну скатывалась женщина, которую онъ нѣкогда знавалъ столь счастливой и легкомысленной. Ему стало досадно, что онъ пришелъ къ ней.

Вдругъ въ комнату вошла горничная и сказала на-ухо Армандѣ, что въ передней г-жа Мерсье, повидимому, очень сердитая, и лоретка поспѣшно удалилась, оставивъ Маріюса наединѣ съ Соверомъ, который сталъ рассказывать ему о своемъ счастьѣ и своихъ удовольствіяхъ.

ГЛАВА XXII.

Г-жа Мерсье оскаливаетъ зубы.

Г-жа Мерсье была старуха лѣтъ пятидесяти, полная, жирная, вѣчно жаловавшаяся со слезами на глазахъ, на трудныя времена. Въ полиняломъ ситцевомъ платьѣ и съ соломеннымъ бауломъ въ рукахъ, служившимъ ей кассою, она ходила мелкими шажками, радучись, какъ кошка, и всегда принимала на себя несчастный, смиренный видъ, чтобъ разжалобить тѣхъ, съ кѣмъ она имѣла дѣло, хотя ея свѣжее лицо громко протестовало противъ слезъ, ежеминутно струившихся изъ ея глазъ.

Ростовщица прекрасно сыграла свою роль въ отношеніи Арманды. Сначала она прикинулась доброй женщиной и съ адскимъ искусствомъ забрала ее въ руки, высказывая постоянную готовность служить ей, давая рости процентамъ на проценты и до того перепутывая счеты, что, наконецъ, ея должница не могла привести ихъ въ порядокъ. Когда наступилъ срокъ одному векселю, г-жа Мерсье давала ей деньги подъ другой, увѣряя, что деньги не ея, а въ сущности перекладывая ихъ изъ одного кармана въ другой и все хуже и хуже запутывая несчастную лоретку. Мало-по-малу она почти завладѣла домою Арманды, являясь акуратно два или три раза въ недѣлю, то требуя денегъ, то выпрашивая сахаръ, кофе и т. д., то подвергая тщательному осмотру всѣ вещи Арманды подъ предлогомъ боязни, чтобъ она не скрылась, и все это сопровождалось обильными слезами и увѣреніями въ преданной дружбѣ. Бѣдная лоретка была совершенно въ ея рукахъ и не смѣла ни въ чемъ отказать ей, ибо при малѣйшемъ сопротивленіи ростовщица пугала ее:

— Хорошо, я представлю вашему любовнику его вексель...

Такимъ образомъ, въ продолженіи двухъ лѣтъ г-жа Мерсье плакала, угрожала и грабила Арманду. Деньги, которыя она ей

первоначально ссудила, уже принесли ей двѣсти пятьдесятъ процентовъ, и если капиталъ былъ какъ-будто потерявъ, то процентами она его выбрала уже два или три раза. Однако, въ послѣднее время она поняла, что надо переимѣнить тактику. Арманда принимала ее каждый разъ съ нервнымъ раздраженіемъ; въ виду всего этого, старуха рѣшилась болѣе не плакать и пойти на крайнія средства, поставить все на карту: потребовать немедленной уплаты капитала и, въ случаѣ отказа, пригрозить, что тотчасъ пожалуется прокурору. Она изъ осторожности никогда не выражала ни малѣйшаго сомнѣнія относительно подлинности векселей, данныхъ ей Армандою, и та думала, что ростовщица ничего не знала.

Планъ дѣйствій, придуманный ростовщицей, былъ очень простъ. Она отправится къ Армандѣ и сдѣлаетъ ей страшную сцену; если она застанетъ тамъ одного изъ ея любовниковъ, то обратится къ нему, устроитъ скандалъ и тѣмъ или другимъ путемъ, а возвратитъ себѣ потерянные деньги. Высосавъ, какъ вампиръ, всю кровь своей жертвы, она хотѣла теперь ее пожрать.

Наканунѣ дня, когда Маріюсъ посѣтилъ Арманду, наступилъ срокъ векселя съ фальшивой подписью Совера, и, пользуясь этимъ случаемъ, г-жа Мерсье рѣшилась привести въ исполненіе свой планъ. Она явилась въ квартиру лоретки въ то самое время, когда у нея сидѣли Соверъ и Маріюсъ.

Арманда вышла къ ней въ переднюю очень смущенная и послѣшно повела ее въ маленькій будуаръ, который отдѣлялся отъ гостиной тоненькой перегородкой. Она предложила ей кресло съ тѣмъ боязливымъ, жалобнымъ видомъ, который принимаютъ на себя должники въ присутствіи кредиторовъ.

— Послушайте, любезная госпожа, восселивнула ростовщица, отталкивая отъ себя кресло, — вы смѣтаетесь надо мною!.. Еще одинъ вексель просроченъ. Мнѣ это надоѣло.

Она скрестила руки на груди и говорила громко, дерзко. Ея маленькое, красное, жирное лицо лоснилось гнѣвомъ и какой-то злобной радостью.

— Ради Бога, говорите тише, у меня гости! отвѣчала испуганная Арманда. — Вы знаете, въ какомъ я затруднительномъ положеніи. Подождите нѣсколько дней.

— Какое мнѣ дѣло, что у васъ гости, продолжала кричать

тѣмъ-же нахальнымъ тономъ г-жа Мерсье, подходя ближе къ бѣдной лореткѣ. — Я хочу получить мои деньги тотчасъ. Вы носите модныя шляпки, вы ѣздите въ шато-де-флеръ, вы держите любовниковъ, которые доставляютъ вамъ тысячи удовольствій!... А я? Развѣ у меня есть любовники? Я отказываю себѣ во всемъ, я ѣмъ сухой хлѣбъ и пью воду, тогда какъ вы набиваете себѣ брюхо всякими сладостями. Нѣтъ, довольно, я не хочу болѣе терпѣть нужды по вашей милости. Заплатите мнѣ деньги или я васъ попрошу... вы знаете куда.

Она при этомъ злобно подмигнула. Арманда поблѣднѣла, какъ полотно.

— А, вамъ это не нравится! продолжала старуха, подсмѣиваясь. — Такъ вы думали, что я дура! Если я до этой минуты позволяла вамъ себя дурачить, то лишь потому, что такъ хотѣла и видѣла въ этомъ свою выгоду. Но теперь, прибавила она съ зловѣщимъ смѣхомъ, — если вы сегодня мнѣ не заплатите, я завтра напишу прокурору.

— Я не понимаю, о чемъ вы говорите, пробормотала Арманда.

Ростовщица сѣла и, чувствуя, что въ ея рукахъ судьба этой несчастной женщины, вздумала доставить себѣ сладкую забаву поиграть со своей жертвой.

— А, вы не понимаете, о чемъ я говорю! воскликнула она съ отвратительной гримасой. — Но вы лжете, милая. Посмотрите на себя въ зеркало: вы позеленѣли отъ страха. Признайтесь лучше чистосердечно, что вы преступница.

При этомъ словѣ Арманда вскочила; негодованіе возвратило ей мужество, и, указывая на дверь, она громко сказала:

— Ступайте вонъ!

— Нѣтъ, я не пойду, отвѣчала старуха, развалившись въ креслѣ; — я хочу получить мои деньги... Если вы дотронетесь до меня, то я крикну, что меня рѣжутъ, и ваши гости явятся ко мнѣ на помощь... Я уже вамъ сказала, что я не дура... Заплатите мнѣ сейчасъ, и я васъ оставлю въ покоѣ.

— У меня нѣтъ денегъ, отвѣчала холодно Арманда.

Этотъ отвѣтъ привелъ въ ярость ростовщицу.

— У васъ нѣтъ денегъ! Вы всегда меня кормите этими отвѣтами, воскликнула она. — Отдайте мнѣ ваши платья и вашу

мебель... Впрочемъ, нѣтъ, я лучше васъ упрячу въ тюрьму. Я подамъ на васъ жалобу и буду обвинять васъ въ подлогѣ... Мы увидимъ, моя красавица, найдете-ли вы среди тюремщиковъ любовника, который давалъ-бы вамъ ужины и шелковыя платья.

Арманда дрожала всѣмъ тѣломъ, боясь, чтобъ крики старухи не дошли до ушей Совера и Маріюса. Ростовщица замѣтила ея страхъ и стала кричать еще громче:

— Да, я завтра-же могу отдать васъ подъ судъ... Вы это отлично знаете... У меня въ рукахъ десять фальшивыхъ векселей, на которыхъ вы сдѣлали подложныя подписи отъ именъ вашихъ любовниковъ. Я пойду къ каждому изъ нихъ и скажу имъ, что вы за птица. Они васъ бросятъ на улицу, и вы умрете въ больницѣ. Да что я тутъ болтаю? У васъ теперь гости, и, можетъ быть, въ числѣ ихъ одинъ изъ людей, имя котораго вы похитили для вашей грязной продѣлки... Я пойду туда; пропустите меня!

Она направилась къ дверямъ, но Арманда загородила ей дорогу, поднявъ руки и готовая ее ударить, если она сдѣлаетъ еще шагъ.

— Вы хотите меня бить, пробормотала г-жа Мерсье, внѣ себя отъ гнѣва;—меня, которая васъ такъ долго кормила!

Она отскочила и во все горло закричала:

— Помогите! Помогите! Рѣжьте!

Арманда протянула руку, чтобъ запереть дверь, но было уже поздно. Дверь отворилась, и она увидала Маріюса и Совера, которые, стоя на порогѣ, смотрѣли съ удивленіемъ и любопытствомъ на сцену, происходившую въ будуарѣ.

ГЛАВА XXIII.

РЕМЕСЛО ЛОРЕТКИ ИМѢЕТЪ СВОИ НЕПРІЯТНЫЯ

СТОРОНЫ.

Соверъ и Маріюсъ оставались одни въ гостиной около получаса. Мало-по-малу до нихъ стали долетать гнѣвные слова ростовщицы, а когда она закричала: „помогите, помогите, рѣжьте!“ — они не вытерпѣли и отворили дверь въ будуаръ.

Глазамъ ихъ представилось странное зрѣлище. Арманда отско-

чила отъ нихъ и, блѣдная, въ изнеможеніи упала въ кресло, закрывъ лицо руками и судорожно рыдая.

— Вы видѣли, воскликнула ростовщица, — она хотѣла меня бить. Она подняла на меня руки! Мерзавка! Представьте себѣ, добрые господа, я дала ей деньги въ займы. Я люблю дѣлать услуги, когда могу. Я принимала ее за честную женщину. Она у меня дисконтировала векселя людей надежныхъ, и я была совершенно спокойна. Сегодня я узнала, что мои векселя подложные и что она меня обманула самымъ низкимъ образомъ. Что-бы вы сдѣлали на моемъ мѣстѣ? Я стала выговаривать ей за ея низкіе поступки, а она хотѣла меня ударить.

Соверъ широко открылъ глаза отъ удивленія и съ любопытствомъ смотрѣлъ то на уничтоженную отчаяніемъ Арманду, то на выходящую изъ себя отъ гнѣва г-жу Мерсье.

— Ты слышишь, голубушка, что про тебя говорятъ? сказалъ онъ, наконецъ, подходя къ молодой женщинѣ. — Вѣдь она лжетъ, не правда-ли? Ты не сдѣлала подобныхъ глупостей?.. Да отвѣчай-же!

Арманда молчала, продолжая рыдать.

— О, она не скажетъ ни слова; ей нечего говорить, нечѣмъ себя оправдать! продолжала ростовщица торжествующимъ тономъ. — Она знаетъ, что у меня въ рукахъ доказательства. Я завтра подамъ жалобу прокурору.

Маріусъ смотрѣлъ съ сожалѣніемъ на Арманду. Случай опять наталкивалъ его на новый примѣръ человѣческаго горя и позора. Это несчастное созданіе, доведенное развратомъ до преступленія, возбудило въ немъ благородный порывъ човѣкълюбія. Онъ угадывалъ обстоятельства, которыя довели ее до подлога; онъ понималъ, какія ужасныя крайности должны были ввергнуть ее въ эту бездну. Ему захотѣлось всей душой ее спасти, дать ей средства выбраться изъ этой грязи и стать снова честной женщиной.

— Зачѣмъ вы хотите ее погубить? сказалъ онъ спокойно ростовщицѣ. — Вы отъ этого скорѣе не получите своихъ денегъ. Гораздо лучше, помогите ей поправиться, и она непременно вамъ все уплатитъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, отвѣчала безжалостная старуха; — я хочу,

чтобъ она сгнила въ тюрьмѣ. Я слишкомъ долго ждала. Она еще вчера мнѣ не заплатила вексель въ тысячу франковъ. Она подписала его именемъ Совера. Вѣроятно, такъ зовутъ одного изъ ея любовниковъ.

Разбогатѣвшій носильщикъ, услыжавъ свое имя, вздрогнулъ. Цифра тысяча франковъ его перепугала.

— Вы говорите, что у васъ вексель въ тысячу франковъ, подписанный Соверомъ? спросилъ онъ съ ужасомъ.

— Да, добрый господинъ, отвѣчала старуха;—я его принесла съ собою. Онъ у меня въ баулѣ.

— Покажите его мнѣ.

Соверъ взялъ вексель и пристально посмотрѣлъ на его подпись.

— Чортъ возьми! воскликнулъ онъ. — Какъ прекрасно поддѣлана моя подпись!

Потомъ онъ нагнулся къ Армандѣ, которая все еще рыдала, и прибавилъ очень сухо:

— Это что за глупости! Вы знаете, что я этихъ денегъ никогда не заплачу. Вотъ, если хотите, я вамъ, пожалуй, дамъ сто франковъ. Но тысячу! Нѣтъ, это ужь много, извините.

Онъ пересталъ говорить ей *ты* и уже внутренно сожалѣлъ, что завелъ знакомство съ марсельскимъ полусвѣтомъ.

— О, у меня не одинъ этотъ вексель, воскликнула г-жа Мерсье, — у меня много другихъ, подписанныхъ все разными именами. Но еслибъ мнѣ заплатили по этому векселю сполна, то я согласна молча ждать.

Благоразумныя слова Маріюса убѣдили ее, что гораздо выгоднѣе было не подавать жалобы въ судъ. Къ тому-же, найдя одного изъ тѣхъ, именемъ которыхъ были подписаны векселя, она надѣялась, что оны заплатятъ ей за свой вексель. Поэтому она тотчасъ измѣнила свой планъ дѣйствій и стала сладкимъ голосомъ извинять Арманду:

— Впрочемъ, я не знаю, фальшивые-ли остальные векселя... Бѣдная красавица перенесла много тяжелыхъ минутъ. Нельзя на нее сердиться. Она въ сущности очень добрая и хорошая.

И ростовщица залилась горькими слезами. Маріюс не могъ удержаться отъ улыбки. Соверъ же ходилъ взадъ и впередъ по

комнатѣ, озабоченный, недовольный, встревоженный. До позора своей любовницы ему не было никакого дѣла; его просто мучила внутренняя борьба между эгоизмомъ и человѣколюбіемъ.

— Нѣтъ, произнесъ онъ, наконецъ, рѣшительно, — я не могу заплатить ни сантима.

Арманда находилась все въ томъ-же мрачномъ отчаяніи. Привыкшая ко всѣмъ прелестямъ роскоши и къ постоянно окружающему ее сонму обожателей, она глубоко чувствовала свое паденіе. Униженная, преступная, она уже болѣе не поднимется изъ грязи, въ которой погрязла, и, падая все ниже и ниже, станетъ наконецъ отверженной всѣми, послѣдней тварью. Страданья ея въ эту минуту еще болѣе усиливались отъ присутствія Совера и Маріюса.

Послѣдній не могъ безъ душевнаго содроганія смотрѣть на нее. Еслибъ у него были деньги, онъ съ удовольствіемъ уплатилъ-бы ростовщицѣ требуемые ею тысячу франковъ.

— Послушайте, сказалъ онъ, обращаясь къ Соверу, — необходимо спасти эту женщину. Ея слезы краснорѣчивѣе всякихъ доводовъ, которые я могъ-бы привести... Вы ее любите и, конечно, не бросите въ такую минуту.

— Да, я ее любилъ, отвѣчалъ грубо отставной носильщикъ, — и, кажется, достаточно доказалъ это впродолженіи трехъ мѣсяцевъ. Вы не знаете, что я съ нею уже прожилъ болѣе пяти тысячъ франковъ. Больше я платить не хочу. Пусть она выпутывается, какъ умѣетъ. Вѣдь эта тысяча франковъ была-бы просто брошена въ воду. Какое она мнѣ принесла-бы удовольствіе?

— Вы сдѣлали-бы доброе дѣло и, быть можетъ, обратили-бы на истинный путь заблудшую овцу, отвѣчалъ Маріюсъ. — Ея поступокъ позорный, и я нисколько не хочу ее оправдывать, но я догадываюсь, что ее довело до преступленія и прошу ее пощадить.

— О, это до меня не касается. Она сдѣлала, что хотѣла. Вы видите, я нисколько на нее не сердитъ и хочу только остаться въ сторонѣ отъ этой грязной исторіи.

— Хорошо, произнесъ небрежно Маріюсъ, припоминая слова Фини о тщеславіи Совера, — не будемъ объ этомъ говорить. Но если я обратился къ вамъ съ просьбою спасти бѣдную женщину,

то лишь въ томъ предположеніи, что вашъ прекрасный поступокъ рано или поздно получитъ извѣстность и вы выручите похвалъ болѣе, чѣмъ на тысячу франковъ.

— Вы думаете? спросилъ Соверъ въ раздумьи.

— Конечно. Рѣдкій человекъ способенъ на такой благородный поступокъ, и спасеніе этой женщины доставило-бы вамъ завидную славу. Но не будемъ болѣе говорить объ этомъ.

Соверъ остановился посреди комнаты. Его брало сомнѣніе, какъ поступить. Видя, что онъ колеблется, и желая во что-бы то ни стало, получить тысячу франковъ, г-жа Мерсье сочла нужнымъ вмешаться.

— О, добрый господинъ, сказала она слащавымъ, смиреннымъ тономъ, — если-бы вы знали, какъ она васъ обожаетъ!.. Сколько богатыхъ людей хотѣли отбить ее у васъ! Она отказалась отъ самыхъ блестящихъ предложеній и, быть можетъ, поэтому запутала свои дѣла... Вы не можете себѣ представить, какъ вы ей дороги!

Эти слова очень польстили тщеславію отставного носильщика. Лишь только было затронуто его тщеславіе, вопросъ совершенно измѣнился.

— Хорошо, сказалъ онъ, принимая торжественную позу, — я дамъ тысячу франковъ. Я вамъ привезу ихъ завтра вечеромъ. Теперь можете идти, оставьте въ покоѣ Арманду.

Ростовщица подобострастно поклонилась и тихо вышла изъ комнаты.

Арманда подняла голову. Ея лицо, покрасѣвшее отъ слезъ, вдругъ постарѣло и стало отвратительнымъ. Дрожа всѣмъ тѣломъ отъ перенесеннаго удара и стыда, она съ трудомъ поднялась и хотѣла упасть на колѣни передъ Соверомъ и Марисомъ, но послѣдній ее удержалъ.

— Не у людей вы должны просить прощенія, сказалъ онъ.

— Да, милая, прибавилъ Соверъ, — я вамъ совѣтую обратиться на путь истинный... Впрочемъ, я принимаю вашу благодарность и надѣюсь, что мое благодѣяніе принесетъ вамъ пользу.

Дѣло въ томъ, что Соверъ теперь не находилъ никакой прелести въ Армандѣ. Онъ вдругъ замѣтилъ, какая старая, поблекшая она была красавица, и къ тому-же онъ получилъ слишкомъ

тяжелый урокъ, чтобъ оставаться долѣе въ будуарахъ полусвѣта. Грызетки болѣе приходились ему по вкусу.

Онъ вмѣстѣ съ Маріусомъ направился къ двери, но на порогѣ Арманда остановила молодого человѣка и пламенно поцѣловала его руку. Она чувствовала, что онъ пожалѣлъ ее отъ глубины своего добраго сердца.

На слѣдующій вечеръ Соверъ зашелъ за Маріусомъ, и они оба отправились къ г-жѣ Мерсье. Ростовщица жила въ старомъ, грязномъ домѣ, въ улицѣ Бѣднаго Амура. Они поднялись въ третій этажъ и постучались въ дверь. Никто не откликнулся. Они продолжали стучать; наконецъ, сосѣдка вышла на лѣстницу и объявила, что утромъ старую плутовку арестовали. Полиція уже давно слѣдила за нею, а теперь, повидимому, на нее подали жалобу прокурору. Весь домъ, по словамъ сосѣдки, былъ очень радъ, что ее арестовали. Она успѣла только схватить бумаги, которыя могли ее компрометировать.

Маріусъ понялъ, что небо спасло Арманду. Онъ распросилъ всѣхъ жильцовъ дома и убѣдился, что ростовщица сожгла всѣ векселя, подписанные лореткой, изъ боязни, чтобъ эти векселя не послужили основой новаго обвиненія противъ нея. Она не могла рассчитывать на великодушіе Арманды и опасалась, чтобъ послѣдняя не рассказала про нее много ужасныхъ подробностей. Къ тому-же, уничтожая векселя, она въ сущности ничего не теряла, такъ-какъ давно съ лихвою вернула свой капиталъ.

Соверъ былъ внѣ себя отъ радости. Онъ выказалъ благородное великодушіе и это ему ничего не стоило. Тысяча франковъ оставалась у него въ карманѣ.

— Вы свидѣтель, что я хотѣлъ заплатить деньги, сказалъ онъ Маріусу. — Вотъ какой я человѣкъ! Я люблю быть щедрымъ и бросаю золото пригоршнями въ окно... О, подарокъ въ тысячу франковъ для меня плевое дѣло, если только это доставляетъ мнѣ удовольствіе!

Маріусъ предоставилъ ему наединѣ восторгаться своими добродѣтелями и побѣждалъ къ Армандѣ, чтобъ обрадовать ее доброй вѣстью.

Онъ засталъ ее очень грустной и смущенной. Она провела ужасную ночь, тщетно придумывая средство выйти изъ грязи, въ которой она погрязла.

Теперь-же, узнавъ, что подложные векселя уничтожены и что она спасена, бѣдная женщина вдругъ преобразилась. Она пламенно поблагодарила Маріюса и поклялась, что этотъ урокъ заставитъ ее переимѣнить образъ жизни.

— Я буду работать, сказала она, — я стану честной женщиной... Прощайте. Я увижусь съ вами только тогда, когда мнѣ нечего будетъ краснѣть передъ вами. До свиданія.

Маріюсъ разстался съ нею очень тронутый ея рѣшимостью и общаніями. Но, возвращаясь домой, онъ жестоко упрекалъ себя, что въ продолженіи двухъ дней забылъ брата и не заботился о его спасеніи.

Когда Фина спросила его о результатѣ попытки достать деньги отъ Совера, онъ не посмѣлъ рассказать ей страшныя сцены, случайнымъ зрителемъ которыхъ онъ былъ, а только сказалъ, что на Совера нельзя было надѣяться и что Арманда закрываетъ свой блестящій салонъ.

— Къ кому-же вы теперь обратитесь? спросила цѣточница.

— Не знаю, отвѣчалъ Маріюсъ, — но у меня есть новый планъ, и я постараюсь привести его въ исполненіе.

ГЛАВА XXIV.

НОТАРІУСЪ ДУГЛАСЪ.

Маріюсъ вступилъ въ свою должность въ конторѣ Мартели и находилъ особое успокоеніе въ трудѣ. Его умъ какъ-то расширился въ глубокой тишинѣ, царившей въ конторѣ. Онъ утѣшалъ себя мыслью, что передъ нимъ было четыре мѣсяца для спасенія Филиппа, и цѣлыми днями размышлялъ о средствахъ добыть необходимыя деньги.

Мартели, по-прежнему, обходился съ нимъ, какъ съ сыномъ, и по-временамъ Маріюсъ хотѣлъ ему все рассказать и попросить у него взаимно пятнадцать тысячъ, но его удерживалъ страхъ республиканской строгости его нравственныхъ принциповъ. Онъ рѣшился прежде истощить всѣ средства и только въ крайнемъ случаѣ, когда всѣ его попытки не увѣнчаются успѣхомъ, обратиться къ помощи своего хозяина.

Видѣвъ съ тѣмъ онъ далъ себѣ слово не дѣйствовать болѣе такъ наивно, какъ до сихъ поръ, и не дѣлать ни одной беспо-

лезной попытки. Онъ хотѣлъ-было самъ выработать эти деньги, но громадность цифры его пугала, и онъ понималъ, что сдѣлать подобную экономію въ четыре мѣсяца было невозможно.

Маріусъ вспомнилъ, что нотаріусъ Дугласъ, котораго тщетно просилъ Мартели помочь Филиппу, предлагалъ ему уже нѣсколько мѣсяцевъ быть его повѣреннымъ. Нотаріусъ и судостроитель имѣли между собою частыя дѣловыя сношенія. Мартели не разъ посылалъ Маріуса въ Дугласу для сведенія счетовъ.

Однажды, отправившись къ нотаріусу, молодой человѣкъ рѣшилъ принять его предложеніе; хотя прямая выгода отъ этихъ занятій была незначительная, но они могли его ближе познакомить съ нотаріусомъ и дать возможность занять необходимыя ему деньги.

Нотаріусъ Дугласъ жилъ въ небольшомъ домѣ, на взглядъ очень скромномъ и простомъ. Нижній этажъ былъ занятъ конторою, и цѣлый рой конторщиковъ помѣщался за длинными черными столами въ громадныхъ обнаженныхъ комнатахъ. Нигдѣ не было и слѣда роскоши; напротивъ, все дышало энергичной дѣятельностью и честной простотой. Войдя въ контору, вы чувствовали, что находились у человѣка, который работалъ безъ устали и не предавался никогда мелочнымъ удовольствіямъ жизни.

Десять лѣтъ передъ тѣмъ, Дугласъ наслѣдовалъ прежнему нотаріусу, Имберу, у котораго онъ былъ конторщикомъ лѣтъ двѣнадцать. Онъ тогда былъ молодой человѣкъ, очень способный, живой и энергичный, вѣчно мечтавшій о гигантскихъ спекуляціяхъ. Промышленная лихорадка, свирѣпствовавшая во всей Франціи, распалая его кровь и возбуждала въ немъ самыя честолюбивыя желанія; онъ жаждалъ нажить побольше денегъ, но не ради роскошной жизни, а чтобъ имѣть возможность осуществить громаднаго торговаго предпріятія.

Съ самаго начала ему было душно въ нотаріальной конторѣ. Онъ былъ рожденъ банкиромъ, и руки его были созданы, чтобъ ворочать большими суммами. Дѣятельность нотаріуса съ ея спокойными, мелочными операціями, съ ея почти отеческимъ, священнымъ характеромъ, нисколько не соответствовала его натурѣ спекулятора. Онъ чувствовалъ себя не на мѣстѣ, такъ-какъ всѣ инстинкты побуждали его спекулировать на деньги, вносимыя въ контору на храненіе или для извѣстной цѣли. Онъ не могъ примириться съ ролью простаго посредника и пустился въ лихо-

рабочныя спекуляціі, которыя внослѣдствіи сдѣлали изъ него преступника.

Онъ уплатилъ своему предшественнику выходныя деньги втеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, хотя никто не зналъ, откуда онъ пріобрѣлъ неожиданно такую значительную сумму. Потомъ онъ обнаружилъ пламенную дѣятельность и въ короткое время придалъ обширные размѣры своей скромной конторѣ. Практика его увеличивалась съ каждымъ днемъ, и онъ вскорѣ сталъ извѣстенъ во всемъ окологдѣ. Его система была очень проста: онъ никогда ни въ чемъ не отказывалъ своему кліенту, удовлетворялъ всѣмъ требованіямъ, находилъ деньги для всѣхъ заемщиковъ и выгодно помѣщалъ поручаемыя ему суммы. Такимъ образомъ, въ конторѣ образовался значительный оборотный капиталъ.

Сначала многіе удивлялись удивительно быстрымъ успѣхамъ Дугласа и находили, что молодой нотаріусъ дѣйствовалъ неосторожно и бралъ на себя слишкомъ тяжелую отвѣтственность. Вѣстѣ съ тѣмъ непонятно было, откуда досталъ онъ средства для поддержанія постоянно увеличивавшагося круга его торговыхъ дѣлъ. Но Дугласъ успокаивалъ всѣ опасенія публики удивительной простотой своей жизни. Его считали богачомъ, а онъ одѣвался скромно, не позволялъ себѣ никакой роскоши, никакихъ удовольствій. Всѣ знали, что онъ велъ самую тихую, экономную, буржуазную жизнь. Къ тому-же онъ отличался необыкновенной набожностью, раздавалъ щедря милостыни, ходилъ постоянно въ церковь и стоялъ на колѣняхъ впродолженіи всей службы. Благодаря всему этому, онъ пользовался самой завидной репутаціей, и весь городъ его любилъ и уважалъ, какъ честнѣйшаго и святого человѣка.

И чтобъ достигъ этого результата, ему довольно было шести лѣтъ. Его нотаріальная контора была первая въ городѣ; въ ней совершалось всего болѣе сдѣловъ, и ея практика была самая многочисленная. Богатые люди считали своимъ долгомъ имѣть нотаріуса такого набожнаго и скромнаго человѣка, одареннаго всѣми добродѣтелями. Аристократія и духовенство его поддерживали, а купцы кончили тѣмъ, что стали слѣпо вѣрить въ его честность. Дугласъ лихорадочно эксплуатировалъ свое блестящее положеніе. Ему теперь было сорокъ пять лѣтъ. Небольшого роста, коренастый, плотный, съ чисто выбритымъ лицомъ, съ умерщвленной на-

взглядъ плотью и только живыми глазами, онъ казался дьячкомъ, вышедшимъ въ банкиры. Подъ его доброй, спокойной наружностью влокотала кровь, и часто въ его мягкомъ голосѣ слышались ноты, обнаруживавшія внутреннюю горячку, пожиравшую его.

Во всякое время дня онъ находился въ своемъ кабинетѣ, большой, холодной комнатѣ, очень бѣдно мебелированной. Въ передней всегда дожидались какой-нибудь патеръ или монахиня. Впрочемъ, дверь его кабинета была всегда открыта и доступъ къ нему былъ для всѣхъ самый легкій. Онъ даже немного рисовался своимъ презрѣніемъ къ роскоши, щедростю и добродушіемъ.

Маріюсъ чувствовалъ особенную симпатію къ этому человѣку, простота и добродѣтели котораго невольно возбуждали къ нему симпатію, а потому Маріюсъ очень любилъ бывать у него.

Въ этотъ день, переговоривъ съ Дугласомъ о дѣлѣ, по которому его прислалъ Мартели, Маріюсъ прибавилъ перѣшительнымъ тономъ:

— У меня была-бы къ вамъ личная просьба, но я боюсь васъ обезпокоить.

— Нисколько, другъ мой, отвѣчалъ очень любезно нотаріусъ; — я весь къ вашимъ услугамъ, какъ уже не разъ вамъ говорилъ.

— Я очень хорошо помню ваши любезныя предложенія и именно хотѣлъ вамъ ихъ напомянуть.

— Я вамъ говорилъ, что отъ васъ зависитъ зашибить копейку въ моей конторѣ, и теперь повторяю тоже. Я буду очень радъ оказать услугу такому достойному молодому человѣку.

— Я принимаю съ благодарностью ваши предложенія, сказалъ просто Маріюсъ, тронутый великодушіемъ и прямою Дугласа.

Послѣдній вздрогнулъ отъ радости и, повернувъ свое кресло къ Маріюсу, сказалъ послѣшно:

— Сядьте и поговоримъ. Я могу дать вамъ всего пять минутъ. Я очень люблю такихъ молодыхъ людей, какъ вы, неустанныхъ въ работѣ и скупыхъ на слова. Вы не знаете, какъ я счастливъ, что могу вамъ быть полезенъ.

И онъ улыбался съ самымъ нѣжнымъ сочувствіемъ.

— Вотъ въ чемъ дѣло, продолжалъ онъ: — не всѣ мои кліенты живутъ въ Марсель, и мнѣ необходимо было найти средство

вести ихъ дѣла. Вотъ я и завелъ нѣсколькихъ повѣренныхъ, которые представляютъ собою отсутствующихъ кліентовъ и завѣдываютъ ихъ дѣлами. Когда кто-нибудь изъ моихъ кліентовъ, по той или другой причинѣ, не можетъ заниматься своими дѣлами, то онъ даетъ мнѣ бланковую довѣренность, поручая найти вѣрнаго человѣка, который честно исполнилъ-бы обязанности его повѣреннаго. Я знаю, что вы честный и расторопный малый: я вамъ предлагаю быть повѣреннымъ двухъ или трехъ собственниковъ, оставившихъ мнѣ подобныя довѣренности. Намъ придется только вписать ваше имя, и вы получите пять процентовъ со всѣхъ вырученныхъ денегъ.

Онъ говорилъ тихо, спокойно. Маріусъ испугался такой отвѣтственности, но сознаніе своей безграничной честности побудило его сказать:

— Я къ вашимъ услугамъ. Вы меня научите, что мнѣ дѣлать. Я знаю, что, повинуваясь вамъ во всемъ, мнѣ нечего бояться.

Нотаріусъ всталъ и взялъ со стола нѣсколько бумагъ.

— Чтобъ васъ съ перваго раза не слишкомъ отягощать, сказалъ онъ,—я вамъ дамъ только двѣ довѣренности.

Онъ вернулся къ своей конторѣ и прочелъ вслухъ два документа, вставивъ въ нихъ первоначально имя Маріуса. Это были полныя довѣренности съ правомъ продавать, покупать, закладывать и вести дѣла въ судебныхъ мѣстахъ.

— Теперь, прибавилъ нотаріусъ, окончивъ чтеніе,—мнѣ надо вамъ дать кое-какія свѣденія о людяхъ, представителями которыхъ вы будете съ сегодняшняго дня. Вотъ (и онъ подавъ Маріусу одну изъ бумагъ) довѣренность моего кліента и друга, г. Отье, изъ Ламбеска. Онъ теперь въ Шербургѣ и вскорѣ долженъ уѣхать въ Нью-Йоркъ, гдѣ онъ получитъ большое наследство... Онъ купилъ въ Марсели, прежде своего отъѣзда, домъ въ улицѣ Рима. Вы будете управлять этимъ домошъ во время его отсутствія. Впрочемъ, онъ мнѣ завтра пришлетъ свои подробныя инструкціи, и я вамъ ихъ передамъ. А другая довѣренность отъ г. Муте, стараго тулонскаго купца, который мнѣ вручилъ капиталы, прося помѣстить ихъ подъ надежныя залоги. Я взялъ въ закладъ подъ его деньги дачу въ кварталѣ св. Юста. Муте только-что прислалъ мнѣ еще денегъ, которыя онъ желаетъ так-

же выгодно помѣстить. Но онъ не можетъ двинуться съ мѣста отъ сильной подагры и просилъ меня найти ему повѣреннаго, который могъ-бы подписываться за него на необходимыхъ бумагахъ... Приходите завтра, мы покончимъ съ вами по поводу этихъ двухъ дѣлъ.

Дугласъ всталъ и, проводивъ до двери Маріуса, пожалъ ему руку съ любезной фамильярностью.

Молодой человѣкъ вышелъ, вѣскольکو озадаченный случившимся. Онъ удивлялся легкости, съ которой нотаріусъ поручилъ ему такія серьезныя дѣла, и чувствовалъ себя какъ-то неловко подъ тяжестью принятой отвѣтственности.

XXV.

МАРІУСЪ ТЩЕТНО ИЩЕТЪ ГОСПОДИНА И ДОМЪ.

На слѣдующій день Маріусъ явился къ Дугласу для полученія послѣднихъ инструкцій.

— Вы очень акуратны, сказалъ съ улыбкой нотаріусъ; — мы съ вами поведемъ отлично дѣла. Я хочу, чтобъ вы разбогатѣли... Сядьте, я сейчасъ буду къ вашимъ услугамъ.

Дугласъ въ это время оканчивалъ свой завтракъ, состоявшій изъ черстваго хлѣба, орѣховъ и воды. Эта скромность тронула Маріуса и разсѣяла всѣ его сомнѣнія. Такой трезвый человѣкъ не могъ вовлечь его въ дурныя дѣла; это былъ истинно прямой, честный, набожный христіанинъ.

— Ну, теперь поговоримъ, сказалъ г. Дугласъ, покончивъ съ завтракомъ; — я только-что получилъ письмо отъ г. Отъе. Ему необходимы деньги для путешествія, и онъ проситъ заложить его домъ. Вотъ это письмо.

Маріусъ взялъ письмо и машинально сталъ искать глазами почтовый штемпель.

— Это письмо, сказалъ поспѣшно Дугласъ, — я получилъ съ нѣкоторыми другими бумагами въ большомъ конвертѣ.

Молодой человѣкъ покраснѣлъ, боясь, не оскорбилъ-ли онъ своего покровителя. Онъ прочелъ письмо г. Отъе, который, дѣйствительно, просилъ заложить его домъ въ улицѣ Рима, воспользовавшись его довѣренностью, и прислать ему какъ можно скорѣе денегъ.

— Вотъ порученіе какъ нельзя болѣе кстати, сказалъ нотаріусъ, когда Маріусъ окончилъ чтеніе:—г. Муте пристаеъ ко мнѣ, чтобъ я помѣстилъ его деньги выгодно и вѣрно. Вы теперь повѣренный ихъ обоихъ и можете разомъ удовлетворить ихъ требованія. Вы подпишете бумагу, и я пошлю г. Отье деньги, которыя мнѣ прислалъ г. Муте.

Молодому человѣку показалось, что Дугласъ дѣйствовалъ слишкомъ быстро. Онъ желалъ-бы видѣть дошъ, поступившій въ его завѣдываніе, и по крайней мѣрѣ переписаться со своими доверителями. Онъ не сомнѣвался въ честности нотаріуса. но не могъ удержаться отъ какого-то смутнаго, инстинктивнаго страха. Неловкое чувство, которое онъ ощутилъ наканунѣ, снова овладѣло имъ; ему казалось, что онъ низвергался въ бездну, и нѣжный, добродушный голосъ Дугласа его странно смущалъ.

Нотаріусъ разложилъ уже бумаги на столѣ для подписи Маріуса, какъ вдругъ ударилъ себя рукой по головѣ.

— Чортъ возьми! воскликнулъ онъ.—Тутъ не достаеъ одного документа... Я пошлю сейчасъ за нимъ одного изъ конторщиковъ.

Дугласъ казался очень недовольнымъ.

— Я не могу ждать, сказалъ Маріусъ, вставая и побуждаемый какимъ-то непреодолимымъ инстинктомъ:—меня ждеъ г. Мартели. Отложимъ это дѣло до понедѣльника.

— Хорошо, отвѣчалъ нотаріусъ нерѣшительно;—но я-бы лучше желалъ кончить дѣло сегодня. Вы видите, какъ г. Отье торопится... Но дѣлать нечего, подождемъ до понедѣльника.

Выйдя на улицу, Маріусъ вздохнулъ свободнѣе. Ему стало стыдно самого себя за эту неосновательную подозрительность, но все-же онъ былъ очень радъ, что передъ нимъ было два дня для размышленія. Въ это время, конечно, успокоятся его дѣтскія, ни на чемъ неоснованныя, подозрѣнія.

Спустя нѣсколько часовъ, въ этотъ-же самый день, его посѣтилъ въ конторѣ графъ Жирусъ, который отъ нечего дѣлать катался по всѣмъ городамъ департамента.

— Другъ мой, сказалъ старый оригиналъ послѣ обычныхъ привѣтствій,—какъ вы счастливы, что вы бѣдны и должны работать изъ-за куска хлѣба! Вы не можете себѣ представить, какъ я скучаю!.. Я съ удовольствіемъ занялъ-бы мѣсто вашего брата въ тюрьмѣ; можетъ быть, мнѣ было-бы веселѣе. Благода-

ря его процессу, я имѣлъ занятіе на цѣлый мѣсяць. Никогда я не видывалъ такого блестящаго зрѣлища человѣческой глупости и мерзости. Я еле высидѣлъ въ судѣ; меня такъ и подмывало встать и сказать всю правду. Тогда, конечно, меня признали-бы сумасшедшимъ и надѣли-бы на меня смирительную рубашку... Но, право, въ Ламбескѣ жизнь стала невыносима.

Маріюсъ былъ очень радъ посѣщенію графа, который могъ ему дать свѣденія о г. Отъе, жившемъ въ одномъ съ нимъ городѣ.

— Однако, замѣтилъ онъ съ кажущимся равнодушіемъ, — въ Ламбескѣ есть богатые люди. Отчего вы съ ними не знаете? Вамъ тогда не было-бы такъ скучно. Знакомы вы, напримѣръ, съ г. Отъе, который имѣетъ, кажется, домъ недалеко отъ васъ?

— Г. Отъе? повторилъ графъ, стараясь припомнить это имя. — У меня нѣтъ въ Ламбескѣ никакого г. Отъе. Вы говорите, что онъ домовладѣлецъ?

— Да, онъ недавно купилъ домъ въ Марсели. Онъ, должно быть, вамъ сосѣдъ.

— Вы ошибаетесь, мой другъ, сказалъ старикъ послѣ нѣкотораго размышленія: — я не знаю г. Отъе и нѣтъ въ Ламбескѣ ни одного домовладѣльца этого имени. Я для забавы выучилъ наизусть всѣ ихъ имена. Надо-же чѣмъ-нибудь заниматься!

— Позвольте, отвѣчалъ Маріюсъ, поблѣднѣвъ и чувствуя внутреннюю дрожь, — г. Отъе получилъ надняхъ большое наслѣдство; онъ теперь находится въ Шербургѣ и ѣдетъ въ Нью-Йоркъ, гдѣ умеръ родственникъ, сдѣлавшій его своимъ единственнымъ наслѣдникомъ.

— Какую сказку вы мнѣ рассказываете? воскликнулъ со смѣхомъ графъ. — Неужели вы думаете, что еслибъ какой-нибудь обитатель Ламбеска, а тѣмъ болѣе мой сосѣдъ, получилъ наслѣдство въ Америкѣ, то я этого не зналъ-бы и не забавлялся-бы, по крайней мѣрѣ, съ недѣлю городскими толкучами? Нѣтъ, повторяю вамъ, въ Ламбескѣ не живетъ никакого г. Отъе и никто тамъ не получилъ водевильнаго богатства, о которомъ вы толкуете.

Слова старика поразили Маріюса. Очевидно, онъ говорилъ правду, а лгалъ Дугласъ. Въ глазахъ молодого человѣка потемнѣло; онъ снова видѣлъ себя на краю бездны.

— Отчего вы такъ интересуетесь этимъ г. Отъе? спросилъ графъ съ любопытствомъ.

— Я? Нисколько! отвѣчалъ Маріусъ съ замѣтнымъ смущеніемъ. — Мнѣ рассказывалъ о немъ одинъ изъ моихъ пріятелей, но я, вѣроятно, перепуталъ городъ, въ которомъ онъ живетъ.

Онъ не смѣлъ еще прямо обвинять Дугласа, и мысли его какъ-то странно путались.

— Ну, до свиданія, сказалъ Жирусъ вставая; — пріѣзжайте ко мнѣ на открытіе охоты. Это меня позабавитъ.

Послѣ ухода графа, Маріусъ углубился въ тяжелую думу. Онъ рѣшительно не зналъ, что ему думать о Дугласѣ; онъ не могъ считать его мошенникомъ, вспоминая его смиренныя манеры и всѣмъ извѣстную набожность. Подобное лицемеріе было немислимо. Вѣроятно, тутъ было недоразумѣніе. Но графъ Жирусъ говорилъ положительно, что Отье никто не зналъ въ Ламбекѣ, а слѣдовательно, Дугласъ лгалъ и имѣлъ какой-нибудь интересъ въ этой жи. Молодой человѣкъ боялся развивать далѣе тревожившую его мысль, но рѣшился узнать всю правду, прежде чѣмъ подписать какую-нибудь бумагу.

Слѣдующій день былъ воскресенье, и Маріусъ, пользуясь свободнымъ временемъ съ самаго утра, отправился въ улицу Рима, гдѣ находился домъ, купленный г-номъ Отье. Это былъ большой, прекрасный домъ, въ которомъ жило много квартирантовъ. Маріусъ, въ силу своего полномочія, искусно распросилъ cadaго изъ жильцовъ и вполнѣ убѣдился, что никто изъ нихъ ни разу не видалъ Отье, а всѣ имѣли дѣло только съ нотаріусомъ Дугласомъ. Подозрѣнія молодого человѣка усилились, но, для окончательнаго убѣжденія въ ихъ справедливости, онъ отправился къ прежнему хозяину этого дома, Ландролу, жившему въ сосѣдней улицѣ.

— Мнѣ поручено г. Отье завѣдываніе домомъ, который вы ему продали, сказалъ Маріусъ этому господину, — и я пришелъ къ вамъ за нѣкоторыми свѣденіями о контрактахъ съ жильцами.

Ландроль очень любезно вызвался отвѣчать на всѣ вопросы, и Маріусъ изъ осторожности сталъ сначала спрашивать его о различныхъ подробностяхъ и только подъ конецъ разговора коснулся главной цѣли своего посѣщенія.

— Извините, сказалъ онъ, — за причиненное вамъ беспокойство. Но я не видалъ лично г. Отье, который теперь въ отсутствіи, и подумалъ, что вы, имѣвшіе съ нимъ дѣло, вѣроятно, можете сообщить мнѣ его намѣренія на-счетъ дома.

— Но я также никогда не видалъ г. Отъе, отвѣчалъ Ландроль; — дѣло я покончилъ съ нотаріусомъ Дугласомъ, который представилъ мнѣ всѣ необходимыя документы.

— А я думалъ, что Отъе, какъ всегда водится, лично осмотрѣлъ домъ.

— Нѣтъ. Развѣ вамъ неизвѣстно, что онъ въ Америкѣ уже болѣе полугода? Г. Дугласъ самъ осмотрѣлъ домъ и купилъ его отъ имени своего кліента, который поручилъ ему заключить эту сдѣлку.

Маріюсъ прикусилъ губу. Онъ едва не проболталъ роковой тайны. Наканунѣ нотаріусъ ему сказалъ, что Отъе пріѣзжалъ изъ Ламбеска для покупки дома въ Марсели. Теперь эта ложь вполнѣ выяснилась. Отъе не могъ въ одно и то-же время быть и въ Америкѣ, и въ Шербургѣ. По всей вѣроятности, его также не было въ Нью-Йоркѣ и Шербургѣ, какъ и въ Ламбескѣ. Это было просто фиктивное лицо, именемъ котораго Дугласъ пользовался для какихъ-то темныхъ, преступныхъ цѣлей. Но въ такомъ случаѣ довѣренность, выданная Маріюсу, была фальшивая, и человѣкъ, поддѣлавшій на ней подпись, подлежалъ ваторжннмъ работамъ.

Онъ покраснѣлъ, точно самъ былъ преступникомъ и, пробормотавъ еще разъ свою благодарность, удалился изъ кабинета Ландроля, который былъ очень удивленъ, что повѣренный такъ плохо зналъ дѣла своего довѣрителя.

Очутившись на чистомъ воздухѣ, Маріюсъ долженъ былъ сознаться, что Дугласъ и никто другой совершилъ подлогъ на его довѣренности. Но къ чему сдѣлалъ онъ это преступленіе? Деньги за домъ были всѣ уплачены, и молодой человѣкъ не могъ придумать другой причины, побудившей нотаріуса, какъ желаніе скрыть свои средства, что и заставило его купить домъ подъ вымышленнымъ именемъ. Но какъ-бы то ни было, Дугласъ, честный, неподкупный, святой, былъ преступникъ.

Теперь, естественно, мысль, что и Муте, богатый тулонскій купецъ, также мифъ, вошла въ голову Маріюса. Онъ тотчасъ отправился бѣгомъ къ одному изъ своихъ пріятелей, который долго жилъ въ Тулонѣ. Но оказалось, что Муте, дѣйствительно, существовалъ и былъ однимъ изъ кліентовъ Дугласа. Это извѣстіе нѣсколько успокоило молодого человѣка, но сомнѣніе такъ глубоко

запало въ его душу, что онъ рѣшился лично убѣдиться въ существованіи и самой дачи, которую Муте взялъ подъ закладъ ссуженныхъ денегъ. Все утро онъ тщетно искалъ человѣка, остальную часть дня онъ посвятилъ поискамъ дома.

Маріюсъ провелъ свое дѣтство въ кварталѣ св. Юста, на дачѣ, принадлежавшей его матери, и прекрасно зналъ всѣ сосѣдніе дома. Земля, которая, по словамъ нотаріуса, была дана въ закладъ Муте за его деньги, принадлежала Жиро, въ домѣ котораго Маріюсъ часто игралъ ребенкомъ. Поэтому онъ прямо отправился къ нему, но подъ предлогомъ простого визита.

Сентябрь былъ на исходѣ. Море спокойно простиралось на горизонтѣ обширнымъ бархатнымъ ковромъ. Солнце весело освѣщало поля, сады и рощи. Проходя мимо дачи, гдѣ онъ родился, Маріюсъ вспомнилъ о своей матери, и слезы навернулись на его глазахъ.

Г. Жиро принялъ его съ распростертыми объятіями.

— Отчего вы никогда не приходите къ намъ? сказалъ онъ. — Вы, кажется, забыли, что въ этомъ домѣ у васъ старые, вѣрные друзья. Въ ихъ обществѣ вы могли-бы хоть на-время забыть свое горе.

Маріюсъ былъ тронутъ этимъ радушнымъ приѣмомъ и совершенно забылъ о цѣли своего посѣщенія. Наконецъ, самъ Жиро напомнилъ ему объ этомъ.

— Вы видите, сказалъ онъ, между прочимъ, — мы живемъ здѣсь счастливо. Конечно, мы не богаты, но нашъ небольшой клочекъ земли вполне доставляетъ намъ необходимыя средства къ жизни.

— А я думалъ, что у васъ дѣла идутъ не очень хорошо, замѣтилъ Маріюсъ:—урожай въ послѣдніе годы были плохи...

— Откуда вы взяли, что наши дѣла плохи? перебилъ его Жиро, съ удивленіемъ смотря на молодого человѣка.

— Извините меня, пробормоталъ Маріюсъ, краснѣя; — я, можетъ быть, не деликатно выразился. Но мнѣ говорили, что, благодаря неурожаю, вы были принуждены заложить свою дачу.

— Это неправда, отвѣчалъ Жиро съ громкимъ смѣхомъ. — Слава Богу, я не закладывалъ ни вершка моей земли.

— Однако, прибавилъ Маріюсъ, — мнѣ даже назвали нотаріуса, г. Дугласа, у котораго совершена ваша закладная.

— Г. Дугласъ — святой человѣкъ, отвѣчалъ Жиро все съ тѣмъ-же добродушнымъ смѣхомъ; — но будьте увѣрены, что онъ не совершалъ закладной на мою дачу.

Наканунѣ Маріюсъ самъ видѣлъ закладную, въ которой дача Жиро была ясно означена, и къ тому-же подъ этимъ документомъ стояла подпись Жиро. Значить, нотариусъ совершилъ второй подлогъ, и уже на этотъ разъ цѣль его была очевидна: онъ положилъ себѣ въ карманъ деньги Муте.

Послѣ всего этого дальнѣйшія сомнѣнія были невозможны, и на слѣдующее утро, послѣ бессонной, тревожной ночи, Маріюсъ отправился къ Дугласу съ твердой рѣшимостью уличить этого лицемернаго святошу, торговавшаго подлогами.

ГЛАВА XXVI.

Не всякій —мопахъ, на комъ ряса.

Войдя въ контору Дугласа, Маріюсъ былъ удивленъ религиозной тишиной, царившей въ этихъ холодныхъ, обнаженныхъ комнатахъ, гдѣ подготовлялось столько преступленій. Онъ не могъ привыкнуть къ такому нахальству, къ такому лицемерію. Онъ хотѣлъ-бы, чтобъ самыя стѣны громко кричали о мошенничествахъ нотариуса. Безмолвная дѣятельность конторщиковъ и кажущаяся порядочность этого жилища зла выводили его изъ терпѣнія. Блѣдный, взволнованный, онъ сѣлъ на стулъ.

— Войдите, войдите, воссиякнулъ Дугласъ, завидя его въ растворенную дверь кабинета.— Вы мнѣ не помѣшаете... Я сейчасъ буду къ вашимъ услугамъ.

Маріюсъ вошелъ въ кабинетъ. Тамъ находилось пять или шесть патеровъ, въ томъ числѣ и абать Донадеи, веселый, улыбающійся. Онъ пришелъ просить щедрую милостыню у нотариуса и разсыпался въ любезностяхъ.

— Вы нашъ лучший другъ, говорилъ онъ, — и мы всегда обращаемся къ вамъ, когда наши церковныя кружки пусты.

— И хорошо дѣлаете, отвѣчалъ Дугласъ и, выдвинувъ ящикъ, взялъ нѣсколько золотыхъ.

— Сколько вамъ надо? спросилъ онъ у патера.

— Я думаю, что пятьсотъ франковъ намъ хватитъ, отвѣчалъ Донаден сладкимъ голосомъ. — Мы очень нуждаемся въ помощи честныхъ и набожныхъ людей.

— Вотъ пятьсотъ франковъ, произнесъ нотариусъ, перебивая его, и прибавилъ дрожащимъ голосомъ: — молитесь за меня.

Всѣ патеры встали и, окруживъ Дугласа, начали благодарить его и призывать на его голову благословеніе божіе. Дугласъ, блѣдный, безмолвный, принималъ ихъ благодарность и благословеніе. Маріюсу показалось, что его губы и вѣки немного дрожали.

— Богъ вамъ воздастъ за ваше великодушіе, говорилъ Донаден. — Онъ уже и теперь васъ вознаграждаетъ процвѣтаніемъ вашихъ дѣлъ и душевнымъ спокойствіемъ, которое вкушаютъ только люди истинно честные и человѣколюбивые. О, г. Дугласъ, вы представляете своей благородной личностью прекрасный примѣръ этому городу, въ которомъ современный матеріализмъ развращаетъ очень многихъ. Какъ-бы желательно было, чтобъ всѣ марсельскіе купцы переняли вашу простую, набожную жизнь и ваши добрыя дѣла. Тогда мы не видѣли-бы ежедневно страшныя зрѣлища совершеннаго растлѣнія нравовъ.

Дугласу, повидимому, было какъ-то неловко; похвалы патера выводили его изъ терпѣнія.

— Нѣтъ, нѣтъ, я не святой, пробормоталъ онъ, перебивая Донаден и провожая его до дверей; — всякій человѣкъ нуждается въ милосердіи божіемъ. Если вы считаете себя обязаннымъ мнѣ чѣмъ-нибудь, то молитесь за меня.

Патеры низко поклонились и вышли изъ комнаты одинъ за другимъ.

Сидя въ углу кабинета, Маріюсъ молча присутствовалъ при этой сценѣ. Сердце его кипѣло яростью при видѣ такой позорной траги-комедіи. Быть можетъ, Дугласъ думалъ купить прощенье у неба богатыми щедротами на ворованныя деньги. Такое лицемѣріе, такая низость были невѣроятны. Маріюсу казалось, что онъ видитъ во снѣ щедрость Дугласа и униженную благодарность Донаден. Онъ пришелъ съ цѣлью уличить преступника, совершившаго подлоги, а очутился передъ святымъ человѣкомъ, котораго церковь благословляла за его добрыя дѣла. Впрочемъ, когда прошла первая минута удивленія, молодой человѣкъ по-

чувствовалъ еще сильнѣе желаніе отомстить этому негодяю за поправныя имъ истину и честь. Позорная сцена, которой онъ только-что былъ свидѣтелемъ, сдѣлала его безжалостнымъ карателемъ зла.

Проводивъ патеровъ, Дугласъ вернулся въ кабинетъ и съ любезной улыбкой протянулъ руку Маріусу. Но пораженный отвращеніемъ при такомъ нахальствѣ, юноша отшатнулся отъ него и пристально, строго посмотрѣлъ на него.

— Затворите дверь, сказалъ онъ рѣзко.

Ошеломленный словами и выраженіемъ лица Маріуса, нотариусъ повиновался.

— Заприте на ключъ, прибавилъ тѣмъ-же тономъ молодой человѣкъ, — мнѣ надо съ вами переговорить наединѣ.

Дугласъ заперъ дверь и вернулся къ Маріусу, удивленный, недовольный.

— Что съ вами, другъ мой? спросилъ онъ.

Маріусу вдругъ стало его жаль, и онъ колебался начать роковое объясненіе.

— Впрочемъ, вы правы, прибавилъ Дугласъ: — лучше быть наединѣ для дѣловыхъ разговоровъ. Ну, что-же, вы готовы? Я получилъ недостававшій мнѣ документъ, и мнѣ надо только вашу подпись, чтобъ совершить закладную на домъ Отье. Вы знаете, что это дѣло спѣшное; я еще сегодня получилъ письмо отъ г. Отье, который умоляетъ поскорѣе выслать ему деньги.

Съ этими словами онъ всталъ, разложилъ на столѣ бумаги и, обмакнувъ перо въ чернильницу, подаль его Маріусу.

— Подпишите, сказалъ онъ просто.

Маріусъ молча слѣдилъ за всѣми движеніями нотариуса и, вмѣсто того, чтобъ взять перо, сказалъ хладнокровно, смотря прямо въ глаза Дугласу:

— Я вчера былъ въ домѣ на улицѣ Рима и говорилъ съ жильцами. Никто, даже прежній хозяинъ, не знаетъ г. Отье.

Дугласъ поблѣднѣлъ, и губы его задрожали. Онъ свернулъ бумаги и положилъ на столъ перо.

— А, это меня удивляетъ, пробормоталъ онъ.

— Третьяго дня, продолжалъ Маріусъ, — у меня былъ графъ Жирусъ, богатый землевладѣлецъ въ Ламбесѣ, и положительно удостоверилъ меня, что нѣтъ въ его городѣ никакого домовла-

дѣльца по имени Отъе. Я теперь убѣжденъ, что такого господина вовсе не существуетъ. Что все это значитъ?

Нотаріусъ не отвѣчалъ. Онъ смотрѣлъ прямо противъ себя мутными глазами и, чувствуя, что гибель его близка, тщетно отыскивалъ средства спасенія.

— Я потомъ отправился въ кварталъ св. Юста, продолжалъ безжалостный Маріюсъ; — домъ, который, по вашимъ словамъ, былъ заложенъ г. Муте, принадлежитъ старому другу моей матери, г. Жиро, и онъ подтвердилъ мнѣ, что никогда не закладывалъ своего дома... Еще разъ спрашиваю васъ, что все это значитъ?

Дугласъ молчалъ, и тогда Маріюсъ воскликнулъ громовымъ голосомъ:

— Если вы не хотите мнѣ отвѣчать, то я вамъ скажу, что все это значитъ. Вашъ Отъе никогда не существовалъ; это фиктивное лицо, выдуманное вами для обдѣлыванія вашихъ грязныхъ дѣлъ. Вы никогда не закладывали дома г. Жиро, а взявъ деньги у Муте, положили ихъ себѣ въ карманъ. Для достиженія этого блестящаго результата вы совершили нѣсколько подлоговъ и хотѣли тотчасъ совершить новый, чтобъ достать еще денегъ.

Дугласъ слушалъ его неподвижно, какъ мраморная статуя. Это хладнокровное спокойствіе вывело изъ терпѣнія молодого чело-
вѣка.

— Я не призванъ судить ваши преступленія, прибавилъ онъ еще громче, чѣмъ прежде; — но я хочу спросить васъ, какъ вы смѣли сдѣлать мнѣ такое позорное предложеніе? Вы знали, что я честный труженіецъ, и хотѣли меня впутать въ такое грязное дѣло... Я имѣю полное право сказать вамъ за это, что вы подлець.

Лицо нотаріуса не дрогнуло.

— Сейчасъ васъ благословляли патеры, прибавилъ Маріюсъ, — и вы прекрасно сыграли свою роль. Я одинъ въ Марсели знаю вашу тайну, и вы такъ ловко всѣхъ обманывали до сихъ поръ, что еслибъ я сказалъ всю правду, то мнѣ, можетъ быть, не повѣрили-бы. Дѣйствительно, трудно повѣрить, что нотаріусъ Дугласъ, этотъ высоко-уважаемый всѣми, честный, святой чело-
вѣкъ, преступно готовитъ во вражѣ гибель своихъ кліентовъ. Я самъ усомнился-бы въ вашей подлости, еслибъ это было возможно, — такъ искусно вы прикидываетесь въ эту самую минуту

смираннымъ, набожнымъ монахомъ, углубившимся въ молитву! Но что-же вы молчите? Защищайте, оправдывайте себя!

— Что мнѣ вамъ отвѣчать? сказалъ, наконецъ, Дугласъ, равнодушно играя востаннымъ ножомъ для разрѣзанія бумаги. — Вы меня судите, какъ ребенка. Когда вы кончите кричать, то, можетъ быть, спокойно меня выслушаете.

ГЛАВА XXVII.

СПЕКУЛЯЦІИ НОТАРІУСА ДУГЛАСА.

Слыша, что Дугласъ называлъ его сужденіе дѣтскимъ, Маріюсъ вышелъ изъ себя и хотѣлъ восхлибнуть, что онъ судить его, какъ честный человѣкъ, но нотаріусъ не далъ ему выговорить ни слова.

— Если вы будете все говорить, то, конечно, останетесь правы, произнесъ онъ съ нетерпѣніемъ — Я вамъ дозволил оскорблять меня, сколько вамъ было угодно. Теперь, чортъ возьми, дайте мнѣ возможность спокойно защищаться... Конечно, я предпочелъ бы, чтобъ моя система осталась для васъ тайною, но вы открыли часть правды, и потому лучше вамъ обнаружить ее цѣликомъ. Вы умный человѣкъ и поймете меня лучше всякаго другого. Бѣ тому-же я усталъ; моя теорія мнѣ не удалась на практикѣ, и я знаю, что я погибъ. Вотъ почему я рѣшаюсь чистосердечно исповѣдаться передъ вами. Вы увидите, что я никого не хотѣлъ позорить и искренно желалъ вамъ добра, предложивъ выгодную операцію. Выслушайте меня до конца, и надѣюсь, что вы сочтете меня просто неудачнымъ спекуляторомъ.

Маріюсъ не могъ придти въ себя отъ удивленія. Онъ смотрѣлъ на Дугласа, какъ на стумасшедшаго, который неожиданно заговорилъ здраво. Спокойный тонъ этого человѣка и полное отсутствіе раскаянія придавали ему видъ несчастнаго изобрѣтателя, который грустно, но безъ стыда, рассказываетъ интересную исторію своего неудавшагося изобрѣтенія.

— Отбросимъ всѣ подробности, продолжалъ онъ твердымъ, яснымъ голосомъ, играя, по-прежнему, востаннымъ ножомъ; — и не будемъ касаться дѣла Отъе и Муте; оно не имѣетъ никакого значенія. Важно объяснить и обсудить ту сложную машину, ко-

торую я создалъ и пустилъ въ ходъ. Повторяю, я сознаю, что погибъ, и мнѣ доставляетъ какое-то грустное удовольствіе это объясненіе моего неудавшагося изобрѣтенія. Прежде всего я совершенно съ вами согласенъ и признаю, что я нарушилъ взятыя на себя обязанности, что я низкій преступникъ, если смотрѣть на меня, какъ на нотаріуса. Но я всегда считалъ себя банкиромъ и спекуляторомъ. Купивъ нотаріальную контору у моего предшественника, я имѣлъ очень небольшую практику. Первымъ моимъ стараніемъ было сдѣлать эту контору центромъ крупныхъ спекуляцій. Мнѣ пришлось удовлетворять всѣмъ требованіямъ, давать деньги взаимн нуждающимся въ нихъ, брать капиталы подъ закладъ у тѣхъ, которые хотѣли выгодно ихъ помѣстить, продавать желающимъ купить и покупать у желающихъ продать... Я послѣдовалъ примѣру охотниковъ, которые окружаютъ себя набитыми чучелами, чтобъ приманить живыхъ птицъ, и создалъ около сорока фиктивныхъ лицъ, подъ именемъ которыхъ я совершалъ всевозможныя операціи. Отъе, я охотно признаюсь въ этомъ, одинъ изъ такихъ фиктивныхъ лицъ. Такимъ образомъ, я купалъ значительное число недвижимыхъ имуществъ, уплативъ за нихъ изъ денегъ, занятыхъ на имя фиктивныхъ покупателей, подъ залогъ этихъ домовъ и помѣстій. Благодаря этой системѣ, я создалъ себѣ большой оборотный капиталъ и многочисленныхъ кліентовъ, которые послужили основой моему кредиту.

Дугласъ остановился, перевелъ дыханіе и продолжалъ тѣмъ-же спокойнымъ тономъ:

— Вы должны знать, что, спекулируя, часто нуждаешься до зарѣза въ деньгахъ. Когда купленная мною недвижимость была вся заложена, я изобрѣлъ другой способъ доставать деньги и для новыхъ спекуляцій. Я освобождалъ недвижимость отъ запрещенія путемъ фальшивыхъ вѣтанцій въ полученіи денегъ, данныхъ подъ залогъ, и снова совершалъ новую закладную на свободное имущество.

— Но вѣдь это низко! воскликнулъ Маріюсъ.

— Я васъ просилъ меня не перебивать, сказалъ рѣзко Дугласъ;— я буду потомъ себя оправдывать, а теперь только излагаю факты. Мало-по-малу я принужденъ былъ расширить свою систему... Сорока фиктивныхъ лицъ было уже недостаточно, и я прибѣгнулъ къ крайнему способу, который вполнѣ удался, благо-

даря его отчаянной смѣлости. Я сталъ совершать закладныя на нима извѣстныхъ домовладѣльцевъ и торговцевъ, поддѣлывая ихъ подписи; потомъ я прежнимъ порядкомъ уничтожалъ закладную путемъ фальшивой квитанціи. Вы понимаете, эта система очень проста.

— Да, да, я понимаю, промолвилъ Маріюсъ, уже сомнѣваясь, не сошелъ-ли, дѣйствительно, нотаріусъ съума.

— Впрочемъ, началъ снова Дугласъ, — когда мнѣ нужны были деньги, я пріобрѣталъ ихъ всѣми возможными путями. Я шелъ прямо къ цѣли и никогда не заботился о средствахъ преодолѣть представлявшіяся мнѣ преграды, открыто принимая на себя всю отвѣтственность... Такимъ образомъ, я часто создавалъ и залогодателя и самый залогъ; я заключалъ закладныя на несущія недвижности, которыя не принадлежали ихъ фиктивнымъ собственникамъ. Часто также, въ случаяхъ непредвидѣнной крайности, я представлялъ къ учету векселя съ подложной подписью первыхъ марсельскихъ торговцевъ и моимъ личнымъ бланкомъ, такъ-что, когда наступалъ срокъ платежа, я самъ ихъ уплачивалъ и уничтожалъ компрометирующіе документы... Вы видите, что я отъ васъ ничего не скрываю и чистосердечно привожу доказательства своей виновности. Я обнажаю передъ вами всю мою систему, потому что хочу себя оправдать, и знаю, что мнѣ болѣе не примѣнять ее на практикѣ.

Маріюсъ съ ужасомъ смотрѣлъ въ глубину той бездны, въ которую низвергался Дугласъ. Этотъ человѣкъ говорилъ о своей системѣ и объ оправдывающихъ его дѣйствіяхъ доводахъ, а слушавшій его молодой человѣкъ не вѣрилъ своимъ ушамъ. Онъ чувствовалъ, что передъ нимъ находилось какое-то чудовище, какой-то нравственный феноменъ, и ему казалось, что все это онъ слышитъ не наяву, а подъ вліяніемъ тяжелаго кошмара. Онъ терялся въ лабиринтѣ спекуляцій Дугласа и не смѣлъ доводить до логическаго результата идеи, развиваемыя этимъ страннымъ мошенникомъ съ какимъ-то мрачнымъ самодовольствіемъ.

— Вы теперь хорошо понимаете мою систему, продолжалъ нотаріусъ. — Въ принципѣ я хотѣлъ быть банкиромъ и эксплуатировать поступавшіе въ мои руки капиталы. Нотаріальную контору я превратилъ въ банковскую.

— Т. е. въ притонъ воровства и фабрику подлоговъ, воскликнулъ Маріюсъ.

— Развѣ вы не понимаете, отвѣчалъ Дугласъ, пожимая плечами, — что я не хотѣлъ обворовать ни одного изъ моихъ кліентовъ? Но я надѣюсь, что, дослушавъ меня до конца, вы отдадите мнѣ полную справедливость. Теперь я долженъ еще объяснить вамъ мою лучшую выдумку. Для управленія купленными недвижимостями и эксплуатированія занятыхъ суммъ, я создалъ рядъ повѣренныхъ, которые представляли моихъ фивтивныхъ кліентовъ. Въ эти повѣренные я бралъ честныхъ молодыхъ людей, которые были моими слѣпными орудіями, не подозрѣвая нисколько существа моихъ операцій. Я былъ вполне увѣренъ въ конечномъ торжествѣ моей системы и я, конечно, обогатилъ-бы своихъ помощниковъ, еслибъ несчастныя обстоятельства не помѣшали моему успѣху. Предложивъ вамъ, на примѣръ, быть повѣреннымъ Отье, я хотѣлъ только, повторяю еще разъ, сдѣлать вамъ добро и дать случай принять участіе въ спекуляціи, которую я считалъ очень выгодной.

Эти послѣднія слова взбѣсили Маріюса. Терпѣніе его лопнуло, и онъ чувствовалъ, что сойдетъ съума, если будетъ долѣе слушать странную исповѣдь Дугласа.

— Я васъ слушалъ терпѣливо, сказалъ онъ, дрожа отъ гнѣва; — всѣ гнусности, которыя вы мнѣ только-что рассказали съ непостижимымъ нахальствомъ, доказываютъ, что вы или дуракъ, или самый отъявленный мошенникъ.

— Да нѣтъ! воскликнулъ Дугласъ, ударяя кулакомъ по столу. — Вы рѣшительно меня не понимаете. Я вамъ повторялъ уже пять или шесть разъ, что я банкиръ. Умоляю васъ, выслушайте меня до конца.

Дугласъ всталъ и поднялъ голову съ большимъ достоинствомъ. Ничто, ни въ его позѣ, ни въ выраженіи его лица, не выражало страха или стыда.

— Вы меня назвали воромъ и мошенникомъ, сказалъ онъ тихо; — я вамъ дозволилъ меня оскорблять; вы обвиняете меня именемъ общества, довѣрію котораго я измѣнилъ; вы говорите тономъ прокурора, который смотритъ на дѣйствія людей только съ законной точки зрѣнія. Но вы должны стать совершенно на другую точку зрѣнія, если хотите меня понять.

Обдумайте хладнокровно все, что я вамъ сказалъ. Ворожь, неправда-ли, называютъ человѣка, который похищаетъ чужую собственность и, набивъ себѣ карманы, скрывается. Я никогда и не думалъ воровать. Вотъ уже шесть лѣтъ, какъ я примѣняю на практикѣ мою систему, но я такъ-же бѣденъ, какъ въ первый день, когда явился въ эту контору; мои спекуляціи не удались, и я даже потерялъ нѣсколько тысячъ моихъ кровныхъ денегъ. Вы знаете, какую я всегда велъ жизнь, скромную, труженическую; я пилъ воду и ѣлъ сухой хлѣбъ. Единственную роскошь, которую я себѣ позволялъ, это иногда жертвовать небольшія суммы на добрыя дѣла. Странный воръ—человѣкъ, жившій въ своемъ кабинетѣ, какъ въ монастырской кельѣ, и ворочавшій громадными капиталами, не думая никогда присвоить себѣ изъ нихъ ни одного сантима! Признайтесь, что еслибъ я былъ, дѣйствительно, воръ, то уже давно наполнилъ-бы свою кассу чужими капиталами и бѣжалъ-бы изъ Марсели.

Маріюсъ широко открылъ глаза отъ удивленія. Ему стало какъ-то неловко. Онъ еще не смотрѣлъ на дѣло съ этой точки зрѣнія. Очевидно, этотъ человѣкъ былъ правъ. Его нельзя было называть ворожь.

— Васъ оскорбляетъ и выводитъ изъ себя моя система, продолжалъ Дугласъ; — она не удалась, и я буду всѣми признанъ гнуснымъ преступникомъ. Но еслибъ я имѣлъ успѣхъ въ своихъ спекуляціяхъ, то нажилъ-бы громадное состояніе, не причинивъ никому ни малѣйшаго вреда; я сдѣлался-бы миллионеромъ, и меня всѣ уважали-бы... Да, базисомъ моихъ операцій было преступленіе; я спекулировалъ на подлогъ, я открылъ новый и смѣлый путь къ обогащенію. Я такъ былъ увѣренъ въ своемъ успѣхѣ, я такъ надѣялся на свою энергичную дѣятельность, что не думалъ о возможной гибели другихъ, вмѣстѣ со мною, въ случаѣ неудачи. Въ этомъ заключалась вся моя ошибка,—все мое ослѣпленіе. Поймите хорошенько, что я дѣлалъ: я совершалъ закладныя на несуществующія недвижимости или на такія недвижимости, которыя были съ избыткомъ обременены долгами, но я платилъ акуратно проценты по даннымъ въ ссуду капиталамъ; я выдавалъ фальшивые векселя, но въ сровъ уплачивалъ по нимъ сполна; мои фиктивные кліенты только прикрывали мою собственную личность, и я приводилъ ихъ въ дѣйствіе, какъ маріонетокъ, для

расширенія моихъ спекуляцій. Моя цѣль заключалась въ приобрѣтеніи капитала и въ эксплуатаціи его; фиктивные лица и фальшивые векселя, съ помощью которыхъ я старался увеличить кругъ моихъ спекуляцій, тутъ не имѣютъ никакого значенія. Въ дѣлѣ спекуляцій реальный фактъ—лишь тотъ барышъ, который получаешь съ капитала. Посмотрите на биржу,—вѣдь тамъ дѣлають обороты такъ-же съ несуществующими, предполагаемыми цѣнностями. Допустите на минуту, что мнѣ удалось моими операціями, каковы-бы онѣ ни были, удвоить капиталъ, приобрѣтенный мною незаконными средствами, я тогда возвратилъ-бы весь этотъ капиталъ до послѣдняго сантима, я никого не обворовалъ-бы, уничтожилъ-бы всѣ подложные документы и честно ликвидировалъ-бы свои дѣла, наживъ большое состояніе своимъ умомъ и труженнической, скромной жизнью. Вотъ вся моя система. Не имѣя своего состоянія, я былъ принужденъ заимствовать у другихъ необходимые капиталы для моихъ операцій. Это не воровство, а простой заемъ.

Эти ясные, логичные доводы нотаріуса приводили Маріуса въ какое-то оцѣпенѣніе. Личность Дугласа страшно выросла въ его глазахъ. Онъ казался ему теперь гениемъ, употребившимъ на зло свои необыкновенныя способности, энергію и силу воли. Если-бы у него были съ самаго начала большія средства въ рукахъ, то, можетъ быть, онъ и совершилъ-бы великія дѣла. Въ глубинѣ души такого крупнаго злодѣя, какъ Дугласъ, всегда скрывается великая сила, которая, прилѣпленная къ добру, дала-бы грандіозные результаты для общаго блага.

Особенно удивляли Маріуса простота и непринужденность, съ которыми Дугласъ говорилъ о совершенныхъ имъ подлогахъ. По всей вѣроятности, думалъ онъ, въ умѣ этого человѣка что-то не исправно. Онъ боленъ; спекуляціонная горячка довела его до искренняго убѣжденія, что преступленіе—отличный способъ наживы, если только преступленіе остается скрытымъ и безнаказаннымъ. Онъ самъ это говорилъ и, несмотря на совершенные подлоги, считалъ себя честнымъ человѣкомъ, если эти подлоги не приносили убытка никому. Всякое нравственное чутье въ немъ исчезло, и онъ не чувствовалъ, что преступленіе гнусно само по себѣ.

— Всѣ системы хороши въ теоріи, началъ снова Дугласъ

послѣ непродолжительнаго молчанія;— только на практикѣ обнаруживаются ихъ недостатки. Въ теоріи я долженъ былъ нажать громадное состояніе, а на практикѣ,—я, право, не знаю, какъ это случилось,—я заваленъ долгами и окончательно погибъ... Я потерялъ болѣе миліона въ несчастныхъ спекуляціяхъ, и всѣ мои кліенты раззорены.

Тутъ голосъ нотаріуса задрожалъ, и даже на глазахъ его показались слезы. Онъ началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ въ лихорадочномъ волненіи, говоря какъ-бы самъ съ собою.

— Никто не можетъ себѣ представить, какую страшную жизнь я веду въ продолженіи двухъ послѣднихъ лѣтъ. Всѣ мои операціи не удавались, и каждый день надо было уплачивать большія суммы. Чтобъ сохранить свой кредитъ и уничтожить слѣдъ совершенныхъ подлоговъ, я долженъ былъ дѣлать новыя подлоги. Я уже пересталъ думать о барышахъ, а только старался спасти себя отъ каторги. Богъ мой свидѣтель, что еслибъ мнѣ только удалось вернуть чужіе капиталы, то я ликвидировалъ-бы свои дѣла, отдалъ-бы всѣмъ кліентамъ обратно ихъ деньги и сталъ-бы жить по буквѣ закона. Но громадные проценты, которые я долженъ былъ платить, меня подточили; я продалъ съ большою потерей купленные недвижимости, и, несмотря на всѣ мои усилія, постоянная неудача ввергла меня въ бездну, изъ которой нѣтъ спасенія. Я подвелъ сегодня свои счета: пассивъ ужасный, и нѣтъ никакихъ средствъ уплатить срочные платежи, а для меня неплатеж одного векселя значитъ преданіе суду и каторжная работа.

Маріусъ почти съ сожалѣніемъ смотрѣлъ на несчастнаго, который опустился въ кресла, блѣдный, убитый.

— Впрочемъ, и безъ того все кончено, сказалъ онъ: — я чистосердечно вамъ во всемъ сознался, и вы тотчасъ донесете на меня прокурору. Да тѣмъ и лучше. Мое положеніе становилось невыносимымъ... Вы правы: я преступникъ и заслуживаю строжайшей кары.

Маріусъ не двигался съ мѣста. Онъ не зналъ, что дѣлать. Онъ боялся, что, вмѣшавшись въ это дѣло, онъ будетъ оторванъ, какъ главный свидѣтель, отъ исполненія своего собственнаго, нетерпѣваго отлагательства, долга, въ отношеніи брата. Къ тому-же, ничто его не обязывало идти въ доносчики. Дугласъ

находился въ такомъ положеніи, что не могъ уже избѣгнуть правосудія.

— Ну, чего вы ждете? спросилъ вдругъ несчастный. — Вамъ все извѣстно; бѣгите за полиціей, я не тронусь съ этого мѣста.

Молодой человекъ всталъ, взялъ со стола довѣренности, на которыхъ было прописано его имя, и быстро разорвалъ ихъ.

— Вы негодяй, сказалъ онъ, — и я нисколько не перемѣнилъ моего мнѣнія о васъ; но мнѣ нечего помогать небу, оно и безъ меня васъ покараетъ.

И съ этими словами онъ вышелъ изъ комнаты.

Вотъ въ двухъ словахъ конецъ исторіи Дугласа.

На слѣдующій день, не имѣя средствъ уплатить крупный вексель, онъ искалъ спасенія въ бѣгствѣ. Извѣстіе объ этомъ произвело въ Марсели страшную панику. Многіе изъ кліентовъ были разворены, и сразу нельзя было опредѣлить цифры убытковъ. Это событіе приняло характеръ общественнаго бѣдствія. Къ ужасу потерпѣвшихъ лицъ прибавилось негодование всего общества, которое не могло простить нотаріусу его лицемерія, благодаря которому, ему удалось обманывать цѣлый городъ въ продолженіи многихъ лѣтъ.

Наконецъ, Дугласа поймали и судили въ Э, среди невѣроятнаго возбужденія всѣхъ классовъ противъ такого гнуснаго мошенника. Онъ-же очень хладнокровно принялъ на себя роль подсудимаго. Безъ его помощи слѣдователь никогда не привелъ-бы въ ясность его дѣла, — такъ они были сложны и запутанны! Суду пришлось разсмотрѣть болѣе девятисотъ подложныхъ документовъ всякаго рода и наименованія. Дугласъ съ неутомимой энергіей и вполне чистосердечно разобралъ этотъ хаосъ и точно опредѣлялъ права и обязанности своихъ кредиторовъ и должниковъ. При этомъ онъ пламенно возставалъ противъ обвиненія его въ воровствѣ. Онъ постоянно утверждалъ, что онъ несчастный спекуляторъ и что если-бы правосудіе и обстоятельства ему позволили, то онъ поправилъ-бы дѣла, какъ свои, такъ и своихъ кліентовъ. Онъ, повидимому, обвинялъ судъ въ томъ, что ему связали руки и не дали возможности загладить причиненный столбимъ лицамъ вредъ.

Его приговорили къ пожизненной каторгѣ и къ выставленію у позорнаго столба.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

КУСТАРНАЯ НЕУРЯДИЦА.

I.

Чѣмъ ближе знакомишься съ литературой кустарной промышленности, тѣмъ очевиднѣе становится громадность задачи, за которую взялась комисія по изслѣдованію кустарнаго производства въ Россіи. Какъ комисія справится со своей задачей? Насколько правильные или неправильные выводы и обобщенія ею будутъ сдѣланы? Что послѣдуетъ изъ этихъ выводовъ? Что выиграетъ кустарь? Улучшится-ли его положеніе? Утратить-ли кустарная промышленность характеръ случайности и неустойчивости? Получить-ли она какую-нибудь правильную организацію? Въ чемъ будетъ заключаться эта правильность? Явится-ли въ кустарной промышленности сознательное пониманіе ея отношеній ко всему производящему труду, или-же она будетъ плестись такъ-же, какъ нынче, отдаваясь на волю всѣхъ вѣтровъ и всѣхъ случайностей? Вотъ вопросы, на которые хотѣлось-бы получить отвѣты теперь-же, потому что если изъ собранныхъ комисією фактовъ будутъ сдѣланы неправильные выводы и примѣненія—въ чему вся ея работа?

Какую громадную задачу представляетъ изслѣдованіе кустарной промышленности и какую важную роль играетъ она въ экономической жизни русской деревни, можно видѣть уже изъ того, что даетъ комисія въ первомъ выпускѣ своихъ „Трудовъ“. Напримѣръ, тамбовская губернія, благодаря естественнымъ условіямъ, развила въ себѣ преимущественно земледѣліе. Мѣстное населеніе занималось имъ тѣмъ охотнѣе, что промыселъ этотъ

„Дѣло“, № 9, 1879 г.

доставлялъ заработокъ втеченіи почти цѣлаго года. Около семи мѣсяцевъ, съ начала апрѣля почти до конца октября, мѣстное населеніе занималось полевыми работами; потомъ до конца ноября, т. е. когда устанавливается санный путь, — молотьбой и подготовкой хлѣба къ отправкѣ, а затѣмъ — перевозкой хлѣба къ пристанямъ и въ ближайшіе города: Рязань, Коложну, Москву. Такимъ образомъ, сложился порядокъ занятій, поглощавшихъ у крестьянина все его свободное время. До проведенія желѣзныхъ дорогъ по тамбовской губерніи, ея взрослое населеніе имѣло работу втеченіи цѣлаго года у себя дома и не искало занятій внѣ земледѣлія. Но когда прошли желѣзныя дороги и хлѣбные грузы стали направляться по нимъ, тамбовскому крестьянину не осталось для зимы никакого дѣла. Мало этого, желѣзныя дороги внесли въ распорядокъ занятій населенія цѣлую революцію. Прежде хлѣбъ готовился къ отправкѣ исподволь, и потому никто не торопился его молотьбой и доставкой. Съ желѣзными дорогами все это измѣнилось. Прежде цѣны на хлѣбъ росли по мѣрѣ приближенія весенней навигаціи; теперь же, когда явилась возможность осенней доставки, осень оказалась самымъ бойкимъ временемъ для сбыта хлѣба, и вслѣдствіе этого высшія цѣны на хлѣбъ перешли съ весны на осень. Это, повидимому, не особенно важное обстоятельство повело къ послѣдствіямъ, которыхъ никто не предвидѣлъ. Для ускоренія сбыта хлѣба оказалось нужнымъ спѣшить молотьбой, а какъ цѣпная работа оказывалась не особенно спорой, то не только во всѣхъ владѣльческихъ имѣніяхъ, но даже и въ нѣкоторыхъ крестьянскихъ явилась молотильная машина. Благодаря требованію на молотилку, въ соседнемъ сапожковскомъ уѣздѣ, рязанской губерніи, возникла фабрикація переносныхъ молотилокъ и даже новый отхожіи промыселъ. Промыселъ этотъ заключается въ томъ, что хозяева молотилокъ разъѣзжаютъ съ ними по деревнямъ и обмолачиваютъ крестьянскій и помѣщичій хлѣбъ. Молотьба и подвозъ хлѣба къ станціямъ желѣзныхъ дорогъ прекращаются за четыре мѣсяца до наступленія весны; а такъ-какъ домашнія зимнія работы требуютъ не болѣе одной четверти рабочей силы населенія губерніи, то остальные $\frac{3}{4}$ остаются безъ дѣла. Такими свободными силами оказываются до 300,000 мужчинъ, столько-же женщинъ и до 400,000 рабочихъ лошадей. Принимая стоимость рабочаго дня

зимой для работника въ 30 к., работницы 15 к. и лошади тоже въ 30 к., получится убытокъ безработицы въ 25,500,000 рублей. Цифра эта, почтенная уже сама по себѣ, получаетъ особенную важность, если ее сравнить съ платежами населенія тамбовской губерніи, а населеніе тамбовской губерніи платитъ всякихъ податей и сборовъ 13,210,430 руб. Понятно, насколько безработица должна не только мѣшать исправной уплатѣ, но и вести къ постоянному упадку крестьянскаго хозяйства, что въ тамбовской губерніи уже и обнаружилось. Упадокъ хозяйства и постоянная нужда въ деньгахъ заставляютъ крестьянина прибѣгать къ средству, которое запутываетъ его еще болѣе, — къ запродажѣ своего будущаго труда, нерѣдко даже за половину цѣны. Потеря отъ этой запродажи вычисляется въ 9¹/₂ миліоновъ, а общая потеря населенія тамбовской губерніи, благодаря проведенію желѣзныхъ дорогъ, представляетъ почтенную цифру въ 35 миліоновъ.

Подобный упадокъ крестьянскаго хозяйства случился не въ одной тамбовской губерніи. Напримѣръ, изъ „протоколовъ“ за сѣданій тверскаго губернскаго собранія за 1878 годъ видно, что только въ шести уѣздахъ тверской губерніи, смежныхъ съ губерніями ярославской, владимірской и московской, развиты промыслы; уѣзды-же, примыкающіе къ губерніямъ псковской и новгородской, отличаются слабымъ развитіемъ, какъ мѣстныхъ, такъ и отхожихъ, промысловъ. Черезъ тверскую губернію проходятъ рѣка Волга, большая часть вышневолоцкой системы, рѣка Молога, входящая въ составъ тихвинской системы, петербургско-московское шоссе и желѣзныя дороги: николаевская, новоторжская и рыбинско-бологовская. До открытія николаевской дороги, петербургско-московское шоссе давало мѣстному населенію, промышлявшему извозомъ и содержаніемъ постоялыхъ дворовъ, большіе заработки. Вышневолоцкая система, по которой проходило прежде болѣе 6,000 судовъ, доставляла крестьянамъ тоже очень хорошій заработокъ. Съ улучшеніемъ маринской системы и съ проведеніемъ рыбинско-бологовской желѣзной дороги, промыселъ этотъ рухнулъ, ибо, вмѣсто прежнихъ 6,000 судовъ, проходитъ до 600, а иногда и менѣе; наконецъ, туерное буксирное пароходство убило окончательно крестьянскій судоходный промыселъ. Проведеніе новыхъ путей невыгодно отразилось на мельнично-крупчатомъ промыслѣ,

который былъ сильно развитъ въ тверскомъ и новгородскомъ уѣздахъ. Въ шепелевской волости, тверского уѣзда, не дальше семи лѣтъ тому назадъ, находилось до пяти мельницъ. Четыре изъ нихъ были выстроены хлѣбными торговцами на крестьянской общественной землѣ, и общество получало отъ нихъ ежегодно до 3,000 руб. арендной платы; кромѣ того, по условію, мельницы черезъ десять лѣтъ поступали въ собственность крестьянъ. Каждая мельница размалывала до 32,000 мѣшковъ, а всего до 800,000 пудовъ пшеничной и ржаной муки. Зерно доставлялось съ низовыхъ пристаней, и мука отправлялась въ Петербургъ и Ригу. Семь лѣтъ тому назадъ, въ шепелевской волости разгружалось не менѣе 150 барокъ; каждую барку тянули десять лошадей при пяти рабочихъ коноводахъ; слѣдовательно, требовалось 1,500 лошадей и не менѣе 750 рабочихъ. Крестьяне трехъ волостей, занятыхъ этимъ дѣломъ, добывали не меньше 15 руб. въ лѣто на каждую лошадь, и барочное коноводство давало 22,500 руб. въ годъ. Доставка зерна съ Волги на крупчатку, а съ нихъ въ Тверь и въ Торжокъ, производилась, преимущественно, на подводахъ; въ годъ эта перевозка давала крестьянамъ не меньше 36,800 руб.; на мельницахъ работало 300 рабочихъ, получавшихъ до 15,000 руб. Съ проведеніемъ рыбинско бологовской желѣзной дороги и съ постройкою въ Саратовѣ, Балаковѣ и другихъ хлѣбныхъ пристаняхъ паровыхъ мукомольныхъ мельницъ, хлѣбъ сталъ доставляться въ Петербургъ мукою.

Кузнечно-гвоздарный промыселъ въ тверской губерніи, вслѣдствіе сильной конкуренціи машиннаго производства, тоже падаетъ съ каждымъ годомъ. Цѣны на гвоздь остались тѣ-же, что были назадъ тому 20—30 лѣтъ, тогда какъ цѣны на хлѣбъ и на всѣ жизненные припасы поднялись на 50%. Насколько сталъ невыгоденъ гвоздарный промыселъ, можно судить изъ того, что чистый заработокъ гвоздаря въ недѣлю составляетъ 90 коп. и только при особой удачѣ 1 р. 20 коп., да и то, если гвоздаръ покупаетъ желѣзо на чистыя деньги.

Сапожный промыселъ падаетъ точно также. Въ вимвроскомъ сапожномъ районѣ, корчевскаго уѣзда, не считая содержателей большихъ мастерскихъ и скупщиковъ, было занято сапожнымъ дѣломъ до 7,000 мастеровъ и до 2,600 помощниковъ и помощницъ. Въ годъ изготовлялось до 1,400,000 паръ сапоговъ на 3½ миліона

руб. Съ 1874 года на украинскихъ ярмаркахъ упалъ спросъ на киевскій сапогъ, и промыселъ сталъ падать до того, что нѣкоторые мастерскія совѣтъ закрылись. Мелкіе сапожники, которымъ былъ не подъ силу этотъ кризисъ, отдали заготовленный товаръ за безцѣнокъ и сами поступили въ работники. Хотя въ 1877 году большіе заказы военного министерства для арміи очень оживили киевское производство, но это случайное оживленіе, конечно, не могло повліять на общія причины, отъ которыхъ зависитъ промыселъ, и съ окончившимися заказами военного министерства онъ сталъ опять падать.

Такъ и повсюду. Желѣзныя дороги, по мѣрѣ того, какъ онѣ проходили въ той или другой мѣстности, вносили смуту въ существовавшія до того экономическія отношенія. Желѣзныя дороги и пароходы погубили совѣтъ бурлацкій промыселъ и извозничество, которыми занимались сотни тысячъ народа. Всему этому люду пришлось создать новое дѣло, но вѣдь новыя дѣла не создаются такъ легко. Даже въ Европѣ, въ которой рабочее населеніе и образованнѣе, и развитѣе, человѣкъ, оставшійся внѣ своего дѣла, нелегко создаетъ новое. У насъ-же это гораздо труднѣе, вслѣдствіе общей бѣдности населенія, общаго экономическаго неразвитія и отсутствія промышленной жизни. Желѣзныя дороги, несмотря на свое благодѣтельное вліяніе вообще, принесли много зла русскому рабочему населенію въ частности. Зло это, конечно, оказалось бы нечувствительнымъ, еслибы, напримѣръ, тамбовское населеніе, по мѣрѣ проведенія желѣзныхъ дорогъ, сейчасъ-же создавало себѣ заработки; а такъ-какъ этого не случилось еще и до сихъ поръ, то втеченіи двадцати лѣтъ, какъ мы строимъ желѣзныя дороги, одна только тамбовская губернія, благодаря ежегоднымъ четырехъ-мѣсячнымъ прогуламъ, потеряла уже ни какъ не меньше 500 миліоновъ рублей.

Подобныя-же потери пришлось испытать всей средней, подмосковной, полосѣ Россіи, въ которой выкупные платежи были вычислены по-прежнему внутреннимъ отношеніямъ. Здѣсь убытки обнаружались не на извозѣ или прогулѣ, а на упадкѣ цѣнъ на хлѣбъ и на уменьшеніи доходности земель. Неоспоримо, что кто-нибудь выигралъ отъ проведенія желѣзныхъ дорогъ; въ общемъ выиграла безъ сомнѣнія и русская торговля, но въ частности этотъ выигрышъ получился на-счетъ крестьянскихъ потерь и вызвалъ та-

кую переѣмну экономическихъ условій, которую можно сравнить съ внезапной бурей или грозой. Напримѣръ, лѣтъ тридцать назадъ, крестьянское населеніе западнаго края было переведено съ барщины на оброкъ. Переѣмна эта была неоспоримо благодѣтельная, но она застигла крестьянъ настолькоъ врасплохъ, что они оторопѣли и растерялись, не зная, что имъ дѣлать. То, что у нихъ было до сихъ поръ въ рукахъ, выскользнуло, а новое приходилось создавать; создавать-же они не привыкли. Конечно, изъ этого не слѣдуетъ, что крестьянамъ западныхъ губерній нужно было оставаться вѣчно на барщинѣ или вводить у нихъ переходъ на оброкъ постепенно. Мы говоримъ не объ этомъ; мы говоримъ о томъ, что переходъ свалился внезапно, какъ градъ на голову, и огромную массу населенія поставилъ сразу въ такое положеніе, что прежнія условія труда оказывались невозможными, а новыхъ не явилось. Точно также волжское пароходство и желѣзныя дороги вытѣснили бурлака и возчика гораздо быстрѣе, чѣмъ они находили себѣ новое дѣло. Тѣ-же желѣзныя дороги гораздо быстрѣе измѣнили условія, вліявшія на цѣнность земель и заработокъ средней полосы Россіи, чѣмъ это населеніе овладѣло явившимися вновь условіями и создало новыя возможности для болѣе успѣшнаго труда. Если вліяніе желѣзныхъ дорогъ, пароходства, вновь явившагося небывалаго кредита и новой банковской системы, переѣмъ таможеннаго тарифа и новыхъ земельныхъ условій, созданныхъ освобожденіемъ крестьянъ, взять во всей совокупности ихъ послѣдствій, если выслѣдить вліяющія причины съ корня во всѣхъ мелочахъ воздѣйствія ихъ на каждаго отдѣльнаго экономического производителя, то создается такая грандіозная картина массы мелкихъ переѣмъ, слагающихъ новый экономическій укладъ, въ которомъ тамбовскіе 35 миліоновъ убытку явятся, можетъ быть, очень ничтожной единицей. Переѣмна условій вызвала въ цѣломъ большую производительность. Неоспоримо, что Россія, едва выплачивавшая въ крымскую войну 300 миліоновъ, теперь даетъ 600 миліоновъ, не считая расходовъ на земство; но это все-таки только общій итогъ приращенія; въ частности-же создавалась масса минусовъ, т. е. такихъ послѣдствій, которыя подъ вліяніемъ убыточныхъ условій создали потери, вродѣ тамбовскихъ.

Что-же дѣлать? Ясно, что труду, лишившемуся извѣстныхъ возможностей, нужно предоставить другія возможности и тѣмъ

поставить его въ производительное равновѣсіе. Г. Девель, изслѣдующій кустарную промышленность тамбовской губерніи по приглашенію комисіи, думаетъ, что тамбовскую, а слѣдовательно, и другія мѣстности, спасетъ кустарная производительность и развитіе мѣстныхъ кустарныхъ промысловъ, „распространеніе которыхъ въ настоящее время настолько ограничено, что они въ существенныхъ размѣрахъ едва-ли могутъ оказывать какое-либо вліяніе на безработицу большинства“. Изъ свѣденій, сообщенныхъ г. Девелемъ, видно, что въ тамбовской губерніи кустарными промыслами занимаются всего только 30,000 душъ изъ миліоннаго населенія; въ пяти степныхъ уѣздахъ кустарныхъ промысловъ вовсе не существуетъ, а между тѣмъ именно эти-то уѣзды и пострадали отъ проведенія желѣзныхъ дорогъ и зимней безработицы. Вопросъ, конечно, только въ томъ, какими средствами создать въ тамбовской губерніи кустарную промышленность и насколько вѣрно выяснитъ комисія причины, по которымъ въ тамбовской губерніи этихъ промысловъ до сихъ поръ не явилось? Конечно, населеніе тамбовской губерніи не состоитъ-же изъ такихъ тупоумныхъ людей, которые не понимаютъ своей выгоды и не желаютъ жить лучше, чѣмъ они живутъ. Слѣдуетъ думать также, что населеніе тамбовской губерніи владѣетъ достаточными умственными средствами, чтобы понять такіа нехитрыя ремесла, какъ пряденіе, тканье и вязанье изъ шерсти и пеньки. Значительное овцеводство (1,800,000) и обширная культура конопли сами собой указываютъ, что перечисленные роды занятій являются какъ-бы природеннымъ дѣломъ тамбовской губерніи. Спрашивается: почему-же, несмотря на сильно развитое овцеводство и на обширную культуру конопли, тамбовская губернія ничего не прядетъ, не тклетъ и не вяжетъ изъ шерсти и пеньки? Ничто на свѣтѣ не дѣлается безъ причины; слѣдовательно, должны быть причины и этому, и, конечно, всѣ, желаемыя г. Девелемъ для тамбовской губерніи, кустарные промыслы не явились только потому, что что-нибудь мѣшало ихъ появленію.

II.

Чтобы дать читателю понятіе о размѣрѣ народной дѣятельности, которая называется кустарной промышленностью, мы укажемъ

ему на нѣкоторые изъ кустарныхъ производствъ. Существуетъ, напримѣръ, такъ-называемая древообрабатывающая промышленность. Въ нее входитъ приготовленіе телѣгъ, повозокъ, тарантасовъ, саней, полозьевъ, оглобелей, дугъ, колесъ, влещей для хомутовъ, бочекъ, кадокъ, ведеръ, обручей, граблей, лопатъ, сошниковъ, боронъ, самопрядокъ, ткацкихъ станковъ, мебели всякаго рода, сундуковъ, оконныхъ рамъ, ложекъ, чашекъ, блюдъ, корытъ, обечайекъ для ситъ, табакерокъ, катушекъ, челноковъ, счетовъ, трубокъ, чубуковъ, подсвѣчниковъ, веретенъ, гармоникъ, балалаекъ, гитаръ, корзинокъ, лукошекъ, кузововъ, кошелей, лаптей, мочалъ, рогожъ, кулей, рѣшетъ, коробовъ. Къ тому же промыслу относится углежженіе въ кострахъ и ямахъ, смолокурение въ ямахъ, майданахъ, корчагахъ, котлахъ, козанахъ и печахъ, сидка дегтя, поташное производство, сажкопченіе.

Телѣжный промыселъ распространенъ болѣе чѣмъ въ 532 селеніяхъ, расположенныхъ въ 35-ти губерніяхъ Россіи и въ 175-ти уѣздахъ. Центромъ телѣжнаго промысла нужно считать губернію владимірскую и ярославскую, въ которыхъ болѣе 90 селеній занято этимъ промысломъ; затѣмъ идутъ губерніи симбирская, въ которой занято промысломъ 68 селеній, казанская, и нижегородская, въ которыхъ работаютъ 47 селеній въ каждой. Въ невьянскомъ округѣ, екатеринбургскаго уѣзда, изготавливается ежегодно колесъ на 146,000 руб.

Деревянная посуда работается въ 420 селеніяхъ, распределенныхъ по 28 губерніямъ и 100 уѣздамъ. Центромъ этого промысла служитъ нижегородская губернія, въ которой работаютъ болѣе 163 селъ. Въ одномъ семеновскомъ уѣздѣ дѣлается въ годъ до 4,000,000 деревянныхъ ложекъ на 35,000 руб. Въ востромской губерніи, въ двухъ только уѣздахъ, въ макарьевскомъ и варнавинскомъ находится 111 токарныхъ заводовъ, на которыхъ изготавливается около 1,713,600 осиновыхъ блюдецъ, мисокъ, чашекъ и т. п. на 180,000 руб.

Мочальное производство—приготовленіе рогожъ, кулей, лаптей, рѣшетъ, коробовъ существуетъ болѣе чѣмъ въ 409 селеніяхъ 26 губерній и 102 уѣздовъ. Центромъ промысла служитъ губернія владимірская, гдѣ занято имъ болѣе 136 селъ, и губернія нижегородская. Одинъ лукояновскій уѣздъ изготавливаетъ въ годъ до 1½ миліона кулей, на сумму 135,000 руб. Ма-

карьевскій уѣздъ, костромской губерніи, изготовляетъ рогожь и кулей на 250,000 руб., ветлужскій уѣздъ—на 100,000 руб. Село Семеновское, костромской губерніи, изготовляетъ ежегодно лаптей на 100,000 руб. Гг. Мещерскій и Модзалевскій говорятъ, что все количество ежегодно употребляемыхъ въ Россіи рогожь, циновоеъ и кулей можно принять до 14 миліоновъ штукъ.

Производство это оцѣнивается Кепшеномъ въ 2 мил. рублей. Со включеніемъ-же луба, мочальныхъ веревокъ, лаптей и проч., по словамъ того же Кепшена, одной только липовой коры въ разныхъ видахъ продается у насъ ежегодно болѣе чѣмъ на 2 миліона рублей. Число взрослыхъ липъ, срубаемыхъ ежегодно для снятія мочальнаго и сухого луба, составляетъ, по словамъ Кепшена, отъ 700,000 до 1 миліона штукъ. Г. Кайгородовъ думаетъ, что цифра эта далеко ниже дѣйствительной, ибо, по свидѣтельству г. Полонскаго, въ одной вятской губерніи вырубается ежегодно на мочальное дѣло около 500,000 взрослыхъ липъ.

Изготовленіе бочекъ, кадокъ, ведеръ, обручей распространено болѣе, чѣмъ въ 350 селеніяхъ 30 губерній и 130 уѣздовъ. Центромъ промысла служитъ казанская губернія; затѣмъ слѣдуютъ губерніи владимірская, нижегородская, ярославская, сибирская, рязанская и оренбургская. Въ лайшевскомъ уѣздѣ, казанской губерніи, бондарнымъ промысломъ занято ежегодно около 700 человекъ, получающихъ дохода слишкомъ 22,000 руб.; въ бѣжецкомъ уѣздѣ, тверской губерніи, бондарей считается болѣе 1,000 человекъ и работаютъ они въ годъ на 38,000 руб.

Столярный и плотничій промыселъ водворился въ 320 селеніяхъ 25 губерній и 112 уѣздовъ. Центромъ промысла служитъ московская губернія — уѣзды московскій и звенигородскій. За московской губерніей слѣдуютъ губерніи сибирская, казанская, вятская, ярославская и нижегородская. Въ московскомъ и звенигородскомъ уѣздахъ работаютъ болѣе 2,000 столяровъ, изготовляющихъ въ годъ разной мебели на 459,400 руб. Въ одной деревнѣ Лигачево, черкизовской волости, московскаго уѣзда, занимаются столярнымъ дѣломъ 122 человекъ и дѣлаютъ въ годъ мебели на 45,000 руб.

Такъ называемыя деревянные издѣлія—грабли, лопаты, бороны приготавливаютъ въ 258 селеніяхъ 18 губерній и 76 уѣздовъ.

Первое мѣсто по производству занимает губернія ярославская, затѣмъ слѣдуетъ владимірская. Въ шуйскомъ уѣздѣ, владимірской губерніи, приготовленіемъ кленовыхъ прядильныхъ гребней занято 250 человекъ. Гребней готовится до 80,000 штукъ, на 10,000 руб. Въ дер. Лежнево, того-же уѣзда, дѣлается борозъ на 2,000 руб.

Мелкія подѣлки—катушки, табакерки, счеты, чубуки, деревянна дѣтскія игрушки изготовляются въ 118 селеніяхъ 18 губерній и 52 уѣздовъ. Во владимірской губерніи занято этимъ дѣломъ 25 селеній. Какого размѣра достигаетъ мѣстами развитіе промысла, видно изъ слѣдующихъ примѣровъ. Въ вятскомъ уѣздѣ готовится до 30,000 трубокъ, на 1,100 руб. Въ судогодскомъ уѣздѣ, владимірской губерніи, выдѣлывается 2 миліона серповыхъ черенковъ, на 4,000 руб. Верейскій уѣздъ, московской губерніи, приготовляетъ ежегодно деревянныхъ счетовъ на 20,000 руб. Въ двухъ деревняхъ владимірской губерніи занято дѣланіемъ игрушекъ до 600 человекъ, а деревня Шалимова, шуйскаго уѣзда, состоящая всего изъ 30-ти человекъ, приготовляетъ игрушекъ на 2,000 руб. въ годъ.

Сидка дегтя распространена настолько, что въ рѣдкой мѣстности, гдѣ только растетъ береза, не найдется хоть одного дегтярнаго завода. Дегтярный промыселъ распространенъ преимущественно въ губерніяхъ тверской, ярославской, костромской, владимірской и нижегородской. Въ костромской губерніи находится около 600 дегтярныхъ заводовъ, на которыхъ работаетъ болѣе 12¹/₂ тысячъ человекъ и добывается болѣе 870,000 пуд. дегтя, на 1,005,000 руб. Смолокуренный промыселъ, подсочка, добываніе скипидара, пека, сажі распространены преимущественно въ губерніяхъ архангельской, вологодской, костромской и составляютъ промыселъ огромной массы мѣстнаго населенія. Точно также распространено и кустарное углежженіе; гдѣ есть деревенская кузница, ужъ непременно существуетъ и добываніе угля.

Изъ матеріаловъ, которые имѣются о кустарныхъ промыслахъ, не совсѣмъ легко установить порядокъ и размѣръ ихъ распространенія, но несомнѣнно, что чѣмъ болѣе народную потребность, составляетъ предметъ производства, тѣмъ въ болѣеишъ количествѣ онъ и производится.

Хлопчатобумажное производство сосредоточилось въ селѣ Ива-

новѣ, въ Вознесенскомъ посадѣ и въ Шуѣ. Въ шуйскомъ уѣздѣ занято ткачествомъ до 40,000 человекъ; въ томъ-же шуйскомъ уѣздѣ въ нормальную пору бумажной фабрикаціи изготовлялось до 1,500,000 штукъ миткаля, на 5 миліоновъ руб., а ситцевъ и платковъ на 12 миліоновъ руб. Промышленность эта, хотя она и производится частію по деревнямъ, имѣетъ во всякомъ случаѣ характеръ не основной; да, наконецъ, она пріютилась почти въ одной мѣстности и, такъ-сказать, специализировалась въ губерніи владимірской, миновавъ всѣ остальные губерніи Россіи. Но есть рядъ другихъ промышленности, имѣющихъ болѣе близкое отношеніе къ потребностямъ народа и поселившихся почти въ каждой деревнѣ. Къ такимъ промысламъ принадлежитъ древодѣльное производство. Каждому крестьянину нужна телѣга, нужны сани, нужна соха, коса, серпъ, нужны разныя мелкія вещи для домашняго обихода, и удовлетвореніемъ потребности этого обихода заняты не фабрики или заводы съ паровыми двигателями, а кустари, раскинутые также повсюду, какъ раскинуты ихъ деревенскіе потребители. Чѣмъ большую потребность должно удовлетворить производство, тѣмъ больше, конечно, оно распространено или развито. Напримѣръ, горшки, тарелки, чашки, латки нужны въ каждомъ домашнемъ хозяйствѣ, и потому, несмотря на то, что матеріалъ для ихъ изготовленія не находится на всякомъ мѣстѣ, гончарный промыселъ составляетъ одинъ изъ наиболѣе развитыхъ. Имъ занимаются въ 32 губерніяхъ и 163 уѣздахъ гораздо больше 400 селеній. Есть селенія, какъ, напр., село Камішкырѣ, кузнецкаго уѣзда, саратовской губерніи, гдѣ изъ числа 2,500 человекъ населенія $\frac{4}{5}$ занимаются горшечнымъ производствомъ, и мальчики съ 8-лѣтняго возраста поступаютъ уже въ эту работу. Въ ливенскомъ уѣздѣ повторяется тотъ-же фактъ; тамъ въ деревняхъ Плешкова и Альховнича тоже $\frac{4}{5}$ всего населенія занимаются гончарнымъ дѣломъ, и мальчики съ 8-лѣтняго возраста пріучаются дѣлать горшки. Вмѣстѣ съ мужчинами работаютъ и женщины.

Остальные промыслы распредѣляются въ такомъ порядкѣ по числу губерній: кожевенное и скорняжное производства развиты въ 30 губерніяхъ; шерстяное производство, т. е. пряденіе волны, козьяго пуха, тканье кушаковъ и шерстяныхъ тканей — въ 29 губерніяхъ; пеньковыя издѣлія — веревки, канаты, ко-

шели, сѣти, невода, тенета, пряжа и пеньковое тканье — въ 28 губерніяхъ; коженныя издѣлія — рукавицы, обувь, кошельки, подручники и т. д. — въ 26 губерніяхъ; кузнечный промыселъ — скребицы, подковы, гвозди, ухваты, заслонки, кочерги, вьюшки, уполовники, ложки, ковши и т. п. — въ 26 губерніяхъ; войлочное производство — въ 26 губерніяхъ; льняное производство — въ 30 губерніяхъ; Россія, по разсчетамъ г. Тенгоборскаго, производитъ ежегодно льна до 12 миліоновъ пудовъ. За исключеніемъ льна, вывозимаго за границу, остается на внутреннее потребленіе до 7,500,000 пудовъ. Если исключить изъ этого $\frac{1}{4}$ на потери и на другія потребности, то остается для пряденія 5,625,000 пудовъ; а такъ-какъ пряденіе до сихъ поръ производится у насъ тѣмъ-же способомъ, какимъ производила его Пенелопя, то пряденіе 5,625,000 пудовъ должно занимать 2,812,500 человекъ. Ткачествомъ занято болѣе 425,000 человекъ, а прибавляя къ этому числу всѣхъ тѣхъ, кто занятъ приготовительными работами — мочкою, мятьемъ, трепаньемъ, ческою, дѣланіемъ прялокъ, веретенъ, ткацкихъ станковъ и другихъ побочныхъ орудій, окажется, что изъ числа сельскаго населенія льнянымъ промысломъ занято не менѣе 4 миліоновъ человекъ, и цифра эта, конечно, не будетъ преувеличенной, потому что едва-ли есть хоть одна русская деревня, въ которой женщины въ зимній досугъ не занимались-бы пряденьемъ и тканьемъ.

Женщины принимаютъ не меньшее участіе въ кустарной производительности, но специальность ихъ нѣсколько иная, чѣмъ у мужчинъ. Мужской трудъ направленъ на дѣла, требующія большей физической силы, женскій-же — на производства, требующія большей усидчивости. Можно замѣтить еще, что женскій трудъ отличается тенденціею аристократизма; напримѣръ, вязанія и плетеныя издѣлія — чулки, платки, шали, шарфы, варежки, рукавицы составляютъ промыселъ очень распространенный, пожалуй, мало чѣмъ уступающій шерстяному производству. Онъ водворился въ 24 губерніяхъ и отвѣчаетъ одной изъ главныхъ народныхъ потребностей. Во многихъ губерніяхъ промысломъ этимъ заняты не только женщины, но и мужчины; напримѣръ, въ гороховскомъ, шуйскомъ и александровскомъ уѣздахъ, владимірской губерніи, есть селенія, гдѣ каждый членъ крестьянской семьи, начиная съ десяти-лѣтняго ребенка и кончая дряхлымъ старикомъ, занятъ вяза-

ніемъ чулковъ. Рядомъ съ этимъ производствомъ, рассчитаннымъ собственно на крестьянскія потребности, существуетъ вязаніе, удовлетворяющее надобностямъ болѣе прихотливыхъ и обеспеченныхъ городскихъ жителей. Такъ въ оренбургской губерніи разводятся особаго рода козы, съ пухомъ вродѣ пуха тибетскихъ козъ, и вязаніемъ изъ него разныхъ деликатныхъ вещей заняты всѣ женщины и дѣвушки отъ Оренбурга до Тавалыдской станицы. Лучшія шали, изготовляемыя этими мастерицами, цѣнятся на мѣстѣ въ 45—50 руб. Ясно, что такая роскошь готовится не для деревенскаго потребителя. Кружевное производство, водворившееся въ 12 губерніяхъ и даже въ Сибири, рассчитано тоже на болѣе состоятельнаго потребителя. Напримѣръ, балахнинскія косынки стоятъ на мѣстѣ отъ 10 до 100 руб. Мценскія кружева, расходящіяся по всей Россіи, продаются заграничныя. Кружевное производство есть исключительно женское дѣло, а насколько оно выгодно, можно судить изъ слѣдующаго замѣчанія, сдѣланнаго въ „Сводѣ матеріаловъ“ по поводу мценскаго кружевного производства: „Многія кружевницы, занимающіяся плетеніемъ кружевъ съ семи-лѣтняго возраста, накопляютъ до замужества нѣсколько сотенъ рублей“. Если же судить о размѣрѣ выгодности производства по другой выпискѣ „Свода“, изъ которой видно, что въ слободѣ Букаркѣ, вятской губерніи, 500 женщинъ, занятыхъ кружевнымъ производствомъ, получаютъ прибыли до 4,000 рублей, то нужно думать, что кружевницы выходятъ замужъ очень поздно.

Изъ этихъ, хотя и отрывочныхъ, указаній совершенно ясно, какую роль въ народной экономіи играетъ кустарная производительность. „Вездѣ, гдѣ почва въ Россіи не даетъ достаточныхъ средствъ для прокормленія крестьянской семьи и на уплату лежащихъ на крестьянинѣ податей и повинностей, говоритъ предисловіе къ „Своду матеріаловъ“, — посторонній промыселъ является неизбѣжнымъ условіемъ крестьянскаго хозяйства. Часть населенія ищетъ заработковъ вдали отъ семьи и родины и занимается отхожими промыслами, идетъ въ города для торговли или найма, работаетъ на фабрикахъ и заводахъ, нанимается на сельскія работы тамъ, гдѣ требуются рабочія силы, идетъ въ извозъ, составляетъ ватаги, танетъ лямку, однимъ словомъ, ищетъ работы и лишнюю копейку вездѣ, гдѣ только можетъ найти то и дру-

гое. Трудно сказать, гдѣ эти люди: они вездѣ и нигдѣ, переходятъ отъ одного промысла къ другому, изъ одного мѣста въ другое, отъ одного хозяина къ другому; трудъ и заработокъ ихъ неуловимы. Другая часть населенія сидитъ дома и занимается ремесломъ въ кругу семьи. Свободное отъ сельскихъ работъ время, длинныя зимы, а чаще всего непроизводительность труда, затрачиваемаго на тощій надѣлъ и неблагодарную почву, заставляютъ его искать постоянного заработка, специализировать свой трудъ. Такимъ образомъ, возникла сельская ремесленность, какъ принадлежность сельскаго быта, почти совершенно независимая отъ городской ремесленности и отъ фабричной производительности, обращающихся въ опредѣленныхъ законодательствомъ формахъ, имѣющихъ свои уставы. Предназначенная сначала для удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ самого сельскаго населенія, ремесленность эта скоро приобрѣла значеніе самостоятельной формы производительности, такъ-называемой кустарной промышленности. Кустари — не случайные работники; кустарный трудъ постояненъ и требуетъ подготовки; онъ представляетъ что-то вродѣ организаціи. Какъ-бы ни работалъ кустарь, — на себя, на фабрику или частнаго предпринимателя, на артель, — онъ держится извѣстныхъ пріемовъ, извѣстнаго рынка, извѣстныхъ преданій. У него есть свой, хотя и неписанный, ремесленный, торговый уставъ, часто нарушаемый, но тѣмъ не менѣе имѣющій авторитетъ. Масса кустарной работы громадна, кустари существуютъ сотнями тысячъ, производятъ на десятки миліоновъ рублей, — вотъ и все, что о нихъ знаютъ“.

III.

Между отхожими и кустарными промыслами не существуетъ рѣзкой границы. Въ этомъ еще больше убѣждаетъ помѣщенный въ „Трудахъ“ комисіи очеркъ кустарной промышленности въ ставропольской губерніи.

Всѣхъ кустарниковъ въ губерніи, со включеніемъ подмастерьевъ и вообще работающихъ, какъ артелью, такъ и за условленную съ хозяиномъ цѣну, считается 2,470 человекъ на 432,473 человекъ всего населенія. Слѣдовательно, на 175 че-

ловѣкъ приходится одинъ ремесленникъ или 0,5% всего населенія.

Ставропольскую губернію въ ея внутреннихъ надобностяхъ удовлетворяетъ преимущественно пришлый ремесленникъ. Почти нѣтъ ни одной губерніи въ Россіи, которая не выслала-бы въ нее своихъ работниковъ; въ ней есть ремесленники, пришедшіе не только изъ Сибири и Амурской области, но даже и турецкіе подданные. Жители другихъ губерній, занимающіеся кустарными промыслами въ ставропольской губерніи, составляютъ 62,8%. Наибольшій процентъ кустарей даютъ губерніи: калужская — 25,5%, рязанская — 21,3%, воронежская — 15,2%, курская — 9,2%, тамбовская — 5,5%, орловская — 5,2%, тульская — 4%, владимірская — 1%. Затѣмъ остальные 25 губерній, съ кустарями изъ отставныхъ солдатъ и турецкихъ подданныхъ, высылаютъ въ ставропольскую губернію 12,8%.

Главные потребности мѣстнаго населенія, которымъ удовлетворяютъ кустари, составляютъ самыя простыя, первыя надобности крестьянства, начиная съ постройки избы и кончая горшками для домашняго хозяйства. Для удовлетворенія этихъ надобностей, ставропольская губернія выставляетъ изъ своего кореннаго населенія самое ничтожное число рабочихъ. Такъ, всѣхъ плотниковъ въ ставропольской губерніи считается 347 человекъ, и изъ нихъ лишь 25 человекъ мѣстные коренные жители, а остальные — всѣ пришлые. Калужская губернія высылаетъ въ ставропольскую 74 плотника, курская — 52 плот., орловская — 33, воронежская — 29, тульская — 19, тамбовская — 10, харьковская и черниговская по 6, пензенская и саратовская по 5, астраханская — 3, нижегородская, петербургская и терская область по одному. Какъ ни незначительно это число плотниковъ, но оно вполне удовлетворяетъ мѣстнымъ надобностямъ, потому что большая часть жилыхъ и нежилыхъ строеній — землебитныя или изъ саманнаго кирпича. Постройки землебитныя и изъ саманнаго кирпича производятъ сами крестьяне. Лѣсъ-же идетъ съ Дона. Поэтому понятно, что онъ дорогъ, и деревянный домъ служить уже признакомъ зажиточности. Ясно, слѣдовательно, что плотникъ — есть роскошь, доступная немногимъ. Конечно, можно спросить, почему при небольшой потребности въ плотникахъ, они не создаются на мѣстѣ; можно спросить, почему ни одной изъ своихъ первыхъ надобно-

стей губерніи не удовлетворяеть собственными средствами и не может обойтись безъ искусныхъ пришлыхъ людей? Наконецъ, нѣкоторые изъ мѣстныхъ потребностей, тоже довольно настоятельныхъ, оказываются совершенно ничтожными. Изъ перечня занятій станетъ читателю совершенно ясна бѣдность губерніи въ ремесленныхъ производителяхъ и ограниченность потребности населенія. Напримѣръ, печниковъ въ губерніи всего только 75 человекъ; изъ нихъ лишь 23 изъ мѣстнаго населенія, а остальные 52 приходятъ изъ губерній: калужской, воронежской, курской, тульской, орловской, харьковской, черниговской. Малое число печниковъ объясняется тѣмъ, что крестьяне, особенно малороссы, устраиваютъ сами себѣ печи изъ глины и очень часто безъ трубъ. Конечно, при такой первобытности требованіе на печниковъ и не должно быть особенно велико.

Стекольщики еще большая рѣдкость. Всѣхъ стекольщиковъ въ губерніи 24 человекъ, и изъ нихъ только 8 изъ мѣстнаго населенія. Это невообразимо малое число стекольщиковъ объясняется тоже особенными условіями ставропольской губерніи. По недостатку лѣсовъ, въ ней не развиты лѣсные промыслы и почти вовсе не существуетъ древо-обрабатывающей промышленности. Поэтому, вмѣстѣ съ разнымъ щепнымъ товаромъ, которымъ снабжаютъ ставропольскую губернію сѣверныя лѣсныя губерніи, идутъ и готовые рамы со вставленными стеклами. Столярное производство тоже не развито, и при ограниченныхъ потребностяхъ мѣстнаго населенія ему очень мало дѣла. Всѣхъ столяровъ въ губерніи 60 человекъ; изъ нихъ только 36 человекъ изъ мѣстныхъ жителей, остальные изъ другихъ губерній Россіи. Въ соответственномъ отношеніи къ столярамъ, печникамъ, стекольщикамъ, плотникамъ находятся и остальные мастера домостроительнаго дѣла. Такъ, штукатуровъ, бровельщиковъ, красильщиковъ, пильщиковъ и кирпичниковъ считается въ губерніи всего 40 человекъ. Этихъ цифръ совершенно достаточно, чтобы составить вполне ясное понятіе о первобытности потребностей населенія и о томъ экономическомъ уровнѣ, на которомъ оно стоитъ. Мѣстное населеніе обходится, какъ видно, во всемъ своими домашними средствами. Даже шитье одежды, и то не нуждается въ ремесленной производительности, ибо во всей ставропольской губерніи этихъ дѣломъ занимается только 414 человекъ, въ томъ числѣ нортныхъ 250,

шубниковъ 31, сапожниковъ 119 и шапочниковъ 4 человѣка. Самое большое число портныхъ даетъ калужская губернія—122 человѣка; мѣстныхъ-же ставропольскихъ портныхъ и шубниковъ только 62. Шапочники всѣ изъ рязанской губерніи.

Громадное овцеводство и скотоводство, простирающееся свыше 3 миліоновъ головъ, должно-бы давать ставропольской губерніи возможность для развитія очень важной шерстяной промышленности. А между тѣмъ всѣхъ людей, занимающихся обработкою продуктовъ овцеводства и скотоводства, только 496 человѣкъ; изъ нихъ овчинниковъ 313, шерстобитовъ и полстоваловъ 107 и кожевниковъ 76. И тутъ ставропольская губернія выставляетъ наименьшее число рабочихъ. Изъ общаго числа овчинниковъ она даетъ только 75 человѣкъ, а остальные являются изъ Россіи. Шерстяное производство не поднялось выше домашняго приготовленія пряжи и домашняго тканья сукна.

Ставропольская губернія находится въ исключительномъ географическомъ положеніи. Занимая степную мѣстность, она очень нуждается въ водѣ, а такъ-какъ источниковъ и колодезей въ ней почти нѣтъ, то во время сельскихъ работъ вода для водопоя и для потребности рабочихъ привозится на мѣсто въ бочкахъ. Богатые крестьяне, смотря по числу рабочихъ и скота, держатъ на таборѣ отъ 8 до 10 сорокаведерныхъ бочекъ, не считая мелкихъ боченковъ и кадусеѣвъ, въ которыхъ вода разносится рабочимъ. Этотъ наиболѣе развитый бондарный промыселъ даетъ ставропольской губерніи 211 бондарей. Изъ нихъ мѣстное населеніе доставляетъ 34 человѣка.

Остальные промышленности даютъ дѣло самому ничтожному числу кустарей. Колесниковъ въ губерніи 74 человѣка, токарей—2, пряничниковъ—6, гребенщиковъ—1 и, наконецъ, 59 человѣкъ гончаровъ. Преобладающее большинство кустарниковъ работаетъ въ одиночку или съ работниками и только 14,9% работаетъ небольшими артелями отъ 2 до 4 человѣкъ.

Если во всякой экономической дѣятельности есть свои минимумы и максимумы, то, конечно, ставропольская губернія въ отношеніи кустарной промышленности должна изображать или крайній минимумъ, или величину очень близко къ нему подходящую. Губернія эта находится въ первоначальномъ періодѣ экономическаго развитія, когда каждый человѣкъ удовлетворяетъ своимъ

надобностямъ по возможности самъ. Онъ самъ строитъ себѣ домъ, самъ шьетъ обувь, платье, самъ изготовляетъ несложныя принадлежности домашняго хозяйства и только въ тѣхъ случаяхъ, когда собственнаго умѣнія не хватаетъ, онъ обращается къ помощи мастера. Но и этихъ надобностей у ставропольскаго населенія такъ немного, что всѣмъ имъ удовлетворяютъ вполне колесникъ, скорнякъ, бондарь да гончарь. Понятно, что число ремесленниковъ, удовлетворяющихъ такимъ простымъ и ограниченнымъ надобностямъ должно быть очень невелико. И дѣйствительно, на всю губернію приходится ихъ только 2,000 и изъ нихъ $\frac{3}{4}$ пришлого люда, перенесшаго свой трудъ изъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ онъ оказывался ненужнымъ. Кромѣ предложенія труда въ пришлой формѣ, ставропольцамъ предлагается трудъ въ формѣ издѣлій, изготовленныхъ въ другихъ мѣстностяхъ; что-же касается самихъ ставропольцевъ, то они, удовлетворяясь этими двумя формами чужого труда, сами, какъ видно, весьма медленно двигаются по пути промышленнаго развитія.

IV.

Не ограничиваясь изслѣдованіемъ кустарной промышленности въ Россіи, комисія предложила собрать свѣденія и о мелкой промышленности за-границей. Для этого она обратилась къ г. Исаеву, извѣстному своими изслѣдованіями кустарной промышленности въ московской губерніи, и къ магистру дерптскаго университета, г-ну Туну, посланному, какъ и г. Исаевъ, за-границу на счетъ русскаго правительства. Свѣденія, представленныя г. Исаевымъ и г. Туномъ, представляютъ весьма цѣнный матеріалъ для сравненія состоянія народной производительности за-границей и у насъ.

За-границей не существуетъ кустарнаго производства въ томъ видѣ, какъ мы его понимаемъ, и на международномъ статистическомъ конгрессѣ въ Буда-Пештѣ обнаружилось, что въ каждой странѣ съ этимъ названіемъ связываются различныя понятія и каждый изъ статистиковъ имѣетъ на него свой взглядъ.

Въ западной Европѣ производство предметовъ первой потребности ушло уже настолько далеко отъ формы, которая усматривается, напр., въ ставропольской губ., что первобытный порядокъ производства принялъ два вида: ремесленную, удовлетво-

рящую личнымъ потребностямъ каждаго заказчика, и фабричную, или мануфактурную, производящую торговлю оптомъ безъ заказа. Ремесленная форма тоже уже начинаетъ уступать мѣсто формѣ фабричной и исчезаетъ все болѣе и болѣе, и домашній производитель уступаетъ свое мѣсто фабричному рабочему.

Причина этого проста. По мѣрѣ того, какъ производитель производилъ больше и терялъ непосредственно изъ вида своего заказчика, работая на неизвѣстнаго потребителя, ему приходилось обращаться къ посреднику, который отыскивалъ рынокъ для его издѣлій. Производитель отдавался все въ большую и большую зависимость комисіонера, и тотъ не только продавалъ его произведенія, но и сталъ, наконецъ, снабжать его матеріаломъ для производства. Этимъ путемъ самостоятельный мастеръ перешелъ шагъ за шагомъ въ простого работника по найму. Такъ какъ переворотъ въ формѣ производства случился вслѣдствіе перемѣны условій сбыта, т. е. вмѣсто того, чтобы работать на извѣстнаго потребителя или заказчика, пришлось работать на неизвѣстнаго потребителя и случайнаго заказчика, то, конечно, руководителями и хозяевами дѣла должны были выйти тѣ люди, которые были лучше знакомы съ условіями сбыта, т. е. купцы. Комисіонеръ, посредникъ, купецъ, стремясь къ расширенію своего дѣла, стараясь захватывать все большій и большій рынокъ и забирать въ свои руки большее и большее число производителей, придавъ, наконецъ, прежней домашней, или, по-нашему, кустарной производительности капиталистическій характеръ. Эта новая форма производства очень поощрялась правительствами Европы, и капиталъ получалъ все большее преобладаніе надъ трудомъ. При этомъ капиталистъ-фабрикантъ, въ интересахъ своей собственной выгоды, старался пріобрѣсти техническія знанія, и одиноко стоящій рабочій очутился, наконецъ, не только въ денежной, но и въ умственной зависимости отъ него.

Впрочемъ, и у фабричной промышленности есть свой предѣлъ, дальше котораго она идти не можетъ и ниже котораго не можетъ поставить производителя. Раздѣленіе труда, доведшее рабочаго во многихъ отрасляхъ производства до полного отупѣнія, встрѣтило, наконецъ, противовѣсъ въ той самой формѣ производства, противъ которой она возстала. Ремесленная форма производства, считавшаяся англійскими экономистами одной изъ

первоначальныхъ ступеней экономическаго развитія, получила во Франціи или, точнѣе, въ Парижѣ, такое высокое развитіе и выработала, наконецъ, такого искуснаго производителя, что гуртовое фабричное производство, съ его тенденціей къ пониженію платы рабочему, должно было уступить ремесленнику. Въ парижскомъ производствѣ работникъ занимаетъ все болѣе и болѣе видное мѣсто, и искусный работникъ является хозяиномъ своего дѣла. Вслѣдствіе этого, въ противоположность прежнему стремленію производства къ большому размѣру и къ сосредоточенію массы рабочихъ на громадной фабрикѣ въ рукахъ одного хозяина, явилось стремленіе, при которомъ спеціальныя производства все больше обособляются, промышленныя-же заведенія становятся меньше, и рабочій снова тянется къ работѣ на дому, въ своей семьѣ.

Въ парижскомъ производствѣ главную роль играетъ искусство и умѣнье рабочаго. Парижъ, напр., славится гравировкою на стали почтовой бумаги и конвертовъ. Искусство, красота работы и вкусъ составляютъ въ этомъ, какъ и во всемъ остальномъ парижскомъ производствѣ, главное требованіе. Понятно, что чѣмъ выше искусство работника, тѣмъ онъ больше цѣнится и тѣмъ выше получаетъ плату. Искусныя гравировальщики, работая отъ 9 до 10 часовъ въ день, получаютъ отъ 50 до 60 франковъ въ недѣлю. Работа эта производится на дому, и только молодежь предпочитаетъ работу въ мастерской, гдѣ собирается веселая компанія.

Шлифованіе стекла и хрустала требуетъ тоже весьма искуснаго работника, и чтобы сдѣлаться настоящимъ шлифовальщикомъ, надо работать отъ 5 до 10 лѣтъ.

Въ живописи на фарфорѣ рисовальщикъ зарабатываетъ до 10 франковъ въ день, и лучшіе изъ нихъ не ремесленники, а уже настоящіе художники, пользующіеся почетомъ и уваженіемъ.

Издѣлія изъ британскаго метала составляютъ довольно сложное производство. Сначала вещи изготовляются въ грубомъ видѣ и затѣмъ отдѣлываются. Золотильщики, эмальировщики и граверы работаютъ на дому поштучно и первые получаютъ 8, а граверы 10 франковъ въ день.

Издѣлія изъ черепахи, слоновой кости, перламутра, которыми такъ щеголяетъ Парижъ, даютъ занятія по меньшей мѣрѣ 300 рабочимъ. Издѣлія эти требуютъ такъ-же, какъ и другія, боль-

шого искусства, и хорошій работникъ, работая у себя на дому, получаетъ до 10 франковъ въ день.

Издѣлія изъ сафьяна, для производства которыхъ не требуются машины, изготовляются большею частью на дому. Только гуртовой товаръ готовится въ мастерскихъ. Дѣломъ этимъ занимаются не только мужчины, но женщины и дѣти, и рабочіи на дому, работая съ семьей, добываетъ въ день до 15 франковъ.

Золоченныя издѣлія, которыми Парижъ славится въ особенности, изготовляются безъ всякихъ машинъ, просто рукой. Слѣдовательно, количество и изящество работы зависятъ исключительно отъ искусства мастера. Издѣлія, приготовляемые изъ мѣдной проволоки или изъ никеля, очень часто мѣняются въ своихъ рисункахъ, примѣняясь къ измѣняющемуся вкусу публики, и потому понятно, что въ этомъ производствѣ главную роль играетъ лицо, заправляющее дѣломъ. Поэтому-же только самыя простыя вещи приготовляются рабочими на дому, а лучшіе дѣлаются въ мастерской. Впрочемъ, въ Парижѣ есть нѣсколько и мелкихъ самостоятельныхъ мастеровъ, настолько развитыхъ и образованныхъ, что они работаютъ въ собственной мастерской, какъ самостоятельные производители.

Проволочныя издѣлія составляютъ тоже спеціальность Парижа и приобрѣли себѣ извѣстность и запросъ, благодаря вкусу и таланту хозяевъ и мастеровъ. Производство это не требуетъ никакихъ машинъ и обходится съ самыми простыми инструментами. Такъ-какъ работа легка, то въ ней принимаютъ участіе и женщины и подростки, и отдѣльная плата имъ колеблется между 3, 7 и 8 франками. Взрослые получаютъ отъ 50 до 60 франковъ въ недѣлю.

Роскошныя плетенныя корзинки составляютъ тоже принадлежность парижскаго производства. Впрочемъ, съ Парижемъ начинаютъ конкурировать уже Германія, да и въ самой Франціи плетениемъ занимается не собственно Парижъ, а окрестныя селенія, гдѣ эта промышленность составляетъ домашнее производство, которымъ заняты мужчины, женщины и дѣти.

Конечно, парижская промышленность пока еще не создала ремесленнику полной самостоятельности. Хотя многія издѣлія, для производства которыхъ не требуется машинъ, изготовляются ма-

стерами на дому, но въ сущности парижское производство — все еще производство капиталистическое.

Парижъ представляетъ новый примѣръ перехода домашнихъ работъ въ домашнюю промышленность. Прѣжній домашній производитель или ремесленникъ, готовившій предметы на отдѣльное лицо, начинаетъ работать уже на громадныя магазины. Магазины, торговые дома, усиливаясь расширять свои дѣла, стараются забирать въ свои руки міровые рынки и прѣжнюю отдѣльную домашнюю производительность превращать въ промышленность, дающую занятіе десяткамъ тысячъ рабочихъ на дому. Примѣромъ этого вновь возникающаго движенія служитъ изготовленіе одежды. Старый способъ удовлетворенія потребности, когда покупатель шель въ маленькую лавочку или къ портному хозяину, имѣющему свою мастерскую, уже не удовлетворяетъ возникающему разнообразію вкусовъ и общему стремленію къ дешевизнѣ. Прѣжнюю мелкую лавочку или небольшую хозяйскую мастерскую смѣняетъ теперь большой магазинъ, стоящій во главѣ обширнаго производства, соединяющаго въ себѣ многія отдѣльныя ремесленности и цѣлую массу отдѣльныхъ производителей, работающихъ на дому. При прѣжнемъ способѣ производства, имѣвшемъ ремесленный характеръ, напр., невѣста, которой нужно было приданое, раздавала работу отдѣльнымъ швеямъ или приглашала ихъ къ себѣ, и все, что ей было нужно, изготовлялось домашнимъ образомъ. Теперь этотъ способъ уступаетъ мѣсто другому способу, болѣе выгодному: та-же невѣста отправляется въ большой магазинъ, предлагающій ей выборъ предметовъ самыхъ разнообразныхъ по качеству, достоинству и цѣнамъ, и получаетъ все гораздо скорѣе, лучше и дешевле, чѣмъ могла-бы приготовить дома. Французскіе магазины изготовляютъ не только всевозможное бѣлье, но и платье и всякія мелкія принадлежности туалета. Заготовка дѣлается гуртомъ, не по мѣрѣ; въ платьяхъ дѣлаются только главные швы, затѣмъ портные, состоящіе при магазинѣ, пригоняютъ платье по покупателю. Расширяя свое производство и стремясь сдѣлаться всемірнымъ рынкомъ, Парижъ, благодаря развитому вкусу своихъ работниковъ и работницъ, сталъ законодателемъ модъ и скоро превратился въ главный модный магазинъ Европы. Большіе магазины Парижа приняли теперь такую систему. Они рассылаютъ ко всѣмъ богатымъ людямъ Германіи циркуляры съ обозначеніемъ

цѣны своихъ издѣлій и просить присылать къ нимъ мѣрки. Вещь изготовляется въ точности и доставляется акуратно. Этимъ способомъ, какъ говорить г. Тунъ, французы вытѣснили на Рейнѣ нѣмцевъ изъ ихъ собственной страны.

До какого размѣра дошла теперешняя домашняя промышленность въ производствѣ принадлежностей туалета, можно видѣть изъ слѣдующихъ цифръ. Женскихъ и дѣтскихъ костюмовъ производится въ Парижѣ на 75,000,000 франковъ и дается работа 20,000 работниковъ и работницъ. Шитьемъ женскихъ платьевъ занято 15,000 рабочихъ, изготовляющихъ товару на 60,000,000 франковъ. Мужской одежды шьется на 300,000,000 франковъ. Искусственныхъ цвѣтовъ дѣлается на 25,000,000 франковъ. Перьевъ для шляпъ готовится на 15,000,000 ф. Изготовленіемъ шляпъ и куафюръ занято 8,000 работницъ, производящихъ товара на 23,000,000 франк. Волосная промышленность доставляетъ товара на 30,000,000, и во Франціи срѣзывается ежегодно волосъ съ женскихъ головъ 80,000 килограмовъ или 5,000 пудовъ. Прежде этого количества волосъ доставало для французской промышленности, но 12 лѣтъ тому назадъ потребность возросла и теперь привозятъ волосы изъ-за границы. Въ 1873 было ввезено 97,537 килограмовъ а вывезено 44,000 килограмовъ невыдѣланныхъ волосъ и 43,000 выдѣланныхъ, всего на 10 мил. Въ одномъ Парижѣ живетъ 2,000 парикмахеровъ съ 5,000 рабочихъ. Шляпное производство доставляетъ товара на 120 мил. франковъ.

Прижѣръ Парижа начинаетъ проникать и въ Германію. Г. Тунъ говоритъ, что въ Мальмеди, близъ Аахена, производится успѣшно крестьянскими дѣвушками фабрикація простыхъ крестьянскихъ зипуновъ. Близъ Билефельда въ Вестфалии болѣе 1,000 швейныхъ машинъ работаютъ въ крестьянскихъ домахъ. Дѣвушки шиваютъ на нихъ мужскія рубашки изъ вестфальскаго полотна и куртки или жакетки изъ орлеана. Въ Берлинѣ существуетъ самое обширное въ свѣтѣ производство бурнусовъ.

Теперешній моментъ промышленности представляетъ чисто переходную форму и выражается въ борьбѣ, въ которой личная производительность пытается, гдѣ только можно и насколько можно, ослабить фабричное и заводское производство, превращавшее массы рабочихъ въ безнадежный пролетаріатъ. Въ то время, какъ

прежняя машинная промышленность стремилась лишь къ тому, чтобы предлагать свои услуги громаднымъ фабрикамъ, поглощавшимъ отдѣльнаго производителя, теперешняя старается изготовлять машины, требующія малой силы и удовлетворяющія спросу небогатаго производителя. Если въ настоящее время швейное производство мѣстами какъ-бы стремится принять фабричный характеръ и есть заведенія, въ которыхъ работницы собираются въ большихъ мастерскихъ, то въ то-же время въ характерѣ улучшенія швейныхъ машинъ замѣтна тенденція сдѣлать ихъ возможными для употребленія въ домашней промышленности. Явились машины, для которыхъ нужна очень малая сила. Ножной приводъ замѣненъ въ нихъ ручнымъ, и къ нему удобно примѣнить самыя маленькіе паровые двигатели, такъ-что машины являются чисто-домашнимъ орудіемъ. На парижской выставкѣ былъ особенно силенъ отдѣлъ тканья и вязанья, наприм., чуловъ, штановъ, куртокъ и т. п. Были выставлены машины нѣсколькихъ системъ и нѣкоторыя изъ нихъ по своей дешевизнѣ между 300 — 500 франк. назначались исключительно для работы въ семьяхъ. Во Франціи есть округа, въ которыхъ вязанье составляетъ мѣстный промыселъ населенія, такъ-что подобныя машины были-бы очень удобны для мѣстныхъ производителей, ибо дали-бы имъ возможность не только бороться, но и конкурировать съ фабричнымъ производствомъ. На той-же выставкѣ было множество различныхъ двигателей: небольшія паровыя машины въ двѣ лошадиныя силы, въ $\frac{1}{3}$ силы, въ $\frac{1}{2}$ силы и въ одну силу; были машины въ три и въ четыре человѣческія силы. Наконецъ, находился замѣчательный маленькій двигатель Дюфора, въ 120 фр., который приводится въ движеніе и водою, и сжатымъ газомъ, и приемимъ для всѣхъ инструментовъ и машинъ, не требующихъ большой силы. „Его можно поставить на всякій столъ, говорятъ г. Тунъ; — онъ не требуетъ специальныхъ построекъ; въ немъ полное отсутствіе ремней и валовъ, нѣтъ двигающаго колеса, нѣтъ мертвой точки и управлять имъ можетъ очень легко работникъ. Чтобы приводить въ движеніе швейную машину, аппаратъ этотъ требуетъ 400—500 литровъ въ часъ и давленіе въ 20 метровъ“.

Парижская промышленность съ тѣми возможностями, которыя представляются для будущаго развитія домашней, семейной промыш-

ленности, служить лишь указаніемъ на то новое направленіе, которое принимаетъ промышленность въ своемъ стремленіи освободиться отъ капиталистическаго производства. То, что сдѣлалось до сихъ поръ, конечно, еще не даетъ возможности предугадать, какимъ образомъ свершится мирная борьба и торжество мелкаго отдѣльнаго производителя съ гуртовымъ фабричнымъ производствомъ. Но несомнѣнно, что та-же самая машина, которая въ прошедшемъ столѣтіи убила все домашнее производство и, разрушивъ семью работника, загнала его съ женою и дѣтьми на фабрику и превратила въ фабричнаго пролетарія, — та-же самая машина, наконецъ, воротитъ рабочаго въ его семью и дастъ промышленности домашній характеръ, образчики котораго уже и начинаютъ слагаться въ мелкой парижской промышленности. Промышленность эта, дающая занятіе сотнямъ тысячъ парижскаго населенія, совершенно утратила свой фабричный характеръ. Конечно, фабричное и заводское производство сохранится для нѣкоторыхъ отраслей и видовъ промышленности, но оно сохранится лишь для тѣхъ издѣлій, производство которыхъ невозможно на дому ручнымъ трудомъ, и, вслѣдствіе необходимости сосредоточиванія въ одномъ мѣстѣ большой массы силъ, будетъ совершаться большими машинами и сконцентрированной массой рабочихъ. Парижская промышленность въ этомъ отношеніи является лишь пионеромъ какого-то лучшаго, но еще невыясниваго и несознаннаго, будущаго.

Парижская-же промышленность представила факты въ подтвержденіе того, насколько выигрываетъ всякое производство, если оно находится въ рукахъ развитаго, умнаго и образованнаго работника.

Система раздѣленія труда, выгоды которой были такъ блистательно доказаны Адамомъ Смитомъ, привела къ тому, что фабричный рабочій потерялъ даже человѣческій видъ. Конечно, Адамъ Смитъ не думалъ доказывать, что отупѣніе рабочаго есть необходимое условіе успѣха промышленности. Напротивъ, онъ требовалъ рабочихъ развитыхъ и знающихъ, но недоразумѣніе его послѣдователей заключалось въ томъ, что они смѣшали навыкъ, приобретаемый рабочимъ при крайней системѣ раздѣленія труда, съ развитіемъ рабочаго вообще. Теоретическіе писатели новѣйшей экономической школы какъ ни ратовали противъ системы

раздѣленія труда, но всѣ ихъ теоретическіе протесты не привели ни къ чему, пока самъ рабочій не явился къ себѣ на помощь. Помощь эта заключалась въ томъ, что рабочій, овладѣвъ средствами знанія и умственнаго развитія, почувствовалъ въ себѣ силу для борьбы съ прежнимъ фабричнымъ направлениемъ.

И въ Германіи начинаются уже попытки дать рабочему средства выбиться изъ его зависимаго положенія. Въ „Трудахъ“ комисіи есть весьма интересныя свѣденія, сообщенныя г. Исавымъ о нѣкоторыхъ мелкихъ промыслахъ въ Германіи. Въ Рудныхъ горахъ давно уже существовалъ игрушечный промыселъ, и въ прошедшемъ столѣтіи всѣ производители были равны между собою, всѣ они были одинаково мелкими хозяевами, всѣ возили на собственныхъ лошадяхъ товаръ на продажу въ Лейпцигъ и на другія менѣе значительныя ярмарки. Но вотъ, въ концѣ прошедшаго столѣтія, изъ промышленниковъ выдѣлилось нѣсколько болѣе способныхъ, ловкихъ и даровитыхъ людей, которые, владѣя кой-какими средствами, стали захватывать въ свои руки игрушечный промыселъ. Это имъ удалось, наконецъ, настолько, что они захватили все игрушечное производство и стали посредниками между производителями и рынками для сбыта ихъ произведеній. Однимъ словомъ, та общая перемѣна въ системѣ, о которой мы говорили по поводу Франціи и которая овладѣла повсюду промышленнымъ движениемъ, явилась и въ Германіи. Въ Рудныхъ горахъ въ настоящее время 20 торговцевъ, которые держатъ въ своихъ рукахъ отъ 4 до 20 тысячъ игрушечныхъ мастеровъ. Игрушечный промыселъ есть единственное ихъ занятіе и единственный источникъ ихъ доходовъ. Во главѣ мастерской стоитъ мужъ; помощникомъ его служить жена и даже дѣти; однимъ словомъ, всякій изъ семьи, кто въ состояніи только работать, помогаетъ отцу. У подобной крестьянской семьи все земельное имущество заключается въ какой-нибудь полу-десятинѣ подъ домою и небольшимъ огородомъ съ нѣсколькими грядами картофеля и лужайкой для прокормленія одной козы. У большинства игрушечниковъ нѣтъ собственнаго помѣщенія, и они нанимаютъ 1 или 2 комнаты у крестьянъ или мастеровъ. Раздѣленіе труда довольно слабо, и вся работа распредѣляется между тремя группами производителей — столярами, токарями и красильщиками. Изъ нихъ токари самый безпомощный людъ, а между тѣмъ токари счита-

ются самостоятельными хозяевами. Что-же может сдѣлать и что зарабатываетъ этотъ самостоятельный хозяинъ? Наприм., токарь-кегельщикъ дѣлаетъ въ день 2 дюжины игръ по 60 фениговъ за каждую дюжину; изъ заработанныхъ 120 фениговъ онъ долженъ заплатить 80 фениговъ за матеріалъ и за мѣсто на токарномъ станкѣ, такъ-что чистый заработокъ въ день составляетъ 40 фениговъ или 12 коп. серебромъ. Другіе токари получаютъ не больше и только тѣ изъ нихъ, которые вытачиваютъ болванки для туловища животныхъ — слоновъ, лошадей, собакъ, получаютъ 1½ марки въ день. Этотъ исключительный заработокъ достается потому, что токари, вытачивающіе болванки для туловищъ, отличаются особеннымъ искусствомъ и такимъ развѣтѣемъ, которое не требуется, напр., отъ токарей, вытачивающихъ кегли, свистульки и волчки. Ничтожный заработокъ держать, конечно, мѣстное населеніе впроголодь. Если-же рабочій живетъ на хозяйскихъ харчахъ, то, какъ выражается г. Исаевъ, харчи эти вполне нѣмецкіе: утромъ черный кофе съ хлѣбомъ, за обѣдомъ водянистый супъ (Wasser suppe) и картофель, за ужиномъ опять картофель. Кромѣ того, хозяева и купцы держатъ рабочаго вполне въ своихъ рукахъ, потому что они одни знаютъ настроеніе рынка и сообразно съ этимъ настроеніемъ дѣлаютъ заказы. Заработная плата сведена до послѣдняго минимума. Есть, напримѣръ, солдатика, которые продаются по 6 коп. за 60 штукъ. Каждого солдатика нужно вырѣзать, выкрасить нѣсколькими красками, придѣлать къ туловищу руки, ноги и т. д. Двѣнадцать игръ кегель, т. е. 108 штукъ, выточенныхъ очень тщательно, стоятъ 60 фениговъ. Въ этой дешевизнѣ обвиняютъ соперничество, существующее между рабочими, которые готовы понизить цѣну до послѣдней степени, лишь-бы заработать хоть что-нибудь. Но едва-ли за это можно обвинить рабочихъ. Они положительно въ рукахъ торговцевъ, сплотившихся тѣсно между собою и потому дѣйствующихъ дружно и согласно. Какая цѣна будетъ установлена однимъ, та-же самая будетъ принята и всѣми остальными. Рабочій совершенно бесполезно будетъ переходить отъ одного торговца къ другому, и ни одинъ изъ нихъ не дастъ больше. Только въ крайнихъ случаяхъ цѣна зависитъ отъ рабочаго; напр., если онъ изобрѣтетъ какую-нибудь особенную игрушку, которая, по соображеніямъ торговца, можетъ имѣть успѣхъ

на рынокъ, рабочій назначаетъ цѣну отъ себя; но и эта цѣна не удержится долго, потому что рабочій не можетъ гарантировать своего изобрѣтенія. Напр., недавно одинъ изъ рабочихъ придумалъ довольно хитрую игрушку: изъ небольшого ящика, если надавить пружинку, выскакиваетъ левъ и цѣлящій въ него охотникъ. Изобрѣтатель взялъ съ продавца по 1½ марки за штуку, но уже черезъ мѣсяць тайна изобрѣтенія стала извѣстной и выскакивающій левъ продавался по маркѣ за штуку.

Подобный порядокъ существуетъ и въ Тюрингіи, въ которой игрушечный промыселъ даетъ занятіе 30 — 40 тысячамъ человекъ. Большинство этого населенія имѣетъ работу втеченіе двухъ, трехъ, четырехъ мѣсяцевъ въ году, когда они зарабатываютъ по двѣ марки въ день, и весь ихъ годичный доходъ составляетъ отъ 250 до 300 марокъ. Семья подобнаго рабочаго нуждается во всемъ. Если, говорить г. Исаевъ, — у нея есть корова, эта семья продаетъ все масло и молоко, которое получитъ, не оставляя ничего даже для самыхъ малыхъ дѣтей. Главную ихъ пищу составляетъ картофель, да и тотъ безъ масла, которое имъ не по средствамъ. Зато съ какииъ нетерпѣніемъ ждутъ они въ недѣль того дня, когда колбасники варятъ колбасу! По установившемуся обычаю, колбасники даютъ населенію воду, въ которой колбаса варится, даромъ. Это даровое угощеніе составляетъ для мѣстнаго населенія праздникъ, и чтобы сдѣлать больше число участниковъ въ немъ, отваръ разбавляютъ усердно холодной водой. Съ ранняго утра большія толпы мужчинъ и женщинъ бѣгутъ съ горбами въ колбасныя, утѣшая себя надеждой имѣть въ этотъ день къ обѣду не только картофель, но и „мясной“ супъ“, говоритъ г. Исаевъ.

Въ Тюрингіи рабочій находится точно также въ рукахъ купца, какъ и въ Рудныхъ горахъ, и цѣна держится тоже на минимумѣ. Мастеръ не смѣетъ взять помимо купца никакого заказа. Если онъ когда-нибудь отважится на подобный смѣлый поступокъ, то будетъ наказанъ тѣмъ, что впередъ не получитъ отъ купца никакой работы.

Кромѣ того, игрушечныя и многія другія производства Германіи терпятъ отъ конкуренціи французовъ и американцевъ. Тюрингенская игрушечная промышленность упала сильно въ послѣдніе 15 лѣтъ, подъ давленіемъ соперничества французскихъ игру-

шекъ, болѣе изящныхъ. Чтобы выдержать борьбу, нѣмецкимъ рабочимъ приходилось понижать цѣну, а слѣдовательно, и работать хуже. Худшее качество работы сокращало ихъ рынковъ для сбыта и роняло цѣны. На бѣду тюрингенцевъ, къ соперничеству французовъ присоединилось еще и соперничество американцевъ. Американцы не только уменьшили сбытъ нѣмецкихъ игрушекъ, но заставили испугаться и шварцвальдскихъ часовыхъ мастеровъ. Это случилось въ 30-хъ годахъ, когда изъ Америки попали часы значительно болѣе дешевые, чѣмъ шварцвальдскіе. Шварцвальдское производство — производство ручное. Американцы-же ввели изготовленіе часовъ по нормальнымъ образцамъ, всѣ части которыхъ поэтому могли производиться машиннымъ образомъ и въ большомъ количествѣ. Конечно, шварцвальдцамъ борьба оказалась невозможной, и въ промышленности наступилъ застой.

Чтобы помочь мелкому деревенскому производству Германіи и освободить его отъ давящаго соперничества французовъ и англичанъ, нѣмцы рѣшили давать своимъ рабочимъ ремесленное образование. Съ этою цѣлью устраивались повсюду школы, которыя въ-концѣ-концовъ не привели, однако, ровно ни къ чему, несмотря на то, что давали, повидимому, очень полезныя техническія знанія. Причинъ этому было нѣсколько. Напр., когда шварцвальдское производство дрогнуло отъ соперничества американцевъ, баденское правительство открыло школы для часовщиковъ. Конечно, школа не научила бы производить такъ-же дешево, какъ производить часы американцы, но съ одной стороны правительство хотѣло создать искусныхъ часовщиковъ, а съ другой — думало завести въ Шварцвальдѣ изготовленіе карманныхъ часовъ. На деньги правительство не скупилося и не только принимало въ школу бесплатно бѣдныхъ учениковъ, но и выдавало имъ еще пособія. Очень можетъ быть, что правительству и удалось-бы ввести въ Шварцвальдѣ производство тонкаго часового товара, который достигъ такого совершенства въ Швейцаріи; но въ дѣйствительности этого не случилось, конечно, потому, что подобныя вещи не совершаются удобно при посредствѣ правительственныхъ органовъ, даже если они отличаются нѣмецкимъ усердіемъ. Вторая причина заключалась въ томъ, что школы, поднимая вкусъ производителя, оставляли въ прежнемъ положеніи потребности потребителя. Если потребитель удовлетво-

ряются вполне предметами, неотличающимися особенным вкусомъ, и удовлетворяется предметами грубыми, то онъ не возьметъ изящныхъ, которые къ тому-же бываютъ всегда и дороже. Улучшеніе возможно только тогда, когда поднимется уровень спроса; поднять-же цѣну предмета, когда для сбыта его не существуетъ рынка, значитъ уронить производство. Какъ ни были плохи нѣмецкія издѣлія, но они потому-то и продавались всѣ, что были плохи, а болѣе хорошія, а слѣдовательно, и цѣнныя, должны были оставаться безъ сбыта. Наконецъ, германское правительство, заботясь объ одномъ техническомъ образованіи работника, не подумало объ его экономической свободѣ. Онъ вполне зависѣлъ отъ купца, дававшего ему и заказъ, и матеріалъ и не только назначавшаго ему произвольную цѣну, но и державшаго его въ кабалѣ. Не думая о строѣ промышленной жизни и внутреннихъ отношеніяхъ рабочихъ между собою и хозяевами, когда нѣмецкій рабочий, питавшійся „мяснымъ супомъ“, готовъ былъ продать даже свою душу, правительство заботилось о томъ, чтобы въ этомъ несвободномъ, закабаленномъ человѣкѣ воспитать вкусъ и развить ловкость рукъ. Но что-же могъ внести въ производство подобный рабочий своимъ развитымъ вкусомъ и своею ловкостью? Для него не только не было рынка и потребителя, но онъ по-прежнему оставался въ кабальной зависимости отъ купца.

V.

Конечно, нашему русскому кустарю до парижской утонченной промышленности и парижскаго развитаго художника-работника, „какъ до звѣзды небесной, далеко“. Наши условія иныя, поэтому и наши задачи совсѣмъ иныя. Парижская промышленность стоитъ, такъ-сказать, выше потребности Франціи и творить для мірового рынка. Если французскіе портные шьютъ мужского платья на 300 миліоновъ франковъ, то ясно, что носителями этого изящества являются всѣ франты европейскаго, а можетъ быть, и американскаго континента. Если модные магазины Парижа расширили свои сношенія до того, что имѣютъ свои отдѣленія во всѣхъ большихъ городахъ Европы и кромѣ того рассылаютъ еще циркуляры повсюду, куда только можно, то ясно, что они работа-

ють дальше Франціи. Изящный вкусъ, ручная ловкость, изобрѣтательность и многообразныя тонкія производства изъ черепахи, слоновой кости, перламутра и золоченой проволоки, конечно, не дѣло нашего кустаря, и примѣръ Франціи служить для насъ совсѣмъ инымъ урокомъ.

Довольно прослѣдить нашу кустарную промышленность, чтобы увидѣть, на кого она работаетъ. Въ то время, какъ Парижъ работаетъ для столицъ обоихъ полушарій, наша деревня не въ состояніи стготовить даже всего того, что ей нужно самой. Поэтому ей не только не приходится думать, какъ-бы удовлетворить изящному вкусу вѣнскихъ, нью-йоркскихъ и всякихъ другихъ щеголихъ и щеголей, но прежде всего нужно подумать о себѣ. Наша деревня нуждается пока въ грубыхъ и простыхъ вещахъ, въ производствѣ предметовъ ближайшей и непосредственной надобности, которыми вполне удовлетворяютъ простые телѣжники, простые плотники и столяры, простые кожевники, сапожники, шорники, скорняки, кузнецы, гончары; да и эти простые потребности удовлетворяются еще далеко не вполне. Напр., не только въ отдаленныхъ, лѣсистыхъ губерніяхъ, но даже въ новгородской, пограничной съ Петербургомъ, вмѣсто свѣчей и лампъ, крестьяне жгутъ лучину. Село Семеновское, костромской губерніи, изготовляетъ лаптей ежегодно на 100 тысячъ рублей. Забайкалье вовсе не знаетъ глиняной и фаянсовой посуды и даже пить чай не изъ стакановъ, а изъ деревянной посуды. Большинство крестьянскаго мужского населенія до сихъ поръ носить зимюю полотняныя азямы и панталоны и даже не собирается замѣнить ихъ суконными. Ясно, слѣдовательно, что не о производствѣ галантерейныхъ предметовъ можетъ быть рѣчь, когда приходится говорить о русскомъ кустарѣ, а объ удовлетвореніи надобности русскаго сельскаго населенія, которое и до сихъ поръ еще не замѣнило лаптей сапогами, носить полотняную одежду вмѣсто суконной, а мѣстами живетъ въ курныхъ избахъ ужъ, конечно, не потому, чтобы не нашлось печниковъ селадывать печи съ трубами.

Всѣмъ этимъ надобностямъ удовлетворить, конечно, не фабрика, потому что едва-ли ей и будетъ выгодно браться за подобныя первоначальныя, грубыя производства. Конечно, и фабричнымъ путемъ было-бы возможно удовлетворить нѣкоторыя на-

родныя надобности: ситцы, сукна, манчестеръ, который входитъ въ народное употребленіе, ужъ, разумѣется, выгодноѣ готовить фабричнымъ путемъ, также какъ стеклянную и фаянсовую посуду: но затѣмъ остается еще масса надобностей, удовлетворить которымъ не фабричное производство, а кустарь, и въ которыхъ никакая фабрика бороться съ нимъ не въ состояніи.

Въ распредѣленіи кустарнаго труда существуетъ, очевидно, не-правильность. Есть мѣстности, какъ, напр., ставропольская губернія, надобности которыхъ удовлетворяются пришлымъ трудомъ. Это наиболѣе распространенная форма удовлетворенія у насъ мѣстныхъ народныхъ нуждъ. Изъ конца въ конецъ Россіи бредутъ балужскіе, костромскіе, вологодскіе плотники и каменщики; они строятъ дома и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ, и въ губернскихъ городахъ, и въ деревняхъ; бродятъ изъ конца въ конецъ шерстобиты, шубники, и какъ только какое-либо производство не требуетъ ни сложныхъ орудій, ни машинъ, а обходится простой пилей, топоромъ или иглой, то немедленно являются десятки, если не сотни тысячъ, бродячихъ рабочихъ, которые, оставляя весною свои деревни, бредутъ почти на-авось, отыскивая себѣ дѣло въ томъ или другомъ мѣстѣ. Такимъ образомъ, каждую весну Россія представляетъ картину переселенія рабочихъ изъ мѣста въ мѣсто и бродяжество ручного труда, переносимаго изъ одной мѣстности въ другую. Кустарный промыселъ теряетъ свой семейный, домашній характеръ, становится отхожимъ и создаетъ цѣлую путаницу неуставовившихся отношеній, зависящихъ отъ разныхъ случайностей, которыя влекутъ за собою послѣдствія не экономическія и дѣйствуютъ весьма вредно на нравственный и семейный бытъ народа и даже на его здоровье.

Есть и еще одна форма труда, когда кустарь прилагаетъ свой трудъ на мѣстѣ, и, вмѣсто рабочихъ рукъ, путешествуетъ изъ мѣста въ мѣсто то или другое издѣліе. Причина этого заключается въ неравномѣрномъ распредѣленіи естественныхъ богатствъ, дающихъ матеріалъ нашему кустарному производству. Ни въ одной странѣ не замѣчается такая неравномѣрность въ распредѣленіи матеріала, какъ у насъ. Сѣверъ загроможденъ безконечными пространствами лѣсовъ, на югѣ-же нѣтъ ни прута. Понятно, что кустарная или домашняя промышленность должна была очутиться въ зависимости отъ распредѣленія матеріала, какой ей

предлагала та или другая мѣстность. Въ лѣсныхъ губерніяхъ водворились поэтому издѣлія изъ дерева, и древодѣльная промышленность однѣхъ губерній снабжаетъ населеніе другихъ ложками, чашками и всякихъ видовъ деревянной посудой и издѣліями, необходимыми для домашняго крестьянскаго хозяйства. Въ нихъ-же явились плотники, столяры и другіе мастера этого рода. Гжель, гдѣ оказалась глина, создала въ своемъ округѣ фаянсовую промышленность. Улома съ деревнями, частію благодаря желѣзной рудѣ, создала у себя желѣзно-кузнечное производство. Тюмень, благодаря своимъ пажитямъ и простору, создала кожевенное производство и изготовленіе рукавицъ и сапоговъ для сибирскихъ промысловъ. Точно также исключительно мѣстныя условія вызвали на югѣ Россіи овцеводство. Во всѣхъ этихъ случаяхъ кустари, пользуясь естественными богатствами своей мѣстности, создали и соотвѣтственную имъ промышленность, продуктами которой и снабжаютъ другія мѣстности. Такъ, семеновскій уѣздъ разсылаетъ по всей Россіи свои ложки, село Семеновское—свои лапти, Улома—свои гвозди, Гжель—свою посуду, Тюмень—свои рукавицы.

Во всемъ этомъ распредѣленіи труда, въ формѣ путешествующихъ рабочихъ рукъ или въ формѣ путешествующаго продукта, прежде всего замѣчается частію случайность, частію зависимость отъ разныхъ искусственныхъ условій и обстоятельствъ, ставившихъ кустаря и все промышленное мѣстное населеніе въ положеніе, въ большинствѣ случаевъ, невыгодное. Идеаломъ распредѣленія кустарнаго труда была-бы, конечно, такая его организація, при которой каждый округъ жилъ-бы самъ въ себѣ и удовлетворялъ самъ своимъ ближайшимъ надобностямъ. Почему, спрашивается, шерстобить бродить, какъ цыганъ, съ юга на сѣверъ, отыскивая себѣ по деревнямъ работы? Зачѣмъ костромской, владимірскій или калужскій плотникъ бредетъ въ ставропольскую губ. или въ Петербургъ? Зачѣмъ, подобно плотнику, бредетъ и печникъ, и штукатуръ, и маляръ, и портной, и шубникъ? Почему, наприм., Петербургъ привлекаетъ каждый годъ къ себѣ 250 тысячъ всякаго рабочаго народа, чтобы чинить мостовыя и съладывать дома? Почему въ Петербургѣ среди мѣщанства нѣтъ постоянного населенія плотниковъ, каменщиковъ, мостовщиковъ, когда у него есть свои столяры, слесари, кузнецы? Въ большинствѣ случаевъ причи-

на эта заключается въ томъ, что не существуетъ правильнаго отношенія между сельско-хозяйственною промышленностью, производящею сырье, и мѣстной обрабатывающею промышленностью. Отъ этого кустари скучились у насъ въ извѣстныхъ мѣстностяхъ и, вмѣсто того, чтобы работать у себя, бредутъ Богъ знаетъ куда. Еслибы каждая мѣстность, каждый округъ имѣли только то количество кустарныхъ производителей, которое имъ нужно для собственныхъ надобностей, т. е., полный штатъ плотниковъ, столяровъ, стекольщиковъ, шубниковъ, колесниковъ, бондарей, кузнецовъ, портныхъ, сапожниковъ, конечно, имъ бы не пришлось, подобно ставропольской губ., жить трудомъ пришлыхъ людей. Теперь же мы видимъ совсѣмъ иной порядокъ. Какая-нибудь Улома съ ея округомъ на 90 верстъ поневолѣ куетъ гвоздь для всей Россіи и подвергаетъ себя всѣмъ рискамъ работы на неизвѣстнаго потребителя и на случайный рынокъ, благодаря только тому, что у нея нѣтъ земли и она окружена болотами. Еслибы между сельско-хозяйственною промышленностью создающею сырье, и мѣстною обрабатывающею промышленностью, существовало-бы правильное отношеніе, — бродячества, случайности и риски были-бы невозможны.

Едва ли нужно доказывать правильность того экономическаго закона, который требуетъ извѣстной, органической, правильной постепенности въ ростѣ и характерѣ труда. Парижъ, конечно, имѣетъ право создавать свою изящную промышленность и снабжать міръ черепаховыми издѣліями и разными бездѣлушками изъ золоченой проволоки. Но что-бы вы сказали про село Семеновское, работающее для Россіи лапти, еслибы оно для благостоянія Россіи вздумало производить черепаховыя и перламутровыя издѣлія? Дѣло ли русскаго кустаря изготовлять бронзу и фарфоръ или бездѣлушки для прихотливаго вкуса модницъ и щеголей Парижа, Вѣны, Петербурга, Нью-Йорка, когда не только его сосѣдъ, но и онъ самъ ходитъ въ лаптяхъ, живетъ въ курной избѣ и надѣваетъ на лапотъ веревочную сбрую? Совершенно ясно, что не этимъ аристократическимъ пошибомъ должна отличаться русская кустарная промышленность, а исключительнымъ стремленіемъ къ удовлетворенію ближайшихъ надобностей своего населенія и своего округа. Удовлетворивъ только ближайшему, наиболѣе необходимому и наиболѣе неустрашимому, кустаръ имѣетъ право работать

для вторыхъ и третьихъ надобностей, но опять-таки своего собственнаго округа, а не какого-нибудь отдаленнаго мифическаго рынка. Нашему кустарю слѣдуетъ гоняться не за журавлемъ въ небѣ, котораго онъ и ловить не умѣетъ, а за синицей; поймавъ синицу, онъ поймаетъ и журавля. Деревня должна работать для деревни, и едва-ли разсудительно гнаться за какимъ-то мировымъ рынкомъ, когда не удовлетворенъ свой собственный, лежащій подъ руками. У насъ, въ оренбургской и орловской губ., плетутся кружева и теутся платки изъ козьяго пуха, сбываемые для богатыхъ петербургскихъ барынь. Конечно, эта промышленность кормитъ немалое число женщинъ, но все-таки приходится жалѣть, что деревенскія бабы, прежде чѣмъ имъ наткать рубашекъ для своихъ мужей и дѣтей и одѣть свою собственную семью, плетутъ кружева и важутъ платки для петербургскихъ барынь. Почему-бы эти платки и кружева не дѣлать французамъ или нѣмцамъ? Пусть-бы они снабжали Петербургъ подобными изящными вещами, какъ они снабжаютъ его своими бездѣлушками изъ черепахи и золотой проволоки, какъ они снабжаютъ его своими шиньонами, страусовыми перьями и соломенными шляпками. Еслибы наша кустарная промышленность начинала съ перваго шага, т. е., съ удовлетворенія ближайшихъ нуждъ своего ближайшаго округа, жила своею внутреннею жизнью, какъ древесная ячейка, это было-бы все, что отъ нея слѣдуетъ ожидать и чѣмъ-бы она единственно и могла приблизиться къ тому идеалу народнаго благосостоянія, который достижимъ лишь тогда, когда удовлетворены всѣ надобности въ ихъ послѣдовательномъ порядкѣ, начиная съ первыхъ, главныхъ, насущныхъ. Въ этомъ отношеніи намъ нужно стремиться не къ расширенію района дѣятельности, а, напротивъ, къ сосредоточенію. А такъ-какъ этого до сихъ поръ еще не случилось, то и встрѣчаются такія аномальныя губ., какъ ставропольская, которая чуть-ли не приглашаетъ къ себѣ изъ другихъ губерній хлѣбопекровъ, или какъ губ. оренбургская и орловская, изготовляющія для прихотливыхъ петербургскихъ барынь изящныя кружева и пуховыя платки въ то время, какъ мѣстные деревенскіе ребяташки бѣгаютъ нагишомъ.

Конечно, подобный идеаль не можетъ быть проведенъ послѣдовательно и многое зависитъ отъ природныхъ условій. Ставропольская губ., при всемъ желаніи изготовлять у себя деревянные

ложки, никогда ихъ для себя не сдѣлаетъ, потому что въ ней нѣтъ лѣсовъ, а по необходимости она будетъ покупать ихъ отъ губ. нижегородской. Точно также Гжель повезетъ свою посуду, потому что не вездѣ есть гжельская глина. Понятно, что естественныя условія прежде всего опредѣляютъ характеръ мѣстной промышленности и устанавливаютъ границы для кустарной въ ея собственныхъ предѣлахъ и въ отношеніи ея къ промышленности фабричной. Производство крестьянскихъ суконъ не будетъ, разумѣется, никогда крестьянскимъ производствомъ, такъ-же какъ ситцевъ и миткалей для деревенскаго употребленія. Главный вопросъ, разумѣется, въ томъ, чтобы кустарь прежде всего нашелъ дѣло у себя дома, чтобы онъ пересталъ бродить и чтобы исчезнулъ отхожій промыселъ.

Говорятъ, что русскаго кустаря нужно образовать, нужно дать ему ремесленное знаніе. Но какое? Ужь, конечно, не нѣмецкое и не французское. Достаточно и опыта Германіи, чтобы не повторять намъ того-же урока. Вкусъ нашего деревенскаго потребителя простъ, такъ-же простъ, какъ его потребности. Понятно, что простымъ потребностямъ можетъ удовлетворить только простая техника. Череповскаго сапожника совершенно бесполезно приучать шить сапоги по петербургскимъ или парижскимъ образцамъ, потому что для череповской грязи возможенъ только череповскій сапогъ. Бесполезно учить кустаря приготовленію девяти-рублеваго сатина, когда въ деревнѣ запросъ только на грубое сукно. Поэтому ремесленное образованіе должно заключаться не въ томъ, чтобы приравнять нашего кустаря къ французскому работнику-художнику, а въ томъ, чтобы дать ему возможность для удешевленія и облегченія труда. А въ этомъ случаѣ поможетъ не столько школа, сколько перемѣна условій, въ которыхъ дѣйствуетъ кустарь. Перемѣна-же условій должна заключаться прежде всего въ освобожденіи кустаря отъ скупщика и булака и въ созданіи потребителя для предметовъ его производства. Въ череповскомъ уѣздѣ, новгородской губ., есть промышленное селеніе Улома, вокругъ которой расположены на 90 верстѣ села и деревни, занятые кузнечнымъ дѣломъ. Всѣхъ кузнецовъ считается больше 21 тысячи человекъ и ежегодно они выковываютъ до 540 тысячъ пудовъ желѣза. Уломскій гвоздь, несмотря на то, что онъ расходуется почти повсюду, отличается особенными достоинствами, и въ настоящее время про-

мысль сталъ падать, частію вслѣдствіе конкуренціи машиннаго гвоздя, а частію вслѣдствіе дурной организаціи дѣла. Купецъ, дающій кузнецу работу, принимаетъ гвоздь безъ брака, и слѣдовательно, хорошему рабочему гораздо выгоднѣе работать худо, чѣмъ хорошо. Ковка также ведется неправильно, и хотя на извѣстный вѣсъ полагается извѣстное число гвоздей, но ихъ всегда бываетъ меньше. Напримѣръ, если въ 30-ти фунтовомъ гвоздѣ должно быть 1000 штукъ однотесу, то въ дѣйствительности ихъ окажется только 800. Разумѣется, кузнецъ сдѣлалъ себѣ экономію въ работѣ на 200 штукъ, но зато непроизводительно потратилъ цѣлую массу желѣза. Такая непроизводительная затрата считается въ годъ не менѣе 150,000 пудовъ или на 255,000 рублей. Кузнецъ, желающій сдѣлать экономію на трудѣ, правъ, потому что ужь слишкомъ зависитъ отъ скупщика и купца. А эти неправильныя отношенія привели къ тому, что уломское производство испортило себѣ репутацію и его гвоздь долженъ уступить свое мѣсто другому гвоздю, лучше приготовленному. Исправить такое испорченное дѣло, конечно, нелегко, а тѣмъ болѣе трудно исправить его сразу. Поставить кузнецовъ на другой промыселъ, сохранивъ тѣ-же условія производства, значить уронить и новое дѣло. Освобожденія рабочаго отъ кулака и прасола можно достигнуть тѣмъ, чтобы осушить уломскія болота и дать уломцамъ землю. Но однимъ этимъ, разумѣется, не создается добросовѣстность въ трудѣ и не поднимется гвоздяной промыселъ въ своемъ качествѣ. Окажется необходимымъ, разумѣется, сортировка и строгій бракъ. Всему этому научить, конечно, не школа, а иная организація кустарной промышленности и ужь, конечно, не тѣми средствами, какими думало достигнуть въ шварцвальдскомъ часовомъ производствѣ баденское правительство.

Наконецъ, не менѣе важное условіе для того, чтобы поднять кустарную промышленность, будетъ заключаться въ томъ, чтобы увеличить число потребителей. У насъ въ Россіи еще страшно много дѣла для каждаго, кто-бы хотѣлъ заняться деревенскими промыслами. Плотникамъ, столярамъ, стекольщикамъ, шерстобитамъ, валяльщикамъ, сапожникамъ, портнымъ, — всѣмъ предстоитъ еще громадное дѣло, чтобы снабдить всю деревенскую Россію порядочными домами съ печами, оконными рамами, сапогами, платьемъ, порядочной конской сбруей, плугами, сохами, боронами

и т. д. Русская деревня переживаетъ еще тотъ первый періодъ промышленности, когда каждый, подобно Робинзону, частію отказывается себѣ во многихъ нуждахъ, а частію удовлетворяетъ имъ по первобытному способу. Многихъ потребностей не явилось еще у крестьянъ, вслѣдствіе такихъ условій экономической жизни, при которыхъ имъ и явиться невозможно, а частію оттого, что крестьянинъ долженъ отказаться себѣ иногда во многомъ, потому что ему не на что удовлетворить своихъ потребностей. Научиться пить чай или жечь вмѣсто лучины свѣчу вовсе нехитро и для этого не требуется никакихъ гениальныхъ способностей. Но явись у крестьянина возможность пить чай два раза въ день, да жечь свѣчи или керосинъ, и для удовлетворенія одной этой потребности потребуетъ масса новаго труда, который теперь лежитъ подъ спудомъ. Поэтому возможность развитія народной промышленности явится только тогда, когда поднимется общій уровень потребностей народа, а этотъ уровень, въ свою очередь, поднимется лишь вмѣстѣ съ развитіемъ благосостоянія деревни. Такимъ образомъ, вопросъ о кустарной промышленности не есть вопросъ изолированный, а зависитъ отъ разрѣшенія другого вопроса, который, какъ мы думаемъ, едва-ли подлежитъ компетентности комисіи, взявшейя за изслѣдованіе кустарной промышленности.

Н. Шелгуновъ.

ЖАКЪ ВИНТРАСЪ.

РОМАНЪ

ЖАНА-ЛЯ-РЮ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

„Всѣмъ, кому приходилось умирать со скуки въ школѣ, всѣмъ, кого заставляли плакать дома, всѣмъ, кого въ дѣтствѣ терзали учителя или сѣкли родители, я посвящаю эту книгу“, говоритъ авторъ „Жака Винтраса“ на первой страницѣ своего романа, а на одной изъ послѣднихъ страницъ его герой восклицаетъ: „я буду защищать „права ребенка“, какъ другіе защищаютъ „права человека?“

Въ этихъ немногихъ словахъ прямо, открыто и рѣзко поставленъ вопросъ, краснорѣчивымъ отвѣтомъ на который служить эта исторія забитаго, засѣченного ребенка, хотя ея авторъ самъ не дѣлаетъ никакого вывода и не высказываетъ своего личнаго мнѣнія. Онъ представляетъ факты, бьющіе въ глаза своей жизненной правдой, а читатели сами должны вывести заключеніе; и, прочитавъ эту замѣчательную книгу, конечно, всякій разумный читатель не затруднится отвѣтить на вырвавшійся въ вопль наболѣвшаго сердца и оскорбленнаго самолюбія вопросъ: имѣютъ-ли дѣти какія-нибудь права?

Конечно, какъ и слѣдовало ожидать, книга, поставившая этотъ смѣлый жизненный вопросъ, возбудила въ одно и то-же время строгую, гнѣвную критику и восторженныя похвалы.

Высказывая свое мнѣніе о „Жакѣ Винтрасѣ“, газета „Marsellaise“ ставитъ его наряду съ лучшими сочиненіями, появившимися во французской печати въ послѣдніе десять лѣтъ, какъ по смѣлости мысли, такъ и по художественной рельефности рисуемыхъ авторомъ образовъ. Съ большимъ еще восторгомъ говорить объ этой книгѣ критикъ „Le Voltaire“, Леонъ Эникъ, авторъ знакомаго нашимъ читателямъ романа „Жертва эгоизма“. По его словамъ, за нѣкоторыя главы „Жака Винтраса“ можно отдать всѣ романы Октава Фелье, Бело, Фавра и пр. „Бываютъ книги,—замѣчаетъ онъ,—которыя появленіе производятъ впечатлѣніе трубнаго звука и которыя заставляютъ общество задумываться; романъ Жана Ля-Рю, основанный на живомъ, неумолимомъ анализѣ, принадлежитъ къ этимъ избраннымъ сочиненіямъ. Это самая лучшая книга настоящаго года. „Жака Винтраса“ легко запитить, если только можно на него нападать. Это олицетворенная правда, а правда въ искусствѣ главное.“

„Я желалъ-бы,—говоритъ другой критикъ, Эдуардъ Родъ, въ „Revue Realiste“,—заставить прочесть „Жака Винтраса“ у всѣхъ дурныхъ отцовъ, вымѣщающихъ свою желчь на безмолвномъ, немогущемъ имъ отвѣтить, ребенкѣ, всѣхъ родителей, которые бранятъ и бьютъ своихъ дѣтей, не понимая, что только добротой можно воспитать молодое поколѣніе. Быть можетъ, это чтеніе послужило-бы имъ спасительнымъ урокомъ. Они не скажутъ, что авторъ лжетъ и преувеличиваетъ,—его правдивость рѣзко бросается въ глаза,—они признаютъ себя въ выводимыхъ имъ лицахъ и пожалѣютъ своихъ жертвъ. Да, мы должны благодарить мужественнаго автора, который выставляетъ передъ нами всѣ злоупотребленія существующей системы воспитанія, обнаруживаетъ постыдную сторону жизни, нами незамѣчаемую. Если общество должно идти впередъ и прогрессъ не пустое слово, то мы будемъ обязаны дальнѣйшими нашими шагами по его пути именно подобнымъ смѣлымъ писателямъ. И пусть, слыша упреки и проклятія людей, ничего непонимающихъ, они не останавливаются въ своемъ часто тяжеломъ трудѣ, пусть знаютъ, что трудятся на пользу этихъ самыхъ дураковъ, клеветующихъ на нихъ теперь! Будущія поколѣнія имъ скажутъ спасибо“.

Но самую блестящую характеристику „Жака Винтраса“ представляетъ Эмиль Золя, посвятившій этому произведенію цѣлый фельетонъ въ „Le Voltaire“. „Въ продолженіи послѣднихъ десяти лѣтъ, говоритъ онъ,—ни одна книга не тронула меня такъ глубоко.

Нѣтъ ничего проще и естественнѣе этого романа. Авторъ намъ рассказываетъ исторію сына провинціального учителя, — ребенка, котораго били дома родители, наказывали учителя въ школѣ и вообще душила система воспитанія, господствующая въ маленькихъ городкахъ. Отчего-же этотъ разсказъ безъ всякой интриги, безъ всякихъ эффектовъ, эти мемуары, написанныя, подъ наплывомъ воспоминаній, безъ всякаго порядка и связи, переворачиваютъ всю нашу внутренность? Оттого, что дѣтство тысячъ французовъ точно такое, и мы это знаемъ, если не по своему личному опыту, то по опыту своихъ товарищей. Въ этой книгѣ впервые говорится просто, безъ фразъ, что такое наши дѣти и что мы съ ними дѣлаемъ; впервые они представляются живыми. При этомъ замѣтите, въ романѣ нѣтъ ни малѣйшей тѣни мелодрамы; въ немъ нѣтъ ни жертвъ, ни чудовищныхъ злодѣевъ. Родители Жака Винтраса очень обыкновенные люди; отецъ — бѣднякъ, самъ забитый своимъ несчастнымъ положеніемъ, а мать хорошая женщина; они оба только по глупости и рутинѣ бьютъ и тиранятъ своего сына. Тысячи дѣтей ежедневно находятся въ этомъ положеніи. Такова жизнь; она слышится на каждой страницѣ этой книги, и вотъ что даетъ ей громадное значеніе. Это не трогательныя фантазія о прелестяхъ дѣтства, не сантиментальная игра въ куклы, ни даже художественныя сказки о мученикахъ-дѣтяхъ, какія встрѣчаются у Дикенса, а правда, ежедневная, реальная, которую каждый изъ насъ можетъ наблюдать вокругъ себя. И посмотрите, какова могучая сила человѣческаго документа! Эта ежедневная правда, которую никто не дерзаль выскazać, сіяетъ такимъ блескомъ, что всѣ сочиненныя сказки блѣднѣютъ передъ нею и кажутся нелѣпыми баснями. Я не хочу защищать „Жака Винтраса“ отъ дѣлаемыхъ на него нападокъ. Правду защищать нельзя. Когда кто-нибудь беретъ на себя смѣлость сказать правду, то надо ему низко поклониться. Есть исповѣди, которыя можно слушать, только снявъ шляпу. „Жакъ Винтрасъ“ одна изъ такихъ исповѣдей. Нелѣпо называть дурнымъ сыномъ человѣка, написавшаго эти могучія страницы, которыя дышатъ неутолимой жаждой любви и ласки. Чтобы снять съ него всякое нареканіе, достаточно было-бы и того, что онъ сказаль правду; но, кромѣ нея, онъ еще повѣдалъ намъ свои благородныя стремленія, свою страсть къ свободѣ, къ независимой, трудовой жизни; онъ представилъ своихъ родителей истинно великими въ такихъ сценахъ, которыя никогда не забудутся, и ясно выставилъ, что всѣ ихъ недостатки происходятъ отъ пошлой среды, отъ растлѣвающихъ предразсудковъ мелкой французской буржуазіи. Наконецъ, онъ далъ намъ подлинный фактическій протоколъ несчастнаго существованія бѣд-

ныхъ дѣтей, изъ которыхъ мелко-эгоистичные родители смятыя розгой и пощечинами сдѣлаютъ адвокатовъ и профессоровъ“.

Изъ всего сказаннаго о книгѣ Жана Ля-Рю, которая, по отзывамъ компетентныхъ лицъ, представляетъ въ сущности автобіографію Жюля Валеса, конечно, легко понять, почему мы рѣшились познакомить читателей „Дѣла“ съ „Жакомъ Винтрасомъ“ въ возможно полномъ извлеченіи.

ГЛАВА I.

Кормила-ли меня грудью мать или поселянка, я право не знаю. Но чѣмъ-бы молокомъ я ни питался, я не помню въ своемъ младенчествѣ ни одной ласки; меня никто не ласкалъ, не дельялъ, не цѣловалъ; зато меня много сѣкли.

Моя мать говоритъ, что не надо баловать дѣтей, и поэтому сѣчетъ меня каждое утро; если же ей не время, то порка отлагается до полудня и очень рѣдко до четырехъ часовъ.

Г-жа Баландро меня мажетъ саломъ. Это добрая старая дѣва, лѣтъ пятидесяти. Она живетъ надъ нами. Сначала эти постоянныя порки ей очень нравились. У нея нѣтъ часовъ, и она считывала по нимъ время. „Ага, говорила она, — вонъ сѣкутъ мальчишку; пора дѣлать кофе“. Но однажды она увидала, какъ я прохладился между двумя дверями, поднявъ свои штанишки. Она меня пожалѣла, когда увидѣла мою спину, и хотѣла-было показать ее всѣмъ, чтобы возмутить сосѣдей противъ моей матери; но подумала, что этимъ не спасешь моей спины, и придумала лучшее средство. Слыша слова моей матери: „Жакъ, я тебѣ высѣку“, она тотчасъ говоритъ:

— Г-жа Винтрасъ, не безпокойтесь, я его высѣку за васъ.

— О, г-жа Баландро, вы слишкомъ добры! отвѣчаетъ моя мать.

Старая дѣва уводитъ меня, но, вмѣсто того, чтобъ сѣчь, она хлопаетъ одной рукой по другой, а я кричу. Вечеромъ мать благодаритъ свою замѣстительницу.

— Всегда къ вашимъ услугамъ, отвѣчаетъ добрая г-жа Баландро и тайкомъ суетъ мнѣ конфетку.

Мое первое воспоминаніе — порка, а второе — полно удивленія и слезъ.

Мы всё сидѣли передъ огнемъ, пылавшимъ въ старомъ каминѣ; мать вязала въ уголѣ; двоюродная сестра, бѣдная дѣвушка, служившая въ домѣ вмѣсто служанки, уставляла на полкахъ синія фаянсовыя тарелки съ пѣтушками. Отецъ рѣзалъ ножомъ кусокъ сосноваго дерева; желтыя, гладкія, какъ лента, стружки, падали на полъ. Онъ дѣлаетъ для меня телѣжку. Колеса уже готовы изъ картофеля; бурая кожа представляетъ желѣзный ободокъ. Я жду окончанія работы, взволнованный, широко открывъ глаза. Вдругъ отецъ вскрикиваетъ и поднимаетъ руку, всю въ крови. Онъ обрѣзалъ себѣ палецъ ножомъ. Я поблѣднѣлъ и бросился къ нему, но меня останавливаетъ сильный ударъ. Это ударила меня мать, сжавъ кулаки и съ пѣной у рта.

— Ты виноватъ, что отецъ обрѣзлся, говоритъ она и выталкиваетъ меня на черную лѣстницу съ такою силою, что я летаю лбомъ на притолку.

Я кричу, прошу прощенья и зову отца. Я вижу съ дѣтскимъ ужасомъ, какъ у него виситъ окровавленная рука. И я въ этомъ виноватъ! Отчего меня не пустятъ въ комнату, хоть узнать, что съ нимъ? Пусть меня потомъ побьютъ, если имъ угодно! Я кричу. Мнѣ не отвѣчаютъ. Я слышу, что стучать графинами и отворяютъ ящики; вѣроятно, ему кладутъ компрессы.

— Это ничего, успокаиваетъ меня кузика, выйдя на лѣстницу и развѣшивая полотенце, запятнанное кровью.

Я плачу, я задыхаюсь. Является мать и пихаетъ меня въ чуланъ, гдѣ сплю, и гдѣ каждый вечеръ, засыпая, я такъ боюсь темноты.

Мнѣ пять лѣтъ, и я считаю себя отцеубійцей. Однако, вѣдь я не виноватъ. Развѣ я принуждалъ отца дѣлать мнѣ телѣжку? Развѣ я не согласился-бы лучше, чтобъ мое тѣло было окровавлено, а не его? Конечно. И я царапаю себѣ руки, чтобъ и мнѣ также было больно.

Мама такъ любитъ папу, — вотъ почему она и вышла изъ себя. Я учусь читать въ книгѣ, въ которой крупными буквами написано, что дѣти должны слушаться родителей. Мама хорошо сдѣлала, что меня ударила.

Мы происхожденія деревенскаго.

Мой отецъ—сынъ поселяннина, который возгордился и захотѣлъ, чтобъ его сынъ учился хорошо и пошелъ въ патеры. Мальчика отдали дядѣ, патеру, для обученія латини, а потомъ помѣстили въ семинарію. Мой отецъ, то есть тотъ, кто долженъ былъ сдѣлаться моимъ отцомъ, не остался тамъ, а захотѣлъ быть бакалавромъ. Получивъ дипломъ, онъ помѣстился въ маленькой комнатѣ, въ глубинѣ грязной улицы, и выходилъ оттуда днемъ на уроки по поль-франка въ часъ и вечеромъ, чтобъ ухаживать за поселянкой, моей будущей матерью, которая тогда исполняла свой долгъ преданной племянницы у одра болѣзни своей тетки. Они влюбляются, сходятся и женатся. Церковь брошена, и родители очень недовольны этимъ бракомъ голода съ жаждою.

Я—первый ребенокъ этого блаженнаго союза. Я родился на старой деревянной кровати, въ которой водились деревенскія блохи и семинарскіе клопы.

Домъ, въ которомъ мы живемъ, находится въ грязной, крутой улицѣ Пюи; по ней взбираться очень трудно пѣшкомъ, а экипажи тутъ вовсе не ѣздятъ, исключая телѣгъ, запряженныхъ волами, которыхъ погоняютъ острыми колями, тыкая ими въ спину животныхъ. Я всегда смотрю на этихъ воловъ; головы у нихъ опущены, шеи вытянуты, языкъ виситъ, кожа дымится, ноги моментно скользятъ. Они привозятъ большіе кули съ мукою со-сѣднему булочнику; я смотрю вмѣстѣ съ тѣмъ на бѣлыхъ хлѣбопеконъ и большую красную печь. Тутъ такъ хорошо пахнетъ хлѣбомъ.

Въ концѣ улицы стоитъ тюрьма, и жандармы водятъ туда часто арестантовъ въ кандалахъ. Арестанты не смотрятъ по сторонамъ; глаза у нихъ мутные; на взглядъ они такіе изнуренные, больные. Женщины подаютъ имъ мѣдныя монеты; они молча зажимаютъ ихъ въ рукавъ и наклоняютъ голову въ знакъ благодарности. Они нисколько не кажутся злыми.

Тюремщикъ, въ качествѣ сосѣда, другъ нашего дома; онъ приходитъ иногда обѣдать къ нижнимъ жильцамъ; я—товарищъ съ

его сыномъ. Онъ иногда водить меня въ тюрьму; тамъ гораздо веселѣе и много деревьевъ. Мы играемъ, смѣемся. Одинъ арестантъ, старикъ, бывшій на каторгѣ, строить цѣлыя церкви изъ пробокъ и сверлуны орѣховъ. Дома-же у насъ никто не смѣется; мать постоянно ворчитъ. О, мнѣ гораздо веселѣе съ этими старикомъ и другимъ арестантомъ, убившимъ жандарма на ярмаркѣ въ Виваре! Потомъ они получаютъ букеты, цѣлуютъ ихъ и прячутъ за пазуху. Проходя по пріемной залѣ, я видѣлъ, что эти цвѣты имъ даютъ женщины. Другимъ матери приносятъ пирожки и апельсины, точно они маленькія дѣти.

Вотъ я и маленькій ребенокъ, а у меня никогда нѣтъ ни пирожковъ, ни апельсиновъ. Я также не помню, чтобъ у насъ въ домѣ были когда-нибудь цвѣты. Мама увѣряетъ, что они только мѣшаютъ; букеты черезъ два дня дурно пахнутъ, а за растеніями въ горшкахъ надо старательно ухаживать, иначе они засохнутъ. Она такъ и хочетъ прибавить: „вѣдь ихъ нельзя сѣчь!“ Я разъ укололся розаномъ, и она замѣтила: „по дѣломъ“.

Нашъ домъ принадлежитъ доброй пятидесятилѣтней старухѣ; мужъ ея, говорятъ, потонулъ, дѣлая вино, въ ваннѣ. Этотъ разсказъ заставляетъ меня бояться ванны и любить вино. Должно быть, оно очень вкусно, если мужъ хозяйки перепился имъ до смерти. Его вдова каждое воскресенье пьетъ это вино, отъ котораго несетъ любимымъ человекомъ. Вообще у насъ въ домѣ много пьютъ. Абатъ, живущій въ одномъ этажѣ съ нами, всегда выходитъ изъ-за стола съ красными ушами, лоснящимися щеками и выпученными глазами. Несъ его походить на раздавленный томатъ, а изо рта у него воняетъ, какъ изъ бочки. У него есть служанка Генріета, и когда онъ выпьетъ, то всегда смотритъ на нее искоса. Часто о нихъ говорятъ шепотомъ.

Такъ-же много болтаютъ о нашей жилищѣ, г-жѣ Греленъ, женѣ архитектора; говорятъ, что она въ близкихъ отношеніяхъ съ помощникомъ мера, что у нея много любовниковъ, что честныя женщины умираютъ съ голода, а такія доставляютъ мѣста мужьямъ, а себѣ шелковыя платья. Я не понимаю, что все это значить; но неужели г-жа Греленъ нечестная женщина? Что-же она дѣлаетъ? Вѣднй Греленъ!

Однако, Греленъ, кажется, очень доволенъ судьбою. Онъ и жена его вѣчно ласкаютъ дѣтей и даютъ имъ игрушки. А меня

только бьютъ, пугаютъ постоянно адомя и бранятъ за то, что я слишкомъ громко говорю. Я былъ-бы гораздо счастливѣе, еслибъ былъ сынъ Грелена. Но тогда помощникъ мера пріѣзжалъ-бы къ моей матери, когда отца нѣтъ дома. Впрочемъ, мнѣ какое до этого дѣло?

Какія еще воспоминаія сохранилъ я о своемъ младенцествѣ! Я помню, что зимой передъ окнами птицы порхали по снѣгу, отыскивая что-то своими клювами; что лѣтомъ я маралъ себѣ панталонны, бѣгая по грязному двору, гдѣ очень дурно пахло, а главное, что мать всегда меня била, съела, рвала за уши. Это все она дѣлала для моей пользы, и чѣмъ болѣе вырывала она у меня изъ головы волосъ, чѣмъ болѣе она мнѣ давала толчковъ, тѣмъ болѣе я убѣждался, что она добрая мать, а я неблагодарный ребенокъ.

Да, неблагодарный, потому что иногда по вечерамъ, почесывая свои синяки и желваки, я ее не благословлялъ и, только уже прозянося свою обычную молитву, просилъ Бога сохранить ей здоровье, чтобъ она могла окружать меня по-прежнему своими добрыми попеченіями.

Я выросъ и хожу въ школу.

Сынъ директора иногда беретъ меня съ собой въ садъ, который находится за школой. Тамъ прекрасныя качели и гимнастика. Но мать просила жену директора не дозволить мнѣ качаться или лазить по веревкѣ, и та взяла съ меня слово слушаться приказаній матери. Я слушаюсь. Но жена директора любитъ своего сына не меньше чѣмъ мать—меня, а она позволяетъ ему то, что мнѣ запрещено. Кромѣ него многія другія дѣти, не старше меня, качаются въ волю.

Развѣ они всѣ сломаютъ себѣ шеи? Вѣроятно. И я говорю

себѣ, что родители, дозволяющіе такія игры своимъ дѣтямъ, просто хотятъ ихъ смерти. Эти чудовища, эти убійцы не имѣютъ храбрости потопить дѣтей и посылаютъ ихъ на качели. Иначе для чего мать запрещала-бы мнѣ то, что дозволяютъ другимъ? Зачѣмъ лишать меня удовольствія? Развѣ я не таеъ ловець, какъ другіе? Или я уродъ и задъ у меня тяжелѣе головы? Жаль, что нельзя ихъ свѣсить поодиночѣ! И вотъ я хожу во-кругъ качелей и прыгаю передъ гимнастикой, какъ собачонка, старающаяся достать кусокъ сахара, который положенъ слишкомъ высоко. О, какъ мнѣ хотѣлось схватиться за эту трапецію и повиснуть головой внизъ! О, мать, мать! Отчего вы мнѣ не позволяете повиснуть головой внизъ? Ну, хоть разъ! А потомъ свѣдите меня, сколько угодно.

Колегія или лицей въ Пюи помѣщается, какъ всѣ школы и тюрьмы, въ уединенной, мрачной улицѣ; но въ концѣ ея находят-ся веселые кабачки, съ зелеными вѣтками надъ дверью, вмѣсто вывѣски. Изъ этихъ кабачковъ всегда несло виномъ, которое би-ло мнѣ въ голову, возбуждало мои нервы и дѣлало меня силь-нѣе, веселѣе. Посѣтители кабачковъ шумятъ, кричатъ; они всѣ кажутся таковыи беззаботными добряками и всегда съ громкимъ смѣхомъ бранятся, покупая или продавая свиней и коровъ. Проб-ки хлопаютъ; солнце наполняетъ расплавленнымъ золотомъ ста-каны, сверкаетъ на металлическихъ пуговицахъ жилетокъ и жжетъ кучи мухъ въ отдаленномъ углу. Все въ кабачкахъ шумитъ, гу-дитъ, веселится, живетъ.

А въ двухъ шагахъ лицей дремлетъ, покрытый плесенью, напол-няя воздухъ удушливымъ запахомъ скуки и чернилъ. Всѣ, входя-щіе въ него, опускаютъ глаза, смягчаютъ голосъ и ходятъ на цыпочкахъ, чтобъ не нарушить тишины, не оскорбить дисципли-ны, не помѣшать занятіямъ. Фуй, какъ отъ всего тутъ несетъ старьешъ!

Мой отецъ — репетиторъ въ старшемъ классѣ лицея по матема-

тикѣ, реторикѣ и философіи. Его не любятъ и называютъ собакой. Онъ испросилъ позволеніе брать меня съ собою въ аудиторію, и я, сидя подъ его кафедрой, przygotowляю свои уроки. Но напрасно онъ беретъ меня съ собою. Старшіе ученики не мучать меня: они видятъ, что я застѣнчивъ, боязливъ, прилеженъ; они мнѣ не говорятъ никакихъ непріятностей, но я слышу, что они болтаютъ о моемъ отцѣ, какъ они его называютъ. Они смѣются надъ его длиннымъ носомъ, надъ его затасканнымъ пальто. Они поднимаютъ его на смѣхъ, и я страдаю за него. Онъ этого не знаетъ и часто кричитъ на меня: „что съ тобой? Ты вытаращилъ глаза, какъ болванъ!“ А я именно въ эту минуту услыхалъ, что его оскорбляли, и старался проглотить горькую слезу.

Онъ иногда посылаетъ меня во время вечерняго урока за книгой или съ запиской къ другому учителю, живущему черезъ дворъ. Уже темно, вѣтеръ дуетъ, на лѣстницахъ и въ коридорахъ царить мракъ; иногда ученики прячутся въ углахъ и меня пугаютъ. Я иду храбро, но перевозжу свободно дыханіе, только вернувшись въ классную.

Часто я остаюсь одинъ въ комнатѣ, когда г-жа Баландро еще не пришла за мною, а отецъ увелъ учениковъ къ ужину. Какъ долго идетъ время! Все пусто и безмолвно вокругъ; а если кто входитъ, то только ламповщикъ. Онъ также не любить отца, право, не знаю, почему. Онъ всегда ходитъ въ сѣрой курткѣ, какъ у арестантовъ, и въ фуражкѣ изъ звѣриной шкуры; отъ него несетъ масломъ. Онъ всегда что-то бормочетъ сквозь зубы, смотритъ на меня сердито, вытаскиваетъ изъ-подъ меня стулъ, ставитъ лампу на мою тетрадку, бросаетъ на полъ мое пальто, толкаетъ меня, какъ собаку, и выходитъ изъ комнаты, не сказавъ мнѣ ни слова. Я также съ нимъ не говорю и молчу, когда отецъ возвращается. Меня учили, что не слѣдуетъ наушничать. Я этого никогда не дѣлаю, и, благодаря этому, въ мои школьные годы мнѣ суждено перенести отъ учителей много тяжелыхъ пытокъ.

Притомъ я не хочу, чтобъ изъ-за меня страдалъ мой отецъ. Я скрываю отъ него получаемыя непріятности изъ боязни, чтобъ онъ не затѣялъ ссоры съ моими притѣснителями. Хотя я ребе-

нокъ, но чувствую, что обязанъ исполнять свой долгъ, что я сынъ ваторжника или, еще хуже, тюремщика, и я переношу всѣ грубости ламповщика, слушаю, какъ-будто не слыша, всѣ насмѣшки надъ отцомъ. Но это тяжело для девятилѣтняго ребенка.

Случалось, что я очень голодалъ, когда меня долго оставляли одного въ аудиторіи, а изъ столовой долеталъ до меня соблазнительный запахъ жареного. Какъ я проклиналъ добрую г-жу Баландро, которая всегда водила меня въ лицей и приводила домой! Но потомъ я узналъ, что моя мать ее нарочно задерживала, говоря, что отецъ, еслибъ онъ не былъ мокрой курицей, могъ-бы всегда накормить меня остатками своего ужина.

— Еслибъ я была на его мѣстѣ, воскликнула она, — то отлично-бы это продѣлывала. Стоило только спрятать что-нибудь съѣстное въ бумажку; пожалуй, я дамъ ему для этого корбочку.

Однако, мой отецъ упорно сопротивлялся, бѣднякъ. Его удерживалъ страхъ, что его поймають и поднимутъ на смѣхъ. Моя мать по-временамъ старалась его насильно заставить покориться ея волѣ и оставляла меня голодать въ аудиторіи. Но онъ не поддавался и предпочиталъ мои страданія своему стыду, и онъ былъ правъ.

Однако, я помню, одинъ разъ онъ выбѣжалъ изъ столовой, сунулъ мнѣ котлетку, которую онъ спряталъ въ тетрадку. Онъ казался очень взволнованнымъ и быстро ушелъ. Я какъ теперь вижу эту сцену. Впослѣдствіи я простилъ многое отцу ради котлетки, которую онъ тайкомъ стащилъ со стола для своего голоднаго сына.

Въ новый годъ товарищи отца и родители нѣкоторыхъ изъ учениковъ приходятъ въ намъ и приносятъ мнѣ подарки.

— Благодарите-же, Жакъ, говоритъ мать; — ты стоишь, какъ дуракъ.

По уходѣ гостей, я съ невыразимой радостью принимаюсь барабанить, трубить, играть на гармоніи. Но мать не хочетъ, чтобъ я сошелъ съ ума, и отнимаетъ у меня игрушки. Я тогда набрасываюсь на конфеты и начинаю ихъ лизать. Но мать не хочетъ, чтобъ я имѣлъ манеры низкопоклонныхъ льстецовъ.

— Начинаешь лизать конфету, а кончишь лизаньемъ...

Она останавливается и смотритъ на отца, желая знать, понялъ-ли онъ ее. Отецъ нагибается и показываетъ рукой, что понялъ.

У меня все отнимаютъ и прячутъ подъ замокъ.

— Пожалуйста, мама, позволь мнѣ сегодня поиграть, умоляю я, — только сегодня, и я пойду во дворъ; ты ничего не услышишь; а завтра я буду умницей.

— Еще-бы ты не былъ умницей. Я тебя иначе высѣку. Вотъ давайте этому замарашѣ хорошенькия вещи, онъ ихъ только портить.

Что мнѣ всего грустнѣе—это счастье другихъ дѣтей. Въ окно я вижу, что въ сосѣднемъ домѣ дѣти переломали свои игрушки, измарали себѣ руки въ краскѣ, выпачкали рты конфетами. О, какая у нихъ радость, какое веселье!

Я горько плачу.

Что мнѣ игрушки, если я не могу съ ними дѣлать, что хочу, ломать, рвать, топтать? Я люблю ихъ, когда онѣ мои, а не тогда, когда онѣ у матери. Онѣ меня тѣмъ и тѣшатъ, что ихъ шумъ рѣжетъ уши; если ихъ положить на столъ и не велятъ до нихъ дотрогиваться, то мнѣ ихъ и не надо. Наплевать мнѣ на конфеты, если мнѣ ихъ будутъ давать по одной, когда я умница. Я люблю ими обжираться.

— Ты совсѣмъ дуракъ, голубчикъ, сказала мнѣ мать однажды, когда я ей рассказалъ свое горе, но все-же дала мнѣ конфету, приговаривая:—возьми, но съѣшь съ хлѣбомъ.

Учителя въ лицѣ рассказываютъ о философахъ, которые въ одномъ словѣ совмѣщали цѣлое ученье. Моя мать походить на нихъ и умѣетъ самой пустой мелочью выразить главный законъ, которымъ всякій благоразумный человѣкъ долженъ руководствоваться въ своей жизни.

„Ѣшь конфету съ хлѣбомъ!“ Это значить: „ты, дуракъ, хотѣлъ глупо ее проглотить разомъ. Ты забылъ, что ты бѣденъ. Къ чему-бы тебѣ послужило это лакомство? А ты сдѣлай изъ нея особое кушанье, съѣшь ее съ хлѣбомъ и будешь сытъ!“ Нѣтъ, я люблю лучше хлѣбъ одинъ.

Я очень уважаю хлѣбъ.

Какъ-то разъ я бросилъ на полъ корку; отецъ нагнулся и поднялъ ее.

— Дитя мое, сказалъ онъ, совсѣмъ не такимъ жесткимъ голосомъ, какъ всегда, — не надо бросать хлѣбъ; его трудно заработать. У насъ у самихъ его немного, но еслибъ и былъ излишекъ, то надо дать его бѣднымъ. Можетъ быть, придетъ день, когда ты будешь въ немъ нуждаться, и тогда ты поймешь его цѣну. Помни мои слова, дитя мое.

Я никогда ихъ не забылъ. Это замѣчаніе, сдѣланное отцомъ, быть можетъ, разъ во все мое дѣтство, безъ гнѣва и съ достоинствомъ, глубоко запало въ мое сердце, и я съ тѣхъ поръ уважаю хлѣбъ.

Колосья въ полѣ для меня священны, и я никогда не смилъ ни одного колоса, чтобы сорвать василекъ или макъ.

Слова отца о бѣдныхъ меня также поразили, и, быть можетъ, благодаря имъ, я всегда питалъ уваженіе къ голоднымъ и всегда защищалъ ихъ. „Ты поймешь цѣну хлѣба“, сказалъ отецъ. И я ее понялъ.

Однажды какой-то туристъ, проѣзжая мимо верхомъ, принялъ меня издали за достопримѣчательность Пюи и, подсказавъ ко мнѣ, очень изумился, увидавъ, что я живое существо. Онъ слѣзъ съ лошади и почтительно спросилъ у матери адресъ портного, который шилъ мнѣ платье.

— Это я, отвѣчала мать, покрасивъ отъ гордости.

Туристъ ускакалъ, и болѣе его никогда не видали въ городѣ, но моя мать рассказывала мнѣ съ удовольствіемъ объ этомъ эпизодѣ.

Я часто бываю одѣтъ весь въ черномъ, во фрагѣ и въ высокомъ цилиндрѣ; я похожъ тогда на дымовую трубу.

Говорятъ, что я очень скоро ношу платье, и потому для ежедневнаго обихода мнѣ купили деревенскую, желтую, мохнатую матерію. Укутанный въ нее, я играю роль лапландскаго посланника. Чужестранцы мнѣ кланяются; ученые смотрятъ на меня съ любопытствомъ. Но матерія эта очень жесткая и царапаетъ мнѣ тѣло до крови. Увы, я въ этихъ панталонахъ не живу, а влечу свое существованіе.

Всѣ дѣтскія игры мнѣ запрещены. Я не могу прыгать и драться; я почти ползаю по улицамъ; благодаря этимъ панталонамъ,

мнѣ въ двѣнадцать лѣтъ, суждено, средио его роднаго города — извѣдать всѣ муки изгнанія.

Моя мать иногда пускается на шутки: какъ-то на масляницѣ меня пригласили на костюмированный балъ, и она одѣла меня угольщикомъ. Ей что-то помѣшало отправиться на цѣлный вечеръ въ гости, и она, доведя меня до дома, гдѣ давался балъ, ушла. Я не зналъ дороги и заблудился въ саду. Случайно меня увидѣла служанка и воскликнула:

— А, это вы, маленькій Шуфлу! Вы пришли намъ помочь въ кухнѣ?

Я не посмѣлъ возражать, и меня заставили цѣлую ночь мыть посуду.

Когда утромъ мать пришла за мною, то я полоскалъ рюмки; ей сказали, что меня никто не видалъ. Поднялись поиски. Я услышалъ и вбѣжалъ въ залу, чтобъ броситься въ объятія матери, но маленькія дѣвочки раскричались, а дамы попадали въ обморокъ, при видѣ страннаго карлика. Даже мать не хотѣла меня признать. Я уже началъ себя воображать сиротою. Однако, мнѣ стоило только отвести ее въ уголокъ и показать ей извѣстное мѣсто моего тѣла, красное и все въ шрамахъ, чтобъ она воскликнула: „это мой сынъ“. Чувство стыдливости меня удержало. Я удовольствовался знаками, и она, наконецъ, меня поняла и увела домой.

Ко дню раздачи наградъ въ лицѣ, моя мать мнѣ сдѣлала новой костюмъ.

— Я хочу, чтобъ мой ребенокъ былъ хорошо одѣтъ, говорить она и отыскиваетъ въ своемъ комодѣ старую, блестящую матерію, отливающую на солнцѣ тигромъ и одинаково рѣжущую глаза и руки. — Эту матерію въ старину покупали цѣною золота. Я тебѣ сдѣлаю изъ нея куртку. Кажется, я тебя балую, прибавляетъ она съ самодовольной улыбкой самопожертвованія.

Куртка готова и рѣжетъ мнѣ уши. Но этого мало: мать ничего не жалѣетъ и унижаетъ ее зелеными пуговками на манеръ оливокъ. Въ день торжества на меня еще надѣли бѣлыя, чрезвычайно натянутыя панталоны, съ длинными, жесткими штрипками, и высокую черную шляпу, которую я причесалъ противъ ворса. Прохожимъ издали казалось, что это мои волосы поднялись дѣбомъ, и они говорили другъ другу: „онъ, вѣрно, видѣлъ чорта“.

— Мой сынъ, съ гордостью произнесла моя мать, когда мы явились въ лицей, и швейцаръ только съ ужасомъ поднялъ руки къ небу, тщетно стараясь найти меня подъ моей большой шляпой.

Мы вошли въ залу, но, перелѣзая черезъ скамейки, чтобъ добраться до моего мѣста, я вдругъ оступился; одна изъ штриповъ лопнула и штанина поднялась, какъ резинка. Моя берцовая кость оголилась, и дамы, оскорбленныя моимъ цинизмомъ, закрываютъ свои лица веерами. Въ залѣ происходитъ смущеніе. Власти на эстрадѣ спрашиваютъ, въ чемъ дѣло.

— Жакъ, опусти панталоны! кричитъ мать во все горло, и глаза всѣхъ устремляются на меня.

Но необходимо прекратить этотъ скандалъ, и энергичный генералъ, возсѣдавшій на эстрадѣ, командуетъ:

— Уберите мальчишку съ оливками!

Этотъ приказъ тотчасъ исполняется; меня вытаскиваютъ изъ подъ скамьи, куда я забился, и жена одного изъ учителей уводитъ меня къ себѣ и переодѣваетъ съ головы до ногъ.

— Бѣдный мальчикъ, ты не умѣешь носить хорошаго костюма, произноситъ моя мать болѣе съ сожалѣніемъ, чѣмъ съ сердцемъ.

Черезъ нѣсколько минутъ я возвращаюсь въ одежду другого мальчика, гораздо больше и выше меня. Всѣ думаютъ, что это мистификація. Я только-что походилъ на леопарда, а теперь я вылитый старикъ. Это не просто. Въ залѣ пробѣгаетъ слухъ, что я сынъ фокусника, только-что пріѣхавшаго въ городъ и желающаго показывать публично свою силу. Многіе этому вѣрятъ, но, по счастью, меня мою мать знаютъ, и вскорѣ все объясняется.

Я слушаю рѣчи, всѣми забытый, и съ трудомъ ковыряю пальцами въ носу, — такъ длинны у меня рукава!

Я только и забавляюсь, что во время вакацій, у дяди Жозефа на фермѣ.

О, какое наслажденіе бѣгать по зеленому лугу на берегу ручья, на днѣ котораго видны камешки! Какъ весело бросать въ воду вѣтки бузины!

Моя мать очень не любитъ, когда я смотрю на воду, отерпѣвъ ротъ. Она права: я теряю время.

— Ты-бы лучше взялъ съ собою латинскую грамматику и подтвердилъ-бы ее, говоритъ она и прибавляетъ съ глубокимъ чувствомъ: — и какъ ты всегда портишь башмаки въ грязи! Убирайся домой!

Я знаю, что кожаные башмаки портятся въ полѣ и что лучше надѣть деревянные, но мать и слышать объ этомъ не хочетъ. Она меня воспитываетъ и не желаетъ, чтобъ я сталъ такимъ-же деревенщиной, какъ она. Она ничего не жалѣетъ, чтобъ только сдѣлать своего Жака *господиномъ*. Не для того она одѣваетъ его въ куртку съ оливками и въ высокій цилиндръ, чтобъ Жакъ вернулся въ деревню и сталъ ходить въ деревянныхъ башмакахъ.

Да, да, я предпочелъ-бы ходить въ деревянныхъ башмакахъ. По мнѣ, отъ простого поселяннина лучше пахнетъ, чѣмъ отъ лицейскаго учителя. Я съ большимъ удовольствіемъ шлепалъ-бы по грязи, чѣмъ помадилъ-бы волосы, и собирать сѣно мнѣ пріятнѣе, чѣмъ учиться грамматикѣ. Какое счастье вязать снопы, таскать дрова, ворочать камни! Быть можетъ, я рожденъ, чтобъ быть слугою? Да, это страшно сказать, но я рожденъ, чтобъ быть слугою! Я это вижу. Я это чувствую.

О, Боже мой, только-бы мать объ этомъ не узнала! А я охотно занялъ-бы мѣсто маленькаго пастушка Поерони. Онъ водить стадо на луга, гдѣ столько цвѣтовъ; онъ разстегиваетъ свою рубашку, когда ему жарко, и никто ему не говоритъ: „руки по швамъ!“ „Что ты сдѣлалъ со своимъ галстухомъ?“ „Держись прямо!“ „Развѣ ты горбатый?“ „Застегни жилетку!“ „Куда ты дѣлъ самую лучшую оливку?“ „О, этотъ ребенокъ сведетъ меня въ могилу!“

И большіе слуги счастливѣе моего отца. Имъ не надо носить жилета, застегнутаго до верха, чтобъ скрыть грязную рубашку. Они не боятся своихъ хозяевъ, какъ отецъ боится директора; они не прячутся, чтобъ выпить стаканъ вина; они громко поютъ и смѣются въ полѣ въ рабочіе дни и въ кабачкѣ въ праздникъ.

Мой отецъ — не слуга, а съ сердечнымъ содроганіемъ бережетъ свои изношенные суконныя панталоны. Онъ едва можетъ въ нихъ кланяться. А если онъ не поклонится тому или другому, то его позовутъ къ директору, и надо будетъ просить прощенія, конечно, не какъ слугѣ, но какъ учителю.

Надъ нимъ всё смѣются—и товарищи-учителя и ученики. Ему платять жалованье, пока не прогонять изъ одного лица въ другой съ его женою, которая питаетъ отвращеніе къ поселянамъ, и съ сыномъ, который ихъ безъ ума любить.

ГЛАВА II.

По протекціи одного пріятеля, мой отецъ назначенъ учителемъ въ седьмой классъ въ лицей въ Сент-Етьенъ. Онъ долженъ былъ уѣхать второпяхъ. Мать осталась въ Шюи и, устроивъ всё дѣла, послѣдовала за нимъ вмѣстѣ со мною.

Это происходило въ декабрѣ; было холодно. Приѣхавъ въ Сент-Етьенъ ночью, мы мерзли, дожидаясь отца на улицѣ, среди своихъ чемодановъ и узловъ. Онъ не только не пришелъ къ намъ на-встрѣчу, но долго вовсе не являлся, и мать выходила изъ себя. Наконецъ, отецъ прибѣжалъ, еле переводя дыханіе.

— Я опоздалъ, бормочетъ онъ въ смущеніи;—я думалъ, что дилжансь... я былъ у эконома...

Мать ничего ему не отвѣчала. Это странное молчаніе продолжалось во всю дорогу въ фіакрѣ до нанятой отцомъ взыртиры. То-же молчаніе и на лѣстницѣ, на которой я спотыкаюсь на каждомъ шагѣ. Обыкновенно, когда я спотыкнусь, на меня сыплется брань и толчки. Теперь ни слова, ни затрешины.

Я дорого-бы далъ, чтобъ мать меня ударила; когда она меня бьетъ, то она въ духѣ; это придаетъ ей силы, какъ нирогъ уткѣ. Какое счастье матери чувствовать подъ рукою щеку сына. „Это онъ, это мой ребенокъ, мой плодъ, эта щека моя“... Трахъ, трахъ!

Но, нѣтъ. Она идетъ теперь безмолвная, сложивъ руки на груди, какъ привидѣніе. Быть бѣдѣ!

Впрочемъ, я всегда вывожу изъ затрудненія родителей своей головой, задомъ, ухомъ или волосами. Вдругъ я чувствую, что нога моя скользнуть, и я падаю. Подъ каблукъ моего сапога попала апельсиновая корка, и мать ее замѣтила первая, нагнувшись, чтобы изслѣдовать таинственное паденіе сына.

— А, здѣсь ѣдятъ апельсины, здѣсь ѣдятъ апельсины! про-

износить она грознымъ голосомъ и наступаетъ на отца, топя ногами.

Я хочу вскочить и броситься между отцомъ и матерью. Но я не могу тронуться. Я упалъ на картину, валявшуюся на полу, и разбилъ стекло.

Родители принуждены сдѣлать подробную рекогносцировку пораженной части моего тѣла, и нѣсколько капель крови, видящихся на полу, даютъ новое направление ихъ мыслямъ. Мнѣ очень больно, но я радуюсь, что страшное молчаніе нарушено. Меня моютъ, вытаскиваютъ изъ меня всѣ стеклышки, одно за другимъ. При этомъ руки родителей соприкасаются; они заговариваютъ, и миръ заключенъ.

Я былъ послѣ этого боленъ: у меня открылась лихорадка. Но семейная гроза миновала; отецъ кое-какъ объяснилъ появленіе апельсиновой корки въ квартирѣ и свое появленіе къ намъ на-встрѣчу; это усмирило гнѣвъ моей матери, а чтобы усмирить мою боль, мнѣ приложили компрессы.

Впрочемъ, въ исторіи апельсиновой корки скрывалась какая-то тайна. Отецъ солгалъ, говоря, что эконокъ его задержалъ. Я слышалъ случайно его разговоръ съ товарищемъ, который зашелъ къ нему, когда мать заснула отъ усталости.

— Я скажу вотъ такъ, а вы такъ... Мы его предупредимъ... Только-бы *онъ* не вздумали узнать на улицѣ...

Что все это значило? Кто это были *онъ*?

Не успѣли мы помѣститься на своей новой квартирѣ, какъ мать уѣхала на родину получать какое-то наслѣдство и отдала меня на время въ семью сосѣда-башмачника, Фавра. Какая это прекрасная семья, какъ они всѣ счастливы! Они работаютъ, шумятъ, смѣются, когда веселы, плачутъ, когда грустны. Мои же родители никогда не смѣются и никогда не плачутъ. Это потому, что отецъ — профессоръ, свѣтскій человѣкъ, а мать — женщина стойкая, мужественная и хочетъ меня воспитать, какъ воспитываютъ порядочныхъ людей.

Мнѣ свободно дышалось въ этой средѣ честныхъ рабочихъ. Руки у нихъ были черны, но сердца чисты. Мнѣ хотѣлось тоже

сдѣлаться рабочимъ и вести славную труженическую жизнь, не боясь ни матери, ни богатыхъ, а цѣлый день работая и распѣвая пѣсни.

Славные были этотъ башмачникъ и его жена. Они не сѣкли своихъ дѣтей и давали милостыню бѣднымъ не такъ, какъ мои родители. Впродолженіи всего моего дѣтства я слышалъ отъ матери, что не слѣдуетъ давать денегъ бѣднымъ и что лучше бросить пять сантимовъ въ рѣку, чѣмъ дать бѣдному: по крайней мѣрѣ, онъ не пойдетъ въ кабакъ. Однако, я никогда не могъ безъ содроганія сердца видѣть бѣднаго человѣка, просившаго милостыню. А г-жа Фавръ и ея сосѣдка, г-жа Венсенъ, такая-же славная, честная работница, цѣловали съ гордостью своихъ дѣтей, когда они давали бѣднымъ деньги. Это меня смущало, но, сознаюсь, не надолго. При здоровомъ обсужденіи этого труднаго вопроса, я говорилъ себѣ, что эти добрыя матери не сѣкли своихъ дѣтей, ибо не могли бы перенести ихъ слезъ, и позволяли имъ давать милостыню потому, что это тѣшило ихъ мелочное самолюбіе.

Моя мать была мужественнѣе. Она приносила себя въ жертву; она преодолевала свои слабости, удерживалась отъ неблагоразумнаго перваго стремленія и, вмѣсто того, чтобы меня цѣловать, давала мнѣ пощечину. Вы думаете, что ей это ничего не стоило? Она иногда ломала себѣ ногти. Она била меня для моей-же пользы. Часто ея рука колебалась, и она должна была прибѣгнуть къ ногѣ. Сколько разъ она останавливалась при мысли дотронуться до тѣла своего любимаго дѣтища и брала палку, метлу, или первый попавшійся ей подъ руку предметъ! Я до того былъ убѣжденъ въ справедливости принциповъ, которыми руководилась моя мать, и въ героизмѣ ея чувствъ, что часто обвинялъ себя въ непослушаніи и просилъ прощенія за это у Бога.

Моя счастливая, свободная жизнь у Фавровъ продолжалась недолго. Мать пріѣхала изъ деревни, и я снова подпалъ подъ систему оплеухи. Зато, когда мнѣ удавалось вырваться на свободу, я не зналъ удержу. Такъ, однажды на масляницѣ я въ союзѣ съ товарищами затѣялъ гигантскую драку съ мальчиками сосѣдней улицы, въ общей свалкѣ упалъ и сломалъ себѣ ногу.

По словамъ доктора, мое положеніе было серьезное, и мать

меня не высѣкла, а ухаживала за мною. Но когда мнѣ стало легче, я слышалъ, какъ, сидя у моей постели, она считала:

— Уже теперь на два франка мягчительнаго пластыря!

Честная женщина, она всегда думала объ экономіи и ни при какихъ условіяхъ не забывала порядка, ибо безъ нихъ нѣтъ спасенія для семейной жизни. Безъ экономіи и порядка человекъ кончаетъ богадѣльной или плахой.

Но мысль о выздоровленіи меня пугала, и я съ ужасомъ ждалъ расчета за свою продѣлку. Я уже былъ безъ того довольно наказанъ, и еслибы отецъ и мать это поняли, то, конечно, не стали-бы меня сѣчь.

Впрочемъ, меня и не высѣкли на этотъ разъ, а мать придумала наказаніе еще хуже.

Уже давно ей не нравилось, что ея сынъ являлся съ дѣтми простыхъ рабочихъ и былъ друженъ съ сыновьями башмачника, и, воспользовавшись этимъ случаемъ, она рѣшилась разомъ наказать меня самымъ чувствительнымъ образомъ и освободить сына отъ недостойныхъ товарищей.

— Я не хочу его сѣчь, сказала мать г жѣ Фавръ; — но я знаю, что онъ любитъ бывать съ вашими сыновьями, и я ему это воспрещу; это будетъ ему отличное наказаніе.

Г-жа Фавръ не считала себя вправѣ оспаривать дѣйствія жены профессора. Я понялъ ея молчаніе и понялъ, что мать вѣрно отгадала средство меня наказать, нанести ударъ не моему тѣлу, а сердцу. Я не разъ плакалъ въ дѣтствѣ, и на многихъ страницахъ этого разсказа замѣтенъ слѣдъ слезъ, но я никогда не былъ такъ глубоко огорченъ, какъ въ тотъ день. Мнѣ казалось, что мать была съ намѣреніемъ жестока. Я былъ боленъ, слабъ, грустенъ и нѣсколько недѣль никого не видалъ. Мнѣ нужно было поболтать съ товарищами, отвести съ ними душу. И къ тому-же я очень любилъ этихъ добрыхъ, славныхъ мальчиковъ, это гнѣздо будущихъ честныхъ рабочихъ. Нѣтъ, рѣшительно мать сдѣлала-бы лучше, еслибы меня высѣкла, но дозволила видѣться съ Фаврами.

Мой отецъ былъ профессоромъ въ седьмомъ классѣ или элементарномъ, какъ тогда говорили. Я былъ въ его классѣ. Никогда я не переносилъ такой заразительной вони. Наша классная

комната находилась рядомъ съ ретиранными мѣстами, и цѣлый годъ я дышалъ этими мiasмами. Меня еще помѣстили у самой двери, ибо я, какъ сынъ учителя, долженъ всегда быть въ авангардѣ, въ самомъ опасномъ мѣстѣ.

Рядомъ со мною сидѣлъ ужасный шалунъ, но недурной товарищъ, впоследствии сдѣлавшійся знаменитымъ префектомъ, и за каждую его шалость мнѣ доставалось. Отецъ преспокойно вставлялъ съ кафедры, подходилъ ко мнѣ и дралъ меня за ухо или толкалъ въ спину.

Отецъ долженъ былъ доказать, что онъ не дѣлалъ предпочтенія своему сыну, и потому наказывалъ меня предпочтительнѣе всѣхъ. Къ тому же мой сосѣдъ-шалунъ былъ сынъ одной изъ важныхъ особъ въ городѣ, и, подвергая его наказаніямъ, можно было подвергнуть себя непріятностямъ. Для того-же, чтобы успокоить свою совѣсть, отецъ всегда дѣлалъ видъ, что считаетъ меня виноватымъ, хотя онъ очень хорошо зналъ, что шалости дѣлалъ не я, а мой сосѣдъ.

Я за это не сердился на отца. Я зналъ, что моя шкура была полезна для его ремесла, и я подставлялъ свою шкуру. Валий, папа!

Впрочемъ, колотушки отца позволяли мнѣ кое-какъ поддерживать свое положеніе среди товарищей, которые обыкновенно вымѣщаютъ свой гнѣвъ противъ учителя на его сына. Меня-же они не считали врагомъ и даже сожалѣли-бы, еслибы дѣтямъ была доступна жалость. Меня не избѣгали, не преслѣдовали, со мною обращались, какъ съ товарищемъ, и даже еще лучше, чѣмъ со многими другими, потому что на побои отца я никогда не отвѣчалъ: „я этого не сдѣлалъ“. Къ тому-же я былъ силенъ и, съ позволенія отца, задалъ такого трезвона одному мальчику, отецъ котораго пользовался дурной репутаціей въ глазахъ начальства, что заслужилъ уваженіе всѣхъ товарищей. Но еслибы отецъ мнѣ не дозволилъ этого подвига, то мнѣ пришлось-бы, вѣроятно, раздѣлить обыкновенную участь учительскихъ дѣтей. Я видалъ столько несчастныхъ среди этихъ бѣдныхъ отверженцевъ. Что-же дѣлать, дѣти должны повиноваться родителямъ, особенно, когда дѣло идетъ о кускѣ хлѣба родителей. Терпи, бѣдный ребенокъ, сынъ профессора, страдай, плачь и молчи! Этого требуютъ высшіе прин-

ципы! „А что общество безъ принциповъ?“ говорилъ намъ всегда профессоръ философіи.

Къ этому времени моей жизни относится одинъ поступокъ, который я могъ бы скрыть. Но, пѣтъ, я открываю сегодня эту страшную тайну, какъ умирающій зоветъ къ своей постели прокурора и рассказываетъ ему свое преступленіе. Мнѣ очень тяжело это сознаніе, но я обязанъ его сдѣлать для чести моей семьи, для истины, для французскаго банка, для самого себя.

Я совершалъ *подлоги*. Боязнь каторги и страхъ привести въ отчаяніе родителей, которые, какъ извѣстно, меня обожали, побуждали меня скрыть мое преступленіе подъ завѣсою тайны, которую еще никому не удалось поднять. Я самъ себя выдаю теперь и чистосердечно расскажу, какъ я дошелъ до этого позора и съ какимъ цинизмомъ вступилъ на путь безчестья.

Одинъ изъ моихъ товарищей, тринадцатилѣтній мальчикъ съ рыжими волосами, имѣлъ „Жизнь Картуша“, „Сказки каноника Шмидта“ и „Похожденія швейцарскаго Робинзона“ съ картинками. Онъ мнѣ предложилъ эти сокровища на самыхъ постыдныхъ условіяхъ. Я ихъ принялъ и очень хорошо помню, не колеблясь.

Вотъ условія этого гнуснаго торга.

Въ сент-етъенскомъ лицѣ, какъ вездѣ, въ ходу профессорскія свидѣтельства, освобождающія учениковъ отъ того или другого, наложеннаго на нихъ, наказанія. Мой отецъ имѣлъ право наказывать или миловать не только въ своемъ одномъ классѣ, а во многихъ другихъ, гдѣ онъ поочередно съ прочими учителями исполнялъ должность репетитора каждыя двѣ недѣли. Рыжий мальчикъ предложилъ, что онъ будетъ одождать мнѣ книги съ картинками, если я ему добуду свидѣтельство за подписью отца.

Волоса не встали у меня дыбомъ.

— Ты умѣешь поддѣлать росчеркъ отца?

Мои руки не отнялись, языкъ не присохъ къ гортани.

— Достань мнѣ свидѣтельство, отиѣняющее переписку двухсотъ строчекъ латинскихъ стиховъ, и я тебѣ дамъ прочесть „Жизнь Картуша“.

Сердце у меня едва не выскочило отъ волненія.

— Я тебѣ дамъ эту книгу, — слышишь? — Не одолжу, а подарю.

Ударъ былъ нанесенъ мнѣ въ самое сердце, и я упала въ разверстую передо мною бездну. Я бросилъ свою честь за заборъ, простился съ порядочнымъ обществомъ и уединился въ трущобу подлоговъ.

Впродолженіи двухъ лѣтъ я поставлялъ подложныя свидѣтельства рыжему мальчику, который, правда, первый придумалъ эту преступную комбинацію, но все-же я, закусивъ удила, сдѣлался его адскимъ соучастникомъ. Такимъ образомъ, цѣною своей чести я приобрѣлъ всѣ его книги съ картинами, а у него ихъ было немало; онъ получалъ до того много денегъ отъ своихъ родителей, что держалъ въ классѣ за лексиконами живыхъ лягушекъ. И я могъ-бы имѣть лягушекъ; онъ мнѣ ихъ предлагалъ. Но если я согласился обезчестить имя отца изъ-за страсти къ чтенію и не устоялъ противъ соблазна имѣть своей собственностью книги съ картинами, то я поклялся противостать всѣмъ другимъ соблазнамъ и никогда не прикасался къ лягушкѣ. Вѣрьте моему слову. Я не стану сознаваться въ-половину.

И то довольно, что я впродолженіи цѣлыхъ двухъ лѣтъ обманывалъ общественное довѣріе и поддѣлывалъ всѣми уважаемую подпись. Мы прекратили это преступное ремесло, — потому-ли, что оно уже оказалось бесполезнымъ, или почему другому, я, право, непомню, — я никто никогда объ этомъ не узналъ. И во все время, пока я занимался поддѣлкой подписей, я чувствовалъ себя какъ нельзя лучше. Можно было-бы предположить, что преступленіе гложетъ человѣка и заставляетъ его блѣднѣть, сохнуть; но есть, по несчастію, преступники, на которыхъ ничто не дѣйствуетъ. Гнусность ихъ поведенія не мѣшаетъ имъ спускать волчовъ и привязывать бумажки къ жукамъ. Я именно былъ въ такомъ положеніи. Я ужасно много спускалъ волчовъ и навязывалъ на жуковъ безконечныя бумажки. Быть можетъ, это средство противъ нечистой совѣсти. Во всякомъ случаѣ, я никогда не имѣлъ такого свѣжаго цвѣта лица и цвѣтущаго вида, какъ въ эту эпоху моей *подложной* дѣятельности.

Только теперь меня прошить стыдъ, и я сознался, краснѣя, въ своей винѣ. Начинаешь съ поддѣлки профессорскихъ свидѣтельствъ, а кончаешь банковыми билетами. Я никогда не думалъ о под-

дѣлкѣ банковыхъ билетовъ, но это, можетъ быть, по лѣни или по неимѣнію дома чернилъ. Во всякомъ случаѣ, если поддѣлка профессорскихъ свидѣтельствъ ведетъ на каторгу, то я долженъ-бы быть на каторгѣ.

И кто поручится, что я тамъ не буду?

На мнѣ лежать дома заботы по хозяйству. „Человѣкъ долженъ все знать“, говоритъ моя мать. Это не тяжелая работа: надо вымыть нѣсколько тарелокъ, вымести комнату, обтереть тряпкой мебель. Но у меня рука очень тяжелая. Я часто бью посуду. Моя мать кричитъ, что я дѣлаю это нарочно и что мы скорѣе будемъ нищіе, если я не исправлюсь. Однажды я до кости порѣзалъ себѣ палецъ.

— Онъ еще и пальцы себѣ рѣжетъ! воскликнула моя мать, вѣѣ себя отъ гнѣва.

По несчастью, у нея во всемъ метода. Она требуетъ, чтобъ я мелъ соръ узорами.

— У него нѣтъ мыслей на грошъ, замѣчаетъ она съ отвращеніемъ и, схвативъ лейку и метлу, начинаетъ выводить красивые узоры съ помощью воды и пыли.

Увы, у меня нѣтъ такой граціи! Но силы у меня много, и, принявшись за чистку мебели, я такъ энергично тру, что лакъ мгновенно исчезаетъ и дерево трещить.

— Жакъ, Жакъ, голосить моя мать, — ты съума сошелъ! Брось, оставь! Онъ весь домъ снесетъ, разбойникъ, если ему позволить.

Я становлюсь въ тупикъ. То меня обвиняютъ въ лѣни, если я не довольно крѣпко тру, то называютъ разбойникомъ, если я слишкомъ стараюсь. У меня нѣтъ мыслей на грошъ. Это правда. Я даже не умѣю граціозно мыть посуду. Что будетъ со мною впоследствии? Я убѣгу въ поле; тамъ можно ѣсть кусокъ хлѣба, не подбирая крошекъ; тамъ не надо мыть тарелокъ, и, вѣроятно, Богъ не заставитъ меня чистить перья воробьямъ. Уже не позть-ли я? Я такъ люблю деревенскій просторъ!

Самое страшное въ моихъ хлопотахъ по хозяйству, — это то, что мнѣ надѣваютъ передникъ, какъ служанкѣ. Къ моему отцу иногда приходятъ въ гости родители моихъ товарищей и видятъ меня

въ этомъ костюмѣ Сапдрильоны. Меня узнають издали и спрашиваютъ себя—мальчикъ я или дѣвочка?

Я терпѣть не могу лукъ.

У насъ ѣдятъ два раза въ недѣлю крошево съ лукомъ, и въ продолженіи пяти лѣтъ я не могъ его ѣсть безъ самыхъ неприятныхъ послѣдствій.

Я не могъ переносить лука! Богатый человекъ можетъ позволять себѣ любить и не любить то или другое блюдо; но какъ я, бѣдный мальчикъ, смѣлъ разбираться? Когда подавали на столъ лукъ, у меня перевертывалось что-то внутри; я не могу сказать, что именно сердце перевертывалось, потому что я не знаю, имѣютъ-ли право бѣдные люди имѣть сердце.

— Надо заставить себя, кричала мать;—ты дѣлаешь это нарочно!

По счастью, она настояла на своемъ, и черезъ пять лѣтъ, уже въ третьемъ классѣ, я сталъ переваривать лукъ. Она доказала мнѣ этигъ, что сила воли ломаетъ все. И какъ только меня перестало рвать отъ крошева съ лукомъ, она перестала его дѣлать. Къ чему? Это блюдо не дешевле другихъ и такъ гадко воняетъ. Ей достаточно было, что ея метода восторжествовала.

Напротивъ, я ужасно любилъ парей. Ну, что прикажете дѣлать,—такой уже у меня былъ вкусъ. Но у меня изо рта его вырывали силой, какъ ядъ у человека, который рѣшилъ себя отравить.

— Отчего я не могу ѣсть парей? спрашивалъ я со слезами.

— Оттого, что ты его любишь, отвѣчала моя благоразумная мать, не желая развить въ своемъ снѣ страсти.

„Ты не любишь лукъ,—ты его будешь ѣсть; ты любишь парей,—тебѣ его не дадутъ“. Вотъ вся система этой почтенной особы.

„Но ты, Жакъ, лжешь! Ты увѣряешь, что мать тебя заставляла ѣсть только то, что ты не любишь. Ты любишь баранину, Жакъ, и развѣ мать тебѣ не давала баранины? Въ началѣ мѣсяца, когда отецъ получаетъ жалованье, зажарить заднюю часть баранины и отецъ съ матерью поѣдятъ ее два раза, а ты, Жакъ, ее доканчиваешь во всѣхъ видахъ: и холодную, и подогрѣтую,

и въ соусѣ, и въ винегретѣ. Ты любишь баранину, ну, ѣшь вволю! Мать тебя довольно балуетъ“. И кончается тѣмъ, что я превращаюсь въ барана и начинаю блеять.

А чистота! О, Боже, какъ я ненавиждѣлъ опрятность, по милости вонючаго мыла, которымъ скребла меня мать безъ устали, и полотенца, цѣлые углы котораго мнѣ запускали въ уши, Но бѣтъ опрятнымъ и держаться прямо — это вся система приличнаго воспитанія.

Какъ всѣмъ дѣтямъ, мнѣ даютъ въ видѣ вознагражденія мѣдныя и даже серебряныя монеты. Моя мать меня слишкомъ любитъ, чтобъ не поощрять моихъ успѣховъ въ наукахъ.

— Вотъ тебѣ! говоритъ она, показывая монету и опуская ее въ копилку.—Это на замѣстителя.

Этотъ противный замѣститель поглощалъ всѣ мои сантимы, тогда-какъ товарищи покупали на свои деньги сладости и качались на каруселяхъ. Иногда это меня возмущало, и я замѣчалъ матери, что другіе родители не отълаживали деньги на покупку, когда ихъ дѣти выростутъ, подставного лица для рекрутчины.

— Вѣроятно, у нихъ дѣти калѣки, отвѣчала мать, съ гордостью смотря на своего здорового сына.

И вотъ какъ моя мать, всегда благоразумная и учившая меня уму-разуму безъ тѣни педантизма, всегда шедшая во главѣ своего вѣка, внушила мнѣ ненависть къ *постояннымъ арміямъ* и къ *налогу крови*.

Разъ, передъ экзаменами, она, однако, обѣщала мнѣ дать золотую монету, если я буду первымъ.

— Эта монета будетъ моя совсѣмъ моя, спросилъ я, наученный горькимъ опытомъ. — И я сдѣлаю съ нею все, что хочу, даже отдамъ бѣдному, если вздумаю?

Мое безуміе колеблетъ мать, но она черезъ минуту отвѣчаетъ, поднимая руки къ небу:

— Да, эти деньги будутъ твои, совсѣмъ твои, но я надѣюсь, что ты не отдашь ихъ нищему.

Что это значить? Это совершенная революція! До сихъ поръ я не имѣлъ ничего своего, даже моя шкура мнѣ не принадлежала.

Экзаменъ кончился. Я—первый.

Мать мнѣ сдѣлала пирогъ съ картофелемъ, но безъ масла. Я ѣмъ пирогъ, но это шутки. Мнѣ надо мой золотой. Я скромно его спрашиваю.

— Жакъ, сдѣлай кредитъ своей матери! говорить она, выкладывая на столъ обѣщанныя деньги.

И въ ея голосѣ слышалось благородное достоинство побѣжденной, которая готова примириться со своей судьбой, но просить пощады у побѣдителя. Она не отказывается отъ платежа, вотъ деньги, но просить отсрочки.

— Да, да, мама, я вамъ сдѣлаю кредитъ. Оставьте у себя эти деньги и пустите ихъ въ оборотъ. Сдѣлайте меня компаніонъ вашей фирмы. Спасибо вамъ за ваше довѣріе ко мнѣ, спасибо!

Въ другой разъ я получилъ, но совершенно въ руки, семь франковъ. Дѣло опять было на-счетъ экзамена, и я поставилъ условіемъ, что если буду первымъ, то получу семь франковъ и удержу ихъ у себя, а не помѣщу въ фирму. Хорошо рисковать пятью франками, но не семью.

— Я ихъ сохранию у себя? переспросилъ я десятки разъ.

— Да, ты ихъ сохранишь, отвѣчала мать.

Она сдержала слово. Я былъ первый на экзаменѣ и, возвратясь домой, получилъ семь франковъ. Я съ восторгомъ положилъ ихъ себѣ въ кошелекъ. Но когда я сказалъ, что отправлюсь тотчасъ на карусель, то мать строго напомнила мнѣ нашъ контрактъ.

— Ты обязался „сохранить“ деньги, и если ихъ израсходуешь, то берегись: ты будешь имѣть дѣло со мною, произнесла она грозно.

— Ты теперь хочешь быть лжецомъ, дитя мое, — этого только не доставало, прибавила она.

Я не могъ спорить; я самъ себя погубилъ.

Я зарѣзалъ себя своимъ собственнымъ языкомъ.

Перейдя въ четвертый классъ, я поступилъ въ руки профессора Тюрпена.

Это очень непріятный человѣкъ; онъ плетъ—мянникъ начальника дивизіи, носятъ длинные сюртуки и высокіе воротники; глаза у него фаянсовые; волосы плоскіе, длинные; нижняя губа толстая, от-

вислая. Онъ презираетъ репетиторовъ, питаетъ отвращеніе къ бѣднымъ, жестоко обращается со стипендіатами и смѣется надъ душно-одѣтыми людьми. Онъ издѣвается надо мною и даже поднимаетъ на смѣхъ мою мать. Я его ненавижу.

Мнѣ, какъ сыну профессора, оказываютъ особня милости. Я — приходящій ученикъ, но меня наказываютъ, какъ пенсіонера. Я рѣдко возвращаюсь днемъ домой. Мнѣ приносятъ изъ казенной столовой кусокъ сухого хлѣба.

— Я этимъ дѣлаю экономію г-жѣ Винтрасъ, замѣчаетъ Тюрпенъ своему товарищу въ полголоса, но такъ, чтобы я слышалъ: — онъ получаетъ завтракъ даромъ.

Я засовываю руки въ карманы и какъ-будто смѣюсь. Но сколько слезъ я глотаю, этого никто не знаетъ.

За всякую мелочь меня заставляютъ учить наизусть сотни латинскихъ строфъ, или переписывать страницы греческой грамматики. Я очень неловокъ и то опрокидываю чернильницу, то роняю перо, то рву тетрадку. Сто, двѣсти строфъ такъ и сыплются на меня. А потомъ арестъ въ классной и въ карцеръ. Последнее препровожденіе времени я люблю больше всего. По крайней мѣрѣ я свободенъ въ этихъ четырехъ стѣнахъ, могу свистать, вырѣзать изъ бумаги маленькихъ тюрпенювъ, вѣшать ихъ на висѣлицахъ изъ спичекъ и т. д. Потомъ, возвращаясь изъ карцера, я встрѣчаю на дворѣ кого-нибудь изъ товарищей, которые смотрятъ на меня, какъ на бунтовщика.

Однажды я писалъ сочиненіе по-латыни и отыскивалъ слова въ маленькомъ лексиконѣ. Вдругъ подходитъ Тюрпенъ и, полагая, что я списываю свое сочиненіе изъ книги, спрашиваетъ, какаѣ у меня книги. Я подаю лексиконъ.

— Это не та книга.

— Та самая.

— Вы списывали свое сочиненіе.

— Не правда.

Не успѣлъ я произнести этого слова, какъ онъ мнѣ даетъ пощечину.

Отецъ и мать меня бьютъ, но они одни на свѣтѣ имѣютъ право меня бить. Тюрпенъ-же меня бьетъ потому, что онъ не терпитъ бѣдныхъ, и потому, что онъ пріятель съ помощникомъ префекта. Ахъ, еслибы мои родители пожаловались на него, какъ

мать одного товарища, котораго учитель только толкнулъ! Но мой отецъ, вмѣсто того, чтобы разсердиться на Тюрпена, набросился на меня-же, а все потому, что Тюрпенъ имѣетъ вліяніе въ лицѣ. Къ тому-же, что значили для меня лишній толчекъ, лишняя затрещина! Положимъ, что такъ, но они отдавали рикшетоу въ моемъ сердцѣ, и я сердился на отца.

Нѣтъ, рѣшительно я не могу болѣе терпѣть этого. Я убѣгу изъ дома и лица. Но куда? Въ Тулонъ. Я поступлю матросомъ на корабль и отправлюсь въ кругосвѣтное путешествіе. Если-же меня стануть бить и тамъ, то я спасусь вплавь на какой-нибудь необитаемый островъ, гдѣ не надо будетъ учиться греческой грамматикѣ.

Если меня иногда привяжутъ къ мачтѣ или запрутъ въ трюмъ, то все-же я буду имѣть надежду когда-нибудь дойти до офицерскаго чина, а какъ скоро я офицеръ—я буду имѣть право дать пощечину капитану.

Тюрпенъ теперь можетъ меня мучить, сколько угодно, и я не смѣю отомстить ему. Отецъ можетъ терзать меня въ продолженіи всего моего дѣтства, и я долженъ ему повиноваться и его уважать. Правила семейной жизни даютъ ему надо мною право жизни и смерти.

Въ сущности я—дурной мальчикъ и заслуживаю еще большихъ побоевъ. Вѣдь вмѣсто того, чтобъ учить наизусть греческіе глаголы, я слѣжу за быстро несущимися по небу облаками или за полетомъ мухи. Только лѣнивый негодяй можетъ желать, какъ я, сдѣлаться простымъ башмачникомъ, вмѣсто того, чтобъ мечтать о профессорской тогѣ. Нахально и дерзко въ отношеніи отца считать униженіемъ многое, что тога дѣлаетъ необходимымъ, а жизнь башмачника рисовать себѣ свободной и счастливой. Я во всемъ виноватъ, и отецъ правъ, наказывая меня. Я позорю его своими низкими рабочими стремленіями.

— Онъ такъ силенъ и такъ лѣнивъ! говорить отецъ по стоянно.

Но именно потому, что я силенъ, и скучаю я въ четырехъ стѣнахъ лица, гдѣ меня держатъ цѣлый день, и предпочитаю общество рабочихъ и башмачниковъ ученой бесѣдѣ профессоровъ. Я веселъ по природѣ, люблю смѣяться, бѣгать, гулять, быть на чистомъ воздухѣ.

Нѣтъ, рѣшительно я убѣгу. Всѣмъ будетъ лучше. Мои родители часто мнѣ говорятъ: „ты насъ убиваешь своимъ поведениемъ“. Когда меня не будетъ, они воскреснутъ. Я имъ оставлю мою долю бобовъ, мой ломоть хлѣба и всѣ мои порціи баранины. Право, дурное у меня сердце! Я не только радуюсь, что самъ избѣгну этой баранины, но меня наполняетъ счастьемъ мысль, что они будутъ доканчивать баранину во всевозможныхъ видахъ.

Впрочемъ, я иду еще далѣе въ своемъ лицемеріи. Въ виду моего бѣгства и поступленія въ матросы, мнѣ надо закалить себя, и я отыскиваю всякіе предлоги, чтобъ подвергнуть себя поркѣ. И вотъ цѣлыя недѣли я увѣряю отца, что бью посуду, разливаю чернила и ѣмъ бумагу. Отецъ, ничего не подозрѣвая, поддается на удочку. Я ему порчу въ десять дней три линейки и пару сапоговъ. Я его просто раззоряю, но надѣюсь, что онъ мнѣ проститъ впослѣдствіи, когда узнаетъ мою благую цѣль. Впрочемъ, это препровожденіе времени, кажется, ему не очень непріятно. Когда-же онъ устаеетъ отъ очень долгой порки и, разстегнувъ рубашку, переводитъ духъ, то я на четверенькахъ прокрадываюсь къ ошюку и закрываю форточку, боясь, что онъ простудится, находясь весь въ поту.

Одному бѣжать скучно, и я начинаю подговаривать своихъ товарищей, но они всѣ отказываются.

— Да развѣ тебя никогда не бьютъ родители? спрашиваю я съ удивленіемъ у одного изъ нихъ.

— Да, иногда, отвѣчаетъ онъ,—но я очень этимъ доволенъ. Когда меня отецъ побьетъ, то ему становится совѣстно; мать его упрекаетъ, что онъ слишкомъ больно меня избилъ, и кончается тѣмъ, что мнѣ даютъ золотую монету или ведутъ меня въ театръ.

Какіе глупые родители! Моя мать такъ всегда говоритъ отцу:

— Ты, я надѣюсь, крѣпко его отодралъ, чтобъ помнилъ долго.

Надо сознаться, что она строго-логична. Если дѣтей бьютъ, то для того, чтобъ имъ было больно и чтобъ, рѣшаясь на какую-нибудь шалость, они вспомнили о прежнихъ поркахъ и удержались. Моя мать имѣетъ систему. Она гораздо разумнѣе родителей моего товарища, и я не понимаю, какъ онъ любитъ такихъ

глупыхъ и слабыхъ родителей, которые, послѣ того, какъ выстѣбуютъ своихъ дѣтей, сожалѣютъ, что имъ больно, и потомъ даютъ имъ за это конфеты.

Потомъ я узналъ, что мать моего товарища — колбасница. Теперь все ясно. Она женщина простая. Вотъ моя мать такъ ни за что не сдѣлалась-бы колбасницей. Если не для себя, то для своего сына она никогда не согласилась-бы продавать колбасы. Она предпочла-бы умереть съ голода или посоветовать мужу самую послѣднюю подлость. Какую глупую, скучную и низкую жизнь она ни вела, но все-же она поддерживала свое достоинство приличной дамы, жены профессора.

Наконецъ, я нашелъ двухъ товарищей, заявившихъ желаніе бѣжать со мною. Все было готово, часъ назначенъ, флагъ вывѣшенъ въ окнѣ. Но никто не явился на сборное мѣсто, кромѣ меня, и все кончилось, какъ всегда, страшной поркой. Меня сѣкли до тѣхъ поръ, пока я не поклялся всѣми святыми, что никогда болѣе не буду пытаться бѣжать.

Нѣсколько времени моя мать была очень дружна съ нашей сосѣдкой, г-жею Бриньолень. Это — маленькая, полненькая, чрезвычайно живая женщина, съ блестящими глазами; она всегда весела, и пріятно смотрѣть, какъ она прыгаетъ, бѣгаетъ, болтаетъ, смѣется, вертится и не посидитъ спокойно или молча ни одной минуты. Смѣшная она, право! У нея иногда такія странныя движенія, что даже мой отецъ краснѣетъ. Иногда она вдругъ вскопчить, захватить моего отца и начнетъ вальсировать по комнатѣ. Разъ даже я видѣлъ, какъ она и мой отецъ, конечно, въ отсутствіи матери, смотрѣли другъ другу въ глаза. Она смѣялась и называла его очень нѣжно „дуракъ“, а онъ былъ какъ-то смущенъ.

Вдругъ наша жизнь измѣнилась: мать перестала меня бить и ругать. Въ продолженіи тринадцати лѣтъ, я не могъ остаться передъ нею пяти минутъ, чтобъ не вывести изъ себя ея родительскую любовь. Но внезапно настала бастовка пощечинъ, пинковъ, побоевъ. Ничто меня не подогрѣвало, ничто не разжигало кровь. Меня это беспокоитъ. Хорошо немного отдохнуть, но из-

нѣженность Капуи меня погубить; когда начнется прежняя гимнастика, у меня уже не будетъ прежней кирасы.

Что-же происходитъ въ домѣ? Я ничего не понимаю. Но мнѣ все кажется, что г-жа Бриньоленъ—причина мрачнаго облака, отуманившаго нашъ домъ, и безмолвнаго гнѣва, который точить мать. Цѣлые вечера она сидитъ, не открывая рта. Потому она часто прячется за занавѣсъ и какъ-бы караулить свою жертву.

Наконецъ, послѣ нѣсколькихъ недѣль холодныхъ отношеній съ г-жею Бриньоленъ, устраняется общій пивникъ. Я слышу, однако, какъ мать сквозъ зубы говоритъ себѣ: „надо сдѣлать видъ что ничего не замѣчаю, оставить ихъ вдвоемъ, подкараулься на ципочкахъ и...“

На мое горе, въ день пивника меня оставили въ лицѣ учить латинскіе стихи, и я видѣлъ только, какъ мать, отецъ и г-жа Бриньоленъ, немного декольтированная, отправились за городъ. Вечеромъ, вернувшись домой, я заснулъ.

Вдругъ раздаются на лѣстницѣ раздражительные крики. Это голосъ моей матери. Я выбѣгаю. Драма происходила на верхней площадкѣ; мать была въ обморокѣ; отецъ, блѣдный, съ растрепанными волосами, старался ее привести въ себя. Я бросился къ нимъ въ слезахъ. Я хотѣлъ кричать.

— Нѣтъ, нѣтъ, молчи! промолвилъ отецъ, затыкая мнѣ ротъ, но болѣе съ испугомъ, чѣмъ со злобою.

Я нагибаюсь къ матери и орошаю ея лицо слезами. Вѣроятно, сыновнія слезы живительно дѣйствуютъ на матерей. Она вдругъ открываетъ глаза, узнаетъ меня и со словами: „Жакъ, Жакъ!“ беретъ мою руку и крѣпко ее сжимаетъ.

Это было въ первый разъ въ жизни, что она позволила себѣ минутную слабость и нѣжную ласку. А я почувствовалъ въ это мгновеніе, что добротой можно было со мною сдѣлать все.

— Иди спать! сказалъ отецъ, и я вернулся въ свой чуланъ, но не могъ закрыть глазъ во всю ночь отъ безпокойства.

Что случилось? Я никогда этого положительно не узналъ, но впослѣдствіи, по отрывочнымъ намекамъ матери во время ея періодическихъ ссоръ съ отцомъ, я понялъ, что въ этотъ несчастный пивникъ мать подкараулила въ саду отца съ г-жею Бриньоленъ и за этимъ послѣдовала сцена ревности и страшная свалка, которая продолжалась до самаго нашего дома.

Послѣдствія этой драмы всего тяжелѣе отразились на мнѣ. Мой отецъ совершенно измѣнился, пересталъ проводить большую часть дня внѣ дома подъ предлогомъ уроковъ, а все сидѣлъ дома, мрачный, насупивъ брови. Съ матерью онъ обходился съ принужденной любезностью, а на мнѣ вымѣщаль всю свою злобу. Мать меня перестала бить; зато отецъ стегалъ веревкой и билъ палкой безъ всякой пощады и, влянусь, безъ всякой вины съ моей стороны. Даже мать иногда заступалась за меня, она, которая такъ страшно потѣшалась надо мною!

Однажды отецъ приходитъ отъ директора и говоритъ, что получилъ изъ-за меня выговоръ.

— Директоръ мнѣ сказалъ, что ты могъ-бы занимать лучшее мѣсто въ классѣ, еслибъ ты работалъ, кричитъ онъ, блѣдный отъ гнѣва, — и совѣтовалъ мнѣ болѣе заниматься съ тобою.

Онъ задалъ мнѣ страшную порку послѣ этого, но я гораздо болѣе страдалъ душевно, чѣмъ физически. Мысль, что отецъ можетъ пострадать изъ-за меня и, можетъ быть, лишиться мѣста, терзала меня, и я рѣшился загладить зло, сдѣланное ему моимъ дурнымъ поведеніемъ.

Я сталъ работать энергично. Въ лицѣ меня больше не наказывали, но дома порки продолжались, и, кажется, еслибъ я сталъ ангеломъ, то у меня вырвали-бы всѣ перья. Прежде меня наказывали за лѣнь, а теперь за то, что я занимался по ночамъ и жегъ много свѣчей. Отецъ увѣряетъ, что я читаю тайкомъ романы, и никто не говоритъ мнѣ спасибо, что я сталъ первымъ въ классѣ. А чего мнѣ это стоило! Я изгрызъ отъ злобы всѣ углы греческой грамматики. Какъ ни пошлы, ни глупы кажутся мнѣ эти безконечныя латинскія и греческія зубрешки, но, дѣлать нечего, я глотаю ихъ, какъ грязь. Я пересталъ почти разговаривать съ товарищами и все зубрю, зубрю, чтобъ спасти отца отъ непріятностей.

Но какъ-то случайно я подслушалъ разговоръ директора съ инспекторомъ.

— Мы замаяли исторію Винтраса, говорилъ онъ; — это испортило-бы всю его карьеру, и притомъ съ такой женой... а г-жа Брианьонъ прелесть! Какъ-бы то ни было, я ему сдѣлалъ внушеніе, но придрался къ его сыну... Этотъ бѣдняжка не дуракъ и мальчишъ съ добрымъ сердцемъ, но его одѣваютъ, какъ обезь-

яну, и бьютъ, какъ пыльную мебель. Вотъ я и сказалъ ему: занимайтесь болѣе сыномъ, т. е. это значило: оставайтесь болѣе дома съ вашей женою. Онъ понялъ это и слѣдуетъ моему совѣту.

Я весь день не могъ прийти въ себя и былъ очень задумчивъ.

— Что, ты опять залѣнился! воскликнулъ отецъ, толкая меня изо всей силы въ спину. — Вскорѣ пріѣдетъ инспекторъ, и опять ты хочешь, чтобъ мы страдали отъ твоей лѣни!

„Отъ моей лѣни! Стыдись, отецъ: такъ лгать!“

Вскорѣ послѣ семейной драмы отецъ получилъ, благодаря хлопотамъ эконома, мѣсто профессора граматикѣ въ нантскомъ лицейѣ, и мы покинули Сент-Етьенъ. Я теперь уже не былъ тѣмъ боязливымъ, наивнымъ ребенкомъ, которымъ пріѣхалъ въ этотъ городъ. Я тогда читалъ только катехизисъ и боялся только того, чтобы не видать чорта, призраковъ, а теперь я боюсь тѣхъ, кого вижу: злыхъ учителей, ревнивую мать, разсвирѣпѣвшаго отъ отчаянія отца. Я дотронулся до дѣйствительной жизни своими, перепачканными въ чернилахъ, пальцами. Я плакалъ отъ несправедливости людской и смѣялся надъ глупостями старшихъ. Моя дѣтская невинность исчезла навсегда. Я теперь сомнѣваюсь во всемъ. Я знаю, что матери не держать своего слова, а отцы лгутъ.

ГЛАВА III.

Моя жизнь въ Нантѣ совершенно измѣняется. Меня болѣе не бьютъ. Я часто хочу плакать, быть можетъ, именно по отсутствію порки. Я привыкъ къ физической боли и къ озлобленію; я постоянно былъ въ лихорадкѣ.

Директоръ нантской коллегіи не покровительствуетъ поркѣ. Онъ услышалъ, что одинъ профессоръ примѣнялъ къ спящъ сына ту-же методу, какъ мой отецъ, и объявилъ ему: „вы можете, гдѣ вамъ угодно, пороть вашего сына, если это вамъ нравится, но не здѣсь. Если я узнаю, что вы все-же продолжаете, то потребую вашего немедленнаго удаленія со службы“. Извѣстіе объ этомъ дошло до ушей моего отца и спасло меня.

Отецъ, повидимому, наживаетъ много денегъ; онъ репетируетъ уроки съ семьёю или восемью учениками, которые ему платятъ каждый по 25 фр. Поэтому мать завела служанку. Но это мнѣ непріятно; я такъ любилъ тяжелую работу: носить воду, таскать дрова, а теперь мнѣ не позволяютъ даже чистить себѣ башмаки.

— Это дѣло служанки, говоритъ моя мать; — мы держимъ служанку не для того, чтобъ она сидѣла сложа руки.

Бѣдная дѣвушка, она, конечно, не сидитъ сложа руки. Мать не спускаетъ съ нея глазъ и не даетъ ей потачки. Однако, вѣдь она не дочь ей! Она дѣлаетъ то-же для чужой, что и для родного сына. Въ ея глазахъ нѣтъ различія между служанкой и ея Жакомъ. О, я начинаю думать, что она меня никогда не любила!

Я продолжаю представлять диковину своими туалетами: даже нортные приходятъ въ тупикъ, потому что я одѣваюсь по модѣ, невѣдомой никому съ самыхъ древнихъ временъ до нашихъ дней. Но хуже всего, что я становлюсь безсознательной вывѣской политическихъ мнѣній и, такъ-сказать, политическимъ хамелеономъ, самъ того не подозревая.

Многіе меня считали одно время легитимистомъ. Я носилъ длинный шарфъ, который три раза обвивалъ мою шею, какъ у роялистовъ въ эпоху реставраціи. Но всѣ надежды, которыя могла основать на мнѣ эта политическая партія, скоро должны были улетучиться. Моя мать нашла въ какомъ-то сундукѣ стоячій волосяной галстукъ, и я долженъ былъ его надѣть. Тогда меня всѣ приняли за бонапартиста; это былъ символъ соединенія для разбойниковъ Луары и дуэлистовъ кофейни Ленблена. Но всеобщее удивленіе дошло до крайней точки, когда въ одно прекрасное воскресенье я появился въ коричневомъ сюртукѣ, сѣрой шляпѣ и съ зеленымъ зонтикомъ. Этотъ костюмъ изображалъ *лучшую изъ республикъ*. Сегодня лититимистъ, завтра бонапартистъ, а послѣ-завтра конституціоналистъ, я — для всѣхъ живая загадка. Вотъ какъ растлѣваютъ совѣсть и развращаютъ массы! Къ тому-же товарищи зовутъ меня Луи-Филиппомъ, а это очень опасно въ такое время, когда жизнь королей не застрахована.

Моя мать, однако, не только заботится о моемъ туалетѣ, но

хлопочеть и о моихъ манерахъ. Она вздумала давать мнѣ уроки *приличія*. Въ коллегіи есть профессоръ танцевъ и выправки, г. Субасонъ; кромѣ посѣщенія его уроковъ въ коллегіи, я принужденъ репетировать съ нимъ и дома: „первая позиція—ногу впередъ; разъ, два, три, кланяйтесь, улыбайтесь“. А за это мой отецъ пичкаетъ его сына латинью.

Но какая каторга для меня эти уроки и сколько я переносу неприятностей отъ моей матери, сколько гнѣвныхъ восклицаній, что я мужикъ и что я оскорбляю ея деликатныя чувства! Дѣйствительно, я никакъ не могу въ одно и то-же время шаркать ногой и держать мизинецъ въ воздухъ. Въ два мѣсяца я едва научился поклону въ три темпа. Но все-же я никакъ не могу, выдѣлывая глисады, говорить. Я кланялся, какъ поселяне, и меня всегда подмываетъ среди самаго изящнаго расшаркиванія назвать мать *Нанетой*, а себя *Жобеномъ*, что несправедливо и неприлично. Но таковы ужъ мои мужицкіе истиньты!

Однако, уроки г. Субасона не должны были пропасть даромъ, и моя мать хотѣла, чтобъ я примѣнилъ ихъ на практикѣ, а потому объявила мнѣ однажды:

— Жакъ, мы пойдемъ въ субботу къ директору. Повтори хорошенько поклоны.

Я повторялъ безъ устали всѣ фигуры, преподаанныя мнѣ профессоромъ, и ночью не спалъ отъ страха.

Вотъ наступаетъ субота. Мы отправляемся. Мать входитъ первая въ комнату. Я слѣдую за нею. Въ глазахъ у меня рябитъ, но я машинально дѣлаю знакъ, чтобъ гости, бывшіе въ то время у директора, разступились. Для приличнаго поклона надо много мѣста. Всѣ съ удивленіемъ пятятся, недоумѣвая, что я хочу—показывать фокусы или кувыряться.

Я становлюсь въ позицію. Разъ — глисада впередъ; два — глисада назадъ; три — глисада снова впередъ, и тутъ гвоздемъ отъ моего башмака я раздираю коверъ, словно ножомъ.

Мать моя, скромно державшаяся позади меня, ничего не замѣчаетъ и шепчетъ мнѣ: „улыбнись“.

Я улыбаюсь.

— И онъ еще смѣется! восклицаетъ директорша, внѣ себя отъ гнѣва.

А я продолжаю семенить ногами и все болѣе и болѣе рвать коверъ.

— Это ужь слишкомъ! произносить директорша.

На меня всё бросаются и берутъ въ плѣнъ. Мать просить пощады, а я, потерявъ голову, кричу изо всей силы:

— Нанета! Нанета!

Въ этотъ день вечеромъ отецъ объявилъ, что, по моей милости, онъ потерялъ всякую надежду на повышение. Конечно, вслѣдъ за этимъ прогнали г. Субасона, какъ плохого профессора, и мнѣ позволили имѣть дурныя манеры.

Однако, это несчастное обстоятельство не помѣшало моимъ родителямъ вывозить меня въ свѣтъ, именно къ г. Давиду, президенту нантской „академіи поэзіи“, который давалъ танцевальныя вечера. Впрочемъ, по счастью, это продолжалось недолго. Моя мать, взбѣшенная словами отца, что они оба слишкомъ стары, чтобъ танцевать, однажды произвела скандалъ, проплясавъ въ своемъ сиреневомъ платьѣ съ желтыми лентами овернскую деревенскую пляску. Мой отецъ въ слѣдующій разъ отправился на вечеръ одинъ, а мать, взявъ меня съ собою, сдѣлала ему ужасную сцену на улицѣ, при развѣздѣ.

— Онъ самъ бѣгаетъ по баламъ, кричала она во все горло, — а жена съ сыномъ умираютъ съ голода.

А въ этотъ день мы ѣли за обѣдомъ супъ, рыбу и жаркое.

Вслѣдъ за этимъ въ нашемъ домѣ наступило снова мрачное время, какъ послѣ исторіи съ г-жею Бриньоленъ. Отецъ болѣе не появлялся на вечерахъ г. Давида, но пропадалъ, Богъ-знаетъ, гдѣ. Въ домѣ все тихо, скучно, даже служанки жаловались, что нельзя жить въ такомъ уныломъ семействѣ. Это продолжалось долго, и каждый вечеръ я читалъ матери священныя книги. Наконецъ, она не выдержала и объявила отцу:

— Я не могу такъ жить; я лучше уѣду съ Жакомъ къ сестрѣ.

Но она не уѣхала; они помирились.

У отца есть товарищъ, г. Бергуньяръ, который также былъ профессоромъ, но, женившись на вдовѣ съ небольшимъ состояніемъ, живетъ теперь спокойно въ Нантѣ и пишетъ знаменитое философское сочиненіе: „Разумъ у грековъ“.

Это человѣкъ мрачный, худой, блѣдный, всегда появляющійся въ черномъ сюртукѣ и вѣчно страдающій запоромъ, такъ-что въ городѣ идетъ большой споръ о томъ, страдаетъ-ли онъ запоромъ оттого, что философъ, или онъ философъ оттого, что страдаетъ запоромъ? Какъ-бы то ни было, Бергуньяръ всегда говорить отцу:

— Ты воплощенное воображеніе, пламенное...

Мой отецъ при этомъ гордо поднимаетъ голову и старается придать блескъ своимъ глазамъ, но тщетно: они мутно смотрятъ въ пространство.

— Ты бѣшеное воображеніе, продолжаетъ Бергуньяръ, и мой отецъ дѣлаетъ страшныя гримасы, — а я — разумъ, холодный, ледяной, неумолимый!

Онъ говоритъ это, почти скрежеща зубами, и поправляетъ очки на своемъ пожелтѣвшемъ носу, испещренномъ черными точками, какъ наперстокъ.

Мать его не любила, но принимала ради меня. Да, ради меня! Она поняла, что я не питалъ слѣпой вѣры въ теорію пощечины, а великій философъ Бергуньяръ ясно доказывалъ латинскими и греческими текстами, что философы древняго Рима съѣли своихъ дѣтей, а спартанцы кормили сыновей оплеухами. Онъ доказывалъ эту систему не только теоретически, но также и практически на своихъ дѣтяхъ.

— Спроси у г. Бергуньяра, послушай г. Бергуньяра, посмотри задъ его сына, говаривала мнѣ торжественно мать.

Дѣйствительно, побывавъ раза четыре въ семьѣ Бергуньяра, я убѣдился, что моя судьба восхитительная, въ сравненіи съ ежедневнымъ положеніемъ маленькихъ Бергуньяровъ, которымъ отецъ то зажималъ голову между колѣнками во время порки, то, приподнявъ ихъ за волоса, выбивалъ палкою пыль изъ одежды. Въ ихъ домѣ часто слышались ужасныя вопли, а жители Нанта указывали на виллу Бергуньяръ, какъ на достопримѣчательность, прибавляя:

— Здѣсь обитаетъ философія. Здѣсь г. Бергуньяръ пишетъ о разумѣ грековъ. Это жилище мудреца.

И вдругъ, во время этого дифирамба, въ окнахъ дома мудреца показывались лица его дѣтей, которыя морщились, какъ обезьяны, и выли, какъ шагалы.

Да, получаемые мною удары—просто ласки, въ сравненіи съ тѣми, которые сыплются на дѣтей философа. Онъ не довольствуется тѣмъ, что бьетъ ихъ для ихъ пользы и своего удовольствія. Нѣтъ, онъ не эгоистъ, а преданъ всецѣло философіи. Приподнятая рубашонку своего сына, онъ думаетъ о благѣ всего человѣчества и побѣдоносно доказываетъ на спинѣ ребенка разумность своей теоріи. Онъ готовъ былъ-бы представить въ ареопагъ окровавленный задъ маленькаго Бонавентуры.

Я—существо, ни на что ненужное, бесполезное; меня били, я, право, не знаю, зачѣмъ, тогда какъ Бонавентура—научный прииѣръ и входитъ, хотя и задомъ, въ область философіи.

Я его къ тому-же не жалѣю: онъ очень уродливъ, очень глухъ и очень золь. Онъ бьетъ дѣтей моложе себя, какъ отецъ его бьетъ. Они плачутъ, а онъ только смѣется. Онъ однажды вырвалъ всѣ перья у живой птицы, а въ другой разъ отрѣзалъ бритвой хвостъ у кошки и тѣшился, какъ она исходила кровью.

Отцу это очень нравится, и онъ говоритъ:

— Бонавентура любитъ во всемъ отдавать себѣ отчетъ. Онъ любитъ науку.

А я его ненавижу за всѣ эти подвиги любознательности. Я не заступился-бы за него, если-бы кто-нибудь раздавилъ его при мнѣ, какъ гадину. Неужели и я злой? Я однажды его безмилосердно избилъ и приплюснулъ къ стѣнѣ за то, что онъ ударилъ маленькаго ребенка.

Пусть его бьетъ философъ, сколько захочетъ! Но его маленькую сестру... О, Боже мой!

Она жила въ деревнѣ у тетки. Вдругъ тетка умерла, и ее прислали къ отцу. Бѣдное, несчастное, невинное существо!

Мое сердце часто обливалось кровью, я часто плакалъ; я не разъ думалъ, что умру отъ горя, но никогда не чувствовалъ такихъ жгучихъ страданій, какъ въ тѣ дни, когда на моихъ глазахъ убивали медленной смертью маленькую Луизету.

Въ чемъ она была виновна, эта малютка? Хорошо дѣлали, что меня били; во-первыхъ, я никогда не плакалъ, а иногда даже смѣялся во время порки, и, во-вторыхъ, у меня были крѣпкія кости. Я заботился только, чтобъ мнѣ ихъ не переломали, зная, что мнѣ придется зарабатывать кусокъ хлѣба.

— Папа, я бѣдный, не сдѣлай меня калѣвкой, говаривалъ я. Но маленькая Луизета падала на колѣни, плакала, рыдала, вопила во все горло:

— Папа, мнѣ больно, больно! Прости меня!

А философъ все билъ и билъ неустанно.

Какъ-то разъ ея крики мнѣ показались столь ужасными, столь похожими на глухой предсмертнѣй колоколецъ, что я вошелъ въ домъ. Она лежала на полу, вся посинѣвшая и судорожно металась въ агоніи страха; вмѣсто воплей, изъ ея маленькой груди уже вырывался только глухой стонъ. Отецъ стоялъ надъ нею, какъ всегда, блѣдный, холодный; онъ пересталъ ее бить изъ боязни въ этотъ разъ доканать ее.

Однако, онъ все-же доканалъ ее. Она, десятилѣтнѣй ребенокъ, умерла отъ горя, какъ взрослый человѣкъ. Ее также свели въ могилу и поби. Ее такъ больно били, что она дрожала всѣмъ тѣломъ, когда только подходилъ къ ней отецъ. И этого отца не казнили, этого хладнокровнаго убійцу своего ребенка не зарыли въ одну могилу съ бѣднымъ херувимомъ!

— Не плачь, говаривалъ онъ, изъ боязни, чтобъ сосѣди не заступились, наконецъ, за нее, и ударялъ ее головой изъ всей силы объ стѣну.

Она, конечно, еще болѣе плакала. А какая она пріѣхала изъ деревни здоровая, розовая, веселая, довольная, улыбающаяся! Вскорѣ румянецъ исчезъ съ ея щекъ; она стала, какъ-бы восковая, и если иногда улыбка появлялась на ея лицѣ, то она походила на ужасную гримасу. И какою она смотрѣла старую, когда умерла десяти лѣтъ отъ горя!

Мать съ неудовольствіемъ видѣла мое отчаяніе въ день похоронъ Луизеты.

— Ты не плакалъ-бы такъ, если-бъ я умерла! сказала она.

Я молчалъ.

— Жакъ, когда съ тобою говоритъ мать, ты долженъ отвѣчать, продолжала мать. — Ну, говори!

Я не слышалъ даже ея словъ, а думалъ о томъ, что она и мой отецъ видѣли, какъ истязалъ Луизету философъ, и не удерживали его, а говорили еще ей, что не надо быть упрямой, злой. Она — злая! Бѣдный ангельчикъ! И я со слезами цѣловалъ галсту-

чекъ, который снялъ съ шеи убитой мученицы и спряталъ на память.

— Брось эту дрянь! воскликнула мать и стала силой отнимать мое сокровище.

Я сопротивлялся.

— Отдай, кричала она, — отдай!

— Это Луизеты...

— А, ты не хочешь повиноваться своей матери! Антуанъ, неужели ты позволишь твоему сыну такъ обходиться со мною?

Отецъ приказываетъ мнѣ отдать галстучекъ.

— Нѣтъ, я не отдамъ, говорю я.

— Жакъ, кричитъ отецъ, виѣ себя отъ гнѣва, и ломаетъ мнѣ руки.

Я устоялъ, но они у меня украли эту святыню и убили ее. Да, мнѣ казалось, что они убивали что-то, отнявъ у меня эту память о бѣдной страдальницѣ.

„Убийцы, убійцы!“ повторялъ я мысленно продолженіе всего этого дня и проклиналъ ихъ всѣхъ, лихорадочно вздрагивая. Ночью я нѣсколько разъ просыпался съ ужасомъ. Мнѣ казалось, что Луизета сидѣла на моей постели въ саванѣ и показывала мнѣ на своемъ исхудаломъ, посинѣвшемъ тѣлѣ раны отъ побоевъ.

Въ коллегіи профессора меня любятъ, потому что я ловко подбираю латинскія рифмы.

— Какое у него богатое воображеніе, какія способности! говорятъ они.

Я молчу. Но въ сущности у меня нѣтъ никакихъ способностей.

Однажды намъ дали сочиненіе на тему „Фемистоклъ, воодушевляющій грековъ“. Я не могъ ничего придумать, рѣшительно ничего.

— Надѣюсь, что это славная тема, сказалъ, облизываясь, нашъ профессоръ, молодой человекъ, бредившій классической древностью и всегда называвшій башмаки *котурнами*.

Конечно, это тема прекрасная, и въ маленькихъ шеолахъ такихъ не даютъ; даже въ королевскихъ коллегіяхъ ихъ можно задавать только тогда, когда есть такіе ученики, какъ я. Но что мнѣ было написать?

— Вообразите себя на мѣстѣ Фемистокла, сказалъ профессоръ.

Мнѣ всегда говорятъ: „вообрази себя таимъ-то полководцемъ, такимъ-то царемъ или такой-то царицей“. Но мнѣ четырнадцать лѣтъ, и я не знаю, что слѣдуетъ говорить Анибалу, Баракалѣ Тарквинію. Я ищу слова въ „Grandus“ и переписываю то, что нахожу въ „Alexandre“.

Отецъ этого не зналъ; я не смѣлъ ему сознаться. Впрочемъ, я видалъ его сочиненія. Они такъ-же склеены изъ ворованныхъ фразъ. Неужели мы семья кретиновъ? Иногда онъ сочиняетъ рѣчь Аспазіи къ Сократу, Юліи къ Овидію. Онъ проводитъ рукой по лбу, рветъ себѣ бороду и съ отчаяніемъ повторяетъ, что онъ не Аспазія, а Аспазіусъ, не Юлія, а Юліусъ.

Я чувствую всю неспособность моей природы и глубоко страдаю. Мнѣ больно, что меня забрасываютъ похвалами, которыхъ я не заслужилъ; меня принимаютъ за мудреца, а я просто ворюшка. Я ворую направо и налево; иногда я даже поступаю совершенно безчестно. Мнѣ, напримѣръ, надо эпитетъ; я беру изъ лексикона подходящее мнѣ слово, хотя-бы оно и означало не то, что я хотѣлъ выразить. Я теряю понятіе о добрѣ и злѣ, о правдѣ и лжи. Мнѣ надо спондій или дактиль. Качество тутъ не причесть, все дѣло въ количествѣ.

Отъ меня всѣ требуютъ, чтобы я былъ римляниномъ и грекомъ, но я никогда не былъ въ Греціи и въ Римѣ. Не лавры Мильтіады тревожатъ меня, а я не могу переносить запаха лука. Я хвастаюсь въ стихахъ, что получаю раны въ грудь, а въ сущности я много получилъ ранъ, но совершенно въ иное мѣсто тѣла.

— Вы опишите римскую жизнь вотъ такъ или вотъ этакъ, говоритъ профессоръ.

Но я не знаю, какъ жили въ Римѣ. Я мылъ посуду, получалъ побои, скучалъ дома, но я не знаю другого консула, кромѣ отца, и другой Агриппины, кромѣ матери. И еще увѣряютъ, что у меня есть способности!

Но, наконецъ, совѣсть меня начинаетъ мучить за подобное лицемеріе, и я во всемъ каюсь профессору исторіи, г. Жалюзю, доброму, благородному человѣку, который имѣетъ довольно порядочное состояніе и потому можетъ сохранять свою независимость.

— Мосѣ Жалюзю, восклицаю я, бросаюсь передъ нимъ на ко-

лжи и произнося слово мосэ по-крестьянски, — мосэ Жалюзэ, я воръ.

Онъ воображаетъ, что я укралъ у кого-нибудь кошелекъ, и прячетъ свою золотую цѣпочку отъ часовъ.

Я сознаюсь въ своихъ воровствахъ и указываю, откуда достаю свои рифмы.

— Встаньте, дитя мое, говоритъ профессоръ;—вы для того и въ колегіи, чтобъ жевать и пережевывать то, что до васъ другими пережевано.

— Я никогда не могу вообразить себя Фемистокломъ, произношу я съ ужасомъ.

Это сознание для меня было самымъ тягостнымъ. Жалюзэ громко смѣется, но, повидимому, не надо мною, а надъ Фемистокломъ. Ясно видно, что онъ богатый человѣкъ.

Во французскихъ сочиненіяхъ я такъ-же одерживалъ успѣхъ, при помощи лжи и воровства. Я все пишу, что нѣтъ ничего выше отечества и свободы; но что такое свобода и отечество? Меня всегда били и сѣкли, — вотъ все, что мнѣ извѣстно касательно свободы; а въ отношеніи отечества, я знаю только нашу квартиру, въ которой я умираю со скуки, и поля, которыя я очень люблю, но куда меня не пускаютъ.

Плевать мнѣ на Грецію и Италію, на Тибръ и Ефратъ! Мнѣ гораздо милѣе наша деревенская рѣчка, коровье вало, лошадиный пометь и другія прелести деревенской жизни.

И, несмотря на это, всѣ повторяютъ:

— У этого ребенка огненное воображеніе! Это волканъ! Зато ужъ онъ не будетъ силенъ въ математикѣ.

Наши профессора немного издѣваются надъ математикой. Это хорошо для тупыхъ головъ. Развѣ въ Римѣ, Афинахъ или Спартѣ умѣли считать?

Дѣйствительно, я ничего не понимаю въ тройномъ правилѣ, да и въ простомъ вычитаніи плохъ. Отецъ добродушно смѣется надо мною и профессоръ словесности также. Я поэтому всегда въ числѣ послѣднихъ на урокъ математики.

Вдругъ въ одно прекрасное утро я оказываюсь первымъ въ геометріи. Никто этому не вѣритъ. Профессоръ словесности даже надуваетъ губы. Что-же, я волканъ или нѣтъ? Подозрѣвая какою-нибудь фальшь, меня вызываютъ къ доскѣ, съ мѣломъ въ

рукахъ. Я выхожу и начинаю объяснять товарищамъ гораздо болѣе, чѣмъ было въ заданномъ урокѣ, и для наглядности беру книги, дѣлаю изъ нихъ фигуры, складываю изъ бумаги конусы и только тогда умолкаю, когда профессоръ обиженнымъ тономъ говорить:

— Скоро вы кончите свои кривлянія? Кто тутъ преподаетъ: вы или я?

Мой успѣхъ громаднѣй. Послѣ класса всѣ товарищи окружаютъ меня и закидываютъ вопросами:

— Гдѣ ты научился? Когда? У кого?

А дѣло было очень просто.

Отецъ послалъ меня, за нѣсколько дней передъ тѣмъ, съ письмомъ къ одному бѣдному итальянскому изгнаннику, которому онъ досталъ уроки. Идя къ нему, я дрожалъ отъ волненія. Наконецъ, я увижу человѣка, который купался въ волнахъ Тибра, и всѣ классическіе образы возставали передъ мною, и лошадь Цезаря, и ваза Септилія, и факелъ Нерона, и пр., и пр. Но мой римлянинъ оказался сѣдымъ старикомъ въ очкахъ и, вмѣсто меча, у него въ рукахъ была игла, которой онъ починялъ свои дырявыя панталоны.

Прочитавъ письмо отца, онъ задрожалъ, и слеза показалась на его глазахъ. Развѣ римляне плачутъ? Я началъ подозрѣвать, что онъ лгалъ и что онъ не римлянинъ.

— Поблагодарите вашего отца, сказалъ онъ съ чувствомъ и, подавая мнѣ маленькую книжку, прибавилъ: — а вотъ возьмите мое сочиненіе. Вы любите математику?.. Ну, вижу по вашему лицу, что нѣтъ; но все-же возьмите книжку и къ ней ящикъ. Можетъ быть, они вамъ и понравятся.

Какъ! Онъ у меня спрашивалъ, люблю-ли я математику? Развѣ онъ не видѣлъ, что я волканъ? А онъ любить математику? Неужели этотъ потомокъ Ромула—какой-нибудь бухгалтеръ? Правда, въ немъ не было и тѣни *civis* и *commilito*.

Но что было въ ящикѣ? Алебастровыя фигуры. А въ книгѣ? Геометрическія выкладки.

Весь слѣдующій день, воскресенье, я просидѣлъ за этой книгой и за этими фигурами, а черезъ недѣлю я былъ первымъ въ математикѣ.

Конечно, я тотчасъ пошелъ къ итальянцу и рассказалъ ему

все. Онъ въ отвѣтъ повѣдалъ мнѣ свою исторію. Его едва не убили сбирь короля неаполитанскаго, которые хотѣли его арестовать за то, что онъ не выдавалъ бумаги, компрометировавшія его друзей. Въ свалкѣ ему отрубили три пальца. Но онъ успѣлъ спастись бѣгствомъ во Францію.

— Вы были заговорщикомъ? спросилъ я.

— Я, по счастью, былъ каменщикомъ отвѣчалъ онъ,—и, воспользовавшись своимъ ремесломъ, сдѣлалъ эти геометрическія фигуры. Къ слову: вы, я вижу, тотчасъ поняли мою систему.

— Да, для этого стоять только посмотрѣть и взять въ руки, воскликнулъ я и, схвативъ со стола фигуры, продѣлалъ нѣсколько задачъ.

— Такъ, такъ, произнесъ итальянецъ, — дѣтей хотятъ учить линиями, что такое конусъ и шаръ. Дайте имъ конусъ деревянный и алебастровыя фигуры, покажите имъ на апельсинѣ, какъ разрѣзать шаръ, и они поймутъ. А то все теорія, все старая система, все милосердый Богъ!

— Что вы говорите о Богѣ?

— Ничего.

И онъ сталъ мнѣ говорить о дальнѣйшихъ геометрическихъ задачахъ, показывая ихъ разрѣшеніе на своихъ алебастровыхъ фигурахъ.

Г-жа Девиноль, мать одного изъ учениковъ моего отца и богатая барыня, вдругъ полюбила меня и стала водить въ театръ всякій разъ, какъ я былъ первымъ въ классѣ.

Она—красивая брюнетка; глаза ея такъ и горятъ. Сидя со мной въ театрѣ, она прижимается ко мнѣ близко, близко, а возвращаясь домой пѣшкомъ, такъ льнетъ ко мнѣ всѣмъ тѣломъ, что я чувствую ее отъ плеча до ляпки.

Какъ мило она поднимаетъ платье, гуляя по улицѣ, и выказываетъ свою маленькую ножку, обутую въ хорошенькую ботинку и блестящій палевый чулокъ!

Я блаженствовалъ, и она говорила со мною, какъ съ товарищемъ. Я рассказывалъ ей всѣ свои горести и немало не стыдился. Она смѣялась, говорила мнѣ ты, крѣпко жала мнѣ руку,

трепала по щеки и цѣловала, увѣряя, что она старуха и могла бы быть моею матерью.

Однажды она взяла меня съ собою за-городъ. Мы поѣхали въ дилижансѣ. Пассажировъ было много, и она, подобравъ свое платье, почти сидѣла у меня на колѣняхъ. Я чувствовалъ на своей щеке ея теплое дыханіе; я почти держалъ ее въ своихъ объятіяхъ. Ахъ, какъ мнѣ было хорошо! Но вотъ мы пріѣхали на мѣсто прогулки. Пошелъ дождь. Г-жа Девиноль зашла со мною въ гостиницу и спросила отдѣльную комнату.

— Мы переждемъ тутъ дождь, Жакъ, сказала она и, посмотрѣвъ мнѣ прямо въ глаза, засмѣялась.

Очувившись со мною наединѣ въ комнатѣ, она весело воскликнула:

— О, Жакъ, я совсѣмъ промокла. У меня вода злилась за шею. Уфъ, какъ холодно! Я сниму шейкетку. Ты позволишь? Я васъ пугаю, государь мой?

Но въ эту минуту раздаются крики:

— Винтрасъ! Винтрасъ!

Я бѣгу къ окну и изъ-за занавѣски вижу весь свой классъ, шумѣвшій на дворѣ.

Г-жа Девиноль бросается къ двери и запираетъ ее на ключъ, но лотомъ останавливается.

— Нѣтъ, уходи, уходи скорѣе, кричитъ она.

Я ищу шляпу и не нахожу.

— Да иди-же скорѣе, я запру за тобою дверь!

— Но что-же я скажу?

— Что хочешь, дуракъ!

Дѣло въ томъ, что мои товарищи, гуляя за городомъ и войдя въ эту гостиницу, узнали, что я тутъ, по моему чудовищной сѣрой шляпѣ, которую я оставилъ въ коридорѣ.

Эта исторія сдѣлалась всеѣмъ извѣстна въ городѣ, и директоръ посоветовалъ отцу отослать меня въ Парижъ, гдѣ его знакомый содержатель пансіона взялъ-бы недорого за такого хорошаго ученика. Мой отецъ тотчасъ согласился. Ему хотѣлось уже давно съѣздить въ Парижъ, и мы отправляемся въ путь.

ГЛАВА IV.

Я въ Парижѣ. Директоръ пансіона, Леньяна, не нашелъ меня такимъ способнымъ, какъ онъ ожидалъ.

— Вы слишкомъ много вкладете *своего* въ сочиненія, говоритъ онъ; — надо только подражать древнимъ.

Онъ говоритъ со мною свысока и во всемъ даетъ мнѣ чувствовать, что я плачу менѣе товарищей. Такъ, всѣмъ ученикамъ старшаго класса, куда я поступилъ, дозволяется приходить домой въ двѣнадцать часовъ, а мнѣ велѣно являться въ восемь.

Я готовлюсь для экзамена въ лицей Бонапарта. Но какъ мнѣ надоѣли латинскій и греческій языки! Впрочемъ, латинскіе стихи мнѣ удаются лучше, чѣмъ французскія сочиненія, ибо въ послѣднихъ я упорно пишу *ружье*, вмѣсто *смерть изрыгающее орудіе*, какъ желалъ бы мой профессоръ. Латинскіе же мои стихи признаются даже директоромъ за несомнѣнно талантливые, и мнѣ предсказываютъ побѣду на экзаменѣ. Я очень-бы хотѣлъ получить призъ, особенно послѣ того, какъ отецъ на просьбу взять меня изъ пансіона Леньяна, который постоянно меня оскорбляетъ, отвѣчалъ: „мужайся и терпи, работай хорошенько, заплати полученнымъ призомъ директору за твое пребываніе въ пансіонѣ и потомъ выскажи ему все, что у тебя на сердцѣ“. Я такъ и рѣшился: взять призъ, расплатиться съ Леньяна и публично нарвать ему уши.

Наконецъ, насталъ день экзамена. Я почти опоздалъ.

Я никогда не видалъ Парижа при свѣтѣ утренняго солнца и, остановившись на мосту, любовался минутъ пять на голубое небо и воду, быстро бѣжавшую подъ арками.

На берегу Сены какой-то человѣкъ въ цилиндрѣ мылъ платокъ. Онъ стоялъ на колѣняхъ, какъ прачка, потомъ поднялся, растянулъ платокъ на секунду противъ вѣтра, спряталъ боязливо за пазуху, словно воръ, и поднялъ съ земли книгу, на взглядъ словарь.

Мнѣ надо было идти, но я все-же замѣтилъ блѣдное лицо этого человѣка, и оно не покидало меня уже во весь день. Больше, я прямо скажу, что во всю мою жизнь я не забылъ этого лица, и оно теперь передо мною такъ-же ясно, какъ тогда.

Дѣло въ томъ, что въ лицѣ этого человѣка, стиравшаго свои лохмотья, и щеки котораго были бѣлѣе дурно вымытаго платка, я прочелъ всю его жизнь. Книга, бывшая у него подъ мышкой, доказывала, что онъ учился въ коллегіи и, быть можетъ, получалъ награды. Я вдругъ вспомнилъ тутъ жалкое существованіе отца, ужасное положеніе всякаго учителя, унижаемаго и оскорбляемаго всѣми: глупымъ директоромъ, бессмысленнымъ ревизоромъ и жестокими учениками.

— Я увѣренъ, что онъ бакалавръ, сказалъ я самъ себѣ и не ошибся.

При самомъ входѣ въ Сорбонну я услышалъ случайно, какъ одинъ изъ учениковъ, торопившихся отовсюду на экзаменъ, воскликнулъ, указывая на какую-то тѣнь, видѣвшуюся вдали на улицѣ:

— Вонъ нашъ старій репетиторъ!

Я взглянулъ: это былъ онъ, бѣднякъ, стиравшій платокъ.

На экзаменѣ намъ дали тему сочиненія на латинскомъ языкѣ, въ стихахъ.

Писать или нѣтъ? Къ чему? Чтобъ быть репетиторомъ, какъ этотъ бѣднякъ, а потомъ стирать платокъ въ рѣкѣ? Меня мучить его исторія. Что онъ сдѣлалъ? Отчего потерялъ нѣсто? Можетъ быть, онъ ударилъ или просто обругалъ директора. Точно также могло случиться, что онъ написалъ статью въ либеральной газетѣ.

Нѣтъ, нѣтъ, я не хочу этого ужаснаго ремесла.

Но все-же мнѣ надо вести себя честно и дѣлать, что могу. Я напрягаю свои силы и все тщетно. Мнѣ тошно смотрѣть на эту латинь, какъ однажды въ дѣтствѣ на патуку, которой я объѣлся. Наконецъ, съ грѣхомъ пополамъ, я написалъ сорокъ строфъ.

— Ты кончилъ? спрашиваетъ меня сосѣдъ.

— Да.

— И я также. Хочешь, закаримъ сосисокъ.

Онъ вынимаетъ изъ кармана спиртовую комфорку, котелокъ, сосиски, и все это прячетъ за словари.

— Берегись, услышатъ шипѣніе, когда сосиски будутъ жариться.

Профессоръ, наблюдавшій за нами, былъ Дешанель, умный молодой человѣкъ. Онъ слышалъ шипѣніе сосисокъ, но нашель, что если дозволялся холодный завтракъ, то нельзя запретить и горя-

чій. Тѣмъ хуже для учениковъ, тратившихъ время на жаренье сосисокъ.

— Ну, теперь кофе, сказалъ товарищъ.

И онъ заварилъ кофе. Намъ не доставало только коньяку, но и это мы добыли, написавъ нѣсколько стиховъ богатымъ ученикамъ, у которыхъ карманы были полны денегъ.

Конечно, я провалился. Мнѣ самому стало досадно, когда впечатлѣніе, произведенное на меня бѣднякомъ, стиранимъ бѣлье, нѣсколько ступевалось.

Леньяна не сказалъ мнѣ ни слова, но бросилъ на меня гнѣвный, презрительный взглядъ.

Черезъ нѣсколько дней всѣ ученики разъѣхались. Я одинъ оставался и тщетно ждалъ каждый день письма отъ родителей. А Леньяна осыпалъ меня ежеминутно упреками.

Однажды онъ совершенно вышелъ изъ себя.

— Я только-что узналъ, кричалъ онъ, — что вашъ отецъ въ этотъ годъ выручилъ восемь тысячъ. Онъ меня обманулъ. Я бралъ съ васъ, какъ съ нищаго, когда могъ содрать, какъ съ богатаго. Это подло!

И онъ наступалъ на меня со сжатыми кулаками; но, вѣроатно, увидалъ въ моемъ лицѣ что-то недоброе и выбѣжалъ изъ комнаты, страшно хлопнувъ дверью.

Послѣ этой сцены Леньяна немного остылъ и, подойдя ко мнѣ во дворѣ, болѣе мягко объяснилъ, что можно еще было кормить меня во время классовъ, но оставлять меня на каникулы было-бы чѣмъ-то въ родѣ издѣвательства.

— Отецъ вамъ за все уплатить, пробормоталъ я, вполнѣ соглашаясь съ нимъ и рѣшительно не понимая поведенія родителей въ отношеніи меня.

— Еще-бы! отвѣчалъ Леньяна.—И онъ можетъ легко заплатить. Онъ въ этомъ году нажилъ болѣе чѣмъ я и ему вовсе не было необходимости запрашивать у меня скидку въ 200 фр.

И за 200 фр. я столько перенесъ униженій, столько выстрадалъ!

— Жакъ!

Это моя мать! Она меня цѣлуетъ, не насмотрится на меня и съ гордостью восклицаетъ:

— Какъ ты хорошъ! Настоящій портретъ матери!

Я несогласенъ ни съ первымъ, ни съ послѣднимъ; у меня голова длинная, скулы торчатъ, а зубы походятъ на собачьи клыки; цвѣтъ-же лица у меня песчаный, а глаза, какъ уголья.

— Но ты задумчивъ и серьезенъ! продолжаетъ она.

Еще-бы! Этотъ годъ самый тяжелый въ моей жизни. Я терпѣлъ всякаго рода униженія и не имѣлъ никакихъ удовольствій. Я совершенно разочаровался въ Парижѣ. Все вокругъ меня глупо, мелко, плоско. Я—въ великомъ Вавилонѣ и спрашиваю себя, неужели это Вавилонъ? Всѣ люди такъ пусты, и я слышалъ вокругъ себя только латинь. Всѣ дни и недѣли, будни и праздники я находился въ рукахъ Леньяна, тупого, глупаго скряги и бессмысленнаго ханжи. Особенно послѣднiе десять дней меня совсѣмъ истерзали.

— Отчего ты мнѣ не отвѣчала на мои письма? спрашиваю я мать.

— Я собиралась каждый день, отвѣчаетъ она, но я знаю очень хорошо, что она не писала изъ желанія сохранить нѣсколько сантимовъ.

Я ей рассказалъ всѣ униженія, которыя претерпѣлъ отъ Леньяна, и какъ онъ меня постоянно упрекалъ въ бѣдности.

— Онъ смѣетъ говорить о нашей бѣдности! воскликнула мать.— Вотъ когда онъ выработаетъ столько денегъ, сколько твой отецъ, тогда пускай и называетъ другихъ нищими.

— Но если мой отецъ имѣлъ много денегъ, то отчего вы не дали Леньяна той-же платы, какъ всѣ? Вѣдь я вамъ писалъ, что онъ меня оскорбляетъ на каждомъ шагѣ и что я очень несчастенъ.

— Онъ тебя оскорбляетъ! Ну, такъ что-жь? Ты отъ этого не похудѣлъ, дитя мое, а мы сохранили триста франковъ, и ты будешь очень радъ ихъ получить послѣ нашей смерти. Здѣсь побольше трехсотъ франковъ, прибавила она, хлопая по карману,— но ему ихъ не видать! Дитя мое, такъ всегда надо поступать въ жизни. Ты теперь сталъ большой и долженъ все знать. Неужели ты думаешь, что онъ взялъ тебя ради твоей красоты или изъ желанія подать намъ милостыню? Нѣтъ, онъ тебя взялъ, какъ дойную корову; но ты не далъ имъ молока, не взялъ награды на экзаменѣ. Надо было тебя сначала испробовать; самъ онъ

виновать, что далъ маху. Погоди, я ему все отпою, я ему задамъ.

Слушая мою мать, я вдругъ пожалѣлъ человѣка, котораго вчера такъ ненавидѣлъ. И все-же мать была права: онъ меня держалъ, какъ дойную корову, а не изъ-за моихъ прекрасныхъ глазъ. Однако, я уговорилъ мать не дѣлать ему никакихъ сценъ, и мы молча удалились съ нею изъ пансіона, добившись сначала разрѣшенія домовладѣльца вынести мои вещи, такъ-какъ, по его распоряженію, ничего не выпускали изъ квартиры Леньяна, за-задолжавшаго ему много денегъ. Это обстоятельство снова озлобило мою мать и, выходя на улицу, она громко ворчала и бранила Леньяна.

— И какъ ты терпѣлъ оскорбленія отъ такого негодяя! прибавила она, обращаясь ко мнѣ съ гнѣвомъ. — Нѣтъ, ты не сынъ твоей матери!

Неужели я подвидышь? Неужели тринадцать лѣтъ меня съели по ошибкѣ?

Мы взяли меблированную комнату, и втеченіи цѣлой недѣли моя мать вела себя со мною, какъ добрый товарищъ, но на восьмой день она сказала:

— Ну, дитя мое, пора намъ рѣшить твою дальнѣйшую судьбу. Мы всѣ эти дни бѣгаемъ по театрамъ и объѣдаемся въ ресторанахъ; тебѣ это кажется очень понутру. Видно, что не ты нажилъ кидаемыя на вѣтеръ деньги. Но я уже начинаю кричать. Въ ресторанахъ плати за каждаго по франку, да еще ты требуешь, чтобъ я давала лакею 15 сантимовъ, когда совершенно довольно 10 сантимовъ. Я-бы даже и того не дала. Ну, довольно вутить. Что мы изъ тебя сдѣлаемъ?

— Не знаю.

— Тебѣ надо кончить курсъ.

Я не вижу никакой въ этомъ необходимости, но молчу. Мать отгадываетъ мою мысль.

— Бьюсь объ закладъ, что ты готовъ выйти изъ коллегіи и бросить свое ученье.

Я не вижу причины, почему-бы и не бросить этого ученья, которое никогда не послужитъ мнѣ ни на какую пользу; однако, всѣ эти разсужденія сохраняю про себя.

— Отвѣтъ-же мнѣ, отвѣтъ что-нибудь, восклицаетъ мать.

— Что-же мнѣ вамъ отвѣтить?

— Что ты думаешь дѣлать съ собою? Есть у тебя въ головѣ, наконецъ, какая-нибудь идея?

Я не отвѣчаю матери и думаю про себя, но какъ-то невольно, безсознательно высказываю свои мысли вслухъ:

— Да, у меня есть идея въ головѣ. Я полагаю, что учиться латинскому и греческому языкамъ — потеря времени. Все это пустяки, и я правъ былъ, желая еще ребенкомъ выучиться какому-нибудь ремеслу. Я хочу поскорѣе зарабатывать кусокъ хлѣба и не быть никому обязаннымъ. Я усталъ отъ всѣхъ перенесенныхъ страданій и отъ всѣхъ доставляемыхъ мнѣ удовольствій. Я лучше желаю остаться невѣждой, только-бы меня не оскорбляли. Я предпочитаю не ходить въ понедѣльникъ въ театръ, если меня во вторникъ этимъ упрекнутъ. Я чувствую, что всегда буду несчастенъ, пока вы имѣете право мнѣ сказать, что я стою вамъ грошъ. Я еще долженъ вамъ сказать, что иногда вспоминаю свое дѣтство и сколько я отъ васъ переносилъ страданій. Я по-временамъ васъ ненавижу и буду спокоенъ, только освободившись отъ васъ.

Мать меня слушала молча, вся блѣдная.

— Да, я не хочу болѣе учиться пустякамъ, продолжалъ я; — я хочу поступить на фабрику или въ какую-нибудь мастерскую. Я сначала буду таскать ящики и мести полъ, но выучусь ремеслу и стану получать пять франковъ въ день. Я вамъ тогда отдамъ деньги, которые вы издержали на меня въ театрахъ и въ ресторанахъ, въ томъ числѣ и пятнадцать сантимовъ лакею.

— Ты хочешь свести въ могилу отъ отчаянія твоего отца!

— Оставьте меня въ покоѣ съ вашими отчаяніями. Я главное, не хочу идти по его стопамъ и сдѣлаться ученой сабачкой. Я не желаю отупѣть, какъ наши профессора! Я предпочитаю быть простымъ работникомъ, получать въ субботу жалованье за недѣлю и въ воскресенье дѣлать, что мнѣ вздумается.

— И не хочешь насъ болѣе знать?

Она забыла все, что въ моихъ словахъ оскорбляло ее самолюбіе и уничтожало всѣ ихъ планы, а только помнила, что я хотѣлъ отъ нихъ освободиться.

Ея тихая грусть меня тронула, и я схватилъ ее за руки.

— Ты плачешь!

Она не могла удержаться от рыданій и вскрипывала, закрывъ лицо руками. Когда она подняла голову, я ее не узналъ; ея грубое лицо сіяло поэзіей грусти; она была блѣдна, какъ свѣтская дама, и въ глазахъ ея дрожали крупныя слезы.

— Прости меня! промолвилъ я.

Она взяла меня за руку. Я еще разъ попросилъ прощенія.

— Миѣ нечего тебѣ прощать... только... только... умоляю тебя, не говори со мною никогда такъ жестоко... особенно если я это заслужила, дитя мое.

Она произнесла эти слова тихо, едва слышно.

— Нѣтъ, нѣтъ, отвѣчалъ я сквозь слезы.

— Я хочу остаться сегодня вечеромъ одна, сказала она.— Ты можешь идти, если хочешь.

Она миѣ дала ключъ отъ комнаты и сказала хозяину, что я вернусь поздно, не ранѣе двѣнадцати часовъ.

Я весь вечеръ проходилъ безцѣльно по улицамъ и все думалъ о трогательныхъ словахъ моей матери, которыя сразу загладили столько жестокихъ словъ, столько жестокихъ поступковъ.

— Жакъ, хочешь сдѣлать намъ милость и кончить курсъ? спросила она на другое утро.

— Да, хочу.

— Благодарю, дитя мое. Ты меня осчастливилъ. Вотъ, видишь, я была-бы очень несчастна, еслибъ ты, учась столько времени, не дошелъ до конца. А главное, ты обидѣлъ-бы ужасно отца. Ну, потѣшь его, выйди въ бакалавры, а тамъ... ты будешь воленъ дѣлать, что хочешь.

Я согласился и былъ очень радъ, что могъ этой жертвой осушить слезы бѣдной женщины.

Она совершенно измѣнилась въ обращеніи со мною, стала очень серьезна и постоянно боялась миѣ сдѣлать непріятность.

— Ты очень страдалъ отъ моихъ странностей, неправда-ли? сказала она съ чувствомъ.— Ну теперь ты будешь меня бранить, а не я тебя. Прежде всего ты будешь расходовать деньги,—вотъ тебѣ кошелекъ! Не отказывайся, я этого хочу. Потому, я старуха, и тебѣ скучно быть со мною. Видайся съ товарищами, по крайней мѣрѣ, по вечерамъ, я *этого хочу*.

Пользуясь своей свободой, я розыскалъ стараго товарища по нантской коллегіи, Матусена. Онъ жилъ въ латинскомъ кварталѣ съ однимъ республиканскимъ журналистомъ, который писалъ исторію конвента. Они мнѣ дали книгъ. Я засѣлъ за ихъ чтеніе. Черезъ нѣсколько дней я былъ уже совершенно другимъ человѣкомъ.

Я впервые познакомился съ исторіей французской революціи. Передо мною открыта была великая книга, въ которой говорилось о нищетѣ, о голодѣ, о рабочихъ, о поселянахъ, однимъ словомъ, о народѣ, о бѣдномъ народѣ, который я такъ любилъ, потому что только бѣдные поселяне, какъ дядя Жозефъ, были добры ко мнѣ въ моемъ дѣтствѣ. Я всегда слышалъ вокругъ себя жалобы на бѣдность; мой отецъ терпѣлъ униженіе, благодаря своей бѣдности, и я также; а теперь, вмѣсто рѣчей Катонъ и Цицеронъ, я читалъ, что говорилъ народъ, собираясь на площадахъ, о своей нищетѣ, какъ требовалъ онъ работы. Наконецъ-то, я слышалъ не латинскія фразы, а французскую народную рѣчь. „Мы голодны, мы хотимъ быть свободными“. И это говорили бѣдные, работающіе люди, какъ мой дядя, и выражались они просто, какъ тотъ-же дядя, какъ родители моихъ товарищей Фавровъ, или какъ я самъ. Все это потрясало мое сердце и какой-то огонь пробѣгалъ по моему тѣлу. Я слишкомъ долго ѣлъ горькій хлѣбъ дома и слишкомъ много перенесъ мучительныхъ страданій, чтобъ не сочувствовать всей душой этимъ крикамъ народа.

— Что съ тобой? Ты сталъ въ послѣднее время какимъ-то энтузіастомъ, замѣчаетъ мать.

И, дѣйствительно, она права. Было отчего придти въ восторгъ: изъ міра мертвецовъ я вдругъ перешелъ въ міръ живыхъ. Я читаю исторію не древнихъ королей и боговъ, а Пьера и Жана, исторію моего народа, моего села; въ ней слышатся вопли голодныхъ, стоны несчастныхъ.

Теперь каждый день я ходилъ къ моему товарищу и упивался пламенными рѣчами журналиста о свободѣ. Я не знаю, что такое свобода, но я знаю, несмотря на мою юность, что значитъ быть жертвою тираниі. Однажды вечеромъ онъ повелъ меня въ типографію, гдѣ печатается газета, въ которой онъ пишетъ статьи.

Въ темномъ подвалѣ шумитъ машина, глотаетъ листы и извергаетъ ихъ отпечатанными. Въ воздухѣ стоитъ запахъ сырой бумаги и краски. Этотъ запахъ такой-же хлѣбный, какъ запахъ

навоза. Рабочіе всё безъ скрутковъ и въ бумажныхъ колпакахъ. Факторъ распоряжается ими, какъ капитанъ на корабль. Стой? Сломался валежъ!“ Машина останавливается и черезъ пять минутъ снова катится съ тою-же безостановочной быстротой.

Я напелъ ремесло по своему сердцу. Я буду такъ-же работать въ этой опьяняющей, какъ хорошее вино, атмосферѣ печатнаго слова. Но я буду печатникомъ, а не наборщикомъ. Какое чудное ремесло жить одной жизнью съ громадной машиной, среди шума, гама, тяжелаго труда! Я это люблю и притомъ я буду выработывать свой кусокъ хлѣба и первый читать газету.

Я никому не говорю о своей рѣшимости, но какая-то радость овладѣваетъ мною. Я не буду зависѣть ни отъ кого. Днемъ я буду работать, ночью читать, а по воскресеньямъ писать.

— Жакъ, говорить мнѣ мать въ одно прекрасное утро, — мы ѣдемъ завтра въ Нантъ. Отецъ хочетъ, чтобъ ты приготовился къ экзамену въ бакалавры подь его наблюденіемъ.

Ударъ молотка по головѣ меня не поразилъ-бы больнѣе.

Мѣсяць передъ этимъ я съ радостію уѣхалъ-бы изъ Парижа и, быть можетъ, плюнулъ-бы на него съ презрѣніемъ, — такъ мнѣ было душно въ пошлой, мелочной средѣ моихъ учителей и товарищей! Но теперь, послѣ пламенныхъ рѣчей журналиста, послѣ посѣщенія типографіи, послѣ всего, что я перечувствовалъ въ послѣднее время, покинуть Парижъ было ужасно. Съ кѣмъ я стану говорить въ Нантъ о республикѣ, о свободѣ?

Ахъ, еслибъ я не общалъ матери, еслибъ она не плакала! Но теперь дѣлать нечего, надо было ѣхать.

Я простился съ журналистомъ.

— Вы вернетесь въ Парижъ, утѣшалъ онъ меня.

— Пишите мнѣ непременно, произнесъ я.

V.

Отецъ меня встрѣтилъ холодно, сухо. Мать толкнула меня къ нему; я протянулъ шею, онъ сдѣлалъ то-же. Мои волосы его едва

не ослѣпили, его борода меня колола. Мы не поцѣловались, а взаимно поцарапались, затаявъ злобу другъ противъ друга.

Онъ рѣшилъ, что я поступлю въ послѣдній классъ коллегіи до Пасхи, а тамъ выдержу экзаменъ на бакалавра. Въ коллегіи меня принимаютъ съ уваженіемъ, какъ парижанина. Все идетъ хорошо относительно занятій, и я отправляюсь, наконецъ, въ Ренъ на экзамены. Первые два, изъ латини и математики, проходятъ блестящимъ образомъ; даже ректоръ и профессора мнѣ дѣлають овацію, какъ достойному претенду парижскихъ школъ, но вдругъ на экзаменѣ философіи я вздумалъ удивить всѣхъ и, на вопросъ, сколько свойствъ у души, объявилъ во всеуслышаніе: *восемь*, какъ увѣрялъ знаменитый философъ Шальма, написавшій объ этомъ цѣлую книгу. Но эта теорія была слишкомъ нова для провинціи, довольствовавшейся семью свойствами души. Все погибло, и ректоръ очень сухо объявилъ, что я долженъ явиться на экзаменъ снова въ слѣдующемъ семестрѣ. Публика, присутствовавшая на экзаменѣ, разошлась, недоумѣвая, кто я, что мнѣ надо и какъ я посмѣлъ такъ играть душою, колебля основы человѣческой совѣсти.

Но я ни въ чемъ не виноватъ. Я сказалъ то, что мнѣ говорилъ и написалъ въ книгѣ великій философъ Шальма. Мнѣ какое дѣло, сколько свойствъ у души—семь или восемь? Однако, я очень огорченъ своей неудачей.

Отецъ принялъ меня, стиснувъ зубы и нахмуривъ брови. Потому каждый день онъ сталъ дѣлать мнѣ непріятныя сцены, прекать кускомъ хлѣба.

Мнѣ это стало невыносимо, и я сказалъ матери, что я убѣгу въ Парижъ. Отецъ, узнавъ о моемъ намѣреніи, сказалъ:

— Пусть попробуетъ, я его остановлю жандармами.

Значить, онъ имѣетъ право меня арестовать, какъ преступника, и обходиться со мною, какъ съ собакою?

— До твоего совершеннолѣтія, молодчикъ, торжественно произносить отецъ, ударяя рукою по кодексу.

Вечеромъ я взялъ эту книгу и прочелъ въ ней: „*По желанію отца, можетъ быть подвергнутъ аресту*“ и проч. и проч.

Меня арестовать! За что? За то, что я не хочу слышать его упрековъ, выносить его толчковъ и надѣть ту-же полинявшую тогу, какъ онъ; за то, что я хочу быть работникомъ и честно зарабатывать кусокъ хлѣба? Впрочемъ, я понимаю. Я порочу всю его жизнь, желая вернуться къ рабочей жизни моихъ праѣдковъ; вступивъ въ мастерскую, я громогласно скажу, что онъ дурно сдѣлалъ, бросивъ отцовскій плугъ.

Однако, замѣтивъ мою чрезмѣрную блѣдность, онъ испугался и связалъ матери:

— Твой сынъ хотѣлъ отравиться.

Бѣдная женщина замерла отъ ужаса. Онъ самъ чувствуетъ, что жизнь, какую мы ведемъ, нестерпима, и прибавляетъ:

— Скажи ему, чтобъ онъ мнѣ написалъ, что онъ хочетъ съ собою дѣлать.

Написать отцу было нелегко. Я долго сочинялъ на всѣ лады это письмо. Наконецъ, я написалъ всего четыре слова, которыя вполне выражали мои стремленія и мысли:

„*Я хочу быть работникомъ*“.

— Твой отецъ вѣ себя отъ гнѣва, шепнула мнѣ мать, которая отнесла ему мою записку.

— Ты издѣваешься надо мною, шипитъ онъ, встрѣтивъ меня на лѣстницѣ, и замахивается кулакомъ.

Бедна разверзта. Быть несчастью!

Я иногда выходилъ по вечерамъ, но очень рѣдко, чтобъ почитать газеты въ кофейнѣ. Для этого я продалъ сочиненія Босюэта, Сен-Бева и Кузена, которыя я получилъ въ награду въ коллегіи на экзаменахъ. Мать была въ отчаяніи. Я, право, не понималъ, отчего мнѣ не продать этихъ книгъ? Если что-нибудь мнѣ принадлежало, такъ это онѣ. Я сохранилъ-бы ихъ, если-бы изъ нихъ можно было научиться — какъ приобрѣтать хлѣбъ. А тамъ написаны все вещи неподходящія и до меня некасающіяся. На пять-шесть франковъ, вырученные за нихъ, я могъ купить по-

рядочный галстухъ, выпить стаканъ вина въ кофейнѣ и, главное, почитать парижскія газеты.

Однажды вечеромъ отецъ прошелъ мимо кофейни и, увидавъ меня, громко сказалъ:

— А, ты здѣсь, бродяга!

Онъ произнесъ эти слова сквозь зубы, не смотря на меня, и продолжалъ свою дорогу.

Бродяга! Отчего-же я бродяга? Оттого, что мнѣ скучно зубрить мертвечину въ четырехъ стѣнахъ его мрачнаго дома, такъ какъ я нахожу, что выношу борьбу болѣе тяжелую, чѣмъ римляне! Нѣтъ, ему не слѣдовало называть меня бродягой!

Еслибы онъ былъ другой человѣкъ, то я прямо пошелъ-бы къ нему и сказалъ:

— Даю тебѣ слово, что я буду заниматься хорошо, только не обходишь со мною такъ унижительно.

Но онъ мнѣ не повѣрилъ-бы и сказалъ-бы, что я лгу. Ну, дѣлать нечего, я стану снова молча приготовляться къ несчастному экзамену бакалавра подлѣ этого отца-тюремщика.

Но на слѣдующій день мать объявила мнѣ съ испугомъ, что отецъ не хочетъ, чтобъ я шлялся по кофейнямъ, какъ бродяга, и что если я не вернусь къ восьми часамъ вечера, то могу ночевать на улицѣ.

Я ночевалъ на улицѣ.

Долго убивать ночь! Около двухъ часовъ пошелъ дождь. Я промокъ до костей и боялся спрятаться подъ ворота, чтобъ полицейскіе не замѣтили. Я все ходилъ вокругъ дома, дверь котораго заперли на засовъ въ десять часовъ. Я предпочелъ-бы лежать въ постели, чѣмъ мерзнуть на улицѣ. Но мнѣ угрожали, и я не хотѣлъ поддаться угрозѣ.

Я вернулся домой въ девять часовъ утра, когда отецъ долженъ былъ уже находиться въ коллегіи. Но онъ былъ дома.

Едва я отворилъ дверь, какъ онъ бросился на меня, слѣдннй, какъ полотно.

— Мерзавецъ! Я тебѣ переломаю всѣ ребра, закричалъ онъ, внѣ себя изъ гнѣва.

Произошла ужасная сцена.

Всю ночь, слѣдовавшую за этимъ роковымъ днемъ, я не спалъ. Навѣрное отецъ посадить меня въ тюрьму. Моя жизнь будетъ вся состоять изъ одной долгой борьбы. Я это чувствую.

Если я останусь въ тюрьмѣ хоть недѣлю, на меня всѣ будутъ показывать пальцами. Я едва не наложилъ на себя руки въ эту ночь. Еслибъ я еще былъ въ Парижѣ, то при выходѣ изъ тюрьмы мнѣ многіе пожали-бы руку. Но здѣсь?

Что-же дѣлать! Я высижу свое время въ тюрьмѣ и потомъ отправлюсь въ Парижъ. Я тамъ не стану скрывать, что я былъ въ тюрьмѣ, а буду кричать объ этомъ вездѣ. Я стану открыто защищать *права ребенка*, какъ другіе защищаютъ *права человека*. Я спрошу у всѣхъ: имѣеть-ли отецъ право жизни и смерти надъ тѣломъ и душою своего сына, можетъ-ли г. Винтрасъ терзать меня, потому что я не хочу посвятить себя нищенскому ремеслу, или г. Вергуньяръ засѣчь до смерти Луизету?

О, Парижъ! Какъ я его любилъ! И только мысль о немъ, о типографіи, о газетѣ, о возможности защитить *права ребенка*, ударжала меня отъ самоубійства.

Опять крикъ и шумъ.

Это было два дня спустя. Мать въ испугѣ прибѣжала за мною. Отецъ и старшій братъ ученика, котораго мой отецъ ударилъ наканунѣ, пришли къ нему и грозили кулаками, если онъ не попроситъ прошенія.

— Въ чемъ дѣло? спрашиваю я, прибѣжавъ на мѣсто происшествія.

— Дѣло въ томъ, что вашъ отецъ позволилъ себѣ дать оплеуху моему брату, отвѣчалъ молодой ученикъ сен-сирской военной школы, — и еслибъ онъ не былъ такой гнилой, то я-бы ему задалъ затрецину.

— Подлецъ! воскликнулъ я и, схвативъ въ охапку сына и отца, выбросилъ ихъ на улицу.

— Иди сюда! кричалъ сен-сирецъ, съ пѣною у рта.

— Сейчасъ.

Насъ едва розняли. Онъ очень храбрый юноша, но я сильнѣе и ловчѣе. Вскорѣ онъ очутился на землѣ, и меня оттащили отъ него за волосы.

— Будь дѣло на шпагахъ, то я бы тебѣ задалъ, крикнувъ хвастливо сен-сирецъ, бросая мнѣ свою карточку.

Дуракъ! Но я все-же отвѣчалъ, что если онъ не замолчитъ, то я его еще лучше отработаю, а если замолчитъ, то я буду съ нимъ драться на шпагахъ.

Дуэль устроилась такъ, что никто не зналъ объ этомъ дома, гдѣ отецъ слегъ въ постель въ лихорадкѣ. Зато въ коллегіи только объ этомъ и говорили.

Я нашелъ секундантовъ среди своихъ старыхъ товарищей, которые готовились въ сен-сирскую шеолу.

— Ты очень молодъ, сказалъ одинъ изъ нихъ.

— Мнѣ восемнадцать лѣтъ, отвѣчалъ я, накидывая себѣ два года.

Многіе въ полголоса спрашивали другъ у друга, не струшу-ли я въ послѣднюю минуту. Они не знали, какъ жизнь мнѣ надоѣла и что я жажду этой дуэли. Меня безпокоило только одно, не буду-ли слишкомъ смѣшонъ и неловокъ во время поединка.

Вотъ мы и на мѣстѣ.

— Наступайте, господа, произносятъ секунданты.

Сен-сирецъ скрестилъ свою шпагу и отскочилъ назадъ. Я жду его нападенія. Онъ не двигается. Я наступаю.

— Вы ранены! кричитъ докторъ.

— Я?

— Да. У васъ вся ляшка въ крови.

— Продолжаемъ, продолжаемъ! кричу я, не чувствуя никакой боли, и, полагая, что все искусство заключается въ прыжкахъ, отскакиваю назадъ, какъ мой противникъ.

— Да это гаеръ, замѣчаетъ докторъ.

Меня силой ведутъ къ нему.

— Ляшка поранена, и вамъ придется лежать недѣли двѣ, говоритъ онъ.

Видно, я раненъ. Кровь идетъ. Сен-сирецъ протягиваетъ мнѣ руку и бормочетъ:

— Очень сожалѣю...

Я ни о чемъ не сожалѣю.

Домой я вернулся въ каретѣ, и такъ-какъ у меня не было ни гроша, то пришлось спросить денегъ у матери. Она подумала, что я съума сошелъ или былъ пьянъ. Но когда собесѣда

разсказала ей исторію моей дуэли, то она бросила больного мужа и прибѣжала ко мнѣ.

— Жакъ, ты былъ на дуэли?

— А какъ здоровье отца?

Онъ лежалъ въ комнатѣ, сосѣдней съ моею, и я слышалъ ясно его разговоръ съ матерью, которая поспѣшила ему передать о случившемся.

— Да, говорилъ отецъ съ чувствомъ; — когда онъ выздоровѣетъ, пусть ѣдетъ.

— Въ Парижъ?

— Да, въ Парижъ. Я надѣюсь, что онъ легко раненъ? Нѣтъ ничего серьезнаго?

— Я тебѣ сказала, что нѣтъ.

Наступило молчаніе.

— Онъ дрался за меня... и послѣ этой сцены, произноситъ отецъ дрожащимъ голосомъ; — да, да, намъ лучше разстаться. Издали мы не будемъ ссориться. Вблизи онъ меня возненавидѣлъ-бы. Онъ, можетъ быть, и теперь меня ненавидитъ. Но я не виноватъ. Эта профессорская должность сдѣлала меня старымъ, злымъ самодуромъ; мнѣ надо казаться грознымъ, а я забываюсь и просто становлюсь жестокимъ. Это ремесло черствитъ душу.

— То-же было и со мною, отвѣчаетъ мать.—Но въ Парижѣ я у него почти попросила прощенія, и еслибы ты видѣлъ, какъ онъ плакалъ!

— Ты сумѣла ему это сказать, а я не сумѣю. Я буду все бояться, что *дисциплина пострадаетъ* и что ученики, или мой сынъ, станутъ смѣяться. Я былъ педелемъ, и это осталось у меня въ крови. Я всегда буду говорить съ нимъ, какъ со школьникомъ, котораго надо наказывать, чтобы онъ боялся учителя. Нѣтъ, намъ лучше разстаться.

— Ты его поцѣлуешь прежде, чѣмъ онъ уѣдетъ?

— Нѣтъ, ты его поцѣлуй за меня. Я и тутъ стану собачиться. Я тебѣ говорю, это ужъ наше такое профессорское ремесло. Ты его поцѣлуешь... и скажешь... по секрету... что я его очень люблю... Я самъ не смѣю этого сказать.

— Сударыня, сударыня, вдругъ кричитъ служанка, — полиція пришла!

Дѣйствительно, я слышу на лѣстницѣ чужіе голоса.

— Мы пришли арестовать вашего сына.

— За дуэль?

— Тихе, тихе, говоритъ отецъ, когда мать вернулась къ нему;—это я просилъ его арестовать послѣ страшной сцены. О, мнѣ теперь стыдно! Надѣюсь, что онъ ничего не слышитъ.

Я все слышалъ.

Какое счастье, что я былъ раненъ и лежалъ въ постели! Иначе я никогда не узналъ-бы, что отецъ меня любитъ. Но мнѣ кажется, что ему лучше было-бы любить меня открыто, а не по секрету. Отъ моего дѣтства всегда останутся темныя, грустныя пятна на моемъ сердцѣ.

Но зато я вступаю въ жизненную борьбу сильный, честный, стойкій. Кровь у меня чиста, глаза ясно глядятъ въ глубину души всякаго. Такъ всегда бываетъ съ глазами, часто плакавшими.

Теперь уже нечего плакать, надо жить.

Тяжело начинать жизнь безъ денегъ, безъ ремесла, но мы увидимъ. Я съ этого дня самъ себѣ господинъ. Мой отецъ имѣлъ право меня бить, но горе тому, кто посмѣетъ дотронуться до меня.

Такъ думалъ я, лежа въ постели съ раненой лашвой.

Черезъ семь дней докторъ снялъ перевязку и объявилъ, что я могу встать, а на другой день уже буду въ состояніи выйти изъ дома.

— О, какъ я рада! восклицаетъ мать. — А я уже боялась, что у тебя отнимутъ ногу. Ну, теперь я тебѣ расскажу новость.

И она мнѣ передаетъ то, что я слышалъ изъ-за стѣнки.

— Ты меня повинешь! произноситъ она, рыдая.

Я хочу тотчасъ встать и уложить свой маленькій чемоданъ!

Мать приноситъ мнѣ одежду, которая была на мнѣ во время дуэли. На панталонахъ оказалась дыра и слѣды крови. Она старательно ихъ чиститъ и даже обтираетъ мокрой тряпкой. Но все тщетно, и она произноситъ, качая головой:

— Ты видишь, не выходить... Жакъ, въ другой разъ надѣнь, по крайней мѣрѣ, старыя панталоны.

Бонецъ.

НЕДОРАЗУМѢНІЯ НАШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА.

(по поводу реальной теории Золя.)

I.

Съ французской ясностью мысли, школа Золя ставитъ вопросы просто и прямо. Она говоритъ, что вождемъ общественной мысли въ настоящее время можетъ быть не поэтъ, съ его метрическимъ языкомъ, а романистъ. Писатель долженъ рисовать только дѣйствительность, въ томъ видѣ, какъ она дается жизни, а не „поэтическіе“ идеалы стихотворцевъ, исполненные фразерства и витанія въ пустотѣ. Громкія слова, трескучія фразы, чудовищныя напыщенныя сравненія и картины, которыми угощаль до сихъ поръ читателей романтизмъ, по мнѣнію французскихъ реалистовъ, не только не имѣютъ подъ собою никакой почвы, да и не даютъ никакого идеала. Представитель французскаго романтизма, Викторъ Гюго, не больше, какъ гениальный риторъ, отличающійся наборомъ словъ и рифмъ, подъ которыми нѣтъ ничего, кромѣ невѣроятнаго хаоса, ошибокъ, противорѣчій, напыщенныхъ ребячествъ и выспренныхъ мерзостей. Нравственность, которую проповѣдуютъ идеалисты-романтики, есть нравственность чисто-вывѣсочная. Развратники говоритъ Золя, щеголяютъ всегда самыми строгими нравственными принципами; „но сколько за этими громкими словами грязи! Мы видимъ отцовъ, дѣлающихъ любовницъ съ сыновьями. матерей, вѣшающихся на шею всѣмъ друзьямъ дома, строгихъ дамъ, превозносящихъ идеаль до головокруженія и непрерывно впадающихъ въ прозу измѣны супружеской вѣрности, публици-

ствоѣ, защищающихъ семью до такой степени, что не допускаютъ въ своихъ газетахъ ни одного рискованнаго слова, и въ то-же время участвующихъ во всѣхъ финансовыхъ плутняхъ, грабящихъ направо и налѣво, удовлетворяющихъ всѣмъ своимъ стремленіямъ въ наживѣ и честолюбію. Для этихъ молодцовъ идеаль—завѣса, подъ покровомъ которой они могутъ все себѣ позволить. Во имя идеала, они хотѣтъ замазать ротъ всякой непріятной для нихъ истинѣ; они превращаютъ идеаль въ полицію, въ запрещеніе касаться иныхъ сюжетовъ, въ оковы для простонародья, чтобы оно оставалось смиреннымъ въ то время, какъ хитрецы, со скептической улыбкой, щедрой рукой разрѣшаютъ себѣ то, что запрещаютъ другимъ. Какъ ничтожна эта догматическая мораль, которой иступленно аплодируютъ въ театрѣ, словно какой-нибудь танцовщицѣ, и которую забываютъ, какъ только повернутся къ ней спиной! Выходя изъ театра, человекъ не дѣлается ни лучше, ни хуже. Онъ остается вѣрнѣ своимъ порокамъ, и миръ идетъ своимъ чередомъ“. Идеаль, по словамъ того-же Золя, порождаетъ опасныя бредни; онъ распаляетъ воображеніе, рисуетъ картины несуществующаго счастья, учитъ мечтать о воздушныхъ замкахъ. Только идеаль бросаетъ дѣвушку въ объятія перваго встрѣчнаго, заставляетъ женъ измѣнять мужьямъ, затѣмъ создаетъ цѣлый рядъ запутанныхъ мерзостей и всякаго глганья. Какъ только человекъ оставляетъ почву дѣйствительности и отдается, такъ-называемымъ, идеаламъ, онъ, прикрываясь ими, начинаетъ дѣлать самыя скверныя дѣла. Люди будутъ тѣмъ честнѣе и счастливѣе, чѣмъ реальнѣе станутъ они понимать жизнь и чѣмъ больше опытное знаніе ограничитъ область идеала, этого „неизвѣстнаго“, въ которомъ большинство ищетъ, такъ-называемаго, счастья. „Прочь лиризмъ, прочь громкія, но безсодержательныя слова! говорить Золя.— Давайте намъ факты, документы! Владычество надъ миромъ будетъ принадлежать той націи, которая будетъ отличаться самой точной наблюдательностью и самымъ вѣрнымъ анализомъ“.

Связывая реализмъ съ политическими формами жизни, Золя требуетъ, чтобы республиканская Франція признала его своимъ выраженіемъ въ искусствѣ. Между общественнымъ строемъ, какъ причиною, должна существовать и существуетъ извѣстная связь съ его результатомъ, а потому реализмъ долженъ явиться формулой

этого результата. „Если республика, ослѣпленная на счетъ самой себя, не пойметъ, что она существуетъ въ силу научной формулы и примется угнетать эту научную формулу въ литературѣ, то это будетъ знакомъ, что она еще не созрѣла для фактовъ и что она должна снова уступить мѣсто диктатурѣ“, говорятъ Золя.

II.

Русскіе противники Золя говорятъ, что все это крайности и что правда лежитъ въ серединѣ. Но что такое середина? Гдѣ она? Научите, какъ отличить середину отъ несередины и скажите, какіе признаки имѣютъ крайности? Противники возражаютъ, что во всѣ времена и во всѣхъ странахъ бывали, есть и будутъ вѣчные живые порывы къ идеальнымъ задачамъ и что всякія прогрессивныя желанія и починъ къ нимъ возбуждаются только идеаломъ. Идеалъ есть залогъ движенія; онъ — начало общественнаго и личнаго развитія. Только во имя идеаловъ, то есть стремленія къ лучшему и исканія его, совершаются всѣ прогрессивныя перемены въ общественной жизни, и безъ нихъ наступилъ-бы застой. Всѣ великія историческія эпохи создались исключительно стремленіями къ идеалу, только ему принадлежитъ движущая роль.

Такъ, да не такъ. Человѣчество двигается не порывами къ истинѣ, а самой истиной, и эти-то порыванія къ ней и являются тѣмъ, что называется идеализмомъ. Что такое былъ періодъ алхиміи и исканія философскаго камня, какъ не самоувѣренный порывъ идеализма, думавшаго путемъ наитія овладѣть истиной, то есть знаніемъ? И сколько глупостей надѣлали и отдѣльные люди, и все человѣчество въ этотъ періодъ мечтательности! Сколько несчастій создало невѣжество хоть-бы въ періодъ инквизиціи, когда у человѣчества были, повидимому, очень точные идеалы! Развѣ не во имя этихъ идеаловъ всѣ вѣрили въ вѣдьмъ и самыя знающіе и доброжелательные люди думали, что есть такой напитокъ, отъ котораго каждый человѣкъ можетъ нести яйца, какъ курица? Былъ-ли этотъ періодъ, продолжавшійся нѣсколько вѣковъ, періодомъ реализма и знанія, или періодомъ идеализма?

Вы скажете, что идеализмъ жилъ не въ инквизиторахъ и не въ тѣхъ, кто жегъ на кострахъ. А если это такъ, если представителями прогресса и движенія являлись тѣ люди, которые хотѣли погасить костры, то вѣдь они дошли до этой мысли не путемъ безпредметнаго идеальничанія и безпредметнаго порыванія къ лучшему, а путемъ чистаго знанія. Идеалисты-мечтатели такъ и остались идеалистами-мечтателями, и не Яны Лейденскіе двинули впередъ человѣчество, а такіе натуралисты, какъ Эразмъ Роттердамскій, Мартинъ Лютеръ и его англійскіе и славянскіе предшественники.

Говорятъ еще, что человѣкъ безъ идеала впаль-бы въ косность, что идеализмъ создаетъ стойкость, силу и стремленіе къ улучшенію общественнаго быта. Какъ разъ наоборотъ. Не идеализмъ, а именно реализмъ создалъ всѣ стремленія. Только онъ одинъ можетъ породить не только увѣренность въ успѣхъ, но и самый успѣхъ, потому что научаеъ отличать возможное отъ невозможнаго, дѣйствительное отъ недѣйствительнаго, достижимое отъ недостижимаго. Реальная возможность жить лучше явилась только съ конца прошедшаго столѣтія, когда знаніе создало паровую машину, самый реальный изъ всѣхъ реальныхъ предметовъ. Благодаря паровому двигателю, явилась экономія труда, а съ нею и досугъ для мысли работника, и если въ первое время машины причинили много зла, то въ этомъ была виновата человѣческая глупость, а вовсе не машины. Затѣмъ съ пароходами, желѣзными дорогами, электрическими телеграфами міръ совершенно преобразился. Косность, царившая цѣлыя вѣка, исчезла точно чудомъ, и чудо это создалъ не идеализмъ, который никогда не переставалъ царить на землѣ, а создало его точное знаніе законовъ природы и изученіе ея силъ. Азіятскій востокъ живетъ идеалами и мечтами съ сотворенія міра и въ устройствѣ своей жизни не ушелъ дальше Адама и Евы. Не идеалы поэтовъ научили думать и не они внесли дѣйствительныя практическія улучшенія въ жизнь и демократизировали общественныя отношенія, а машины и паровой двигатель, создавшій желѣзную дорогу и пароходы. Не идеализмъ создалъ десятипольное хозяйство и посѣвъ клевера, не онъ заставилъ землю давать вдвое болѣе хлѣба, не онъ создалъ удешевленное и лучшее мясо, не онъ создалъ паровую машину или двигателя въ одну, двѣ, три человѣческія силы, ве-

личною въ самоваръ, которую вы можете заставить работать у себя на столѣ и простую избу превращать въ домашнюю фабрику. Во времена инквизиціи въ ситцевыхъ платьяхъ ходили только королевы, а теперь не въ ситецъ, а ужъ въ брильянтныя облачается самая послѣдняя, немытая, петербургская кухарка. Во время инквизиціи сахаръ продавался въ аптекахъ на вѣсъ за лоть, а бѣлый хлѣбъ былъ чернѣе чернаго. Теперь та-же немытая петербургская кухарка пьетъ кофе съ сахаромъ и съ филиповскиимъ балачомъ, да еще при этомъ и разсуждаетъ.

Говорятъ, что безъ „идеальной искры“ не было-бы ни „Фауста“, ни Гете, ни Шиллера. Но вѣдь идеальная искра во все не идеализмъ. Дѣйствительно, безъ „искры“, т. е. силы, которая побуждаетъ человѣка любить человѣка, ничего не было-бы на свѣтѣ. Но эта-то искра и есть величайшій реализмъ; она и есть единственная реальная сила, которая создала всѣ нравственныя отношенія и безпредметной любви, неясной и неопредѣленной въ своихъ цѣляхъ, дала живое, сознательное содержаніе. Не смѣшивайте „искры“ съ идеализмомъ. Гете въ его „Фаустѣ“ меньше всего идеалистъ. Онъ осмѣиваетъ всякое идеальничаніе, всякое витаніе въ пустотѣ, всякія порыванія къ несбыточному и заставляетъ Мефистофела издѣваться надъ всякой метафизикой и мечтательнымъ вздоромъ. Шекспиръ точно также меньше всего идеалистъ и сдѣлался мировымъ поэтомъ, благодаря лишь тому, что онъ былъ великій сердцеѣдецъ. Конечно, онъ признанъ сердцеѣдцемъ за вѣденіе, а не за невѣденіе, не за мечтательное, а за дѣйствительное знаніе человѣческой души. Любопытно, что Шекспира не знали и не признавали цѣлымъ три столѣтія, и сталъ онъ великимъ лишь въ девятнадцатомъ вѣкѣ. Ужъ этого достаточно, чтобы признать Шекспира реалистомъ, а не идеалистомъ. Во времена идеализма, Шекспира и не могли-бы понять. Онъ сталъ понятенъ лишь въ наше время, когда явилась масса новыхъ наблюденій въ области, такъ-называемой, человѣческой души и когда стала созидаться психологія. Не изученіе законовъ искусства выяснило Шекспира, ибо въ его время, какъ и во всѣ послѣдующія времена, художественность требовала изображенія изукрашенной природы и напомаженнаго человѣка, а не такого, каковъ онъ есть, со всѣми его человѣческими слабостями, недостатками и пороками. Этого живого, дѣй-

ствительнаго, настоящаго человѣка зашѣтили только нынче и только нынче стали понимать, что именно въ немъ-то и лежитъ центръ тяжести жизни, и только онъ даетъ ей цвѣтъ, направленіе и характеръ.

Шиллеръ, считаеый почему-то представителемъ идеализма и благороднаго порыванія вверхъ, этотъ ultra-идеалистъ, не дѣлалъ смѣшныхъ ошибокъ только тогда, когда держался дѣйствительности. Дѣйствительность-же заключалась въ томъ, что Шиллеръ умѣлъ возбуждать хорошія, любящія чувства и энергію общественной любви. Но стоило Шиллеру оставить хоть на минуту почву правды, и онъ немедленно выдумывалъ какое-нибудь допикхотство и чудовищность невозможнаго преувеличенія. Идея Донъ-Кихота настоящаго, сервантесовскаго, таже реальная реальность и лучшая сатира на идеалы и идеальныя порыванія. Писатели, какъ Гофманъ, могутъ обладать величайшей силой воображенія, но они, подобно Эдгару По и массѣ романтиковъ, вродѣ нашего Жуковскаго, не уйдутъ дальше Свѣтланъ и дѣтскихъ сказокъ, которыхъ нынче не станеть читать даже гимназистъ перваго класса.

Надъ Золя смѣются, что онъ пытается сдѣлать реализмъ лозунгомъ республики. Такъ-ли это смѣшно—еще вопросъ! Всякая правительственная форма есть именно такая форма, которая болѣе или менѣе обезпечиваетъ людямъ осуществленіе тѣхъ или другихъ ихъ желаній и стремленій и создаетъ соотвѣтствующія возможности жизни. Можно-ли сказать, что Франція нашла въ Наполеонѣ I и въ Наполеонѣ III то, чего она искала? Наполеонъ I, напримѣръ, увѣрялъ Францію, что она будетъ республикой подъ *управленіемъ* императора, и обѣщаль сдѣлать ее счастливою. То-же самое обѣщаль и Наполеонъ III. Но что-же дали Франціи Наполеоны? Они постоянно преслѣдовали всѣхъ тѣхъ, кто былъ съ ними несогласенъ, а были съ ними несогласны лучшіе, даровитѣйшіе люди, которые поэтому только и ссылались. Они взяли цвѣтъ французскаго населенія въ армию; они поддерживали клерикализмъ; они ввели подкупъ въ администрацію и въ то-же время увѣряли, что все это дѣлается во имя блага, славы, счастія и процвѣтанія Франціи. Развѣ это не были пустыя и громкія слова безъ соотвѣтственнаго содержанія? Противники французскихъ реалистовъ говорятъ, что ~~нико~~

рія была именно правительствомъ фактовъ, а не идеаловъ. Едва-ли это такъ. Вся императорская система Франціи была рассчитана на то, чтобы вызывать восторженность, распалать воображеніе, отуманивать блескомъ чего-то неосязаемого, чего, однако, никогда нельзя было взять въ руки. Надъ французами смѣялись, что „славой“ можно увлечь ихъ на все. Но въдъ „слава“ была идеаломъ императорской Франціи! И, во имя этой славы, французъ лѣзъ на пирамиды, замерзалъ въ снѣгахъ Россіи, шель на приступъ Пекина. Для чего ему были пирамиды, снѣга Россіи, для чего ему понадобился Пекинъ? И вотъ, когда Франціи пришлось столкнуться съ дѣйствительностью и подвести итоги „славы“, она оказалась безъ людей, способныхъ спасти ее отъ нашествія иноплеменниковъ въ 1814 году и въ 1870 году; оказалась она бѣдной, раззоренной. Лучшій солдатъ въ Европѣ, французъ, оказывался безсильнымъ передъ нѣмцами; въ государственной казнѣ обнаруживалась пустота; торговля была въ упадкѣ; въ такомъ-же упадкѣ находилась промышленность, а школа учила народъ всякимъ нелѣпостямъ и вмѣсто свѣта разливала мракъ. При Людовикѣ XVIII учили народъ, что Наполеонъ I былъ генераломъ Людовика XVI. При Наполеонѣ III проповѣдывалось, что иневициія была благодѣтельнымъ учрежденіемъ, насаждавшимъ вѣру, мораль и священную дисциплину, что всякая другая вѣра, вромѣ католической, учитъ разврату, превращаетъ мать и жену въ рабыню и что въ Англии, подъ вліяніемъ англианизма, дѣтей продаютъ или отравляютъ! Были-ли это факты дѣйствительности и ради чего все это говорилось? Конечно, ради идеала имперіализма, а имперіализмъ значилъ блескъ, слава и величіе. Мы не хотимъ допускать, что Наполеоны I и III сознательно лгали, но что они идеальничали это несомнѣнно, и слѣдовательно, также несомнѣнно, что за „идеалъ“ императорской „славы“ Франція заплатила очень дорого.

Если литература служитъ выраженіемъ жизни, то какая-же литература должна соответствовать наполеоновскому режиму? Конечно, литература блестящихъ, громкихъ фразъ, литература плѣнительныхъ физцій, манящая журавлемъ въ небѣ. Довольно вспомнить Беранже и его хвалебныя пѣсни Наполеону I. Погоня за наполеоновскимъ идеаломъ, которому такъ послужилъ Беранже, навязала Франціи Наполеона III и всѣ жалкія послѣдствія его

управленія. Но вотъ, наконецъ, разражается седанская катастрофа, и что увидѣла у себя Франція? Весь блескъ и вся „слава“ Франціи разсыпались прахомъ: людей нѣтъ, войска нѣтъ, денегъ нѣтъ, народнаго образованія нѣтъ, повсюдная умственная и матеріальная нищета. Еще-бы Франція не испугаться императорскаго идеализма! Понятно, что интеллигентные представители теперешней Франціи требуютъ поменьше словъ, побольше дѣла; они говорятъ, что ихъ не удовлетворяетъ, когда имъ только обѣщаютъ свободу, равенство, братство, добродѣтель, славу, честь, а они хотятъ, чтобы имъ дали самые факты свободы, равенства, братства, славы, добродѣтели и чести.

Французскіе реалисты думаютъ, что теперешняя форма французскаго правленія способнѣе всего дать содержаніе наполеоновскимъ словамъ и превратить ихъ въ факты, и что въ этой работѣ Франція найдетъ себѣ лучшихъ помощниковъ въ литературѣ. Они разсуждаютъ такъ: лучшимъ зеркаломъ для реальной жизни можетъ быть, конечно, только зеркало, отражающее дѣйствительность, а такъ-какъ литература есть зеркало жизни, то ясно, что для реальныхъ фактовъ должна быть и реальная литература. При Наполеонахъ въ подобномъ зеркалѣ не было никакой нужды, ибо требовалось только отражать славу, блескъ и фактивную силу. Понятно, что литература являлась чѣмъ-то вродѣ спиритической фотографіи и изображала свѣтлыя тѣни несуществовавшихъ предметовъ. Такъ-какъ въ образѣ бонапартизма являлся блескъ чего-то, вверху стоящаго, то ясно, что бонапартистская литература должна была являться литературой величія и пѣснопѣнія; а такъ-какъ за этимъ вѣшнимъ величіемъ величія реальнаго не заключалось, то литература могла и должна была быть исключительно идеалистической. Теперешняя Франція является представительницей интересовъ большинства. Понятно, что и литература должна явиться зеркаломъ этого низменнаго и болѣе широкаго слоя. Если-же республика есть выраженіе интересовъ народной жизни, а литература является зеркаломъ того, что копошится внизу, то, конечно, она должна явиться формулой республиканскаго режима, составляющаго правительство народа. Все это логично вытекаетъ одно изъ другого.

III.

Кромѣ противниковъ между русскими писателями, у Золя есть противники и между русскими читателями. Мужчины къ нему снисходительнѣе, но женщины, особенно сторонницы Тургенева, находятъ Золя „грязнымъ“, говорятъ, что онъ пишетъ „мерзости“ и что на немъ не успокаивается и не отдыхаетъ душа. Кто-же виноватъ въ этомъ?

Ученіе Дарвина, въ его примѣненіи къ исторіи, философіи и этикѣ, находитъ между женщинами меньше всего послѣдовательницъ. Не только у насъ, но и повсюду, женщина по преимуществу представительница личнаго начала и индивидуализма. Это совершенно понятно: иначе не явился-бы и женскій вопросъ. Въ своей протестующей сущности, „женскій вопросъ“ для большинства женщинъ очень мучительный вопросъ. Съ завистью смотритъ женщина на свободу мужчины и на возможность создавать себѣ общественное и личное положеніе и вообще устраивать свою жизнь, какъ ему хочется. Поэтому мечта о „свободѣ“ составляетъ для женщинъ до сихъ поръ самую заветную мечту. Нѣкоторымъ изъ нихъ какъ будто-бы что-то и удалось, другимъ не удалось, и вотъ всѣ эти мечтающія неудачницы ищутъ успокоенія, отдыха, а подчасъ и совѣта или указанія. Женщинъ, которымъ удалось найти себѣ разумное мѣсто въ природѣ, пока еще очень немного, а большинство — „женская публика“ живетъ исключительно мелкими интересами и гоняется за личнымъ счастьемъ. Для женщинъ и мужчинъ въ подобномъ положеніи Золя никогда не будетъ понятенъ. Его интересы — общіе интересы, и французскій реализмъ, вышедшій изъ дарвинизма, является поэтому представителемъ какъ-разъ такихъ идей, которыя меньше всего въ состояніи удовлетворить представителей индивидуализма.

Представителей индивидуализма очень огорчаетъ, когда имъ говорятъ, что лицо не является распорядителемъ своей судьбы. Они требуютъ, чтобы литература служила лицу, давала его во весь ростъ, рисовала возможности проявленія актовъ личной воли, почина, примѣненія къ дѣятельности принциповъ, убѣжденій, и картины нравственной борьбы за идеалы. Подобные характеры,

изображаемые литературой, дѣйствуютъ на слабыхъ читателей ободрительно и подхлестываютъ ихъ для протеста. Проникаясь личнымъ идеаломъ, человекъ чувствуетъ себя больше и сильнѣе. Въ своихъ собственныхъ глазахъ онъ—уже извѣстная величина и сила не пассивная, а активная. Онъ — я, распластающееся собою по собственной волѣ, а не игрушка чужого я, дѣйствующая по чужой волѣ. Человекъ гордится, что онъ — самостоятельное существо, нравственно отвѣтственное за свои поступки. Поставивъ свое я въ средоточіе міра, онъ и чувствуетъ себя царемъ природы. Большаго удовлетворенія своей горделивости человекъ уже и не можетъ придумать. Когда защитникамъ такого взгляда вы даете въ художественномъ произведеніи идеальныхъ героевъ, какъ Ріенци, Гракхи, Іоанна д'Аркъ, когда читатель проникается высшими чувствами и идеями, ихъ волновавшими, когда онъ загорается желаніемъ спасти человечество, явиться героемъ-избавителемъ для всѣхъ несчастныхъ, когда онъ рисуетъ свое собственное триумфальное шествіе съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ, или умираетъ въ собственномъ воображеніи смертью мученика и борца за правду и справедливость,—а съ людьми, подобными Ріенци, Гракхамъ и Іоаннѣ д'Аркъ, это всегда и бываетъ,—читатель испытываетъ, конечно, наслажденіе наиболѣе возвышеннаго и благороднаго воодушевленія.

Поэтому понятно, что всякое ученіе, низводящее человека съ пьедестала и превращающее его въ простое слѣдствіе предыдущихъ причинъ, подчиняющее его закону „преэминенности явлений“, снимаетъ съ его личности ореолъ, лишаетъ его заслугъ и не даетъ пріятной пищи гордости. Человекъ думаетъ, что все зависитъ отъ него, и вдругъ оказывается, что онъ—простой продуктъ обстоятельствъ, климата и почвы его страны, природы, въ которой онъ выросъ, нравственной и умственной среды, которая его воспитала. Еще обиднѣе, когда ему говорятъ, что весь онъ зависитъ отъ привычекъ, которыя усвоилъ воспитаніемъ. И вотъ царь вселенной является развѣнчаннымъ до простого физиологическаго механизма, и къ вѣщающей обидѣ ему говорятъ еще, что даже въ области мысли, гдѣ повидимому онъ чувствовалъ себя наиболѣе свободнымъ, онъ не больше, какъ рефлектирующий аппаратъ. Подобныя ученія, примѣняемыя къ художественнымъ произведеніямъ, вызывали всегда протестъ и неудовольствіе, и читатель чувство-

валъ невольную антипатію къ писателю, низводившему его до простаго автомата.

Взглядъ натуралистовъ на человѣка, какъ на продуктъ среды, не могъ не отразиться въ современномъ романѣ, когда и позитивная философія, и статистика, и исторія происхожденія человѣка, и, наконецъ, наблюденія въ области нравственныхъ чувствъ отводятъ человѣческому я очень подчиненное мѣсто. Наибольше вліятельные писатели, какъ Дарвинъ, Бокль, Гербертъ Спенсеръ, ставятъ человѣка въ прямую зависимость отъ непреложныхъ законовъ природы, дѣйствующихъ роковымъ образомъ. И личную нравственность они подчиняютъ тѣмъ-же роковымъ, неизмѣннымъ законамъ. Они доказываютъ, что въ человѣкѣ существуетъ два рода чувствъ, — одни общежительныя, другія личныя. Какъ тѣ, такъ и другія сложились путемъ наслѣдственной передачи. Личныя чувства, которыми человѣкъ отстаиваетъ себя въ борьбѣ за личное существованіе, — чувства низшаго порядка; чувства-же общественныя, заставляющія его поступаться своими аппетитами и желаніями, — чувства порядка высшаго. Прогрессъ зависитъ отъ преобладанія чувствъ общежительныхъ, и всякій разъ, когда лицо отдается острому позыву личныхъ чувствъ или аппетитовъ, въ ущербъ болѣе укоренившихся въ немъ наслѣдственныхъ общежительныхъ чувствъ, — въ немъ является раскаяніе, пробуждается совѣсть.

Это ученіе, слишкомъ сухое и головное, не нашло еще себѣ пока сторонниковъ въ большинствѣ. Холодная разсудочность не можетъ дать ни удовлетворенія, ни успокоенія. Чувство проситъ жизни, сердце ищетъ увлеченія; оно хочетъ непосредственности, яркости, порыва и головокруженія. Тамъ, гдѣ мы дѣйствуемъ по холодному головному разсчету, какъ по математическимъ выкладкамъ, мы не чувствуемъ счастья любви, а человѣкъ хочетъ прежде всего любви и только въ любви находить полное удовлетвореніе. Отъ этого люди боятся даже одного слова „наука“, и Золя, прибѣгающій къ этому слову, чтобы больше убѣдить, только пугаетъ. Читателя ставятъ на какую-то объективную точку, предлагаютъ ему дѣйствовать по законамъ „преемственности явлений“, тогда-какъ онъ ищетъ успокоенія, потому что чувствуетъ себя безпомощнымъ, одинокимъ и страдающимъ. Онъ несчастливъ въ своей средѣ; онъ ищетъ другихъ удовлетвореній; онъ хочетъ

испытать самъ на себѣ ту любовь, о которой ему твердили съ дѣтства; онъ хочетъ испытать на себѣ гуманность, о которой считался у Дарвина, Спенсера, Бокля, у поэтовъ и прозаиковъ. Развѣ среда, въ которой онъ живетъ, есть среда любви и гуманности? На каждомъ шагу дѣти недовольны родителями, родители — дѣтьми; жена недовольна мужемъ, мужъ — женою; всѣ неудовлетворены; всякому нужно что-то другое, всякій хочетъ убѣжать отъ эгоизма, которымъ онъ окруженъ, отъ вѣчной, нескончаемой борьбы, которая его измучила. И вотъ, человѣкъ ищетъ успокоенія въ книгахъ, среди героевъ и идеаловъ; онъ ищетъ удовлетворенія въ поэтическихъ вымыслахъ, которые согрѣваютъ его чувство; онъ переноситъ себя въ искусственную атмосферу любви тѣхъ немногихъ счастливыхъ, которыхъ ему даетъ художественный идеализмъ; онъ погребается внутри себя и смотритъ на міръ изъ форточки своего Монрепо, умирая постепенно для тѣхъ вышнихъ и лучшихъ удовлетвореній, которыхъ онъ требовалъ исключительно для себя и не хотѣлъ дать другимъ.

Эта форма эгоистическаго идеализма, когда человѣкъ ищетъ отдыха среди чувствъ своего изолированнаго міра, есть одна изъ худшихъ формъ идеализма. Когда юноша, въ моментъ наплыва силъ, одушевленный радужными надеждами и стремленіями, читаетъ Ріенци и мечтаетъ быть спасителемъ своего народа, имѣть владѣть идеалъ будущаго и поступательнаго движенія. Выйдетъ-ли изъ юноши Ріенци или все дѣло кончится мечтами — во всякомъ случаѣ идеализмъ играетъ здѣсь активную роль. Совсѣмъ иное, когда помѣщаетъ себя въ общество „идеалистовъ“ неудачникъ, поматый жизнью, человѣкъ, когда-то чего-то хотѣвшій, мечтавшій о подвигахъ любви, мечтавшій о личномъ счастьи, строившій и ничего не выстроившій, дѣлавшій и ничего не сдѣлавшій. Подобное напитываніе себя идеализмомъ и сообщество съ книжными героями — похороны самого себя; это тризна надъ собою. Человѣкъ превращается въ могильный памятникъ и умираетъ нравственно, со сквернымъ чувствомъ озлобленія на другихъ, точно въ этихъ „другихъ“ онъ и не чувствуетъ самого себя, точно „другіе“ не имѣютъ подобнаго-же права озлобленія на него. Такой идеализмъ, кладущій живого человѣка въ гробъ, есть, конечно, величайшее нравственное зло и величайшее общественное и личное несчастье.

IV.

Психологія не изслѣдуетъ никогда міра чувствъ. Онъ будетъ всегда субъективнымъ, а вслѣдствіе этого будетъ вѣчное неудовлетвореніе, и то душевное „счастіе“, о которомъ мечтаетъ каждый, останется навсегда лишь искомымъ и неизвѣстнымъ. Но если „счастіе“ такъ недостижимо, то дѣлать человѣка намѣренно несчастнымъ, суля ему идеальныя невозможности, едвали будетъ достойной ролью литературы. А между тѣмъ идеализмъ только это и дѣлаетъ, въ особенности когда онъ манялъ личнымъ счастіемъ. Поэтому Золя, конечно, правъ, когда говоритъ, что за внѣшнимъ блескомъ такого идеализма скрывается мерзость и ложь. Идеализмъ, уводящій человѣка въ личный эгоизмъ, — опиумъ и гашишъ. Повидимому, возвышая человѣка, онъ въ сущности его роняетъ; подманивая несуществующими мечтательными возможностями, онъ только обманываетъ, ибо предлагаетъ фикцію вмѣсто дѣйствительности. Вотъ, напримѣръ, образчикъ двухъ идеализмовъ. Одинъ въ романѣ „Ариадна“ Уйда, другой, въ „Кола-ди-Ріенци“ Бульвера. „Ариадна“ написана на тему внутреннего міра, на тему исканія личнаго счастія; романъ-же Бульвера написанъ на тему тяготѣнія къ міру общественной любви.

Устами своихъ героевъ, Уйда говоритъ, что любовь на этомъ свѣтѣ—великая рѣдкость, что существуетъ много вещей, похожихъ на любовь, напримѣръ, всякая сильная непрочная страсть, всякаго рода эгоизмъ, тщеславіе и много другихъ низкихъ чувствъ; что сильная любовь не требуетъ непремѣнно сильнаго ума, но она всегда нераздѣльна съ душевнымъ благородствомъ, и что благородная страсть такъ-же рѣдка, какъ вообще все благородное. И образчикъ этой благородной страсти Уйда даетъ въ своей героинѣ. По словамъ одного изъ героевъ того-же романа, такая любовь приходитъ рѣдко и дается немногимъ. Ариадна любитъ Иларіона и считаетъ себя вполне счастливой. Но она боялась этого чувства, потому что въ любви вся жизнь, потому что, когда любишь, перестаешь быть собою, дышешь жизнью другого, живешь его волею, теряешь свою силу. Когда она еще не любила, она хотѣла знать, что такое счастіе, и только теперь она

„Дѣло“, № 9, 1879 г.

поняла это и знаетъ, что ни для чего другого не стоитъ ни жить, ни умереть, другой жизни нѣтъ. „Помните, — говоритъ она, — я удивлялась, почему женщина молится со слезами на глазахъ и зачѣмъ поэты писали и пѣвцы пѣли. Теперь я знаю: на землѣ есть только одно счастье, и любить—даже выше, чѣмъ быть любимой“. „Я принадлежу ему, — говоритъ съ гордостью Аріадна;—онъ взглянулъ на меня, и міръ показался мнѣ прекраснымъ. Онъ дотронулся до меня, и я сдѣлалась счастливой,—я, которая никогда не знала счастья. Я дѣлаю то, что онъ желаетъ, и у меня одинъ богъ — онъ. Я съ нимъ не разлучаюсь, и мнѣ ничего не нужно. Когда онъ смотритъ на меня, я ничего болѣе не прошу у боговъ“. Но онъ измѣнилъ ей. Когда ее привезли большую домой, когда она вошла въ комнату, гдѣ слышала первое его объясненіе, она упала на каменные плиты и стала цѣловать ихъ и громко рыдать. „О, камни!—говорила она. —Его ноги прикасались къ вамъ; на васъ падали лепестки розъ и вы слышали его слова любви. Нѣтъ, это не былъ сонъ. Скажите мнѣ, что это не былъ сонъ: вы первые слышали его слова!“ И снова она цѣловала камни, потому что онъ на нихъ ступалъ, и они были свидѣтелями ея счастья...

Для насъ, жителей сѣвера, подобныя чувства непонятны; но Бульверъ говоритъ, что южные жители, особенно итальянцы, способны къ такому восторженному чувству, и легенда любви Ромео и Юліи не была выдумкой, хотя романтизмъ и пылкость несчастныхъ веронскихъ любовниковъ кажутся ненатуральными и преувеличенными. Въ Италіи любовь, родившаяся въ одну ночь и „сильная, какъ смерть“, принадлежитъ къ числу самыхъ общихъ мѣстъ, и подъ итальянскимъ небомъ простыя дѣвушки и нынче способны чувствовать то-же, что Джульета, и многіе простые любовники поспорятъ съ Ромео въ сумасбродствѣ. И несмотря на то, что нигдѣ, можетъ быть, не встрѣчается такъ часто любовь съ перваго взгляда, ни въ какой странѣ любовь, вспыхнувшая внезапно, не сохраняется съ такою вѣрностью. Итаецъ, любовь Аріадны даже не идеализированная дѣйствительность, а дѣйствительность настоящая. Но наша рѣчь не объ этомъ: мы сопоставляемъ идеалы личныхъ чувствъ, или просто личные чувства съ чувствами общественными. Обращикъ однихъ мы видѣли на Арі-

аднѣ; теперь посмотримъ на Ріенци, какъ его описываетъ Бульверъ, на основаніи историческихъ источниковъ.

Ріенци—не выдуманый и не идеализированный человѣкъ. Онъ и былъ такимъ, какимъ его изображаетъ Бульверъ. Событіе относится къ началу XIV столѣтія, когда Италия и Римъ страдали отъ цѣлаго ряда внутреннихъ неурядицъ и наглостей олигархіи и нобилей. Римскій народъ, хотъ и питалъ гордую мысль о своемъ превосходствѣ надъ остальнымъ міромъ, но утратилъ желѣзныя доблести времени республики, а сохранилъ лишь наглость и мятежную непокорность плебеевъ древняго форума. Среди свирѣпой, но грубой и трусливой черни нобили вели себя, какъ бандиты; они не подчинялись никакимъ властямъ и закону, жили въ увѣрѣленныхъ дворцахъ, грабили по большимъ дорогамъ, для чего держали наемниковъ, преимущественно изъ нѣмцевъ, и утѣсняли народъ настолько, что простой человѣкъ не находилъ себѣ нигдѣ ни правосудія, ни пощады. Эта анархія могла служить блистательнымъ поприщемъ для личнаго патріотическаго честолюбія, и оно воплотилось въ Ріенци.

На полиняломъ портретѣ Ріенци, сохранившемся въ Римѣ, говоритъ Бульверъ,—можно открыть нѣкоторое сходство съ обыкновенными изображеніями Наполеона, не собственно въ чертахъ, которыя на портретѣ римлянина суровѣе и рѣзче, но въ особенномъ выраженіи сосредоточенной и спокойной власти, которая такъ вѣрно воплощаетъ идеалъ умственнаго величія. Хотя современники считали его чрезвычайно красивымъ, но это сужденіе основывалось не на обыкновенныхъ понятіяхъ о наружности, а на томъ, что кромѣ высокаго роста, цѣнившагося тогда болѣе, чѣмъ теперь, онъ обладалъ тою благородною и рѣдкою въ тѣ грубыя времена красотой, которую образованный умъ и энергическій характеръ придаютъ даже чертамъ непривлекательнымъ. Крѣпкая челюсть, орлиный носъ, нѣсколько впалыя щеки поразительнымъ образомъ напоминали характеръ суровой римской расы и могли-бы послужить живописцу приличною моделью для изображенія младшаго Брута. Ріенци былъ гордъ; съ самой ранней юности онъ считалъ себя равнымъ римскимъ сенъерамъ и безсознательно стремился къ превосходству надъ ними. Но по мѣрѣ того, какъ римская литература становилась ему болѣе и болѣе

извѣстной, онъ пропитывался гордостью національной. и всѣ способности его необыкновеннаго ума сосредоточивались на одномъ предметѣ, который отъ его мистически-религіознаго и патріотическаго духа принималъ характеръ чего-то священнаго и сдѣлался для него въ одно и то-же время и долгомъ, и страстью. Ріенци задумалъ возсоздать Римъ, вызвать изъ забытой могилы неукротимый духъ Катона, создать свободу, сломить деспотизмъ нобилей и снова вызвать къ жизни народъ. Онъ видѣлъ въ себѣ орудіе этого торжества и восстановителя своего племени. Римскій народъ хотѣлъ провозгласить его даже королемъ, но онъ удовольствовался болѣе скромнымъ титуломъ народнаго трибуна, т. е. представителя и защитника народныхъ интересовъ. Самъ папа благословилъ его на этотъ подвигъ и, можетъ быть, больше всѣхъ помогъ его успѣху.

Рядомъ съ этимъ живымъ, дѣйствительнымъ человекомъ, идеальнѣйшій герой Аріадны, воплотившій въ себѣ все ея счастье, представляется маленькимъ карпузиномъ. Онъ одаренъ тоже блистательными качествами; у него много ума, но онъ принадлежитъ къ школѣ тѣхъ людей, которые не имѣютъ опредѣленныхъ понятій о томъ, что хорошо и что дурно. Овладевъ Аріадной, онъ вскорѣ ее бросилъ и промѣнялъ на другую. Женщина, на которую онъ промѣнялъ ее, держала его въ своей власти, потому что разжигала его притупленные чувства. „Мы, мужчины, ужъ такъ созданы, разсуждаетъ Иларіонъ;—она дѣлаетъ меня подлецомъ въ моихъ собственныхъ глазахъ и дуракомъ въ глазахъ людей, и все-таки я не могу ее бросить. Почему—я самъ не всегда понимаю. Въ чемъ очарованіе безстыдныхъ женщинъ? Кто можетъ объяснить? Но онѣ очаровываютъ“ „Мужчины счастливѣе всего,—разсуждаетъ все тотъ-же Иларіонъ.—съ легкими, развратными женщинами, потому что съ ними они не стыдятся быть тѣмъ, чѣмъ создала ихъ природа“. Затѣмъ Иларіонъ говоритъ, что онъ никогда не любилъ Аріадну, что его чувство было скорѣе тщеславіемъ. Конечно, частица любви, т. е. влюбчивость, примѣшивалась и къ его чувству, потому что она была хороша и физически, и нравственно, обожала его и поклонялась ему, какъ богу. „Она любила своихъ боговъ и свои сны,—говоритъ Иларіонъ;—я захотѣлъ, чтобъ она любила меня. Я никогда не встрѣчалъ женщинъ съ чистою душою,

а ея душа была чиста. Я хотѣлъ запечатлѣть въ этой душѣ свой образъ, и мнѣ это удалось. Вотъ все, чего я желалъ“.

Продолжая ту-же параллель, мы возьмемъ изъ Бульвера описаніе любви Ріенци. Онъ тоже любилъ, но его любовь не была любовью Иларіона къ Аріаднѣ. Любовь Нины и Ріенци была страсть, свойственная натурамъ сложнымъ, возрасту болѣе зрѣлому. Она состояла изъ тысячи чувствъ, по природѣ отдѣльныхъ другъ отъ друга, но сосредоточенныхъ въ одномъ фокусѣ могуществомъ любви. Они разговаривали о мірскомъ, изъ міра извлекали пищу, которая поддерживала ихъ привязанность. Они говорили и думали о будущемъ; изъ грезъ его и воображаемой славы они сдѣлали себѣ домъ и алтарь. Любовь ихъ была пригоднѣе для этой грубой земли: въ ней заключалось больше осадка позднѣйшихъ желѣзныхъ дней и меньше поэзии первобытнаго золотого вѣка, когда человекъ думалъ, что онъ только одинъ на свѣтѣ, и замыкался въ тотъ міръ, внѣ котораго Аріадна не видѣла ничего.

Рѣшите, читатель, сами, на сторону какого „идеала“ склоняются ваши симпатіи и въ какой любви больше реального счастья?

V.

Г. Гончаровъ въ своей исповѣди говоритъ, что онъ пишетъ вдохновенно, поетъ, какъ птица Божія, не зная, что изъ этого выйдетъ. „Я самъ и среда, въ которой я родился, воспитывался, жилъ,—говоритъ маститый романистъ,—все это, помимо моего сознанія, само собою отразилось силою рефлексіи, какъ отражается въ зеркалѣ пейзажъ изъ окна, какъ отражается иногда въ небольшомъ прудѣ громадная обстановка: и опрокинутое надъ прудомъ небо съ узоромъ облаковъ, и деревья, и гора съ какими-нибудь зданіями, и люди, и животныя, и суета, и неподвижность,— все въ миниатюрныхъ подобіяхъ. Такъ и надо мною и надъ моими романами совершился этотъ простой физическій законъ почти незамѣтнымъ для меня путемъ“. И вотъ г. Гончаровъ отражалъ и пѣлъ, пѣлъ и отражалъ, и только въ концѣ своего поприща задался вопросомъ: что-же онъ пѣлъ и что от-

ражалъ? Возводя въ сознание свою былую дѣятельность и обозвавъ это пришедшее, наконецъ, сознание: „лучше поздно, чѣмъ никогда“, Гончаровъ объясняетъ свое „отраженіе“ такъ: „Я писалъ („Обрывъ“) съ русской старой хорошей женщины или съ русскихъ старыхъ женщинъ добраго стараго времени коллективно, не думая ни о какой паралели; должно быть, она инстинктивно гнѣздилась въ моей головѣ, и когда я уже закончилъ фигуру, оглядѣлъ ее, у меня въ концѣ книги вырвались послѣднія слова, которыми я и кончилъ романъ. Вотъ они: „За нимъ (Райскимъ, когда онъ былъ въ Италиі) все стояли и горячо звали его къ себѣ три фигуры: его Вѣра, его Марфинька и бабушка. А за ними стояла и сильнѣе ихъ влекла къ себѣ еще другая исполнская фигура, *другая великая бабушка — Россія*“. Вотъ что отразилось, или, если я, слабый художникъ, и не одолѣлъ образа, то по крайней мѣрѣ вотъ что просилось отразиться въ моей старухѣ, какъ отражается солнце въ каплѣ воды, — старая консервативная русская жизнь“. По словамъ маститаго романиста, пала въ „Обрывѣ“ не Вѣра, не личность, — пала русская дѣвушка, русская женщина — жертвой въ борьбѣ старой жизни съ новою. Она искала правды, но не знала, гдѣ и какъ искать. И горько заплатила она за самовольное вкушеніе отъ древа познанія, и воротилась, клоня голову отъ боли и стыда, и пошла къ новой жизни уже другимъ, сознательнымъ путемъ. „До этого я не дописался, прибавляетъ г. Гончаровъ — оставляя это на долю другимъ, молодымъ и свѣжимъ силамъ... Будущій художникъ когда-нибудь скажетъ, какъ встали послѣ горькихъ опытовъ и до чего возрасли русскія Вѣры на пути разумной, сознательной жизни“. Но такъ ли, г. Гончаровъ? Это ли вы хотѣли сказать? Это ли вы сказали? Вѣрно ли вы сознаете свою отражающую рефлективность и такъ ли поняла васъ публика?

Съ публикой нужно говорить, хотя и образно, но ясно. Публика очень часто или не понимаетъ того, что она читаетъ, или понимаетъ иначе. Сама, безъ посторонней помощи, публика не всегда способна на обобщенія. Отъ этого критика Добролюбова и Писарева и была такъ полезна. Тотъ и другой помогали публикѣ понять то, что безъ ихъ помощи она никогда-бы не разобрала, а нерѣдко помогали и самимъ авторамъ понять, что они

хотѣли сказать. Послѣднюю услугу оказалъ г. Гончарову Добролюбовъ.

Противъ этой-то бессознательной работы писателей и вооружается Золя. Мнѣ не случилось читать его послѣдней статьи, но изъ частныхъ отзывовъ я знаю, что читатели недовольны, зачѣмъ Золя требуетъ, чтобы романистъ и художникъ былъ Клодомъ Бернарромъ? О, публика, публика! Ну, что вы съ нею подѣлаете! Вѣдь она и серьезно думаетъ, что Золя совсѣмъ не понимаетъ, что такое литература, что такое наука, что такое художественное творчество! Въ своемъ высочайшемъ, читающій русскій уѣздный городокъ, хихикая, указываетъ пальцомъ на чело вѣрка сильнаго аналитическаго ума и радуется, что людей одного съ нимъ образа мыслей зовутъ золятами. Публика въ восторгѣ, что посрамила Золя. Но позвольте. Неужели творить значить пѣть, какъ г. Гончаровъ, и затѣмъ только наканунѣ смерти спросить себя: „а что-же такое я писалъ — дай-ка подумаю“. Надо думать объ этомъ раньше. Нужно не только знать, какъ думать, но и что думать, какъ наблюдать жизнь, въ чемъ, въ какихъ явленіяхъ и подробностяхъ. У насъ всегда царило бессознательное творчество. Двадцати-лѣтній юноша или шестнадцати-лѣтняя барышня съ младенческой отвагой брались создавать изъ нутра пяти-томные романы. Не овладѣвъ никакими знаніями, цыплата, невидѣвшіе ни жизни, ни людей, хотѣли только творить, и затѣмъ невиннымъ цыплатамъ оставалось одно — улепетнуть изъ вертограда россійской словесности, что они и дѣлали.

Со словомъ нужно обращаться „честно“, когда-то связалъ Бѣлинскій, но ни писатели, ни наша публика не знаютъ, что значить это „честно“. Жоржъ-Зандъ, давая совѣтъ одному начинающему юношѣ, сравниваетъ литературу со святою святыхъ и въ писательствѣ видитъ священнодѣйствіе. Если въ начинающемъ писателѣ нѣтъ страха божія, если онъ неумытый, нечесанный всходитъ на трибуну, чтобъ проповѣдывать спасеніе и чистоту, и думаетъ, что для этого достаточно одного желанія говорить, то его слѣдуетъ выгнать, какъ выгналъ Иисусъ торговцевъ изъ храма. Только вполне сформировавшееся міровоззрѣніе и глубокое знакомство со всѣми изгибами человѣческой души создаютъ въ писателѣ силу. Величіе Шекспира, Байрона, Гете заключалось исклю-

чительно въ этомъ. Какими-же карликами и особенно карлициан являются пишущія барышни или недоучившіеся гимназисты, собирающіеся ворочать горами, въ сравненіи съ этими дѣйствительными колосами знанія и всесторонняго анализа! Вотъ о чѣмъ и говорить или хочетъ сказать Золя, а уѣздная публика надъ нимъ смѣется, воображая, что онъ ровно ничего не знаетъ и потому смѣшиваетъ Ньютона и Кеплера съ Гете и Шекспиромъ и думаетъ, что между географіей, статистикой и литературой нѣтъ никакой разницы. Ужь повѣрьте, что Золя знаетъ эту разницу.

Припомните свое школьное время, когда васъ учили географіи, грамматики и исторіи. Вы набрались тогда многихъ фактовъ чистаго знанія; затѣмъ, кончивъ ученіе, сложили свои учебники и принялись за литературу. Теперь уже не „курсы“, а литература стала вашимъ учебникомъ и стала для васъ наукою жизни. Задачи литературы велики, а, слѣдовательно, и роль ея велика. Литература тоже даетъ знаніе, но она дѣйствуетъ главнѣйше на воображеніе и на сердце, возбуждая сочувствіе ко всему доброму и прекрасному. Обращаясь преимущественно къ сердцу, литература сообщаетъ вѣрные и точныя понятія о жизни, рассказываетъ въ образныхъ примѣрахъ, какъ дѣйствуютъ, чувствуютъ и думаютъ тѣ или другіе люди въ тѣхъ или другихъ обстоятельствахъ.

Читатель не есть ученый. Онъ простой, обывденный человѣкъ, а потому и ищетъ въ литературѣ того, что интересуетъ его, какъ обывденнаго человѣка. Какъ ни сложна и ни запутанна кажется каждому изъ насъ дѣйствительная жизнь, но она исчерпывается вся тремя главными положеніями, въ которыхъ каждый можетъ находиться — комическимъ, трагическимъ и возвышеннымъ, т. е. тѣмъ, что зовутъ обыкновенно идеалами. Давая картины этихъ трехъ положеній, обнимающихъ всю область души, литература затрогиваетъ всѣ чувства, которыя могутъ волновать сердце. Ничего другого литература и не дѣлаетъ. Она имѣетъ дѣло только съ душой и тѣми явленіями, которыя заставляютъ волноваться насъ чувствомъ радости, любви, страданія или благородныхъ, возвышенныхъ стремленій, которыя опять-таки сводятся къ чувству любви. Любовь или нелюбовь — вотъ два главныхъ

душевнихъ состояніи, въ которыхъ приурочиваются всѣ наши чувства, и, дѣйствуя на которыя, литература возбуждаетъ все, что есть въ насъ благороднаго или низкаго.

Обращаясь къ личнымъ чувствамъ читателя, литература только въ такомъ случаѣ удовлетворитъ его, если будетъ давать изображеніе интересующей его дѣйствительности. Очень можетъ быть, что жители луны чувствуютъ гораздо глубже и возвышеннѣе, чѣмъ мы, но романъ изъ жизни лунныхъ жителей едва-ли заинтересовалъ-бы кого-нибудь, даже какъ сказка. Описаніе чувствъ, обуревающихъ эфіопа, тоже не представитъ никакого интереса, если въ этихъ чувствахъ мы не найдемъ ничего близкаго къ нашей дѣйствительности. Интересъ душевныхъ положеній будетъ тѣмъ напряженнѣе, чѣмъ описываемый душевный міръ ближе къ жизни читателя, чѣмъ онъ непосредственнѣе переживаетъ въ немъ самого себя, чѣмъ больше возбуждаетъ въ немъ душевныхъ движеній.

Въ этомъ случаѣ Золя совершенно правъ, когда требуетъ, чтобы литература приносила практическіе результаты, а не давала бы поводъ читателю и зрителю отдаваться лишь либеральнымъ и нравственнымъ заигрываньямъ. Можетъ быть, требованіе Золя слишкомъ строго, чтобы, выходя изъ театра, человекъ становился лучше, а не оставался вѣренъ своимъ порокамъ, и чтобы, читая художественныя произведенія, люди дѣлались-бы лучше, чтобы женщины были хорошими женами и матерями, чтобы мужчины были хорошими мужьями, отцами и гражданами, чтобы публицисты, проповѣдующіе честность и благородство, являлись сами прежде всего честными и благородными людьми; однимъ словомъ, чтобы люди, стремящіеся на словахъ къ прекрасному и благородному и щеголяющіе строгими нравственными принципами, были такими-же и на дѣлѣ. Но вѣдь и каждый читатель, даже и самый обыденный, хочетъ того-же, и, право, люди вообще гораздо лучше по природѣ, чѣмъ они оказываются въ дѣйствительности. Давно извѣстно, что добрыми намѣреніями уложена дорога въ адъ. Каждый изъ насъ добръ и хорошъ, покажѣтъ онъ одинъ, и всѣ его благородныя, прекрасныя стремленія разлетаются въ прахъ при столкновеніи съ людьми. Всякій, желая быть лучше и восхищаясь идеалами благородства и возвышенныхъ чувствъ, немед-

ленно чувствуетъ себя вышибленнымъ изъ сѣдла, какъ только ему придется очутиться въ обществѣ съ людьми и столкнуться съ ихъ интересами. Золя и тутъ не ловится, какъ думали его противники. Литература — не чудодѣйная сила. Жизнь не зависитъ отъ нея. Еслибы вся человѣческая нравственность управлялась только литературой, то люди давно были-бы добродѣтельныѣ ангеловъ. Тутъ мы наталкиваемся опять на одно изъ доказательствъ того, что человѣкъ не зависитъ отъ одной своей доброй воли; онъ не больше, какъ продуктъ обстоятельствъ и взаимодействующихъ силъ среды, въ которой онъ находится. Но изъ того, что литература не дѣлаетъ нравственныхъ чудесъ, вовсе не слѣдуетъ, чтобы она не стремилась къ этимъ чудесамъ и чтобы читатель не желалъ, чтобы и надъ нимъ совершилось чудо. Каждый хочетъ быть добрымъ и любящимъ и каждый хочетъ, чтобы его любили. Нѣтъ ничего томительнѣе и мучительнѣе злыхъ чувствъ, и объясненіе этого закона вы найдете въ любой физиологіи. Поэтому, какъ-бы человѣкъ ни двоился между словомъ и дѣломъ, онъ, если въ немъ есть хоть малѣйшая искра сознанія, всегда болѣетъ и страдаетъ, если поступаетъ не такъ и если вжѣсто любви возбуждаетъ нелюбовь. И потому, что въ каждомъ человѣкѣ уже по закону простой наследственности существуетъ, такъ-называемое, нравственное чувство, онъ всегда будетъ обращаться къ литературѣ, чтобы найти въ ней ту руководящую силу, которую онъ не всегда находитъ въ себѣ и въ окружающей его жизни. Золя, возлагающій на литературу такую высокую исправительную миссію, требуетъ отъ литературы только того, чего отъ нея требуетъ и ожидаетъ каждый изъ насъ.

Для обыденнаго читателя литература является еще самымъ лучшимъ и вѣрнымъ совѣтникомъ. Есть мысли и чувства, которыхъ человѣкъ никогда не повѣритъ другому. Ихъ знаетъ только одна его совѣсть. Наединѣ съ хорошею книгой, такой читатель заглянетъ иногда въ такіе тайники своей души, въ которые онъ, можетъ быть, никогда-бы не заглянулъ. Книга для него является лучшимъ другомъ, лучшимъ совѣтникомъ и единственнымъ его исповѣдникомъ, отъ котораго онъ ничего и не скроетъ. Кому изъ насъ не случалось краснѣть наединѣ съ книгой? Титановъ и героевъ на свѣтѣ немного. Большинство людей, добрые по при-

родѣ, дѣлають дурное только потому, что они или слабы сердцемъ, или слабы мыслью. Привычка въ жизни—все, и кто-же изъ насъ, положивъ руку на сердце, не сознается, что всѣ мы выросли въ дурныхъ привычкахъ, выросли, какъ говорится, въ грѣхѣ? „Не человѣкъ виноватъ, а грѣхъ“, и дальше этой истины религія любви идти, конечно, не можетъ. Испорченная жизнь — не выдуманное слово и не книжная фраза. У большинства людей жизнь запуталась до того, что отъ томительной безвыходности они выдаются или въ колодезь, или надѣвають петлю на шею. „Не фраза—эти продранные локти и эти сѣдые волосы“, говорить Рудинъ Лажеву; а Рудинъ былъ еще изъ исключительныхъ людей; что-же сказать про людей простыхъ и обыкновенныхъ? Для такого обыкновеннаго читателя литература—единственный совѣтникъ, къ которому онъ прибѣгаетъ для провѣрки и указанія. Читая романъ, онъ ищетъ въ немъ положеніе, напоминающее его положеніе; онъ ищетъ указанія, какъ поступали другіе въ подобныхъ случаяхъ, какъ они выбивались и какъ они выбились къ лучшей жизни. Если-же жизнь его сложилась такъ, что для него уже нѣтъ никакого выхода, то онъ успокоиваетъ себя тѣмъ, что хоть наединѣ съ книгою переживаетъ лучшія положенія, которыхъ его лишила судьба.

Если, такимъ образомъ, литература, кромѣ возвышенія помысловъ, является совѣтникомъ и другомъ, значить не все равно, о чемъ ей говорить и какъ говорить. Есть, значить, и очередь вопросовъ, есть, значить, и причина авторской умѣлости шевелить сердце читателя. Облагороживаніе и возбужденіе помысловъ въ лучшемъ, высшемъ направленіи, конечно, останется главной задачей писателя. И если публика, недовольная состояніемъ своей литературы, говорить, что ей нечего читать, то, конечно, у нея есть на это какое-нибудь право. И вотъ, въ отвѣтъ на это неудовольствіе, Золя ставитъ требованіе, чтобы писатель запасался знаніями и подступалъ къ жизни, какъ Клодь Бернаръ, съ подобнымъ-же скальпелемъ, вскрывая ее и единоличную человѣческую душу, какъ вскрываетъ анатомъ человѣческое тѣло. И та же публика, ради которой предъявляется такое требованіе, претендуетъ, зачѣмъ оно предъявляется? Да вѣдь Золя отвѣтилъ на вашъ-же вопросъ, и вся его ошибка развѣ въ томъ, что онъ обна-

ружилъ закулисный секретъ художественнаго творчества. Не только обыкновенная публика, но даже многіе писатели думаютъ, что творчество, и особенно художественное, дается нутромъ, что вдохновеніе ниспадаетъ только на головы немногихъ счастливицевъ, какъ манна небесная. Еще очень недавно въ поэтахъ видѣли боговдохновенныхъ пророковъ. а обыкновенный читатель и до сихъ поръ думаетъ, что литераторъ есть особенное, совершенное существо, непохожее на другихъ людей. Творчество—не небесный подарокъ, дающійся даромъ счастливымъ; оно не болѣе, какъ сочетаніе разнообразныхъ способностей ума и чувства, содержаніе которыхъ даетъ сильное мышленіе и многообразный, глубокой анализъ жизни и души человѣка. У кого нѣтъ подобныхъ средствъ, пускай лучше откажется отъ горделивой мысли руководить помыслами и чувствами людей и не мечтаетъ быть ни народнымъ трибуномъ, спасающимъ свой народъ, какъ Ріенци, ни глубокимъ сердецѣдомъ, какъ Шекспиръ.

Теперешняя литература, конечно, стоитъ ниже своей задачи. Отъ нея, на примѣръ, требуютъ облагораживающей страсти, и она даетъ эту облагораживающую страсть въ видѣ такихъ героинь, которымъ описываетъ Уйда, или героинь, которыхъ давалъ Тургеневъ. Что можетъ быть благороднѣе и возвышеннѣе любви Ариадны къ Иларіону и тѣхъ хорошихъ, стремящихся къ свѣту, женщинъ, которыхъ давалъ Тургеневъ? Но согласитесь, читатели и въ особенности читательницы, что о любви говорили вамъ ужъ слишкомъ много. Все любовь, да любовь, точно, кромѣ любви, людямъ нѣтъ другого дѣла на свѣтѣ. Безъ любовной интриги не встрѣтишь теперь ни одной повѣсти, ни одного романа, ни одной комедіи, ни одной оперы. Неужели любовь составляетъ единственное содержаніе дѣйствительной жизни и главный ея интересъ? Неужели въ жизни нѣтъ другихъ явленій, кромѣ очень юношескихъ порываній къ любовнымъ наслажденіямъ, постоянное изображеніе которыхъ положительно роняетъ литературу? Вѣдь у общества могутъ быть интересы, болѣе полезные и широкіе, чѣмъ личныя любовныя забавы, и поэтому литература, которая держитъ мысль читателя постоянно на уровнѣ юношескихъ порываній, дѣйствуя не на чувство, а разжигая аппетиты, становится не совсѣмъ безопасною, въ особенности для молодежи. Поэтому Тургеневъ не

оказалъ особенной услуги русской женщинѣ своими романами. Хотя во время овацій, которыя дѣлались Тургеневу, депутація бур-систоекъ благодарила его, что онъ далъ русской женщинѣ высшіе помыслы, пробудилъ желаніе возсоздать семью, но можно представить и другіе факты. Тургеневъ дѣйствовалъ очень обаятельно на развивающихся дѣвушекъ. Съ какою жадностью накидывались онѣ на Тургенева и съ какимъ увлеченіемъ переживались чарующія „страницы любви“, которыя такъ идеально хорошо умѣлъ изображать Тургеневъ! И подростокія дѣвушки читали только эти страницы. Конечно, дѣвушекъ нельзя было упрекнуть въ „худыхъ мысляхъ“, да этихъ мыслей и нѣтъ у Тургенева. Тѣмъ не менѣе померанцовыя рощи и розовыя алеи изображались Тургеневымъ такъ хорошо, что не только у подростокшихъ дѣвушекъ, но и у ихъ маменокъ и папенокъ, тѣли слюнки. Цѣлый десятокъ слѣдующихъ одинъ за другимъ романовъ составляли единственную бібліотеку для молодыхъ читательницъ и читателей той эпохи, когда въ русской литературѣ властвовалъ нераздѣльно Тургеневъ. Во всей этой бібліотекѣ говорилось только о любви, объ одной любви и ни о чемъ больше. Въ какую сторону приходилось направиться помысламъ юныхъ читателей и читательницъ, когда цѣлые двадцать лѣтъ русскіе писатели не дали ни одного романа безъ любви въ померанцевой рощѣ? Женщины, больше склонныя любить, чѣмъ думать, а ихъ легионъ, подобно трудолюбивымъ пчеламъ, высасывали изъ розовыхъ садовъ, которые разводилъ Тургеневъ, одинъ розовый медъ и мечтали о „счастіи“. Да какъ еще мечтали! Каждая изъ нихъ нашла себѣ въ Тургеневѣ лучшаго и любящаго наставника. Онѣ плакали надъ его несчастными героинями; онѣ дѣлали на поляхъ его романовъ цѣлый рядъ замѣчаній и дополненій и теперь хранятъ эти книги, какъ святыню, какъ скрижалъ завѣта, какъ воспоминаніе о самыхъ сладкихъ въ жизни минутахъ.

Повторяя Захеръ-Мазоха, вы скажете, что Тургеневъ—русскій Шопенгауэръ, что онъ именно доказалъ, что любовь не счастье, а гибель. Но, во-первыхъ, ни одна дѣвушка не прочитала этого въ романахъ Тургенева, а если и прочитала, то только для того, чтобы считать себя болѣе счастливой, чѣмъ Лизы и Вѣры,

которымъ не удалось, а ей ужь, конечно, удастся; а, во-вторыхъ, фактъ все-таки остается фактомъ, что Тургеневъ отвлекалъ помыслы своихъ читательницъ исключительно въ сторону любви. „Записки охотника“ подроставшіе не читали. Легионъ читалъ только романы и, читая, мечталъ о счастіи найти какого-нибудь Иларіона. И вышла потому эта любящая, ищущая и нѣжная дѣвушка, очертя голову, замужъ, и пошла колотиться и бродить, вѣчно неудовлетворенная, недовольная, скучающая, чего-то ищущая и подманивающая сама себя тѣми розовыми картинками, которыя отпечатались въ ея воображеніи при чтеніи Тургенева. Дѣйствительная жизнь у подобныхъ женщинъ выскользнула между пальцами, и погоня за тѣмъ, что разъ не далось и уже никогда не дастся, создала цѣлый рядъ разочарованій и путаницы въ бесполезномъ исканіи и кончилась простыми перемѣнами „идеаловъ“. Да, жалкій путь и жалкій опытъ жизни! И на совѣсти Тургенева лежитъ упрекъ за этихъ бѣдныхъ, слабыхъ и сбившихся женщинъ. Какой толкъ въ томъ, что Тургеневъ хотѣлъ доказать, что любовь губить, а не создаетъ счастье, что этого счастья въ ней нѣтъ, что любовь не соединяетъ, а скорѣе разлучаетъ, что это чувство вовсе не такъ возвышенно и благородно, какъ объ немъ обыкновенно думаютъ, что въ немъ бездна эгоизма и расчета, что оно рабство, а не свобода, что оно отвлекаетъ мысли въ одну сторону и мѣшаетъ всякому настоящему дѣлу, что, наконецъ, оно не успокаиваетъ, а томить? Вѣдь ни одна изъ легиона не прочла этого у Тургенева, и всѣ его шопенгауэрскія доказательства пропали даромъ. Даже въ тѣхъ романахъ, гдѣ дѣло шло вовсе не о любви, Тургеневъ на первомъ планѣ ставилъ любовь и непремѣнно розовую, юношескую, свойственную извѣстному физиологическому возрасту, точно безъ этой сладкой приправы не можетъ существовать на свѣтѣ ни одна идея и не дѣлается на свѣтѣ ни одно дѣло. И Ріенци любилъ свою Нину, и Нина обожала Ріенци, но это была любовь не тургеневскихъ героинь, это не была любовь того ранняго физиологическаго возраста, у котораго всѣ его помыслы, хотя и очень идеальные, приурочиваются къ шелковому пологу. Конечно, со времени карамзинскаго сентиментализма нашъ женскій легионъ выросъ, измѣнилъ свои вкусы, не поетъ ни „Вѣтки“, ни „Гусарь,

на саблю опираясь“, ни „Черной шали“, но тѣмъ не менѣе его любимымъ романсомъ осталась все та-же любовная пѣснь, и другихъ пѣсень мы пока не слышимъ и не поемъ.

Реализмъ Золя неизмѣримо ближе къ жизни. Пускай Золя не настолько художникъ, чтобы дать изящные образцы, соответствующіе его требованію, но это удѣлъ многихъ сильныхъ умовъ. И Лесингъ въ „Натанъ“ былъ менѣе талантливъ, чѣмъ онъ этого требовалъ отъ другихъ, и сила его художественнаго творчества была слабѣе его идей. Что-же изъ этого? А изъ этого слѣдуетъ, что довольно дать и идею. Идея важнѣе таланта, когда пробивается путь, и таланты идутъ за идеями, а не идеи за талантами. Во всѣ времена руководящая идея была всегда выше таланта. Отъ этого белетристы и романисты никогда не стояли на высотѣ своего времени, а всегда шли за критикой и за людьми логической и философской мысли. И у насъ публицисты и критики были всегда впереди белетристовъ. Рядомъ съ Бѣлинскимъ не стояло равнаго ему романиста, и его идеи проводились романистами, когда уже Бѣлинскаго не было. Точно также и во времена Добролюбова и Писарева не было равнаго имъ романиста, и пора ихъ, кажется, не наступила. Даже теперь, когда, повидимому, у насъ нѣтъ совсѣмъ литературной критики, вы не найдете между романистами и белетристами людей настолько-же знающихъ, образованныхъ, развитыхъ и понимающихъ, какихъ вы найдете между критиками. Это фактъ, въ которомъ легко убѣдиться.. Публицистика, несмотря на то, что ей гораздо труднѣе высказываться, говоритъ все-таки неизмѣримо больше, чѣмъ белетристика, пользуясь наибольшими возможностями.

Публика и особенно женскій легіонъ недовольны реализмомъ Золя за грубость, съ какою онъ будто-бы относится къ женскому чувству и не даетъ ему отдохнуть на болѣе свѣтлыхъ картинахъ. Это положительное недоразумѣніе. У cadaго народа свои требованія времени, свои нравы, свои внутреннія отношенія, своя жизнь, а, слѣдовательно, и свои характеры. типы и герои. У французовъ необщественно развито чувство пониманія долга, т. е. того наслѣдственнаго, созданнаго культурой, доброжелательства, по которому всякія личныя чувства и личные апетиты должны уступить чувству гуманности и чувству любви въ ближнему. Въ этомъ

вся сущность нравственности, и понятно, что у французовъ она должна быть выше, чѣмъ у насъ. Чувство долга развито у насъ вообще очень слабо, да и вообще оно не особенно культивировалось до сихъ поръ нашими романистами. Впрочемъ, въ послѣднее время въ русской литературѣ можно замѣтить перемѣну направленія въ эту сторону. Такъ, госпожа Шапиръ, да и не одна она, пытается поставить чувство долга и дружбы выше розовой любви и даетъ имъ больше правъ на челоуѣка и большее нравственное значеніе. Поворотъ-ли это къ лучшему, значить-ли это, что для преобладанія въ романѣ розовой любви проходитъ пора, какъ она прошла уже для сентиментализма, — сказать еще утвердительно нельзя; но, судя по царящему у насъ упадку нравовъ и упадку мысли, нужно думать, что въ художественной литературѣ явится реакція противъ преобладавшаго въ ней прежде исключительнаго любовнаго направленія. Это направленіе привело не къ тому, что легионъ сталъ любить чище и выше, что онъ разрѣшилъ лучше вопросы семьи и личнаго счастья. Оно привело только къ легкомыслію, къ упадку нравовъ и нравственныхъ требованій, привело къ тому, что извѣстная часть общества, и прежде не отличавшаяся серьезностью интересовъ, чуть не стала глумиться надъ всякой порядочностью и даже не понимаетъ, что есть вещи, съ которыми невозможно никогда прикирчиться и которыя будутъ вѣчно возмущать. „Человѣкъ, который пересталъ возмущаться, потерялъ разумъ“, говоритъ Шопенгауэръ. Сильно, но все-таки вѣрно. Въ томъ, что легионъ пересталъ возмущаться и желаетъ, чтобы и имъ не возмущались, виноваты немало представители нашей художественной литературы, эти вожди и пророки, на которыхъ съ такимъ благоговѣніемъ смотрѣлъ легионъ и ждалъ отъ нихъ святого, руководящаго и очищающаго слова. И ни одинъ изъ нашихъ маститыхъ романистовъ, — ни Тургеневъ, ни Гончаровъ, ни графъ Толстой, не говоря уже про такихъ циниковъ-писателей, какъ Писемскій, — не поработалъ ради очищенія и облагороженія нравовъ, а если и поработалъ, то неумѣло; съ этимъ слѣдуетъ согласиться и во всякомъ случаѣ опровергнуть этого нельзя. Вотъ противъ подобной-то безвліятельной литературы и говоритъ Золя, когда требуетъ, чтобы литература служила для общества очищающимъ гор-

ниломъ. И не одинъ Золя требуетъ этого. Даже такіе кабинетные люди, какъ Блунчли, и тѣ скорбятъ объ утратѣ современнымъ обществомъ высшихъ идей, т. е. о преобладаніи апетитовъ, о погонѣ за чувственными удовольствіями, за физическимъ счастьемъ, объ исключительномъ стремленіи къ „веселью“ и къ погонѣ за матеріальными средствами. Стремленіе къ наживѣ оттого и явилось, что упала идея. Человѣкъ сталъ жить больше физически, чѣмъ умственно, и вся современная европейская жизнь, уже не говоря про нашу, стала очень низменной. И кто-же придалъ подобный характеръ общественной жизни? Какъ-разъ тѣ, кому именно и живется лучше. Этотъ лучше живущій и обезпеченный чело-вѣкъ такъ-же плохо понялъ идею времени, какъ дѣвушки плохо поняли шопенгауэровскій пессимизмъ Тургенева.

Дѣло происходило такъ. Съ двадцатыхъ годовъ явилось новое движеніе европейской мысли и выдвинулся вопросъ о положеніи массы, о положеніи народа. Всѣ писатели и изслѣдователи писали и изслѣдовали только въ этомъ направленіи и, противъ всякаго ожиданія піонеровъ мысли, случилось то, чего они, конечно, вовсе не предвидѣли. Низшимъ и бѣднымъ братомъ вообразилъ себя вовсе не мужикъ, который не читалъ ни романистовъ, ни изслѣдователей, и который не зналъ, что о немъ писалось, а бѣднымъ и несчастнымъ вообразилъ себя интеллигентъ и культурный чело-вѣкъ и съ особенной развязностью, позабывъ, что рѣчь была вовсе не о немъ, кинулся въ погоню за личнымъ счастьемъ, за матеріальнымъ удовольствіемъ и придалъ всей жизни эгоистичный, мелкій, буржуазный и фривольный характеръ. О, культурный братъ! Да развѣ о тебѣ шла рѣчь, когда литература говорила о бѣдныхъ и несчастныхъ? Вѣдь ты не сравнительно, а въ дѣйствительности ходишь въ пурпурѣ, ты ѣшь на серебрѣ, спишь подъ шелковымъ пологомъ и наслаждаешься всякими обладаніями! Ты несчастливъ отъ своей испорченной мысли, возбужденныхъ апетитовъ, несчастливъ только оттого, что у тебя всего слишкомъ много. Твое несчастіе, которое ты на себя напускаешь, есть несчастіе пресыщенія и кара за него. Выходя изъ-подъ шелковаго полога, ты чувствуешь себя недовольнымъ, потому что въ тебѣ не совсѣмъ еще умерли совѣсть и чувство общественной любви. Вѣдь ты все-таки живой чело-вѣкъ и потому,

„Дѣло“, № 9, 1879 г. 22

что ты еще не совѣмъ погрязъ, ты въ свѣтлыя минуты сознанія стыдишься самого себя, стыдишься того, что искалъ удовольстворенія только подъ шолковымъ пологомъ и не сумѣлъ создать себѣ счастья, отъ котораго легко на душѣ. Въ тѣхъ чувствахъ и аппетитахъ, которыми ты жилъ, ты его и не найдешь.

Золя обвиняютъ въ томъ, что онъ даетъ грязь жизни. Да что-же подѣлаешь, когда только эта грязь и заслоняетъ дорогу впередъ? Кто-же ее расчиститъ, когда мы ее даже вовсе и не замѣчаемъ? Пускай ни вы, ни я, ни третій, ни десятый повинны тутъ ни въ чемъ и не мы создали грѣхъ, а грѣхъ создалъ насъ, но растолкуйте намъ нашъ грѣхъ, господа Гончаровы и Тургеневы. А растолковали-ли вы намъ его? Нѣтъ. Вы насъ манили только померанцевыми рощами, и когда мы превратились въ грязь, когда мы стали не людьми, а человѣческимъ мясомъ, и стали жить только своимъ мясомъ, не вы намъ растолковали, почему намъ скверно, а сами мы почувствовали, что намъ нехорошо. Намъ именно нужно было растолковать, отчего каждый изъ насъ чувствуетъ себя несчастнымъ и неудовлетвореннымъ и ищетъ чего-то, и не знаетъ, гдѣ искать и какъ найти; но какой-же художникъ-литераторъ сдѣлалъ это? Былъ одинъ писатель, который далъ, дѣйствительно, эпическую поэму русской жизни — Гоголь. Но онъ далъ одну грязь, а теперь явилась другая грязь, и для картинъ этой грязи не нашлось пока еще ни одного живописца.

Когда, съ легкой руки Григоровича, заговорившаго о народѣ, нашъ пишущій реализмъ сталъ давать картины изъ народнаго быта, онъ давалъ эти картины, конечно, не для народа, а для насъ. Но и народа, какимъ онъ есть, не далъ до сихъ поръ еще ни одинъ русскій писатель. Да и народъ-ли намъ нуженъ, картинами-ли его мы просвѣтимся? Мужикъ какъ стоялъ, такъ онъ и стоитъ до сихъ поръ на томъ-же мѣстѣ и не сдвинется съ этого мѣста, пока не пойдемъ впередъ мы, интеллигенты и культурные люди. А развѣ мы идемъ? Никогда еще мысли культурнаго человѣка, а, слѣдовательно, и его нравственность, не падали такъ низко и никогда еще онъ не бывалъ такой помѣхой самому себѣ и всему, что стоитъ за нимъ. Кто-же, какой романистъ, какой писатель далъ намъ картины этого душевнаго упадка? Въмѣсто этого поэты и романисты высиживали изъ себя идеальныя стремленія и давали „идеалы“. Но не идеалы расчистятъ

дорогу, а возбужденное сознание мерзости собственной грязи, той самой мерзости, которою мы такъ недовольны въ картинахъ Золя. Вотъ единственная послѣдовательность для художественной мысли, и другой послѣдовательности у нея нѣтъ и быть не можетъ. Вы говорите, что Золя не великій художникъ. Правда. Но дайте намъ хоть одного Золя, — и вы увидите, какъ много новаго онъ намъ скажетъ, какъ подробно онъ вскроетъ намъ нашу жизнь и какъ пріемомъ Клода Бернара онъ сниметъ бѣльма съ нашихъ глазъ. Вся наша бѣда только въ томъ, что мы именно не видимъ и не знаемъ себя. Мы слишкомъ бѣдны мыслями, а многихъ чувствъ въ насъ и вовсе еще не достааетъ. Чувство долга по отношенію къ ближнему въ насъ вовсе не пробудилось, и человѣкъ съ развитымъ чувствомъ долга у насъ такъ-же рѣдокъ, какъ человѣкъ съ развитымъ чувствомъ свободы. Едва-ли въ Европѣ найдется другой народъ, въ которомъ-бы царила такая сумятица понятій, какъ у насъ, такая двойственность и такая масса внутреннихъ противорѣчій. Когда наши добровольцы пошли освобождать болгаръ, ихъ возмущало отсутствіе въ братушкахъ чувства свободы и патриотизма, и во имя той-же свободы они драли братушекъ нагайками. Освобождая болгарскій народъ, мы провозгласили Милана королемъ и гнали народъ присягать въ вѣрности тѣмъ-же нагайками. Даже въ томъ самомъ розовомъ чувствѣ, въ которомъ насъ такъ старательно воспитывали Гончаровы и Тургеневы, мы не научились ровно ничему: на каждомъ шагу вы встрѣтите женщинъ и мужчинъ, которые могутъ любить въ одно и тоже время двухъ — одного физической любовью, а другого нравственной, вродѣ той героини, которую взяла, конечно, изъ дѣйствительной жизни, г-жа Шапиръ. И г-жа Шапиръ права, когда говоритъ, что Валерія непонятна, что она сама себя не понимаетъ и оттого вѣчно томится. Еще-бы ей не томиться, когда она вѣчно, какъ маятникъ, то посидитъ на крышѣ со своимъ амуромъ, то ищетъ удовлетворенія своихъ нравственныхъ и умственныхъ потребностей на другихъ людяхъ! Что это за сумбуръ чувствъ и понятій и вѣчной раздвоенности между тѣломъ и душой? Кто-же разобралъ и разложилъ, и объяснилъ намъ всю эту путаницу и всю ту ложь взаимныхъ отношеній, которая является слѣдствіемъ такого сумбура? И кому извѣстенъ этотъ міръ безконечной русской нравственной путаницы чувства и

мысли, душевной кутерьмы и неопредѣленности, безконечныхъ противорѣчій, смѣси лжи съ правдой, наружной гордости съ внутренней униженностью, смѣлости и трусости, вѣшняго достоинства и внутреннего рабства? Казалось-бы и жить нельзя въ подобной душевной каторгѣ, а ничего, живемъ и даже съ младенческой невинностью смотримъ на міръ божій, довольны собою и спимъ спокойно! Давала-ли наша литература что-нибудь изъ этого внутреннего, психическаго міра, открыла-ли она намъ на него глаза, помогла-ли она нашему сознанию? А если она этого не сдѣлала, а рисовала лишь тургеневскіе и гончаровскіе идеалы, концентрируя весь міръ человѣческой души въ однихъ сумрачныхъ пополуночіяхъ, то не будутъ-ли правы тѣ, кто потребуетъ отъ литературы болѣе реальнаго отношенія къ жизни и пожелаесть, чтобы русская душа была вскрыта глубже и подробнѣе такими мастерами, какими въ физиологіи является, напр., Блодъ Бернаръ? Ну, конечно, только реальные писатели могутъ взяться за подобную задачу, и истинно реальной будетъ только та литература, которая ее исполнитъ.

Н. Шелгуновъ.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

МУЖИКЪ ВЪ САЛОНАХЪ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛЕ- ТРИСТИКИ.

(Окончаніе.)

VII.

Въ „Деревенскомъ дневникѣ“ г. Успенскаго собраны, главнымъ образомъ, всѣ тѣ его деревенскія впечатлѣнія и наблюденія, за которыя одни изъ проницательныхъ рецензентовъ окрестили его прозвищемъ пессимиста, „измѣнника народному дѣлу“, ненавистника деревни, западника, а другіе—приравняли къ Вольтеру. Посмотримъ, въ чемъ-же состоятъ эти вольтеріанско-пессимистическо-западническія и деревенско-фобскія свойства наблюденій автора.

Если не ошибаемся, особенно сильное впечатлѣніе на гг. рецензентовъ произвелъ воспроизведенный имъ, со словъ одного крестьянина, рассказъ о звѣрской расправѣ съ Федюшкой-конокрадомъ. Крестьянинъ начинаетъ рассказъ съ описанія мученій, которыя онъ и его товарищи испытывали въ одну темную, непогожую ночь, когда они должны были сторожить лошадей. „Ночь была темная-растемная, и сыро, и вѣтеръ, и валить съ ногъ-то, а все крѣпишься, держишься, потому напуганы мы въ ту пору очень шибко: что ни день, то откуда-нибудь и идетъ слухъ—тамъ вчера тройку угнали, а тамъ пару... Стало, какъ-никакъ надоть крѣпитесь съ вечера до полуночи, да и за полночь-то, такъ часу до второго справлялись... Морить-морить тебя, клонить сонъ-то, встрехнемся, и опять въ ходъ пошелъ. А вѣдь устанешь за день-то въ эту пору, не приведи Богъ: съ трехъ часовъ утра на работѣ, да цѣлый

день до сумерекъ... Самое бѣдовое время..." и т. д. Измученные непосильною дневною работою, полу-голодные, дрожа отъ холода, эти бѣдные люди лишены права на отдыхъ даже и ночью. Въмѣсто того, чтобы распрямить на печкѣ свои наболѣвшіе члены и подкрѣпить себя сномъ для завтрашней страды, они, по наряду отъ міра, должны, въ бурную, зимнюю ночь, исполнять роль сторожевыхъ псовъ: должны охранять самое драгоценное имущество міра — лошадей — отъ покушеній и расхищенія „злыхъ людей". Можете себѣ представить, сколько злобы и ненависти должны они чувствовать въ эти минуты къ этимъ „злымъ людямъ". Поставьте на ихъ мѣсто какого угодно культурнѣйшаго изъ культурныхъ людей, поставьте самого ангела кротости и терпѣнія, и тѣ, по всей вѣроятности, испытывали-бы тѣ-же самыя чувства. Вспомните, наконецъ, какую роль въ крестьянскомъ хозяйствѣ играетъ лошадь и какой, ничѣмъ не вознаградимый, вредъ наносятъ ему конокрады, и не одному ему, а всему „міру", и васъ, какимъ-бы нѣжнымъ сердцемъ вы ни обладали, едва-ли удивить или возмутить то обстоятельство, что наши озлобленные и измученные караульщики жестоко избивали конокрадовъ, когда, наконецъ, ихъ подкараулили. Бли они ихъ, впрочемъ, какъ-бы въ безпамятствѣ, подъ вліяніемъ сильнаго афекта, явившагося какъ результатъ продолжительнаго и чрезмернаго нервнаго напряженія. Сорвавъ на нихъ свою первую злобу, караульщики вздумали ихъ вести въ волость. Но конокрады хорошо знали, какъ отнесется къ нимъ міръ; „одинъ изъ нихъ, помоложе, взмолился: „не ведите, моль, насъ по деревнѣ, други милые! Убьютъ насъ! Охъ, отцы мои родимые!.. Вѣдь я —вашъ землякъ, сывовскій... Пожалуйте своего-то... Я Федоръ..." „Въ ту пору, продолжаетъ раскащикъ, — не вдомекъ намъ было, каковъ-таковъ Федоръ, а, признаться, жалковато будто становилось... и сказалъ-было я: „а что, ребята, не отвести-ли, въ самомъ дѣлѣ, ихъ въ волость задами?" Да дерни дурака, Федьку, сказать эти слова, что, моль, „вашъ я землякъ, сывовскій..." „А, моль, такой-сякой, такъ ты своимъ землячкамъ вредъ, напримѣръ!.." И опять замутило въ сердцѣ. „Веди, ребята, деревней!" гаркнули товарищи, и поволокли мы ихъ улицей... къ старостѣ, который, по словамъ раскащика „за мірское дѣло горой стоялъ, правду любилъ пуще глазу, зеницы ока..." Староста, какъ человѣкъ вполне „мірской", предложилъ судить грабителей своимъ, мірскимъ судомъ и сейчасъ-же отправился „поднимать народъ". Собралась вся деревня и, увлеченная примѣромъ и поддускиваніями старосты, забила конокрадовъ до смерти. Убивать ихъ не хотѣли, да такъ ужъ случилось — рука разошлась; „никто не думалъ, раскачиваетъ караульщикъ, что убьетъ до смерти, всякій билъ за

себя, за свое огорченіе, не считалъ, что и другіе бьютъ. А какъ увидѣли—два покойника, оторопь и обуяла всѣхъ. Всѣ въ разсыпную... На всѣхъ насъ страхъ напалъ“. Впрочемъ, не одинъ страхъ, но и жалость. „Забрало меня за ретивое, говорить разскащикъ, — какъ увидалъ, что глаза у Федюшки (конокрада) помутились. Федя, говорю, тебѣ-бы молочка испить“. Шевелить губами и сказать не можетъ. „Испей, Фединька, молочка-то... можетъ отойдетъ“. Но Федя успѣлъ только чуть слышно прошептать: „м-медку-бы“ и испустилъ духъ. Крестьянъ, принимавшихъ участіе въ расправѣ, предали, разумѣется, суду; но присяжные оправдали ихъ...

„Какое варварство, какое звѣрство, какое невѣжество! Изъ-за лошади истязать такъ человѣка! Гдѣ-же эта, воспѣваемая г. Златовратскимъ и иными народофилами, гуманность, человѣчность русскаго мужика? Гдѣ-же эта отзывчивость на чужое горе, эта всепрощающая любовь? Помилуйте, да это просто какой-то дикій, бѣшеный звѣрь, котораго только палкою да страхомъ и можно еще какъ-нибудь сдерживать. Дайте-ка ему волю, всѣхъ перекусаетъ, камня на камень не оставитъ!“ восклицаютъ съ злорадною улыбкою господа „охранители“, для которыхъ народъ то-же, что ладанъ для бѣса. „Ну, это ужъ вы преувеличиваете, почтительнѣйше возражаютъ имъ либералы, дѣлающіе народу „глазки“. — Во-первыхъ, рассказанный г. Успенскимъ случай—крайне рѣдкій, исключительный, и онъ не даетъ намъ ни малѣйшаго права дѣлать какія-нибудь общія заключенія относительно нравственныхъ качествъ крестьянина. Во-вторыхъ, хотя крестьяне поступили съ конокрадами нѣсколько безчеловѣчно, однако, говоря по чистой совѣсти, ихъ нельзя за это строго осуждать: войдите въ ихъ положеніе; вспомните, какую роль въ крестьянскомъ хозяйствѣ играетъ лошадь, какой страшный ущербъ наноситъ ему конокрадъ и т. д.“

На-счетъ хозяйственнаго значенія лошади и г. Успенскій тоже распространяется. Онъ тоже указываетъ на него, какъ на обстоятельство, смягчающее вину крестьянъ. „Лошадь, говоритъ онъ,—подруга и подпора въ великой крестьянской нуждѣ; посягать на эту подругу и подпору худо, даже подло и мерзко“. Но все-же, глядя на этихъ добродушныхъ мужиковъ, съ полнымъ сознаниемъ правоты своего дѣла бившихъ и забившихъ конокрадовъ, г. Успенскій находитъ ихъ „ни въ чемъ неповинныя, физиономіи не совсѣмъ чистыми; на душѣ его „становится нехорошо“, и ему „невольно припоминается миленькая, умненькая кошечка, умывающая лапкой свой невинный ротикъ, запачканный кровью только-что замученной ею мыши“.

Ну, прекрасно, пусть гг. либералы подыскиваютъ смягчаю-

щія обстоятельства, а гг. охранители негодуютъ и злорадствуютъ. Для насъ нисколько не могутъ быть важны тѣ чисто-субъективныя ощущенія, которыя эпизодъ, описанный г. Успенскимъ, возбуждаетъ въ сердцахъ и умахъ культурныхъ людей; для насъ важно понять и уяснить себѣ тѣ чисто-психологическіе мотивы, которые его вызвали. Конечно, лошадь играетъ важную роль въ крестьянскомъ обиходѣ, но въ лошади-ли тутъ все дѣло? Представьте себѣ, что вы идете по улицѣ; на васъ нападаетъ разбойникъ и отнимаетъ вашъ кошелекъ, въ которомъ спрятаны всѣ ваши капиталы. Вамъ, разумѣется, жаль вашихъ капиталовъ; теряя ихъ, вы, быть можетъ, губите все свое будущее, вы становитесь нищимъ, вашей женѣ и дѣтямъ грозитъ голодная смерть. Что вы дѣлаете? Если вы человѣкъ смѣлый, сильный и энергичный, вы броситесь на грабителя и, при помощи самоличной расправы, попытаетесь вернуть себѣ похищенную у васъ собственность. Если-же вы человѣкъ болѣе благоразумный и сдержанный, чѣмъ рѣшительный и увлекающійся, вы кричите караулъ и вызываете къ посредничеству предержавшихъ властей. Предержавшія власти, со свойственными имъ неукоснительностью и мужествомъ, заберутъ злодѣя, котораго въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ несомнѣнно должна будетъ постигнуть участь, предусмотрѣнная въ такой-то и такой-то статьѣ уложенія о наказаніяхъ. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ, т. е. и въ случаѣ „личной расправы“, и въ случаѣ примѣненія статей уложенія о наказаніяхъ, вашъ грабитель будетъ поставленъ въ весьма незавидное положеніе, въ едва-ли многимъ лучшее положенія сычевскихъ конокрадовъ. Культурные люди, конечно, не осудятъ васъ. Можетъ быть, среди нихъ найдется какой-нибудь сантименталистъ, который, чего добраго, не прочь будетъ пожалѣть вашего грабителя: „жаль, скажетъ онъ; —изъ-за нѣсколькихъ сотенъ или десятковъ рублей человѣкъ погибаетъ“; но онъ сейчасъ-же утѣшитъ себя мыслію, что вѣдь и ваше-то положеніе было ужасное: всего состоянія лишились!.. Гдѣ ужъ тутъ владѣть собою! При томъ-же и священный принципъ собственности, и великій принципъ нравственности, что всякое зло должно быть наказуемо! Все это такъ. Вы поступили на „законномъ основаніи“, и, съ точки зрѣнія господствующей морали и экономической мудрости, вы вполне и безусловно правы. Но, скажите по совѣсти, подъ влияніемъ какого мотива вы дѣйствовали? Во имя чего вы искалѣчили или предали „въ руки правосудія“ ограбившаго васъ вора? Исключительно во имя своего собственнаго, личнаго интереса; вами руководилъ чисто-эгоистическій мотивъ; вамъ было жаль потерять ваше имущество; вы слишкомъ любили (а за эту любовь васъ не обвинить, конечно, ни одинъ культурный человѣкъ) свой

кошелекъ, и ради этой-то любви къ своему кошельку, ради этой-то жалости потерять свое, быть можетъ, дѣйствительно, кровавымъ трудомъ нажитое имущество, вы и сгубили человѣка.

Но представьте себѣ теперь другой случай. Положимъ, дѣло идетъ тоже о кошелькѣ, только не о нашемъ, а о кошелькѣ людей близкихъ вамъ, людей, съ которыми вы чувствуете себя вполне солидарными, солидарными не во имя какихъ-нибудь кровныхъ, болѣе или менѣе эгоистическихъ связей, а во имя интересовъ и симпатій общественнаго, такъ-сказать, альтруистическаго характера... Положимъ, что на этотъ не вашъ, а чужой кошелекъ совершается посягательство. Вы вступаетесь за право и интересы вашихъ ближнихъ и ради нихъ, ни на минуту не колеблясь, подвергаете себя (какъ это сдѣлалъ староста сычевской волости, мірской человѣкъ Иванъ Васильевъ) весьма тяжелой отвѣтственности, ради нихъ вы нападаете на посягателей и, смотря по вашему темпераменту, по степени вашей возбужденности и т. п., вы или предаете ихъ въ руки правосудія, или-же расправляетесь съ ними лично. Ваша личная расправа можетъ выразиться иногда (а именно, когда вы дѣйствуете подъ вліяніемъ сильнаго аффекта) въ формѣ весьма и весьма непривлекательной, быть можетъ даже болѣе непривлекательной, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда вы защищали свои личные права и интересы. Въ обоихъ случаяхъ видимый результатъ вашей дѣятельности одинъ и тотъ-же: въ обоихъ случаяхъ вы губите человѣка, при помощи-ли „правосудія“ или при помощи револьвера, кулака и т. п. Но какая разница въ мотивахъ, руководящихъ вашею дѣятельностью! Въ первомъ случаѣ вы дѣйствовали исключительно подъ вліяніемъ любви къ своему кошельку, а во второмъ случаѣ—подъ вліяніемъ любви къ своему ближнему, подъ вліяніемъ сознанія своей съ нимъ солидарности, подъ вліяніемъ сложившагося въ вашемъ умѣ идеала правды и справедливости. Въ первомъ случаѣ вы являетесь эгоистомъ, неуклонно и беспощадно защищающимъ свои личные, хотя, быть можетъ, и вполне законные интересы, во второмъ—альтруистомъ, мірскимъ человѣкомъ, ставящимъ интересы міра, интересы своихъ ближнихъ выше своихъ собственныхъ интересовъ. Въ первомъ случаѣ вами руководитъ чувство индивидуальной собственности, во второмъ—чувство солидарности и порожденное имъ идеальное представленіе о правдѣ и справедливости.

Подъ какой-же случай подходитъ расправа сычовцевъ съ злополучными конокрадами? Сычовскіе караульщики караулили не однихъ своихъ, а мірскихъ лошадей; сычовцы мстили конокрадамъ не за свое раззореніе—конокрады не украли у нихъ ни одной лошади, а вообще за крестьянское раззореніе. Иванъ Ва-

сильевъ, который первый подалъ знакъ къ бою, который первый бралъ на себя отвѣтственность за всѣ послѣдствія расправы, стоялъ не за свое имущество, не за свой кошелекъ, а за имущество общественное, за мірской кошелекъ. Самъ г. Успенскій, котораго гг. либеральные рецензенты порицаютъ за черезчуръ песимистическое отношеніе къ мужицкой душѣ, признаетъ, что хотя сычовцы и жестоко поступили съ конокрадами, но что каждый изъ нихъ, и въ особенности главный зачинщикъ расправы, староста, дѣйствовалъ подъ вліяніемъ сознанія правоты своего дѣла, мстилъ не за свое горе, а за горе ближняго. „Я чудесно понимаю, говоритъ г. Успенскій, — что вполне достойна уваженія та энергія, съ которою человекъ (рѣчь идетъ о сычовцахъ), не задумываясь ни на одну минуту, каралъ другого человека, желавшаго сдѣлать ближнему худо“; а далѣе онъ статистируетъ тотъ фактъ, что сычовцы били конокрадовъ „безо всякой задней, дурной или злой мысли“, что въ этомъ актѣ ихъ расправы выразилось лишь ихъ желаніе, ихъ готовность, „не жалѣючи себя, до конца постоять за правое дѣло“ („Дер. Дневн“., стр. 234, 235).

Замѣтьте еще при этомъ, что, по словамъ мужика г. Успенскому о расправѣ съ конокрадами, расправа, быть можетъ, совсѣмъ-бы и не имѣла такого непривлекательнаго характера, совсѣмъ-бы и не окончилась такъ печально, еслибы „дуракъ Федька“ не проговорился, „что я, молъ, вашъ землякъ, сычовскій“. „Какъ! Нашъ-же, да противъ насъ-же! Своимъ вредъ нанести! Вѣдь это измѣна, отступничество, ренегатство! И въ сердцахъ мірскихъ людей снова „замутило“, говоритъ рассказчикъ. Да и не могло быть иначе. Чѣмъ сильнѣе развито въ человекѣ чувство солидарности, чѣмъ ближе къ сердцу принимаетъ онъ общіе, мірскіе интересы, тѣмъ сильнѣе, тѣмъ мучительнѣе потрясаетъ его всякое отступничество отъ этихъ интересовъ, всякое нарушеніе этого чувства солидарности. Только люди, живущіе исключительно индивидуальной жизнью, только люди, всегда и неуклонно слѣдующіе той мудрой морали, которая учитъ, что „всякій за себя“, „моя хата съ краю, и я ничего не знаю“, „своя рубашка ближе къ тѣлу“ и т. п., только такіе люди способны съ индифферентною сдержанностью и благоразумнымъ равнодушіемъ относиться къ измѣнникамъ общему дѣлу, къ отщепенцамъ, оскорбляющимъ чувство „мірской“ солидарности.

Такимъ образомъ, если мы на минуту отрѣшимся отъ тѣхъ чисто-субъективныхъ ощущеній, которыя невольно возбуждаются въ насъ представленіями объ окровавленномъ и изувѣченномъ человекѣ, о звѣрскихъ, обезображенныхъ ненавистью и злобою, лицахъ его мучителей, о претерпѣваемыхъ имъ страда-

няхъ, о его стонахъ и вопляхъ; если мы отрѣшимся отъ этихъ ощущений и взглянемъ на дѣло съ точки зрѣнія тѣхъ нравственно-психологическихъ мотивовъ, подъ вліяніемъ которыхъ дѣйствуютъ эти люди, то мы должны будемъ признать, что актъ крестьянскаго самосуда надъ конокрадами не только не противорѣчить чувствамъ „мірской“ солидарности и преданности общимъ интересамъ, чуткости и отзывчивости къ горю ближняго и инымъ нравственнымъ качествамъ, воспѣваемымъ г. Златовратскимъ, но, напротивъ, только этими качествами онъ и можетъ быть объясненъ.

Крестьяне-присяжные, отправляясь въ округу, встрѣчаютъ лѣсника, заарестованнаго какого-то бѣднаго мужичка, покусившагося искать себѣ топлива въ чужомъ лѣсу. Связанный и, разумеется, порядочно избитый, воръ стоналъ въ дровняхъ, за которыми плелась его старуха-жена, громко плача и причитая. Крестьяне стали укорять лѣсника за его безчеловѣчіе и настаивать на освобожденіи злополучнаго мужичка. „Зима-то вѣдь какая, убѣждали они его,—въ кулакъ-то не надынешься! Ты вѣдь—старикъ; въ гробъ-то смотричи, добро-бы не слѣдъ упускать“ и т. д., и т. д. Въ концѣ-концовъ они съумѣли такъ ловко угадать и затронуть нѣжныя, симпатическія струны въ очерствѣвшемъ сердцѣ звѣроподобнаго лѣсника, что онъ растрогался до слезъ и отпустилъ свою добычу на всѣ четыре стороны.

И тѣ-же крестьяне, только не изъ пенъковской, а изъ сычовской волости, изловивъ конокрадовъ, избиваютъ ихъ до-смерти.

Филаретушка (въ „Устояхъ“), Андрей Васильевичъ (въ „Черной работѣ“) и староста Иванъ Васильевъ (изъ „Деревенскаго Дневника“) — люди мірскіе; они всецѣло отдали себя на служеніе общественнымъ интересамъ; они до мозга костей проникнуты чувствомъ солидарности съ „обществомъ“, а между тѣмъ, какъ, повидимому, различно они поступаютъ! Первые двое представляются намъ въ образѣ простодушныхъ, самоотверженныхъ филантроповъ, жертвующихъ своими личными интересами, подвергающихъ себя всевозможнымъ посмѣяніямъ и униженіямъ (Филаретушка) ради своего ближняго. Помочь ближнему въ нуждѣ, облегчить его горе, сдѣлать такъ, чтобы жить ему было лучше,—такова единокрушная задача всей ихъ дѣятельности, единственная цѣль всей ихъ жизни. Послѣдній, напротивъ, рисуется передъ нами, въ видѣ какаго-то ходячаго воплощенія „дикихъ и невѣжественныхъ“ (съ точки зрѣнія „охранителей“) инстинктовъ „черни непросвѣщенной“. Когда къ нему приводятъ конокрадовъ, онъ становится чистымъ звѣремъ. Онъ „скрипитъ зубами“ и наускиваетъ на воровъ всю деревню. „Лица на немъ человѣческаго не было, повѣствуетъ раз-

сказкиъ, — рукава засучилъ, побѣлѣлъ, ровно полотно. — „Ребята, говорите, своимъ судомъ грабителей!“ И что есть силы-мочи даль... значить, по skulls одному и другому. — „Бей!“ гаркнулъ онъ. Ну, тутъ ужь... ужь тутъ мы и свѣту не взвидѣли...“ и т. д. (ib., стр. 227).

Но какъ ни мало, повидимому, общаго въ поступкахъ пеньковцевъ, освободившихъ лѣсокрада, и сычовцевъ, до-смерти забывшихъ конокрада, въ дѣйствіяхъ Филаретушки, безкорыстно „облакастующаго“ за „мужицкія нуждишки“, Фомушки, проповѣдующаго всепрощеніе, и Ивана Васильева, подстрекающаго своихъ односельчанъ къ убійству, къ беспощадному каранію „воровъ-грабителей“, тѣмъ не менѣе всѣ эти поступки вызваны однимъ и тѣмъ-же чувствомъ... Одно и то-же чувство, чувство преданности мірскому интересу, чувство общественной солидарности, чувство любви къ ближнему, дѣлаетъ одного человѣка палачомъ, убійцей, другого — мученикомъ и жертвою. Нравственный характеръ чувства въ обоихъ случаяхъ одинаковъ; различна лишь внѣшняя форма его проявленія. Почему-же въ одномъ случаѣ оно проявляется въ формѣ грубаго самоуправства (какъ, напр., въ случаѣ съ конокрадомъ), въ другомъ—въ формѣ самопожертвованія и всепрощенія (какъ, напр., оно проявилось у Филаретушки и въ случаѣ съ лѣсокрадомъ)? Это зависитъ отъ тѣхъ внѣшнихъ, независимыхъ отъ воли человѣка, обстоятельствъ, при которыхъ ему приходится дѣйствовать. Поставьте пеньковцевъ (крестьяне-присяжные) на мѣсто сычовцевъ, и они поступили-бы съ конокрадами точно такъ-же, какъ поступили послѣдніе; наоборотъ, поставьте сычовцевъ на мѣсто пеньковцевъ, они точно такъ-же заступились-бы за лѣсокрада и растрогали-бы лѣсника до слезъ...

VIII.

Но если при расправѣ съ конокрадомъ сычовцы руководились тѣми-же чувствами, дѣйствовали подъ вліяніемъ того-же нравственнаго мотива, которымъ руководствовались и подъ вліяніемъ котораго дѣйствовали пеньковцы, обитатели Волчьаго поселка, Филаретушки, Фомушки, Андреи Васильевичи и т. п., то тутъ возникаетъ вопросъ: почему-же чувство общественной солидарности, сдѣлавшее изъ нихъ убійцъ и палачей конокрада Федюшки, не помѣшало имъ допустить дойти Федюшку до конокрадства? Вѣдь Федюшка не родился-же конокрадомъ; вѣдь это они сами, они, его земляки и односельчане, поставили его въ такое положеніе, что ему ничего болѣе не оставалось, какъ приняться за коно-

крадство. Онъ былъ сыномъ нѣкоторой дѣвицы; родивъ его, дѣвица вздумала пойти замужъ. Родня мужа ни за что не согласилась взять къ себѣ незаконно-прижитаго ребенка. Сдали его на руки какой-то бѣдной тетки-старухи. Пока тетка жива была, и Федькѣ жилось недурно. Но она скоро умерла, и онъ восьми лѣтъ, остался сиротою. Началъ онъ побираться; добрые люди дѣлились съ нимъ, чѣмъ могли: кто дастъ одежонку, кто накормить, кто пріютить. Работы отъ него никакой не спрашивали, и мальчикъ привыкъ жить мірскимъ подаяніемъ, какъ говорится, „избаловался“. Хотѣли-было его отдать въ подпаски, да отъ пастуха онъ бѣжалъ; какіе-то шутники рассказали ему, будто въ городѣ есть какое-то сиротское призрѣніе... „зданіе большое-пребольшое, и живетъ тамъ двадцать тысячъ сиротъ безродныхъ. Царь сдѣлалъ. И всѣхъ кормятъ на царскій счетъ, и у каждого свой сундукъ и одежда отъ царя. А по двадцатому году всѣхъ сиротъ женятъ, и идутъ они въ царскіе крестьяне... И земли даютъ, и дома, и скотину; одно слово: живи не тужи...“ Повѣрилъ мальчикъ этимъ розказнямъ, пошелъ отыскивать сиротское призрѣніе и попалъ, разумѣется, въ острогъ. Черезъ полгода начальство водворило его на родину, т. е. къ сычовцамъ. Привезли его въ деревню, посадили на улицѣ и предоставили ему промыслять о своемъ дальнѣйшемъ существованіи, какъ знаетъ. Опять онъ принялся за милостыню. Въ милостыни-то ему не отказывали, но на ночлегъ пускать, послѣ острога, побаивались. Повертѣлся Федька, такимъ образомъ, съ недѣлю и опять убѣжалъ, а черезъ шесть лѣтъ его сычовцы и поймали въ конокрадствѣ.

Итакъ, развѣ не деревня, не „міръ“ виноваты въ томъ, что изъ Федьки, вмѣсто солиднаго и обстоятельнаго мужика, вышелъ воръ и раззоритель крестьянскаго добра? „Міръ“ выбросилъ его на улицу, оставилъ его безъ пріюта и призора, не далъ ему никакихъ средствъ для самостоятельнаго, честнаго труда, развилъ въ немъ съ ранняго дѣтства привычку къ праздности, бродяжничеству и къ жизни на чужой счетъ. Онъ поставилъ его въ такое положеніе, что ему ничего болѣе не оставалось, какъ или весь свой вѣкъ нищенствовать, побираться мірскимъ подаяніемъ, или сдѣлаться воромъ, разбойникомъ, конокрадомъ. И когда мальчикъ предпочелъ воровство нищенству, міръ казнилъ его мучительною смертью... Гдѣ-же тутъ справедливость? Гдѣ тутъ гуманность и всепрощающая любовь? Гдѣ тутъ чувство общественной, мірской солидарности?

И сколько такихъ Федекъ, выброшенныхъ на улицу, безпріютныхъ, голодныхъ, оборванныхъ, можно отыскать въ любой изъ нашихъ деревень! Копечно, съ точки зрѣнія людей буржуазной мо-

рали, — пропагандистовъ „самопомощи“ и „самодѣтельности“, строгихъ блюстителей принципа: „каждый за себя и для себя“, — „миръ“ не можетъ и не долженъ быть привлекаемъ къ отвѣтственности передъ судомъ общественной нравственности за существованіе среди него Федюшекъ. Вся отвѣтственность падаетъ на самихъ Федюшекъ. Въ деревнѣ-ли не найти работы? И если они, вмѣсто того, чтобы добывать себѣ средства къ существованію честнымъ трудомъ, предпочитаютъ кормиться мірскимъ подавнѣемъ, бродяжничать и воровать, то что-же удивительнаго, если имъ часто приходится и голодать, и не-досыпать, и мерзнуть, и попадаться въ острогъ, и подвергаться, ся крестьянскому самосуду? Имъ не на кого пенять, кромѣ какъ на самихъ себя. Захоти они только работать, и отъ работы отбою не будетъ. Вѣдь вотъ и Федюшку-же опредѣлили миръ подпаскомъ. Чего лучше? Работай онъ усердно, оправдай онъ довѣріе міра и пошелъ-бы онъ далеко: его-бы сдѣлали пастухомъ, а тамъ, быть можетъ, ему удалось-бы и землицы себѣ добыть, или на чужой работѣ деньжонки скопить, пуститься въ торговлю и т. д. При энергіи и трудѣ, въ какихъ-нибудь десять, двадцать лѣтъ изъ него могъ-бы выйти мужикъ солидный, обеспеченный или ловкій торговецъ-барышникъ, передъ которымъ и господа помѣщики не постыдились-бы шапку снимать. А еще лѣтъ черезъ десять и онъ могъ-бы, чего добраго, забрать въ свои руки цѣлую округу и всѣхъ сычовцевъ за поясъ затенуть; онъ могъ снять казенные подряды по части продовольствія войска, заполучить нѣсколько концесій на желѣзныя дороги, вступить въ компанію съ Губонинымъ, Башмаковымъ и Поляковымъ. Вѣдь и Губонины, и Поляковы начали почти такъ-же, какъ и Федюшка, а посмотрите, какіе вышли изъ нихъ солидные и почтенные люди и какую силу они имѣютъ, какую властью и какимъ почетомъ они пользуются, какія великія услуги оказали (а что еще будетъ въ будущемъ!) они своему отечеству, какую надежную опору его благосостоянію они служатъ! А между тѣмъ ничто не мѣшало и имъ такъ-же кончить, какъ кончилъ Федюшка. Да и мало-ли великихъ (или, по крайней мѣрѣ, очень богатыхъ) людей выходило изъ подпасковъ! Прочтите Смэйльса, вспомните о нашемъ Ломоносовѣ. Все дѣло — въ трудолюбіи и упорствѣ. Человѣкъ, развившій въ себѣ трудолюбіе и упорство, — находишь онъ въ положеніи, въ десять разъ худшемъ, чѣмъ Федюшка, — всегда выйдетъ изъ него съ честью и утретъ носъ своимъ гонителямъ, притѣснителямъ и даже своимъ благодѣтелямъ. Напротивъ, человѣкъ, невыработавшій въ себѣ привычки къ упорному труду, — родись онъ въ трехъ сорочкахъ, имѣй онъ своимъ отцомъ Блюха или Полякова, — почти всегда кончается, если и не совсѣмъ

такъ, то почти такъ, какъ кончилъ Федюшка. Значить, общество, міръ, за Федюшекъ винить нечего; они сами во всемъ кругомъ виноваты.

Ну, хорошо. Чтобы меня не заподозрили въ пропагандѣ лѣности, въ отрицаніи личной вмѣняемости, въ посягательствахъ на священные принципы буржуазной морали, т. е., въ подрываніи „основъ“ общежитія, я готовъ допустить, что по отношенію къ Федюшкамъ суровые моралисты вполне правы. Притомъ-же Ломоносовъ, Поляковъ, Губонинъ... что противъ этого можно возразить? Но бѣда въ томъ, что мы сплошь и рядомъ встрѣчаемся въ нашей деревнѣ съ людьми, удовлетворяющими, повидимому, всѣмъ требованіямъ буржуазной морали, людьми очень трудолюбивыми, очень упорными, гнушающимися жить на „чужой счетъ“, ищущими спасенія въ самопомощи и самостоятельности, и, однако, эти люди „труда“ находятся въ положеніи не только не лучшемъ, а еще худшемъ, чѣмъ Федюшка, и, несмотря на все свое трудолюбіе и упорство, никакъ не могутъ изъ него выбиться. Послушайте, напр., что рассказываетъ г. Успенскій объ одной изъ своихъ прогулокъ по деревнѣ (изъ „Деревен. Дневн.“ „Отеч. Записки“, 1878, № 9).

„Гулялъ я,—говорить онъ,—по усадьбѣ; мимо меня проходилъ крестьянинъ съ двумя дѣтьми, дѣвочками, изъ которыхъ одну, полутора-годовую, онъ держалъ на рукахъ, а другую, двѣнадцатилѣтнюю, велъ за руку. Шли они медленно, такъ, какъ ходятъ нищіе, обремененные заботою высматривать человѣка, готоваго „подать“... Сходство съ нищими дополнялось еще и ихъ внѣшнимъ видомъ: даже и по-деревенски одѣты они были плохо, выглядывали бѣдно“. Пропускаю описаніе ихъ лохмотьевъ. Разсказчикъ принялъ ихъ, однимъ словомъ, за нищихъ. „Ты просишь?“ нерѣшительно спросилъ онъ. — „Что ты!“ съ нѣкоторымъ удивленіемъ взглянувъ на него, произнесъ крестьянинъ. — „Я сторожъ здѣшній... Господь милостивъ еще!.. Сторожъ, сторожъ, братецъ ты мой! Господь еще миловалъ отъ этого! А это вотъ внучки пришли ко мнѣ въ гости... Погулять вотъ пошли... Нѣтъ!.. Храни Богъ отъ этого!“ — „Худы они у тебя, дѣвочки-то“. — „Какъ не быть худымъ?.. Главная причина, другъ ты мой, пищи нѣту“. — „Какъ пищи нѣтъ?“ съ удивленіемъ спросилъ его нашъ деревенскій наблюдатель. — „Больше ничего, что нѣту! Была у насъ коровка, Господь ее у насъ взялъ, пала... Ну, молочка-то и нѣту“... — „Чѣмъ-же ты кормишь вотъ эту маленькую-то?“ допытывается наблюдатель. — „Чѣмъ? А что сами, то и ей... Кваску, хлѣбца“... „Что-же будешь дѣлать!.. Богъ дастъ, осенью-то, телочка подрастетъ, продадимъ, да своихъ за лѣто мнѣ придется за караулъ съ барина... вотъ изъ этихъ придамъ; вотъ Богъ дастъ и купимъ корову-то, ну, а поку-

да уже надо терпѣть... Ничего не подѣлаешь"... „Вотъ кабы лошадка была (а лошадка-то всего стоитъ 15 рублей), такъ я-бы за лѣто и совсѣмъ всталъ на ноги. Вотъ что, другъ ты мой, огорчаетъ-то! У меня жены нѣту, второй годъ померла; ихняго (онъ указалъ на дѣвочекъ) отца, моей дочки, стало-быть, мужа, въ солдаты взяли; вотъ я и ослабъ, а справиться способовъ нѣтъ"... — „Да ты здѣшній крестьянинъ-то?“ — „Знамо, здѣшній“. — „Такъ вѣдь тутъ у васъ товарищество, банкъ... Въ банкѣ возьми пятнадцать-то рублей“. — „То-то нашему брату не дадутъ изъ банкито!“ — „Отчего-же не дадутъ?“ — „Оттого, что не дадутъ, вотъ и все! Вѣдь тамъ, братецъ ты мой, ручателя надо представить, а гдѣ мнѣ его найдти? Случись неуправка, никому отвѣчать за тебя не охота,—это тоже надо понимать"... „Ослабъ очень! Ну, ничего не подѣлаешь! Надо терпѣть, и одно!“ И затѣмъ крестьянинъ съ улыбкою прибавилъ: „и то, пожалуй, съ твоей легкой руки собираться пойдешь... Право!.. Тьфу! Храни Богъ!“

Вотъ вамъ и самодѣтельность, вотъ вамъ и результаты упорнаго трудолюбія!

А между тѣмъ, по словамъ г. Успенскаго, „деревня, гдѣ живетъ этотъ горемыка-сторожъ, несчитающій себя нищимъ, безспорно. самая богатая, которую я (т. е., г. Успенскій) когда-нибудь и гдѣ-нибудь видѣлъ; да и не одна только эта деревня богата, т. е., щедро надѣлена естественными богатствами, богатъ весь край; край этотъ—приволье, степная самарская губернія, житница русской земли, гдѣ пять пудовъ зерна, посѣянные на десятинѣ земли, даютъ сто пудовъ, а зачастую и больше (ужь не хватили-ли вы немножко черезъ край?). Помимо удивительной земли, какіе здѣсь роскошные луга, какой обильный кормъ скоту“!.. „Деревня, о которой идетъ рѣчь, надѣлена всѣми этими благами природы ничуть не меньше другихъ здѣшнихъ мѣстъ; стоитъ она при рѣчкѣ, а другая, еще болѣе широкая, глубокая и богатая, течетъ не болѣе, какъ въ полверстѣ. Земли и луга, которыми владѣютъ крестьяне, удивительно тучные, богатые. Кромѣ того, въ самой деревнѣ, какъ подспорье этому природному богатству, есть еще подспорье денежное—ссудосберегательное товарищество, въ которомъ членами состоятъ хозяева рѣшительно всѣхъ семидесяти дворовъ деревни“. Прибавьте ко всему этому, что за деревней не имѣется, начиная съ 1861 года, ни единой копейки недоимокъ. Оброчныя статьи (мельница, рѣзка, кабакъ) покрываютъ всѣ налоги. „Что еще нужно,—вопрошаетъ г. Успенскій, — для того, чтобы человекъ, живущій здѣсь, былъ сытымъ, одѣтымъ, обутымъ, и если не богатымъ, то во всякомъ случаѣ, не нищимъ?“ Такъ самоувѣренно утверждаетъ деревенскій наблюдатель, „такъ

непремѣнно долженъ думать вслѣдй, кто знаетъ, что общинное, дружное хозяйство не только—спасеніе отъ нищеты, а есть единственная, общественная форма, могущая обезпечить всеобщее благосостояніе“...

...„И представьте себѣ, среди такой-то благодати не проходитъ дня, чтобы вы не наткнулись на какое-нибудь явленіе, сцену, разговоръ и т. д., и т. д., которыя ежеминутно разсѣиваютъ всѣ ваши фантазіи... Вотъ, рядомъ съ домою зрестьянина, у котораго накоплено 20,000 р. денегъ, живетъ старуха съ внучками; у ней не чѣмъ топить, не на чемъ состряпать обѣда, если она не подберетъ гдѣ-нибудь, воруячи, щепокъ, не говоря о зимѣ, когда она мерзнетъ отъ холода“.—„Но вѣдь у васъ есть общинные лѣса?“—„Нашей сестрѣ не дають отгѣдова“. Или: „Подайте Христа-ради!“ — „Ты здѣшняя?“ — „Здѣшняя“.—„Какъ-же это такъ пришло на тебя?“ — „Да какъ пришло-то? Мы, другъ ты мой, хорошо жили (т. е., не умирали съ голода и не просили милостыню), да мужъ у меня работалъ барскій сарай, да и свалился. Да вотъ и мается больше полгода. Говорять, что въ городъ надоть вести. да какъ его поведешь-то? Я одна съ ребятами... Землю міръ взялъ“...—„Какъ взялъ?“—„Да кто-же за нее души-то платить будетъ? Души сняли; видятъ, силы въ насъ нѣту, ну и землю взяли“.—„А работника нанять?“—„На что его наймешь? Откуда взять?“—„Да вѣдь у васъ есть касса общественная?“—„Тамъ „они“ „намъ“ не дадутъ“...

Приведа эти три случая (со сторожемъ,, съ бабой-нищей и съ бабой, „сбирающей щепки, воруячи“) г. Успенскій спрашиваетъ себя съ удивленіемъ: „Что-же это за волшебство? Что это за порядки, при которыхъ въ такой благодатной странѣ, при такомъ обиліи природныхъ богатствъ, можно поставить работающаго, здороваго человѣка въ положеніе совершенно безпомощное, можно довести его до того, что онъ среди этого эльдорадо (!) ходитъ голодный съ голодными дѣтьми и говорятъ: „главная причина, братецъ ты мой, пици нѣту у насъ! Вотъ!“ „Согласитесь, — продолжаетъ удивляться нашъ деревенскій наблюдатель, — что еслибы въ этой деревнѣ на семьдесятъ дворовъ вы встрѣтили только этого сторожа, только старуху и бабу, о которыхъ было сказано выше, то и тогда они должны были-бы поставить васъ въ тупикъ; но что скажете вы, когда такія непостижимыя явленія станутъ попадаться вамъ на каждомъ шагу, когда вы ежеминутно убѣждаетесь, что здѣсь, въ богатой деревнѣ, ничего не стоитъ „пропасть“ человѣку, такъ, даромъ, за ничто пропасть, тогда-какъ все благопріятствуетъ противному?“ (ib., стр. 10.)

По мнѣнію нашего наблюдателя, фактъ существованія бѣд-

ныхъ и нищихъ въ деревнѣхъ и безучастное отношеніе къ нимъ міра несомнѣнно указываютъ на какіе-то интеллектуальные недостатки и несовершенства, лежащія будто-бы въ основѣ деревенскихъ порядковъ. „Очевидно, говоритъ онъ въ другомъ своемъ деревенскомъ очеркѣ („Отеч. Зап.“, 1878, № 11), — тутъ есть, дѣйствительно, какая-то недоимка, только не въ крестьянскомъ карманѣ и не въ кассѣ контрольной палаты, а въ народномъ умѣ, развитіи и сознаніи“. Эта недоимка, по словамъ автора, несравненно болѣе тяжелымъ бременемъ ложится на деревню, чѣмъ всѣ налоги и недоимки въ государственномъ казначействѣ, и онъ съ наивнымъ удивленіемъ спрашиваетъ себя: „почему-же для деревни нужна только земля, частые или рѣдкіе переѣзды, почему нужно только увеличеніе надѣловъ, выгоновъ и т. п. и вовсе не нужно идей, которыя-бы освѣжили этотъ ссыхающійся на копейкѣхъ деревенскій умъ? Почему такъ много заботъ и вниманія сочувствующая народу пресса удѣляетъ недоимкѣ? Почему такія энергическія усилія энергическихъ умовъ направляются на изобрѣтеніе способовъ, которые уничтожили-бы это народное бѣдствіе? Вообще, почему бѣдствіе—только налоги и недоимки?“... (стр. 243.)

Г. Успенскій не понимаетъ этого. Конечно, это весьма прискорбно. Но мы видѣли уже выше, что г. Успенскій не понимаетъ и многого другого. Оставимъ его при его непониманіи, — какъ публицистъ и экономистъ, онъ для насъ нисколько не интересенъ, — и постараемся сами анализировать и уяснить, какъ истинный характеръ той интеллектуальной недоимки, о которой онъ говоритъ, такъ и тѣ общія, бытовыя, экономическія причины, которыя ее породили. Авось послѣ этого анализа и уясненія и г. Успенскій что-нибудь „пойметъ“.

IX.

Ввиду фактовъ, цитированныхъ выше, — ввиду всѣхъ этихъ Федюшекъ, горемыкъ-сторожей, старухъ „ворующихъ щелки“ съ холода, бабъ просящихъ милостыню съ голода, многого множества малыхъ и старыхъ безпріютныхъ, мерзнущихъ и голодающихъ, валяющихся въ грязи и пропивающихъ свое горе въ кабакѣ, продающихъ себя въ кабалу и стонущихъ подъ мірскими розгами недоимщиковъ, безземельныхъ бобылей, нищихъ и прочаго обездоленного и забитаго деревенскаго люда, — не должна-ли колебаться въ насъ вѣра въ общинную солидарность? Не имѣемъ-ли мы права усомниться въ силѣ, крѣпости и искрен-

ности тѣхъ альтруистическихъ чувствъ, которыя, по мнѣнію г. Зотовратскаго и нѣкоторыхъ другихъ изслѣдователей народной жизни, составляютъ и должны составлять характеристическую черту мужицкой души, слагавшейся и развивавшейся, въ теченіи многихъ вѣковъ, подъ непосредственнымъ вліяніемъ общинныхъ порядковъ? Если въ мірѣ деревни мы, сталкиваемся „на каждомъ шагу“, по словамъ г. Успенскаго, съ тѣми-же самими явленіями, которыя, повидимому, должны были-бы быть присущи одному міру „культурныхъ людей“, выростающихъ, развивающихся и дѣйствующихъ подъ вліяніемъ условій экономическаго быта, построеннаго на принципахъ индивидуализма, соперничества и хозяйственной обособленности, то не доказываетъ-ли это обстоятельство, что и деревенскіе порядки не совсѣмъ свободны отъ этихъ вліяній? Нравственныя качества людей всегда являются какъ-бы отпечаткомъ, продуктомъ тѣхъ общественно-экономическихъ условій, среди которыхъ живутъ эти люди. Какъ по общественно-экономическимъ условіямъ можно съ полною достовѣрностью судить о нравственныхъ качествахъ, такъ и наоборотъ: по послѣднимъ можно судить о характерѣ первыхъ. Когда мы видимъ передъ собою людей, постоянно грызущихся другъ съ другомъ изъ-за „моего“ и „твоего“, вѣчно занятыхъ заботою о своемъ благѣ, неуклонно проводящихъ въ жизнь доктрины узко-эгоистической, индивидуалистической морали, дѣлающихъ изъ своего я центръ всего сущаго и во имя и ради этого я считающихъ не только своимъ правомъ, но даже своею священнѣйшею обязанностью жертвовать всѣмъ, что лежитъ внѣ его сферы; тогда вы смѣло можете утверждать что въ основѣ связывающихъ ихъ общественныхъ отношеній, въ основѣ экономическаго строя ихъ жизни лежитъ принципъ индивидуальной экономической обособленности и экономическаго соперничества. Вы безъ особаго труда возсоздадите въ своемъ умѣ, по крайней мѣрѣ въ общихъ чертахъ, наиболѣе типическія условія ихъ экономическаго быта. Очевидно, экономическіе интересы этихъ людей несолидарны; иными словами: подѣливъ между собою тѣмъ или другимъ способомъ всѣ, имѣющіяся въ наличности, средства къ удовлетворенію своихъ потребностей, каждый изъ нихъ, если можно такъ выразиться, замыкается въ сферу этихъ средствъ; такъ-какъ чѣмъ больше эта сфера, тѣмъ болѣе обезпечивается его благосостояніе и счастье, то, естественно, онъ необходимо долженъ стремиться къ расширенію ея границъ. Но понятно, что если всѣ, въ наличности имѣющіяся, средства къ существованію подѣлены на *мое* и *твое*, то, расширяя сферу *моею*, я волею неволею долженъ утѣснять и ограничивать сферу *твоею*. Говорятъ (впрочемъ, теперь это говорятъ только завѣдомые шарлатаны, ко-

торымъ выгодно обманывать свою публику), будто сферу *своею* можно увеличивать и приумножать не только на-счетъ сферы ближняго, но и другимъ путемъ, а именно путемъ личнаго, производительнаго труда. Но дѣло въ томъ, что личный, единичный, изолированный трудъ, неосложненный чужимъ трудомъ (трудомъ, напр., вложеннымъ въ разнаго рода орудія производства и т. п.), никогда не увеличиваетъ (а если увеличиваетъ, то въ очень слабой степени) сферу данныхъ средствъ къ существованію, а только охраняетъ, такъ-сказать, консервируетъ ихъ, воспроизводитъ ихъ по окончаніи каждаго рабочаго процесса, въ болѣе или менѣе прежнемъ видѣ. Прогрессивное значеніе, — въ смыслѣ прогрессивнаго увеличенія средствъ къ существованію, — трудъ получаетъ лишь тогда, когда онъ перестаетъ быть трудомъ изолированнымъ, единичнымъ, и становится трудомъ коллективнымъ. Анахоретъ, добывающій средства къ существованію однимъ своимъ личнымъ, индивидуальнымъ трудомъ, сколько-бы онъ ни трудился и какъ-бы долго ни жилъ, никогда не увеличитъ ни на единую іоту этихъ средствъ: онъ оставитъ своему наслѣднику ровно столько-же, сколько самъ получилъ. Вотъ почему, такъ-называемые, „дикіе народы“, т. е. народы, среди которыхъ трудъ изолированный является господствующею формою производительнаго труда, живутъ сотни, тысячи лѣтъ и, несмотря на свою тысячелѣтнюю работу, не увеличиваютъ ни на-волосъ своего матеріальнаго благосостоянія, не обнаруживаютъ ни малѣйшихъ признаковъ экономическаго прогресса.

Слѣдовательно, —повторяю опять, —когда всѣ средства къ существованію подѣлены на *мои* и *твои*, между *моимъ* и *твоимъ* неизбежно должна начаться взаимная борьба, взаимное соперничество: *мое* не иначе можетъ увеличить сферу своихъ средствъ, какъ на-счетъ сферы средствъ *твоего*, а *твое* — на-счетъ сферы средствъ *моего*. Экономическимъ результатомъ этой борьбы является расширение сферы средствъ къ существованію немногихъ на-счетъ многихъ; а общественно-юридическимъ послѣдствіемъ — подчиненіе послѣднихъ первымъ. Юридическая и экономическая зависимость многихъ отъ немногихъ приводитъ, въ свою очередь, къ тому результату, что эти многіе, подъ угрозой голодной смерти, должны предоставить весь свой трудъ въ полное распоряженіе этихъ немногихъ. Вслѣдствіе этого, трудъ теряетъ свой прежній изолированный, индивидуальный характеръ и становится трудомъ коллективнымъ. Съ этого момента начинается, такъ-называемая, эра экономическаго прогресса. Коллективный трудъ содѣйствуетъ быстрому возрастанію матеріальнаго благосостоянія, но благосостоянія лишь немногихъ. Ихъ средства къ существованію постоянно

увеличиваются; но такъ-какъ они по-прежнему остаются разграниченными на *мое* и *твое*, то очевидно, что и прежняя борьба между *моимъ* и *твоимъ* не можетъ прекратиться. Напротивъ, она должна еще болѣе осложниться и обостриться, вслѣдствіе новыхъ отношеній, возникшихъ между *моимъ* и *твоимъ* „немногихъ“ съ одной стороны, а съ другой—между *моимъ* и *твоимъ* „немногихъ“ и *моимъ* и *твоимъ* „многихъ“.

Коллективный трудъ многихъ является теперь главнымъ и даже единственнымъ средствомъ увеличенія средствъ къ существованію немногихъ; поэтому само собою понятно, что возможно выгоднѣйшая для *моего* и наименѣе выгоднѣйшая для *твоего* эксплуатація этого труда служить для „немногихъ“ самымъ надежнымъ и могущественнымъ орудіемъ взаимной борьбы. Такимъ образомъ, эта взаимная и безконечная борьба „моего“ и „твоего“ осложняется теперь новымъ элементомъ: соперничествомъ немногихъ по части эксплуатаціи труда многихъ. При существованіи такихъ экономическихъ отношеній, нравственные принципы, сложившіеся на почвѣ изолированнаго труда и изолированнаго производства, должны, естественно, все болѣе и болѣе укрѣпляться и развиваться въ умахъ и сердцахъ людей. Нравственные принципы, или тѣ „правила поведенія“, которыя люди признаютъ для себя обязательными, всегда имѣютъ, какъ это давнымъ-давно доказано всѣми здравомыслящими моралистами, чисто-утилитарный характеръ; иными словами, составляя ихъ, люди всегда руководствуются (часто, впрочемъ, совершенно безсознательно) соображеніями на-счетъ того, насколько эти правила соотвѣтствуютъ или не соотвѣтствуютъ ихъ экономическимъ интересамъ, насколько они могутъ или не могутъ содѣйствовать увеличенію ихъ матеріальнаго благосостоянія, ихъ личнаго довольства и счастья. Если ихъ экономической интересъ требуетъ, чтобы каждый изъ нихъ заботился только о расширеніи своей индивидуальной сферы средствъ къ существованію, если онъ ясно показываетъ имъ, что отъ такого расширенія зависитъ все ихъ матеріальное благосостояніе и что достигнуть его возможно лишь на-счетъ сферы средствъ къ существованію ближняго и т. п., то было-бы совершенно немислимо и совершенно бессмысленно, еслибы ихъ нравственные принципы, ихъ „правила поведенія“ предписывали имъ діаметрально-противоположный образъ дѣйствій, еслибы они, напр., учили ихъ не заботиться о расширеніи сферы „своего“ на-счетъ сферы „ближняго“, не обращать въ свою пользу коллективнаго труда лицъ, находящихся отъ нихъ въ экономической зависимости и т. п. Вотъ почему, зная, каковы насущные экономическіе интересы даннаго общества или данной среды, мы знаемъ, каковы должны „дѣла“, № 9, 1879 г.

быть и его нравственные идеалы, его моральный кодексъ, а, слѣдовательно, и господствующія среди него нравственныя свойства и привычки. Раздѣленіе средствъ къ существованію на *мое* и *твое* неизбежно должно приучить человѣка не только къ обособленію, но прямо къ противоположенію своихъ интересовъ интересамъ своихъ ближнихъ. Разъ-же такое противоположеніе установилось, — взаимная борьба человѣка съ человѣкомъ становится дѣломъ настоятельной, экономической необходимости, а потому самому и нравственной обязанности. Борьба-же эта, въ свою очередь, выработываетъ въ человѣкѣ тотъ узко-своекорыстный индивидуализмъ, ту замкнутость въ узкой сферѣ личныхъ интересовъ, ту отчужденность отъ интересовъ „міра“, то равнодушное, безсердечное отношеніе къ чужому горю, къ чужой бѣдѣ, однимъ словомъ, всѣ тѣ анти-общественныя, эгоистическія качества, которыя характеризуютъ душу средняго культурнаго человѣка, — человѣка „буржуазной“ цивилизаціи. Зная экономическія основы этой цивилизаціи, мы не можемъ удивляться присутствію въ немъ этихъ качествъ. Но какими образомъ могли они возникнуть и развиться на почвѣ, проникнутой совершенно иными, повидимому, даже прямо противоположными имъ основами? Явленія деревенской жизни, указанныя выше, самымъ недвусмысленнымъ образомъ свидѣтельствуютъ о существованіи въ душѣ „человѣка деревни“ такихъ нравственныхъ свойствъ, которыя ни мало не соотвѣтствуютъ интересамъ „общинной жизни“. Жестокую расправу съ конокрадами и съ другими „ворогами“ „мірскаго блага“ мы легко еще можемъ объяснить себѣ чисто-альтруистическимъ мотивомъ, чувствомъ мірскаго солидарности; но безучастное отношеніе „міра“ къ Федюшкѣ-сиротѣ, но массы нищихъ, и съ голоду, и холоду умирающихъ бѣдняковъ въ тѣхъ „деревенскихъ эльдорадо“ (какъ выражается г. Успенскій), гдѣ и земли вдоволь, гдѣ хлѣбъ родится самъ-20-ть, гдѣ и налоговъ мало и недоимокъ нѣтъ, гдѣ, однимъ словомъ, мужикъ долженъ былъ-бы кататься, какъ сыръ въ масле!.. Какъ объяснимъ мы все это? Тутъ уже, очевидно, о солидарности и рѣчи быть не можетъ. Очевидно, что всѣ эти Федюшки, нищіе, голодающіе и мерзнущіе бѣдняки, бобыли, „обдѣленные“ души, всѣ эти „печальные пасынки“ міра — продуктъ его деревенскаго эгоизма и своекорыстія, т. е. продуктъ „культурныхъ свойствъ“ некультурнаго человѣка.

Но какъ-же у некультурнаго человѣка, у человѣка „общинныхъ порядковъ“ могли выработаться свойства людей культурныхъ, — людей буржуазной цивилизаціи, построенной на принципѣ индивидуализма и антагонизма экономическихъ интересовъ?

Самъ того не вѣдая и не подозрѣвая, г. Успенскій даетъ

намъ отвѣтъ на этотъ вопросъ въ томъ-же самомъ отрывкѣ изъ „Деревенскаго Дневника“, въ которомъ онъ такъ наивно скорбитъ, по поводу чрезмѣрной заботливости „прессы, сочувствующей мужику“, о крестьянскихъ налогахъ и недонимкахъ.

Въ этомъ отрывкѣ онъ говоритъ, между прочимъ, о крайне сложномъ, запутанномъ процесѣ *дѣлежа* общественныхъ земель. „Дѣло это (т. е. дѣлежъ),—говоритъ онъ,—по словамъ мужика-разскащика, происходитъ обыкновенно въ здѣшнихъ мѣстахъ такимъ образомъ: въ годъ передѣла всѣ общественники-землевладельцы, со старостою во главѣ, отправляются на мѣсто передѣла и, во-первыхъ, обходятъ общественную землю, дѣля ее на три поля; во-вторыхъ, обходятъ отдѣльно каждое поле (озимое, яровое, паръ), дѣля на участки по качеству,—также на три участка: хороший, средній и плохой; и, въ-третьихъ... но въ-третьихъ начинается нѣчто, для обыкновеннаго смертнаго непонятное. Представьте себѣ, что по раздѣлѣ земли на поля въ каждомъ полѣ оказалось по десяти десятинъ (говорю примѣрно), а по раздѣлѣ на участки по качеству десять десятинъ поля раздѣлились такимъ образомъ: хорошей, положимъ, оказалось двѣ десятины, средней—три, а плохой пять. Вотъ эти-то куски и требуется раздѣлить между всѣмъ миромъ, между восьмидесятью человѣками. Судите сами теперь, какая египетская работа нужна для того, чтобы опредѣлить ту цифровую дробь десятины, которая приходится на душу въ двухъ десятинахъ хорошей земли, съумѣть потомъ, по пчелиному, точно и вѣрно, безъ обиды отмежевать эту дробь на землѣ и т. д., и т. д.“

Еще болѣе сложная процедура при дѣлежѣ лѣсныхъ угодій. Тутъ опять: „во-1-хъ, міряне, по возможности, въ полномъ составѣ, назначаютъ участокъ, который подлежитъ срубкѣ, для чего всѣмъ миромъ дѣлаютъ обходъ этому участку; затѣмъ, во-2-хъ, вновь обходятъ отведенный участокъ и сортируютъ его на разряды, по качеству лѣса, причемъ топоромъ отмѣчаютъ деревья перваго сорта, второго и третьяго; и, въ-3-хъ... но въ-3-хъ опять происходитъ нѣчто поразительное, а именно: обойдя лѣсъ четыре раза, міряне дѣлаютъ каждый свою мѣтку или жребій со своей мѣткой; для этого берутся, по возможности, ровныя сучья, рубятся на ровныя пашки и на этихъ пашкахъ каждый мірянинъ ставитъ свой знакъ—кружокъ, крестикъ, крестикъ и палочку и т. д. Затѣмъ всѣ эти пашки складываются въ шапку старосты, и миръ, предшествуемый старостою съ шапкою, трогается въ путь, разумѣется, сначала къ деревьямъ перваго разряда. У перваго-же дерева весь миръ, всѣ восемьдесятъ человѣкъ останавливаются; староста вынимаетъ жребій, и дерево мѣтится тою-же мѣткой, какая стояла на жре-

біѣ. И затѣмъ такая процедура происходитъ буквально у каждаго дерева, каждаго куста, чуть-ди не у каждаго сучка...“ („Отеч. Записки“, 1878, № 11, стр. 237, 239).

Я не сомнѣваюсь, что многимъ (если не большинству) читателямъ можетъ показаться страннымъ и ни съ чѣмъ несообразнымъ, что я, для объясненія происхожденія нѣкоторыхъ нравственныхъ качествъ „деревенскаго человѣка“, занимаю ихъ разсказами о дѣлежѣ крестьянскихъ полей и лѣсовъ. Какое это можетъ имѣть отношеніе къ занимающему насъ вопросу?

Самое прямое: вникните только въ смыслъ, въ характеръ тѣхъ психологическихъ мотивовъ, которые лежатъ въ основѣ этого дѣлежа, и вы сейчасъ все поймете. Прежде всего вамъ бросается, конечно, въ глаза главный, такъ-сказать, руководящій мотивъ—чувство общинной солидарности, чувство равенства, чувство уваженія къ правамъ и интересамъ ближняго. „Все чтобы было поровну, чтобы никому не было обидно...“ „по чистой правдѣ и совѣсти: какъ одному, такъ и всѣмъ!“ — Весь міръ, въ цѣломъ своемъ составѣ, зорко и ревниво слѣдитъ за правильностью, за аптекарскою точностью дѣлежа; онъ не дозволитъ никого обдѣлать „ниже на единый сучекъ“. Немудрено, что культурному человѣку „мелочная“ заботливость міра о каждомъ изъ своихъ сочленовъ должна показаться (какъ она и показалась г. Успенскому) чѣмъ-то невѣроятнымъ, поразительнымъ.

Но если, съ одной стороны, въ этомъ ревнивомъ желаніи міра „никого не обидѣть“, „всѣхъ одѣлать поровну“ несомнѣнно проявляется чувство мірской солидарности, одушевляющее „мірскаго человѣка“, то, съ другой стороны, не проявляется-ли въ немъ или, лучше сказать, не воспитываетъ-ли, не развиваетъ-ли оно въ немъ и другое чувство,—чувство „индивидуальной обособленности“ или, какъ выражаются буржуазные экономисты-моралисты, чувство личной собственности? Какіе-бы возвышенно-альтруистическіе мотивы ни лежали въ основѣ имущественнаго дѣлежа, но, во всякомъ случаѣ, онъ всегда приводитъ въ результатъ къ однимъ и тѣмъ-же экономическимъ и нравственнымъ послѣдствіямъ, — послѣдствіямъ, о которыхъ я уже говорилъ выше. Замыкая людей въ тѣсныя, рѣзкими границами обведенныя, сферы *моего* и *твоего*, онъ изолируетъ, разобщаетъ ихъ личные интересы и, незамѣтно подтачивая въ нихъ чувство общинной солидарности, развиваетъ чувство индивидуализма и своекорыстнаго эгоизма. Разъ, хотя-бы даже только на извѣстное, заранѣе опредѣленное, время (извѣстно, что во многихъ деревняхъ, къ великой скорби правовѣрныхъ экономистовъ и буржуазныхъ моралистовъ, передѣлы совершаются въ довольно короткіе промежутки времени), средства къ существо-

ванію общинниковъ строго разграничены на *мои* и *твои*, разъ міръ говоритъ каждому изъ своихъ членовъ: „вотъ тебѣ участокъ; онъ твой, и все, что ты прибавишь къ нему, будетъ тоже твое; въ твое ни я и никто изъ твоихъ сосѣдей не сунетъ носа; все, что ты извлечешь изъ твоего, тоже твое; извлекай изъ него, какъ и сколько умѣешь и можешь, я въ это не вхожу, и меня ничто не касается; ты-же, со своей стороны, долженъ относиться съ такимъ-же уваженіемъ и съ такимъ-же индиферентизмомъ къ чужому, съ какимъ я и сосѣди будемъ относиться къ твоему; каждый поставленъ мною въ опредѣленный, замкнутый кругъ, изъ котораго онъ не можетъ выходить, но который онъ можетъ, по своему произволу, суживать или расширять; въ этомъ кругѣ каждый будетъ работать только на себя и для себя, а до другихъ ему не должно быть никакого дѣла“, разъ между міромъ и его отдѣльными единицами установились подобныя отношенія, — неизбѣжно должна возникнуть противоположность между интересами *твоего* и *моего*. Каждый, въ силу причинъ, объясненныхъ выше, будетъ стремиться расширить отмежеванный ему кругъ на-счетъ круга своего ближняго; отсюда взаимная борьба и, какъ ея естественный результатъ, превращеніе аптекарски-равномѣрнаго дѣлежа въ чистую фикцію и установленіе на практикѣ новаго имущественнаго распределенія, такого распределенія, которое ничѣмъ уже не напоминаетъ первоначальное теоретическое. Фактъ этотъ статуируется и г. Успенскимъ. „Почти тотчасъ по раздѣленіи земли аптекарски-правдиво, — говоритъ онъ, — на сцену выступаетъ, во-первыхъ, взаимное соглашеніе, а во-вторыхъ, нужда моментально сбиваетъ всю эту кучу геометрическихъ фигуръ, всѣхъ этихъ треугольниковъ, клинбевъ, угловъ, скрупуловъ, драхмъ и унцій въ одну перепутанную массу, совершенно уничтожающую аптекарскую правдивость передѣла: тутъ оказывается, что владѣльцы хорошихъ драхмъ предпочли взять побольше худыхъ золотниковъ; тутъ земля ускользнула, потому что „ты мнѣ подверженъ“, потому что нужда велитъ сдать ее въ наемъ, и т. д.; и т. д. до безконечности“. Такимъ образомъ, послѣ равномѣрнаго и безусловно-правдиваго дѣлежа „одни изъ получившихъ землю пошли домой вовсе безъ земли или съ правомъ только на худую землю, тогда-какъ другіе съ тѣмъ-же правомъ исключительно на хорошую“ (ib., стр. 238).

X.

Итакъ, оказывается, что если, съ одной стороны, общинный строй русской деревни и благоприятствуетъ возникновенію и раз-

внѣшнюю въ мужицкой душѣ альтруистическихъ чувствъ, то, съ другой стороны, въ немъ существуютъ и такіе экономическіе факторы, которые неизбѣжно должны развивать въ ней иныя чувства, чувства узко-эгоистическія, своекорыстныя; рядомъ съ чувствомъ мірской солидарности, въ ней, подъ ихъ вліяніемъ, крѣпнеть и растетъ и чувство индивидуальной обособленности; отсюда деревенская мораль получаетъ нѣкоторую раздвоенность и далеко не имѣетъ той простоты и того единства, которыми отличается мораль обитателей, напр., Волчьяго поселка или мораль Петровъ Ванифантьевичей, представителей городской цивилизаціи. Какіе принципы преобладаютъ въ этой деревенской морали: принципы ли Петровъ Ванифантьевичей или обитателей Волчьяго поселка? Для апостериорнаго рѣшенія этого вопроса, ни очерки г. Златовратскаго, ни рассказы г. Успенскаго не даютъ достаточнаго матеріала: г. Златовратскій—наблюдатель черезчуръ односторонній, а г. Успенскій черезчуръ поддается впечатлѣніямъ минуты, а потому его наблюденія носятъ характеръ какой-то отрывочности и случайности. Но разсуждая а priori, основываясь на современномъ экономическомъ положеніи русской деревни вообще, насколько это положеніе выяснено новѣйшими изслѣдователями, можно съ нѣкоторою вѣроятностью предполагать, что въ „мужицкой морали“ принципъ общинной солидарности играетъ болѣе выдающуюся роль, чѣмъ принципъ индивидуальной обособленности. Общность экономическаго положенія, общность нищеты и горя, одинаковость привычекъ и обычаевъ, выработавшихся подъ вліяніемъ одинаковыхъ общественныхъ и хозяйственныхъ порядковъ, постоянно поддерживаютъ и укрѣпляютъ чувство солидарности и представляютъ весьма мало благодарную почву для развитія чувства индивидуальной обособленности. Последнее чувство проявляется, повидимому (судя по крайней мѣрѣ по „Деревенскому дневнику“ г. Успенскаго), лишь въ сферѣ чисто-имущественныхъ отношеній. Такъ-какъ благополучіе каждаго зависитъ отъ величины и ненарушимости того *своею*, которое отобрѣлъ ему міръ, то само-собой понятно, что каждый дорожитъ этимъ *своимъ*, ревниво охраняетъ его отъ всякихъ постороннихъ посягательствъ и прилагаетъ всѣ свои старанія къ его возможному расширенію и увеличенію. Вотъ почему во всѣхъ вопросахъ, прямо или косвенно соприкасающихся съ *моимъ* и *твоимъ*, „человѣкъ деревни“ обнаруживаетъ въ весьма малой степени тѣ чувства, которыя на языкѣ буржуазной морали называются сантиментальностью, идеализмомъ и непрактичностью. О, вѣтъ, въ сферѣ этихъ вопросовъ онъ оказывается большимъ практикомъ, совершенно чуждымъ всякой сантиментальности, всякихъ „идеальныхъ бредней“. Но, замѣтите, только

въ сферѣ этихъ вопросовъ, въ сферѣ этихъ чисто-имущественныхъ отношеній. Въ сферѣ-же другихъ отношеній, несвязанныхъ съ роковымъ для него вопросомъ о *моемъ* и *твоемъ*, чувство общинной солидарности, чувство отзывчивости къ чужому горю почти всегда (опять-таки судя по тому-же „Деревенскому дневнику“, не говоря уже объ очеркахъ г. Златовратскаго) беретъ у него верхъ надъ чувствомъ индивидуальной обособленности. Возьмите для примѣра хоть отношенія міра къ злополучному Федюшѣ-вонокраду. Федюшка вспомнилъ и г. Успенскому, когда словоохотливый мужикъ-разскащикъ знакомилъ его со сложнымъ процессомъ дѣлежа мірскихъ полей и лѣсовъ. „Федюшка, — говоритъ онъ, — шатающийся за подаваніемъ, Федюшка, научающийся быть воромъ, надѣвая чужіе чулки, Федюшка, шествующій разъяскивать какое-то сиротское призрѣніе, вспомнилъ мнѣ въ ту самую минуту, когда разскащикъ рисовалъ мнѣ картину, не то, чтобы дѣлежа, а, прямо сказать, ощупыванія каждаго куста, каждаго сучка, и я невольно изумился передъ тѣмъ полнѣйшимъ отсутствіемъ всякаго вниманія къ участи человѣка, которая выпала на долю Федюшки... Почему на его долю не приходилось ни сучьевъ, ни полѣньевъ, ни геометрическихъ фигуръ? Почему, ощупывая каждое дерево, міряне не нащупали промежду себя брошеннаго на произволь судьбы сироты?“ И, однако, тѣ-же міряне, совершенно опустившіе изъ вида „сироту“, когда дѣло шло о дѣлежѣ на *мое* и *твое*, относились къ этому сиротѣ внѣ сферы „дѣлежныхъ“ отношеній съ несомнѣннымъ сочувствіемъ и задушевностью. Они не гнали его отъ себя (по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, покуда онъ не посидѣлъ въ острогѣ); и надо сказать прямо, поясняя разскащикъ г. Успенскому, „у насъ этого нѣтъ, чтобы прочь гнать, и безъ ночлегу Федюшкѣ жить не приходилось“. Каждый старался, по мѣрѣ своихъ средствъ, чѣмъ-нибудь да помочь ему; не особенно сердились на него даже и тогда, когда онъ изъподъ носа гостепріимныхъ хозяевъ таскалъ у нихъ разныя вещи, по части одежды и обуви. „Что съ него возьмешь? разсуждалъ обворованный хозяинъ.— Сирота!..“

Культурный человѣкъ, по всей вѣроятности, похлопоталъ-бы о помѣщеніи Федюшки въ какой-нибудь благотворительно-исправительный пріютъ и приобрѣлъ-бы себѣ этимъ славу „заступника сиротъ“, хотя эти „заступничества“ не стоили-бы ему, разумѣется, ни гроша „собственныхъ“ денегъ. Но зато, еслибы тотъ-же Федюшка стащилъ у него старую пару лайковыхъ перчатокъ (подобно тому, какъ онъ таскалъ новыя рукавицы у „людей некультурныхъ“), то онъ навѣрное счелъ-бы своею святою обязанностью немедленно препроводить его въ участокъ для составленія „про-

товола". У некультурныхъ людей нѣтъ никакой возможности помѣщать своихъ сиротъ въ какія-бы то ни было благотворительно-исправительныя заведенія; „сиротское призрѣніе“ рисуется въ ихъ умѣ въ видѣ какой-то фантастической утопіи, какихъ-то сказочныхъ бредней, вѣрить въ реальное существованіе которыхъ взрослому человѣку даже и непростительно. Своего „сиротскаго призрѣнія“ завести имъ не на что, да еслибы и было на что, то „какъ еще на это посмотреть?“ Поэтому ихъ альтруистическія чувства къ „вдовамъ и сиротамъ“, ко всѣмъ „униженнымъ, оскорбленнымъ“ и „обдѣленнымъ жизнію“, только и могутъ проявляться въ формѣ частной благотворительности, въ формѣ разныхъ „подачекъ“ и „кусочковъ“. Но, замѣтите при этомъ, что на эти „подачки и кусочки“ они смотрятъ не какъ на чисто частное дѣло, на дѣло совѣсти каждаго: „хочу, молъ, подамъ, хочу не подамъ, моя добрая воля“; нѣтъ, они смотрятъ на нихъ, какъ на свою общественную обязанность, на свой „мірской долгъ“. Слѣдовательно, въ основѣ ихъ, какъ и въ основѣ равножѣрнаго, „ни для кого необиднаго“ дѣлежа, лежитъ все то-же чувство „общинной солидарности“, и именно это-то чувство и проявляется въ отношеніяхъ „міра“ къ Оедюшкѣ (по крайней мѣрѣ въ тѣхъ отношеніяхъ, которыя обрисованы авторомъ „Оедюшки-конокрада“), несмотря на то, что „міряне“ не отвели на его долю „ни сучьевъ, ни полѣньевъ, ни геометрическихъ фигуръ“, несмотря даже на то, что они собственными руками избили его до смерти... Но почему-же міръ, нежалѣвшій для „сироты“ ни кусочковъ, ни подачекъ, обдѣлилъ его при дѣлежѣ? Кто въ этомъ виноватъ? Мы объяснили уже выше, что въ этомъ виноватъ самый фактъ дѣлежа. Когда лѣсъ рубятъ—щепки летятъ, когда дѣлятся—всегда и неизбѣжно должны быть и обдѣленные. Дѣлежъ безъ обдѣленныхъ такъ-же невозможенъ, какъ громъ безъ молніи, какъ огонь безъ свѣта. Но какъ примирить возникновеніе и существованіе факта индивидуальной обособленности и, какъ его слѣдствіе, вѣчной борьбы между *твоимъ* и *моимъ* съ чувствомъ общинной солидарности и равноправности? Отвѣта на этотъ вопросъ, мы, конечно, не можемъ ждать отъ белетристовъ; на него отвѣчаетъ исторія. Но область исторіи лежитъ за предѣлами белетристической критики; переступать-же эти предѣлы мы въ данную минуту, понятное дѣло, не можемъ, а потому и не будемъ; напомнимъ только то, что, впрочемъ, и безъ нашихъ напоминаній каждому должно быть извѣстно: что фактъ, о которомъ рѣчь идетъ, не есть дѣло рукъ „міра“, а дѣло обстоятельствъ, отъ „міра“ независящихся, и пока этихъ, „отъ міра независящихся, обстоятельствъ“ не существовало, не было и самаго факта. А въ чемъ собственно состоятъ

эти обстоятельства, это, я полагаю, безъ труда пойметъ и самый заурядный изъ заурядныхъ читателей, если только онъ дастъ себѣ трудъ еще и еще разъ прочесть разсказъ г. Успенскаго о дѣлежѣ мѣрскихъ полей и лѣсовъ. Если „мѣръ“ поставленъ въ необходимость съ такою аптекарскою осмотрительностью и акуратностью дѣлать всѣ эти „сучья и полѣнья“, не брезгая ни единой вѣточкой и ни единой хворостинкой, всѣ эти „драхмы и унціи“ земли, даже ни на что негодной, если онъ боится обчесться на одну какую-нибудь травку, на одинъ сучекъ, на четверть дюйма пашни, то что это доказываетъ? Къ взвѣшиванію какихъ тяжестей примѣняются обыкновенно аптекарскіе вѣсы: большихъ или малыхъ? Вѣшаютъ-ли на нихъ пуды или только драхмы и унціи? Ну, конечно, только драхмы и унціи. Прекрасно. При взвѣшиваніи мѣрскихъ надѣловъ, міру, какъ оказывается, приходится постоянно обращаться къ аптекарскимъ вѣсамъ; винить-ли въ этомъ эгоизмъ міра или „легковѣсность“ взвѣшиваемаго матеріала? Полагаю, что не нужно быть мудрецомъ, чтобы удовлетворительно рѣшить этотъ вопросъ, а послѣ удовлетворительнаго разрѣшенія его не трудно уяснить себѣ и ту общую причину, которая заставила мѣръ взяться за вѣсы. Очень вѣроятно, что сначала эти вѣсы не отличались точностью аптекарскихъ, но, пропорціонально „улегковѣшенію“ взвѣшиваемаго матеріала, неизбежно должна была возрастать и ихъ чувствительность. Но отчего происходило это улегковѣшеніе? Отъ обилія или недостатка полей и лѣсовъ? Отъ возрастанія налоговъ и недоимокъ, или отъ ихъ уменьшенія? Думаю, что на этотъ вопросъ безъ запинки и вполне удовлетворительно отвѣтить... даже и г. Успенскій. А если онъ, дѣйствительно, отвѣтитъ на него вполне удовлетворительно, то онъ сейчасъ-же, даже противъ своей воли и желанія, пойметъ: „почему для деревни нужна земля, почему нужно увеличеніе надѣловъ выгоновъ... почему такъ много заботъ и вниманія сочувствующая народу пресса удѣляетъ недоимкѣ? Почему такія энергическія усилія энергическихъ умовъ направляются на изобрѣтеніе способовъ, которые-бы уничтожили это народное бѣдствіе?..“ „Потому,— скажетъ онъ,— что въ этомъ-то именно и заключается коренная причина всѣхъ тѣхъ явленій въ экономическомъ строѣ современной общины, которыя развиваютъ въ ея членахъ чувство индивидуальной обособленности, разобщаютъ ихъ интересы, возбуждаютъ среди нихъ экономическую борьбу, подрываютъ чувство общинной солидарности, которыя, однимъ словомъ, отравляютъ простую, на чисто-альтруистическихъ принципахъ построенную, мораль обитателей Волчьяго поселка мудростью разныхъ Петровъ Ванифантьевичей и Платоновъ Абрамычей...“

Впрочемъ, очень можетъ быть, что онъ этого и не скажетъ, а скажетъ опять-таки то-же, что онъ и теперь говорить и что говорить очень многіе и очень честные и искренніе люди. Положить, разсуждаютъ они, извѣстный экономическій факторъ породилъ въ болѣе или менѣе отдаленномъ отъ насъ прошломъ нѣкоторыя нравственныя явленія, несовмѣстныя съ требованіями и интересами общественнаго благосостоянія и благополучія. Но если эти явленія существуютъ, и существуютъ съ „временъ незапамятныхъ“, если они уже пустили глубокіе корни и, такъ сказать, срослись съ нравственною природою человѣка, стали его второю натурою и т. п.,—то возможно-ли уничтожить ихъ простымъ только устраненіемъ породившаго ихъ фактора? Да и какъ его возможно устранить, когда порожденные имъ нравственные факторы настолько уже его развили и измѣнили, что ихъ самихъ теперь можно разсматривать, какъ причину? Они поддерживаютъ и укрѣпляютъ его, они не дозволяютъ прикасаться къ нему никакой дерзновенной рукѣ; поэтому, сначала, ихъ нужно уничтожить, нужно вырвать съ корнемъ вредныя привычки, безмысленныя идеи, анти-общественныя чувства, развившіяся въ людяхъ подъ ихъ вліяніемъ, нужно передѣлать, перевоспитать ихъ нравственную природу... и тогда, сами собою измѣнятся и тѣ внѣшнія условія, которыя, хотя прежде послужили первоначальною причиною возникновенія первыхъ, но теперь сами ими поддерживаются и питаются. Иными словами, когда вы натываетесь на такіе факты, на такія отношенія, которыя совершенно несовмѣстны съ интересами общаго благополучія, то, хотя и вполне справедливо, что существованіе этихъ фактовъ и отношеній въ-концѣ-концовъ можетъ и должно быть сведено къ нѣкоторымъ экономическимъ факторамъ, но, тѣмъ не менѣе, ихъ ближайшую и непосредственную причину слѣдуетъ искать не въ послѣднихъ, а въ извѣстныхъ нравственныхъ качествахъ, въ извѣстныхъ чувствахъ и идеяхъ деревенскаго человѣка. Эти чувства и идеи, порожденные данными условіями экономическаго быта, являются, въ свою очередь, ихъ неизблемою опорой; а потому, не устранивъ этой опоры, вы не измѣните этихъ условій, а, слѣдовательно, и тѣхъ противо-общественныхъ фактовъ и отношеній, которыя выросли и развились на ихъ почвѣ. Отсюда выводъ: чтобы не было денежныхъ, матеріальныхъ недоимокъ, нужно прежде всего и болѣе всего хлопотать о погашеніи „нравственной недоимки“, о внесеніи новыхъ идей „въ ссыхающійся на копейкѣ крестьянскій умъ“, о развитіи народнаго сознанія и т. п.

Что-же? Противъ „внесенія новыхъ, освѣжающихъ идей въ ссыхающійся на копейкѣ крестьянскій умъ“, противъ поднятія уровня народнаго развитія, расширенія горизонтовъ народной мысли

и т. п. никто ничего не говорить. Это дѣло очень хорошее; но осуществленіе его при данныхъ условіяхъ едва-ли можетъ быть признано „своевременнымъ“ и „удобнымъ“. Но предположимъ на минуту (болѣе какъ на минуту такихъ несбыточныхъ предположеній дѣлать нельзя), предположимъ, что дѣло это и своевременно, и удобно, предположимъ, что оно, дѣйствительно, ведется на практикѣ со всею надлежащею опытностью и требуемою осторожностью; на какой-же результатъ въ-концѣ-концовъ можемъ мы рассчитывать? Г. Успенскій, возлагающій на этотъ результатъ весьма блестящія надежды, отвѣчаетъ на нашъ вопросъ въ двухъ своихъ очеркахъ: „Деревенскій случай“ (изъ „Деревенскаго дневн.“, „Отеч. Зап.“, 1878, № 9) и „Разсказъ дьякона“ („Памятная кн.“, стр. 269—336), и, увы, этотъ отвѣтъ далеко не гармонируетъ съ этимъ блестящимъ ожиданіемъ.

XI.

Оба они написаны на одну и ту-же тему; въ обоихъ проводится одна и та-же идея, — идея о вредѣ вкушенія людьми ветхими въ нравственномъ отношеніи свѣжихъ плодовъ съ древа познанія добра и зла. Какъ только ветхій человѣкъ вкуситъ — сейчасъ либо плутомъ первостатейнымъ станетъ, либо сопьется, либо просто съума сходитъ да и другихъ съума сводитъ. Та-же идея проводится авторомъ и въ нѣкоторыхъ другихъ его очеркахъ, но всего рѣзче въ двухъ, только-что названныхъ. Поэтому только на нихъ мы и остановимся. Я не буду говорить о несомнѣнныхъ художественныхъ достоинствахъ этихъ едва-ли не самыхъ лучшихъ изъ послѣднихъ очерковъ и разсказовъ г. Успенскаго. Эстетическая оцѣнка ихъ для насъ не представляетъ въ данную минуту ни малѣйшаго интереса.

Герой „Деревенскаго случая“ (изъ „Дерев. Дневн.“, „Отеч. Зап.“, 1878, № 9), Кузнецовъ, былъ простой мужикъ, человѣкъ работающій, честный, добрый, и далеко не имѣлъ освинѣлой совѣсти. Женился онъ по любви „на подругѣ“ своего дѣтства. Жили они съ женой душа въ душу, наглядѣться другъ на друга не могли. Былъ у нихъ свой домъ, своя лавка; однимъ словомъ, семья была примѣрная. Всего было вдоволь, и яствъ всякихъ, и питій, и платьевъ, и денегъ, и любви, въ особенности любви, и торговля шла отлично. Чистѣйшее эльдорадо безмятежнаго, буржуазнаго счастья. Къ довершенію ихъ благополучія, родилась у нихъ дочь, „и что это былъ за ребенокъ, со слезами вспоминалъ разсказчикъ, — нельзя этого описать! То-есть души мы не чаяли всѣ—и я, и Милочка (же-

на), и старикъ-родитель, только тѣмъ и дышали. Ольгунькой (такъ звали дочку) любовались. Словомъ сказать—отрада. И жили мы, въ полномъ удовольствіи, и весело намъ всѣмъ, и мило, и дѣло пущено чисто; благородно все шло такъ, лучше требовать невозможно“ (стр 34).

Но не долго, однако, продолжалось это семейное блаженство. Скоро померъ старикъ-отецъ, а потомъ померла и дочка. Загрузилъ счастливый купчикъ со своею, не менѣе счастливою, Милочкою. Жаль имъ очень было дочки, но, конечно, „въ животѣ и смерти Богъ воленъ“: погрустили-бы, погрустили-бы, да и опять-бы зажили по-прежнему, новыхъ-бы дѣтокъ народили. Но на бѣду свою, Кузнецову случилось какъ-разъ въ моментъ семейнаго горя повстрѣчать какого-то просвѣщеннаго аптекаря. Просвѣщенный аптекарь намекнулъ ему довольно недвусмысленно, что въ смерти ребенка виновато его отцовское невѣжество и что вообще онъ со своей Милочкой живетъ по-скотски. „У васъ вѣдь, извѣтельно замѣтилъ онъ ему, — только и дѣла, что за прилавкомъ сидѣть, денежки получать, да съ женою спать. Ъдите да спите съ женами, больше и ничего! И дѣтей народите, то-же будутъ за прилавкомъ сидѣть да денежки считать“. „Да, и дѣтей заражать умѣете, а ходить за ними не умѣете; не знаете, что вредно, что полезно. Оттого и дѣти-то ваши мрутъ. А еслибы и не померли, то что толку? Какъ ты ихъ воспитывать-то будешь, когда самъ ничего не знаешь?“ и т. д. Слова эти перевернули кузнецовскую душу вверхъ дномъ; задумался онъ надъ ними, сна лишился, не зная просто, что ему дѣлать съ собою. Рѣшился, наконецъ, въ городъ къ аптекарю отправиться за книжками. Сталъ книжки читать; „сталъ я, рассказываетъ онъ самъ, — влюбляться въ размышленія, въ разсужденія. И, повѣрите-ли, въ слова, въ мысли, которыя пошли у меня ходить въ головѣ, я такъ-же сталъ влюбляться, какъ въ Милочку“. Но чѣмъ больше онъ сталъ влюбляться въ „размышленія и разсужденія“, тѣмъ все больше и больше охлаждалъ онъ къ своей Милочкѣ, тѣмъ все съ большимъ и большимъ отвращеніемъ начиналъ относиться къ окружающей его „свиной“ обстановкѣ. Подъ вліяніемъ просвѣтительныхъ людей, онъ совсѣмъ пересталъ жить съ Милочкой, какъ съ женою. Милочка возрощала и стала жаловаться своимъ роднымъ на холодность мужа. Пошли, какъ водится, семейныя дразги и ссоры. Милочка озлобилась, а онъ озлобился еще больше, запилъ горькую. Въ пьяномъ видѣ безобразничалъ и дошелъ, наконецъ, до того, что его „за жестокіе побои и истязанія жены“ отдали подъ судъ и уекли въ острогъ, а жена съ горя и побоевъ сошла съума.

Какъ послѣ этого не сказать, что не только корни, но и плоды просвѣщенія до крайности горьки!

А вотъ еще случай. Въ очеркѣ „На старомъ пепелищѣ“ (изъ „Памятной книжки“, стр. 160—251), г. Успенскій рассказываетъ намъ исторію нѣкой Вѣрочки, юнаго птенца одного изъ буржуазныхъ чиновничьихъ свиныхъ гнѣздъ. Вѣрочка, воспитанная и выросшая въ омутѣ лжи, обмана, наглаго грабежа, попранія всѣхъ человѣческихъ правъ, эгоистическаго скептицизма и безвѣрія, вышла по любви замужъ за одного честнаго столяра, менѣе ея образованнаго, но несравненно болѣе ея нравственно-развитого, чуждаго всякаго своекорыстія, всецѣло готоваго приносить себя постоянно и непрерывно въ жертву „благу ближняго“. „Подъ вліяніемъ его чистоты и искренности“, въ Вѣрочкѣ, по словамъ рассказчицы (рассказъ ведется отъ лица женщины), пробудилась и окрѣпла вѣра, что „есть, дѣйствительно, какая-то настоящая правда, кромѣ той, которой научили ее мы (т. е. свиные люди); я радовалась за Вѣрочку и думала: авось исцѣлится. И въ первое время она, повидимому, начала нравственно возрождаться. Мужъ устроилъ столярную артель; Вѣрочка помогала ему, и дѣла пошли отлично. Но недолго это продолжалось; старья, отъ предковъ унаслѣдованныя, привычки, идеи и чувства скоро взяли верхъ надъ „новыми“, и Вѣрочка заскучала, и ее противъ воли стало тянуть въ прежній омутъ. Но отвѣдя душу отъ лжи, она встрѣчала дома все ту-же непоколебимую вѣрность мужа и ей, и дѣлу. Эта-то преданность ей и дѣлу и терзали ее. Она каждую минуту должна была чувствовать, что въ ней нѣтъ ничего этого“. Искренность и честность мужа убивали ее. „Сохраняя постоянно изо-дня въ день, изъ минуты въ минуту, эту искренность, вѣрность любви, сознаніе важности дѣла, онъ заставлялъ ее ежеминутно, изо-дня въ день, изъ часа въ часъ, ощущать въ себѣ недостатокъ того, что есть въ немъ; она каждую минуту чувствовала, что она фальшивая, что она хитрая, что она нелюбящая. Покуда она не понимала, что съ нею дѣлается, она мучилась, протестовала, сваливала вину на то, на другое; но мужъ продолжалъ дѣлать все одно и то-же и довелъ ее, наконецъ, до того, что она поняла, что она и что съ ней. Она поняла, что въ ней нѣтъ ничего, что нужно для жизни, въ которой нѣтъ лжи. Словомъ, поняла себя и отравилась“ (стр. 246).

ХІІ.

Два человѣка спились и угодили подъ судъ, третій отравился, и все это благодаря „пробужденію въ нихъ человѣческой совѣ-

сти". Г. Успенскій цитируетъ еще нѣсколько случаевъ въ томъ-же родѣ. Но довольно и этихъ трехъ. Что-же это такое? Если „пробужденіе совѣсти“, если просвѣтлѣніе сознанія у людей со спящею совѣстью и темнымъ сознаніемъ сопряжено съ такими чрезвычайными физиологическими и психологическими опасностями, то не лучше-ли совѣмъ отказаться отъ всякихъ „пробудительныхъ“ и просвѣтительныхъ попытокъ? „Просвѣтляемымъ“ и „пробуждаемымъ“ они не даютъ ничего, кромѣ горя и мучительныхъ субъективныхъ страданій. Не столкнусь Вѣрочка съ „самоотверженнымъ“ столяромъ, одареннымъ „человѣческой совѣстью“, а купчикъ Кузнецовъ съ „просвѣщеннымъ аптекаремъ“,—жили-бы себѣ эти люди да поживали въ мирѣ, любви, согласіи и довольствѣ, и не было-бы имъ никакого резона ни спиваться, ни безобразничать, ни отравляться, ни стрѣляться. „Ахъ, зачѣмъ они, несчастные, съ ними встрѣтились? И зачѣмъ бездѣйствовало начальство? Отчего не пресѣкло оно зло въ самомъ корнѣ?—вознегодуютъ, чего добраго, господа охранители. Впрочемъ, они, я думаю, не столько вознегодуютъ, сколько порадуются. „Что, скажутъ они, самодовольно потирая руки,—развѣ мы не говорили раньше? Вотъ къ чему ведетъ ваша просвѣтительная пропаганда! Благодаря ей, народъ только отъ работы отбивается, спивается, безобразничаетъ, женъ колотитъ, семью начинаетъ отрицать и въ-концѣ-концовъ самъ на себя накладываетъ руки! Факты на лицо, и не мы сочинили ихъ, ихъ наблюдали и описали ваши-же собственные белетристы“.

Господа либералы, по свойственной имъ привычѣ всегда и во всемъ оправдываться и извиняться, могутъ, пожалуй, замѣтить на это господамъ охранителямъ, что печальный исходъ „пробужденія совѣсти“ въ разныхъ Кузнецовыхъ, Вѣрочкахъ Калашниковыхъ и т. п., если и говорить (какъ думаютъ гг. охранители) противъ полезности просвѣтительной пропаганды, то только противъ просвѣтительной пропаганды среди людей съ душою совершенно осви-нѣвшюю, но отнюдь не противъ пропаганды среди „мужиковъ“, душа которыхъ, по свидѣтельству белетристовъ, цитируемыхъ самими-же охранителями, несравненно болѣе доступна воспріятію альтруистическихъ чувствъ, чѣмъ души Кузнецовыхъ и имъ подобныхъ. Конечно, эти „смягченія“ и „извиненія“ гг. либераловъ едва-ли могутъ имѣть большое значеніе въ глазахъ охранителей уже по той одной простой причинѣ, что „мужицкую душу“ (чтобы тамъ имъ ни говорили белетристы) они всегда признавали и признаютъ за „свиную душу“ по преимуществу. Впрочемъ, я думаю, что „смягчительное замѣчаніе“ гг. либераловъ должно показаться и людямъ, въ послѣднемъ пунктѣ несогласнымъ съ

гг. охранителями, весьма и весьма мало удовлетворительнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, разъ идетъ рѣчь о нравственно-просвѣтительной пропагандѣ среди мужиковъ, значить, ео ipso предполагается существованіе въ „мужицкой душѣ“ нѣкотораго свинскаго элемента. Этотъ свинскій элементъ могъ развиваться въ ихъ душахъ только подъ влияніемъ извѣстныхъ, окружающихъ ихъ, жизненныхъ условій. Жизненные условія, подъ угрозой лишенія мужика личнаго благополучія, нерѣдко подъ угрозой голодной смерти, требуютъ отъ него, чтобы въ такихъ-то и такихъ своихъ сношеніяхъ съ ближними онъ поступалъ по-свински. Не исполни онъ этихъ требованій „условія жизни“, не поступи онъ по-свински, — онъ добровольно обрекаетъ себя на всевозможныя матеріальныя лишенія и иногда и на нѣчто еще худшее... И онъ поступаетъ по-свински, и поступать по-свински входитъ въ его привычку и даже санкционируется его моралью. Совѣсть его спокойна; онъ не замѣчаетъ въ своемъ свинствѣ ни малѣйшаго свинства... Вдругъ нравственно-просвѣтительная пропаганда открываетъ ему глаза: что-же, развѣ онъ не очутится въ положеніи, совершенно аналогичномъ съ положеніемъ Вѣрочки, Кузнецова? Съ одной стороны, онъ будетъ ясно сознавать, что онъ — свинья, съ другой — съ неменьшею ясностью онъ будетъ видѣть, что не быть свиньею ему никоимъ образомъ нельзя... Безвыходное положеніе! И, какъ прямое слѣдствіе этой безвыходности, является ожесточеніе, озлобленіе, желаніе „на все наплевать“, а затѣмъ пьянство, безобразничанье и самоубійство...

„Какъ! воскликнетъ, чего добраго, какой-нибудь черезчуръ проицательный читатель.—Вы, пишущій на страницахъ журнала, пользующагося, какъ всѣмъ извѣстно, такою незавидною репутаціею въ глазахъ не только гг. охранителей, но даже и въ глазахъ „благоразумно-благонамѣренныхъ либераловъ“, — вы присоединяетесь къ мнѣнію „охранителей“ на-счетъ губельныхъ результатовъ „пробужденія совѣсти“ въ „свиномъ“ человѣкѣ! Но вѣдь это ужасно! Что скажетъ г. Гайдебуровъ, что скажетъ г. Скабичевскій, что скажетъ Гирсъ? Вы отступникъ, ренегатъ, вы пропагандистъ свинства и мракобѣсія!“

О, нѣтъ, успокойтесь, проицательный читатель! Я только статистирую и выясняю нѣкоторые жизненные факты, подмѣченные и воспроизведенные нашею белетристикою. Выводовъ изъ нихъ я еще никакихъ не дѣлалъ, и мнѣ-бы и не хотѣлось ихъ дѣлать; для меня было-бы гораздо удобнѣе, еслибы этотъ трудъ взяли на себя вы сами. Но, боясь черезчуръ вашей проицательности и въ особенности проицательности нѣкоторыхъ моихъ журнальныхъ

собратій, я, такъ и быть, не прочь и отъ вывода, но только самаго краткаго.

Отчего пробужденіе совѣсти во всѣхъ разобранныхъ нами случаяхъ оказало такое гибельное, такое разрушительное вліяніе на всѣхъ этихъ Вѣрочекъ, Кузнецовыхъ и т. п.? Во-первыхъ, оттого, что эти Вѣрочки, Кузнецовы—люди заурядные, „средніе“, люди большинства, т. е. люди, у которыхъ удовлетвореніе насущнымъ, матеріальнымъ потребностямъ стоитъ всегда на первомъ планѣ. Во-вторыхъ, потому, что требованія просвѣтительной пропаганды находились въ діаметральномъ противорѣчьи съ требованіями и интересами этихъ насущныхъ потребностей. Отсюда самъ собою вытекаетъ такой выводъ: для того, чтобы просвѣтительная пропаганда могла имѣть желаемый успѣхъ среди большинства, для этого прежде всего необходимо, чтобы это „большинство“ было поставлено въ жизненные условія, не только не препятствующія, а, напротивъ, благопріятствующія такому удовлетворенію насущныхъ потребностей людей, которое было-бы вполне сообразно съ требованіями просвѣтительной пропаганды. А пока эти условія отсутствуютъ, пока „жить по совѣсти“ возможно не иначе лишь, какъ живя постоянно въ противорѣчьи со своими насущными интересами и потребностями, до тѣхъ поръ отъ „пробужденія совѣсти“ въ свиномъ человѣкѣ нельзя ждать (по крайней мѣрѣ въ большинствѣ случаевъ) никакихъ иныхъ практическихъ результатовъ, кромѣ тѣхъ, на которые указываетъ г. Успенскій въ упомянутыхъ нами выше „Очеркахъ“. Ясно-ли это?

Я полагаю, что для проницательнаго читателя не совѣмъ еще ясно. „Хорошо,—сообразить овъ,—положимъ, что, дѣйствительно, при существованіи такихъ жизненныхъ условій, которыя не допускаютъ никакого, даже приблизительнаго, согласованія способовъ удовлетворенія своихъ насущныхъ потребностей съ требованіями „пробудившейся совѣсти“, „свиной человѣкъ“, затронутый нравственно-просвѣтительною пропагандою, необходимо долженъ или ожесточиться, озлобиться, или впасть въ бессмысленную апатію, или просто спиться, удавиться, застрѣлиться. Не слѣдуетъ-ли отсюда, что, пока эти жизненные условія имѣютъ мѣсто, нравственно-просвѣтительная пропаганда должна быть спрятана подъ спудъ? Пусть она понапрасну не тревожитъ свиныхъ людей, пусть она не нарушаетъ ихъ душевнаго міра и спокойствія!.. Зачѣмъ? Вѣдь все равно, она бессильна примирить свои теоретическія требованія съ настоятельными требованіями ихъ насущныхъ интересовъ и потребностей; иными словами, она бессильна утвердить и удержать ихъ на томъ пути „правды“, перспективами котораго она ихъ соблазняетъ. Безъ всякой для кого-бы то ни было поль-

зы она только выбьетъ ихъ изъ проторенной колеи, поселить разладъ въ ихъ субъективномъ мірѣ и разстроитъ ихъ и внутреннее, и внѣшнее довольство... Богъ съ нею! Не лучше-ли, не разумнѣе-ли и даже не гуманнѣе-ли оставить до поры, до времени свинныхъ людей безмятежно наслаждаться ихъ свинымъ благополучіемъ?"

О, вѣтъ, проницательный читатель, совсѣмъ не лучше, не разумнѣе и не гуманнѣе... и вотъ почему: во-первыхъ, чѣмъ большее количество свинныхъ людей будетъ находиться въ положеніи купчика Кузнецова, тѣмъ болѣе шансовъ на успѣхъ будетъ имѣть дѣятельность людей, стремящихся къ устраненію существующаго противорѣчія между требованіями нравственно-просвѣтительной пропаганды и данными способами удовлетворенія насущныхъ потребностей большинства.

На этихъ выводахъ мы пока и остановимся, предоставляя ихъ дальнѣйшее развитіе проницательности самихъ проницательныхъ читателей.

П. Никитинъ.

НОВЫЯ КНИГИ.

Въ улику времени. Кн. В. Мещерскаго. Спб., 1879.

„Таковъ Петербургъ.

Онъ, видно, неисправимъ.

А исправиться ему надо.

Иначе будетъ бѣда и ему, и Россіи.

Надо, наконецъ, объяснить недоразумѣніе.

Россія хочетъ одного.

Петербургъ хочетъ другого.

Оба эти желанія крайне противоположны одно другому.

Одному изъ нихъ слѣдуетъ по тому самому уступить.

Думаю, что уступить надо Петербургу, ибо Петербургъ есть частица Россіи, и весьма маленькая, даже въ томъ случаѣ, если допустить, что Петербургъ есть резервуаръ всей русской интеллигенціи, изъ котораго ежегодно снабжается частицами интеллигенціи вся Россія“.

Это говоритъ князь Мещерскій на 54 страницѣ своей „Улики“, и такъ-какъ заиканье бываетъ иногда очень заразительно, то и я начинаю тоже заикаться.

Петербургъ въ опасности.

Князь Мещерскій идетъ на него войною.

Онъ ужасно сердитъ.

Но изъ этого ровно ничего не слѣдуетъ.

Чортъ, говорятъ, весьма страшень.

Однакожь, не въ такой степени, какъ его малюють.

Князь хочетъ одного.

Исторія желаетъ другого.

Эти желанія совсѣмъ противоположны одно другому.

Поэтому одно изъ нихъ должно остаться неосуществимымъ.

Полагаю, что уступить придется князю Мещерскому, ибо онъ и самъ есть не болѣе, какъ порожденіе извѣстныхъ историческихъ и общественныхъ условій, къ тому-же весьма жалкое, даже и въ такомъ случаѣ, если допустить, что на самомъ дѣлѣ онъ гораздо лучше, чѣмъ можно заключить на основаніи его книги.

Въ одинъ прекрасный день, князя Мещерскаго озарила, какъ лучъ свѣта, та простая мысль, что такъ-называемая имъ нигилистичина не могла родить сама себя, не могла также появиться изъ пѣны морской и, слѣдовательно, должна быть какая-нибудь среда, какая-нибудь почва, которая создала и выростила это явленіе. Какая-же это среда? Какая почва?.. Къ сожалѣнію, умственный свѣтъ, совершенно случайно озарившій голову князя, мгновенно потухъ, и этотъ бѣдный писатель, оставшись во мракѣ, не могъ додуматься ни до чего лучшаго, чѣмъ то, что нигилизмъ порожденъ... городомъ Петербургомъ... Петербургомъ — такъ Петербургомъ. Въ этой оригинальной мысли нѣтъ еще ничего особеннаго, потому что „сѣверной Пальмирѣ“, я полагаю, не сдѣлается ни теплѣе, ни холоднѣе отъ мнѣній о ней князя Мещерскаго. Но дѣло въ томъ, что всякій другой человѣкъ на мѣстѣ автора „Улики“ немедленно усмотрѣлъ-бы передъ собою новые вопросы: что-же такое этотъ Петербургъ? Откуда онъ взялся? Свалился-ли онъ на русскую землю откуда-нибудь съ прохожаго облака? Зародился-ли онъ изъ тумановъ, поднимающихся съ при-невскихъ болотъ, или построенъ обыкновенными человѣческими руками и населенъ обыкновенными смертными? Всякій другой человѣкъ на мѣстѣ князя Мещерскаго безъ особеннаго умственнаго напряженія понялъ-бы, что эта, не особенно красивая, „краса полночныхъ странъ“ создана всею исторіею Россіи, что въ настоящее время Петербургъ — ни болѣе, ни менѣе, какъ сборный пунктъ людей, съѣзжающихся со всѣхъ концовъ нашей родины и, слѣдовательно, каковъ-бы онъ тамъ ни былъ, но со всѣми своими дурными и хорошими сторонами онъ есть плоть отъ плоти и кость отъ костей русскаго народа. До такой степени плоть отъ плоти, что исчезни завтра по какому-нибудь чуду эта „сѣверная Пальмира“, и немедленно, послѣ завтра-же, начнетъ создаваться тамъ или сямъ новый Петербургъ, до крайности похожій на исчезнувшій: съ такими-же домами, съ такими-же мостовыми, съ тѣми-же самыми департаментами, съ тѣми-же департаменскими порядками, съ тѣми-же самыми чиновниками, съ тою-же самою литературою... съ новыми Мещерскими, Суворинными, Гирсами, Полетиками, Гайдебуровыми и проч., и проч. Все будетъ то-же, всѣ будутъ тѣ-же, и даже въ числѣ пуговицъ на сюртукахъ и виц-мундирахъ не

обнаружится ни малѣйшихъ перемѣнъ. Новые будутъ только дома, но люди, страсти, мысли, привычки, предрасудки останутся старыя...

Это до такой степени элементарныя, азбучныя истины, что какъ-то неловко даже и намекать на нихъ въ бесѣдѣ со взрослыми людьми. Но князю Мещерскому совершенно незнакома азбука. Нѣтъ, твердитъ онъ; Петербургъ самъ по себѣ, а Россія сама по себѣ, и между ними не существуетъ ничего общаго. Петербургъ развелся съ Россіею, и „нигилизмъ явился роковымъ и неизбѣжнымъ дѣтищемъ Петербурга отъ незаконнаго и развратнаго брака его съ какою-то фиктивною цивилизаціею Европы, послѣ развода съ Россіею“. Бѣдный князь, очевидно, даже и не подозреваетъ того, что каждый изъ читателей „Улики“ непременно спроситъ его съ великимъ изумленіемъ: да какъ-же это могло случиться, что какая-то презрѣнная фиктивная цивилизація Европы могла произвести на Петербургъ несравненно болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ „правда русской жизни?“ Какъ-же это могло стать, что могучій, цѣльный русскій народъ не сумѣлъ сдѣлать Петербургъ русскимъ городомъ и даже оттолкнулъ его отъ себя въ развратныя объятія „фиктивной цивилизаціи Европы?“ По милости какого-же чуда могло совершиться столь необычайное происшествіе, что огромный городъ, чуть не съ миллионнымъ населеніемъ, вдругъ взялъ да и ушелъ изъ-подъ власти и всякаго вліянія нашего общаго отечества? Кто это сыгралъ надъ нами такую хитрую штуку?.. Да дьяволъ, милостивый государь, никто иной, какъ дьяволъ! Если ужъ вы хотите искать причины какихъ-бы то ни было общественныхъ явленій не въ самомъ обществѣ и не въ его исторіи, то валите ихъ прямо на дьявола. Это все онъ, лукавый врагъ человѣческаго рода, одинъ онъ...

А между тѣмъ это нелѣпое положеніе о „разводѣ“ Петербурга съ Россіею составляетъ, такъ сказать, фундаментъ всѣхъ дальнѣйшихъ построеній князя Мещерскаго, созидаемыхъ имъ „въ улику времени“. „Россія хочетъ одного; Петербургъ хочетъ другаго“, твердитъ онъ безпрестанно. Петербургъ и Россія — два міра, раздѣленные бездной... Петербургъ не знаетъ Россіи; Россія не хочетъ знать Петербурга съ его душевною гнилью и мерзостью... „Оказывается вѣдь, что кромѣ петербургской интеллигенціи, присвоившей себѣ исключительную монополію быть русскою интеллигенціею, есть еще другая интеллигенція, всероссійская, — это весь народъ и массы одинавихъ (?) русскихъ людей всѣхъ сословій, не хотащихъ знать Петербурга съ лже-русскою интеллигенціею“, пишетъ онъ на 55 страницѣ. Петербургъ, по его мнѣнію, „бурное и шумящее море“, а Россія, провинція — „тихая

рѣка, гдѣ все мирно, тихо и покойно живетъ своею вседневною жизнью, гдѣ нѣтъ ни признаковъ взаимнаго непониманія, ни ненависти изъ-за какихъ-то социальныхъ вопросовъ, гдѣ все спокойно, потому что сознаетъ себя спокойною органическою силою“... Замѣтите: силу, спокойною, органическою силою! Это говорится на 25 страницѣ „Улики“, и не успѣваетъ бѣдная Россія достаточно насладиться этимъ комплиментомъ ея спокойной силѣ, какъ на девяностыхъ страницахъ ужасный князь начинаетъ повѣствовать, что въ нашей современной жизни чуть-ли не все дѣлается Петербургомъ, а Россіи... нѣтъ совсѣмъ, по крайней мѣрѣ не слышно и не видно.

„Школа являлась самою щекотливою и деликатною, такъ сказать, почвою для реформы, ибо имѣла дѣло съ умами молодежи. Отъ общества и печати правительство въ правѣ было ожидать дѣятельной помощи, имѣющей заключаться въ проповѣдываніи юношеству твердыхъ началъ уваженія къ авторитетамъ, подчиненія властямъ школы и государства, благоговѣнія къ церкви и къ семьѣ, словомъ, всего, что должно было застраховывать юношество отъ ложнаго пониманія новой эпохи и отъ увлеченій—неизбѣжныхъ послѣдствій новаго порядка вещей. Въ особенности Россія въ правѣ была ожидать дѣйствія на молодыхъ поколѣнія во имя любви къ своему государству, къ своимъ преданіямъ, къ своему народу и къ своей эпохѣ“.

„Взамѣнъ этого петербургская интеллигенція съ ненавистью къ прошлому бросилась въ школы, разбила стѣны, отдѣляющія школы отъ общества, всѣ свои дразги, весь свой скрежетъ зубовъ противъ идеаловъ и авторитетовъ, весь свой либеральный міръ бредней и брани, словомъ, всю злобу своего дня, полную ненависти и горечи, перетащила въ школы и, ничего не давъ, замѣнъ отрпцаемаго, положительнаго, внесла въ школу только духъ неуваженія къ старинѣ, отрпцанія идеаловъ и обличенія, всего рѣшительно всего въ дѣйствительной жизни“...

„Когда введены были земскія учрежденія, что нашло это, крайне нуждавшееся въ серьезной помощи петербургскаго общества и печати, юное, неопытное учрежденіе? Серьезную-ли поддержку, серьезное-ли указаніе задачъ, цѣлей и долга, серьезную-ли помощь совѣтами, трудами, поощреніемъ? Нѣтъ, ни малѣйшимъ образомъ, ни то, ни другое, ни третье. Оно нашло въ однихъ полное равнодушіе, въ другихъ глухіе намеки на его безсиліе, въ третьихъ сѣмена сословной розни и взаимнаго недовѣрія, брошенные въ статьи объ этомъ учрежденіи, смѣхъ и глумленіе надъ первыми шагами его и осмѣяніе дворянскаго сословія, какъ руководительнаго, а по части народнаго образованія—подстреканія зем-

ства слушаться не народныхъ духовныхъ нуждъ, а петербургскаго духа времени, требующаго, чтобы школы были рассадниками реализма, прежде чѣмъ быть школами для русскаго народа“.

„За земствомъ явились новыя судебныя учрежденія. Что за нравственная школа вышла для нихъ изъ Петербурга? Какія потребности предъявилъ онъ отъ имени будто Россіи? Высокое-ли непристрастіе, уваженіе-ли къ религіи русскаго народа, поднятіе-ли государственной нравственности для всего общества? Нѣтъ, прославленіе лицепріятія и предвзятаго нерасположенія къ высшимъ сословіямъ, идеализація мотивовъ къ преступленіямъ какой-то меньшей братіи, восхваленіе приговоровъ, оправдывающихъ преступленіе однихъ (меньшей братіи) и строго казнящихъ преступленіе другихъ (вышей братіи), и затѣмъ полное и мертвое безучастіе къ нравственной жизни русскаго народа, молчаніе передъ самыми страшными преступленіями, исканіе извиненій, когда они являются послѣдствіями неуваженія къ семьѣ, къ религіи, къ порядку, и носили нигилистическій характеръ, а рядомъ съ этимъ постоянное придирательство ко всякому нарушенію со стороны власти, а во всѣхъ политическихъ процессахъ, до самаго дѣла Засуличъ включительно, неизмѣнное держаніе стороны обвиняемыхъ, во имя скрытаго сочувствія противъ обвинителей... насколько это было возможно“ (Стр. 92, 93, 95, 96, 97).

Ахъ, князь, князь, въ какое-же положеніе ставите вы нашу Россію?! Прибѣжалъ откуда-то совершенно чуждый ей Петербургъ, набросился на русскія школы, разбилъ въ нихъ стѣны, свалилъ въ школахъ весь свой домашній скарбъ... но гдѣ-же была въ это время Россія и чего она смотрѣла? Вѣдь она, выгнавшая нѣкогда изъ своихъ предѣловъ и татаръ, и поляковъ, и самого великаго Наполеона, безъ особеннаго, я полагаю, труда выгнала-бы вонъ и Петербургъ, еслибы онъ вмѣшивался въ ея дѣла насильно, какъ вы изволите утверждать... Зачѣмъ-же вы выставляете ее такою жалкою и безпомощною сиротою? Зачѣмъ вы оскорбляете ее? Съ какой стати вы позволяете себѣ утверждать, что первый проходимецъ можетъ перевернуть въ ней вверхъ дномъ рѣшительно все: семью, вѣрованія, школы, самоуправленіе, судъ, литературу, мысли, самую душу?.. Опомнитесь, государь мой! Давно уже извѣстно, что всякій человѣкъ имѣетъ право быть глухимъ, но никто не долженъ злоупотреблять этимъ правомъ...

Далѣе оказывается, что злокозненный Петербургъ успѣлъ также вырвать изъ-подъ вліянія Россіи все русское дворянство и забралъ его въ свои по-истинѣ страшныя лапы.

„Сдѣланъ былъ, наконецъ, опытъ возвысить и усилить значеніе предводителей дворянства, посредствомъ расширенія ихъ кру-

га дѣйствительныхъ обязанностей, и какъ можно ближе поставить эту должность въ соприкосновеніе съ народною школою; но и этотъ опытъ оказался неудаченъ, ибо почти повсемѣстно пришлось искать охотниковъ занимать предводительскія должности и, за немѣнѣемъ большаго числа подходящихъ къ столь нужной дѣятельности и удовлетворяющихъ всѣмъ условіямъ ея, приходилось избирать всякаго, кто только могъ кое-какъ удовлетворять требованію выбора, даже изъ тѣхъ, которые смотрѣли на эти должности или какъ на синекуру, или какъ на каторгу“.

„Крупные-же дворяне-землевладѣльцы съ каждымъ годомъ все болѣе и чувствительнѣе бросали на произволъ судьбы не только земскія и дворянскія собранія, но и свои имѣнія, и почти всѣ безъ исключенія предпочитали толпиться въ петербургскихъ переднихъ и гостинныхъ, въ погонѣ за мѣстами и наградами въ столицѣ, или шатанье за-границею безъ всякой другой цѣли, кромѣ житья въ свое удовольствіе“.

„И только тамъ за эти двадцать лѣтъ мы слышали про имя русскаго дворянина въ той или другой губерніи, гдѣ былъ либеральный скандалъ, гдѣ оказывалась пропажа денегъ изъ той или другой кассы, или гдѣ отстаивались такіе прогрессивные разсадники народнаго образованія, какъ рязанская учительская семинарія, какъ ржевская реальная школа, и т. п.“.

„Объ имени хотя-бы одного дворянина, прочно охранявшаго народную школу отъ вреднаго вліянія нигилизма, устроившаго хорошія школы, осмыслившаго свои выборы дворянскіе и явившагося въ земствѣ во главѣ, дѣйствительно, полезныхъ и удовлетворяющихъ народнымъ нуждамъ начинаній, мы доселѣ не слышали“.

„Зато мы слышали, какъ цѣлыя уѣзды рязанской губерніи, тверской губерніи, приволжскихъ губерній, мало-по-малу переполнялись падентами всевозможныхъ ученій нигилизма, и какъ боролся противъ нихъ одинъ *русскій мужикъ*, и какъ благопріятствовала имъ полная и абсолютная неподвижность и безучастіе къ нимъ русскаго дворянства“. (Стр. 202, 203, 204).

Говоря короче, Петербургъ отнялъ у Россіи все, и у нея остался одинъ только русскій мужикъ, одиноко борющійся съ какими-то падентами. Петербургъ все опоганилъ, но не смогъ опоганить одного только русскаго мужика. „Что-же? думаетъ читатель.— Русскій мужикъ, дѣйствительно, заслуживаетъ самаго глубокаго уваженія, стоитъ самой горячей любви, и если князь Мещерскій насобираетъ всѣ свои „улики“ единственно затѣмъ только, чтобы замолвить слово за этого мужика, то князю можно охотно простить хоть всѣ его благоглупости, тѣмъ болѣе, что онъ и самъ

не вѣдаетъ, что творить... Если онъ велъ свои несовѣтъ разумныя рѣчи къ тому концу, что слѣдуетъ предоставить русскому мужику возможность громче высказывать свои желанія, взгляды, убѣжденія, идеалы, то и первый протяну руку князю Мещерскому, какъ-бы онъ смѣшонъ и страненъ ни былъ“.

Нѣтъ, читатель, вовсе нѣтъ! Логика нисколько необязательна для автора „Улики“, и поэтому онъ говоритъ, обыкновенно, совсѣмъ не то, что само собою вытекаетъ изъ имѣ-же самимъ приведенныхъ фактовъ, а диаметрально этому противоположное. По его-же собственнымъ словамъ, одинъ только русскій мужикъ остался неиспорченнымъ ложною цивилизаціею; по его-же собственнымъ словамъ, русское дворянство до конца развращено ею, и, однакоже, тотчасъ вслѣдъ за этимъ онъ провозглашаетъ, что Россія возродится и очистится не черезъ мужиковъ, а черезъ дворянство... И совершится это возрожденіе до крайности просто. Стоитъ только дворянству опомниться, „познать себя и сознать свое значеніе“. Послѣ этого оно должно развѣхаться по своимъ уѣздамъ и вездѣ организовать нѣчто вродѣ благотворительныхъ комитетовъ.

„Нѣтъ дня, чтобы въ уѣздѣ не являлась нужда обратиться съ просьбою о помощи къ какому-нибудь хорошему, честному и доброму образованному человѣку.

„Одному нуженъ совѣтъ, другому нужно быть выслушаннымъ, третьяго нужно спасти отъ вреднаго искушенія, четвертаго спасти отъ голода, и такъ далѣе; причемъ изъ 10-ти случаевъ 8 могутъ быть такіе, гдѣ нужна только помощь душевная, помощь добраго сердца, а буде у дворянина есть жена, эту помощь приносить окажется еще легче. Весьма можетъ быть, что въ иныхъ уѣздахъ найдутся богатые или достаточные люди, которые для матеріальной помощи дадутъ извѣстную сумму втеченіи года, но, независимо отъ этого, есть нужда, и особенно важная нужда, въ помощи духовной; надо, чтобы въ каждомъ уѣздѣ каждый житель зналъ, что онъ во всякое время можетъ найти хорошихъ людей, готовыхъ принять отъ него искреннее къ нимъ обращеніе.

„Къ этимъ постояннымъ, такъ-сказать, дежурящимъ въ уѣздѣ дворянамъ примкнули-бы хорошіе люди изъ духовенства, изъ купечества, изъ народныхъ учителей; устроилось-бы само собою нѣчто вродѣ общества для постоянного общенія и объединенія, во имя любви къ ближнему и правосудія; применить могли-бы исправникъ, мировой судья, уѣздный врачъ, и такимъ образомъ, кромѣ помощи духовной, явилась-бы возможность имѣть въ своемъ распоряженіи всевозможныя средства и нити для помощи матеріальной. Уѣздный предводитель могъ-бы быть душою такой ассоціаціи и собирать у себя въ извѣстные сроки это, добровольно, во

имя братской любви, установившееся, общество для выслушивания отчетовъ, для принятія общихъ мѣръ и т. п.“ (Стр. 222—223).

Прибавлю отъ себя, что должно быть заказано извѣстное количество вывѣсокъ съ надписями: „здѣсь спасаютъ отъ вредныхъ искушеній“. Ахъ, Емеля, Емеля!

Откровенно говоря, мнѣ вовсе не хотѣлось-бы смѣяться надъ княземъ Мещерскимъ, во-первыхъ, потому, что онъ и безъ того уже убитъ Богомъ, во-вторыхъ, хотя-бы ради того, что въ предисловіи къ своей книгѣ онъ нѣкоторымъ образомъ слезно проситъ отнестись къ ней серьезно. „Я,—говоритъ онъ,—желалъ-бы, чтобы и печать, въ отвѣтъ на мои обвиненія, не превращала вопросовъ серьезныхъ, вопросовъ быть или не быть для нашего общества, въ ругательныя статьи, вродѣ тѣхъ, коими отвѣчала она пять лѣтъ сряду на мои статьи въ „Гражданинъ“. Но что-же станешь дѣлать! Есть подвиги, превышающіе силы обыкновенныхъ смертныхъ, и именно къ числу этихъ подвиговъ принадлежитъ то, чего „желалъ-бы“ князь, потому что читать его произведенія и не смѣяться—два дѣйствія, совершенно несомвѣстимыя одно съ другимъ. Я не говорю уже о его безграмотности, не говорю о томъ умерительномъ чухонско-еврейскомъ нарѣчій, на которомъ онъ выражается, но слѣдить, какъ изъ одного противорѣчія онъ немедленно валится въ другое, слѣдить, какъ онъ беспрестанно побиваетъ и самого себя, и то дѣло, которое берется защищать... какой-же олимпіецъ можетъ безъ смѣха слѣдить за всѣмъ этимъ? Напримѣръ, князь Мещерскій выдаетъ себя за выразителя думъ народныхъ и беспрестанно говоритъ какъ-бы отъ имени народа: народъ хочетъ того, народъ требуетъ другого, народъ ждетъ третьяго, а между тѣмъ самъ-же заявляетъ на своемъ невозможномъ жаргонѣ, что на его, князя, слова, навѣрное, никто не обратитъ вниманія.

„Это-то и понуждаетъ меня писать, хотя — признаюсь откровенно—съ полною увѣренностью въ бесполезности для настоящаго каждаго изъ имѣющаго быть сказаннымъ слова: можетъ быть, на одно или на два лица среди 80-ти миліоновъ эти искреннія слова подѣйствуютъ, а если и на нихъ не подѣйствуютъ, то все-же писать должно, хотя для того, чтобы исторіи будущаго могъ хоть одинъ голосъ протеста противъ безначалія нынѣшняго времени, возведеннаго въ принципъ, найти среди петербургской интеллигенціи“. (Стр. 2).]

Откуда-же такое отчаяніе, князь? Петербургъ, разумѣется, не особенно лестнаго мнѣнія о васъ, но враждебная ему и ничего общаго съ нимъ не имѣющая провинція,—эта „тихая рѣка“, эта „спокойная органическая сила“—неужели-же и на нее вы не

возлагаете ровно никаких надежд? Почему-бы это? Вѣдь, кажется, что если вы являетесь выразителемъ думъ, мечтаній и упованій цѣлыхъ миліоновъ людей, то ваше „искреннее“ слово должно было-бы прозвучать, какъ божій громъ, надъ всѣмъ нашимъ обширнымъ отечествомъ. Вѣдь еслибы вы, дѣйствительно, чувствовали, что за вами стоитъ вся Россія, то вы напередъ знали-бы, что ваше „искреннее“ слово „ударить по сердцамъ съ невѣдомою силой“, и говорили-бы, какъ власть имущій, безъ слезъ и причитаній.

Но, увы, вамъ самимъ хорошо извѣстно, что въ вашихъ словахъ нѣтъ искренности, нѣтъ ничего, нѣтъ даже простого здраваго смысла... Вы много говорите о религіи, но я подозреваю, что ваши понятія о ней самыя смутныя; вы безпрестанно толкуете о семьѣ, но мнѣ сильно сдается, что серьезно думать о ней вамъ врядъ-ли приходилось когда-нибудь; и поэтому-то всѣ ваши „улики“ возбуждаютъ одинъ только смѣхъ, веселый смѣхъ, и ничего больше.

Русскіе богоносцы. Религіозно-бытовныя картины. Н. С. Лѣскова. I. На краю свѣта. II. Владычный судъ. Спб. 1880.

Князь Мещерскій болтаетъ на 147 и 246 страницахъ своей „Улики“, что „любой отецъ семейства въ этомъ петербургскомъ обществѣ стыдится и боится потребовать отъ сына или дочери къ себѣ уваженія, побоится предостеречь сына или дочь отъ безнравственности, безчестности и безвѣрія, не посмѣетъ указать ему (?) двери въ церковь...“ „Я настаивалъ-бы на обязательномъ посѣщеніи церкви для слушанія обѣдни, а въ большіе праздники двенадцатые и всенощной, всякой школою. Бывать у обѣдни каждое воскресенье для многихъ покажется натяжкой, духовнымъ насиліемъ, поводомъ къ неудовольствію; пускай такъ будетъ вначалѣ. Потомъ всѣ почти привыкнуть къ этому обряду...“ Такимъ образомъ, этотъ совершенно дикій человѣкъ нечаянно раскрываетъ передъ нами всѣ тайники своей души, и мы ясно усматриваемъ, что въ этихъ тайникахъ или совсѣмъ пусто, или обрѣтается одинъ только весьма неблаговидный мусоръ. По мнѣнію этого жалкаго дикаря, уваженіе слѣдуетъ только „требовать“ и ничего больше; отъ безнравственности достаточно предостерегать—и люди будутъ нравственны; а что касается до религіи, то стоитъ только „указывать“ „дверь въ церковь“, стоитъ только „привыкнуть къ обрядамъ“—и дѣло въ шляпѣ!.. Невольно приходишь къ

заключенію, что г. Мещерскій лишень всякой возможности вдумываться даже въ свои собственныя слова, произвольно вылетюція изъ его усть, ибо ему нечѣмъ думать, ибо у него нѣтъ даже и подобія того аппарата, въ которомъ совершается процессъ мышленія.

Но на мои слова князь Мещерскій не обратитъ, разумѣется, ни малѣйшаго вниманія. „Такой журналъ, какъ „Дѣло“,—скажетъ онъ,—конечно, и не можетъ относиться къ возвѣщаемымъ мною истинамъ иначе, какъ съ враждебнымъ глумленіемъ“. Поэтому я не буду больше говорить „своихъ словъ“ и предоставлю г. Мещерскому побесѣдовать съ человѣкомъ, котораго никто, я полагаю, не заподозритъ въ какихъ-бы то ни было „измахъ“ и подозрительныхъ заднихъ мысляхъ,—именно съ г. Лѣсковымъ. Въ своемъ разсказѣ „На краю свѣта“ г. Лѣсковъ говоритъ именно о способахъ распространенія христіанства между нашими инородцами и, высказываетъ по этому поводу такія простыя, но поучительныя истины, что князю Мещерскому весьма полезно познакомиться съ ними, потому что и самъ онъ тоже инородецъ въ своемъ родѣ, правда крещенный, но имѣющій очень смутное понятіе о сущности той религіи, которую онъ принялъ наружно.

Разсказъ ведется отъ лица престарѣлаго архіепископа. Много лѣтъ назадъ, еще во времена его молодости, онъ „былъ поставленъ въ епископы въ весьма отдаленную сибирскую епархію“ и, приведя въ нѣкоторый порядокъ ввѣренныя ему приходы, церкви, семинарію, обратилъ свое вниманіе на предстоявшее ему болѣе „живое“ дѣло, на мисіонерство. Разспросивъ чернецовъ монастыря, который онъ избралъ мѣстомъ своего жительствова, епископъ узналъ, между прочимъ, „что въ городѣ почти всѣ говорятъ по-якутски, но изъ моихъ иноковъ, изъ всѣхъ, по-инородчески говорить только одинъ очень престарѣлый іеромонахъ, отецъ Киріакъ, да и тотъ къ дѣлу проповѣди не годится, а если и годится, то, хотъ его убей, не хочетъ идти къ дикимъ проповѣдывать.

— Что это, спрашиваю, за ослушникъ, и какъ онъ смѣетъ? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но епископъ мнѣ отвѣчаетъ, что слова мои передастъ, но послушанія отъ Киріака не ожидаетъ, потому что это уже ему не первое, что и два мои, быстро другъ за другомъ смѣнившіеся, предмѣстника съ нимъ строгость пробовали, но онъ уперся и одно отвѣчаетъ: „Душу за моего Христа положить радъ, а крестить тамъ (т. е. въ пустыняхъ) не стану“. Даже, говоритъ, самъ просилъ лучше сана его лишить, но туда не посылать. И отъ священнодѣйствія много лѣтъ былъ за это ослушаніе запрещенъ, но ни мало тѣмъ не тяготился, а, напротивъ, съ радостью несъ самую про-

стую службу: то сторожемъ, то въ звонарнѣ. И всѣми любимъ: и братіей, и мірянами, и даже язычниками.

— Какъ! удивляюсь.—Неужто даже и язычниками?

— Да, владыко, и язычники къ нему иные заходятъ.

— За какимъ-же дѣломъ?

— Уважають его какъ-то изстари, когда еще онъ на проповѣдь ѣздилъ въ прежнее время.

— Да каковъ онъ былъ въ то, въ прежнее время?

— Прежде самый успѣшный мисіонеръ былъ и множество людей обращалъ.

— Что-же ему такое сдѣлалось? Отчего онъ бросилъ эту дѣятельность?

— Понять нельзя, владыко; вдругъ ему что-то приключилось: вернулся изъ степей, принесъ въ олтарь мирницу и дароносицу и говоритъ: „ставлю и не возьму опять, доколѣ не придетъ часъ“.

— Какой-же ему нуженъ часъ? Что онъ подъ этимъ разумѣеть?

— Не знаю, владыко.

— Да неужто-же вы у него никто этого не добивались? О, роде лукавый, доколѣ живу съ вами и терплю васъ? Какъ васъ это ничто, дѣла касающаеся, не интересуеть? Попомните себѣ, что если тѣхъ, кои ни горячи, ни холодны, Господь обѣщалъ изблевать съ устъ своихъ, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой еклезіархъ оправдывается:

— Всячески, говорить,—владыко, мы у него любопытствовали, но онъ одно отвѣчаетъ: „нѣтъ, говорить, дѣтшки, это дѣло не шутка, — это страшное... я на это смотрѣть не могу“. (Стр. 21, 22, 23.)“

Епископъ тотчасъ-же потребовалъ къ себѣ этого строптиваго Кириака, чтобы „опалить его гнѣвомъ“ своимъ. Но пришелъ къ его очамъ „монашекъ, такой маленькій, такой тихій, что не на кого и взоровъ метать; одѣтъ въ обліяной коленкоровой раскѣ, влобукъ толстымъ суекомъ покрытъ, собой черненькій, востролиценькій, и входитъ бодро, безъ всякаго подобострастія, и первый меня привѣтствуетъ: здравствуй, владыко!“ Этотъ „строптивый“ отецъ Кириакъ оказался такимъ простымъ, любящимъ, искреннимъ человѣкомъ, что послѣ продолжительной бесѣды съ нимъ владыко кончилъ тѣмъ, что, какъ онъ самъ рассказываетъ, „расцѣловалъ его неоднократно, отпустилъ, и, ни о чемъ болѣе не спрашивая, велѣлъ ему съ завтрашняго-же дня ходить ко мнѣ, учить меня тунгускому и якутскому языку“. Во время этихъ занятій, учитель и ученикъ все больше и больше сближаются другъ

съ другомъ и, наконецъ, отецъ Кириакъ начинаетъ понемногу объяснять тѣ причины, по которымъ онъ отказывается отъ мисіонерства. „Впередъ учить, а потомъ крестить“, — высказывается онъ однажды. Епископъ ему возражаетъ:

„— Ну, ужъ это, говорю,—ты меня, братъ, кажется, шире понялъ, чѣмъ я говорилъ; этакъ вѣдь, по - твоему, и дѣтей-бы не надо крестить.

— Дѣти христіанскія другое дѣло, владыко.

— Ну да; и предковъ-бы нашихъ князь Владиміръ не окрестилъ, еслибы долго отъ нихъ наученности ждалъ.

А онъ самъ отвѣчаетъ:

— Эхъ, владыко, да и впрямъ-бы ихъ, можетъ, прежде поучить лучше было. А то самъ, чай, въ лѣтописи читаль, — все больно скоро варомъ вскипѣло, „понеже благочестіе его со страхомъ бѣ сопряженно“. Платонъ митрополитъ мудро сказалъ: „Владиміръ послѣшилъ, а греки слукавили, — невѣждъ ненаученныхъ окрестили“. Что намъ ихъ спѣшкѣ съ лукавствомъ слѣдовать? Вѣдь они, знаешь, „льстивые даже до сего дня“. Итакъ, во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облакаемся. Тщетно это такъ крестить, владыко!

— Какъ, говорю,—тщетно? Отецъ Кириакъ, что ты это, батюшка, проповѣдуешь?

— А что-же, отвѣчаетъ, — владыко? Вѣдь это благочестивой тростью писано, что одно водное крещеніе невѣждѣ къ приобрѣтенію жизни вѣчной не служить.

Посмотрѣлъ я на него и говорю серьезно:

— Послушай, отецъ Кириакъ, вѣдь ты еретичествуешь.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ,—во мнѣ нѣтъ ереси; я по тайноводству святаго Кирилла Іерусалимскаго правовѣрно говорю: „Симонъ волхвъ въ купели тѣло омочи водою, но сердце не просвѣти духомъ, и сниде, и изыде тѣломъ, а душою не спогребеса, и не возста“. Что окрестился, что выкупался—все равно, христіаниномъ не быть. Живъ Господь и жива душа твоя, владыко, — вспомни, развѣ не писано: будутъ и крещенные, которые услышать „не вѣмъ васъ“, и некрещенные, которые отъ дѣлъ совѣсти оправдятся и выйдутъ, яко хранившіе правду и истину. Неужели-же ты сіе отмечаешь?“ (Стр. 33, 34).

Въ другой разъ, когда разговоръ заходитъ опять на ту-же тему, отецъ Кириакъ говоритъ: „я думаю такъ, владыко, что мы всѣ на одинъ пиръ идемъ“.

— Говори, сдѣлай милость, яснѣй: ты водное крещеніе-то просто-на-просто совѣмъ отмечаешь, что-ли?

— Ну, вотъ: и отмечаю! Эхъ, владыко, владыко! Сколько я

лѣтъ томился, все ждалъ человѣка, съ которымъ-бы о духовномъ свободно по духу побесѣдовать, и, узнавъ тебя, думалъ, что вотъ такого дождался; а и ты сейчасъ, какъ стряпчій, за слово емлешься! Что тебѣ надо? Слово всяко ложь и я тожь. Я ничего не отмечаю; а ты обсуди, какіе мнѣ приклады разные приходятъ, — и отъ любви, а не отъ ненависти. Яви терпѣніе, вслушайся.

— Хорошо, отвѣчаю, — буду слушать, что ты хочешь проповѣдывать.

— Ну, вотъ мы съ тобою крещены, — ну, это и хорошо; намъ этимъ какъ билетъ данъ на пирь; мы и идемъ, и знаемъ, что мы званы, потому что у насъ и билетъ есть.

— Ну!

— Ну, а теперъ видимъ, что рядомъ съ нами туда-же бредеть человѣчикъ безъ билета. Мы думаемъ: „вотъ дурачекъ! Напрасно онъ идетъ: не пустятъ его! Придетъ; а его привратники вонъ выгонять“. А придемъ и увидимъ: привратники-то его погонять, что билета нѣтъ, а хозяинъ увидитъ, да, можетъ быть, и пустить велитъ, — скажетъ: „ничего, что билета нѣтъ, — я его и такъ знаю: пожалуй, входи“, да и введетъ, да еще, гляди, лучше иного, который съ билетомъ пришелъ, станетъ чевствовать.

— Ты, говорю, — это имъ такъ и внушаешь?

— Нѣтъ; что имъ это внушать? Это я только про себя такъ о всѣхъ разсуждаю, по Христовой добротѣ, да мудрости.

— Да то-то; мудрость-то Его ты понимаешь-ли?

— Гдѣ, владыко, понимать! Ее не поймешь, а такъ... что сердце чувствуетъ, говорю. Я, когда мнѣ что нужно сдѣлать, сейчасъ себя въ умѣ спрашиваю: можно-ли это сдѣлать во славу Христову? Если можно, такъ дѣлаю, а если нельзя — того не хочу дѣлать.

— Въ этомъ, значить, твой главный катихизисъ?

— Въ этомъ, владыко, и главный, и неглавный, — весь въ этомъ; для простыхъ сердець это, владыко, куда какъ сподручно! Просто вѣдь это: водкой во славу Христову упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову нельзя, человѣка безъ помощи бросить нельзя... И дикари это скоро понимаютъ и хвалятъ: „хорошъ, говорятъ, вашъ Христосинокъ, праведный“. По ихнему это такъ выходитъ.

— Что-же?.. Это, пожалуй, хоть и такъ — хорошо.

— Ничего, владыко, изрядно; а вотъ что мнѣ нехорошо кажется: какъ придутъ новокрещенцы въ городъ и видятъ все, что тутъ крещенные дѣлаютъ, и спрашиваютъ: можно-ли то во славу Христову дѣлать? Что имъ отвѣчать, владыко? Христиане это тутъ

живуть или нехристи? Сказать „нехристи“—стыдно, назвать христианами—грѣха страшно.

— Какъ-же ты отвѣчаешь?

Каріакъ только рукой махнулъ и прошепталъ:

— Ничего не говорю, а... плачу только“. (Стр. 42, 43, 44).

Наконецъ, въ одинъ вечеръ епископу пришла въ голову мысль: „самому пробѣжать пустыню“. И вотъ, на другое-же утро, онъ и отецъ Каріакъ „отпѣли обѣденку, одѣлись по туземному и выѣхали, держа путь къ самому сѣверу, гдѣ „апостольствовалъ“ одинъ зырянинъ, такъ успѣшно крестившій инородцевъ „на всѣ стороны“, что на него не успѣвали наготовиться крестовъ. Уже въ пустынѣ, среди необозримаго моря снѣговъ, епископъ заводитъ разговоръ со своимъ проводникомъ, — спрашиваетъ его: крещенный онъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ,—бачка, моя некрещена, моя счастливая.

— Чѣмъ-же ты такъ счастливъ?

— Счастливая, бачка; меня, бачка, Дзоль-Дзаягачи дала, бачка. Она меня, бачка, бережетъ.

Дзоль-Дзаягачи у шаманистовъ такая богиня, дарующая дѣтей и пекущаяся будто-бы о счастіи и здоровьѣ тѣхъ, которые у нея вымолены.

— Такъ что-же? говорю. А почему-же не креститься-то?

— А она, бачка, меня не даетъ крестить.

— Кто это? Дзоль-Дзаягачи?

— Да, бачка, не даетъ.

— Ага! Ну, хорошо, что ты мнѣ это сказалъ.

— Какъ-же, бачка, хорошо?

— Да вотъ я тебя за это на зло твоей Дзоль-Дзаягачи и велю окрестить.

— Что ты, бачка? Зачѣмъ Дзоль-Дзаягачи сердить? Она разсердится — дуть станеть.

— Очень она мнѣ нужна, твоя Дзоль-Дзаягачи! Окрецу, да и баста!

— Нѣтъ, бачка, она не дастъ обижать.

— Да какая тебѣ, глупому, въ этомъ обида?

— Какъ-же, бачка, меня крестить? Мнѣ много обида, бачка: зайсанъ придетъ—меня крещенаго бить будетъ, шаманъ придетъ — опять бить будетъ, лама придетъ — тоже бить будетъ и олешковъ сгонитъ. Большая, бачка, обида будетъ.

— Не смѣютъ они этого дѣлать.

— Какъ, бачка, не смѣютъ? Смѣютъ, бачка, все возьмутъ; у меня дядю, бачка, уже раззорили... Какъ-же, бачка, раззорили и брата, бачка, раззорили.

- Развѣ у тебя есть братъ крещеный?
- Какъ-же, бачка, есть братъ, бачка, есть.
- И онъ крещеный?
- Какъ-же, бачка, крещеный, два раза крещеный.
- Что такое? Два раза крещеный? Развѣ по два раза крестятъ?
- Какъ-же, бачка, крестятъ.
- Врешь!
- Нѣтъ, бачка, вѣрно: онъ одинъ разъ за себя крестился, а одинъ разъ, бачка, за меня.
- Какъ за тебя? Что ты это за вздоръ мнѣ рассказываешь?
- Какой, бачка, вздоръ! Не вздоръ: я, бачка, отъ попа спрятался, а братъ за меня крестился.
- Для чего-же вы такъ смошенничали?
- Потому, бачка, что онъ добрый.
- Кто это: братъ-то твой, что-ли?
- Да, бачка, братъ! Онъ сказалъ: „я все равно уже пропасть,—окрещень, а ты спрячься, я еще окрещусь“; я и спрятался.
- И гдѣ-же онъ теперь, твой братъ?
- Опять, бачка, креститься побѣжалъ.
- Куда-же это его, бездѣльника, понесло?
- А туда, бачка, гдѣ нынѣ, слышать, твердый попь ѣздить.
- Ишь-ты! Что-же ему до этого попа за дѣло?
- А свои у насъ тамъ, бачка, свои люди живутъ, хорошіе, бачка, люди. Какъ-же! Ему, бачка, жаль... онъ ихъ жалѣетъ, бачка,—за нихъ креститься побѣжалъ.
- Да что-же это за шайтанъ, этотъ твой братъ? Какъ онъ это смѣлъ дѣлать?
- А что, бачка? Ничего: ему, бачка, ужь все равно, а тѣхъ, бачка, зайсанъ бить не будетъ и лама оleshковъ не сгонитъ.
- Гмъ! Надо, однако, твоего досужаго брата на примѣту взять. Скажи-ка мнѣ, какъ его зовутъ?
- Куська-Демякъ, бачка.
- Кузьма или Демьянъ?
- Нѣтъ, бачка, Куська-Демякъ!
- Да, по-твоему, чище,—Куська-Демякъ или мѣди пятакъ,—только это два имени.
- Нѣтъ, бачка, одно!
- Я тебѣ говорю—два!
- Нѣтъ, бачка, одно!
- Ну, тебѣ, видно, и это лучше знать.
- Какъ-же, бачка, мнѣ лучше!

— Но это его Кузьмой и Демьяномъ при первомъ или при второмъ крещеніи назвали?

Вылупился и не понимаетъ; но, когда я ему повторилъ, онъ подумалъ и отвѣтилъ:

— Такъ, бачка: это какъ онъ за меня крестился, тогда его стали Кузька-Демьягъ дразнить.

— Ну, а послѣ перваго-то крещенія вы какъ его дразнили?

— Не знаю, бачка, забылъ.

— Но онъ-то, чай, это знаетъ?

— Нѣтъ, бачка, и онъ позабылъ.

— Быть, говорю,—этого не можетъ!

— Нѣтъ, бачка, вѣрно, позабылъ.

— А вотъ я его велю розыскать и разспрошу.

— Розыщи, бачка, розыщи, и онъ скажетъ, что позабылъ.

— Да только уже я его, братъ, какъ розыщу, такъ самъ зайсану отдамъ!

— Ничего, бачка; ему теперь, бачка, никто ничего,—онъ пропащій.

— Черезъ что-же это онъ пропащій-то? Черезъ то, что окрестился, что-ли?

— Да, бачка; его шаманъ гонить, у него лама олешки забралъ, ему свой никто не вѣрить.

— Отчего не вѣрить?

— Нельзя, бачка, крещеному вѣрить, — никто не вѣрить!

— Что ты, дикій глупецъ, врешь! Отчего нельзя крещеному вѣрить? Развѣ крещенный васъ, идолопоклонниковъ, хуже?

— Отчего, бачка, хуже?—Одинъ человѣкъ!

— Вотъ видишь, и самъ согласенъ, что не хуже?

— Не знаю, бачка: ты говоришь, что не хуже, и я говорю, а вѣрить нельзя!

— Почему-же ему нельзя вѣрить?

— Потому, бачка, что ему пошъ грѣхъ прощаетъ.

— Ну, такъ что-же тутъ худого? Неужто-же лучше безъ прощенія оставаться?

— Какъ можно, бачка, безъ прощенія оставаться! Это нельзя, бачка! Надо прощенье просить!

— Ну, такъ я-же тебя не понимаю, о чемъ ты толкуешь?

— Такъ, бачка, говорю: крещенный своруетъ, попу скажетъ, а пошъ его, бачка, простить; онъ и невѣрный, бачка, черезъ это у людей станетъ.

— Ишь ты какой вздоръ несешь! А по-твоему это, небось, не годится?

— Этакъ, бачка, не годится у насъ, не годится.

— А по-вашему, какъ-бы надо?

— Такъ, бачка: у кого укралъ, тому назадъ принеси и простить проси; человекъ простить и Богъ простить.

— Да вѣдь и попъ человекъ: отчего-же онъ не можетъ простить?

— Отчего-же, бачка, не можетъ простить? И попъ можетъ. Кто у попа укралъ, того, бачка, и попъ можетъ простить.

— А если у другого укралъ, такъ онъ не можетъ простить?

— Какъ-же, бачка? Нельзя, бачка; неправда, бачка, будетъ; невѣрный человекъ, бачка, вездѣ пойдетъ.

— Ахъ, ты, думаю,—чучело этакое неумытое, какія себѣ построения настроилъ!—и спрашиваю далѣе:

— А ты про Господа Иисуса Христа-то что-нибудь слыхаль?

— Какъ-же, бачка, слыхаль.

— Что-же ты про Него слыхаль?

— По водѣ, бачка, ходилъ.

— Гмъ! Ну, хорошо, ходилъ; а еще что?

— Свиною, бачка, въ морѣ топилъ.

— А болѣе сего?

— Ничего, бачка; хорошъ, жалостливъ, бачка, былъ.

— Ну, какъ-же жалостливъ? Что онъ дѣлалъ?

— Слѣпому на глаза, бачка, плевалъ,—слѣпой видѣлъ; хлѣбца и рыбка народца кормилъ.

— Однако, ты, братъ, много знаешь.

— Какъ-же, бачка, много знаю.

— Кто-же тебѣ все это рассказалъ?

— А люди, бачка, говорятъ.

— Ваши люди?

— Люди-то? Какъ-же, бачка, наши, наши.

— А они отъ кого слыщали?

— Не знаю, бачка.

— Ну, а не знаешь-ли ты, зачѣмъ Христосъ сюда на землю приходилъ?

Думалъ онъ, думалъ и ничего не отвѣтилъ.

— Не знаешь? говорю.

— Не знаю.

Я ему все православіе и объяснилъ, а онъ не то слушаетъ, не то нѣтъ, а самъ все на собакъ погививаетъ, да орстелемъ машетъ.

— Ну, понялъ-ли, спрашиваю,—что я тебѣ говорилъ?

— Какъ-же, бачка, понялъ: свиною въ морѣ топилъ, слѣпому на глаза плевалъ,—слѣпой видѣлъ, хлѣбца — рыбка народца далъ.

Засѣли ему въ лобъ эти свиньи въ морѣ, слѣпой да рыбака, а дальше никакъ и не поднимется... И припомнились мнѣ Кириаковы слова объ ихъ жалкомъ умѣ и о томъ, что они сами не замѣчаютъ, какъ края ризы касаются. Что-же? И этотъ, пожалуй, крайка воснулся, но ужъ именно только воснулся, — чуть-чуть дотронулся; но какъ-бы ему болѣе дать за нее ухватиться? И вотъ я и попробовалъ съ нимъ, какъ можно проще, побесѣдовать о благѣ Христова примѣра и о цѣли Его страданія, но мой слушатель все одинаково-невозмутимо орстелемъ помахиваетъ. Трудно мнѣ было себя обольщать: вижу, что онъ ничего не понимаетъ.

— Ничего, спрашиваю, — не понялъ?

— Ничего, бачка; все правду врешь; жаль Его: Онъ хорошъ, Христосикъ.

— Хорошъ?

— Хорошъ, бачка, не надо его обижать.

— Вотъ ты-бы его и любилъ.

— Какъ, бачка, его не любить?

— Что? Ты можешь Его любить?

— Какъ-же, бачка; я, бачка, Его и всегда люблю.

— Ну, вотъ и молодецъ.

— Спасибо, бачка.

— Теперь, значить, тебѣ остается креститься: Онъ и тебя спасетъ.

Диварь молчить.

— Что-же, говорю, — пріятель? Что ты замолчалъ?

— Нѣтъ, бачка.

— Что такое „нѣтъ, бачка“?

-- Не спасетъ, бачка; за Него зайсанъ бьетъ, шаманъ бьетъ, лама олешковъ сгонить.

— Да, вотъ главная бѣда!

— Бѣда, бачка.

— А ты и бѣду потерпи за Христа.

— На что, бачка? Онъ, бачка, жалостливый: какъ я дохнуть буду, Ему самому меня жаль станетъ. На что Его обижать!“ (Стр. 62—70.)

Владыко глубоко призадумывается надъ этимъ дѣтищемъ природы, съ которымъ „ничего не подѣлаешь, — ни Массильономъ, ни Бурдалу, ни Эккартсгаузенюмъ“... Вонъ онъ — „знай тычетъ себѣ орстелемъ, тычетъ направо, тычетъ налѣво; не знаетъ, куда меня мчить, зачѣмъ мчить и зачѣмъ, какъ дитя простой душой, открываетъ мнѣ во вредъ себѣ свои завѣтныя тайны“... „Онъ все несется, несется въ безбрежную даль и машетъ сво-

имъ орстелемъ, который, мигая передъ моими глазами, началъ дѣйствовать на меня, какъ маятникъ“... Епископа замаячило, и онъ уснулъ, „чтобы проснуться въ положеніи, отъ котораго да сохранить Господь всякую душу живую“! Вокругъ все воесть, тьма стоитъ непроницаемая, воздухъ полонъ крутящейся ледяной пыли; сани отца Кириака исчезли; собаки сбились въ клубъ...

„— Падай, бачка! говорить проводникъ.

— Куда падать?

— Вотъ сюда, бачка,—въ снѣгъ падай.

— Погоди, говорю.

Мнѣ еще не вѣрилось, что я потерялъ своего Кириака, и я привсталъ изъ саней и хотѣлъ позвать его, но меня въ то-же мновеніе и сразу-же задушило, точно какъ заткнуло всего этою ледяною пылью, и я повалился въ снѣгъ, причеъ довольно больно ударился головой о санную грядку. Подняться у меня не было никакихъ силъ, да и мой дикарь мнѣ не далъ-бы этого сдѣлать. Онъ придержалъ меня и говорить:

— Лежи, бачка, смирно лежи, не околѣешь: снѣгъ замѣтеть, тепло будетъ; а то околѣешь. Лежи!

Ничего не оставалось какъ его слушаться; и я лежу и не трогаюсь, а онъ сволокъ съ салазокъ оленью шкуру, бросилъ ее на меня и самъ подъ нее-же подобрался.

— Вотъ теперь, говорить,—бачка, хорошо будетъ.

Но это „хорошо“ было такъ скверно, что я въ ту-же минуту долженъ былъ какъ можно рѣшительнѣе отворотиться отъ моего сосѣда въ другую сторону, ибо присутствіе его на близкомъ разстояніи было невыносимо. Четверодневный Лазарь въ вифавской пещерѣ не могъ отвратительнѣе смердѣть, чѣмъ этотъ живой челоуѣкъ; это было что-то хуже трупа, — это была смѣсь вонючей шкуры, остраго челоуѣческаго пота, копти и сырой гнили, юк-лы, рыбьяго жира и грязи... О, Боже, о бѣднѣй челоуѣкъ! Какъ мнѣ былъ противенъ этотъ, по образцу Твоему созданный, братъ мой! О, какъ-бы охотно я выскочилъ изъ этой вонючей могилы, въ которую онъ меня рядомъ съ собою укладивалъ, еслибы только сила и мочь устоять въ этомъ метущемся адскомъ хаосѣ! Но ничего похожаго на такую возможность нѣльзя было и ждать,—и надо было покоряться.

Мой дикарь замѣтилъ, что я отъ него отвернулся, и говорить:

— Погоди, бачка, ты не туда морду клалъ; ты вотъ сюда клади морду, вмѣстѣ дуть будемъ,—тепло станетъ.

Это даже слушать казалось ужасно!

Я притворился, что его не слышу, но онъ вдругъ какъ-то на-

пружинился, какъ влопъ, перекатился черезъ меня и легъ прямо носъ въ носу, и ну дышать мнѣ въ лицо съ ужаснымъ сопомъ и зловоніемъ. Сопѣлъ онъ то-же необычайно, точно кузнечный мѣхъ. Я никакъ не могъ этого терпѣть и рѣшился добиться, чтобы этого не было.

— Дыши, говорю,—какъ-нибудь потише.

— А что? Ничего, бачка, я не устану: я тебѣ, бачка, морду грѣю.

„Мордою“ его я, разумѣется, не обижался, потому что не до амбиціи мнѣ было въ это время, да и, повторяю вамъ, у нихъ для отгѣнка такихъ излишнихъ тонкостей, чтобы отличать звѣриную морду отъ человѣческаго лица, и отдѣльныхъ словъ еще не заведено. Все морда: у него самого морда, у жены его морда, у его олены морда, у его бога Шигемони морда,—почему-же у архіерея не быть мордѣ? Это моему преосвященству снести было нетрудно, но вотъ что трудно было сносить: это его дыхание съ этой смердючей юолой и какимъ-то другимъ отвратительнымъ зловоніемъ, — вѣроятно, зловоніемъ его собственаго желудка,—противъ этого я никакъ не могъ стоять.

— Довольно, говорю,—перестань; ты меня согрѣлъ, теперь болѣе не сопи.

— Нѣтъ, бачка, сопѣть — теплѣй будетъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, не надо: и такъ надоѣлъ, не надо!

— Ну, не надо, бачка, не надо. Теперь спать будемъ.

— Спи.

— И ты, бачка, спи“. (Стр. 75, 76, 77.)

Когда епископъ проснулся или, лучше сказать, пришелъ въ чувства, проводника уже не было, и первая мысль владыки была та, что дикарь убѣжалъ, бросивъ „бачку“ на произволь судьбы. Владыко даже позавидовалъ нѣсколько отцу Кириаку, „который терпитъ теперь свою бѣду по крайней мѣрѣ хоть съ человѣкомъ крещенымъ, который все-же долженъ быть благонадеженъ нехристя“. Однакоже, оказалось, что нехристь былъ по близости и вѣшалъ на деревѣ одну изъ своихъ собакъ, принося ее въ благодарственную жертву шайтану за то, что тотъ не заморозилъ ихъ. Запрягли собакъ; поѣхали зря, кружа по пустынѣ и отыскивая потерянный „слѣдъ“. Пала отъ утомленія еще собака, и дикарь сейчасъ-же опять преподнесъ ее шайтану; пусть, говоритъ, лопасть! Пала и третья собака; проводникъ и ее хотѣлъ вздернуть шайтану, но владыко рѣшительно воспротивился этому. Тогда дикарь „молча застремилъ свой орстель впереди саней и всѣхъ собаченокъ, одну за другою, отцѣпилъ и пустилъ ихъ наволю“.

„— Зачѣмъ ты это сдѣлалъ? воскликнулъ я.

- Пустиль, бачка.
- Вижу, что пустиль; а придуть-ли онѣ назадъ?
- Нѣтъ, бачка, не придуть; онѣ одичаютъ.
- Для чего-же, для чего ты ихъ пустиль?
- Лопать, бачка, хотятъ; пусть звѣрька изловятъ; лопать

будуть.

- А мы съ тобою что будемъ лопать?
- Ничего, бачка.
- Ахъ, ты, извергъ!“ (Стр. 88.)

Дѣло въ томъ, что владыко и его проводникъ не ѣли ничего уже третьи сутки. „Ѣсть, что-нибудь Ѣсть! Нечистое, гадкое, лишъ-бы Ѣсть—вотъ все, что я понималъ, отчаянно вода вокругъ себя полными нестерпимой муки глазами“. (Стр. 89.)

Дикарь ушелъ куда-то въ лѣсъ, опять пришелъ и молча просидѣлъ всю ночь на саняхъ, утромъ снова пропалъ и, наконецъ, возвратившись, начинаетъ возиться съ санями.

„— Что ты, спрашиваю,—тамъ дѣлаешь? и при этомъ неприятно открываю, какъ у меня спалъ и даже совсѣмъ перемѣнился мой голосъ; между тѣмъ мой дикарь, какъ прежде говорилъ, такъ и теперь такъ-же, перекусывая звуки, отрываетъ.

— Лыжи, бачка, достаю.

— Лыжи! воскликнулъ я въ ужасѣ, тутъ только во всемъ значеніи понявъ, что такое значить „наострить лыжи“.—Зачѣмъ ты лыжи достаешь?

— Сейчасъ убѣгу.

— Ахъ, ты, разбойникъ, думаю;—куда-же это ты побѣжишь?

— На правую руку, бачка, убѣгу.

— Зачѣмъ-же ты туда побѣжишь?

— Лопать тебѣ принесу.

— Врешь, говорю,—ты меня здѣсь кинуть хочешь.

Но онъ ни мало не смутился и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, я тебѣ лопать принесу.

— Гдѣ-же ты мнѣ лопать возьмешь?

— Не знаю, бачка.

— Какъ-же не знаешь? Куда-же ты бѣжишь?

— На правую руку.

— Кто-же тамъ на правой рукѣ?

— Не знаю, бачка.

— А не знаешь, такъ чего-же ты бѣжишь?

— Примѣту нашелъ,—чумъ есть.

— Врешь, говорю, любезный, ты меня одного здѣсь бросить хочешь.

— Нѣтъ; я лопать принесу.

— Ну, ступай, только ужь лучше не ври, а иди себѣ, куда знаешь.

— Зачѣмъ, бачка. врать, нехорошо врать.

— Очень, братъ, не хорошо, а ты врешь.

— Нѣтъ, бачка, не вру: поди со мной, я тебѣ примѣтку покажу“. (Ср. 91, 91).

Дикарь убѣждалъ на своихъ лыжахъ. Проходить день, въ теченіе котораго владыко бродитъ около саней, мучась отъ голода и холода. Проходить безконечная ночь. Проходить еще одинъ день, и епископъ уже чувствуетъ „на вѣкахъ своихъ тѣнь смерти“ и томится только тѣмъ, что она такъ медленно уводитъ его въ „путь невозвратный“. „Авва Отче! молится онъ.—Не могу даже изнести тебѣ покаянія, но Ты Самъ сдвинулъ свѣтильникъ мой съ мѣста, Самъ и поручись за меня передъ собою!..“ Вдругъ уже передъ закатомъ солнца, онъ замѣчаетъ на горизонтѣ какую то странную, движущуюся точку, которая все растетъ и растетъ, лети прямо на него, и, наконецъ, является ясною для глаза, но совершенно фантастическою гигантскою фигурою: съ крыльями за плечами, въ искращемся хитонѣ серебрянной парчи, съ огромнѣйшимъ уборомъ на головѣ, какъ-бы осыпанномъ брилліантами.

„— Здравствуй, бачка!

Я не вѣрилъ ни своимъ глазамъ, ни своему слуху: удивительный духъ этотъ былъ, конечно, онъ, — мой дикарь. Теперь въ этомъ нельзя было болѣе ошибиться: вотъ подъ ногами его тѣ-же самыя лыжи, на которыхъ онъ убѣждалъ, за плечами другія; передо мною воткнуть въ снѣгъ его орстель, а на рукахъ у него цѣлая медвѣжья лашка, со всѣмъ—и съ шерстью, и со всей когтистой лапой. Но во что онъ убралъ, во что онъ преобразился?

Не дожидая съ моей стороны никакого отвѣта на свое привѣтствіе, онъ сунулъ мнѣ къ лицу эту медвѣжатину и, промывчавъ:

— Лопай, бачка! — самъ сѣлъ на сани и началъ снимать со своихъ ногъ лыжи“. (Стр. 103).

Оказалось, что дикарь, дѣйствительно, отыскалъ чумъ, но нашелъ въ немъ только убитаго медвѣдя, а хозяевъ не было дома. Тогда онъ, боясь, чтобы „бачка“ не „издохъ“ отъ голода въ ожиданіи его, отрубилъ у медвѣдя ногу, оставилъ въ чумѣ свой трезухъ, какъ-бы въ залогъ своего возвращенія отсутствующимъ хозяевамъ, и съ непокрытою головою, съ быстро обledenѣвшими волосами, поспѣшилъ выручить владыку. И тогда-то, среди пустыни, озаренной волшебнымъ свѣтомъ внезапно вспыхнушаго неба, епископъ понялъ все то, что говорилъ ему прежде отецъ Кириакъ. „Мнилось мнѣ, говоритъ онъ, всматриваясь въ своего заснуваго

проводника,—что это былъ тотъ, на чьей шеѣ обитаетъ **СМЯ**; тотъ, чья смертная нога идетъ въ путь, котораго не знаютъ хищныя птицы; тотъ, передъ кѣмъ бѣжитъ ужасъ, сократившій меня до безсилія и уловившій меня, какъ въ петлю, въ мой собственный замысль. Скучно слово его, но за то онъ не можетъ утѣнять скорбное сердце движеніемъ губъ, а слово его это искра въ движеніи его сердца. Какъ краснорѣчива его добродѣтель и кто рѣшится огорчить его?.. Во всякомъ разѣ не я. Нѣтъ, живъ Господь, огорчившій ради его душу мою, это буду не я. Пусть плечо мое отпадетъ отъ спины моей и рука моя отломится отъ моего локтя, если я подниму ее на сего бѣдняка и на бѣдный родъ его! Прости меня, блаженный Августинъ, а я и тогда разомнслилъ съ тобою, и сейчасъ съ тобою несогласенъ, что будто „самыя добродѣтели языческія суть только скрытые пороки“. (Стр. 107, 108).

Я пропускаю окончаніе этого разсказа, пропускаю превосходную картину смерти отца Кириака, котораго бросилъ въ пустынь его крещенный проводникъ, съѣвшій Святые Дары, съѣвшій муро, съѣвшій даже губочку и унесшій съ собою дароносицу, въ полной увѣренности, что потомъ ему все это „попъ“ простить. Мнѣ кажется, что даже и тѣхъ выписокъ, которыя я позволилъ себѣ сдѣлать изъ замѣчательнаго произведенія г. Лѣскова, совершенно достаточно, чтобы освѣтить ту непроходимую бездну, какая лежитъ между капральскими взглядами князя Мещерскаго „на привычку къ обрядамъ“ и между истинно-человѣческимъ отношеніемъ къ человѣчеству и отдѣльному человѣку, блуждающему среди мрака и хаоса нашей жизни, „какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи“.

Кстати, въ разсказѣ г. Лѣскова мелькомъ проходитъ одна личность, до крайности похожая на князя Мещерскаго, какимъ онъ является въ своей „Уликѣ“. „Надо было отыскать, какъ можно скорѣе инспектора, подходящаго подъ мой духъ,—тоже лютаго,—разсказываетъ епископъ;—при большой спѣшности и небольшомъ выборѣ попался такой: лютости въ немъ оказалось довольно, но уже зато ничего другаго не спрашивай.

— Я, говорить, ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу...

— Хорошо, отвѣчаю, — примись по-военному.

Онъ и принялся и съ того началъ, что молитвы распорядился не читать, но пѣть хоромъ, дабы устранить всякія шалости, и то пѣть по его командѣ. Взойдетъ онъ при полномъ молчаніи, и, пока не скамандуетъ, всѣ безмолвствуютъ; скамандуетъ: „молитву!“ и запоютъ. Но этотъ уже очень „по-военному“ уставилъ; скаман-

гуеть „молит-в-у“! и семинаристы только заповють „Очи всѣхъ, Господи, на Тя упов...“—онъ на половинѣ слова кричить; „Ст-о-о-й“ и подзываетъ одного:

— Фроловъ, поди сюда!

Тотъ подходитъ.

— Ты Багрѣвъ?

— Нѣтъ-съ, я Фроловъ.

— А-а: ты Фроловъ?! Отчего-же это я думалъ, что ты Багрѣвъ?

Опять хохотъ и опять ко мнѣ жалобы.“ (Стр. 17.)

Тоже хохотъ... Только одинъ хохотъ и вызываетъ князь Менцерскій, на какомъ-бы поприщѣ ему не вздумалось выступить.

МЫ, ВЫ, ОНИ, ОНѢ. Юмористическіе очерки и шаржы. Вл. Михневича. Спб., 1879.

Въ одномъ изъ своихъ очерковъ, именно въ этюдѣ „Среди газетъ и журналовъ“, г. Михневичъ доводитъ до свѣденія своихъ читателей, что у насъ нѣтъ литераторовъ, а есть карандаши, отмѣчающіе извѣстные столбцы или строки, и есть еще ножницы, немедленно вырѣзывающія эти отмѣченныя мѣста. „Представьте себѣ, что во всей лабораторіи (мы такъ ее и будемъ называть) ни одной живой человѣческой души, а ножницы и карандаши такъ сами собой и работаютъ, такъ и работаютъ,—даже въ глазахъ заперстрѣло!“

„Кругомъ масса печатной бумаги въ разнообразномъ видѣ. Господа карандаши, съ важностью и достоинствомъ, твердо и плавно прогуливаются по всѣмъ ея направленіямъ, мѣстами оставляя на ней красный слѣдъ.“

„Тотчасъ за ними прогуливаются ножницы и гдѣ отмѣчено— „дзвягъ! дзвягъ!“ и вырѣзанные куски сами собой летятъ на столъ, а обрѣзки подъ столъ. Чудеса да и только!“

„Сталъ думать—не иллюзія-ли тутъ какая случайная? Протеръ тщательно очки — смотрю: карандаши, какъ есть карандаши. Правда, въ очень красивыхъ рейсфедерахъ и весьма недурно очиненные, но и только. Ножницы тоже самыя обыкновенныя, какія въ любой бумажной лавкѣ за цѣлковый „съ нашимъ удовольствіемъ“ продадутъ... Что-жь это за оказія?“

„Но удивленію моему предѣлъ еще не кончился. Въ то время,

какъ ножницы и карандаши, утомившись-ли, или побончивъ свою работу, комфортабельно прилегли на столъ и погрузились въ кѣбу, откуда ни возьмись — изъ угла, съ какой-то конторки или кассы полѣзли вдругъ на столъ цѣлые десятки и сотни какихъ-то странныхъ насѣкомыхъ и перемѣшались съ вырѣзанными кусками бумаги.“

„Ни за что-бы мнѣ не разсмотрѣть ихъ издали, еслибъ предпрительная Эллис не снабдила меня любезно своимъ великолепнымъ биноклемъ. Приблизиться-же совсѣмъ, памятуя законы, мы не рѣшались.“

„Батюшки, что-жъ я увидѣлъ вдругъ!“

„Насѣкомыя эти оказались ничто иное, какъ цѣлый легионъ многострадальныхъ русскихъ *нарѣчій*, *предлоговъ* и *союзовъ*, то-есть не иносказательныхъ (чего Боже упаси!), а какъ есть настоящихъ грамматикой изысканныхъ и на постоянное мѣсто жительства водворенныхъ, російскихъ нарѣчій, предлоговъ и союзовъ!“

„Разсѣявшись по всему столу, то порознь, то попарно, оне бойко и съ знаніемъ дѣла становились и въ средину, и во флангъ вырѣзовъ и, такимъ родомъ, великолѣпнѣйше соединяли ихъ между собою.“

„Вскорѣ вся эта разношерстная масса скомканной въ кучу бумаги приняла стройный, красивый видъ столбцовъ, рубрикъ и страницъ... Просто, любо было смотрѣть!“ (Стр. 145, 146, 147).

Все это въ высшей степени справедливо, но, къ сожалѣнію, нѣсколько узко. Создавая эту полуфантастическую картину, г. Михневичъ имѣлъ въ виду только газеты и журналы, только ихъ слабость къ „взаимному перепечатыванію“, какъ онъ выражается, а между тѣмъ какая масса появляется чуть-ли не ежедневно книгъ статей и белетристическихъ произведеній, повидимому, совершенно оригинальныхъ и самостоятельныхъ, но на самомъ дѣлѣ составленныхъ не живыми людьми, а карандашами, перьями и ножницами! Чтобы не ходить особенно далеко, я скажу, что именно къ числу подобныхъ произведеній принадлежитъ и лежащая передо мною книга г. Михневича. Во-первыхъ, хотя она и называется „Мы, вы, они, онѣ“, но въ ней нѣтъ ни насъ, ни васъ, ни ихъ, ибо на всѣхъ ея четырехстахъ страницахъ не встрѣчается ни одного живого человѣка; во-вторыхъ-же, и это уже послѣднее дѣло, въ ней не видно даже самаго автора. А между тѣмъ, — что дѣлать! — мы, обыкновенные читатели, любимъ даже и въ мертвой книгѣ имѣть дѣло съ живыми людьми, и если въ извѣстномъ произведеніи нѣтъ ихъ, потому что авторъ не обладаетъ художественнымъ дарованіемъ, то мы ждемъ, что передъ нами высту-

пить, по крайней мѣрѣ, хотъ онъ самъ, со своими-ли задушевными мыслями и идеалами, со своимъ-ли горячимъ негодованіемъ на пошлость нашей жизни, со своимъ-ли смѣхомъ надъ нашими заблужденіями и сквернами. И если даже и этого нѣтъ, если слово нашего автора вяло и холодно, если его чувства блѣдны и вырѣзаны изъ тѣхъ старыхъ прописей, въ которыхъ мы давно уже читали: „уходи отъ зла и твори благо“, тогда намъ, читателямъ, становится, право, очень скучно, потому что кабая-же охота читать однѣ только „слова, слова и слова“, притомъ давно знакомыя, до смерти надоѣвшія...

Въ „Траурныхъ дняхъ“, напр., г. Михневичъ рассказываетъ, что одинокому, какъ перстъ, старику, не можетъ быть особенно пріятно когда его единственного сына возьмутъ да и убьютъ въ какомъ-нибудь сраженіи... и читатель охотно соглашается, что, конечно, чего уже тутъ пріятнаго! Въ „Патріотъ, какихъ немало“, г. Михневичъ повѣствуетъ, что есть такіе люди, которые чрезвычайно удобно соединяютъ въ себѣ „патріотическую любовь къ престоль-отечеству съ непреоборимой склонностью къ казнокрадству и мздоимству“, — и читатель не можетъ не согласиться, что, дѣйствительно, есть. Далѣе г. Михневичъ рассказываетъ, что иногда встрѣчаются исключительные „дураки“, которые дорожатъ своимъ честнымъ именемъ; что есть евреи и не евреи, порядочно нажившіеся во время минувшей войны, есть кассиры — воры, есть мировые судьи, небрегающіе взятками, есть жены, измѣняющія мужьямъ и т. д., и такъ далѣе. Совершенно справедливо, на свѣтѣ есть всякіе люди, — соглашается читатель и впадаетъ все въ большее и большее уныніе, потому что все, что ни рассказываетъ ему г. Михневичъ, онъ, благосклонный читатель, давнымъ-давно знаетъ изъ своего собственнаго житейскаго опыта, изъ газетъ, отъ своихъ знакомыхъ и, пожалуй, самъ могъ-бы написать цѣлыя сотни подобныхъ „очерковъ и шаржей“. Г. Михневичъ не сообщаетъ ничего новаго своему читателю. Какъ обыкновенный читатель видитъ въ окружающей его жизни только ея поверхность, внѣшность, формы, ряды тѣхъ или другихъ случайностей и происшествій, такъ и г. Михневичъ не идетъ въ изображеніи описываемой имъ среды глубже ея наружныхъ покрововъ, видимыхъ всякому смертному, нелишенному зрѣнія. Но настоящимъ писателемъ можетъ назваться только тотъ писатель, который способенъ разсмотрѣть наблюдаемаго имъ человѣка насквозь, способенъ подмѣтить сокровеннѣйшія движенія его души и, кромѣ того, можетъ показать ихъ своимъ читателямъ такъ-же ясно, какъ видитъ самъ. Только этотъ внутренній міръ человѣка и имѣетъ для

насъ значеніе; только на страданія, подмѣченныя нами въ душѣ нашего ближняго, и можетъ отъликнуться наша душа, а случаи, происшествія, анекдоты, голые факты, — Боже мой! — да кому-же охота искать ихъ въ книгѣ, когда они сотнями мозолятъ намъ глаза и уши—дома, на улицѣ, всюду?.. Каждый часъ мы проходимъ мимо этихъ „случаевъ“, почти не обращая на нихъ ни малѣйшаго вниманія, а между тѣмъ, еслибы мы имѣли возможность заглянуть въ душу дѣйствующихъ лицъ этихъ „случаевъ“, то—кто знаетъ?—быть можетъ, и наша собственная жизнь, и вся жизнь, окружающая насъ, представилась-бы намъ въ совершенно новомъ свѣтѣ.

Въ книгѣ г. Лѣскова „Русскіе богоносцы“ есть еще другой рассказъ: „Владычный судъ“, очень немногосложный по своему содержанию. Въ старыя времена, когда еще стригли въ рекруты малолѣтнихъ еврейчиковъ, у одного еврея-интролигатора, то-есть переплетчика, кагалъ схватилъ съ постели его десятилѣтняго сына и увезъ его къ сдачѣ въ наборъ. Интролигаторъ продалъ за двѣсти рублей все, что только у него было, закабалился за триста рублей кабальной записью богатому еврею и нанялъ, за своего сына, наемщика, тоже еврея. Но этотъ наемщикъ не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія становиться подъ красную шапку; онъ очень хорошо звалъ, что ему стоило только поскорѣе сдѣлаться христіаниномъ, и тогда интролигаторъ не могъ имѣть на него уже ровно никакихъ правъ, такъ-какъ, „по закону, еврея въ рекрутствѣ могъ замѣнить только еврей, а ни въ какомъ случаѣ не христіанинъ“. Поэтому наемщикъ, получивъ отъ интролигатора деньги, тотчасъ-же бѣжалъ отъ него, взявъ, не торгуясь, четверку лошадей, укатилъ въ Кіевъ—креститься и, разумѣется, въ конецъ одурачилъ-бы своего нанимателя, еслибы кіевскій митрополитъ, которому рассказали всю эту исторію, не разрѣшилъ 'ее нѣсколькими словами: „не достоинъ онъ крещенія... отослать его въ приѣмъ“. Вотъ и все. Г. Михневичъ, безъ сомнѣнія, сдѣлалъ-бы изъ этого матеріала нѣчто вродѣ анекдота, казуснаго случая, забавнаго происшествія, но г. Лѣсковъ взялся за дѣло нѣсколько съ другой стороны и выдвинулъ на первый планъ своего интролигатора со всѣмъ его потрясающимъ отчаяніемъ, со всѣми, пережитыми имъ, сердечными муками.

„— Ай-вай, спустите мене, спустите... Уй, ай, ай, ай, ай-вай, спустите! Ай, спустите, бо часу нема, бо онъ вже... тамъ у лавру... утиць... Ай, гашпадинъ митрополитъ, гашпадинъ митрополитъ... Ай-вай, гашпадинъ митрополитъ, когда-жъ ви-же старъ ча-

ловѣтъ... ай-вай, когда-жь ви у Бога вируеть.. ай... што-же этой такой бу-у-детъ!.. Ай, спустить мене, ай... ай!

— Куда тебя, парха, пустить! остепенялъ его знакомый голосъ солдата Алексѣева.

— Туда... гвалтъ... я не знаю — куда... кто въ Богъ вируе... спустите... бо я несчастливый бѣдный жидокъ... що вамъ мне тримать... що мне мучить... я вже замучинь... спустите ради Бога...

— Да куда тебя, лѣшаго, пустить? Куда ты пойдешь, куда просишься?

— Ай, только спустите... я пиду... ей-богу, пиду... бо я не знаю, куда пиду... бо мне треба до самъ гашпидинъ митрополить...

— Да развѣ здѣсь, жидъ ты эдакой, сидитъ господинъ митрополить! резонировалъ сторожь.

— Ахъ... веды-жь... веды-жь я не знаю, гдѣ сидитъ гашпидинъ митрополить, гдѣ къ ему стукать... Ай мнѣ-же его треба, мнѣ его гвалтъ треба! — отчаянно картавилъ и отчаянно бился еврей.

— Мало чего тебѣ треба: такъ тебя, парха, и пустятъ до митрополита!

Жидъ еще лише завылъ.

— Ай, мне надо митрополить... мне... мне не пустятъ до митрополить?.. Пропало, пропало мое дѣтко, мое несчастливое дѣтко!

И онъ вдругъ пустилъ такую ужасающую ноту вопля, что всѣ даже отшатнулись.

Солдатъ зажалъ ему рукою ротъ, но онъ высвободилъ лице и снова завопилъ съ жидовскою школьною вибраціею.

— Ой Іешу! Іешу Ганоцри! Онъ тебя обмануть хочеть: не бери его, лайдака, мишигинера, плута... Ой, Іешу, на що тебѣ такой поганецъ“...

„И лишь только солдаты отняли отъ него свои руки, „сѹмашедшій жидъ“ метнулся впередъ, какъ кошка, которая была заперта въ темномъ шкафѣ и передъ которою вдругъ неожиданно раскрылись дверцы. Чиновники—кто со смѣхомъ, кто въ перепугѣ, какъ разсыпанный горохъ, шарахнулись въ сторону, а жидъ пошелъ козлякать.

Онъ скакалъ изъ одной открытой двери въ другую, царапался въ закрытую дверь другого отдѣленія, и все это съ воплемъ, со стонами, съ крикомъ „ай, вай“, и все это такъ быстро, что прежде, чѣмъ мы успѣли поспѣть за нимъ, онъ уже запрыгнулъ въ

присутствіе и гдѣ-то тамъ притаился. Только слышна была откуда-то его дрожь и трепетное дыханіе, но самого его нигдѣ не было видно, словно онъ сквозь землю провалился; трясется и дышетъ, и скребется подъ поломъ, какъ тѣнь Гамлета*.

Черезъ минуту онъ былъ открытъ: мы нашли его скорчившимся, на полу, у угла стола. Онъ сидѣлъ крѣпко обхвативъ столовую ножку руками и ногами, а зубами держался за край обшитого галунами и бахромою красного сукна, которымъ былъ покрытъ этотъ столъ.

Можно было подумать, что жидъ считалъ себя здѣсь, какъ „въ градѣ убѣжища“, и держался за этотъ уголъ присутственнаго стола, какъ за рогъ жертвенника. Онъ укрѣпился, очевидно, съ такою рѣшительностію, что скорѣе можно было обрубить его судорожно замершіе пальцы, чѣмъ оторвать ихъ отъ этого стола. Солдаты тормозили и тянулъ его совершенно напрасно: весь тяжелый, длинный столъ дрожалъ и двигался, но жидъ отъ него не отдирался и въ то-же время оралъ немилосердно.

Мнѣ это стало отвратительно, и я велѣлъ его оставить и послалъ за городовымъ докторомъ; но во врачебной помощи не оказалось никакой надобности. Чуть еврея оставили въ покоѣ, онъ тотчасъ стихъ и началъ копошиться и шарить у себя за пазухой и черезъ минуту, озираясь на всѣ стороны, какъ волею на садкѣ, подкрался ко мнѣ и положилъ на столѣ пачку бумагъ, плотно обернутыхъ въ толстой оберѣ, насквозь пропитанной какою-то вонючею коричневатую, какъ-бы сукровистою влагою, чрезвычайно противною“. (Стр. 147, 148, 149, 150, 151, 152.)

Это былъ кровавый потъ.

„Да, эта вонючая сукровичная влага, которою была пропитана рыхлая обертка поданныхъ имъ мнѣ бумагъ и которою смердѣли всѣ эти „документы“, была не что иное, какъ *кровавый потъ*, который я въ этотъ единственный разъ моей жизни видѣлъ своими глазами на человѣкѣ. По мѣрѣ того, какъ этотъ „ледеви неутопшій и ледеви не сгорѣвшій“, худой, изнеможенный жидъ, размерзлся и разокалъ въ теплой комнатѣ, его лобъ, съ прилипшими къ нему мокрыми волосами, его скорченныя, какъ-бы судорожно теребившія свои лохмотья, руги и особенно обнажившаяся изъ-подъ разорваннаго лапсардака гдудь, — все это было покрыто тонкими сеадинами, изъ которыхъ, какъ клюквенный сокъ сквозь частую кисею, проступала и сочилась мелкими росистыми каплями красная влага... Это видѣть ужасно!

Кто никогда не видалъ этого *кроваваго пота*, а такихъ, а думаю, очень много, такъ-какъ есть значительная доля людей.

которые даже сомнѣваются въ самой возможности такого явленія,—тѣмъ я могу сказать, что я его *самъ* видѣлъ и что это невыразимо *страшно*.

По крайней мѣрѣ это росистое влюквенное пятно на предсердцѣ до сихъ поръ живо стоитъ въ моихъ глазахъ, и мнѣ кажется, будто я видѣлъ сквозь него отверзтое человѣческое сердце, страдающее самую тяжкою мукою, — мукою отца, стремящагося спасти своего ребенка... О, еще разъ скажу: это ужасно!" (Стр. 171, 177).

Этотъ „Владычный судъ“ самъ по себѣ растянуть, загроможденъ безпрестанными отступленіями, вводными и совсѣмъ ненужными лицами, излишними мелочными подробностями. Всѣ онѣ, разумѣется, сейчасъ-же забудутся большею частію читателей, но этотъ вонючій жидъ съ его святымъ горемъ, съ его отчаяннымъ вытьемъ, съ его съумасшедшимъ „козляканьемъ“, съ его кровавымъ потомъ — навсегда останется въ ихъ сердцахъ, какъ *человѣкъ*, котораго читатели *видѣли* и *слышали* въ мучительнѣйшія минуты его жизни. Въ обыкновенныя минуты будетъ, конечно, забываться и онъ; но отъ времени до времени, когда рѣчь зайдетъ о евреяхъ, о горѣ отца, потерявшаго своего сына,—интролигаторъ снова вспомнится и снова пройдетъ передъ глазами читателей—напоминая имъ, какое иногда бываетъ это горе и какія душевныя муки скрываются иногда подъ внѣшностью отталкивающей смѣшной, невообразимо нелѣпой.

Въ своемъ разсказѣ „Траурные дни“ г. Михневичъ тоже, какъ я говорилъ уже, описываетъ отца, который лишился своего единственнаго сына и, вслѣдствіе этого, сошелъ съ ума; но это описаніе такого рода, что читатель, знающій жизнь, имѣетъ полное право спросить автора: „да не ошибаетесь-ли вы, г. Михневичъ? Дѣйствительно-ли старикъ лишился разсудка именно оттого, что потерялъ сына? Не повліяли-ли на его умственные способности какія-нибудь совсѣмъ другія обстоятельства, упущенныя вами изъ вида?“

Въ другомъ разсказѣ, озаглавленомъ „Дуракъ“, — г. Михневичъ выводитъ на сцену честнаго чиновника, неберущаго взятокъ, но опять-таки изображаетъ его такимъ образомъ, что, право, нельзя не заподозрить, что, можетъ быть, этотъ честный „Дуракъ“ и въ самомъ дѣлѣ невообразимо глупъ, глупъ до такой степени, что не въ состояніи дать себѣ никакого отчета даже въ своихъ собственныхъ поступкахъ. Деньги, какъ извѣстно, являются слишкомъ обаятельною силою въ нашу „золотой“ вѣкъ, и если какой-нибудь человѣкъ не цѣнитъ ихъ, презираетъ ихъ, можетъ

быть, даже совѣтъ не признаетъ за ними силы, то это значитъ въ большинствѣ случаевъ, что въ его душѣ есть другой богъ, несравненно болѣе могущественный и обаятельный, чѣмъ золотой телець. Покажите намъ этого бога во всемъ его величїи, покажите намъ эту святыню честнаго человѣка во всей ея красотѣ, и тогда, быть можетъ, мы и сами преклонимся передъ нею. А если нѣтъ, если вы даже и не касаетесь внутреннего міра нашего героя, если вашъ честный человѣкъ остается честнымъ Господь его знаетъ почему, то тогда „толпа“, „улица“, та масса, для которой вы пишете, въ одинъ голосъ скажетъ: „дуракъ и есть, этотъ честный человѣкъ! Чего онъ не беретъ, когда ему даютъ хорошія деньги?“

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

ИСТОРИЯ ШВЕЙЦАРСКАГО СОЮЗА.

(Geschichte des Schweizervolkes und seiner Kultur von der ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, von Otto Henne-Am-Rhyn. 3 Ausgabe. 3. B. 1877.)

I.

Намъ не зачѣмъ забираться въ сѣдую древность, въ эпоху свайныхъ построекъ, въ каменный и бронзовый вѣкъ, остатками которыхъ такъ богата Швейцарія; мы начнемъ съ первой формы исторической жизни этой страны—съ древне-швейцарской общины. Земля была общимъ достояніемъ всѣхъ жителей деревни, сообща обрабатывалась, и всѣми общественными дѣлами руководило народное собраніе жителей. Эту, по выраженію Фривтена, „чистѣйшую и древнѣйшую форму свободы“ до сихъ поръ можно наблюдать въ нѣкоторыхъ глухихъ мѣстностяхъ Швейцаріи, въ Ури и Апенцелѣ. Здѣсь каждый годъ, въ одно изъ майскихъ воскресеній, народъ—и католики и протестанты—слушаетъ обѣдню и проповѣдь, затѣмъ въ торжественной процесіи отправляется на базарную площадь или на какой-нибудь лугъ, лежащій при подножій величественной горы. „Впереди, говоритъ Фривтенъ *), — идетъ маленькая армія кантона, — армія, которая не обнажаетъ своего меча для другихъ цѣлей, кромѣ изгнанія чужеземца изъ родной земли. Надъ нею развѣвается знамя, голова быка Ури,—знамя, которое водило людей къ побѣдамъ на поляхъ Земпахъ и Моргартена. Впереди войска несутъ на плечахъ знаменитые рога дикаго древняго быка, звукъ которыхъ приводилъ въ такой трепетъ безстрашное сердце короля бургундскаго. Затѣмъ, предшествуемые ликторами, слѣду-

*) The growth of the english constitution, Tauchnitz edition, p. 7—25.

ють власти республики верхомъ на лошадахъ и главный представитель ея, ландманъ, опоясанный мечомъ. Народъ слѣдуетъ за властями на назначенное для собранія мѣсто и разсаживается здѣсь вокругъ главнаго правителя своей республики, срокъ службы котораго кончается въ этотъ день. Собраніе открывається, и прежде всего дается нѣсколько минутъ для тихой молитвы, которую каждый произноситъ про себя. Затѣмъ начинаются очередныя дѣла. Если требуются перемены въ законахъ, то онѣ подвергаются рѣшенію собранія, въ которомъ каждый совершеннолѣтній имѣетъ право голоса и слова. Прежніе чиновники теперь слагаютъ съ себя всѣ свои обязанности; срокъ ихъ службы кончился; права, врученныя имъ, снова возвращаются къ тѣмъ, которые давали ихъ имъ, къ самодержавному народу. Глава республики, переставъ быть теперь главой, оставляетъ свое официальное сѣдалище и, какъ простой гражданинъ, занимаетъ мѣсто среди своихъ согражданъ. Собраніе можетъ или снова призвать его на покинутое имъ кресло, или-же выбрать вмѣсто его другого. Но и въ цѣлой конфедерации, и въ отдѣльныхъ кантонахъ только въ видѣ рѣдкихъ исключеній бываетъ, что по окончаніи срока службы не выбираютъ вновь тѣхъ-же лицъ... Таковую-же сцену увидимъ мы, если перенесемъ изъ Ури въ Апенцель, съ зеленыхъ луговъ Беплингена на базарную площадь Трогена. Правда, въ собраніи протестантскаго и промышленнаго населенія Апенцеля мы не найдемъ кой-чего изъ того, чѣмъ отличается собраніе католическаго и пастушескаго Ури; но печать древности, печать вѣковой свободы давно лежитъ на собраніяхъ и всей жизни обѣихъ республикъ. Въ Апенцелѣ мы не видимъ ни торжественной процесіи, ни будущихъ верхомъ властей, ни военной обстановки, какъ въ Ури; но зато встрѣчаемъ древній обычай, отъ котораго болѣе, чѣмъ отъ какого-либо другого, вѣетъ духомъ тѣхъ дней, когда свобода была не привычнымъ достояніемъ всѣхъ, а вещью, ради которой люди жертвовали своимъ трудомъ, а въ случаѣ надобности, и своею кровью. Каждый, отправляющийся на собраніе въ общину Трогенъ, имѣетъ при бедрѣ мечъ, который законъ въ одно и то-же время повелѣваетъ ему носить и запрещаетъ обнажать. По древнему обычаю, вновь выбранный ландманъ, вступая въ свою должность, прежде всего клятвою обязывается повиноваться законамъ республики, управлять которою онъ призванъ, а затѣмъ выслушиваетъ ту-же самую клятву отъ выбравшаго его народа“.

Эти остатки первобытной общины сохранились преимущественно въ горахъ нѣмецкой Швейцаріи, въ которыхъ древнѣйшія народныя учрежденія находили защиту отъ вышнихъ враговъ, имѣвшихъ наибольшій успѣхъ въ Швейцаріи французской и итальян-

янской. А враговъ этихъ было много; они окружали Швейцарію со всѣхъ сторонъ и съ теченіемъ времени сбѣнялись одни другими. Сначала римляне обратили Гельвецію въ свою провинцію и воспользовались ею, какъ природною крѣпостью, лежащею почти посрединѣ рейнско-дунайской границы. Съ царствованія Веспасіана до окончательнаго паденія Рима, Швейцарія пользовалась полнымъ миромъ и въ ней развивалась новая жизнь подъ вліяніемъ римской цивилизаціи: исчезло принесеніе людей въ жертву, первобытныя свайныя постройки замѣнились городами и деревнями, явились водопроводы и общественныя бани, театры и школы, храмы и виллы. Конечно, все это создавалось завоевателями и существовало, главнымъ образомъ, для нихъ, но все-таки римская культура имѣла развивающее вліяніе на полудикихъ сыновъ Гельвеціи, которымъ, послѣ паденія римскаго владычества, пришлось гораздо хуже, когда въ ихъ страну вторглись и начали хозяйничать въ ней алеманы и бургунды. Съ VI до половины VIII в. почти всей Швейцаріей владѣли меровинги, и долго потомъ Франція имѣла сильное вліяніе на судьбу этой страны, между тѣмъ какъ съ запада ее тѣснили савойскіе герцоги, а съ востока—габсбурги. Несмотря на всю гористость, страна то-и-дѣло подвергалась иностраннымъ вторженіямъ и не менѣе, чѣмъ отъ внѣшнихъ враговъ, страдала отъ своихъ собственныхъ владыкъ, имѣ-же числа не было. Въ Швейцаріи съ XII в. династія церинговъ пыталась-было положить основаніе монархіи, но выродилась и погибла въ борьбѣ за свое существованіе. Швейцарія долго состояла въ зависимости отъ германской имперіи, но эта зависимость не была ни очень тяжелой, ни достаточно прочной; зато страну терзаль цѣлый легіонъ мелкихъ деспотовъ, духовныхъ и свѣтскихъ феодаловъ. Въ числѣ духовныхъ владѣльцевъ были нѣкоторые епископы, напр., жевевскій, главнымъ-же образомъ, монастыри, игравшіе чрезвычайно важную роль въ колонизаціи страны. Монастыри заселяли и воздѣлывали дикія земли, совершенствовали сельское хозяйство, служили центрами умственной жизни и хранителями произведеній классическихъ наукъ и искусствъ, хотя въ послѣднемъ отношеніи значеніе монастырей многими историками преувеличивается, такъ-какъ въ дѣйствительности монахи сплошь и рядомъ, вслѣдствіе невѣжества или фанатизма, истребляли драгоцѣннѣйшія произведенія классиковъ и, выскобливъ древніе пергаменты, писали на нихъ что-нибудь свое. Будучи основаны большею частію подвижниками и пустынниками, память которыхъ не умирала въ народѣ, обладая чудотворными иконами, мощами и другими предметами святости, искусно поддерживая свой авторитетъ въ глазахъ мірянъ, монастыри быстро расширяли свои

владѣнія и скопляли значительныя богатства. Вѣрующіе дарили имъ и земли, и всякія драгоцѣнности, преимущественно „на упокой души“; монахи отлично вели хозяйство, выгодно торговали, и монастыри становились первыми землевладѣльцами Швейцаріи, какъ, напр., Сентъ-Галенъ, основанный еще въ VIII в. св. Галомъ. Все его хозяйство, по тогдашнему обыкновенію, было основано на крѣпостномъ правѣ. У него было нѣсколько сотъ крѣпостныхъ; часть ихъ жила въ самомъ монастырѣ, въ качествѣ работниковъ, хлѣбниковъ, плотниковъ, пивоваровъ, портныхъ и т. д.; другая часть завѣдывала монастырскими лошадьми, коровами, козами, свиньями, овцами; третья—работала на судахъ и вела на нихъ монастырскую торговлю по Боденскому озеру. Многіе крѣпостные жили и работали на монастырскихъ фермахъ; мужчины воздѣлывали землю, а женщины ткали, пряли, шили. Крѣпостной былъ полною собственностью господина, который могъ продать его, подарить, проиграть и т. д. Живи трудомъ рабовъ своихъ, монахи скоро удалились отъ первоначальной строгой и простой жизни; вмѣсто *братьевъ* начали называться *господами*, что было вполне естественно не только потому, что монастырь былъ феодальнымъ владѣльцемъ, но и потому, что въ С.-Галенѣ могли постригаться только „благородные“. Монахи строили себѣ дома и жили отдѣльно, предоставивъ заботы о богослуженіи и требы наемнымъ викаріямъ; они пьянствовали и бражничали, охотились, наслаждались со своими любовницами. Что было въ С.-Галенѣ, то-же самое было и въ другихъ монастыряхъ, и не только въ мужскихъ, но и въ женскихъ: рабовладѣльческое монашество превращалось въ богатую, невѣжественную и развращенную касту, разорявшую и угнетавшую народъ. До чего простиралось невѣжество монаховъ, можно судить потому, напримѣръ, что въ главномъ монастырѣ Швейцаріи, С.-Галенѣ, въ 1291 году никто изъ членовъ капитула, не исключая и абата, не умѣлъ писать. Крайнему огрубѣнію монашества много содѣйствовало и то обстоятельство, что оно посредствомъ силы или хитрости должно было защищать свое достояніе отъ многочисленныхъ враговъ, окружавшихъ его со всѣхъ сторонъ. Свѣтскіе феодалы пользовались всякимъ случаемъ, чтобы отнять у монастырей хоть что-нибудь; папскіе легаты того только и смотрѣли, какъ-бы почище обобрать ихъ, а мѣстные епископы старались подчинить ихъ своей власти, и случалось даже, что завоевывали и грабили ихъ.

Съ самаго начала среднихъ вѣковъ, въ Швейцаріи, какъ и въ остальной Европѣ, появился феодализмъ, названіе котораго происходитъ отъ нѣмецкаго *Vieh*, *скотъ*, и феодалъ собственно значитъ человѣкъ, богатый скотомъ, такъ-какъ скотъ въ первобытно-патріар-

хальной жизни замѣнялъ собою деньги. Что-же касается самой феодальной системы, то она состояла въ томъ, что люди вліятельные и сильные, начиная съ королей, раздавали земли въ пользованіе лицамъ, которыя, въ отплату за это, должны были нести извѣстную службу этимъ своимъ сюзеренамъ. Земли превращались въ собственность феодаловъ, а крестьяне — въ крѣпостныхъ рабовъ; первобытная сельская община разрушалась; ея самоуправленіе падало, и, вмѣсто выборныхъ народныхъ чиновниковъ или *графовъ*, на эту должность сюзерены начали назначать своихъ агентовъ. Достоинство графа сдѣлалось наследственнымъ, равно какъ и званіе *предводителей войскъ*, герцоговъ. Такимъ образомъ, явилось новое дворянство и скоро блескомъ своимъ затмило старое. Въ ряды этого новаго дворянства вступали не только упомянутые графы и военачальники, но и менѣе значительные, даже самыя незначительныя придворныя служители, должности которыхъ превращались въ наследственныя званія, какъ, напр., мундшенки, конюхи или маршалки, управляющіе имѣніями или майеры, надсмотрщики скота или сенешалки. Судебную власть сюзерены тоже уступали разнымъ лицамъ, даже корпораціямъ, напр., монастырямъ, и, такимъ образомъ, возникъ новый классъ дворянства — гаугграфы и ландграфы, отношенія которыхъ къ подсуднымъ жителямъ были въ высшей степени запутаны, такъ-какъ сплошь и рядомъ чрезвычайно трудно было опредѣлить, кому подсудна извѣстная мѣстность, между тѣмъ какъ на эту подсудность разомъ претендовало нѣсколько лицъ. Крѣпостная зависимость крестьянъ, жившихъ на земляхъ феодаловъ, съ теченіемъ времени нѣсколько смягчалась вмѣстѣ съ правами; но все-таки положеніе крѣпостныхъ было невыносимо, сравнительно съ положеніемъ тѣхъ земляковъ ихъ, которымъ въ ихъ лѣсахъ и горахъ удалось сохранить и первобытную общину, и свою древнюю свободу. Даже въ XIV в. въ нѣкоторыхъ кантонахъ Швейцаріи новобрачные должны были выкупать отъ помѣщика его право на первую ночь. Даже свободные люди подвергались притѣсненіямъ и поборамъ со стороны феодаловъ, которые сплошь и рядомъ отстаивали свои права на основаніи сфабрикованныхъ ими фальшивыхъ документовъ. Такъ, напр., въ XV в. монастырь Франисбергъ поддѣлалъ грамоту XIII вѣка, чтобы подкрѣпить свое право на получаемую имъ очень богатую десятину.

Народъ страдалъ отъ гнета феодальныхъ владыкъ, сидѣвшихъ въ богатыхъ и крѣпкихъ монастыряхъ и замкахъ, но еще болѣе страдалъ отъ постоянныхъ войнъ и междоусобицъ этихъ владыкъ; которые, чтобы раззорить и погубить своихъ противниковъ, раззоряли и губили ихъ подданныхъ. Къ этому присоединялись еще

борьба духовенства со свѣтской властью, борьба феодаловъ съ городами, борьба швейцарцевъ съ Австріей и Савойей, междоусобицы общинъ и очень частыя вторженія въ страну разныхъ военныхъ и разбойничьихъ полчищъ. Таковы были, напр., въ XIV в. *гуилеры*, наемные солдаты Англии, очутившіеся по окончаніи англо-французской войны безъ дѣла и нахлынувшіе на Швейцарію въ числѣ 40,000 всадниковъ и соответственнаго количества пѣхоты. Они носили дорогія платья и панцири, красивые шлемы, разбойничали и пировали, сожигали деревни, безчестили женщинъ. Только соединеннымъ ополченіемъ разныхъ городовъ и кантоновъ удалось въ 1375 г. разбить и отбросить за-границу эти разбойничьи полчища. Въ XV в. швейцарцамъ пришлось участвовать въ войнахъ бургундской и швабской, на веденіе которыхъ потрачено тоже много силъ и средствъ.

Въ началѣ XIII в. династія церинговъ, стремившаяся создать изъ нынѣшней Швейцаріи монархію, вымерла, и важнѣйшіе города страны, какъ Цюрихъ и Бернъ, равно и кантоны, снова сдѣлались въ значительной степени самостоятельными, хотя и считались зависящими отъ имперіи, мѣстными представителями которой были мѣстные фогты. Столкновения съ Австріей, доходившія до серьезныхъ войнъ, кончились рѣшительнымъ отдѣленіемъ отъ нея Швейцаріи въ 1468 г. Между тѣмъ, одновременно съ этимъ освобожденіемъ страны отъ внѣшнихъ повелителей, она освободилась и отъ своихъ внутреннихъ деспотовъ. Феодалныя фамиліи, главнымъ образомъ, вслѣдствіе постоянныхъ войнъ и междоусобицъ, особенно крестовыхъ походовъ, постепенно раззорались, вырождались и вымирали, или-же, входя въ неоплатные долги, вынуждены были продавать свои имѣнія, преимущественно богатымъ городамъ. Такъ, напр., въ 1383 г. графы Рудольфъ и Бертольдъ Кибурги, потерпѣвшіе поражение отъ швейцарскаго союзнаго войска, такъ нуждались въ деньгахъ, что продали свои мельницы, а потомъ—Тунъ и Бугдорфъ, Берву за 37,800 гульденовъ. Путемъ подобныхъ покупокъ города приобрѣтали немало феодалныхъ владѣній и, по мѣрѣ вымирания и раззоренія феодалной аристократіи, занимали ея мѣсто въ общественномъ строѣ. Городъ С. Галенъ, образовавшійся изъ селенія, расположеннаго около монастыря того-же имени, и населенный частію свободными людьми, частію монастырскими крѣпостными, уже въ XIII в. достигъ значительной степени благосостоянія, благодаря, главнымъ образомъ, своему полотняному производству. Въ обмѣнъ за разныя услуги горожанъ, ихъ феодалныя владѣльцы, абаты, давали имъ разныя льготы и вольности, право свободного распоряженія ихъ имуществами, право выстроить ратушу и выбирать городской совѣтъ, предсѣдатель

второго, однакожъ, опредѣлялся сначала абатомъ. Еще ранѣе Цюрихъ получилъ разныя льготы и былъ принятъ подъ особое покровительство императоромъ Фридрихомъ II, которому онъ служилъ станціей на пути изъ Германіи въ Испанію. Благодаря этому государю, въ Цюрихѣ не допускалось духовныхъ не изъ мѣстныхъ жителей, фогты выбирались изъ горожанъ-же, притязанія папъ не имѣли большого успѣха и привилегіи духовенства постепенно отжѣнялись. Когда въ 1230 г. понадобилось возобновить городскія укрѣпленія, то цюрихскій совѣтъ потребовалъ и отъ духовенства людей и денегъ на эти работы. Духовенство отказало; тогда совѣтъ не только принудилъ удовлетворить своему требованію, но еще и обратилъ вниманіе на безнравственную жизнь нѣкоторыхъ духовныхъ и изгналъ изъ города ихъ содержанокъ. Въ 1273 году Рудольфъ Габсбургъ сдѣлалъ Цюрихъ самостоятельнымъ имперскимъ городомъ, а послѣ смерти его совѣтъ общины поклялся, что городъ отнынѣ не будетъ подчиняться никакой чуждой власти, и вслѣдъ затѣмъ Цюрихъ вступилъ въ союзъ съ кантонами Ури и Швицъ и съ нѣкоторыми феодалами. Люцернъ, развившійся изъ при-монастырской деревни, имѣлъ свой совѣтъ еще въ XIII вѣкѣ, когда Фридрихъ II сдѣлалъ его имперскимъ городомъ. Хозяйство монастыря Мурбаха, которому принадлежалъ городъ, было крайне разстроено, и абаты то-и-дѣло занимали у горожанъ деньги; боясь, чтобы они не продали кому-нибудь своихъ правъ, Люцернъ въ 1285 г. далъ абату займы еще 200 марокъ серебра, и абать вмѣстѣ съ кантуломъ поклялся никогда не продавать, не закладывать, не промѣнивать Люцерна. Но уже черезъ шесть лѣтъ новый абать продалъ Люцернъ со всѣми его землями и жителями императору Рудольфу, и Люцернъ сдѣлался провинціальнымъ городомъ Австріи, хотя въ сущности эта его зависимость была почти только номинальная. Подобнымъ-же образомъ постепенно освобождались и приобрѣтали самостоятельность Бернъ, Женева и др. города нынѣшняго швейцарскаго союза.

Но мы уже сказали, что освобождавшіеся города относительно народа большею частію только замѣняли собою павшую феодальную аристократію. Эти городскія республики управлялись совѣтами, развившимися очень рано на почвѣ первобытной общины. Въ Цюрихѣ, напр., мы видимъ городскій совѣтъ еще въ XII вѣкѣ. Онъ состоялъ изъ 12 членовъ, часть которыхъ выбиралась изъ рыцарей, а другая изъ бюргеровъ, и при этомъ численное отношеніе этихъ обѣихъ половинъ постоянно колебалось; иногда онѣ были равны одна другой, иногда большинство принадлежало рыцарству, иногда бюргерамъ. Кромѣ рыцарей, происходившихъ отъ „королевскихъ людей“ и чиновниковъ абатства, и бюргеровъ,

потомковъ свободныхъ членовъ первобытной общины, въ городѣ были еще простые обыватели неимѣвшіе никакихъ политическихъ правъ. Ремесленники, бывшіе сначала крѣпостными, гражданскихъ правъ не имѣли, состояли въ вѣденіи совѣта и управлялись назначенными имъ чиновниками. Въ корпорацію горожанъ, состоящую изъ рыцарей и бюргеровъ, новыя члены могли поступать только съ формальнаго дозволенія совѣта, причеиъ они обязывались купить или выстроить себѣ домъ въ городѣ. Совѣтъ сначала назывался абатисою монастыря, которому принадлежалъ городъ, но въ половинѣ XIII в. выборъ членовъ его перешелъ къ общинѣ полноправныхъ гражданъ; предсѣдательствовавшіе же на немъ сначала имперскій фогтъ, потомъ назначаемый абатисою старшина впоследствии были лишены предсѣдательства и совѣтъ сдѣлался вполнѣ самостоятельнымъ. Опека совѣта лежала на всей жизни гражданъ: онъ опредѣлялъ и число музыкантовъ на свадьбѣ, и величину надгробнаго памятника, и время, когда слѣдуетъ гасить огни по вечерамъ и т. д. Судъ чинился публично имперскимъ фогтомъ, но съ участіемъ совѣтниковъ или другихъ „почетныхъ“ гражданъ, да и то только по серьезнымъ дѣламъ (Blutgericht); всѣ же другіе судебныя дѣла рѣшалъ и слѣдствіе велъ самъ совѣтъ, который и въ этомъ отношеніи болѣе и болѣе ограничивалъ фогта.

Цюрихская городская республика, такимъ образомъ, была олигархіей, подобно другимъ европейскимъ городамъ; рыцарскія и бюргерскія фамиліи однѣ обладали политическими правами и управляли толпою безправныхъ ремесленниковъ, составлявшихъ большинство городскихъ жителей. Благодаря труду и бережливости, эти ремесленники постепенно освобождались изъ крѣпостной зависимости и дѣлались общественной силой, съ которой „благороднымъ“ бюргерамъ приходилось серьезно считаться. Они старались всѣми мѣрами обуздать притязанія ремесленниковъ на равноправность, но недовольство послѣднихъ только усиливалось направленными противъ нихъ распоряженіями совѣта и около половины XIV в. дозрѣло уже до возможности переворота. Во главѣ недовольныхъ сталъ въ 1336 г. рыцарь Брунъ, имѣвшій личную злобу противъ бюргеровъ и составившій проектъ новой конституціи. Собравшись въ церкви, община, съ участіемъ ремесленниковъ, низложила правительство, выбрала Бруна на вновь учрежденную должность бургомистра и утвердила новую конституцію, въ силу которой, совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ бургомистра, долженъ былъ состоять изъ 13 членовъ отъ прежняго состава гражданъ и столькихъ же цеховыхъ старшинъ, выбираемыхъ тринадцатью цехами на которые были раздѣлены ремесленники. Брунъ былъ

выбранъ пожизненнымъ бургомистромъ, а изъ прежнихъ совѣтниковъ нѣкоторые были изгнаны изъ города, нѣкоторые подвергнуты другимъ наказаніямъ. Изгнанные совѣтники, вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ окрестныхъ феодаловъ и со своими единомышленниками въ городѣ, не разъ затѣвали переворотъ съ цѣлью возстановленія прежней олигархіи, но всѣ ихъ попытки не повели ни къ чему, и демократическая конституція Бруна надолго утвердилась въ Цюрихѣ. Подобный-же переворотъ въ демократическомъ смыслѣ совершился въ Бернѣ въ 1363 году, но черезъ двадцать лѣтъ народная партія потерпѣла уже пораженіе отъ аристократической, которая и положила начало развитію позднѣйшаго патриціата. Въ Цюрихѣ-же, черезъ сто лѣтъ послѣ Бруна, совершились новыя реформы въ томъ-же духѣ, подъ руководствомъ Вальдмана, избраннаго въ бургомистры въ 1485 г. Вальдманъ со своей партіей энергично боролся съ притязаніями духовенства: предсмертныя завѣщанія въ пользу церкви были объявлены недѣйствительными; феодальныя повинности церкви и духовенству уничтожены; капитулъ принужденъ былъ низложить недостойную настоятельницу; нищенствующимъ монахамъ запрещено исловѣдывать монахинь и т. д. Вальдманъ коснулся и городского устройства: облегчилъ возможность вступленія въ общину новыхъ членовъ, регулировалъ промышленность, ввелъ совершенно чуждую среднимъ вѣкамъ полицейскую систему общественной гигиены. Но, при всѣхъ своихъ дарованіяхъ и энергіи, Вальдманъ былъ далеко не безупреченъ: въ немъ было не мало буржуазной узкости и притворнаго ригоризма. Онъ закрѣплялъ мѣста цеховыхъ старшинъ за своими любимцами; онъ предоставилъ занятіе торговлей и ремеслами исключительно горожанамъ, оставивъ на долю поселянъ одно только сельское хозяйство. Въ уголовные законы реформаторъ старался ввести болѣе единства и централизаціи, чѣмъ было ихъ въ средніе вѣка, и въ то-же время нѣсколько усилилъ тяжесть наказаній. Несмотря на то, что самъ онъ любилъ роскошь, былъ падокъ до женщинъ и не былъ дуракъ выпить. Вальдманъ все-таки вооружился съ обычной своей энергіей противъ „безнравственности“ своихъ согражданъ, запретилъ весьма веселыя свадебныя пирюшки, преслѣдовалъ роскошь въ столѣ, въ одеждѣ и т. д. За нарушение всѣхъ его законовъ полагались тяжелыя наказанія, и, между прочимъ, смертная казнь такъ часто практиковалась тогда, что только одинъ изъ тогдашнихъ цюрихскихъ палачей отправилъ на тотъ свѣтъ 500 человѣкъ. Но ревнитель нравственности слишкомъ ужъ пересолилъ и довелъ окрестныхъ крестьянъ до отбрытаго возстанія въ 1489 г., когда они, вмѣстѣ съ партіей недовольныхъ цюрихцевъ, овладѣли городомъ; Вальдманъ казненъ за

„измѣну“, прелюбодѣянія, подтасовку выборовъ въ свою пользу и т. д., и богатое имущество его конфисковано. Двое цеховыхъ старшинъ тоже казнены, двое замуравлены живыми въ стѣнѣ, нѣкоторые подвергнуты тюремному заключенію. Сельскіе округа цюрихской области получили права самоуправленія и отдѣльныя конституціи, но при всемъ томъ крестьяне не достигли еще полной равноправности съ горожанами.

Городъ вообще недружелюбно относился къ деревенщинѣ, и послѣдняя, не имѣя ни значительныхъ капиталовъ, ни крѣпкихъ городскихъ стѣнъ для своей защиты, долго не могла обезпечить своей свободы. Но этого мало: многіе города стремились къ преобладанію не только надъ деревенщиной, но и надъ другими городами и едва только успѣвали достигъ свободы, какъ уже начинали поработать другихъ. Такъ, напр., Бернъ въ XIV в. присоединилъ къ себѣ Тунъ, Лауценъ и нѣсколько мелкихъ феодальныхъ владѣній. „Развитіе Берна, — говоритъ Гене-амъ-Ринъ, — шло совершенно иначе, чѣмъ развитіе Цюриха. Бернъ искалъ своей славы въ войнахъ и завоеваніяхъ и былъ далекъ отъ того, чтобы, подобно Цюриху, хранить миръ, во что-бы то ни стало. Эта политика желѣза и крови сильно благоприятствовала развитію патриціата, т. е., господства извѣстныхъ родовъ, члены которыхъ умѣли держаться постоянно во главѣ управленія, и этотъ патриціатъ возникъ въ Бернѣ въ то самое время, когда въ Цюрихѣ онъ былъ низвергнутъ возвышеніемъ цеховъ“... Принимая въ среду своихъ гражданъ сильныхъ аристократовъ, Бернъ еще болѣе укрѣплялся для новыхъ завоеваній и въ концѣ XIV в. сдѣлался главною политическою силою западной Швейцаріи. Въ 1381 г. бернцы вмѣшались въ столкновеніе демократическаго Унтервальдена съ феодаломъ Ринкенбергомъ и заставили унтервальденцевъ покориться притязаніямъ тирана. Въ 1415 г. Бернъ завоевалъ 17 замковъ съ ихъ землями и селами. Въ завоеванныхъ имъ мѣстностяхъ разрушались демократическія учрежденія и жители ихъ превращались въ безправныхъ подданныхъ гордаго бернскаго патриціата. Бернъ въ этомъ отношеніи шелъ только дальше другихъ городовъ, которые тоже не прочь были обогатиться военной добычей и покорить себѣ новыхъ подданныхъ. Напримѣръ, въ томъ-же 1415 году, когда Бернъ такъ расширилъ свои земли, Люцернъ захватилъ 6 округовъ, а Цюрихъ 7. Съ самаго начала XV вѣка тотъ-же мирный, буржуазный Цюрихъ началъ энергически округлять и увеличивать свои владѣнія. Съ 1402 по 1434 г. Цюрихъ купилъ, завоевалъ или присвоилъ себѣ за неплату ему долговъ такое множество замковъ, селъ, городковъ и земель, что увеличилъ свою территорію почти до размѣровъ нынѣшняго цюрихскаго

кантона. Жители покоренныхъ и купленныхъ мѣстностей сдѣлались не гражданами, а подданными. Эти подданные, вдобавокъ ко всему, нерѣдко были крѣпостными господъ, стоявшихъ въ зависимости отъ города, и только съ конца XV в. крѣпостные начали въ болѣе или менѣе значительномъ числѣ выходить на волю посредствомъ выкупа.

Крѣпостные освободились гораздо ранѣе только въ такъ-называемыхъ „лѣсныхъ областяхъ“ (Wald-Stätten). „Между гордыми и величественными цѣпями горъ, — говоритъ Гене, — которыя идутъ отъ Готарда и со своими морями глетчеровъ, со своими сіяющими льдомъ и снѣгомъ вершинами, развѣтвляются къ сѣверу, лежатъ округа, которые съ древности принято называть лѣсными и въ которыхъ находится колыбель союза, колыбель швейцарской свободы. Тамъ съ шумомъ низвергается Рейсъ въ долину Ури и впадаетъ въ прекрасное, зеленое, лѣсное озеро; тамъ открываются направо долина Швицъ, налево — долина Унтервальденъ. Эти три долины дали свободу нашему отечеству“ (I, 210). Еще въ XIII в. эти три долины, населенныя свободными пастухами и земледѣльцами, несмотря на то, что въ нихъ были и феодальныя владѣнія, были имперскими землями, подчиненными только императору. Здѣсь сохранялась первобытная сельская община и жители по-прежнему продолжали управляться сами собой, выбирая должностныхъ лицъ, рѣшая дѣла на своихъ общихъ собраніяхъ и находясь почти только въ номинальной зависимости отъ габсбургговъ. Со смертью короля Рудольфа въ 1291 г., когда въ его владѣніяхъ настала настоящая анархія, „жители долины Ури, общины долины Швицъ и общее собраніе лѣсныхъ людей нижней долины“ собрались вмѣстѣ, принесли клятву „вѣчно состоять въ прежнемъ союзѣ“, не принимать никакого судьи, который купилъ-бы свою должность и не былъ-бы ихъ землякомъ, и установили свой общій мировой судъ. Вслѣдъ за этимъ союзомъ, Ури и Швицъ заключили союзъ съ Цюрихомъ, рѣшившись не признавать болѣе надъ собой ничьей посторонней власти и сообщая отстаивать свою свободу отъ притязаній какого-бы то ни было династа. Императоръ Альбрехтъ былъ, понятно, недоволенъ такимъ поведениемъ своихъ „мятежныхъ подданныхъ“, и черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ заключенія упомянутаго союза, мы видимъ, что въ лѣсныхъ областяхъ распоряжаются уже императорскіе фогты. Можетъ быть, хроники и преувеличиваютъ злодѣянія этихъ чиновниковъ, но во всякомъ случаѣ они вели себя такъ, что въ Ури, Швицѣ и Унтервальденѣ составилъ въ 1305 г. обширный заговоръ, имѣвшій цѣлью сверженіе ихъ власти. Заговорщики приняли названіе *телей*, т. е. отчаянныхъ храбрецовъ, и въ ряду

ихъ особенно выдавался своими личными достоинствами человекъ, имя котораго не сохранилось исторіей и дѣянія котораго, украшенные легендою, извѣстны, какъ подвиги Вильгельма *Теля*. Фогты были частью изгнаны, частью избиты, и лѣсной союзъ снова сдѣлался свободнымъ. Вскорѣ послѣ этого императоръ Альбрехтъ, послѣ своего неудачнаго похода въ Богемію, явился въ Швейцарію, вѣроятно, съ цѣлю наказать лѣсные кантоны за убійство фогтовъ, но при переправѣ черезъ Рейсъ былъ звѣрски убитъ заговорщиками, дѣйствовавшими по наущенію его брата Рудольфа, обиженнаго тѣмъ, что онъ не далъ ему имѣній въ Ааргау и Тургау. Въ виду грозы, поднимавшейся на Швейцарію со стороны Австріи, лѣсные кантоны начали дѣятельно готовиться къ войнѣ, которая и началась въ 1315 г. Въ битвѣ при Маргартенѣ австрійцы были разбиты на-голову храбрыми горцами, въ союзъ съ которыми немедленно-же вступилъ Люцернъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми сельскими общинами, и, такимъ образомъ, къ федераціи, родившейся въ горахъ и состоявшей только изъ пастуховъ и земледѣльцевъ, начали присоединяться жители долинъ и горожане. Въ 1351 году Цюрихъ, находившійся въ неравной борьбѣ съ врагами, тоже вступилъ въ союзъ, а скорѣ его примѣру послѣдовали Гларисъ, Цугъ, Бернъ, такъ-что въ 1353 г. въ самомъ сердцѣ нынѣшней Швейцаріи существовала уже сильная федерація восьми областей, которыя впослѣдствіи получили названіе „старыхъ кантоновъ“. Въ 1370 г. впервые собрался союзный совѣтъ и была составлена первая федеральная конституція, извѣстная подъ названіемъ „поповскаго письма“ (Pfaffenbrief). „Поповскимъ письмомъ“ было постановлено: „1) кто желаетъ жить въ предѣлахъ союзныхъ городовъ или кантоновъ и связанъ присягою съ Австріей, долженъ также присягнуть, что онъ будетъ заботиться объ интересахъ и чести союза, и эту присягу должны приносить всѣ, какъ духовные, такъ и міряне, какъ благородные, такъ и неблагородные; 2) если кто, находясь въ союзѣ, нарушитъ права личности и собственности другихъ, тотъ будетъ наказанъ по законамъ его мѣстожителства“. Между тѣмъ отношенія съ Австріей продолжали быть запутанными, тѣмъ болѣе, что земли союза во многихъ мѣстахъ были прорѣзаны австрійскими владѣніями. Въ 1386 г. началась новая война, и въ битвѣ при Земпахъ австрійцы снова были разбиты на-голову союзными войсками, послѣ чего австрійскій Базель, вновь организованный по образцу Цюриха, вступилъ въ союзъ съ Берномъ.

Такимъ образомъ, несмотря на многія темныя стороны стариннаго швейцарскаго общества, въ немъ жило и крѣпло сознание необходимости союза городовъ и кантоновъ для успѣха внутрен-

няго развитія и внѣшней безопасности, и въ концѣ XIV в. нѣшняя Швейцарія представляла слѣдующую картину: на сѣверѣ отъ Готарда, кругомъ озера, Ури, Швицъ и Унтервальденъ съ присоединеннымъ отъ Австріи Урзереномъ и общиной Герсау; на востокъ храбрый пастушескій Гларисъ; на сѣверо-востокъ городокъ Цугъ, который со своимъ небольшимъ округомъ служилъ какъ-бы переходною ступеню отъ сельской общины къ городской; далѣе богатый и демократическій Цюрихъ; на сѣверѣ отъ озера только что освободившійся Люцернъ; на западѣ сильнѣйшій членъ союза Бернъ, владѣнія котораго простирались отъ Альпъ до Юры. Около этихъ „восми старыхъ мѣстностей“ начали постепенно группироваться и все болѣе и болѣе тѣсно соединяться съ ними: хотя еще принадлежащій Австріи, но тѣмъ не менѣе республиканскій Фрейбургъ, вѣрный союзникъерна Золотурнъ, стремившійся уже сильно къ свободѣ Базель. Затѣмъ на правомъ берегу Рейна Шафгаузенъ былъ еще вполне австрійскимъ и относился къ швейцарскому союзу совершенно равнодушно, равно какъ Тургау, Ааргау, горный Апенцель, на юго-востокѣ долины Тесинъ, западнѣе ихъ владѣнія епископовъ Валисъ, Женева и область герцоговъ савойскихъ. „Какой конгломератъ, говоритъ Гене,—разнообразныхъ областей! Однакожь, всѣ онѣ, по своему положенію и характеру почвы, предназначены къ общей жизни, пополняя другъ друга и гармонически сливаясь между собою. Какая разница, кромѣ того, въ нравахъ и порядкахъ между свободными землями и графствами, между городскими республиками и церковными владѣніями!“ Но выгоды союза были такъ очевидны, что объединеніе всѣхъ земель этихъ уже въ то время было только вопросомъ времени. Въ концѣ XV в. швейцарская федерація достигла уже такой силы, что союза съ ней искали даже многіе государи и такія государства, какъ Баварія и Виртембергъ. „Этотъ періодъ высшей силы и блеска Швейцаріи, говоритъ историкъ,—отличался также искренностью взаимныхъ отношеній союзниковъ. Не только гражданскія войны не нарушали мира, но союзники не допускали своихъ земляковъ служить за-границей во вражескихъ войскахъ. Съ трогательными братскими чувствами посѣщали другъ друга жители разныхъ, прежде разъединенныхъ, мѣстностей и были принимаемы съ радушнымъ гостепримствомъ, нынѣ уже неизвѣстнымъ. Въ 1487 г., помня старыя отношенія Ури къ Цюриху, 200 урянъ и унтервальденцевъ явились на масляницѣ въ Цюрихъ и провели здѣсь время въ танцахъ, забавахъ и всякихъ удовольствіяхъ. Въ видѣ отдачи визита, Цюрихъ отправилъ въ Ури на праздникъ освященія церкви конную и пѣшую депутацію, которую по дорогѣ черезъ Швицъ даромъ угощали всѣ трактирщики, а въ Ури три дня

усерднѣйшимъ образомъ ублажали винами и разными яствами, равно какъ и на обратномъ пути въ Швицъ и Цугъ. На слѣдующій годъ жители Швица и Цуга посѣтили Цюрихъ, въ которомъ Вальдманъ, бывший въ это время на верху своего могущества, великолѣпно принималъ ихъ, а граждане угощали также щедро, какъ угощали ихъ земляковъ въ Швицъ и Цугъ" (I, 513). Это была новая формою тѣхъ патриархальныхъ пировъ первобытной общины, остатки которыхъ еще до сихъ поръ сохраняются мѣстами въ Швейцарии.

На основаніи этихъ отношеній, отнюдь нельзя представить себѣ старинной швейцарской жизни идилліей. Не нужно забывать, что, рядомъ съ такими идиллическими отношеніями, существовалъ еще крѣпостное право, существовалъ надменный патриціатъ, швейцарская почва не совсѣмъ освободилась еще отъ феодаловъ, въ промышленныхъ цехахъ масса рабочихъ была тоже почти въ рабствѣ, мало было школъ, монахи, особенно нищенскихъ орденовъ, обирали и развращали народъ, погруженный въ суевѣріе. Въ Люцернѣ, напр., почти никто до XV в. не рѣшался входить на гору Пилатъ, потому что будто-бы восхождение на нее навлекало на страну разныя физическія бѣдствія (I, 323). Эти бѣдствія нерѣдко посѣщали страну. Города то-и-дѣло выгорали до-тла, и это продолжалось до тѣхъ поръ, пока не стали употреблять на постройки камень предпочтительно передъ деревомъ. Нерѣдко въ той или другой мѣстности свирѣпствовалъ голодъ или эпидемія. Въ 1349 г. нагрянула „черная смерть“ и начала опустошать даже высочайшіе долины Альпъ, а въ Бернѣ ежедневно умирало отъ нея до 120 человѣкъ. Во многихъ мѣстностяхъ причину заразы видѣли въ томъ, что будто-бы евреи отравляли источники; много евреевъ было перебито и замучено; въ Констанцѣ сожжено ихъ разомъ 41 человѣкъ. Какъ во всякой католической странѣ, въ Швейцаріи не менѣе любой эпидеміи свирѣпствовала еще инквизиція, сожигавшая и казнившая вѣдьмъ. Да и независимо отъ инквизиціи, уголовное законодательство отличалось крайнею жестокостью, особенно поражающею насъ въ законахъ, каравшихъ преступленія противъ собственности. Въ 1392 г., напр., въ Люцернѣ былъ колесованъ одинъ трактирщикъ за составленіе подложныхъ заемныхъ писемъ, а лжесвидѣтели по этому дѣлу сварены живыми въ котлахъ (I, 326). Отецеская власть была до того строгою, что за вступленіе въ бракъ безъ дозволенія родителей виновные и ихъ пособники лишались имущественныхъ правъ и навсегда изгонялись изъ города. Все это напоминаетъ собою патриціанскій Римъ.

II.

Извѣстно, до какого низкаго уровня опустилось передъ реформацией католическое духовенство: его развращенность и самая беззастѣнчивая эксплуатація народа не знали границъ. Не менѣе поразительно было его суевѣріе и невѣжество. Въ 1479 г., напр., епископъ лозанскій, по просьбѣ бернцевъ, потребовалъ къ своему суду въ Аваншъ насѣкомыхъ, опустошавшихъ поля, и отлучилъ ихъ отъ церкви. То-же самое сдѣлалъ одинъ патерь въ Ури въ 1521 г. Нищенскіе ордена францисканцевъ и доминиканцевъ соперничали другъ съ другомъ въ обмрачиваньи народа. Въ 1507 г. бернскіе доминиканцы рѣшили, что для возвеличенія репутаціи ихъ необходимо сотворить чудо, и субпріоръ ихъ, Юльчи, воспользовался для этого глуповатымъ портнымъ, Ецеромъ, котораго монахи сначала пугали по ночамъ шумомъ, говорили съ нимъ отъ лица будто-бы испугавшихъ его демоновъ, потомъ налагали на него эпитиміи и заставляли его бичеваться; подготовивъ его, такимъ образомъ, они рѣшили съ помощью его превзойти францисканцевъ, хваставшихся тѣмъ, что патронъ ихъ Францискъ имѣлъ на тѣлѣ „пять христовыхъ ранъ“. Одинъ монахъ, одѣваясь Марією, началъ ходить къ Ецеру по ночамъ, надѣлалъ ему на тѣлѣ нѣсколько ранъ и довелъ несчастнаго до того, что тотъ вообразилъ себя Христомъ. „Чудо“ немедленно-же было разглашено; народъ толпами повалилъ къ доминиканцамъ, тѣмъ болѣе, что въ церкви ихъ монастыря образъ Богородицы плакалъ кровавыми слезами объ испорченности города, который терпитъ у себя францисканцевъ, какъ объяснялъ Ецерь. Но послѣдній скоро пришелъ въ себя и понялъ, что его одурачили; доминиканцы хотѣли избавиться отъ него посредствомъ оравленнаго причастія и, когда это не удалось, заковали его въ цѣпи и разными мучительствами стали доводить его снова до помѣшательства. Ецерь бѣжалъ изъ монастыря и разсказалъ все въ городѣ. Городской совѣтъ и монастырь донесли о дѣлѣ папѣ, а назначенные послѣднимъ слѣдователи повели розыскъ, понятно, не въ пользу Ецера и подвергли его жестокимъ пыткамъ, но цортной вынесъ ихъ и стоялъ на своемъ. Пришлось четырехъ главныхъ чудотворцевъ сжечь живыми, но уже послѣ ихъ казни Ецерь былъ снова арестованъ и исчезъ безъ слѣда.

Подготовителями реформациі въ Швейцаріи были, главнымъ образомъ, люди, учившіеся въ высшихъ школахъ Италіи, Франціи, Германіи и въ базельскомъ университетѣ, преподавателями котораго были, между прочимъ, Эразмъ и Рейхлинъ. Замѣчательнѣйшимъ изъ этихъ людей былъ сынъ крестьянина Хульдрейхъ Цвингли, родившійся въ 1484 г. Сначала учитель въ Базелѣ, потомъ

священникъ въ Гларисѣ, Эйнзидельнѣ и Цюрихѣ, Цвингли при всемъ своемъ благочестіи былъ такимъ поклонникомъ классическихъ литературъ, что его называли „жрецомъ Христа и музъ“. Но увлекаясь классическою древностью, онъ не забывалъ и того народа, изъ котораго самъ вышелъ, и ставилъ цѣлью всей своей жизни освобожденіе этого народа отъ католическаго духовенства и крѣпостного права. Въ этомъ отношеніи онъ былъ неизмѣримо выше Лютера, тѣмъ болѣе, что его ученіе отличалось крайнею терпимостью и онъ допускалъ вѣчное блаженство даже для евреевъ и язычниковъ. Цюрихскому совѣту такъ понравилась свободная проповѣдь Цвингли, что онъ обязалъ всѣхъ городскихъ и сельскихъ духовныхъ проповѣдывать „свободно, по внушенію божию“. Проповѣдь Цвингли не осталась безъ результатовъ: число его послѣдователей росло, многіе духовные по его примѣру женились и, проповѣдуя, опирались на одну библію; авторитетъ папы и духовенства падалъ, хотя съ другой стороны въ Цюрихѣ все-таки оставалась еще сильная католическая партія. Но Цвингли не могъ имѣть полнаго и рѣшительнаго успѣха: для народа былъ мало понятенъ его рациональный гуманизмъ, для бюргеровъ и дворянства несочувственны были его заботы о несчастномъ народѣ. Въ одно время съ Цюрихомъ началась реформація въ Бернѣ, Сентъ-Галенѣ, Базелѣ и Шафгаузенѣ и имѣла полный успѣхъ, доставшійся, конечно, не безъ борьбы. Въ Гларисѣ, Апенцелѣ, Граубюнденѣ, Тургау реформація тоже удалась, хотя и не могла окончателъно вытѣснить католицизма. Въ Ури, Швицѣ, Унтервальденѣ, Цугѣ, Люцернѣ, Золотурнѣ, Фрейбургѣ, Валисѣ реформація потерпѣла фiasco, и католицизмъ остался побѣдителемъ. Гене объясняетъ все это вліяніемъ природы, столь грозной и величественной въ кантонахъ, оставшихся католическими, что „человѣкъ здѣсь съ ранняго дѣтства воспитывается фантазіей и въ фантазій, не имѣя ни малѣйшей наклонности къ размышленію о религіозныхъ вещахъ“ (II, 124). Это, конечно, вполне справедливо; но необходимо обратить вниманіе и на то, что въ числѣ католическихъ остались тѣ кантоны, которые были всегда самыми демократическими, а реформація имѣла полнѣйшій успѣхъ между патриціями и бюргерами городовъ. Реформація въ Швейцаріи, какъ и вездѣ, обманула надежды народа и сдѣлалась по преимуществу религіей бюргеровъ, которымъ она должна была нравиться уже одной своей дешевизной. Какъ-бы то ни было, но произведенное реформаціей религіозное раздвоеніе Швейцаріи не только надолго ослабило союзъ, но и раздѣлило его на двѣ враждебныя части, католическую и протестантскую, которыя уже въ 1531 г. начали воевать между собой, при чемъ палъ въ битвѣ

Цвингли. Побѣдили католики, а изъ протестантовъ однихъ только цюрихцевъ было убито 2,000 ч. въ первой битвѣ. Въ это-же самое время шли страшные религіозные раздоры во французской Швейцаріи, гдѣ во главѣ реформы стояли Фроманъ, Форель и въ особенности фанатическій Кальвинъ. Въ Женевѣ было двѣ реформатскихъ партіи. Первая состояла изъ „либераловъ“, или, иначе, изъ зажиточныхъ и умѣренныхъ буржуа, державшихъ въ своихъ рукахъ общественную власть; вторая — большую частію изъ новыхъ гражданъ, выселившихся изъ разныхъ мѣстъ, преимущественно изъ Франціи и Савойи, бѣглыхъ крѣпостныхъ крестьянъ и т. д. Генне представляетъ ихъ какими-то злодѣями, которые «злоупотребляли реформатскимъ движеніемъ ради грабежей, насилій и разрушенія церковныхъ украшеній. Почти всѣ ихъ самыя ревностные вожаки были наказаны въ разное время за убійство, разбой, поджогъ, прелюбодѣніе, растлѣніе и другія преступленія» (II, 1841). Но все это говорится со словъ ихъ пристрастныхъ противниковъ, столь милыхъ Гене добродѣтельныхъ бюргеровъ. Правда, упомянутые реформаторы, ненавидимые бюргерамъ, подъ влияніемъ ненависти къ нимъ и фанатизма, доходили не только до „прелюбодѣнія“, но и до страшныхъ неистовствъ; но вѣдь это явленіе совершенно естественное во время религіозныхъ смуть, да и добродѣтельные бюргеры дѣйствовали нисколько не лучше, когда имъ удавалось одержать верхъ. Упомянутая-то вторая партія и пристала къ Кальвину, когда онъ явился въ Женеву со своею фаталистическою проповѣдью о предопредѣленіи и сталъ отмѣнять обряды и праздники, запрещая праздновать даже Рождество. Совѣтъ изгналъ его изъ города; но онъ оставилъ послѣ себя уже значительную партію, вскорѣ еще болѣе усилившуюся французскими переселенцами и разными интриганамъ весьма сомнительнаго свойства, на которыхъ и должна пасть большая часть обвиненій, взводимыхъ Гене на кальвинистовъ вообще. Черезъ два года кальвинисты взяли уже перевѣсъ надъ „либералами“, и совѣтъ рѣшилъ „для распространенія и насажденія слова божіи пригласить магистра Кальвина изъ Страсбурга, такъ-какъ онъ весьма ученъ и долженъ быть снова евангелистомъ города“. Кальвинъ съ триумфомъ вернулся въ Женеву, гдѣ послѣдователи окружили его всеобщимъ почетомъ и гдѣ въ скорости онъ заслужилъ неограниченное довѣріе протестантскихъ государей Европы. Совѣтъ поручилъ ему составить „законы для управленія народомъ“, во всемъ подчинялся реформатору и превозносилъ его до небесъ, особенно устами и перомъ знаменитаго „шильонскаго узника“, свободолюбиваго Бонивара. Первый періодъ дѣятельности Кальвина (1541—46 г.) прошелъ, главнымъ образомъ, въ преслѣдова-

нѣ людей противной партіи, приче́мъ 58 чел., въ томъ числѣ 16 женщинъ, казнено, 76 изгнано, около 900 посажено въ тюрьмы. Всѣ обвиненные были виновны лишь въ маловажныхъ религіозныхъ или политическихъ проступкахъ, а 27 человекъ пострадало только *по подозрѣнію* въ вѣдѣствѣ и распространеніи чумы. Большею частію они были сожжены заживо, предварительно измученные публичнымъ бичеваніемъ и раскаленнымъ желѣзомъ. Гена говоритъ объ этомъ съ величайшимъ негодованіемъ, но мы должны отнестись къ дѣлу спокойнѣе, такъ-какъ большая часть этихъ казней была совершена во время чумы, когда масса городского населенія, представителемъ которой было правительство Кальвина, была, по обыкновенію, внѣ себя отъ ужаса и подозрительности; ея не знала границъ. Вдобавокъ къ этому, кальвинисты, подобно пуританамъ, были страшные фанатики: они закрыли театры; они запретили называть людей другими именами, кромѣ находящихся въ библіи; они водворили въ Женевѣ настоящій терроръ, и Кальвинъ раскинулъ по всему городу сѣть шпіонства. Одною изъ первыхъ жертвъ террора былъ нѣкто Амо, арестованный за то, что въ одномъ пріятельскомъ кругу онъ дурно отзывался о Кальвинѣ. Совѣтъ оправдалъ и освободилъ его, но Кальвинъ потребовалъ осужденія, угрожая въ противномъ случаѣ отказаться отъ проповѣдыванія, и доказывалъ, что сдѣланная ему обида есть оскорбленіе, нанесенное самому Богу. Амо былъ приговоренъ къ позорному публичному покаянію. Вслѣдъ затѣмъ, по настоянію Кальвина, начались преслѣдованія за политическія и религіозныя преступленія, даже за совершенныя прежде, но ненаказанныя или недостаточно наказанныя. Нѣсколько человекъ были арестованы даже за то, что на какой-то свадьбѣ одни изъ нихъ танцовали, а другіе смотрѣли на танцы. Жителямъ Женевы запрещено было бывать въ трактирахъ, въ булочныхъ и винныхъ погребахъ; для несемейныхъ-же городской совѣтъ открылъ столовую, въ которой они могли обѣдать подъ надзоромъ особаго чиновника. Но всѣ эти строгости не вели ни къ чему; вольность нравовъ, доходившая до того, что мужчины обыкновенно купались вмѣстѣ съ женщинами, съ каждымъ днемъ усиливалась; число дѣтубійствъ страшно возрастало; роскошь доходила въ нѣкоторыхъ случаяхъ до безумія, и даже многіе кальвинисты вели вполне сибаритскую жизнь. А Кальвинъ между тѣмъ неистовствовалъ, арестовывалъ, казнилъ, выходилъ изъ себя, ругался даже въ церкви, такъ-что совѣтъ долженъ былъ просить его „не кричать такъ на кафедрѣ“. Въ числѣ жертвъ Кальвина былъ благородный философъ Серветъ, живымъ сожженный въ Женевѣ въ 1553 г. Между тѣмъ опозиція либераловъ Кальвину усиливалась,

но въ 1553 г. значительное число членовъ ея вынуждено было бѣжать; вожаки казнены, и вслѣдъ затѣмъ нѣсколько сотъ семействъ удалилось изъ города, боясь страшнаго реформатора, который въ одной изъ своихъ проповѣдей грозилъ поставить двѣ висѣлицы и перевѣшать на нихъ «нѣсколько сотъ молодыхъ женевцевъ». Кальвинъ остался единственнымъ владыкой Женевы, но здоровье его было уже расшатано, и онъ вскорѣ (1559 году) умеръ.

Фанатизмъ Кальвина далеко не былъ явленіемъ исключительнымъ и въ періодъ реформациі имъ то-и-дѣло увлекались какъ католики, такъ и протестанты. Такъ, напр., въ 1555 г. Бернъ купилъ у одного промотавшагося графа католическую общину Грейерсъ, насильно обратилъ въ протестантизмъ всѣхъ ея жителей, запретилъ народныя пѣсни, игры, танцы, даже народный костюмъ, подѣ страхомъ тяжкихъ наказаній. Тѣ и другіе преслѣдовали другъ друга, дрались одни съ другими подѣ французскими знаменами во время религіозныхъ войнъ во Франціи; затѣмъ начались собственно швейцарскія религіозныя войны 1653—1718 гг. Дорого обошлась Швейцаріи эта эпоха. Что-же касается въ частности католическихъ кантоновъ, то въ нихъ католицизмъ, послѣ того, какъ онъ одержалъ побѣду надъ реформацией, сдѣлался еще болѣе сильнымъ, чѣмъ прежде, поддерживаемый „воинствующею церковью іезуитовъ“. Народная-же масса, какъ мы уже говорили, была обманута реформацией, и даже благороднѣйшій представитель послѣдней, Цвингли, въ сущности ничего не сдѣлалъ для народа. Еще въ самомъ началѣ реформациі крестьяне, вмѣстѣ съ церковными переѣнами, требовали отмѣны крѣпостного права, облегченія налоговъ, политическаго равенства съ горожанами (II, 30—33, 67). Крестьянская война въ Германіи была сигналомъ «первой» крестьянской войны въ Швейцаріи, которая въ 1525 г. разомъ началась въ кантонахъ Базель, Цюрихъ, Шафгаузенъ, Тургау, С. Галенъ. Совѣтъ Цюриха, подѣ вліяніемъ Цвингли, рѣшилъ исполнить требованіе крестьянъ относительно отмѣны феодальныхъ поборовъ, но въ то-же время не удовлетворилъ другихъ желаній народа, относительно свободы охоты, рыбной ловли и т. д. и увѣщевалъ своихъ „милыхъ и добрыхъ друзей“, какъ онъ называлъ своихъ подданныхъ, стоять за слово божіе. Крестьяне и стояли, но это «слово» они понимали нѣсколько иначе, чѣмъ ихъ господа, набожные бюргеры; но неудача германскаго движенія обезкуражила швейцарскихъ мужиковъ, и они присмирѣли. Частныя волненія крестьянъ, впрочемъ, не прекращались (II, 97—100, 149 и др.) вплоть до 1653 г., когда вспыхнула новая крестьянская война. «О причинахъ этого возстанія, говоритъ Гене,—много

толковалось вкривь и вкось. Сувѣрный народъ видѣлъ ихъ въ „знаменіяхъ“ природы, землетрясеніяхъ, наводненіяхъ, затмѣніяхъ, кометахъ; близорукіе и безсердечные политики—въ мелкихъ отдѣльныхъ явленіяхъ государственной жизни: ухудшеніи монеты, строгихъ законахъ о долгахъ, тяжелыхъ налогахъ и т. д. Между тѣмъ всѣ эти причины сводятся къ постепенному ограниченію политическихъ правъ все болѣе и болѣе тѣснымъ кругомъ привилегированныхъ лицъ. Тогдашніе подданные городовъ большею частію вступали первоначально въ союзъ съ ними въ качествѣ равноправныхъ членовъ; такъ, напр., соединились Энтлебухъ съ Люцерномъ, Гаметаль съ Берномъ; теперь-же они, подобно завоеваннымъ, сдѣлались подданными своихъ прежнихъ союзниковъ. Раньше по всѣмъ важнѣйшимъ вопросамъ большая часть городовъ совѣтовалась съ поселянами; теперь-же это прекратилось. Во многихъ мѣстахъ даже не весь городъ сдѣлался владыкою деревень, и въ самыхъ стѣнахъ его масса народонаселенія была устранена членами правящихъ семействъ отъ всякаго участія въ государственныхъ дѣлахъ“ (II, 348). Волненія начались въ люцернской общинѣ Энтлебухъ, лишенной прежняго самоуправленія, подавленной налогами и долгами горожанамъ. Городъ сдѣлалъ имъ нѣкоторыя уступки, обѣщалъ имъ сбавку платежей и свободную продажу соли, но энтлебухцы требовали больше—пріостановки взысканій долговъ, отмены сборовъ въ пользу ландфогтовъ и восстановленія ихъ правъ и вольностей по стариннымъ грамотамъ. Волненіе росло, переходя изъ одной общины въ другую. „Это не была, какъ думаетъ одинъ остроумный историкъ прана, говорить Гене,—реакція средневѣковой государственной формѣ вновь образующейся формы, но чисто демократическое движеніе, направленное противъ возраставшей олигархіи патриціата и выступавшее, во имя старинныхъ правъ и вольностей, противъ новѣйшей тираниі. Еслибы это движеніе имѣло средневѣковой характеръ, то въ немъ не было-бы того общаго чувства, которое воодушевляло тогда разныя общины; тѣмъ менѣе возможно было состоявшееся потомъ соединеніе крестьянъ различныхъ кантоновъ для одного общаго дѣла. Швейцарскіе поселяне 1653 г., сами того не сознавая, соединяли въ себѣ стремленія нѣмецкихъ крестьянъ 1525 г. со стремленіями своихъ современниковъ—англійскихъ пуританъ и индепендентовъ, а послѣдніе были основателями новѣйшей демократіи, идеи которой позднѣе они, въ качествѣ изгнанниковъ, перенесли въ Америку. У патриціевъ-же не было никакихъ сознательныхъ стремленій къ новымъ государственнымъ формамъ, а только инстинктивно-эгоистическое подражаніе всюду развивавшемуся тогда абсолютизму, образцомъ котораго былъ Людовикъ XIV“ (II, 353). За люцернскими кре-

стьянами возстали бернскіе, золотурнскіе и базельскіе, требуя, какъ гласило одно ихъ воззваніе, „только того, что справедливо, по благочестивому старинному примѣру, какъ было во времена Вильгельма Теля“. Города старались по-возможности провести крестьянъ, вступали съ ними въ переговоры, дѣлали уступки, заключали перемирія; но обманъ скоро обнаруживался, и крестьяне продолжали волноваться. При этомъ стоитъ замѣтить, что въ то время, какъ со времени реформаціи города распались на два союза, католическій и протестантскій, крестьяне не обнаружили никакой религіозной ненависти, и во время возстанія католическіе поселяне Люцерна и Золотурна заключили клятвенный союзъ съ протестантскими крестьянами Базеля и Берна. Депутаты союза, собравшіеся въ Зумисвальдѣ въ числѣ почти 1,000 человекъ, составили и утвердили своей клятвой слѣдующую „союзную записку“, въ которой обязывались вести дѣло сообща, жертвуя ему „тѣломъ, имуществомъ и кровью“, и „возобновлять этотъ союзъ каждые десять лѣтъ“. Крестьяне послѣ этого вздумали было искать союзниковъ въ свобододобивыхъ жителяхъ Ури, Швица и Унтервальдена, но оказалось, что горцы дорожатъ только своей свободой, и несчастные жители долинъ должны были оставить всякую надежду на ихъ помощь. Приходилось дѣйствовать однимъ, но они ничего не могли подѣлать съ крѣпкими городскими стѣнами у нихъ не было артилеріи, мало было даже ружей; съ другой стороны, и военныя силы горожанъ, достаточныя для защиты, не годились для нападенія. Деревенщина возсталла, и хотя она не причиняла большого вреда городамъ, но все-таки быстро покорить ее было нечѣмъ. Начались новые переговоры, и Берну удалось успокоить крестьянъ, обѣщавъ имъ полное „прощеніе“ и вознагражденіе въ 50,000 фунтовъ серебра. Крестьяне поддались, заключили перемиріе, но черезъ нѣсколько дней соединенныя войска Берна, Шафгаузена, Глариса и С. Галена врасплохъ напали на нихъ и разбили на-голову. Крестьянъ вѣшали, топили, разстрѣливали, рубили имъ головы, вырѣзывали языки, отрубали носы и уши, колесовали и т. д. Гене ужасается многочисленности жертвъ этого „мнимаго правосудія“ и говоритъ: „вслѣдствіе этого возстанія одною только смертью было казнено 48 человекъ“, (II, 375). Видно, Гене плохо знаетъ исторію нѣкоторыхъ другихъ народовъ, у которыхъ число подобныхъ жертвъ опредѣляется, по крайней мѣрѣ, тысячами.

„Съ подавленіемъ крестьянскаго возстанія, патриціатъ (Nepenthum) вполне утвердился въ Швейцаріи, говоритъ историкъ.—Но въ его упрямомъ деспотизмѣ лежало уже начало неизбѣжнаго разложенія, и съ этого момента ему предстояло только безславно

господствовать въ продолженіи полутора ста лѣтъ и постоянно истощать свои силы, сначала въ двухъ опустошительныхъ религіозныхъ войнахъ, потомъ въ цѣломъ рядѣ мелкихъ политическихъ раздоровъ, частію между партіями, соперничавшими изъ-за власти, частію между правителями и недовольными подданными, пока, наконецъ, послѣднимъ, да и то съ иностранною и своекорыстною помощію, не удалось добиться своихъ правъ“ (II, 376). Швейцарскій патриціатъ былъ сравнительно явленіемъ новымъ. Въ Люцернѣ и Бернѣ, напр., онъ началъ развиваться не ранѣе половины XVI в. Нѣкоторые богатые и сильные семейства, устраняя всевозможными способами остальныхъ гражданъ отъ участія въ городскихъ совѣтахъ, дѣлали своею наслѣдственною собственностью всѣ важныя должности, и нерѣдко бывало, что весь совѣтъ состоялъ изъ родственниковъ, что вовсе неудивительно при плодovitости старинныхъ, здоровыхъ и упитанныхъ бюргеровъ. Для большаго обезпеченія за собою власти, патриціи старались какъ можно болѣе затруднить доступъ новымъ членамъ въ число гражданъ. Въ Бернѣ, наприм., до XVII в. за право сдѣлаться гражданиномъ бернскій подданный платилъ 100, швейцарецъ—200, иностранецъ—300 кронъ; въ половинѣ-же упомянутаго вѣка эти взносы увеличены до 400, 800 и 1,200 кронъ. Число семействъ, участвовавшихъ въ управленіи, постепенно уменьшалось. Въ началѣ XVII в. большой совѣтъ Берна состоялъ изъ 325 членовъ, принадлежавшихъ 152 семействамъ, а въ концѣ столѣтія—уже изъ 299 членовъ 104 семействъ. Такимъ образомъ, правящій классъ превратился въ настоящую касту, членамъ которой принадлежала и патриархальная власть надъ деревнями. Но и въ средѣ этой касты была своего рода аристократія, и настоящими владыками Берна были въ сущности только роды Эрлаховъ, Мюмененовъ, Дисбаховъ, Ватенвилей, Бонитетеновъ и Лютернау. Масса горожанъ, или, какъ ихъ называли, „вѣчныхъ жителей“, состояла изъ безправныхъ паріевъ; патриціи-же пользовались всѣми правительственными доходами, отдавали на откупъ сборъ десятинъ и пошлинъ, присвоивали себѣ разныя монополіи, напр., соляную и почтовую и т. д. Въ концѣ XVIII в. Люцернъ былъ доведенъ патриціями до такого положенія, что его, по выраженію Гене, только въ ироническомъ смыслѣ можно было назвать республикой. Должности членовъ совѣта были пожизненными и наслѣдственными и притомъ такъ, что если отецъ изъ большаго совѣта переходитъ въ малый, то его мѣсто въ большомъ занимаетъ сынъ. вмѣсто того, чтобы поправить дѣло разумными и обезпечивающими будущность государства реформами, выдумали, копя могилу самимъ себѣ, слѣдующее: пока извѣстная патри-

цианская фамилія (число которыхъ уменьшилось уже до 29) не вымреть окончательно, не допускать къ участию въ управленіи никакого новаго бюргерскаго семейства; вновь принятый гражданинъ и дѣти его не могутъ быть членами совѣта, и только внуки получаютъ это право; наконецъ, только члены патриціанскихъ семействъ могутъ имѣть доступъ къ мѣстамъ пробствова, канониковъ, клерикаловъ, гражданскихъ чиновниковъ и офицеровъ гвардіи. Обыкновенно, отцу наследовалъ въ совѣтѣ, старшій сынъ, если ему было 16 лѣтъ; второй сынъ, если ему исполнилось 15 лѣтъ, могъ сдѣлаться клерикаломъ, а третій—поступалъ офицеромъ на иностранную службу. Случалось также, что батюшкины сынки послѣдняго разряда, возвращаясь на родину, мѣняли мундиръ на рясу и шпагу на тревникъ. Какъ въ протестантскомъ Цюрихѣ, такъ и въ католическомъ Люцернѣ, на мѣста приходскихъ священниковъ обыкновенно поступали тоже только полноправные граждане. Возрастающее своекорыстіе патриціата и то ослѣпленіе, съ которымъ онъ подготовлялъ собственную гибель, доказываются и статистическими данными, свидѣтельствующими, что новыхъ гражданъ было принято въ XVI в. 1,805, въ XVII в. — 331, а въ XVIII в.—только 86. На общину никто не обращалъ вниманія, и если ее собирали, то затѣмъ только, чтобы представить ей вновь выбранныхъ совѣтниковъ, прочесть „присяжную записку“, содержащую въ себѣ полицейскіе законы, и принять отъ нея „присягу вѣрности и повиновенія“ (II, 532). Патриціатъ рѣшительно вырождался и физически, и умственно, превращаясь въ массу людей въ высшей степени тупоумныхъ и безнравственныхъ. Отдѣльныя семьи, словно дикари, вели между собою остервенѣлую родовую борьбу не на животь, а на смерть, стараясь погубить другъ друга, главнымъ образомъ, тѣмъ, что открывали какія-нибудь плутни и преступленія, которыхъ дѣлалось немало обѣими враждебными сторонами. Вся исторія Люцерна, наприм., состояла въ концѣ XVIII в. въ такой борьбѣ Мейеровъ съ Шумахерами. Въ 1729 г. государственный казначей Леонцъ Мейеръ растратилъ 44,000 гульденовъ, но уплатилъ ихъ изъ своего имущества; въ 1742 г. его родственникъ Модегоръ Мейеръ, завѣдывавшій хлѣбными магазинами, тоже растратилъ значительную сумму и былъ принужденъ бѣжать, такъ-какъ этимъ случаемъ воспользовался противъ него Модегоръ Шумахеръ, по настоянію котораго онъ былъ лишенъ должности и гражданскихъ правъ. Но черезъ нѣсколько лѣтъ и самъ М. Шумахеръ оказался укравшимъ изъ казначейства 1,500 гульденовъ, но онъ былъ въ такой силѣ, что никто даже не зайкнулся о преслѣдованіи его. Въ слѣдующемъ году изъ казначейства было украдено 50,000; заподозрили

двухъ слугъ и одного бюргера и поскорѣе постарались казнить ихъ, чтобы скрыть настоящихъ воровъ. Въ 1759 г. новый казначей Николай Шумахеръ объявилъ совѣту, что ночью у него украли 3,000 его собственныхъ и 19,000 казенныхъ денегъ. Дѣло сошло было съ рукъ, но Мейеры воспользовались случаемъ отомстить; была наряжена слѣдственная комисія и, кромѣ сейчасъ упомянутой кражи, насчитала на Шумахера еще 25,000 гульденовъ. Шумахеръ не хотѣлъ платить. Тогда новая комисія, руководимая Мейерами, насчитала на него уже 32,000, и онъ былъ изгнанъ. Долго продолжалась эта отвратительная борьба Мейеровъ съ Шумахерами, пока не побѣдили, наконецъ, Мейеры, которые и сдѣлались, по выраженію одного изъ нихъ: „богами люцернской земли“ (II, 530). Фрейбургъ не менѣе Люцерна и Берна терпѣлъ отъ патрициевъ, составлявшихъ изъ членовъ 71 семьи заправлявшую всѣмъ „секретную палату“, которая выбирала большой совѣтъ, малый совѣтъ, саму себя и всѣхъ чиновниковъ (II 401, 534). Въ Цюрихѣ, Женевѣ и т. д. дѣла не доходили до такихъ безобразій, но патрициі были и тамъ; и тамъ они превратили республику въ анархію, на которую долго, но безплодно, роптала народъ. Олигархія подавляла всякій протестъ и даже на покорныя патріотическія просьбы гражданъ отвѣчала тюремнымъ заключеніемъ и изгнаніемъ ихъ, какъ напр., въ 1744 г. въ Бернѣ (515). Но чѣмъ ближе подходилъ конецъ XVIII в., тѣмъ становился сильнѣе протестъ демократіи, возникали масонскія ложи, составлялись заговоры и т. д.

Одновременно съ патриціатомъ дѣйствовало другое страшное зло, стоявшее въ довольно тѣсной связи съ нимъ,—наемная служба швейцарцевъ въ иностранныхъ войскахъ. Этотъ своеобразный отхожій промыселъ возникъ еще въ XV в., когда послѣ швабской войны множество швейцарскихъ солдатъ осталось безъ дѣла, а иностраннымъ государствамъ между тѣмъ нужны были войска. Въ 1499 году начинались раздоры Франціи съ династіей Сфорца изъ-за Милана; обѣ стороны наперерывъ старались нанять себѣ швейцарскихъ солдатъ и обѣ наняли. Бернъ, Цюрихъ, Граубюнденъ и лѣсные кантоны издали строгіе циркуляры противъ службы у иностранныхъ правительствъ, но уже черезъ четыре года французскіе агенты свободно и открыто снова набирали въ Швейцаріи солдатъ. „Посланники богатаго сосѣда держали открытые столы въ большихъ городахъ Швейцаріи, сорили деньгами по дорогамъ и деревнямъ, на ярмаркахъ и сѣздахъ по случаю освященія церквей, въ трактирахъ и на водахъ, раздавали пригоршнями золото въ Баденѣ, куда люди сѣзжались не столько для леченья, сколько для кутежей, подвергались на улицахъ нападе-

ніямъ со стороны женщинъ и выкупались изъ этого плѣна кронталерами. Всеобщее безстыдство доходило до того, что подкупленный Франціей епископъ лозанскій, Монфоконъ, принадлежавшихъ къ его епархіи бернцевъ торжественно разрѣшилъ отъ данной ими союзу присяги, которою они обязались не принимать иностранныхъ пенсій, а духовные агенты короля публично проповѣдывали, что глупо не брать денегъ отъ могущественнаго государя“ (II, 8). Болѣе 12,000 швейцарцевъ поступило на французскую службу; они взяли и разграбили Геную и вернулись съ французскимъ золотомъ въ карманахъ. Въ это время началъ нанимать въ свою армію императоръ Максъ и получилъ 6,000 солдатъ. Въ 1510 г. 9,000 швейцарцевъ отправились служить въ войскахъ папы. Въ 1517 г. къ папѣ снова ушло 6,000 солдатъ. Въ 1521 г., несмотря на энергическое сопротивленіе такихъ патриотовъ, какъ Цвингли, многочисленныя толпы швейцарскихъ наемниковъ устремились къ французскому королю, бросая на произволъ судьбы свои хозяйства и семейства. Протестантскій Цюрихъ отдалъ въ наемъ папѣ 2,000 солдатъ, которые должны были сражаться противъ своихъ земляковъ, бившихся подъ французскими знаменами. Въ 1522 году многіе кантоны снова рѣшили послать французамъ 16,000 чел., изъ которыхъ въ одной только битвѣ при Викока убито 3,000. Чтобы отомстить за это пораженіе, Франція наняла еще 6,000 швейцарцевъ, въ 1523 г.—10,000, въ 1524 г.—8,000. Съ этого времени Франція долго не переставала уловлять швейцарцевъ въ свои золотыя сѣти; она подкупала швейцарскія власти, развращала деньгами народъ, держала всюду своихъ агентовъ и покупала на убой несчастныхъ швейцарскихъ солдатъ. Съ помощью швейцарцевъ, французы вели свои войны съ Италіей и Испаніей; когда-же начались религіозныя войны въ самой Франціи, то въ обѣихъ арміяхъ, и въ католической, и въ протестантской, тоже было множество швейцарцевъ; только въ 1587 г., наприм., въ войско гугенотовъ ихъ отправилось до 15,000. Генрихъ IV французскій возсталъ, главнымъ образомъ, тоже съ помощью швейцарскихъ наемниковъ, и вплоть до революціи швейцарцы нанимались служить Франціи, хотя масса народа, неразвращенная иностранными деньгами, была противъ этого насмичества и всегда ненавидѣла тѣхъ сводниковъ, при помощи которыхъ иностранцы покупали въ Швейцаріи такъ много пушечнаго мяса и которые, богатые иностранными деньгами, умножали собою рядъ патриціата.

При подавленности и невѣжествѣ народа, при сильномъ патриціатѣ и деморализирующемъ наемничествѣ, не могло быть сколько-нибудь значительныхъ перемѣнъ къ лучшему во внутренней

жизни швейцарскаго народа. Крѣпостное право существовало въ многихъ мѣстахъ вплоть до революціи (II, 563). Подданныя городамъ мѣстности были рѣшительно безправны, относительно своихъ господъ-городовъ (II, 222, 284, 506, 538). Уголовные законы по-прежнему отличались средневѣковой жестокостью; такъ-называемая, „полиція нравовъ“, воюя съ проявленіями развращенности преслѣдовала только своекорыстныя цѣли патриціата, который самъ былъ развращенъ до мозга костей. Школъ было мало, литература довольно жалкая, и только остатки первобытной общины да древняя свобода, уцѣлѣвшая въ городахъ, нарушали общій колоритъ печальной картины Швейцаріи въ XVIII в. Въ Ури, Швепцѣ, Унтервальденѣ сельская община и полное самоуправленіе оставались неприкосновенными, а присоединеніе къ союзу французской Швейцаріи, особенно Женевы, дало ему новыя прогрессивныя силы.

III.

Французская Швейцарія служила для всего союза органомъ, усвоившимъ отъ Франціи освободительныя и просвѣтительныя идеи XVIII в., въ развитіи и распространеніи которыхъ играли столь важную роль величайшіи изъ швейцарцевъ, Ж. Ж. Руссо, и долго жившій въ Швейцаріи Вольтеръ. Другимъ важнымъ звеномъ, соединявшимъ Швейцарію съ Франціей, былъ составленный изъ швейцарскихъ эмигрантовъ „гельветическій клубъ“ въ Парижѣ, ведшій самую дѣятельную пропаганду и въ Швейцаріи, и во Франціи, между служившими ей швейцарскими солдатами. Да революція неизбежно отразилась-бы на Швейцаріи и безъ всякой пропаганды; когда въ 1789 г. въ Эльзасѣ, по границѣ Базеля и во французскихъ селахъ, пограничныхъ съ Нейенбургомъ, возстали крестьяне, то ихъ швейцарскимъ собратьямъ, находившимся въ одинаковомъ съ ними положеніи, невольно должно было придти въ голову сдѣлать то-же самое. Въ Женевѣ, зимой въ 1789 г., возсталъ голодающій часть населенія, разграбила хлѣбопекарни, устроила баррикады, и правительство вынуждено было, отмѣнивъ тогдашнюю конституцію, дать народу права, отнятыя у него патриціатомъ. Въ 1793 г. „санкюлоты“ овладѣли властью; утвержденъ былъ революціонный трибуналь; аристократовъ арестовывали и разстрѣливали; многіе изъ нихъ бѣжали за-границу. Послѣ паденія Робеспьера, трибуналь сдѣлался умѣреннѣе и началъ хватать и разстрѣливать уже не аристократовъ, а санкюлотовъ. Между тѣмъ многіе революціонеры интриговали въ пользу присоединенія Женевы къ Франціи, и она въ 1798 г. была занята французскими войсками.

Революціонное движеніе вспыхнуло, вслѣдъ за Женевой, въ ваатландскихъ городахъ, гдѣ оно на время было подавлено бернскими войсками, и въ подвластныхъ Цюриху мѣстностяхъ, которыя теперь настойчиво требовали себѣ правъ, одинаковыхъ съ цюрихцами. Правительство и здѣсь взяло пока верхъ съ помощью войскъ. Но движеніе было слишкомъ сильно, и его нельзя было остановить тѣми средствами, къ какимъ только и умѣлъ прибѣгать выродившійся патриціатъ. Въ 1798 г. возстали базельскіе крестьяне и вмѣстѣ съ массою горожанъ произвели переворотъ. Цюрихскій совѣтъ, угрожаемый новымъ возстаніемъ, на этотъ разъ оказался благоразумнѣе и сдѣлалъ нѣсколько существенныхъ уступокъ народу. Въ С. Галенѣ возставшіе крестьяне имѣли успѣхъ, и выбранный ими „земскій совѣтъ“ принялся за реформу. Въ Шафгаузенѣ крестьяне требовали уничтоженія крѣпостного права, отмены феодальныхъ повинностей, равноправности съ горожанами, и правительство вынуждено было уступить имъ. Такимъ образомъ, остатки феодализма и патриціатъ падали, но народъ во многихъ мѣстахъ радовался напрасно: онъ былъ обманутъ, особенно въ Бернѣ, Фрейбургѣ и Золотурнѣ, гдѣ аристократія съумѣла превратить народное представительство въ пустую комедію, а сама по-прежнему управляла дѣлами. Но пришли французскія войска, и эти остатки прежней олигархіи пали. Швейцарія, подъ вліяніемъ французовъ, превратилась (1798 г.) въ „единую и нераздѣльную Гельветическую республику“, состоящую изъ 23 кантоновъ. Это новое устройство, навязанное французами, было рѣшительно не по душѣ швейцарцамъ, которыхъ и природа, и исторія пріучили къ мѣстному самоуправленію и федераціи; къ Гельветической республикѣ отнеслись съ особенною враждебностью лѣсные кантоны, которымъ такъ дороги были всегда ихъ свобода и община въ ихъ первобытныхъ формахъ. Швицъ, Ури, Унтервальденъ, Гларисъ, С. Галенъ, Цугъ рѣшительно отказались принять „книжонку“, какъ народъ называлъ новую конституцію, заключили между собою союзъ, вооружились и хотѣли вторгнуться въ преобразованные уже кантоны, силою возстановить прежній союзъ, только безъ „подданныхъ“. Но французскія войска заставили ихъ покориться, и они силою введены въ составъ Гельветической республики, состоявшей подъ командой французскихъ генераловъ, которые распоряжались ея деньгами, смѣняли и назначали властей и т. д. (III, 78). Затѣмъ Швейцарія сдѣлалась театромъ войны между французами, съ одной стороны, австрійцами и русскими съ другой. Когда французамъ удалось, наконецъ, вытѣснить враговъ изъ страны, она была въ конецъ разорена и выжжена; множество народа бѣжало за-границу; оставшіеся голодали; скотъ былъ истребленъ; хлѣбъ

страшно вздорожалъ; чиновники и солдаты не получали жалованья; республика должна была содержать на свой счетъ 72,000 французскихъ войскъ, довершавшихъ ея раззореніе; одинъ только Мадена, напр., взявъ въ 1799 г. съ С. Галена 400,000, съ Базеля и Цюриха по 800,000 франковъ. Выродившаяся олигархія была рѣшительно неспособна къ управленію и упражнялась только въ мелкихъ интригахъ, да безтолковыхъ государственныхъ переворотахъ (7 января 1800 г., 7 августа 1800 г., 27 октября 1801 г., 17 апрѣля 1802 г.). Когда-же французскія войска въ 1802 г. удалились, то въ странѣ началась такая анархія, что правительство для поддержанія порядка выпросило у Бонапарта двѣ полубригады. Страна распалась на два враждебныхъ лагеря: въ одинъ собирались защитники прежняго союза, въ другой — сторонники новой конституціи. Явился генералъ Рапъ и объявилъ прокламацію Бонапарта, который предлагалъ себя въ посредники для примиренія враждующихъ партій; французы составили новую конституцію, такъ-называемый „посредническій актъ“, и Швейцарія очутилась въ васальной зависимости у новаго Цезаря. „Всѣ общественныя дѣла, говорить Гене,—были окружены канцелярскою тайною, а народъ считался годнымъ только для платежа налоговъ. Въ нѣкоторыхъ кантонахъ снова вводили пытку, отмѣняли гельветическій уголовный кодексъ, не составивъ никакого другого, восстанавливали старинную регламентацію промышленности и цеховъ, огораживались таможенными заставами, снова лишали равноправности незаконныхъ дѣтей, стѣсняли заключеніе смѣшанныхъ браковъ; монастыри по-прежнему наполнялись монашествующими“ (III, 162). Патриціамъ, снова возсѣвшимъ на правительственныхъ креслахъ, всюду грезались революціонные происки, и преслѣдованіе ихъ составляло одно изъ главныхъ занятій правительства; когда-же случалось дѣйствительное возстаніе народа въ какой-нибудь мѣстности, то, подавивъ его войсками, судили и казнили инсургентовъ по древнему уложенію Карла V, извѣстному своею крайнею жестокостью. (III. 167).

Съ паденіемъ Наполеона, Швейцарія избавилась отъ французской опеки, и въ ней немедленно-же началась анархическая борьба разныхъ классовъ и кантоновъ: одни хотѣли полной реставраціи до-революціонныхъ порядковъ, другіе — новой конституціи. Сеймъ цѣлыхъ 17 мѣсяцевъ составлялъ проекты новаго устройства и не могъ ничего сдѣлать среди окружавшаго его хаоса. Наконецъ, вѣнскій конгрессъ сочинилъ для Швейцаріи такую конституцію, при которой, по выраженію историка, „страна прозябала пятнадцать лѣтъ безъ жизни, безъ исторіи, безъ прогресса и безъ свободы. Разныя правительства кантоновъ, какъ демократическія

при системѣ сельской общины, такъ и представительныя и аристократическія, сходились въ томъ, чтобы ограничивать всю дѣятельность государства извѣстными личностями, способными руководить народомъ. Идеаломъ этихъ правительствъ было господство людей образованныхъ и богатыхъ, отчасти и знатныхъ. Система бюрократіи достигла полного развитія своихъ силъ. Правительства прежде всего стремились, чтобы не былъ „нарушаемъ порядокъ“. Они не выносили никакой оппозиціи, не терпѣли никакихъ стремленій къ улучшеніямъ въ общественныхъ дѣлахъ“. (Ш, 225). Между тѣмъ въ Европѣ бродили бурныя силы, враждебныя реакціи: греки боролись съ турками, возсталъ Испанія, вспыхивали революціи въ Италіи и т. д. Въ Швейцарію со всѣхъ сторонъ бѣжали преслѣдуемые революціонеры и эмигранты, а за ними—цѣлыя толпы иностранныхъ шпионовъ для наблюденія за ихъ „пронсками“, какъ тогда выражались. За полицейскими слѣдовали іезуиты и папскіе агенты, находившіе въ католическихъ кантонахъ самую благопріятную почву для своихъ интригъ. Чтеніе библіи снова преслѣдовалось; распространялись тысячи брошюръ, въ заглавіи которыхъ непременно упоминалось о „сатанѣ духа времени“; люцернскій епископъ изгонялъ чертей; піетисты и мистики, вродѣ извѣстной Крюднеръ, страшно волновали умы; въ цюрихскомъ кантонѣ въ 1823 г. крестьянка Маргарита Петеръ, „пророчица“, была распята на крестѣ своими послѣдователями, общества піетистовъ доходили до величайшихъ сумасбродствъ.

Такимъ образомъ, въ Швейцаріи скоплялись и реакціонныя, и прогрессивныя элементы, вступившіе въ отчаянную борьбу между собой при первой-же вѣсти объ іюльской революціи въ Парижѣ. Прежде всего либералы одержали верхъ въ Цюрихѣ, гдѣ въ сентябрѣ 1830 г. было произнесено первое слово о пересмотрѣ конституціи въ смыслѣ уравниенія горожанъ со всѣми жителями кантона, а въ апрѣлѣ слѣдующаго года была уже введена новая конституція, по которой въ большомъ совѣтѣ на 71 городского депутата приходилось кантональныхъ 141. Подобныя реформы были проведены болѣе, чѣмъ въ половинѣ кантоновъ, въ которыхъ либералы оказались значительно сильнѣе реакціонеровъ, и даже въ такихъ аристократическихъ кантонахъ, какъ Люцернъ и Золотурнъ. Патриціатъ вынужденъ былъ скоро уступить требованіямъ либераловъ, поддержаннымъ всюду народною массою. Но во многихъ кантонахъ, хотя и скоро были окончены эти реформы, онѣ все-таки мало принесли пользы народу, такъ-какъ принятая ими избирательная система отдавала власть въ руки патриціата, богатства и образованія. Во многихъ кантонахъ, кромѣ того, введеніе реформъ сопровождалось сильными смутами, какъ, на примѣрѣ,

въ Фрейбургѣ, гдѣ патриціатъ не думалъ не только о народѣ, но даже и о Швейцаріи, и всей душой былъ преданъ бурбонамъ; только возставшій и вооружившійся народъ заставилъ приступить къ реформѣ. То-же самое было въ С. Галенѣ, Ааргау, Тургау, Тесинѣ и Ваатландѣ. Въ Бернѣ патриціи только тогда согласились на реформу, когда войска отказались дѣйствовать противъ требовавшаго ее народа. Въ Шафгаузенѣ, Валисѣ, Нейенбургѣ дѣло доходило даже до военныхъ столкновений. Базельское правительство, получивъ нѣсколько петицій о реформахъ въ духѣ равноправности, начало прямо съ военныхъ вооруженій и, сдѣлавъ самыя незначительныя уступки народу, только усилило волненія. Въ городѣ Листалѣ собралась вооруженная „сельская община“ до 6,000 человекъ, и въ то-же время, какъ Базель заперъ свои ворота и разставлялъ пушки по стѣнамъ, депутаты 70 общинъ выбрали временное правительство. Базель двинулъ противъ „инсургентовъ“ своихъ наемныхъ солдатъ, которые, послѣ нѣсколькихъ стычекъ, стоившихъ имъ 10 убитыхъ и 30 раненыхъ, разсѣяли толпы, прогнали временное правительство, взяли Листалѣ и захватили много плѣнныхъ. Вмѣшательство союзнаго правительства предупредило междоусобную войну; но изъ дарованной Базелемъ амністіи были исключены всѣ участвовавшіе въ дѣлѣ офицеры и чиновники, а составленная большинствомъ совѣтомъ новая конституція была просто насмѣшкою надъ народомъ, такъ-какъ, по-прежнему, оставляла его безправнымъ подъ властью города. Страна снова заволновалась, снова пошли въ нее войска изъ города, но на первый разъ были отбиты отъ Листалѣ, въ которомъ уже дѣйствовалъ вернувшійся глава прежняго временнаго правительства, Гуцвилеръ. Порядокъ кое-какъ былъ восстановленъ, и депутаты союзнаго сейма начали убѣждать базельское правительство уступить справедливымъ требованіямъ народа, но упорные буржуа и слышать не хотѣли объ этомъ. Эта безтолковая путаница продолжалась съ октября 1830 до апрѣля 1832 года, когда Базель снова послалъ своихъ солдатъ противъ „инсургентовъ“, и дѣло дошло до небольшой битвы, ничего, однакоже, не рѣшившей. Долго союзный сеймъ старался примирить кантоны съ городомъ и наконецъ, въ сентябрѣ рѣшилъ раздѣлить ихъ окончательно, предоставивъ каждому изъ нихъ управляться самостоятельно. Не лучше Базеля поступалъ и совершенно демократическій Швицъ, который никакъ не хотѣлъ дать равнаго права представительства тѣмъ общинамъ, которыя въ разное время были завоеваны или куплены имъ. Несмотря на то, что эти общины составляли болѣе половины всего кантона, въ совѣтѣ представители ихъ подавлялись огромнымъ большинствомъ „старо-швиц-

ских“ представителей. Когда въ 1830 г. эти общины начали настойчиво требовать равноправности, кантональный совѣтъ отнесся къ нимъ, какъ къ „бунтовщикамъ“ и „якобинцамъ“. Въ 1831 г. общины, собравшись въ Лахенѣ, объявили себя отложившимися отъ кантона и составили свое отдѣльное правительство. Всѣ посредническія хлопоты союзаго сейма не повели ни къ чему. Старо-Швицъ не уступилъ и, подобно базельскому, распался на двѣ части.

Какъ-бы то ни было, но, вслѣдствіе движеній 1830 г., во всѣхъ кантонахъ въ-концѣ-концовъ взяли верхъ либералы, и мѣстности, оставшіяся до тѣхъ поръ безправными, получили права представительства. Затѣмъ началась долгая возня съ пересмотромъ союзной конституціи, и въ 1835 г. ее нѣсколько исправили, введя единство мѣръ и вновь предоставивъ каждому швейцарцу право петицій сейму и т. д. Сеймъ, какъ мы уже видѣли, во внутреннихъ дѣлахъ, какъ посредникъ между кантонами или отдѣльными частями одного и того-же кантона, оказывался бессильнымъ; не менѣе хлопотъ доставляли ему иностранныя дѣла, особенно послѣ подавленія польскаго возстанія 1830 г., когда Швейцарію снова наводнили польскіе, итальянскіе и нѣмецкіе эмигранты. Австрія, Франція, даже самъ „благородный Альбионъ“ требовали изгнанія этихъ эмигрантовъ, и, вслѣдствіе этого, въ 1836 г. отношенія Швейцаріи къ остальнымъ государствамъ приняли опасный для нея характеръ. Особенно напирала на нее Франція, посланникъ которой, Монтебело, не прочь былъ играть въ ней роль диктатора и при этомъ прибѣгалъ къ самымъ недостойнымъ интригамъ. Онъ, напримѣръ, настоятельно требовалъ выдачи нѣкогого Консуеля, замѣшаннаго будто-бы въ дѣло покушенія Фіески на жизнь Луи-Филиппа; но оказалось, что Консуель — французскій шпіонъ, получившій отъ Монтебело фальшивые паспорта и прибывшій въ Швейцарію за тѣмъ, чтобы подстрекать эмигрантовъ къ разнымъ компрометирующимъ ихъ выходкамъ. Немало хлопотъ причинилъ въ это время союзу и будущій французскій императоръ, Луи-Наполеонъ, только-что приготавливавшійся къ постановкѣ на французской сценѣ своей революціонной комедіи.

Группировка политическихъ партій послѣ введенія конституцій рѣшительно не представляла никакихъ видовъ на скорое внутреннее умиротвореніе, въ которомъ таѣ нуждалась страна. Люди движенія 1830 г., достигшіе правительственныхъ мѣстъ и крѣпко усѣвшіеся на зеленыхъ креслахъ, были совершенно изолированы отъ народа, даже относились къ нему презрительно съ высоты своего величія и поэтому были совершенно безсильны противъ партій, опиравшихся на народную массу, радикаловъ и

клерикаловъ. Радикалы, впрочемъ, тогда еще не достигли такой силы, какъ клерикальная партія, и реакція движенія тридцатыхъ годовъ имѣла поэтому значительный успѣхъ. Эта реакція началась одновременно со введеніемъ реформъ. Офицеры, принадлежавшіе къ патриціату, и католическіе духовные долго отказывались присягать новымъ конституціямъ, а въ Бернѣ, Нейенбургѣ, Базелѣ, Швицѣ, Ури, Валисѣ уже въ 1832 г. энергически дѣйствовали „черный союзъ“ патриціевъ и клерикаловъ, собиравшійся произвести государственный переворотъ, который, однакоже, удалось предупредить правительству. Католическое духовенство, даже въ демократическихъ лѣсныхъ кантонахъ, имѣло массу силъ для поддержки его реакціонныхъ интригъ и дѣйствовало чрезвычайно энергично, но во многихъ случаяхъ отъ него не отставало въ этомъ отношеніи и протестантское. Когда, напримѣръ, въ 1839 г. цюрихскій университетъ предложилъ кафедру догматики извѣстному ученому Штраусу, то, подъ вліяніемъ духовенства, народъ былъ доведенъ до страшнаго раздраженія, предвѣщавшаго настоящую революцію. Въ деревняхъ пасторы били въ набатъ, собирали крестьянъ и благословляли ихъ на борьбу съ „врагами религіи“. Тысячи крестьянъ готовы были штурмовать Цюрихъ, жители котораго вооружились и приготовились къ защитѣ. Двѣ тысячи инсургентовъ, предводимые пасторами и съ пѣніемъ: „сей день, его-же сотвори Господь“ (!!), вошли въ одно изъ городскихъ предмѣстievъ; пасторъ Гирцель scomандовалъ: „во имя господне—пли!“ и началась битва. Инсургенты на первый разъ были разбиты, но немедленно-же собрались новыя многочисленныя толпы, предводимыя пасторами, заняли городъ и составили свое временное правительство, превратившееся потомъ въ окончательное. Примѣръ Цюриха показалъ реакціонерамъ, что съ помощью комитетовъ, петицій, народныхъ собраній можно много сдѣлать въ направленіи, совершенно противоположномъ движенію 1830 г. Въ другихъ кантонахъ начали стремиться къ той-же цѣли и тѣмъ-же путемъ, особенно въ Люцернѣ, Ааргау, Золотурнѣ, Бернѣ, С. Галенѣ. Въ Швицѣ реакціонное движеніе, поддерживаемое утвердившимися здѣсь иезуитами, страннымъ образомъ сливалось съ чисто-демократическимъ движеніемъ, имѣвшимъ цѣлью равное распредѣленіе общинныхъ пастбищъ. То-же самое было и въ Люцернѣ, гдѣ въ 1840 г. демократическая партія обратилась къ правительству съ петиціей, въ которой требовала, съ одной стороны, полнаго политическаго равенства, равномѣрнаго представительства для всѣхъ мѣстностей, избранія народомъ всѣхъ чиновниковъ, а съ другой—подчиненія школъ духовенству и передачи университета иезуитамъ. Вожакъ этой партіи и въ то-же

время орудіе іезуитовъ, фанатикъ Лей, дѣйствовалъ на народъ чрезвычайно сильно, и введенная въ 1842 г. новая конституція, съ одной стороны, удовлетворила многимъ требованіямъ народа, а съ другой—отдала этотъ народъ во власть іезуитовъ и клерикаловъ. Еще серьезнѣе были успѣхи реакціонеровъ въ Ааргау, гдѣ по поводу пересмотра конституціи, въ 1840 г. началась самая дѣятельная клерикальная агитація, имѣвшая цѣлью возстановленіе прежняго значенія монастырей и преобладаніе духовенства въ мѣстностяхъ, населенныхъ католиками. Между тѣмъ новая конституція, довольно либеральная, благодаря протестантскимъ гражданамъ, была принята большинствомъ голосовъ. Католики возстали. Послѣ подавленія этого мятежа войсками, правительство рѣшилось упразднить католическіе монастыри (8), бывшіе центрами реакціонныхъ интригъ, и объявило монастырскія имущества достояніемъ государства. Эта мѣра возбудила страшное негодованіе во всѣхъ католикахъ союза, и ихъ сторону принялъ не только папа, но даже и Австрія. Союзный сеймъ, наконецъ, высказался за католиковъ,—реакція торжествовала. Большой совѣтъ Ааргау пошелъ на компромисъ, соглашаясь не закрывать мужскихъ и трехъ женскихъ монастырей, но съ тѣмъ, чтобы они стояли подъ надзоромъ государства, а доходы ихъ употреблялись-бы правительствомъ на школы, церкви и богадѣлни. Но реакціонеры не шли ни на какія уступки; борьба разгаралась; вся страна распалась на два враждебныхъ лагеря, и въ 1843 г. католическія области положили основаніе „отдѣльному союзу“ (Sonderbund), въ которомъ іезуиты и клерикалы играли главную роль и истребляли всѣ слѣды прежняго либерализма. Еще въ 1843 г. начались вооруженныя столкновенія либеральныхъ отрядовъ съ милиціонерами отдѣльнаго союза, а въ 1845 г. вся страна приготовилась къ междуусобной войнѣ въ большихъ размѣрахъ. Несмотря на запрещеніе союзнаго сейма, отряды либеральныхъ волонтеровъ снова двинулись на Люцернъ, но потерпѣли страшное пораженіе. Сначала фанатики неистовствовали, отыскивая неизвѣстныхъ убійцъ, застрѣлившихъ вождя ихъ, Лея, потомъ начали судить 866, захваченныхъ ими въ плѣнъ, волонтеровъ. 11 были приговорены къ смерти, 5 къ цѣпямъ, 687 къ тюрьмѣ, 4 къ изгнанію, остальные большею частью къ денежнымъ штрафамъ. Между тѣмъ въ Женевѣ, Ваатландѣ и Бернѣ взяла верхъ радикальная партія, и силы враговъ отдѣльнаго союза значительно возросли; большинство швейцарскаго народа вооружилось противъ этихъ сепаратистовъ, тѣмъ болѣе, что послѣдніе начали искать помощи у Франціи и Австріи. Въ концѣ 1847 г. союзныя войска, численностью въ 98,000, открыли войну противъ отдѣльнаго союза, у котораго вмѣстѣ съ ландштурмомъ

было подъ ружьемъ 84,000. Война продолжалась 25 дней; въ союзномъ войскѣ было 74 убито, 377 ранено. у сепаратистовъ 24 убито и 116 ранено. Сепаратисты потерпѣли поражение; отдѣльный союзъ палъ, и входившіе въ него кантоны были обложены контрибуціей.

Кн. Метернихъ уже дѣятельно работалъ, чтобы подготовить внимательство Европы въ швейцарскія дѣла по поводу отдѣльнаго союза, стремленія котораго были дороги каждому реакціонеру, какъ разразилась новая буря, 1848 годъ, принесшій съ собою новыя улучшенія въ демократическомъ смыслѣ и новую союзную конституцію. Но торжество „радикаловъ“ было непродолжительное; только что началась новая реакція въ Европѣ, какъ она немедленно отразилась и въ Швейцаріи. Въ 1850 и 1851 гг. было два реакціонныхъ возстанія въ Фрейбургѣ, а съ 1854 г. ультрамонтаны и іезуиты завладѣли здѣсь всѣмъ: и управленіемъ, и школами. То-же самое было въ Валлисѣ и въ Бернѣ, гдѣ протестантское духовенство дѣйствовало не хуже католическаго въ духѣ реакціи. Впрочемъ, и прогрессивные швейцарскіе буржуа, такъ-называемые, радикалы, сплошь и рядомъ правили не лучше патриціевъ и ультрамонтановъ. Самымъ выразительнымъ представителемъ этихъ радикаловъ былъ Джемсъ Фази, почти неограниченно правившій Женевой послѣ революціи 1846 года. Онъ употреблялъ всѣ усилія, чтобы сдѣлать изъ Женевы новѣйшій блестящій городъ, второй Парижъ, и утвердить за собой власть. Фази опирался преимущественно на рабочихъ, которымъ онъ угождалъ множествомъ общественныхъ работъ, и на ультрамонтанъ. Подъ постройки были очищены мѣста, занимаемые укрѣпленіями, и изъ этой земли Фази преподнесъ себѣ участокъ въ 210,000 фр., на которомъ онъ построилъ себѣ роскошный дворецъ. Въ началѣ 50-хъ годовъ противъ Фази организовалась довольно сильная демократическая партія, вожакъ которой, Галеръ, въ своей газетѣ „Citoyen“ вооружался постоянно противъ опеканія народа его представителями и обличалъ Фази въ совершенномъ равнодушіи къ экономическому положенію рабочаго класса. Въ 1853 г. эти демократы, соединившись съ консерваторами, получили перевѣсъ на выборахъ, но у нихъ не оказалось человѣка, способнаго замѣнить Фази, имѣвшаго сильное давленіе на выборы и ловко управлявшаго финансами, и Фази остался во главѣ правительства. Съ этого времени въ Женевѣ упрочился по-истинѣ чудовищный порядокъ вещей: одна противъ другой стояли и поочередно смѣняли другъ друга двѣ враждебныя партіи—радикалы Фази и ультрамонтаны, съ одной стороны, и радикалы Галера съ консервативными протестантами, съ другой; главой-же правительства былъ неизмѣнный Фази. Онъ

много содѣйствоваль внѣшнему блеску Женевы, развитію ея торговли и промышленности, упроченію религиозной свободы, но въ то-же время онъ былъ образцомъ буржуазной безнравственности. Стоитъ сказать только, напр., что въ его дворцѣ велась чудовищная азартная игра, которую онъ позволялъ за огромныя деньги. Въ-концѣ - концовъ хозяйничанье Фази раззорило Женеву; пролетаріатъ развился до страшныхъ размѣровъ; учрежденные Фази банки мошенничали, а въ 1856 г. Фази два раза покушался даже на государственный переворотъ, распуская общинное управление Женевы, которое не правилось ему своею бережливостью. Но, несмотря на все это, ловкій интриганъ умѣлъ держаться на своемъ мѣстѣ, и только послѣ того, какъ въ 1861 г. его опозорилъ какой-то рабочій, публично побивъ на улицѣ, Фази потерпѣлъ поражение и на выборахъ. Началась ожесточенная вражда двухъ соперничающихъ партій, доходившая до ежедневныхъ кровавыхъ побоищъ. Эта борьба продолжалась и послѣ выборовъ Фази; въ населеніи снова явилась мысль объ его необходимости, о томъ, что только онъ можетъ прекратить всѣ эти беспорядки, и въ 1864 г. Фази снова выступилъ кандидатомъ. Враждебная партія употребила всѣ усилія, чтобы помѣшать его выбору, и кандидатъ ея, молодой человѣкъ Теневьеръ, получилъ большинство голосовъ. Тогда сторонники Фази объявили выборы неправильными и потребовали новыхъ. Раздоръ дошелъ до кроваваго столкновенія; были даже барикады; но фазійцы были поражены, и во главѣ управленія водворились ихъ противники.

Конституція союза, принятая народомъ въ 1874 году, можетъ считаться концомъ борьбы за политическую равноправность, — борьбы, которая такъ тревожила и истощала народъ втеченіи почти 2,000 лѣтъ. Результаты этой борьбы, конечно, утѣшительны, но тѣмъ не менѣе Швейцарія придется пережить еще немало общественныхъ кризисовъ, которые будутъ посерьезнѣе какой-нибудь борьбы Мейеровъ съ Шумахерами, о которой мы упоминали. Да даже и чисто исторія этой страны еще не закончена, и вотъ что говорить, напр., въ одной изъ своихъ статей извѣстная писательница, Андре Лео:

„Нигдѣ лучше тесинскаго кантона не представляется случая изучить безсодержательность и немощность либеральной буржуазіи, принципы которой заключаются въ отрицаніи, и то болѣе опредѣленнымъ является лишь религиозное отрицаніе, такъ-какъ борьба съ привилегіями прошлыхъ временъ ведется у нихъ лишь на словахъ, фактически-же они ими вполне пользуются. Что-же касается до религіи, то ей нечего опасаться нападокъ либераловъ по той причинѣ, что, не задумываясь никогда

надъ этими вопросами, не изучивъ сущности ихъ, они затрудняются разбивать ея догматы; они неопредѣленно говорятъ о предрассудкахъ, комкаютъ въ одно и хитрость, и фанатизмъ, патеровъ-же считаютъ всѣхъ безъ исключенія мошенниками, что, между прочимъ, не мѣшаетъ имъ крестить и приобщать своихъ дѣтей и находить неприличнымъ, если ихъ жены и дочери пропускаютъ воскресную обѣдню. Къ судьбѣ народа либераль относится совершенно равнодушно и только ратуетъ противъ милостыни, какъ посягательства на достоинство человѣческое.

„Тесинское духовенство непросвѣщенно, ограничено и нетерпимо, какъ и въ сосѣднихъ странахъ; клерикалы, недавно вновь забравъ власть въ свои руки, упразднили во всѣхъ школахъ кафедръ точныхъ наукъ, какъ вдохновенныхъ дьяволомъ; попы преподаютъ исторію и философію, однимъ словомъ, награждаютъ Тесинъ самымъ чистымъ обскурантизмомъ и не упускаютъ случая преслѣдовать всячески либераловъ.

„Но въ сущности достойны-ли сожалѣнія либералы? Посудите сами: они держали кантонъ въ своихъ рукахъ втеченіи восемнадцати лѣтъ!! А теперь общеою подачею голосовъ онъ переданъ изъ рукъ въ руки клерикаламъ.

„Либералы оставили народъ въ нищетѣ и невѣжествѣ. Они разбили его вѣру, вмѣсто того, чтобы просвѣтить его. Они составляли законы произвольно и глупо, стремясь лишь къ собственному обогащенію. Въ школахъ катехизисъ остался единственнымъ учебникомъ, и они вообразили, что, для превращенія его въ свѣтскую книгу, достаточно назначить учителя на мѣсто священника. Они презирали и грабили народъ. Католицизмъ-же, заявивъ себя другомъ женщинъ и дѣтей и помощникомъ бѣдняковъ, потихоньку весь кантонъ забралъ изъ рукъ своихъ бѣснующихся и разбитыхъ противниковъ, обвиняющихъ народъ въ подлости и преступленіяхъ, не призывая никакой вины за собой.

„Вотъ какъ тесинскіе либералы понимаютъ свободу!

„Однажды вечеромъ я услышала страшный шумъ на улицѣ я, подойдя къ окну, увидѣла толпу людей съ жердями въ рукахъ, на концѣ которыхъ развивались пылающіе листы бумаги, сопровождающихъ шествіе это рычаніями и пѣснями. Я спрашиваю и узнаю, что это либералы перехватили на почтѣ органъ клерикаловъ и предають его сожженію на свой ладъ. Сожигатели принадлежали къ важнѣйшимъ либеральнымъ фамиліямъ и не подверглись никакимъ непріятностямъ за такіе подвиги.

„Теперь-же, для освобожденія себя отъ ига клерикаловъ, они жслають присоединиться къ Италіи, только изъ-за того, что итальянское правительство не даетъ хода клерикальному вліянію. Италъ-

янского правительство под шумокъ способствуетъ этому движенію и открыто покровительствуетъ тесинскимъ либераламъ, въ то-же время жалуясь въ Бернъ на интриги и подкопы, ведомые клерикалами передъ его дверями.

„Тесинъ очень небольшой кантонъ, и съ перваго взгляда вопросъ о немъ не представляетъ никакой важности. Но присоединеніе къ Италіи итальянской Швейцаріи, вслѣдствіе сродства языка и національности, повлечетъ за собою распаденіе Швейцаріи, состоящей изъ трехъ народовъ различныхъ національностей и языковъ. Пруссія, явно покровительствуя Италіи и предлагая ей въ 1870 г. другія присоединенія, поощривъ это тѣмъ охотнѣе, что, основываясь на этомъ прецедентѣ, она присвоить себѣ нѣмецкую Швейцарію, которой уже угрожаетъ большой проходъ черезъ С. Готардъ, построенный на средства Швейцаріи и Италіи, а фактически находящійся во владѣніи Германіи. Вслѣдъ за переѣздомъ черезъ итальянскую границу, послѣ Комо, удивленнымъ взорамъ путешественника представляются: надпись *Gothard'bahn*, нѣмецкіе вагоны, мундиры и кондуктора, и всюду читается и раздается нѣмецкая рѣчь посреди итальянской страны. Слѣдовательно, маленькій тесинскій вопросъ и интрижки, волнующія эту землицу, представляютъ гораздо болѣе важности, чѣмъ это кажется съ перваго взгляда“.

Но еслибы даже и не состоялось этого раздробленія страны, Швейцаріи все-таки предстоитъ много передрагъ и испытаній. Наиболѣе демократическіе кантоны ея находятся подъ владычествомъ духовенства; жители этихъ кантоновъ въ высшей степени суевѣрны и фанатичны, а въ кантонахъ промышленныхъ царитъ золотой мѣшокъ и бѣдствуетъ пролетаріатъ. А между тѣмъ такіе историки и публицисты, какъ Гене-Амъ-Ринъ, только и видятъ впереди одну опасность для своей страны,—опасность иностраннаго завоеванія, которую и надѣются преодолѣть общимъ „единодушіемъ“ швейцарцевъ (III, 569). Мейеры и Шумахеры бывшаго времени тоже не видѣли дальше своего носа...

С. III.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Безмолвіе печати по поводу поѣздки министра финансовъ.—Безмолвіе Рыбинска и Ярославля.—Цѣты краснорѣчія Нижняго-Новгорода.—Насколько кунцы могутъ быть представителями общихъ экономическихъ интересовъ, и какая система экономической политики для нихъ самая желательная.—Осторожность министра финансовъ въ рѣчахъ.—Какая внутренняя экономическая политика выработается у насъ самою силою вещей.

Еслибы министръ финансовъ Англіи посѣтилъ Манчестеръ и другіе промышленные центры Англіи, то англійскія газеты сдѣлали-бы изъ путешествія министра важный общественный вопросъ и не обошли-бы его краснорѣчивымъ молчаніемъ. Но вотъ надняхъ русскій министръ финансовъ дѣлаетъ подобное-же путешествіе по Россіи: онъ посѣщаетъ нижегородскую ярмарку, Рыбинскъ, Кострому, Иваново, т. е. главные центры нашей промышленности и торговли, и о путешествіи министра въ печати вы не найдете ничего, кромѣ тощихъ извѣстій корреспондентовъ.

Почему-же англійская печать счумѣла-бы придать иное значеніе путешествію англійскаго министра финансовъ? Почему въ Англіи это было-бы общественнымъ событіемъ, интересоваться которымъ стала-бы, можетъ быть, даже Европа? Когда князь Бисмаркъ заявилъ о своей новой заможенной программѣ, въ нѣмецкой печати произошла чуть-ли не цѣлая буря. И, дѣйствительно, всякая перемѣна въ промышленной или торговой политикѣ любого изъ европейскихъ государствъ составляетъ не только событіе для государства, котораго она касается непосредственно, но и для всѣхъ народовъ, на которыхъ перемѣна эта можетъ отразиться такъ или иначе. Напримѣръ, поѣздка Гладстона, вступающаго въ министерство, есть перемѣна цѣлой программы всей экономической политики правительства. Это, какъ и въ проектѣ Бисмарка, имѣющемъ, впрочемъ, другой характеръ, значитъ, что

въ распредѣленіи выгодъ, заработковъ, барышей и наживы должна наступить извѣстная перемѣна: однимъ станетъ лучше, другимъ— хуже, и это *лучше* или *хуже* отразится не только на внутреннихъ производителяхъ, но и на внѣшнихъ сношеніяхъ страны. Когда князь Бисмаркъ предложилъ свой таможенный проектъ, то перемѣны, задуманныя въ немъ, касались не одной Германіи,— онѣ задѣвали не только нашего купца, но и нашего крестьянина. Явись вѣчто подобное — даже въ половину меньше — во внутренней политикѣ Англии и еслибы только половина этой половины касалась Германіи или Франціи, какую бурю подняла-бы тамошняя печать, какъ-бы стойко защищала она интересы своего народа, какой-бы переполохъ случился въ народѣ, какъ-бы каждый производитель, каждый экономическій и общественный дѣятель старался отстаивать свои интересы и защищать себя и свой народъ отъ опасности, которая ему грозитъ! Ничего подобнаго никогда не случалось у насъ и не случилось и теперь; какъ хочешь, мѣняй Европа свою экономическую политику, мы объ ней будемъ такъ-же мало говорить, какъ о волканахъ на лунѣ. У насъ министръ финансовъ совершаетъ поѣздку, которая можетъ вызвать полную перемѣну внутренней финансовой, промышленной и экономической политики, а мы относимся къ этой поѣздкѣ, точно ѣдетъ по Россіи знатный иностранецъ, съ которымъ нѣтъ у насъ никакихъ общихъ серьезныхъ и важныхъ интересовъ. А между тѣмъ путешествіе министра финансовъ могло-бы быть очень громкимъ событіемъ.

Въ послѣднее время все чаще и чаще назначаются правительственныя изслѣдованія тѣхъ или другихъ, частныхъ или общихъ, вопросовъ на мѣстахъ. Первымъ изслѣдованіемъ этого рода была комисія, учрежденная для опредѣленія положенія сельскаго хозяйства. Комисія собрала очень цѣнный матеріалъ, и если изслѣдованіе не создало никакихъ практическихъ послѣдствій, то, конечно, только потому, что вопросъ, служившій предметомъ изслѣдованія, не былъ достаточно понятъ ни членами комисіи, ни тѣми, кого онъ ближе всего касался. Затѣмъ возникаетъ цѣлый рядъ другихъ комисій, практическіе результаты которыхъ оказались опять недействительными. Наконецъ, въ послѣднее время является, такъ-называемая, барановская комисія, состоящая изъ множества подкомисій, совершающая путешествіе по всей Россіи, для изслѣдованія положенія желѣзно-дорожнаго дѣла въ связи съ внутренней и внѣшней торговлей. Если къ этому присоединить еще массу изслѣдованій по рабочему вопросу, по кустарной промышленности, земскія изслѣдованія по сельскому хозяйству и повсюдныя стремленія земства къ собиранію статистическаго ма-

теріяла, то придется согласиться, что въ подобномъ движеніи русской мысли заключается нѣчто настолько серьезное, что къ нему нельзя относиться пессимистически. Вопросъ не въ томъ, что, собирая 25 лѣтъ разныя свѣденія, мы не пришли еще съ ними ни къ какимъ положительнымъ правтическимъ результатамъ и перемѣнамъ во внутренней экономической политикѣ,—вопросъ въ томъ, насколько мы экономическіе производители, торговцы, негоціанты, интеллигенты, общество, насколько мы, представители мысли и своихъ собственныхъ внутреннихъ интересовъ, способны понять подобное движеніе, содѣйствовать ему, усилить его и создать изъ него тотъ общественный починъ, за которымъ непременно должны послѣдовать выгодныя для страны и народа экономическія послѣдствія? „Голосъ“, говоря о поѣздкѣ министра финансовъ, радуется, что совершается сближеніе высшихъ административныхъ и умственныхъ центровъ съ мѣстными нуждами, съ „землею“. „Голосъ“ радуется, что министръ финансовъ во-очію увидитъ тѣ интересы и нужды, на пользу которыхъ наши представители власти призваны дѣйствовать и о которыхъ большею частію приходится судить сквозъ призму канцелярской переписки. Радуюсь подобному сближенію, „Голосъ“ высказываетъ, однако, свои опасенія, что послѣдствія подобныхъ знакомствъ съ мѣстными нуждами могутъ оказаться менѣе плодотворными, чѣмъ можно было-бы ожидать. Газета думаетъ, что впечатлѣніе случайныхъ и исключительныхъ фактовъ, обманчивыя, роскошныя декорации, которыя заслоняютъ другіе, болѣе серьезные факты, наконецъ, корыстныя агитаціи въ пользу личныхъ, одностороннихъ интересовъ могутъ быть приняты за насущныя нужды и желанія цѣлыхъ краевъ и цѣлыхъ населеній. Мы не понимаемъ, почему почтенная газета такъ старательно замаскировывала свою мысль, точно ей приходится ходить по раскаленной плитѣ, почему она, имѣющая весьма обширный кругъ читателей и, слѣдовательно, могущая вліять на общественное мнѣніе, отнеслась съ такою робостію къ вопросу, о которомъ, казалось-бы, она могла говорить совершенно смѣло? Поѣздка министра финансовъ—не агитаціонная поѣздка и не составляетъ ни для кого никакого секрета. Почему-же не только „Голосъ“, но и другія газеты, имѣющія повсюду своихъ корреспондентовъ, не нашли возможнымъ говорить о дѣлѣ прямо, открыто и откровенно? Думается, что еслибы „Голосъ“, „Молва“, „Новое Время“—газеты, неоспоримо, вліятельныя, имѣющія возможность собирать свѣденія на мѣстахъ, еслибы подобныя газеты, читаемая, конечно, не одной публикой, но и высшими административными лицами, ставъ во главѣ общихъ интересовъ и пользуясь матеріаломъ, который они могли-бы имѣть, просто и прямо разо-

Значили факты, указали, что они понимают подъ „напоромъ мѣстныхъ корыстныхъ агитацій“ и личныхъ одностороннихъ интересовъ, еслибы они указали на факты и лица, давшіе имъ поводъ говорить такимъ образомъ,—то ясно, что подобная, смѣлая, прямая и открытая рѣчь была-бы достойнѣ печати, увѣряющей, что она стоитъ на-стражѣ общихъ интересовъ, и едва-ли грозила-бы какой-либо опасностью печатнымъ органамъ, говорящимъ такимъ образомъ. Заграничная печать — нѣмецкая, французская, англійская, какая хотите, не станетъ выражаться смазанными фразами въ такихъ вопросахъ, отъ которыхъ зависятъ самые важные, существенные интересы. Тѣ-же газеты вѣдь умѣютъ-же нападать на Биконсфильда или на Бисмарка, умѣли-же говорить во время сербской и турецкой войны, умѣли-же дѣйствовать на общественное мнѣніе, когда имъ казались, что задѣты наши общественные интересы. Въмѣсто подобныхъ прямыхъ отношеній къ поѣздкѣ министра финансовъ, наша печать или ровно ничего о ней не говорила, или же говорила такъ, что изъ этого ровно ничего не выходило. А между тѣмъ поѣздка министра финансовъ—далеко не заурядное явленіе, а, слѣдовательно, она давала печати прекрасный случай высказать, что нужно Россіи, ради ея экономическаго развитія. Вѣдь экономическій вопросъ—для насъ вопросъ всѣхъ вопросовъ.

Когда министръ финансовъ заявилъ о своей поѣздкѣ, въ газетахъ былъ напечатанъ маршрутъ, а затѣмъ пришло извѣстіе, что министръ посѣтилъ Рыбинскъ. Въ этомъ извѣстіи, кромѣ этого факта посѣщенія, не сообщалось ничего. Или министръ не произнесъ въ Рыбинскѣ ни слова? Или въ Рыбинскѣ нѣтъ корреспондентовъ? Нашимъ газетамъ не мѣшало-бы для подобныхъ случаевъ посылать хоть-бы специальныхъ корреспондентовъ; вѣдь такихъ глухонѣмыхъ городовъ, какъ Рыбинскъ, немало въ Россіи. Изъ того, что извѣстно изъ частныхъ извѣстій о пребываніи министра финансовъ въ Рыбинскѣ, нужно заключить, что мѣстные представители экономическихъ нуждъ не стояли на высотѣ своей задачи. Прежде всего они обратили вниманіе на чествованіе, да и чествованіе, какъ говорятъ, не удалось вполнѣ. Рассказываютъ, что на вопросъ министра, водится-ли въ Шекснѣ стерлядь, рыбинскіе представители не могли дать ему удовлетворительнаго отвѣта. Отвѣтъ этотъ дали ему представители Череповца, явившіеся съ хлѣбомъ-солью и съ аршинною шекснинскою стерлядью. Тѣ-же череповскіе представители устроили на своемъ пароходѣ выставку издѣлій череповскаго техническаго училища. Нѣкоторыя вещицы, особенно понравившіяся министру, были предложены ему на память. Вотъ все, что извѣстно о пребываніи министра финансовъ

въ Рыбинскѣ. А промышленныя вужды, а экономическіе интересы? Насколько они были заявлены министру? О нихъ никто и нигдѣ ни слова, точно Рыбинскъ живеть въ такомъ счастливомъ уголкѣ міра, что ему, кромѣ чествованій и народныхъ обѣдовъ, нечего больше и дѣлать. Очень можетъ быть, что извѣстіе, которое мы имѣемъ, нѣсколько односторонне; очень можетъ быть, что рыбинскій городской голова стоялъ на высотѣ своей задачи, что онъ говорилъ краснорѣчиво, убѣдительно и съ знаніемъ дѣла о нуждахъ Рыбинска, о рыбинской торговлѣ, объ отношеніяхъ ея къ народной производительности; но, къ сожалѣнію, ни въ газетахъ намъ не пришлось прочесть о томъ ни слова, ни услышать въ Рыбинскѣ отъ лицъ, принимавшихъ участіе въ чествованіи.

„Голосъ“, напримѣръ, а за нимъ и другія газеты, высказываясь противъ разрѣшенія нашихъ внутреннихъ вопросовъ комисіями, замѣчаютъ, что практическіе люди, — люди опыта, труда, мозолистыхъ рукъ, совсѣмъ уже извѣрились въ наши комисіи и что причиной этого — чиновничество, на которое нельзя негодовать, ибо чиновникъ „созданъ на свѣтъ божій специально для составленія отношеній, представленій и донесеній, что доступная чиновнику форма мышленія ничего другого и создать не можетъ“. Но такъ ли это? Мы вовсе не хотимъ защищать чиновника и форму его мышленія, но полагаемъ, что чиновникъ, какъ и всякій живой человѣкъ, думаетъ по однимъ общимъ законамъ мышленія, а не специально по какимъ-то чиновническимъ законамъ. Все зависитъ отъ матеріала, который будетъ данъ для мышленія. Ну, а какой-же матеріалъ дали рыбинскіе или череповскіе представители, предававшіеся, какъ видно, одному ликующему восторгу? Мы не противъ чествованій, но вѣдь нельзя-же превращать дѣловую поѣздку государственнаго человѣка только въ рядъ триумфовъ, овацій и пышныхъ угощеній! Еслибы министру финансовъ пришлось выбирать между роскошнымъ рыбинскимъ обѣдомъ и умными рѣчами, которыя могъ-бы предложить Рыбинскъ, то, конечно, министръ выбралъ-бы умныя рѣчи, а отъ обѣда отказался. А, впрочемъ, можетъ быть, Рыбинскъ поступилъ и лучше, чѣмъ мы говоримъ? Можетъ быть, и городской голова и городское общество не забыли о своемъ торгово-промышленномъ представительствѣ? Но гдѣ оно заявило объ этомъ гласно? По крайней мѣрѣ, въ газетахъ объ умныхъ рѣчахъ Рыбинска не было сказано ни слова.

О пребываніи министра въ Ярославль и о томъ, какъ въ промышленныхъ и экономическихъ интересахъ воспользовался Ярославль его посѣщеніемъ, извѣстно изъ газетъ не больше. Перепечатанное вездѣ извѣстіе о внезапной смерти протопопа не имѣетъ никакого отношенія къ прямой дѣли поѣздки министра и въ

экономическомъ отношеніи не составляетъ, конечно, никакого вопроса. Относительно-же того, какія умныя рѣчи сказалъ Ярославль, о какихъ онъ заявлялъ пуждахъ, изъ газетъ ровно ничего неизвѣстно. Слѣдуетъ-ли извѣщеніе это приписывать ярославскимъ корреспондентамъ, для которыхъ внезапная смерть ярославскаго протопопа казалась событіемъ болѣе важнымъ, чѣмъ экономическія судьбы Россіи, или-же Ярославль не произнесъ ни одного слова съ экономическимъ смысломъ,—рѣшить трудно: корреспонденты молчали.

Изъ Ярославля министръ проѣхалъ въ Нижній Новгородъ, и телеграфъ 14-го августа передалъ слѣдующее извѣстіе: „Вчера въ своихъ апартаментахъ министръ финансовъ принималъ представителей городской думы, чиновниковъ и биржевой армарочный комитетъ; сегодня—группу мануфактуристовъ; потомъ въ главномъ армарочномъ домѣ министру представлялось армарочное купечество, раздѣленное на четырнадцать группъ. Министръ пожалъ каждому руку, принялъ нѣсколько докладныхъ записокъ о сложениіи пошлины съ соли и сказалъ. „Я буду считать самымъ счастливымъ днемъ день отмѣны пошлины съ соли“. Генералъ-губернаторъ передалъ министру записку пароходо-владѣльцевъ объ устройствѣ портовъ на Мещерскомъ озерѣ. Затѣмъ министръ осматривалъ сибирскую пристань и другія мѣста армарки. Торговцы табачнаго ряда учредили въ нижегородской гимназіи стипендію графа Игнатъева. Завтра пріѣдетъ сюда болгарская депутація“. Конечно, корреспондентъ имѣлъ полное право телеграфировать обо всемъ, что ему казалось интереснымъ, и свалить въ одну кучу и сибирскую пристань, и болгарскую депутацію, и нижегородскую гимназію; но тѣмъ не менѣе не совсѣмъ ясно, почему извѣстія о томъ, что торговцы табачнаго ряда учредили стипендію, или о томъ, что завтра пріѣдетъ болгарская депутація, потребовали быстрого оглашенія по телеграфу, точно иначе случится землетрясеніе?

Во второй телеграмѣ говорилось, что 15-го августа министръ финансовъ присутствовалъ на большомъ обѣдѣ, данномъ въ коммерческомъ клубѣ. Провозглашая тость за процвѣтаніе армарки, министръ сказалъ: „Я многого ожидалъ, но то, что я видѣлъ и вижу, превосходитъ всякія ожиданія. Здѣсь, на Волгѣ, и по всему Приволжью, смотря на населеніе, бойко и весело работающее, видя кипучую дѣятельность фабрикъ и заводовъ, глядя на цвѣтушую торговлю, мнѣ остается только обратиться къ вамъ со слѣдующею просьбою: продолжайте работать, производить, торговать! Работайте, производите, торгуйте въ мирѣ и спокойствіи! Не вѣрьте тревожнымъ слухамъ! Изъ того, что я видѣлъ и вижу,

я выношу убѣжденіе, что ни производительное, ни торговое развитіе Россіи не остановится, что оно постоянно будетъ прогрессировать“. Корреспондентъ сообщаетъ, что слова министра произвели сильное впечатлѣніе, что они передавались на ярмаркѣ изъ устъ въ уста и комментировались на всѣ лады. Но почему-же эти слова произвели сильное впечатлѣніе? Почему они такъ поспѣшно передавались и комментировались? Почему нижегородцы вѣрили какимъ-то тревожнымъ слухамъ, чего они боялись и почему министру финансовъ потребовалось произнести успокоительную рѣчь? Такъ эти вопросы и остались безъотвѣтными.

Въ другой телеграммѣ изъ того-же Нижняго Новгорода и по поводу того-же обѣда сообщается, что предсѣдатель биржевого комитета, Мошнинъ, излилъ свои мысли въ слѣдующей цвѣтистой рѣчи: „Сердце вашего высокопревосходительства, — сказалъ Мошнинъ,—одинаково лежитъ какъ къ народной промышленности, такъ и къ торговлѣ. Благодаря неусыпной заботливости министра, благоденствуютъ массы народа всего торговаго сословія“. Вѣроятно, передававшій телеграмму телеграфистъ тутъ что-нибудь перепуталъ. Если-же г. Мошнинъ ничего другого и не хотѣлъ сказать, то ужъ лучше-бы и не говорилъ, а уступилъ свое мѣсто болѣе содержательному Демосфену. Выслушавъ изліяніе чувствъ, министръ поблагодарилъ за нихъ и при этомъ весьма тонко замѣтилъ, что хотя онъ и не имѣетъ повода сомнѣваться въ ихъ искренности, но не можетъ не сказать, что онъ еще не успѣлъ ихъ заслужить, и потому все то, что говорилъ Мошнинъ о его сердцѣ, онъ относитъ только къ радушію и гостепрѣимству нижегородскаго купеческаго населенія. Вообще, какъ видно, министру были нужны не сердечныя изліянія; ему хотѣлось слышать не фразы, вродѣ тѣхъ, которыми такъ щедро сыпалъ Мошнинъ, съ мужествомъ, заслуживающимъ лучшей участи. Министръ, конечно, зналъ лучше г. Мошнина, благоденствуютъ-ли „массы народа всего торговаго сословія“ или не благоденствуютъ, и если въ тостѣ за процвѣтаніе ярмарки просилъ купцовъ не вѣрить тревожнымъ слухамъ и приглашалъ ихъ продолжать работать, производить, торговать, то, конечно, только потому, что не былъ одного мнѣнія съ ораторомъ. Министру было нужно не славословіе, не изліяніе чувствъ, а ему хотѣлось услышать дѣло и узнать дѣло. Онъ прямо сказалъ, что сначала хотѣлъ отказаться отъ обѣда, а если его и принялъ, то только потому, что на Руси отъ хлѣба-соли не отказываются. „Я предпринялъ путешествіе съ цѣлью ознакомленія, сказалъ министръ.—Прѣхалъ на ярмарку, бесѣдовалъ съ купечествомъ и пришелъ къ самымъ благопріятнымъ заключеніямъ“. Ясно, что встрѣчи должны были имѣть нѣсколько иное содержаніе, а не заключаться въ однихъ

словоизліяніяхъ и сердечныхъ восторгахъ, отъ которыхъ министр даже уклонился. Но ужъ такова наша русская привычка, что безъ аршинной стерляди и пудоваго осегра мы не можемъ говорить ни слова, а если и заговоримъ, то о сердцѣ, любви, надеждахъ, упованіяхъ, радостяхъ и безпредѣльной признательности и благодарности. „Вѣра въ будущее растетъ у всѣхъ. Вчера на биржѣ совершилось объединеніе между промышленностью и министромъ финансовъ“, произноситъ одинъ Демосфень. А откуда эта вѣра на чемъ она основана, какое и въ чемъ случилось объединеніе,— Демосфень умалчиваетъ, потому, конечно, что и самъ ничего не знаетъ. Всѣ мѣстные Демосфены точно задались миссіею говорить пріятности. Всѣмъ хотѣлось показать радушіе, вниманіе, гостепримство. Министръ, понявъ, что въ такомъ радушномъ обществѣ и ему нужно говорить пріятности, послѣ тоста за его здоровье отвѣтилъ: „между недостатками русскаго человѣка, ему не присущъ недостатокъ неблагодарности; исполненный чувства благодарности за душевный пріемъ, кланяюсь я вамъ. Дай Богъ заслужить мнѣ его въ будущемъ. Съ этимъ-же чувствомъ благодарности обращаюсь къ распорядителямъ обѣда и къ обществу нижегородскому. Я былъ гостемъ согражданъ Козьмы Минина. Благодарю купечество, городское общество и всѣхъ гражданъ Нижняго-Новгорода. Ура!“ Послѣ „Козьмы Минина“ раздалось громогласное „браво“, а затѣмъ общій восторгъ вылился въ нескончаемомъ „ура!“

Напечатанная въ „Нижегородскомъ биржевомъ листѣ“ рѣчь г. Мошнина, конечно, прошедшая черезъ его редакцію, нисколько не измѣняетъ того, что было уже извѣстно о демосфеновскомъ талантѣ предсѣдателя нижегородскаго биржевого комитета. Въ рѣчи Демосфена-предсѣдателя, какъ яркія звѣзды краснорѣчія, выдаются и блестятъ только фразы: „рѣдкая честь“, „чувство высокаго восторга“, „сердце“. Наконецъ, г. Мошнинъ въ восторгѣ увлеченія доходитъ до такого грандіознаго обобщенія, что, испросивъ себѣ разрѣшеніе „вольнѣе выразиться“, сказалъ, будто вся Россія смотритъ на пребываніе министра въ Нижнемъ Новгородѣ съ тѣми-же чувствами высокаго восторга, какъ и нижегородскіе купцы. Корреспондентъ „Молвы“ совершенно справедливо замѣтилъ, что рѣчь Мошнина слѣдуетъ сохранить для потомства. Она, конечно, не богата красками, но тѣ, которыя ораторъ наложилъ, онъ наложилъ щедро и густо. Онъ паритъ духомъ и умиляется. Онъ приходитъ въ восхищеніе отъ благоденствія и процвѣтанія, не знаетъ, какъ справиться ему съ избыткомъ внутренняго довольства; „смакуя медъ элоквенціи на сдобныхъ устахъ своихъ“, онъ приходитъ въ умиленіе отъ процвѣтанія нижегородской торговли и всероссійской промышленности. Рѣчь свою г. Мошнинъ произнесъ 15-го августа, а въ

одной нижегородской корреспонденці отъ 9-го августа мы читаемъ: „вотъ уже 9 число, а ярмарка какъ-будто-бы еще не началась, какъ слѣдуетъ. Торговля, разумѣется, идетъ, но все какъ-то вяло, не по-ярмарочному; нѣкоторые сорта товаровъ совсѣмъ не находятъ сбыта. Особенная неудача выпала на долю азіятскаго хлопка, въ громадномъ количествѣ привезеннаго бухарскими и персидскими торговцами; этотъ товаръ до сихъ поръ лежитъ почти нетронутымъ. Больше другихъ товаровъ идетъ керосинъ, отправляемый на пароходахъ и на мелкихъ судахъ преимущественно въ Рыбинскъ“. Почему-же г. Мошнинъ не коснулся ни одной изъ дѣйствительныхъ нуждъ промышленности и торговли и не нашелъ у себя ничего, кромѣ розовой краски для выраженія преисполнявшихъ его нѣжныхъ чувствъ?

Говорятъ, что купечество, бывшее на нижегородской ярмаркѣ, представило министру нѣсколько записокъ, что только въ этихъ запискахъ и было дѣло, а застольнымъ ораторамъ была уступлена декоративная часть. Такъ, чайные торговцы просили усилить на китайской границѣ кордонную стражу, чтобы прекратить контрабанду кантонскимъ чаемъ. Сибиряки просили о скорѣйшемъ осуществленіи сибирской желѣзной дороги, о дозволеніи казеннымъ палатамъ принимать отъ каждаго лица просроченные купоны серій. Желѣзнодорожники ходатайствовали о дозволеніи принимать въ залогъ металлическія ассигновки заводовъ въ иркутской таможнѣ и въ отдѣленіи государственнаго банка съ отсрочкой пошлины. Водочные заводчики Нижняго Новгорода просили объ отменѣ существующаго порядка опечатыванія заводовъ акцизными чиновниками въ ночное время. Наконецъ, была подана записка о сложеніи пошлины на соль. Нельзя сказать, чтобы эти записки касались общихъ интересовъ торговли и промышленности, за исключеніемъ лишь вопроса о соли. Какъ видно, для представительства общихъ интересовъ на нижегородской ярмаркѣ такъ-же не нашлось ни одного человѣка, какъ не нашлось его ни въ Рыбинскѣ ни въ Ярославлѣ, ни въ Иваново-Вознесенскѣ. А казалось, у купцовъ было довольно времени, чтобы подумать, что говорить, и собрать необходимый матеріалъ. Поѣздка министра не была секретомъ. Объ ней было извѣстно много ранѣе. Но, увы, Демосфены думали только о цвѣтахъ краснорѣчія и забыли, что афинскій Демосфень сталъ знаменитъ только потому, что всегда зналъ, что онъ хочетъ говорить, и убѣждалъ не цвѣтами краснорѣчія, а фактами и знаніями. Еслибы министру были извѣстны всѣ нужды и затрудненія нашей торговли и промышленности такъ-же хорошо, какъ ихъ должны были знать наши купцы и промышленники, онъ, конечно, не выѣхалъ-бы изъ Петербурга. Вѣдь не

для личнаго-же знакомства съ промышленниками поѣхалъ министръ и не для того, чтобы собирать букеты русскаго купческаго краснорѣчія.

И въ Иваново-Вознесенскѣ, гдѣ, впрочемъ, министръ былъ раньше Нижняго, повторилось все то-же. Изъ очень скудныхъ корреспонденцій извѣстно, что проѣздомъ въ Кинешму, Шую и Иваново-Вознесенскъ министръ посѣтилъ Кострому, гдѣ обратилъ особенное вниманіе на чугунно-литейный заводъ Шипова и К^о и на льнопрядильную фабрику Зотова. Заводъ Шипова, какъ извѣстно, потерпѣлъ банкротство, и, какъ говорятъ, министръ обѣщаль 500,000 руб. для его поддержки. Съ Зотовымъ министръ „имѣлъ долгій разговоръ по фабричному дѣлу и остался доволенъ“. Вотъ и все, что извѣстно изъ корреспонденцій о посѣщеніи министромъ Костромы. Конечно, разговоръ министра не былъ секретомъ и то, что онъ говорилъ съ Зотовымъ и Шиповымъ, а въ особенности то, что говорили ему Шиповъ и Зотовъ, не составляетъ, конечно, государственной тайны. Корреспонденты старались только воспроизводить во всѣхъ подробностяхъ рѣчи министра, тогда какъ большее значеніе и большую важность имѣеть то, что доводили до свѣденія министра наши промышленники и комерсанты. Видѣ застольныхъ чествованій купцы ужь, разумѣется, не особенно хлопотали о цвѣтахъ краснорѣчія, а обращались съ тѣми или другими просьбами. Вотъ эти-то просьбы и представляютъ главный интересъ. Мы, слава Богу, не особенно избалованы умственнымъ развитіемъ нашего купечества и очень хорошо знаемъ, какъ живетъ шуйскимъ рабочимъ, павловскимъ кустарямъ, бурлакамъ на водныхъ системахъ, и какими общими торгово-промышленными принципами руководствуется наше купечество. Напримѣръ, бакинскіе промышленники ходатайствовали тоже о какихъ-то своихъ нуждахъ, по вѣдь очень хорошо извѣстно, что, несмотря на всѣ льготы, которыя имъ давались, они не особенно воспользовались ими, чтобы нашъ керосинъ не уступалъ американскому. Можетъ-ли наша промышленность и комерція утверждать, что она ведетъ свои дѣла чисто, что она создала къ себѣ довѣріе и внутри Россіи, и за границей, что она располагаетъ людьми знающими, что она владѣеть способными управителями и что если она терпитъ, то будто-бы исключительно отъ вѣшнихъ помѣхъ, отъ недостатка къ ней вниманія, а не отъ собственныхъ прорѣхъ и повсюднаго недомыслія? Гдѣ ея сплоченность и внутренняя сила? Есть-ли у ней англійская или американская предприимчивость, французская изобрѣтательность и находчивость, нѣмецкая выдержка и постоянство? Младенчествуя и не довѣряя себѣ, она не думаетъ о томъ, чтобы создать себѣ внутреннюю силу посред-

ствомъ развитія въ людяхъ своего дѣла знаній и способностей, а ищетъ только покровительства, милостей, охраны и вѣчно поетъ жалобную пѣснь. Совершенно въ такомъ-же добровольно-угнетенномъ видѣ явилась наша промышленность въ лицѣ своихъ представителей и нынче. Чествуя министра и испрашивая льготъ, покровительства и вниманія, она умалчивала, на какую ногу хромаетъ и какую радикальную микстуру нужно-бы ей принять, чтобы выздоровѣть. Ну, конечно, внутренняя экономическая политика имѣетъ для промышленности и торговли очень важное значеніе, и министръ финансовъ—достаточно сильное лицо, чтобы не устремить на него взоромъ упованія. Съ этой точки зрѣнія становится понятнымъ, почему рѣчамъ министра финансовъ корреспонденты придавали большую важность; но вѣдь центръ тяжести лежалъ во всякомъ случаѣ не въ рѣчахъ министра, а въ томъ, что говорили и что должны были говорить представители купечества.

Еще прискорбнѣе, что и столичная печать, которая имѣетъ всѣ возможности смотрѣть на дѣло нѣсколько шире и разсуждать о немъ правильнѣе, чѣмъ нижегородскіе купцы, не только не позаботилась имѣть подробныя и точныя свѣденія съ мѣстъ, но и не посвятила повѣздкѣ министра финансовъ ни одной серьезной статьи. Въ „Молвѣ“, хотя огрывочно, попадаютъ наиболѣе дѣльныя указанія. Въ Иваново-Вознесенскѣ фабрикантамъ и представителямъ администраціи министръ высказалъ свое удовольствіе, съ какимъ онъ вслушивался въ шумъ веретенъ и стукъ твацкихъ станковъ, съ какимъ онъ видѣлъ кипучую дѣятельность и слышалъ разумныя рѣчи. Въ заключеніе онъ пожелалъ Вознесенску блестящей будущности и чтобы настоящій англійскій Манчестеръ походилъ-бы на русскій Иваново-Вознесенскъ. Въ чемъ заключались разумныя рѣчи ивановцевъ,—осталось непроницаемою тайной, но сомнительно, чтобы проницательность ивановцевъ могла выяснить серьезныя основанія, которыя, при нынѣшнихъ условіяхъ иваново-вознесенскаго производства, ужь никакъ не создадутъ изъ него образца для Манчестера. Конечно, желательно, чтобы Иваново перещеголяло Манчестеръ, но, по справедливому замѣчанію „Молвы“, такой карьерѣ помѣшаетъ одно весьма существенное препятствіе. Въ Иваново-Вознесенскѣ нѣтъ каменнаго угля, а дрова, которыми производится теперь топка паровыхъ котловъ, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе дорожаютъ. „Фабрикантамъ Иваново-Вознесенска и его фабричному населенію, говорить „Молва“,—можно было-бы пожелать съ большой надеждою на успѣхъ пустить отъ себя филиальныя отростки въ мѣстности, изобилующія каменнымъ углемъ. Замѣчаніе остроумное, но не во всемъ справедливое. Едва-ли отъ кого-нибудь секретъ, что „Молва“, выска-

зываясь противъ свободно-торговыхъ доктринъ, имѣть въ виду, конечно, не общіе промышленные интересы Россіи и выражаетъ худо скрытую симпатію къ желѣзно-заводской промышленности. Также сомнительно, чтобы сами иваново-вознесенцы догадались пустить филиальные отростки въ мѣстности, изобилующія каменнымъ углемъ; но вѣрно, что наша внутренняя промышленная политика не имѣла до сихъ поръ твердыхъ устоевъ и не выработала стойкой системы, дѣйствующей неуклонно въ одномъ направленіи. Трудно сказать, кого слѣдуетъ винить въ этомъ, министерство-ли финансовъ или-же нашихъ представителей промышленности и торговли, которые нерѣдко еще меньше знаютъ, что имъ нужно. Твердая система не зависитъ исключительно отъ однихъ правительственныхъ органовъ. Никакое правительство не въ состояніи создать ни рынковъ, ни прочныхъ промышленныхъ производствъ, ни промышленныхъ стремленій и промышленныхъ способностей, если для нихъ не существуетъ средствъ въ силахъ самой страны. Конечно, ошибочная система, созданная правительствомъ, можетъ задержать движеніе, но чтобы создалось что-нибудь прочное, цѣльное и всеобщее, требуется прежде всего, чтобы сама промышленность знала, чего она хочетъ, выработала себѣ органическія основы, завела сношенія и создала себѣ опредѣленныя цѣли. Вѣдь Москвѣ никто не помогалъ, никто не помогалъ и Иваново-Вознесенску, а между тѣмъ „матушка“, несмотря на то, что Петербургу доставались всевозможныя льготы, создала изъ себя самостоятельный промышленный центръ и, несмотря на всякое къ ней невниманіе, растетъ, торгуетъ, промышленяетъ и остается, по-прежнему, сердцемъ Россіи.

Какую-же сознательную систему подготовила наша промышленность и наши коммерческіе люди? Какія желанія выразили они въ рѣчахъ своихъ министру финансовъ? Печати извѣстны только три желанія: сложеніе соляного налога, устройство большой сибирской дороги и устройство бакинской дороги. Изъ этихъ трехъ желаній ни одно не уясняетъ общихъ основъ промышленности и общихъ ея тенденцій, а исполненіе просьбъ удовлетворило-бы только частнымъ желаніямъ и частнымъ интересамъ. Конечно, и удовлетвореніе частныхъ просьбъ создало-бы какіе-нибудь общіе результаты, но вѣдь не о нихъ думало купечество, когда заявило свои три желанія. Напримѣръ, объ отѣнѣ налога на соль купечество просило, конечно, не потому, чтобы искренно думало о химическихъ заводчикахъ, которымъ нужна соль для многихъ производствъ, и не потому, чтобы думало о развитіи скотоводства и земледѣлія, а потому, что есть дешевые сорта рыбы, назначаемые для народнаго употребленія, которые при дорогой соли не-

выгодно солить крѣпко. Конечно, исполняя желаніе рыборотговцевъ и ради ихъ отмѣнивъ налогъ на соль, министерство финансовъ окажетъ главную услугу сельскому хозяйству и скотоводству. Точно также не имѣли въ виду общихъ интересовъ и бакинскіе промышленники, желавшіе устройствомъ бакинской дороги открыть возможность сбыта въ Европу нефтяныхъ продуктовъ. Бакинскіе нефтяные производители не могутъ устроить себѣ прочныхъ рынковъ даже въ Россіи, а мечтаютъ уже о Европѣ. Весьма вѣроятно, что Европа, если бакинцы попадутъ въ нее, заставитъ ихъ получать продукты лучшаго качества, такъ что окажется неизбѣжнымъ работать хорошо и добросовѣстно, ради собственныхъ интересовъ. Но неужели нельзя достигнуть добросовѣстности и искусства безъ желѣзной дороги? Очевидно, что наши купцы смѣшали слѣдствіе съ причиной и сваливаютъ свою ошибку съ больной головы на здоровую. Относительно сибирской желѣзной дороги или болѣе строгаго надзора на китайской границѣ за контрабандой, купцы поступили точно также. Наши чайныя сношенія съ Китаемъ продолжаютъ 300 лѣтъ, и чѣмъ-же это кончилось? Англичане вытѣснили насъ кантонскими чаями, забрали въ свои руки чайную торговлю, а мы остались не причемъ, какъ остались не причемъ съ хлѣбной торговлей, уступивъ американцамъ честь быть житницей Европы.

Купецъ и торговецъ, уже по существу своего дѣла, ищетъ устраненія конкуренціи. Система, въ основѣ которой лежитъ запретительность или охраненіе, будетъ для него самой желательной системой. Ему нужны такіе порядки, при которыхъ толь или другой рынокъ принадлежалъ-бы ему безраздѣльно, и отъ него одного зависѣло-бы установленіе цѣнъ. Поэтому каждый коммерческій народъ, какъ, напр., англичане, стремится къ исключительному захвату рынковъ и вытѣсняетъ всякаго, кого ему удастся. Конечно, представители купечества были очень ободрены словами министра финансовъ, сказавшаго, что онъ до сихъ поръ былъ только государственнымъ казначеемъ, теперь-же ему выпала пріятная и трудная задача быть министромъ торговли. Но вообще министръ былъ остороженъ въ словахъ и не далъ возможности понять характеръ програмы, которой онъ будетъ держаться. Купеческіе торговые интересы—не всегда интересы производителя, и въ доказательство этого мы можемъ сослаться на положеніе нашей кустарной промышленности, которая нисколько не подвигается впередъ только потому, что она вполне зависитъ отъ купцовъ. Купецъ устанавливаетъ цѣну, купецъ даетъ деньги, даетъ матеріалъ, а кустарь все-таки по-прежнему живетъ впроголодь, и объ его интересахъ не позаботился до сихъ поръ ни одинъ предста-

витель коммерціи, торговли. Министру финансовъ, конечно, и не оставалось ничего другого, какъ сказать то, что онъ сказалъ; но то, что онъ сказалъ, можетъ быть лишь частью его программы, а не всей его программой, и если онъ умолчалъ о второй ея половинѣ, то, конечно, не потому, что ему не было ясно, что глубже и дальше торговаго интереса лежитъ интересъ основного производителя и что купецъ не больше, какъ посредникъ очень необходимый и важный, но отъ котораго каждый желалъ-бы освободиться. У насъ больше, чѣмъ гдѣ-либо, задача министра финансовъ заключается въ поощреніи интересовъ народной промышленности и въ поощреніи производителя, а не купца. Нѣмцы, французы, англичане настолько развили свои средства и промышленныя способности, производитель обставленъ у нихъ настолько обезпечивающими его учрежденіями, что министру финансовъ остается быть почти только государственнымъ казначеемъ. У насъ-же на министра финансовъ приходится возлагать большія надежды. Интересы перваго производителя до сихъ поръ защищались у насъ чисто-административными вѣдомствами — министерствомъ государственныхъ имуществъ и министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, да выяснялись трудами частныхъ лицъ или комисій, вродѣ дѣйствующей теперь комисіи для изслѣдованія кустарной промышленности. Что-же касается до центральнаго правительственнаго органа, то такого въ прямыхъ интересахъ перваго производителя у насъ не существовало. И вотъ почему, когда, послѣ изслѣдованій послѣднихъ двадцати лѣтъ, общественному сознанію стало совершенно ясно, насколько важны для общаго благосостоянія интересы перваго производителя, а не посредники или купцы, предпринятая министромъ финансовъ поѣздка по Россіи возбудила столько ожиданій и надеждъ. Если извѣстія, полученныя изъ мѣстъ, посѣщенныхъ министромъ финансовъ, не дали ровно никакого матеріала для сужденія о томъ, насколько общія ожиданія оправдываются; если въ интересахъ общей производительности Россіи печать не высказала ни слова; если, наконецъ, отвѣчая на привѣтствіе купцовъ, министръ финансовъ высказалъ только половину своей программы,—то изъ другихъ его словъ и изъ бесѣдъ съ заводчиками и фабрикантами есть основаніе заключить, что самую силу вещей новому министру финансовъ не окажется возможности сохранить свою дѣятельность въ строгихъ предѣлахъ государственнаго казначея или министра торговли, и онъ станетъ министромъ промышленности — не одной только заводской или фабричной, но и той, главными представителями которой являются кустарь и земледѣлецъ.

КАРТИНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Отраженіе сверху вниз.—„Откровенное“ направленіе въ захоластьѣ. — Извѣщенія обывателей.—Отъ собственнаго корреспондента.—Обвиненіе по поводу произнесенія слова „телефонъ“. — Приключеніе внодѣла г. Саломана на Кавказѣ.—„Свободные приемы“ европейца.—Дѣло Бостанжогло. — Неприкосновенность домашняго очага.—Дѣло слесаря Прокудина. — Лекція ищоваго судьи.—Истязаніе „учениковъ“ мастерами. — Эпопея изъ русской жизни.—25 лѣтъ въ тюрьмахъ!—Нѣчто о земствѣ.—Исторія съ ремесленнымъ училищемъ въ екатеринославской губерніи.—Помѣщичья недовѣрка.—„Медикаменты уфимскаго земства“.—Пасквиль „Новаго Времени“.—Открытіе Александровскаго моста.

Примѣры необыкновенно блестящей распродажи и по баснословно-дешевымъ цѣнамъ послѣднихъ остатковъ стыдливости, примѣры артистически-безцеремоннаго залѣзанія въ чужую душу за отысканіемъ неблагонамѣренности, примѣры неуставнаго обвиненія всѣхъ (кромѣ авторовъ обвиненія) въ дурномъ поведеніи, указанные за недавнее время воинствующей частью прессы, могли-ли остаться единственными въ своемъ родѣ?

Нѣтъ. Подражателей явилось болѣе, чѣмъ достаточно, и въ провинціальной прессѣ, и въ самой жизни. Примѣръ заразителенъ. Для всѣхъ, недорвавшихся по какимъ-нибудь обстоятельствамъ до пирога съ начинкой, для всѣхъ, жаждавшихъ мести, изыскивавшихъ случая наверстать потерянное, слишкомъ соблазнителенъ показался примѣръ, данный литературой. Когда еще придетъ подобная минута? Надо пользоваться.

Лови, лови часы любви!

Съ быстротою желѣзныхъ дорогъ понеслась новая мода изъ столицъ въ провинцію, заглянула въ дальніе глухіе углы, болота и болотцы. Заколыхались болота и болотцы.

Читая, какъ публицисты ежедневно доказываютъ, что таково-то и

такого-то слѣдовало-бы за ушко, да на солнышко, мало совѣстливый гражданинъ захоlustья возликовалъ. Понимая прочитываемое буквально, возмнилъ онъ, что въ самомъ дѣлѣ для него настала „золотой вѣкъ Августа“, что теперь пришла пора „сосчитаться“ по интимнымъ счетамъ, пришла пора напакостить ближнему, приспѣло времечко вырвать изъ-подъ носа оторопѣвшаго сосѣда кусъ; стоитъ только заняться, какъ слѣдуетъ, внутренней политикой и о результатахъ сообщить исправнику, и не то, чтобы сообщить, какъ-бы стыдяся, съ таинственнымъ видомъ, а, напротивъ, сообщить съ такимъ яснымъ взоромъ и въ такой категорической формѣ, чтобы самъ исправникъ стыдливо опустилъ глаза, выслушивая расходившагося обывателя.

Въ дальнихъ глухихъ углахъ появилось нѣчто траги-комическое, нѣчто такое нелѣпое, что приводитъ въ недоумѣніе нелѣпостью само начальство. Захолустье, очевидно, пересолило. Предпишетъ столица носить шлейфы, такъ захоlustье отпустить шлейфъ въ двѣ версты; предпишетъ короткія платья,— захоlustье оголито ноги. То-же случилось и съ моднымъ направленіемъ, рекомендованнымъ газетной прессой.

„Ужь если нынче печатно обвиняють другъ друга въ измѣнѣ, чего-жь я буду смотрѣть? Давненько добираюсь я до Ивана Ивановича!

„Если почтенный редакторъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ запускаетъ пальцы въ душу товарища,— дуракъ я, что-ли?.. Запущу и я пятерню!

„Если столичные „амикусы“ не зѣваютъ, — стану-ли я зѣвать? Слава Богу, и мы не лыкомъ шиты!“

И пошла писать губернія.

„До моего свѣденія дошло. что отставной поручикъ, мировой судья Сидоровъ, такого-то числа отозвался о „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ не съ должнымъ уваженіемъ и вообще отличается крайне подозрительнымъ образомъ мыслей, въ церковь не ходитъ и держать при взрослыхъ дочеряхъ экономку, съ которой и состоитъ въ невольнительной связи.

„А потому, по долгу честнаго человѣка и патріота своего отечества, доводя о семъ до свѣденія вашего высокородія, имѣю честь настоятельно просить васъ оградить край нашъ отъ такихъ элементовъ и немедленно принять соответствующія мѣры. О послѣдующемъ не оставьте увѣдомить, дабы, въ случаѣ непріятія съ вашей стороны мѣръ, я не упустилъ-бы сообщить въ „Московскія Вѣдомости“ для опубликованія, что голосъ честныхъ людей остается втунѣ. Отставной титулярный совѣтникъ, Иванъ Ивановъ.“

— Которое ужь это извѣщеніе? вздыхаетъ исправникъ, прочи-

тывая письмо.—О, Господи, еслибъ не жена да не дѣти! Тоже, я вамъ скажу, и наше положеніе!

Онъ давно знаетъ мирового судью г. Сидорова, отлично знаетъ и его благонамѣренный образъ мыслей, и его прижимистую игру въ преферансъ, и превосходную наливку, которою его угощаютъ у г. Сидорова, а все-таки заворачиваетъ къ г. Сидорову и добродушно говорить:

— Ужь вы осторожнѣй, пожалуйста! Посмотрите, что на васъ Ивановъ настрочилъ.

Г. Сидоровъ прочитываетъ и самъ не знаетъ, почему вдругъ чувствуетъ, какъ мурашки бѣгаютъ по спинѣ.

— Ахъ, мерзавецъ! выговариваетъ, наконецъ, онъ. — Знаете ли, за что онъ сочинилъ это письмецо?

— За что?

— Онъ у меня въ участкѣ. Не далѣе, какъ на-дняхъ, судился за неплатежъ денегъ, и я выдалъ истцу на него исполнительный листъ.

— А вы, батюшка, все-таки осторожнѣй!

— Кажется, я слава Богу... Знаете меня пятнадцать лѣтъ.

— Такъ-то такъ, а все-таки осторожнѣй!

Послѣ партіи въ винтъ,—(что другое, а партнеры въ захоласть мигомъ отыщутся),—побесѣдовали по-пріятельски о внѣшней политикѣ (внутренняя уже стала всѣмъ поперекъ горла), одобрили дѣйствія Гамбеты и сказали нѣсколько колкостей на-счетъ Бисмарка, закусили, выпили и разѣхались.

Прошла недѣля, другая, какъ вдругъ исправникъ получаетъ отъ своего пріятеля изъ Москвы письмо съ вырѣзкой изъ „Московскихъ Вѣдомостей“, обчеркнутой краснымъ карандашомъ.

Предчувствуя недоброе и побаиваясь „Московскихъ Вѣдомостей“, „жертва своего положенія“ крестится. наскоро пробѣгаетъ письмо пріятеля и читаетъ напечатанную корреспонденцію изъ „Таракани“ („отъ собственнаго нашего корреспондента“) слѣдующаго содержанія:

„Болишь сердце русскаго человѣка, скорбитъ душа за благо возлюбленной родины, видя, какъ въ нашемъ уѣздѣ, прежде спокойномъ и консервативномъ, въ лучшемъ значеніи этого слова, растетъ гидра зла и грозитъ общимъ распространеніемъ. Еще грустнѣе то обстоятельство, что правительственные агенты, вмѣсто того, чтобы всѣми силами противодѣйствовать злу, потворствуютъ ему и, судя по ихъ дѣйствіямъ, можно думать, поощряютъ его непонятнымъ бездѣйствіемъ и, пожалуй, тайнымъ сочувствіемъ. Чего-же ждать, спрашиваемъ мы, если лица, облеченныя довѣріемъ правительства, становятся въ ряды враговъ отечества и,

прикрываясь мундиромъ, рокутъ яму тѣми самыми руками, коими получаютъ изъ государственнаго казначейства деньги?

„И вотъ тому доказательство.

„Мировой судья С., человекъ, издавна извѣстный въ уѣздѣ своей неблагонамѣренностью, развратнымъ поведеніемъ, потворствующій крестьянамъ, судившійся пять лѣтъ тому назадъ по подозрѣнію въ противозаконныхъ сношеніяхъ съ Гамбетой, съ цѣлью всесвѣтной революціи, но по суду оправданный, мѣсяць тому назадъ въ камерѣ суда во всеуслышаніе хвалился, что находится въ перепискѣ съ господиномъ Луи-Бланомъ, и публично собиралъ деньги, какъ-будто съ благотворительной цѣлью, а въ дѣйствительности для приращенія двухъ-миліоннаго заграничнаго русскаго фонда, находящагося на храненіи, какъ недавно сообщалъ г. Apicis, въ англійскомъ государственномъ банкѣ.

„Казалось-бы, что такой господинъ, на глазахъ у всѣхъ позорящій званіе мирового судьи, нестѣсняющійся глумиться надъ отечественными учрежденіями и открыто неодобряющій классическое образованіе, повторяя неоднократно, что оно выдуманно для того, чтобы отстранить бѣдныхъ отъ всякаго образованія, казалось-бы, говорю я, подобное лицо должно было-бы обратить на себя вниманіе правительственнаго агента, тѣмъ болѣе, что мировой судья въ маленькомъ городкѣ, каковъ нашъ „Тараканъ“, играетъ значительную роль. Но къ общему удивленію всѣхъ честныхъ людей, г. исправникъ не только не обратилъ вниманія на сдѣланное ему однимъ изъ уважаемыхъ нашихъ согражданъ по сему случаю предупрежденіе, но, къ общему соблазну, водить дружбу съ крамольникомъ, все время проводитъ у него, играя въ карты и слишкомъ неумѣренно занимаясь наливкой. Мало этого. Нѣсколько недѣль тому назадъ онъ, вмѣстѣ съ означеннымъ мировымъ судьей, при стеченіи публики, пѣлъ марсельезу и кричалъ: „да здравствуетъ Гамбета!“ и въ заключеніе позора, несмотря на сѣдины и семидесятилѣтній возрастъ, въ нетрезвомъ видѣ, обнявшись съ экономкой мирового судьи С., — экономкой на правахъ жены (на этотъ счетъ г. судья держится самыхъ модныхъ взглядовъ), — отплясывалъ англійскую джигу, хвалясь, что англичане ему, исправнику, очень близкіе люди.

„По долгу и чести позволительно спросить: куда мы идемъ, что происходитъ вокругъ насъ и не пора-ли снова напомнить слова, сказанныя недавно въ уважаемой вашей газетѣ: „время не терпитъ; крамола растетъ; надо подумать о бѣдной Россіи!“

Подписано:

„Скорбящій патріотъ“.

Исправникъ прочелъ корреспонденцію разъ, прочелъ два и не вѣрилъ своимъ глазамъ.

Однако, пришлось повѣрить и немедленно отписать, что никогда онъ джиги не танцовалъ, „да здравствуетъ Гамбета“ не кричалъ и что мировой судья ни въ одномъ изъ обвиненій, упомянутыхъ въ корреспонденціи, неповиненъ...

Затѣялась переписка.

Титулярный совѣтникъ Ивановъ не унимался и грозилъ-было новой корреспонденціей, еслибъ, въ свою очередь, отставной юнкеръ Васильевъ (спасибо надумили добрые люди) не подалъ извѣщенія на самого титулярнаго совѣтника Иванова, въ коемъ обвинялъ Иванова:

- 1) въ оскорбленіи на словахъ полицейскаго урядника.
- 2) въ стремленіи скрыть до основанія заштатный городъ Таракань,
- 3) въ богохульствѣ,
- 4) въ прелюбодѣяніи и
- 5) въ кровосмѣшеніи.

Только тогда титулярный совѣтникъ попросилъ прощенья и сознался, что „скорбящій патриотъ“ — онъ самъ и что онъ былъ вовлеченъ въ написаніе корреспонденціи по молодости лѣтъ (замѣтите, ему ровно 42 года) и по недостаточности средствъ. Самъ-же онъ ни въ чемъ неповиненъ и приписываетъ извѣтъ юнкера Васильева тому обстоятельству, что не заплатилъ Васильеву карточнаго сбора въ стучолку въ количествѣ пяти рублей; не заплатилъ-же онъ, какъ честный человекъ, уличившій юнкера Васильева въ передержкѣ...

Снова пошла переписка, а добродушный старикъ снова повторяетъ всѣмъ и каждому:

— Ахъ, господа!..

Подъ конецъ онъ даже и себя самого предупреждаетъ:

— Ахъ, исправникъ!

Но, Господи, какъ легко при всей осторожности спотынуться! Поневолѣ, наконецъ, забудешь, кто самъ извѣщаетъ, на кого извѣщаютъ...

А дѣль-то, дѣль!..

Приходитъ мѣщанинъ Федотовъ, юркій, плутоватый мѣщанишка, неугодавший еще въ каторгу какинь-то чудомъ.

— Я къ вашему высокоблагородію... Важное дѣло.

— Что тебѣ?

— Я-бы безъ свидѣтелей...

— На кого?.. спрашиваетъ старикъ, понявшій сразу, въ чемъ дѣло.

— На мѣщанина Ивана Прокофьева.

— Рассказывай...

— Сегодня утромъ, ваше высокоблагородіе, сидимъ мы въ питейномъ домѣ, какъ слѣдуетъ честнымъ людямъ, только приходитъ Иванъ Прокофьевъ и сталъ говорить неподобныя рѣчи.

— Что-же онъ говорилъ?

— А говорилъ онъ, ваше высокоблагородіе, продолжалъ, понижая таинственно голосъ, мѣщанинъ Федотовъ,—говорилъ онъ на-счетъ того, что очень бытто нынѣ стало на свѣтѣ затѣйливо и что, говорить, скоро пойдетъ вездѣ телефонъ. Безъ телефона, говорить, не обойдется...

— А дальше что?

— Больше, ваше высокоблагородіе, ничего, но какъ мы, по разуму, смекаемъ, то и этого очень довольно. Мы, хотя и мѣщане, а понимаемъ, какой такой телефонъ!.. Бунтовать развѣ можно? Нонче, слава Богу, вы нами довольны, мы вами довольны, а Иванъ Прокофьевъ вдругъ выискался на-счетъ телефона.

— Да ты понимаешь-ли, что значить это слово?

— Какъ не понимать? Слава Богу, тоже газетину въ кой разъ читаемъ: бунтъ!

— Дуракъ ты, Федотовъ.

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе, теперь, когда въ „Вѣдомостяхъ“ пишутъ, чтобы и корни, и сѣмена, все рви, значить, другъ въ дружкѣ, каждый вѣрный сынъ отечества, какъ передъ Богомъ, долженъ, а что окромя телефона онъ и другія слова говорилъ.

— Какія?

— А говорилъ онъ, ваше высокоблагородіе, вообще на-счетъ начальства. Этотъ Ивашка отчаянный, ваше высокоблагородіе... Я, по совѣсти, какъ слѣдуетъ, открываю истинную правду. Мѣщанина Ивана Прокофьева очень хорошо мы знаемъ, рассказываетъ Федотовъ, съ дрожью въ голосѣ.—Я, говорить, левольверъ куплю и мѣщанскаго старосту нашего, говорить, шаракну. Это развѣ можно?..

По скосившемуся взгляду плутоватыхъ глазъ Федотова сразу было видно, что человекъ безъ зазрѣнія вретъ и норовить свести съ Иваномъ Прокофьевымъ свои счеты.

Федотовъ зорко слѣдитъ за лицомъ старика и не можетъ скрыть на подлой своей рожѣ чувства радости.

— Вѣдь за такія дѣла, ваше высокоблагородіе, въ Сибирь!..

Новый посѣтитель. Солидный толсторожий купчина. На шеѣ медаль за усердіе. Пришелъ, фамильярно протянулъ руку и сказалъ:

— Владиміру Васильевичу!

— Какъ живете-можете, Никаноръ Ивановичъ?

— Живемъ, поколь Богъ грѣхамъ терпитъ, да вы насъ въ обиду не даете.

— Ну, васъ въ обиду... слава Богу! смѣется старикъ, чувствуя тѣмъ не менѣе безпокойство при видѣ серьезнаго выраженія на лицѣ мѣстнаго представителя капитала.

— Защита только отъ васъ, Владиміръ Васильевичъ, плохая. Развѣ такъ можно? говоритъ онъ недовольнымъ тономъ, словно-бы распекая хозяина.

„Эхъ! Пятнадцать лѣтъ тому назадъ стоялъ-бы ты, борода, въ передней, кланялся-бы въ поясъ, а смѣлъ-бы сгрубить, посчиталъ-бы я въ твоей бородѣ волосы, а теперь... ишь, пузатый, разсѣлся!“ промелькнуло въ сѣдой головѣ старика.

Онъ только тоскливо крикнулъ и ласково спросилъ:

— Въ чемъ дѣло, уважаемый Никаноръ Ивановичъ? На что гнѣваетесь?

— Прочти-во-сь!

И онъ сунулъ ему номерокъ газеты подъ носъ.

— Развѣ такъ можно? Развѣ честнаго человѣка можно облаять, а? повторялъ Никаноръ Ивановичъ.

Исправникъ прочелъ. Въ корреспонденціи рассказывалось о Никанорѣ Ивановичѣ, какъ о кулакѣ, рассказывалось, какъ онъ расплачивается съ рабочими и какъ отпускаетъ имъ порченную провизію.

Старикъ отдалъ газету обратно и, думая успокоить Никанора Ивановича, тихо обронилъ:

— Ниче, сами, батюшка, знаете, свобода печати. Вотъ и про меня недавно... Терпимъ...

— Это какая такая свобода?.. Я знаю этого голубчика, кто пашквиль эту настроилъ. Такъ, фертъ, безъ роду, безъ племени. Онъ это не спроста. Такія пашквилы и есть самое зло. Тепереча онъ взводятъ клевету и мутятъ людей. Что за это вы съ нимъ сдѣлаете, съ писакой-то, ась? Въ какія мѣста-то его по положенію?

Старикъ молчалъ.

— Али и вы покрывать сволочь станете? Паршивую овцу изъ стада вонъ. Денегъ нѣтъ, такъ я выдамъ...

— Да вы напрасно Никаноръ Ивановичъ гнѣваете, робко возразилъ старикъ.

— Напрасно!? Я, Владиміръ Васильевичъ, этого потерпѣть не могу. Вы начальство, развѣ вы потеряете?

Старикъ испытывалъ дьявольское положеніе.

— Времена понече прошли, когда писака какой-нибудь облаетъ тебя, да самъ-же и смѣется. Шалишь! Кулакомъ, шельма,

утрешь глазки! Такъ я не оставляю этого дѣла и покажу, какъ людей честныхъ порочить. Мы, братецъ, писаку-то приголубимъ. Какъ полагаете, ваше высокоблагородіе?

— Эхъ, Никаноръ Ивановичъ!

— Вы уже смекните, только ужъ смотрите, потачки мерзавцу не давайте. Нынче съ ними разговоръ, славу Богу, коротокъ. Съ году брюхо подводитъ, онъ и пишетъ пашевили на купечество.

Никаноръ Ивановичъ ушелъ недовольный.

Старикъ, оставшись одинъ, призадумался. Никаноръ Ивановичъ сила; у него вездѣ связи; съ нимъ надо держать ухо востро. Мужланъ мужланомъ, а какую загвоздку на корреспондента запустилъ! Плутъ и взаправду мошенничаетъ да людей обираетъ, а туда же — „смута“ — говорить!

Такъ раздумывалъ старикъ.

Страшно становится, когда въ газетахъ читаете вы, какъ люди сводятъ личные счеы, прикрываясь якобы благонамѣренностью. Благодаря нѣкоторымъ нашимъ газетамъ, пробудились низменные инстинкты въ обществѣ; безстыдство храбро подняло голову, пользуясь случаемъ оклеветать ближняго; мѣдные лбы отважно вопятъ со словъ гг. Катковыхъ, Мещерскихъ et consorts, о томъ, что они, мѣдные лбы, единственные сыны своего отечества. Взапуски другъ передъ другомъ разные кулаки стремятся наложить табу на все, мало-мальски доходное.

— Рви! Рви!

Вотъ единственный, бѣшенный вопль, который торжественно раздается среди тишины.

И всякій, кто можетъ, „рветъ“. Рветъ, гдѣ только можно: рветъ кассы, рветъ съ мужика, рветъ съ ближняго, и конечно во имя спасенія отечества.

Вотъ вамъ отрывокъ блѣдно набросанной картинки вліянія воинствующей части прессы. Позорное явленіе представляетъ она, и не даромъ въ обществѣ говорятъ о ней съ презрѣніемъ, а все же читаютъ, потому что нечего читать другого.

Обращаясь къ фактамъ текущей жизни, накопившимся за мѣсяць, я нахожусь въ нѣкоторомъ затрудненіи, относительно выбора. Слишкомъ ужъ много ихъ; это съ одной стороны, а съ другой — надо выбирать самымъ тщательнымъ образомъ, дабы не впасть въ грѣхопаденіе...

Общее впечатлѣніе, оставляемое всѣми крупными и мелкими фактами, довольно характерно. Вы ясно видите, что наша, такъ называемая, общественная жизнь зачастую представляетъ какое-то общее недоразумѣніе, винить въ которомъ единичныя личности, сваливая на нихъ (особенно, если эти лица не выше стат-

ских (совѣтниковъ) съ пѣной у рта отвѣтственности, я, разумѣется, не стану, предоставляя это похвальное занятіе другимъ.

Знаете-ли что? У меня, право, не подымается рука бросить камень осужденія во всѣхъ тѣхъ мелкихъ сошекъ, неправильныя дѣйствія которыхъ или какой-нибудь неосторожный приездъ даютъ газетнымъ фельетонамъ благодарныя темы для либеральнаго пафоса и для ошельмованія. Я, конечно, не вино фельетонистовъ и понимаю, что, напримѣръ, приказъ константиноградскаго исправника можетъ дать благодарную тему, тѣмъ болѣе, что выборъ темъ, несмотря на обиліе фактовъ, бываетъ подчасъ крайне затруднителенъ, но, скажите на милость, при чемъ тутъ авторъ приказа? Человѣкъ, нѣсколько наивно объявившій въ приказѣ, что всѣхъ, кто отнесется неодобрительно къ его, г. исправника, дѣйствіямъ, немедленно доставлять къ нему, а въ случаѣ невозможности, своевременно доносить полиціи, конечно, поступилъ неосторожно, издавши такой приказъ, и, по всей вѣроятности, за свою неосторожность потерпитъ должное наказаніе отъ высшаго начальства. Все это бесспорно; но приходитъ въ негодованіе отъ приказа и метать громы и молніи противъ одного изъ малыхъ сихъ, по меньшей мѣрѣ, наивно и служить только лучшимъ доказательствомъ безсилія нашей прессы. Несомнѣнно, г. константиноградскій исправникъ сталъ жертвою недоразумѣнія, когда составлялъ постановленіе, ставшее, быть можетъ, его житейскимъ Ватерлоо. Недоразумѣнія возможны и въ ту, и другую сторону, и ими кишитъ наша жизнь.

Чѣмъ, какъ не тѣмъ-же недоразумѣніемъ, можно объяснить и неожиданную остановку въ путешествіи ученаго химика-винодѣла императорскаго никитскаго сада, г. Александра Саломана, о которой сообщено въ официальной газетѣ „Кавказъ“? Приѣхалъ г. Саломанъ съ супругою въ Тифлисъ и, какъ человѣкъ специальности, интересуясь винодѣліемъ Кавказа, собрался посѣтить нѣкоторыя мѣста производства винъ. Осмотръ свой г. Саломанъ началъ съ колоніи Екатериненфельдъ, но по первому-же абцугу и осѣкся.

„Съ нимъ, по словамъ газеты „Кавказъ“, случился казусъ, отбившій у него всякую охоту къ дальнѣйшему ознакомленію съ интересовавшимъ его предметомъ. Приѣхавъ въ Екатериненфельдъ въ фаэтонѣ и остановившись въ мѣстной гостинницѣ, онъ привлекъ на себя вниманіе находившихся тамъ представителей мѣстной полицейской власти своими свободными приемами европейца, а, можетъ быть, и какими-нибудь другими особенностями, представившимися въ ихъ глазахъ подозрительными. Подозрѣніямъ этимъ, къ сожалѣнію, пришлось развиться до предположенія, что приѣзжій незнакомецъ не кто иной, какъ злоумышленникъ, кото-

раго вовсе не бесполезно придержать. Начинается легкое зондированіе, кончившееся требованіемъ вида, почему-то еще болѣе смутившаго властей, и *потомъ арестомъ*. Случайно находившіеся въ этотъ день въ Екатериненфельдъ химикъ-докторъ Струве, лично знающій г. Саломана, и горный инженеръ фон-Кошкуля, которымъ тѣ-же власти рассказали свои предположенія относительно арестованнаго, успѣли разъяснить ошибку. Г. Саломанъ получилъ свободу за письменнымъ поручительствомъ гг. Струве и Кошкуля и, возвратившись въ Тифлисъ, на другой-же день совсѣмъ простился съ нимъ, оставивъ всякую мысль объ ознакомленіи съ мѣстными приѣмами винодѣлія“.

Въ этомъ разсказѣ официальной кавказской газеты интереснѣе всего обращеніе вниманія екатериненфельдскихъ властей „свободными приѣмами европейца“. Приняли человѣка за европейца и моментально явилось подозрѣніе, точно-ли этотъ „европеецъ“—мирный человѣкъ, такъ-какъ „свободные приѣмы европейца“, дѣйствительно, нарушили правильное теченіе мыслей у людей, видѣвшихъ „свободные приѣмы“, пожалуй, только у начальства, а никакъ не у мирныхъ и незнатныхъ путешественниковъ.

Виноваты-ли они?

Виноватъ-ли дикарь, изумляющійся при видѣ какого-нибудь невиданнаго явленія и объясняющій это явленіе со свойственной ему оригинальностью?

Конечно, очень жаль, что г. Саломанъ, обладая „свободными приѣмами европейца“, отказался отъ путешествія, но дѣло еще поправимо. Стоитъ ему только, ради науки, усвоить себѣ несвободные приѣмы азіята и продолжать путешествіе безпрепятственно. Никакой задержки не будетъ, такъ-какъ г. Саломанъ никому не бросится въ глаза. „Свой человѣкъ!“ скажетъ всякій, узрѣвши почтеннаго химика-винодѣла на дорогѣ. Но если слишкомъ усердный гражданинъ земли кавказской все-таки усомнится, то рекомендую слѣдующіе отвѣты на могущіе быть заданными г. Саломану вопросы.

Ѣдетъ онъ и вдругъ... „стой!“

— Вы европеецъ?

— Никогда не былъ. Я туркменъ.

— Такъ-ли? Вы слишкомъ свободно сидите въ коляскѣ!

— Привыкъ, путешествуя по Кавказу.

— Гмъ!.. А чѣмъ занимаетесь?

— Служу при туркменскомъ управленіи.

— Съ Богомъ!

А не то можно выдать себя за „знатнаго“ иностранца, т. е., вмѣсто оборонительной войны вести наступательную, и, выучив-

пись ругаться на всѣхъ мѣстныхъ нарѣчіяхъ лучше извошниковъ, смѣло отправляться въ самыя дикія дебри нашего отечества съ вѣрой въ успѣхъ и благополучіе. „Смѣлые приемы“ знатнаго иностранца тоже произведутъ впечатлѣніе, но совсѣмъ уже въ другомъ родѣ.

Невеселое впечатлѣніе, надо правду сказать, производятъ и нѣсколько дѣлъ, разбиравшихся втеченіи прошлаго мѣсяца въ нашихъ судахъ. Дѣла эти, часто съ виду мелкія, являясь неприкрашеннымъ изображеніемъ дѣйствительности, очень ярко иллюстрируютъ наши нравы и, по крайней мѣрѣ, избавляютъ журналиста отъ нареканія въ пристрастномъ подборѣ фактовъ. Кроме того, обозрѣвателю текущей жизни не приходится, по выраженію Щедрина, говорить „езоповскимъ“ языкомъ, передавая факты изъ судебной практики. „Езопъ“ на-время прячется, снова появляясь на сцену, когда приходится дѣлать выводы. Онъ, какъ опытный актеръ, отлично знаетъ, когда подавать реплики расходившемуся русскому литератору.

Передъ нами четыре дѣла: дѣло г. Бостанжогло, по обвиненію „Современныхъ Извѣстій“, дѣло мѣщанина Прокудина, дѣло объ истязаніи и дѣло мѣщанина Нипоркина. Я, разумѣется, не стану передавать читателю всѣхъ подробностей. Отмѣчу только выдающіяся черты.

Фельетонистъ „Современныхъ Извѣстій“, — кстати сказать, одинъ изъ тѣхъ мелкихъ обличителей, которые объ обязанностяхъ приличія имѣютъ весьма смутное понятіе,—разсказалъ кое что о г. Бостанжогло въ роли „благодѣтеля рабочихъ“. Извѣстный московскій тузъ не потерпѣлъ и подалъ жалобу на редакцію и автора фельетона, вручивъ интересы своей чести присяжному повѣренному Шайкевичу. Дѣло окончилось въ полное удовольствіе г. Бостанжогло; редакція присуждена къ штрафу въ 25 руб.; но тождества пѣкоего г. Збруева, правительственнаго контролера при табачной фабрикѣ, съ г. Берендеемъ, фельетовистомъ „Современныхъ Извѣстій“, судъ не призналъ, несмотря на увѣренія г. Шайкевича, что г. Збруевъ и есть самый Берендей.

Но г. Бостанжогло все-таки донялъ г. Збруева, въ которомъ продолжалъ видѣть обличителя его благодѣяній фабричнымъ рабочимъ. Г. Збруева въ одинъ прекрасный день уволили отъ маленькой должности контролера при фабрикѣ и, такимъ образомъ, выбросили маленькаго человѣка, оскорбившаго большого туза капитала, на улицу. Г. Бостанжогло удовлетвореніе получилъ, хотя его адвокатъ и не успѣлъ никого убѣдить въ отеческой любви г. Бостанжогло къ рабочимъ на фабрикѣ.

Дѣло, однакожь, этимъ не кончилось.

Г. Збруевъ, потерявшій, по милости табачнаго туза, свое маленькое мѣсто на фабрикѣ, по званію правительственнаго контролера, зашелъ въ гости къ новому контролеру, г. Коркунову, живущему на фабрикѣ. Тогда г. Бостанжогло, узнавши, что смертельный врагъ его находится въ зданіи фабрики, и вообразивъ, что фабрика есть въ нѣкоторомъ родѣ средневѣковой замокъ, издалъ, въ свою очередь, обязательное постановленіе: изгнать г. Збруева изъ замка табачнаго производства.

Г. Збруева изгнали съ энергіей, нерѣдко приходящей къ услугамъ капитала, хотя-бы и противъ закона. Г. Збруевъ подалъ жалобу на самоуправство мировому судѣ, и тамъ защитникомъ неприкосновенности фабричнаго жилища явился тотъ-же г. Шайкевичъ.

Два положенія были выдвинуты присяжнымъ повѣреннымъ, которыя онъ развивалъ съ краснорѣчіемъ, достойнымъ лучшаго примѣненія. *Положеніе первое:* фабрика неприкосновенна и потому владѣлецъ можетъ выгнать, кто ему не нравится, такъ-какъ фабрикантъ есть „начальникъ фабрики“ и „фабрикантъ есть охранитель интересовъ правительства“. *Положеніе второе:* хотя г. Коркуновъ и назначенъ отъ правительства контролеромъ на фабрику, но г. Бостанжогло, какъ фабрикантъ, есть „начальникъ контролера, приставленнаго правительствомъ къ его фабрикѣ“, и, слѣдовательно, контролеръ—подчиненное лицо, которое должно слушаться фабриканта и принимать къ себѣ въ гости только тѣхъ, кто любъ г. фабриканту.

Знаменательно въ этой защитѣ прямое и откровенное указаніе на право полнѣйшаго произвола со стороны фабриканта. Ему даже вручается власть надъ правительственнымъ контролеромъ. Но прежде, чѣмъ негодовать на позорныя положенія защиты—а что они позорны, кто-же въ этомъ сомнѣвается?—не лучше-ли вдуматься: не правъ-ли г. Шайкевичъ и не требуетъ-ли онъ облеченія въ юридическую форму того, что на практикѣ давно существуетъ, т. е. что фабриканты, дѣйствительно, во всѣхъ отношеніяхъ „начальники фабрикъ“, безъ какихъ-либо ограниченій, и мелкая пташка—„контролеръ“ какъ-будто приставленъ обычая ради, а вовсе не для того, чтобы что-нибудь контролировать?

Разсматривая откровенное заявленіе защиты съ этой стороны, мы должны согласиться, что г. Шайкевичъ съ своей точки зрѣнія обычая правъ, требуя у мирового судьи санкціи на право фабриканта гнать въ шею всѣхъ частныхъ лицъ, приходящихъ въ зданіе фабрики, точно такъ-же какъ и на право (и не только обычное, но и юридическое) кормить рабочихъ, какъ угодно, помѣщать ихъ, какъ угодно, и платить или не платить имъ, тоже какъ угодно.

Такимъ образомъ, мы снова находимъ подтвержденіе мысли, не разъ нами высказанной, что передъ нами проходитъ знаменательное явленіе, какъ мало-по-малу на обломкахъ прежнихъ отношеній воздвигается новая сила, которая не только пользуется безконтрольностью эксплуатаціи, гордась вліяніемъ и связями съ представителемъ другой общественной силы, но находитъ еще публичныхъ защитниковъ, предлагающихъ обычай возвести въ общественный законъ.

Мировой судья, разбиравшій это дѣло, согласился съ доводами защиты и рѣшилъ, что замокъ табачныхъ издѣлій долженъ пользоваться правами habeas corpus и что г. Збруева выгнать слѣдовало и никакого самоуправства въ этомъ не было.

Нѣсколько иначе отнеслось къ неприкосновенности частной квартиры правосудіе, въ лицѣ петербургскаго мирового судьи, при разборѣ дѣла слесаря Прокудина. Дѣло до-нельзя простое и до-нельзя обыкновенное. Слесарь Прокудинъ справлялъ крестины. Послѣ ужина гости стали пѣть пѣсни. Городовой усмотрѣлъ въ пѣніи нарушеніе общественной тишины и просилъ „прекратить“; но такъ-какъ гости не прекращали пѣнія, то городской съ помощію дворниковъ отвелъ слесаря Прокудина и его жену на улицу для дальнѣйшаго слѣдованія въ участокъ, гдѣ, по его мнѣнію, все разберуть.

Результатомъ этого нарушенія общественной тишины было разбирательство у мирового судьи, который прежде, чѣмъ постановить оправдательный приговоръ (слесарю и женѣ его) прочелъ, какъ сообщаетъ судебный отчетъ, городовому слѣдующую нотацию на-счетъ равенства передъ закономъ:

„Врывается въ частную квартиру городской и тащитъ хозяина въ участокъ; развѣ это можно? Городовой имѣетъ право войти въ квартиру лишь по распоряженію начальства, для предупрежденія преступленія. Помилуйте, господа, оставьте хоть частную квартиру, гдѣ каждый долженъ быть свободенъ отъ дворниковъ! Вы вошли къ нему потому, что онъ мастеровой. Что тутъ за преступленіе, что, по случаю крестинъ, пѣли пѣсни? А когда какой-нибудь генералъ даетъ балъ и отъ мазурки половицы трясутся, а гулъ музыки не даетъ жильцамъ спать,—пусть попробуетъ городской войти и взять хозяина въ участокъ! А передъ закономъ-то всѣ равны“.

Прочитывая почтенному блюстителю порядка лекцію и убѣждая на будущее время оставить частную квартиру слесаря Прокудина въ покоѣ, почтенный мировой судья, конечно, исполнялъ свой долгъ. Но и слушатель, со своей стороны, исполнялъ свой долгъ, быть можетъ, только неправильно понятый! По крайней мѣрѣ, съ

своей стороны, полагаю, что городской, слушая нотацию г. мирового судьи и вникая въ смыслъ и значеніе коротенькой лекціи, былъ въ положеніи человѣка, котораго неизвѣстно за что поднимаютъ на смѣхъ. Съ одной стороны—„неприкосновенность“, а съ другой—„нарушеніе тишины“ и голосъ, тайный внутренній голосъ, грозно предупреждающій: „тащи!“ Опять-же примите въ расчетъ практическія соображенія того-же самаго блюстителя тишины, соображенія—плодъ цѣлой жизни, и вы легко можете себѣ представить воздѣйствіе теоріи объ оставленіи частной квартиры слесаря Прокудина въ покоѣ на смекающаго человѣка практики по преимуществу. Но во всякомъ случаѣ одно и то-же правосудіе взглянуло на неприкосновенность жилищъ съ разныхъ точекъ зрѣнія. Въ Москвѣ мировой судья нашель, что фабрикантъ воленъ во всякое время входить въ частныя квартиры и „гнать“, а въ Петербургѣ мировой судья рекомендуетъ свободу квартиръ отъ дворниковъ и не находитъ преступленія въ томъ, что, по случаю крестинъ, пѣли пѣсни.

Опять-таки рекомендую читателю войти въ положеніе того самаго городского, который, получивъ теоретическую лекцію въ камерѣ мирового судьи, возвращается къ своему посту и, размышляя о томъ, что палка о двухъ концахъ, вдругъ слышитъ пѣніе въ квартирѣ какого-нибудь другого слесаря, которому Богъ послалъ сына или дочь.

„Пойте, граждане, пойте себѣ на здоровье пѣсни!“ думаетъ себѣ городской, прислушиваясь къ пѣснѣ.

„Вотъ домъ—резонируетъ онъ — и во всемъ-то домѣ сегодня веселье. Навѣрху въ карты дуются, въ третьемъ этажѣ тоже въ карты дуются, во второмъ, у генерала, мазурку танцуютъ, въ первомъ даровая музыка, а внизу поютъ, по случаю крестинъ!“

Резонируя такимъ образомъ, городской присаживается у воротъ, собираясь подумать съ закрытыми глазами, но сомнѣніе, словно червь, закрадывается въ сердце и начинаетъ сосать его.

„Не безпорядокъ-ли?.. Не прекратить-ли?“

— Тащи! шепчетъ голосъ.

— Неприкосновенность жилища! возражаетъ городской.

— Тащи, говорю тебѣ!

— Передъ закономъ всѣ равны...

— Ой, смотри, братъ, тащи! убѣждаетъ голосъ...

— Тамъ, наверху, мазурка, такъ развѣ пѣсни пѣтъ нельзя? борется „внутренній гражданинъ“ съ „городовымъ“.

Ужь „гражданинъ“ начинаетъ ослабѣвать и „городовой“ готовъ одержать верхъ, но подъ обаяніемъ-ли пѣсни или музыки, вырывающихся изъ отвореннаго окна, а только городской начи-

наеть дремать. И снится ему сонъ. Вотъ будто приближаются шаги и голосъ товарища отрывисто спрашиваетъ:

— Ты спишь, Ивановъ?

— Нѣтъ... Такъ, братецъ, задумался!

— Что это у тебя, а?

— Все благополучно!

— А орать развѣ можно?

— Пѣсни поютъ по случаю крестинъ. Слесарю Антонову Богъ десятого ребенка далъ.

— Глупая голова! Такъ развѣ можно нарушать по этому случаю общественную тишину? Нужно прекратить!

Вздремнувшій городской во снѣ такъ громко гаркнулъ: „нелзя!“, что проснулась въ испугѣ дворняжка, прикурнувшая у ворота, и самъ городской поспѣшно открылъ глаза.

Взглянулъ вокругъ — на панели ни единой души. Извошки, съѣхавшіеся на огонекъ, въ ожиданіи окончанія мазурки, сладко спятъ, опрокинувъ затылки за задки дрожекъ, а каретные еучера пользуются случаемъ узнать, хорошо-ли спать на каретныхъ подушкахъ. Изъ оконъ по-прежнему звучитъ мазурка, а снизу, изъ подвального этажа, вырываются пѣсни.

— Этъ ихъ разодрало! сердито шепчетъ Ивановъ и заглядываетъ въ оконце.

Крестины въ полномъ разгарѣ. Пѣсня льется звончѣй.

Вспомнилъ городской сонъ и вдругъ говорить:

— Шабашъ орать!

— Съѣшь!

— Съѣшь!? восклицаетъ оскорбленный.

Тутъ ужъ ни минуты раздумья: и нарушеніе, и оскорбленіе, и неповиновеніе.

Онъ созываетъ дворниковъ и храбро спускается въ подземелье, чтобы „тащить“.

Отъ большей или меньшей степени возбужденности обѣихъ сторонъ будетъ зависѣть—приметь-ли нападеніе характеръ кровопролитной войны или-же непріятель безпрекословно сдастся въ плѣнъ, и, такимъ образомъ, на судѣ, по крайней мѣрѣ, не подыметса вопроса о незаконномъ сопротивленіи. Такъ большею частью возникаютъ у городскихъ войны съ обывателями и нерѣдко кончаются прискорбными послѣдствіями. Увы! Лекція по теоріи, недавно только-что выслушанная почтеннымъ солдатикомъ, исчезла, какъ дымъ, при первомъ-же сновидѣніи, [напомнившемъ нѣсколько дѣйствительность.

Есть рѣчи — значенье

Темно иль ничтожно,

Но ихъ безъ волненья

Внимать невозможно

расторопному, бойкому и не совѣмъ глупому челоуѣку.

Третье дѣло, обращающее на себя вниманіе—дѣло объ истязаніи сапожнымъ мастеромъ Крыловымъ ученика своего, девятилѣтняго мальчика Матвѣева. Истязанія, которымъ подвергался ученикъ, какъ увидить читатель, дѣйствительно, ужасны. Къ сожалѣнію, подобныя дѣла случаются довольно часто и какъ-бы вопіють о необходимости строгихъ законодательныхъ мѣръ, которыя-бы оградили несчастныхъ малолѣтковъ, нерѣдко *продаваемыхъ* въ ученіе, какъ продаютъ невольниковъ въ рабство. Жизнь этихъ, незащищенныхъ отъ произвола хозяевъ, дѣтей во-истину представляетъ сплошное страданіе, и только благодаря случайностямъ, подобныя дѣла являются въ судѣ. Широко понимая законъ, предоставляющій хозяевамъ „отечески исправлять учениковъ“, и забывая тотъ-же законъ, обязывающій пещись объ ученикахъ, хозяева смотрятъ на этихъ несчастныхъ мальчиковъ, какъ на рабовъ, вполне подвластныхъ хозяину. Кто заглядывалъ въ мастерскія, кто видѣлъ блѣдныя, исхудалыя лица учениковъ, кто знаетъ, какъ помѣщаются, какъ кормятся и какъ третируются ученики, тотъ пойметъ очень хорошо настоятельность защиты, требуемой беззащитными существами, мелькающими нерѣдко по улицамъ въ жестокіе морозы въ влассическихъ пестрядинныхъ халатахъ. Раздирающую душу подробности обнаруживаются обыкновенно при такихъ дѣлахъ; но сколько не менѣе ужасающихъ подробностей проходитъ неизвѣстными и сколько уносится дѣтей въ безвременныя могилы! Факты настойчиво говорятъ о невозможности положенія, и дѣла въ этомъ родѣ, одно другого ужаснѣе, появляются въ судахъ. Не такъ еще давно разбиралось дѣло объ истязаніяхъ сапожнымъ мастеромъ Гозе, а теперь снова сапожный мастеръ на сценѣ.

И спасли мальчика совершенно случайно. Дѣло, по отчету, напечатанному въ газетахъ, было такъ:

„Въ ночь на 17-е декабря 1876 года, проживающая по Апраксину переулку крестьянка Гнидина, отправляясь въ сарай, нашла на дворѣ сидящаго на снѣгу мальчика, лѣтъ девяти, который, несмотря на бывшій въ то время сильнѣйшій морозъ, былъ въ одной рубашкѣ, безъ шапки, босой. Видя, что ожогенный ребенокъ не отвѣчаетъ на ея вопросы, Гнидина снесла его къ себѣ въ квартиру, отогрѣла его, напоила чаемъ, а когда онъ пришелъ въ себя, то узнала изъ словъ его, что онъ крестьянскій мальчикъ Афанасій Матвѣевъ, находится въ ученьи у проживающаго въ томъ-

же домъ башмачнаго мастера Крылова, который такъ жестоко обращался съ нимъ, что онъ нѣсколько разъ бѣгалъ отъ хозяина, но каждый разъ былъ приводимъ обратно полиціей. Крыловъ, узнавъ о случившемся, явился къ Гнидиной съ требованіемъ отпустить мальчика; но она его не выдала и отвела въ участокъ, гдѣ, по осмотрѣ Матвѣева, все тѣло его оказалось покрытымъ багровыми рубцами и свѣжими ссадинами и ранами, какъ-бы отъ удара плетью, а мышцы носили слѣды цѣпи и веревки, въ виду чего Матвѣевъ былъ отправленъ въ обуховскую больницу, гдѣ онъ пролежалъ долгое время; Крыловъ-же былъ преданъ суду по обвиненію въ истязаніи Матвѣева.

Вызванный къ судебному слѣдствію, проживающій нынѣ на родинѣ, Афанасій Матвѣевъ, имѣющій въ настоящее время 12 лѣтъ, далъ вполне толковыя показанія. Изъ словъ его видно, что онъ, на девятомъ году, былъ взятъ какимъ-то старичкомъ отъ матери и привезенъ, вмѣстѣ съ другими мальчиками, въ Петербургъ, гдѣ былъ взятъ башмачнымъ мастеромъ Карпомъ Крыловымъ, у котораго пробылъ около семи мѣсяцевъ. Сначала Крыловъ обращался съ нимъ довольно хорошо, училъ его дѣлать концы, затѣмъ подшивать подметки, а потомъ заставлялъ его дѣлать дратву; а такъ-какъ работа эта была не подъ силу ему, то Крыловъ началъ его „хлытать“ ремнемъ (лежавшимъ на столѣ вещественныхъ доказательствъ) и другимъ круглымъ ремнемъ, находившимся при машинѣ, употребляемой въ мастерской, удары котораго оставляли извы и рубцы на тѣлѣ. Измученный отъ страха и боли, онъ нѣсколько разъ бѣгалъ отъ хозяина, который, отобравъ нищенскій скарбъ его, привезенный изъ деревни, оставилъ ему одну только рубашку. Не зная, къ кому обратиться за защитою, онъ нищенствовалъ, но тотчасъ-же былъ взятъ полиціей и водворенъ къ хозяину. Тогда жизнь его становилась еще горше; Крыловъ сводилъ ему ноги цѣпью, запираемою замкомъ, оставляя по нѣскольку дней въ такомъ положеніи, или подвѣшивалъ его на крючокъ, головою внизъ, и билъ его упомянутымъ ремнемъ. Въ день послѣдняго побѣга своего, онъ, испытавъ подобно: наказаніе, вышелъ изъ квартиры въ десятомъ часу вечера, но, захваченный сильнымъ морозомъ, вѣроятно, не въ состояніи былъ идти дальше. Въ настоящее время Матвѣевъ, по показаніямъ матери своей, живетъ въ деревнѣ, поправился здоровьемъ, выучился грамотѣ и ведетъ себя хорошо. По выходѣ его изъ больницы, онъ былъ взятъ переплетнымъ мастеромъ, у котораго прожилъ около года, а потомъ былъ возвращенъ матери, которая, сдавъ мальчика по бѣдности старичку, обѣщавшему пещись о немъ, года два не имѣла извѣстій о сынѣ, о чемъ и заявила становому приставу, потребовав-

шему съ нея больничныя деньги. Хотя жильцы, проживавшіе въ квартирѣ Крылова, и удостовѣрили на судѣ, что Крыловъ Матвѣева не наказывалъ и обращался съ нимъ хорошо, но одинъ изъ нихъ, Куликовъ, нерѣшительнымъ тономъ заявилъ, что видѣлъ однажды, какъ Крыловъ „легоныко стягалъ мальчика ремешкомъ“.

Подсудимый Крыловъ опровергалъ показанія Матвѣева. Онъ говорилъ, что взялъ его на четыре года въ ученье, заплативъ за него 15 руб. Ни ремнемъ, ничѣмъ другимъ его не наказывалъ, а наставлялъ его только „словомъ“ и училъ добру; Матвѣевъ-же былъ дурного поведенія и находился часто въ бѣгахъ. Эксперты-врачи, присутствовавшіе на судебномъ слѣдствіи и производившіе осмотръ Матвѣева во время болѣзни его, удостовѣрили, что онъ былъ мальчикъ худой, малокровный, золотушный; все тѣло было покрыто рубцами и ранами, происшедшими отъ ударовъ плетью или веревками, которые, еслибъ продолжались долѣе, могли-бы отразиться на здоровьѣ Матвѣева; въ настоящее время онъ поправился и дурныхъ послѣдствій ожидать нельзя“.

Присяжные засѣдатели признали Крылова виновнымъ въ жестокое истязаніи Матвѣева ремнемъ, но отвергли виновность подсудимаго въ подвѣшиваніи его на крюкъ. Судъ постановилъ: отдать Крылова, по лишеніи всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, въ арестантскія роты на 1 годъ и 3 мѣсяца.

Еслибы не сердобольная крестьянка Гнидина, спасшая сперва мальчика отъ замерзанія, принявшая участіе въ несчастномъ ребенкѣ и грудью защитившая его, то бытъ-бы ребенку въ могилѣ. Но, по счастью, еще не извелись добрые люди съ горячимъ сердцемъ, которые близко къ сердцу принимаютъ чужое горе.

Обратили-ли вы вниманіе, читатель, что во всѣхъ подобныхъ дѣлахъ почти всегда мстителемъ за дѣтей является женщина и обыкновенно простая, рабочая женщина? Вы помните, кто поднялъ дѣло объ истязаніи маленькой Кронебергъ? Какая-то сердобольная женщина-прачка, жившая въ томъ-же домѣ. Кто, возмущенный, поднялъ дѣло объ истязаніи дочери знаменитой „мекленбургъ-шверинской“ матерью? Тоже простая женщина. Я не упомяну другихъ дѣлъ, но знаю, что въ большинствѣ случаевъ защитницей является простая женщина. Ни одна изъ нашихъ модныхъ филантропокъ, засѣдающихъ въ разныхъ благотворительныхъ обществахъ, сколько помнится, ни разу еще не вступилась за дѣйствительно-обойденныхъ и обездоленныхъ, да оно и понятно. Возиться, поднимать дѣло, идти свидѣтельницей въ судъ... это слишкомъ хлопотно, и стремленіе къ добру такъ далеко не заходить. Посидѣть въ уютной комнатѣ, выдать пять рублей или въ каретѣ

посѣтить „этихъ несчастныхъ“ эти „счастливыя“ могутъ, а затѣмъ пора и успокоиться.

Не такъ дѣйствуетъ, напримѣръ, крестьянка Гнидина. Кто она—отчетъ не объясняетъ; вѣроятно, тоже подневольный человекъ, понимающій и чувствующій всю сладость подневольнаго житья.

Она несетъ ребенка къ себѣ, пригрѣваетъ его, спрашиваетъ, а когда хозяинъ требуетъ ребенка, храбро не отдаетъ его и, несмотря на присущую простому человеку боязнь участка, идетъ туда съ ребенкомъ, требуя защиты. Чужое дѣло стало ей своимъ, и если мальчикъ спасенъ отъ хозяина, если онъ живъ и здоровъ, то обязанъ этимъ доброй женщиной, сжумѣвшей постоять за правду.

При чтеніи подробностей, какъ мать отдаетъ сына по бѣдности какому-то старику, какъ затѣмъ мальчика привозятъ въ Петербургъ и тамъ продаютъ его за 15 рублей, не возстаютъ-ли передъ глазами вашими картина такой поразительной бѣдности, что остается только еще удивляться, какъ сравнительно у насъ мало дѣтоубійствъ? Примѣры были и этому, но примѣры единичные.

Обобщая подобные факты, вамъ ясно дѣлается, какъ ничета и незащищенность готовить все больше и больше жертвъ прокурорскому надзору и какую во-истину печальную судьбу приходится влечить тѣмъ обойденнымъ, которые, куска хлѣба ради, совершаютъ преступленія.

Передъ нами четвертое дѣло—дѣло мѣщанина Нипоркина, разбивавшееся въ концѣ августа въ петербургскомъ окружномъ судѣ. Мѣщанину Нипоркину 45 лѣтъ, изъ которыхъ въ разное время онъ просидѣлъ болѣе 25 лѣтъ въ разныхъ тюрьмахъ. Въ тюрьмѣ болѣе 25 лѣтъ!

Вы думаете, что передъ вами закоренѣлый злодѣй? Ошибаетесь. Прислушайте характерную и производящую впечатлѣніе искренности исповѣдь Нипоркина на судѣ, и вы убѣдитесь, что передъ вами несчастный неудачникъ, въ горчайшемъ значеніи этого слова. Безхитросная исповѣдь этого обитателя тюремъ такъ интересна, поучительна и трогательна, что я приведу ее цѣликомъ изъ судебного отчета, напечатаннаго въ „Молвъ“. Это незабываемая эпопея изъ русской жизни.

„Начиная съ 17-ти-лѣтняго возраста, Нипоркинъ „просидѣлъ въ разное время около 25 лѣтъ въ тюрьмѣ“. Послѣ смерти отца, онъ до 14 лѣтъ жилъ при матери, но, по недостатку средствъ, должнаго образованія ему дано не было, и мать отдала его въ мальчики на табачную фабрику Тараканова. Когда ему минуло

17 лѣтъ, родной и двоюродный братья, торговавшіе желѣзными матеріалами, переманили его къ себѣ. Вскорѣ затѣмъ одинъ изъ братьевъ былъ заподозрѣнъ и арестованъ по обвиненію въ покупкѣ вкраденнаго и уговорилъ подсудимаго „сказать, что вкраденное куплено не имъ, а, по глупости, мною“, на что Нипоркинъ и согласился. Просидѣвъ три года въ тюрьмѣ, онъ петербургской уголовной палатой оставленъ былъ въ подозрѣніи, но, несмотря на это, тогдашняя администрація сослала его въ городъ Глазовъ, вятской губ., подъ надзоръ полиціи, безъ срока. Въ Глазовѣ онъ, юноша 20 лѣтъ, полюбилъ одну дѣвушку, „съ которой дѣлилъ и радости, и скуку; свадьба наша, рассказывалъ онъ на судѣ,— была уже предназначена, но судьба судила иначе. Невѣста заболѣла тифомъ и вскорѣ умерла. Затѣмъ я былъ извѣщенъ о смерти и матери моей, оставшейся въ Петербургѣ. При такомъ оборотѣ положенія, я доходилъ до отчаянія; мнѣ сдѣлалось нестерпимо жить въ Глазовѣ, и я рѣшился отлучиться“. Его поймали, возвратили въ Глазовъ и посадили въ тюрьму по обвиненію въ поджогѣ дома, сгорѣвшаго тогда, когда онъ отлучился изъ Глазова. По этому дѣлу онъ просидѣлъ 4 года въ тюрьмѣ, но въ поджогѣ былъ оправданъ, а за отлучку изъ-подъ надзора полиціи приговоренъ къ 7-ми-дневному аресту при полиціи. Послѣ всего этого нельзя было и думать поступить куда-либо на мѣсто, и, вслѣдствіе голода, ему „пришлось войти въ такой кругъ общества, о которомъ говорилось хорошаго очень немного“. Жизнь въ средѣ такихъ людей скоро опротивѣла, и Нипоркинъ съ однимъ изъ жителей Глазова рѣшился бѣжать оттуда. „Бродили мы недолго, говорилъ онъ; — въ пермской губерніи насъ поймали, и мы, во избѣжаніе опять попасть въ Глазовъ, показались непомятыми родства, и я назвался Грунинимъ, въ честь покойной моей невѣсты, которую звали Аграфеною“. По этому дѣлу онъ просидѣлъ въ тюрьмѣ около 3 лѣтъ и, по рѣшенію пермскаго уѣзднаго суда, былъ назначенъ, вмѣстѣ съ товарищемъ, на водвореніе въ Сибирь, съ употребленіемъ на работы втеченіе 8 лѣтъ и съ наложеніемъ клейма на правой рукѣ: Б. Втеченіи трехъ лѣтъ жизни въ Сибири онъ „путешествовалъ на золотые прииски и работалъ въ рудникахъ. На свое положеніе, хотя оно и было тяжело, я не ропталъ и считалъ себя достаточно счастливымъ, но и тутъ злая судьба розыскала меня для новыхъ страданій. Товарищъ мой убѣжалъ изъ Сибири и, придя въ Глазовъ, сознался и сказалъ, гдѣ нахожусь я, и вотъ меня по этапу опять препроводили въ Глазовъ. А у товарища моего, еще до знакомства со мною, накопилось порядочно уголовныхъ дѣлъ, но они находились подъ спудомъ, потому что онъ былъ любимецъ глазовскаго уѣзднаго судьи

и его бывший дворовый человекъ. Но когда насъ посадили въ тюрьму, то судьи стараго уже не было, и меня присовокупили къ дѣламъ моего товарища“, по которымъ Нипоркинъ просидѣлъ въ тюрьмѣ 9 лѣтъ. Это было въ 1869 году. „Вятская уголовная палата лишила насъ съ товарищемъ всѣхъ правъ состоянія и сослала меня, безъ наказанія плетями, въ каторжныя работы на заводы на два года, и въ томъ-же году насъ отправили въ Симбирскъ и помѣстили въ каторжное отдѣленіе центральной тюрьмы. Какъ баранъ, протыгивающій шею подъ ударъ ножа, такъ и я, даже съ большею покорностью, вступилъ на новое поприще жизни каторжной. Однако, человѣческаго разумѣнія по суду я лишень не былъ и хорошо сознавалъ, что въ каторгѣ не мнѣ мѣсто и за что осудили меня—это до сихъ поръ остается загадкою. Два года я пробылъ въ централкѣ, два года я пресмыкался въ кругу людей, которыхъ характеръ отличался отъ демонскаго очень немногимъ, и научиться хорошему тамъ было немислимо. Жизнь въ централѣ была не красна: то слышишь стонъ какого-то непонятнаго отчаянія, то кощунство, то ругательства и рассказы преступленій, отъ которыхъ невольно душу раздираетъ на части. Въ 1870 году были выборы на Сахалинъ островъ; товарища моего угнали, а я оставленъ былъ, потому что за хорошее поведеніе уже состоялъ въ разрядѣ исправляющихся“. Препровожденный снова въ Глазовъ, Нипоркинъ бѣжалъ оттуда, былъ возвращенъ и опять отлучился. Наконецъ, въ 1877 году глазовскій исправникъ выслалъ его изъ Глазова въ Березовскіе починки—версть за 200. „Починки эти были такого рода: въ лѣсной глуши, гдѣ нѣтъ селеній, а на разстояніи 15—20 верствъ можно встрѣтить одинъ или два дома, въ которыхъ и обитаютъ тамошніе дикари и полудикари, и я принужденъ былъ ежедневно бродить изъ починка въ починокъ выпрашивать себѣ хлѣба. Между тѣмъ необходимо нужна была какая-нибудь и одежда, но выпросить ее гдѣ-либо тамъ было недоступно; короче сказать: отличить меня отъ звѣря тогда было трудно, но тотъ, какъ мнѣ казалось, былъ гораздо счастливѣе сытнѣе. Изъ починковъ я убѣжалъ или отлучился—для меня это было безразлично“. Отбывши по приговору петербургскаго окружнаго суда годичное заключеніе въ рабочемъ домѣ, Нипоркинъ былъ препровожденъ въ Ржевъ, подъ надзоръ полиціи, откуда пожелалъ отлучиться въ Петербургъ для розысканія сестеръ, которыя должны были передать ему часть наслѣдства, завѣщаннаго ему родною сестрою, вдовою титулярнаго совѣтника Кисловою, и поселился у нихъ. Онѣ жили въ большой уже нищетѣ, крайности, пристрастились къ пьянству и все, что зарабатывали, пропивали. „Наконецъ, когда у меня не стало денегъ, продолжалъ под-

судимый, — сестры принялись за мои вещи, и все, что было еще у меня порядочнаго, по заботливости ихъ, очутилось въ ссудныхъ конторахъ, приче́мъ онѣ не переставали увѣрять меня, что наслѣдство скоро получится и вещи мои будутъ выкуплены. Когда же у меня ничего не осталось, онѣ просто выпроводили меня. Больной, въ лохмотьяхъ, безъ гроша въ карманѣ и не имѣя гдѣ преклонить голову, я не зналъ, на что мнѣ рѣшиться и что дѣлать; наконецъ, я вспомнилъ, что у меня есть двоюродный братъ; я зналъ, гдѣ онъ живетъ и что онъ занимается адвокатурою; мнѣ было также извѣстно, что онъ имѣлъ достаточныя средства для жизни, но я также зналъ и его характеръ: онъ былъ гордъ и скупъ чрезмѣрно, но я все-таки питалъ еще надежду, что братъ сжалятся надо мною и сколько-нибудь поможетъ мнѣ какъ-нибудь добратся до Ржева. Но увы! Когда, въ слезахъ и на колѣняхъ, я умолялъ брата о помощи, онъ съ презрѣніемъ оттолкнулъ меня, выгналъ изъ квартиры и сказалъ, чтобы являться къ нему я больше никогда не осмѣливался. Что нужно было дѣлать—я не зналъ, а между тѣмъ голодь говорилъ свое, да и о ночлегѣ тоже нужно было подумать, а денегъ—ни копейки. Впрочемъ, я помнилъ и зналъ, что въ Петербургѣ существуютъ разнаго рода притоны и сходбища, какъ-то: вяземскія лавры, сѣнновскіе малинники, ночлежныя пріюты и тому подобныя труппы“ “о подсудимый не хотѣлъ войти въ компанію личностей, отъ которыхъ бѣжалъ раньше. „Оставалось совершить преступленіе, но я трепеталъ при одной мысли объ этомъ. Впрочемъ, у меня было еще средство и для ночлега, и для покупки хлѣба—это перламутровый крестъ—благословеніе и наслѣдство любимой моей почившей матери; я продалъ его за 20 коп., но ихъ хватило ненадолго. Нѣсколько дней я питался Христа ради, но далеко не такъ удачно, какъ способны для этого прошаки Петербурга. Въ февралѣ, когда погода потеплѣла, такъ-что вода и грязь проникли въ мои валеные сапоги, ноги мои заболѣли сильнѣе прежняго; на нихъ открылись раны, знаки которыхъ и нынѣ еще не изгладились. Въ это время, припоминая свое прошедшее, я вспомнилъ и ваторгу: тамъ было ужасно, но я былъ сытъ по возможности, а здѣсь, на волѣ, въ родномъ городѣ, гдѣ близко родственники, я долженъ умереть, всѣми покинутый, голодною, мучительной смертью. Это было уже слишкомъ невыносимо, а затѣмъ я зналъ, что въ тюрьмѣ съ голода не умираютъ“. Вотъ подъ влияніемъ этихъ обстоятельствъ Нипоркинъ подходитъ къ двери трактира Иванова. „Взойти въ трактиръ и попросить ради Христа, но дадутъ ли мнѣ? А если дадутъ копейку или двѣ, то развѣ это исходъ для жизни? Когда же конецъ всему этому страшному, неумолимому испытанію? До-

лото, которое я утащилъ въ рынокъ раньше, думая съ нимъ по-
пасться, и которое осталось непроданнымъ, было у меня за па-
зухой; голодъ кричалъ во мнѣ: въ тюрьмѣ я буду сытъ и есть
больница, гдѣ паспортовъ не спрашиваютъ“. И вотъ Нипоркинъ
сломалъ замокъ съ цѣлью, чтобы его услышали, задержали и от-
правили въ тюрьму, но никакъ не съ цѣлью совершить кражу.

Двоюродный братъ объяснилъ на судѣ, что онъ *по-родствен-
ному* принималъ участіе въ подсудимомъ, но что это не повело
ни къ чему, такъ-какъ подсудимый „привыкъ къ легкому труду,
занимаясь приобрѣтеніемъ чужого“. Въ послѣдній разъ, когда
подсудимый обратился къ свидѣтелю за помощью, свидѣтель вы-
гналъ его изъ квартиры. Относительно того, какимъ образомъ
подсудимый попался въ первый разъ въ преступленіи, будучи 17
лѣтъ, свидѣтель отозвался невѣденіемъ.

На это подсудимый возразилъ, что братъ по тому дѣлу си-
дѣлъ съ нимъ вмѣстѣ въ тюрьмѣ и былъ затѣмъ высланъ въ
Тихвинъ, подъ надзоръ полиціи. Въ послѣднемъ словѣ обвиняе-
мый, между прочимъ, сказалъ:

„Для меня обиднѣе всего то, что мой братъ показалъ неправ-
ду. Накажите меня, какъ можно строже, пусть на страшномъ су-
дѣ онъ за это отвѣтитъ. Я знаю, что если буду оправданъ, онъ
употребитъ всѣ силы въ мѣщанской управѣ, гдѣ имѣетъ вѣсь и
связи, и попроситъ, чтобы меня опять выслали“.

На вопросъ о виновности, присяжные засѣдатели отвѣчали:
„Да, виновенъ, но совершилъ преступленіе по крайности и не-
имѣнію средствъ къ пропитанію и работѣ“.

Судъ приговорилъ Нипоркина къ арестантскимъ ротамъ на
одинъ годъ.

Такимъ образомъ, мѣщанину Нипоркину пришлось высидѣть въ
заключеніи всего 26 годъ.

Обращаясь затѣмъ къ фактамъ изъ провинціальной жизни,
намъ придется остановиться на нѣсколькихъ печальныхъ фактахъ
изъ дѣятельности нашихъ земствъ. Въ настоящее безшабашное
время какъ-то въ модѣ огульно поносить земскія учрежденія, и
разные борзописцы отважно обвиняютъ наше земство, приписывая
представителямъ его всевозможные недостатки. При этомъ тѣ-же
господа, подводя итоги дѣятельности земства, выражаютъ удивленіе,
что земства наши слипкомъ мало сдѣлали съ тѣхъ поръ, какъ
открыты земскія учрежденія.

Читатели наши хорошо знаютъ, какъ мы относимся къ на-

шему земскому самоуправленію. Мы не разъ и не два высказывали, что, несмотря на самыя благія намѣренія, земства часто поставлены въ невозможность проявить свою дѣятельность, даже и въ томъ небольшомъ кругѣ обязанностей, который отведенъ ему „положеніемъ“. Нѣтъ ничего удивительнаго, что ограниченность ценза, нѣкоторыя недоразумѣнія, съуживающія все болѣе и болѣе значеніе органовъ нашего самоуправления и низводящія ихъ на степень фискальныхъ учрежденій, играютъ значительную роль въ проявленіи апатіи и мертвенности земскихъ собраній. Читатели помнятъ, что земскія собранія перваго выбора были далеко не тѣ, что теперь.

Относясь съ глубочайшимъ уваженіемъ къ идеѣ земскаго самоуправления и не оставляя надежды, что, при большемъ развитіи его дѣятельности и при менѣе ограниченномъ доступѣ къ праву выбора, въ будущемъ земскимъ нашимъ учрежденіямъ предстоитъ занять подобающее имъ мѣсто, — мы тѣмъ не менѣе не можемъ закрывать глаза передъ тѣми фактами дѣятельности нашихъ земствъ, которые дискредитируютъ идею земскаго самоуправления, даже въ настоящемъ убогомъ его значеніи, и даютъ поводъ врагамъ принципа, указывая на дѣйствія теперешнихъ представителей его, позорить самый принципъ и вопить о его непригодности.

У насъ, какъ извѣстно, публицистовъ-охотниковъ на это множество. Васъ поставитъ въ такое положеніе, въ которомъ вы можете только топтаться на мѣстѣ, и, стремясь уничтожить даже и возможность топтанія, надъ вами-же глумятся, что вы не шагаете быстрыми шагами.

Тѣмъ съ большей строгостью слѣдуетъ относиться, когда представители земства сами-же продаютъ свое право, даже не за чечевичную похлебку, и проявляютъ дѣятельность свою позорнымъ образомъ.

Подобнымъ возмутительнымъ дѣломъ является недавнее рѣшеніе екатеринославскаго земства по вопросу объ устройствѣ ремесленной школы.

Вотъ исторія этого дѣла, рассказанная барономъ Корфомъ въ „Голосѣ“.

„Десять лѣтъ назадъ, въ александровскомъ уѣздѣ, екатеринославской губерніи, одинъ изъ почтеннѣйшихъ дѣятелей по мировымъ учрежденіямъ и училищному дѣлу, землевладѣлецъ Д. Т. Гнѣдинъ, предложилъ мѣстному уѣздному земскому собранію, присоединивъ къ губернской асигновкѣ уѣздную, открыть ремесленную школу въ его имѣніи, съ тѣмъ, что онъ жертвуетъ подъ нее землю и необходимыя сооруженія, а самая школа будетъ та-

кимъ ремесленнымъ учрежденіемъ, которое не пренебрежетъ общимъ образованіемъ. Пошли переговоры, составленіе и препровожденіе устава школы, и на все это затрачено *десять лѣтъ*, которыя привели, однако, къ тому, что екатеринославское губернское земское собраніе, убѣдившись, что его первоначальное предположеніе объ открытіи восьми ремесленныхъ школъ почти осталось жертвою буквою и что составленный уѣзднымъ земствомъ и уже утвержденный уѣзднымъ начальствомъ уставъ ремесленнаго училища соотвѣтствуетъ дѣлу, большинствомъ голосовъ 23 противъ 20, присоединило къ уѣздной асигновкѣ губернскую и постановило открыть въ селѣ Александровкѣ ремесленную школу, принявъ отъ Д. Т. Гнѣдина въ даръ десять десятинъ земли и сооруженія для школы, которыя жертвователю уже успѣлъ возвести, затративъ на нихъ до *тридцати тысячъ рублей*“.

Прошло десять лѣтъ. Наконецъ, уставъ ремесленнаго училища былъ утвержденъ учебнымъ вѣдомствомъ, и земству оставалось только открыть училище.

„Но оказалось, что гласнымъ, подписавшимъ постановленіе объ открытіи училища, не дали тутъ-же подписать и спеціальнаго полномочія управы для приведенія его въ исполненіе, а потому губернская управа, бывшая въ пользу училища, какъ и избранная губернскимъ собраніемъ коми сія, была вынуждена созвать, въ январѣ 1879 года, экстренное собраніе *для дачи полномочія управѣ* совершить извѣстные акты, необходимость которыхъ вытекала изъ постановленія собранія о принятіи въ даръ земли, построекъ и проч.“ И что-же?..

Вы не повѣрите! Въмѣсто 43-хъ гласныхъ, какъ въ первый разъ, съѣхалось всего 23; вмѣсто того, чтобъ приступить *непосредственно къ выдачѣ полномочія управѣ*, эти 23 гласные возобновили уже рѣшенный вопросъ о томъ, нужно ли ремесленное училище, да и постановили, большинствомъ 17-ти голосовъ противъ шести, отмѣнить то, что было рѣшено большинствомъ 23-хъ голосовъ противъ 20-ти, т. е. постановили *ремесленнаго училища вовсе не открывать!*“

Нечего и говорить о незаконности такого рѣшенія земскаго собранія, которое не имѣло никакихъ правъ перерѣшать вопросъ, разъ уже рѣшенный; могутъ еще обжаловать и гласные, подписавшіе постановленіе объ открытіи училища, въ сенатъ постановленіе втораго губернскаго собранія, которое обсуждало уже рѣшенное и вошедшее въ законную силу постановленіе перваго губернскаго земскаго собранія.

Но тутъ является вопросъ: всѣ-ли гг. гласные, подписавшіе постановленіе, находятся въ настоящее время на мѣстѣ и, нако-

нецъ, захотятъ-ли они отстоять это дѣло? Для борьбы нужна энергія. Хватить-ли ея въ данномъ случаѣ?..

Каковъ-бы ни былъ исходъ, а училища, мысль о которомъ явилась десять лѣтъ тому назадъ, на которое пожертвованы деньги, нѣтъ и когда оно будетъ—вопросъ темный...

Земцы сами-же оттолкнули отъ себя училище и, постановляя незаконное рѣшеніе, вѣроятно, рассчитывали, что опять пройдетъ десять лѣтъ, пока рѣшится вопросъ, а тамъ будетъ, что будетъ.

И то сказать: вѣдь рѣчь шла о ремесленномъ училищѣ; большинству гласныхъ, вотировавшихъ противъ него, какое дѣло до ремесленного училища? Вѣдь не ихъ дѣти поступили-бы въ это училище. Вотъ еслибъ рѣшался вопросъ, въ которомъ они лично были-бы заинтересованы, тогда другое дѣло. Надо обладать извѣстнымъ гражданскимъ чувствомъ и извѣстнымъ развитіемъ, чтобы принимать близко къ сердцу интересы другихъ; такихъ людей вообще немного и такіе люди если и есть въ земскихъ собраніяхъ, то въ настоящее время обрѣтаются не въ авантажѣ; слѣдовательно, вопросъ о большемъ расширеніи избирательнаго ценза такъ тѣсно связанъ съ вопросомъ о лучшемъ направленіи дѣятельности земствъ, что безъ удовлетворительнаго рѣшенія одного нельзя рассчитывать на удовлетворительное рѣшеніе другого. Тѣмъ не менѣе съ общественной точки зрѣнія екатеринославскіе земцы поступили въ высшей степени безтактно даже въ интересахъ своей партіи. Каковы-бы ни были взгляды ихъ, какія-бы идеи ни проводили они въ своихъ рѣшеніяхъ, но дискредитировать свое учрежденіе и переносить безъ нужды вопросъ въ правительствующій сенатъ—это значитъ не понимать своихъ собственныхъ интересовъ.

Какъ-бы въ подтвержденіе высказанныхъ нами соображеній, является вопросъ о земской недоимкѣ.

Всѣ очень хорошо знаютъ, какими способами взыскивается недоимка съ крестьянъ.

„Земство, — какъ справедливо замѣчаетъ „Голосъ“, — никакъ нельзя упрекнуть въ бездѣятельности относительно способовъ взысканія недоимки съ крестьянъ. По настоянію нѣкоторыхъ земствъ, даже тѣлесное наказаніе относительно земскихъ недоимщиковъ-крестьянъ практиковалось въ извѣстныхъ размѣрахъ. Можно указать цѣлыя волости, въ которыхъ почти все мужское населеніе подверглось тѣлесному наказанію. Само собою разумѣется, отъ этой мѣры, ведѣлающей чести земству, нисколько не увеличилась аккуратность взноса земскихъ платежей крестьянами. Три года уже, какъ земство не только убѣдилось воочію, но и громко заявило въ земскихъ собраніяхъ, что „причина крестьянской недоимочности—

безысходная бѣдность, отнюдь не небрежность“, и что крестьянская недоимка — безнадежная недоимка при нынѣшнемъ положеніи крестьянства“.

Между тѣмъ руководящій элементъ въ земскихъ собраніяхъ — землевладѣльцы, фабриканты, заводчики, купцы — о вносѣ недоимокъ и не заботится и является въ нѣкоторыхъ губерніяхъ гораздо болѣе неисправнымъ, чѣмъ классъ неимущій. Недавно еще ревизіонная комисія докладывала кишиневскому уѣздному собранію, что „сельскія общества и мелкіе землевладѣльцы вносятъ сборы исправно, между тѣмъ какъ изъ крупныхъ землевладѣльцевъ только незначительное число вноситъ исправно земскіе сборы, большинство-же не уплачивало земскихъ сборовъ съ самаго образованія земскихъ учреждений“.

Такая-же склонность уклоняться отъ платежей крупныхъ землевладѣльцевъ, поощряющихъ въ то-же время взысканіе недоимокъ съ крестьянъ самыми энергическими мѣрами, начиная отъ продажи послѣдняго имущества и кончая поркой цѣлыхъ волостей, обнаруживается и въ другихъ губерніяхъ. Объ этомъ никто не думаетъ, такъ-какъ кому-же охота поднимать на себя руку? Да, наконецъ, и сами земскіе воротилы — предсѣдатели и члены управъ, взыскивая съ крестьянъ, прикопили про себя недоимки весьма почетныя, ни мало не думая объ ихъ уплатѣ.

Въ рязанскомъ губернскомъ собраніи гласнымъ Алятиковымъ внесено было по этому поводу предложеніе о ходатайствѣ объ изданіи закона, по которому: 1) „недоимщики“ „не имѣли-бы права балотироваться въ гласные и лично или черезъ своихъ повѣренныхъ участвовать на избирательныхъ сѣздахъ“; 2) „не имѣли-бы права балотироваться ни на какія общественныя должности, избираемыя земскими собраніями“, и, 3) „теряли-бы право оставаться во всѣхъ этихъ должностяхъ и званіяхъ, если недоимка за ними образовалась послѣ ихъ избранія и не уплачена къ назначенному сроку“.

Въ такомъ-же духѣ сдѣлала предположеніе и ревизіонная комисія кишиневского уѣзда, но уѣздное собраніе не обратило вниманія на предложеніе.

Рязанское земство, къ чести его, иначе отнеслось къ предложенію. Комисія, разсматривавшая предложеніе г. Алятикова, одобрила предложеніе и съ нѣкоторыми измѣненіями внесла его на обсужденіе губернскаго собранія, которое, находя вопросъ этотъ „слишкомъ важнымъ“, постановило передать его предварительно на обсужденіе уѣздныхъ земскихъ собраній.

Факты эти слишкомъ бьютъ въ глаза, чтобы распространяться о нихъ. Несомнѣнно только то, что дѣйствія руководящихъ элемен-

товъ во многихъ земствахъ ясно показываютъ на живучесть и силу жулаческихъ тенденцій.

— Ты плати, а мы будемъ наблюдать, какъ ты платишь, и поощрять тебя!

Удивительно-ли послѣ этого, что на-счетъ того-же плательщика выписывается розовое масло, гвоздичное масло, зубные порошки, ваниль, миндаль, мозольные пилочки и т. п. Это, видите-ли, „медикаменты“ уфимской земской управы.

Бывшій земскій врачъ уфимскаго уѣзда сообщаетъ въ „Русскую Правду“; по поводу этихъ „медикаментовъ“, слѣдующія подробности:

„Мнѣ удалось недавно видѣть новый видъ эксплуатаціи крестьянскаго кармана, подѣ предлогомъ заботы объ его здравіи, и я считаю нелишнимъ сообщить о немъ въ назиданіе всѣмъ земствамъ, имѣющимъ у себя „медицинскую часть“. Уфимскій уѣздъ устроилъ свою земскую медицину незатѣйливо: почти на 300,000 населенія—ни одной больницы, ни одного приѣмнаго покоя, а нѣсколько фельдшеровъ и два врача, на обязанности которыхъ лежить, какъ формулировали нѣкоторые выдающіеся земскіе дѣльцы на собраніи, смотрѣть, чтобы фельдшера не пьянствовали, аккуратно записывали приходъ и расходъ лекарствъ и т. п. обязанности полицейскаго свойства; на лекарства ассигновано 2,500 р.—сумма ничтожная, принимая во вниманіе населеніе и господствующія болѣзни: лихорадки, сифились и т. п. Но и она идетъ Богъ знаетъ на что. Такъ, будучи возмущенъ отвѣтомъ завѣдующаго земскими лекарствами на мое требованіе отпустить фунтъ іодискаго калия одному изъ фельдшеровъ, что такое количество отпущено быть не можетъ, такъ-какъ на весь уѣздъ на годъ выписано только пять фунтовъ его—количество, едва достаточное для исцѣленія какихъ-нибудь 50—60 сифилитиковъ, а ихъ въ уфимскомъ уѣздѣ нѣсть числа,—я обратился къ земской управѣ съ просьбой показать мнѣ счетъ дрогиста, по которому присланы лекарства, и убѣдиться, дѣйствительно-ли выписано такое количество іодистаго калия. Я былъ крайне удивленъ и возмущенъ, видя, что на крестьянскія деньги, которыя иногда взыскиваютъ путемъ продажи послѣдней скотины, выписаны въ числѣ лекарствъ слѣдующія вещи: бергамотное масло, гвоздичное масло, розовое масло, употребляющееся въ сералахъ, глицериновое мыло по 9 р. за дюжину, зубные порошки по 2 р. за коробку, разныхъ фирмъ, душистые порошки Китарры, ваниль, миндаль, фруктовые экстракты, мозольныя пилочки, термометры для оконъ и комнатъ (въ уѣздѣ ни одной больницы) и много подобныхъ вещей. Какъ назвать это?“

Остановимтесь, читатель. Если подбирать факты, то мы никогда не кончимъ лѣтописи безобразій и эксплуатаціи все той-же платёжной единицы.

Если вы, дѣлая обобщенія, подумаете, что и въ самомъ дѣлѣ въ Россіи „вывелся человекъ“, то на это можно возразить, что люди есть, и недурные люди есть, но именно они-то и находятся въ меньшинствѣ или-же и совсѣмъ въ сторонѣ. При извѣстныхъ условіяхъ преобладаютъ и извѣстные люди.

То-же самое и въ печати.

Недавно „Новое Время“ представило блестящій примѣръ, до чего можетъ снизойти газета и какими средствами покупаетъ она успѣхъ, возбуждая низменные инстинкты читателей. Послѣ всѣхъ гнусностей, которыми отличилось въ недавнее время большинство нашей прессы, о чемъ я достаточно уже говорилъ въ прошломъ номерѣ, ничего удивительнаго не было, что дѣло дойдетъ и до самаго безцеремоннаго пасквиля.

Такимъ, удивившимъ даже нашу прессу, пасквилемъ явился недавно на страницахъ „Новаго Времени“ рассказъ „Докторъ Самохвалова-Самолюбова“. Но какъ ни грязенъ былъ пасквиль, еще грязнѣе была защита пасквиля со стороны редакціи.

Г. Антоновичъ, возмущенный,—и по-моему мнѣнію, нѣсколько наивно, такъ-какъ „Новое Время“ давно должно было отучить людей возмущаться, — выходкой газеты, напечаталъ въ „Молвѣ“ письмо, въ которомъ, между прочимъ, говорить:

„И что думаетъ сдѣлать изъ прессы этотъ петербургскій Вильмесаиъ, выдупившійся изъ русскаго Рошфора? И чѣмъ онъ привлекаетъ свою публику, на чемъ воспитываетъ ее?! И ужели-же наша пресса такъ-таки никогда и не выйдетъ изъ своей апатіи, чтобы дать надлежащій энергическій отпоръ этому, ужъ слишкомъ наглому, униженію печатнаго слова? Въ печати можно издѣваться надъ кѣмъ угодно и надъ чѣмъ угодно, но только въ границахъ отвлеченности, обобщенія, типировки. Пусть г. Суворинъ поучится хоть у своего прототипа, который, изрыгая печатно всевозможныя хулы, имѣетъ дѣло съ отвлеченнымъ объектомъ, съ направлениемъ, съ собирательными личностями, а не съ конкретною личностью. А въ г. Суворинѣ то и возмутительно, что онъ бьетъ на конкретность, на индивидуальность, на личность. Берите и личность, если имѣете настолько мужества и сознаете чистоту и правоту своего дѣла; но тогда ужъ говорите все прямо, безъ намековъ и масокъ, которыя сути не закрываютъ, а только закрываютъ васъ отъ отвѣтственности; называйте все настоящими, подлинными именами и смѣло берите на себя всю отвѣтственность, юридическую и нравственную“.

Въ отвѣтъ на это письмо, редакція „Новаго Времени“ напечатала новый пасквиль — апологію, подъ скромнымъ названіемъ „Нѣчто о цѣнномъ литераторѣ и о повѣсти „Докторъ Самохвалова-Самолюбова“. Снимая отвѣтственность въ напечатаніи повѣсти-пасквиля съ г. Суворина, объяснивъ, что онъ купается въ волнахъ Бискайскаго залива, и снова дѣлая пошлые намеки на личность „Самохваловой“, редакція старалась доказать, что она печатала пасквиль ради обличенія лицемѣрства и исправленія нравовъ, что добродѣтельную редакцію руководила высоконравственная цѣль при тисненіи пасквиля, въ которомъ, кстати замѣтить, нивагого изобличенія нѣтъ, а есть только сплошной „любви пантомимъ“.

Разсказываютъ, что гешефтъ вышелъ хорошій. Нумера съ пасквилемъ раскупались на расхватъ: по рублю за номеръ платили.

Но даже и наша пресса почувствовала смущеніе отъ подвига собрата, и почти всѣ органы отнеслись къ собрату съ должнымъ чувствомъ презрѣнія.

Въ то-же время въ газетахъ появилось сообщеніе, что присяжный повѣренный Александровъ, по довѣренности вдовы статскаго совѣтника, Варвары Александровны Рудневой, подалъ 20-го сентября судебному слѣдователю 8-го участка гор. С.-Петербурга жалобу по поводу статей, появившихся въ „Новомъ Времени“ и „Петербургской Газетѣ“ о докторѣ Самохваловой-Самолюбовой, обвиняя въ диффамаци, злословіи и брани нижеслѣдующихъ лицъ: 1) редактора „Новаго Времени“, М. П. Федорова, по поводу статей, напечатанныхъ въ 1268, 1272 и 1275 номерахъ этой газеты; 2) автора статей „Докторъ Самохвалова-Самолюбова“, штабсъ-капитана 13-й артилерійской бригады, числившагося въ николаевской академіи генеральнаго штаба и нынѣ прикомандированнаго къ главному артилерійскому управленію, Ивана Сергѣевича Поликарпова; 3) автора статьи въ 1272 номерѣ „Новаго Времени“, озаглавленной „Нѣчто о цѣнномъ литераторѣ“; 4) редактора „Петербургской Газеты“, С. Н. Худекова, по поводу статей, помѣщенныхъ въ 179 и 180 номерахъ этой газеты, подъ рубрикою „Ежедневная бесѣда“, и 5) автора этихъ послѣднихъ статей“.

Вслѣдъ за напечатаніемъ этого сообщенія, замѣстители купавшагося г. Суворина опять пробовали извернуться, но произвели это, надо сказать, крайне неудачно. Зато грозять-же они г. Александрову! „А, говорятъ, — вы подали на насъ искъ, такъ пробремъ-же мы васъ за это! Мы васъ опишемъ, какъ нельзя лучше. Мы изобличимъ васъ во всей прелести“.

У пойманных сплетниковъ не хватило даже ума подумать, что объ этомъ даже сплетникамъ неприлично предупредить, и они, ставя на счетъ г. Александрову и прежнія его защиты, и послѣдующія, вклянутся неумолимымъ мщеніемъ.

Печать, какъ средство личныхъ счетовъ! Объ этомъ даже не стѣсняются предупредить!

Но это еще цвѣточки. Ягодки еще впереди. То-ли будетъ еще? Жалкое положеніе общества вызываетъ и жалкую печать.

Въ заключеніе, сообщимъ читателямъ о скоромъ открытіи Александровскаго моста. Его откроютъ для публики тридцатаго сентября. Мостъ, говорятъ, построенъ хорошо и значительно дешевле обошелся, чѣмъ николаевскій. Качества поваго моста—изящество постройки, легкость, прочность.

Вѣроятно, на обѣдѣ, въ честь открытія, будутъ рѣчи и тосты въ честь думы, строителя и, какъ водится, въ честь рабочихъ. Торжество будетъ полное, но, по долгу лѣтописца, я долженъ для полноты торжества привести слѣдующее письмо, напечатанное въ „Русской Правдѣ“.

Авторъ письма, г. Орловъ, ручается за достовѣрность фактовъ и принимаетъ на себя отвѣтственность за нихъ.

Вотъ что онъ пишетъ:

„Постройка литейнаго Александровскаго моста близится къ концу. Къ его исторіи интересно будетъ сказать нѣсколько словъ о томъ, какъ поступали съ рабочими при его постройкѣ. Какъ-то не вѣрится, чтобы въ столицѣ могли встрѣчаться такого рода факты, какіе я сейчасъ представлю на судъ общества. Напримѣръ: жалованье рабочіе получали разъ въ продолженіи мѣсяца; а питаться-же надо какъ-нибудь; поэтому изъ конторы строителя выдавали рабочимъ заборную книжку въ лавку г. В. (что на углу Финляндскаго проспекта и Саратовской улицы). Въ эту книжку, два раза въ недѣлю, вписывалась извѣстная сумма денегъ, приблизительно соответствующая заработку рабочаго. Расплачивалась съ лавочкой контора, а не самъ рабочій. И что за продукты отпускались по этой книжкѣ?! Хлѣбъ вѣчно недопеченный; нижняя корка его нерѣдко представляла сплошной уголь. Молоко прокислое, водянистое, колбаса тухлая и неудобоваримая для „всевыносящаго“ желудка нашего рабочаго. Махорка полугнилая; чай-же (которому, кстати замѣчу, выставлена была цѣна 1 руб. 60 коп. за фунтъ) такого сорта, что носить только названіе чая, а на самомъ дѣлѣ онъ представляетъ только смѣсь песку и чего-то вродѣ чайныхъ листьевъ (не беру на себя смѣлости утверждать, что это, дѣйствительно, чайные листья). Рабочій могъ взять изъ лавочки на

книжку и денегъ (ему никогда въ томъ не отказывали), но только подь извѣстный $\frac{1}{100}$, конечно, изрядный (25⁰/₁₀₀). Брать-же изъ лавочки деньги подь такіе жидовскіе проценты рабочему приходилось часто. Насколько рабочіе оставались довольны продуктами г. В., видно ужь изъ того, что на деньги, забраанныя на книжку, они покупали себѣ пищу въ другой лавочкѣ или ходили въ сѣстные... Практиковалась еще и приписка. Лавочникъ заявляетъ, на примѣръ, рабочему, что ему надо прописать книжку, такъ-какъ, дескать, уже забрано на всю вписанную въ ея сумму. Рабочій, особенно неграмотный, не провѣривъ книжки, несетъ ее въ контору. Забрана-же не вся сумма... Проглядѣлъ рабочій, и лавочкѣ, глядишь, набѣжалъ барышъ. Я видѣлъ у одного рабочаго Т. книжку, въ которой втеченіи $\frac{1}{2}$ мѣсяца недобору было больше рубля, и это пошло въ пользу лавочки. Существуетъ между рабочими странное убѣжденіе (передаю это, какъ убѣжденіе рабочихъ, не болѣе), что контора беретъ съ лавочки дань въ 10⁰/₁₀₀ за рекомендацію ея рабочимъ. Не знаю, на основаніи какихъ данныхъ составилось это убѣжденіе. По правиламъ строительской конторы, рабочій, желающій получить расчетъ, долженъ заявить объ этомъ конторѣ за 15 дней; въ противномъ случаѣ, онъ или „лишается права (навсегда?) на получение своего заработка“, или-же въ пользу конторы удерживается съ него 5 р. Въ теченіи этихъ 15 дней, контора записываетъ рабочему самымъ усерднѣйшимъ образомъ: просить, на примѣръ, рабочій вписать только 3 р., въ конторѣ-же ему пишутъ 6—8 р., не обращая вниманія на слова рабочаго, что этого много. Фактъ странный!

„Немеліе интересны и факты относительно наложенія штрафовъ. Не упускался, со стороны строительской конторы, ни одинъ случай, хотя-бы самый пустой, чтобы наложить штрафъ. Бывали случаи, что чуть не весь заработокъ рабочаго уходилъ въ штрафы. Опоздалъ, на примѣръ, рабочій на 5 минутъ, ему отмѣчаютъ штрафъ за $\frac{1}{4}$ рабочаго дня, т. е., $\frac{1}{4}$ рабочаго дня онъ долженъ проработать даромъ. На всемъ мосту есть нѣсколько отмѣтчиковъ, имѣющихъ каждый по особой книгѣ. На основаніи этихъ книгъ, главный отмѣтчикъ, г. Ш., отмѣчаетъ число рабочихъ дней у себя въ книгѣ. Но такъ-какъ „человѣку свойственно ошибаться“, то и съ г. Ш. случались часто престранныя ошибки: вмѣсто 25, на примѣръ, рабочихъ дней, какъ свидѣлствуютъ книги отмѣтчиковъ, въ книгѣ г. Ш. значится у рабочаго 24. Если-же рабочій это замѣтитъ и, основываясь на книгѣ своего отмѣтчика, докажетъ, что число рабочихъ дней поставлено ему невѣрно, то г. Ш. хладнокровно сознается, что онъ, молъ, ошибся. И, странное 10*

дѣло, несмотря на такую способность ошибаться, съ г. III. ни разу не было случая, чтобы онъ вписалъ лишній рабочий день. т. е. обидѣлъ себя!

„Эксплуатація со стороны конторы облакается еще въ такого рода форму: дадутъ работу поштучно, а плату со штуки не назначаютъ; поденная плата, положимъ, 80 коп.; каждая штука оцѣнивается во столько, чтобы общая сумма за все количество сработаннаго въ продолженіи дня приближалась къ 80 к. Чѣмъ, значить, больше сработаетъ рабочий въ день поштучно, тѣмъ ему платится меньше. Иногда-же просто штучника рассчитываютъ поденно, прибавивъ лишь нѣсколько копеекъ къ обыкновенной дневной платѣ, тоже, значить, не безъ выгоды для себя. Съ однимъ токаремъ, въ августѣ мѣсяцѣ, продѣлали еще и такую штуку: работая поштучно, онъ заработалъ въ продолженіи мѣсяца всего 100 слишкомъ руб. Такая крупная сумма показалась конторѣ, должно быть, ужъ черезчуръ невѣроятною. И вотъ она, ничуть не стѣсняясь, предлагаетъ токарю или взять расчетъ поденно, или половинную, противъ слѣдующей, прежде назначенной, платы со штуки. Рабочему пришлось помириться на томъ, что за одну половину мѣсяца его рассчитали поденно, а за другую—поштучно.

„Великолѣпныя перила моста, minimum въ третьей ихъ части, сдѣланы рабочими задаромъ. Произошло это вотъ какимъ образомъ: поступаетъ на работу слесарь, проработаетъ день, два, вдругъ мастеръ замѣчаетъ, что рабочий неладно подпилил, вставилъ винтъ и т. п. И вотъ, безъ дальнихъ разговоровъ, онъ гонитъ рабочаго, не заплативъ ничего за проработанные дни. Въ виду громаднаго предложенія рабочихъ рукъ, рабочими не дорожили. За потерю инструментовъ, хотя-бы происшедшую не по винтъ рабочаго, всегда назначали штрафъ.

Прелестные продукты лавочки и чрезмѣрный трудъ (въ послѣднее время работали съ 6½ ч. утра до 9 часовъ вечера, нерѣдко до 12 ч. ночи, а иногда и цѣлую ночь) имѣли своимъ послѣдствіемъ увеличеніе числа желудочно-катаральныхъ заблѣваний.

„Въ заключеніе разскажу еще слѣдующій фактъ, характеризующій отношеніе мастеровъ къ рабочимъ. Рабочій Говоровъ заявилъ желаніе получить расчетъ. Мастеръ согласился и выдалъ ему расчетный листокъ. Приходитъ рабочий съ этимъ листкомъ за деньгами. Кассиръ, онъ-же и мастеръ, проситъ Говорова исполнить ему какую-то работу; Говоровъ не соглашается, говоря, что

нашелъ другую работу. У Говорова выхватывается листокъ и ставится 12 р. штрафа.

„Всѣ вышеизложенные факты взяты изъ послѣдняго времени постройки моста, собственно за июнь, июль и августъ. Массу другихъ неблаговидныхъ фактовъ пришлось оставить въ сторонѣ, такъ-какъ и выбралъ только тѣ, за достовѣрность которыхъ принимаю отвѣтственность на себя“.

Не станеть-ли тоскъ за здоровье русскихъ рабочихъ (а такой тоскъ всегда предлагается на торжественныхъ обѣдахъ) поперекъ горла послѣ прочтенія этого письма?

Какъ вы думаете, читатель?

Откровенный Писатель.



ОПРОВЕРЖЕНІЕ.

Нижеслѣдующая статья, „Опроверженіе“, печатается по требованію с.-петербургскаго цензурнаго комитета, на основаніи 45 ст. прил. къ ст. 4 (прим.) уст. ценз., по продолженію 1876.

(Письмо къ редактору журнала „Дѣло“).

Милостивый Государь!

Обращаюсь къ вамъ на основаніи дѣйствующихъ у насъ законовъ о печати и прошу васъ напечатать, въ ближайшей книжкѣ „Дѣла“, мое настоящее опроверженіе.

Въ мартовской книжкѣ „Дѣла“ помѣщена статья, подъ названіемъ „Литературное мародерство“, обвиняющая меня въ подлогѣ, а именно въ томъ, что напечатанный въ моемъ „Собраніи иностранныхъ романовъ“ романъ „Мас-Горка“ не есть, какъ у меня сказано, переводъ съ французскаго оригинала Густава Эмара, никогда не существовавшаго, а собственная моя передѣлка одного романа извѣстнаго испанскаго автора, Хозе Мармоля, — передѣлка съ русскаго перевода, напечатаннаго въ „Дѣлѣ“ 1868 года подъ заглавіемъ: „Друзья хуже враговъ“.

„Душою Юханцевыхъ и Гулакь-Артемовскихъ вездѣсущъ, говоритъ „Дѣло“;—онъ проникъ не только во всѣ кассы и карманы, но даже въ наши увеселительные литературные органы... Чтобы замаскировать крайне неуклюжую передѣлку чужого труда, г-жа Ахматова перелицовываетъ нѣкоторыя фразы по-своему, даже при-сочиняетъ отъ себя, превращаетъ Давіиеля въ дон-Мигуэла, Амалию въ какую-то донью Гермозу и навязываетъ В. Гюго изобрѣтенныя ея собственной худосочной фантазіей какія-то „Созерцанія“,

которыхъ онъ никогда не писалъ. Это уже не просто присвоеніе чужой собственности, а присвоеніе, такъ-сказать, со взломомъ... Одно, конечно, смягчающее обстоятельство можетъ представить въ свое оправданіе г-жа Ахматова; она можетъ сказать: „отчего-же и мнѣ не помистифировать публику, когда ее мистифируетъ каждый и какъ ему угодно, когда поддѣлываются векселя, чеки, репутаціи, когда гг. Суворины и Камаровы, Полетики и Трубниковы выдаютъ себя за руководителей общественнаго мнѣнія, однимъ словомъ, когда литература обращается въ сплошной подлогъ“.

Я ни слова не отвѣчу на многочисленныя ругательныя выраженія, разсѣянныя отъ начала до конца по всей статьѣ „Дѣла“, приписывающаго мнѣ уже такія статьи, которыя никогда не были у меня напечатаны, но скажу только слѣдующее: помѣщенный въ моемъ „Собраніи иностранныхъ романовъ“ романъ „Мас-Горка“ есть точный переводъ съ французскаго романа, подъ тѣмъ-же заглавіемъ, Густава Эмара,—романа, изданнаго въ Парижѣ въ 1867 году книгопродавцемъ-издателемъ Амю и находящагося въ полномъ собраніи сочиненій Густава Эмара. Желающіе могутъ убѣдиться въ этомъ, какъ въ каждомъ изъ нашихъ магазиновъ иностранныхъ книгъ, такъ и въ моей конторѣ, гдѣ французскій экземпляръ романа Эмара будетъ находиться къ услугамъ всѣхъ желающихъ въ теченіи мѣсяца со дня напечатанія настоящей статьи.

Передѣлка именъ, разговоровъ и подробностей принадлежитъ всецѣло самому Густаву Эмару, въ чемъ я убѣдилась, сличая надняхъ романъ Эмара съ испанскимъ подлинникомъ Хозе Мармоля (по-испански этотъ романъ называется „Амалия“), и, между прочимъ, самому-же Эмару принадлежитъ передѣлка „Méditations“ Ламартина (о которомъ упоминается въ романѣ) въ „Contemplations“ Виктора Гюго. Заявляя это, я радуюсь, что при этомъ случаѣ вы, г. редакторъ, и писатели вашего журнала узнаете, что въ числѣ знаменитѣйшихъ изданій Виктора Гюго есть также и сборникъ стихотвореній „Contemplations“, извѣстный всей Европѣ.

Я имѣла-бы, милостивый государь, все право призвать васъ и вашъ журналъ къ суду, но на этотъ разъ я не хочу прибѣгать къ такой мѣрѣ, а удовольствуюсь тѣмъ, что отдаю вашъ поступокъ на судъ вашихъ-же собственныхъ читателей.

Е. Ахматова.

БИБЛИОТЕКА И ЧИТАЛЬНЯ А ИВАНОВА.

*Въ С. Петербургѣ, на углу Казанской и Гороховой улицъ, въ домѣ
Брунста. №№ 26—28, кв. № 48, 2-й подъездъ по Казанской отъ
Гороховой.*

ОТКРЫТА СЪ 7-го ЯНВАРЯ 1879 ГОДА:

въ будни отъ 10 ч. утра до 9 ч. вечера, въ праздники отъ 12 до
3 ч. дня.

При открытiи библиотека имѣла 6000 отд. сочин. и 150 названiй периодиче-
скихъ изданiй (большую частiю за все время ихъ выхода), составляющихъ 20,000
томовъ; съ открытiя по 1 Августа приобретено до 3000 сочиненiй, кромѣ вновь
выходящихъ.

• Въ текущемъ году библиотека получаетъ въ достаточномъ числѣ экземпляровъ
62 периодич. изданiя и ежемѣсячно около 20 новыхъ сочиненiй, независимо отъ
покупаемыхъ по заявленiямъ подписчиковъ.

Каталогъ библиотеки, кромѣ статей, указанныхъ въ периодическихъ изданiяхъ
и сборникахъ, содержитъ отдѣльныхъ сочиненiй: по богословiю 410,—философiи
150,—педагогикѣ 207, — языковѣ 268, — общественнымъ наукамъ (политич.,
эконом., финансов., администр., юридическ. и проч.) 859,—исторiи вообще 690,—
географiи, этногр. и статистикѣ 339,—естествознанiю 305, — медицинѣ 685,—
сельскому хозяйству, технол., ремесламъ и искусствамъ 383,—математикѣ 347,—
военнымъ и морскимъ наук. 490, — исторiи литерат. 200,—словесности (собр.
сочинен., романы, повѣсти, драматич. произв. и проч.) 2.770,— дѣтскихъ 177,—
всего 8230, а съ прибавленiемъ нововшедшихъ въ каталогъ общее число сочине-
нiй свыше 9000, считая каждое въ одномъ экземплярѣ; большая-же часть луч-
шихъ сочиненiй имѣется въ нѣсколькихъ экз. Отдѣлы: справочныхъ книгъ, сбор-
никовъ и период. изданiй будутъ напечатаны въ непродолжительномъ времени, вмѣ-
стѣ съ каталогомъ вновь купленныхъ книгъ. Ц. кат. 60 коп.

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ:

Раз- рядъ.	Время выдачи послѣ вых. въ свѣтъ.	Колч. книгъ.	Сумма за годъ.
I	Въ 1-мъ мѣс.	6	6 р.
II	Черезъ 2 мѣс.	5	5 р.
III	" 4 "	4	4 "
IV	" 6 "	2	3 "
V	" 12 "	1	2 "

ПЛАТА ЗА ЧТЕНIЕ:

На годъ.	На 6 мѣс.	На 3 мѣс.	На 1 мѣс.	Въ сутки за одну кн.
14 р. — к.	8 р. — к.	4 р. 60 к.	1 р. 90 к.	15 к.
9 " — "	5 " 60 "	3 " 20 "	1 " 40 "	10 "
6 " — "	3 " 60 "	2 " — "	— " 75 "	8 "
4 " — "	2 " 50 "	1 " 40 "	— " 50 "	5 "
2 " — "	1 " 25 "	— " 70 "	— " 25 "	3 "

Годовые подписчики пользуются разсрочкою. — Новыхъ книгъ
и журналовъ выдается не болѣе одной. — Студенты и студентки
пользуются уступкою 25% съ платы за чтенiе. Лица, находящи-
яся въ провинци, могутъ получать, на особыхъ условiяхъ, до 50
и болѣе сочиненiй на срокъ до 4 мѣсяцевъ.

17. ОПРОВЕРЖЕНІЕ. Письмо къ редактору журнала „Дѣло“. Е. АХМАТОВОЙ.
18. ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА „ДѢЛО“ ВЪ 1879 ГОДУ.



ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ

четвертое изданіе книги:

ПОПУЛЯРНАЯ ГИГИЕНА,

Настольная книга для сохранения здоровья и рабочей силы въ средѣ народа.

Соч. **КАРЛА РЕКЛАМА** (професора медицины въ Лейпцигѣ)
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ВОЕННОЙ ГИГИЕНЫ.

Соч. **Д-ра ВЕЙМАНА.**

(ШВЕЙЦАРСКАГО ГИГИЕНИСТА.)

Изданіе редакціи журнала „Дѣло“. Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 30 в.

СОВРЕМЕННЫЕ

ПОЛИТИЧЕСКІЕ ДѢЯТЕЛИ.

Э. РЕБЛЮ (М. ТРИГО.)

(Биографіи и характеристики). Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 30 в.

При этомъ № помѣщены объявленія: 1) объ изданіи журнала „Дѣло“ въ 1879 г.; 2) объ изданіяхъ редакціи журнала „Дѣло“. 3) Объявленіе отъ библиотеки и читальни А. Пванова.

ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Д Ъ Л О“

въ 1879 году

принимается въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ Редакціи
журнала „Дѣло“ (по Надеждинской улицѣ, д. № 39.)

Редакція считаетъ себя отвѣтственной за исправную и своевременную
высылку журнала только передъ тѣми изъ своихъ подписчиковъ, ко-
торые подписуются по указанному выше адресу.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

годовому изданію журнала „Дѣло“:

Безъ пересылки и доставки	14 р. 50 к.
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ.	15 „ 50 к.
Съ пересылкою иногороднимъ	16 „
„ за-границу	19 „

Для служащихъ дѣлается разсрочка, но не иначе, какъ за поручи-
тельствомъ гг. назначенъ.

Издатель Г. БЛАГОСВѢТЛОВЪ. Редакторъ Н. ШУЛЬГИНЪ.

**This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.**

**A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.**

Please return promptly.



Widener Library



3 2044 079 302 386